РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Литературные Памятники



THÉOPHILE GAUTIER

JEAN ET JEANNETTE
•
AVATAR
•
JETTATURA
•
LE ROMAN DE LA MOMIE
•
SPIRITE

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

В двух томах

Том II

ЖАН И ЖАНЕТТА

•

АВАТАРА

•

ДЖЕТТАТУРА

•

РОМАН О МУМИИ

•

СПИРИТА

•

Издание подготовили
Н.Т. ПАХСАРЬЯН, Е.В. ТРЫНКИНА

Научно-издательский центр
«Ладомир»
«Наука»
Москва

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Серия основана академиком *С.И. Вавиловым*

М.Л. Андреев, *В.Е. Багно* (заместитель председателя),
В.И. Васильев, *А.Н. Горбунов*, *Р.Ю. Данилевский*, *Н.Я. Дьяконова*,
Б.Ф. Егоров (заместитель председателя), *Н.Н. Казанский*,
Н.В. Корниенко (заместитель председателя), *А.Б. Куделин* (председатель),
А.В. Лавров, *И.В. Лукьянец*, *Ю.С. Осипов*, *М.А. Островский*,
И.Г. Птушкина, *Ю.А. Рыжов*, *И.М. Стеблин-Каменский*,
Е.В. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь), *А.К. Шапошников*,
С.О. Шмидт

Ответственный редактор
Н.Т. Пахсарьян

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Programme A Pouchkine

*Издание осуществлено в рамках программы
содействия издательскому делу «Пушкин»
при поддержке Французского института в России*

*Cet ouvrage, publié dans le cadre
du Programme d'aide à la publication Pouchkine,
a bénéficié du soutien de l'Institut français
de Russie*

© Е.В. Морозова. Перевод, 2012.
© Е.В. Трынкина. Перевод, 2012.
© Примечания (см. Содержание), 2012.
ISBN 978-5-86218-504-1
© Научно-издательский центр «Ладомир», 2012.
ISBN 978-5-86218-499-0 (т. II)
© Российская академия наук. Оформление серии, 1948.

*Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается*



Теофиль Готье (1850 г.)



ЖАН И ЖАНЕТТА





Глава I

Маркиза де Шанрозе[1] сидит за туалетным столиком, пока горничные трудятся над ее прической. Изысканное сооружение из волос почти готово. Лебяжьи пуховки поднимают облачко пудры «а-ля марешаль»[2], и маркиза, дабы пудра не попала в глаза, прячет свое очаровательное личико в рожок из нежно-зеленого сафьяна, к великому огорчению господина аббата[3], протестующего против этого затмения.

Наконец прическа готова! Пепельные волосы маркизы, приподнятые с помощью проволоки на затылке и взбитые по бокам точно «Снежки»[4], исчезли под слоем белой пыльцы, идеально подходящей к нежным тонам кожи госпожи де Шанрозе. Длинный, слегка завитый спиралью локон спускается по шее и игриво ложится на приоткрытую грудь.

Госпожа де Шанрозе опускает роковой рожок, и ее прелестное лицо, свежее, как розовый бутон, является во всей своей сияющей красе; вне себя от радости аббат вскакивает с дюшески[5], на которой возлежал, и порхает по комнате.

От восторга он наталкивается на мебель, опрокидывает фарфор, путается под ногами у горничных; напуганная этим вихрем собачонка взвиз-

гивает, пронзительно кричит капуцин;[6] аббат отбрасывает далеко в сторону злополучный рожок, называя его гасильником[7] граций[8], и наконец занимает выгодную позицию, позволяющую ему в деталях рассмотреть прелести госпожи де Шанрозе.

— Поистине, маркиза, — восклицает аббат, — эта прическа вам восхитительно идет; амуры смешивали краски для вашего личика, и у вас сегодня по-особенному блестят глазки.

— Вы находите, аббат? — жеманно вопрошает маркиза и бросает взгляд в отороченное кружевом зеркальце, стоящее на туалетном столике. — А ведь я провела отвратительную ночь и теперь страдаю от ужасной мигрени.

— Желаю нашей общей знакомой госпоже баронессе таких мигреней, которые украшают румянцем щечки и делают женщину свежее самой Гебы:[9] от настоящей мигрени глаза тускнеют, а лицо желтеет, будто айва, посему объявляю вашу мигрень мнимой.

— Хорошо! Пусть так, не было у меня мигрени, мне просто нездоровилось.

— Вишенки ваших губ, розочки ваших щечек, влажный блеск ваших очей позволяют мне считать, что вам уже лучше и что ваше недомогание — чистая химера.

— Аббат, вы несносный варвар. Я умираю, а вы в упор расстреливаете меня грубыми комплиментами насчет моей свежести и здорового вида. Немедленно признайте, что я опухла и покраснела! Взгляните на потолок, сравните меня с одной из римских богинь, у которых круглые, словно яблоки, щеки и груди, как у кормилиц[10].

— Ну, ну, не гневайтесь, не стоит: каюсь, не разглядел и имел неосторожность восхищаться вами по привычке. Теперь я в самом деле нахожу, что вид у вас, как на похоронах или наутро после бала. Дайте-ка мне вашу маленькую беленькую ручку, я пощупаю пульс. Я кое-что смыслю в медицине и даю советы, которыми не следует пренебрегать.

С томным выражением, которое резко контрастирует с лилиями и розами ее личика, госпожа де Шанрозе протягивает аббату свою точеную руку, утопающую в пышной кружевной манжете. Аббат нежно зажимает запястье маркизы большим и указательным пальцами.

Он делает вид, что с глубоким вниманием слушает и считает удары пульса, и если бы его доброе круглое лицо, на котором смех навечно оставил две ямочки, могло принять озабоченное выражение, то в этот момент аббат показался бы даже серьезным.

Маркиза смотрит на него взволнованно, сдерживая дыхание, как человек, ожидающий приговора.

— Ну, теперь вы убедились? — говорит она, заметив сокрушенную мину аббата.

— Ох, ох! — вздыхает аббат. — Ваш пульс не говорит ничего хорошего, мой палец чувствует, как плохо себя ведет эта маленькая голубая венка, она чертовски непостоянна[11].

— Я тяжело больна? — забеспокоилась маркиза.

— О нет, — заверил ее аббат, — здесь и речи нет о заурядных болезнях вроде простуды, лихорадки или воспаления легких, о недугах, которые касаются Троншена или Бордьё[12], но я всерьез подозреваю: тут затронута душа.

— Душа! Ну разумеется! — воскликнула маркиза, радуясь, что ее так хорошо поняли.

— За этим кроется какая-то сердечная рана, — продолжал аббат, — тут чувствуется рука Купидона. Маленький хитрый божок не всегда почтителен к маркизам.

Услышав это заявление, госпожа де Шанрозе в высшей степени пренебрежительно возразила:

— Сердечная рана, фи! За кого вы меня принимаете, неужели я похожу на влюбленную гризетку?[13]

— Это было всего лишь предположение, беру его назад.

— Боюсь, в последнее время вы вращаетесь в дурной компании и слишком часто навещаете всяких буржуа, иначе подобное обвинение не пришло бы вам в голову.

— Возможно, вдовство тяготит маркизу и по вечерам она скучает от одиночества в своем огромном особняке?

— Решительно, ваш ум деградирует. — Маркиза испустила короткий звонкий смешок, в котором слышалось простодушное высокомерие знатной дамы.

— Так что же с вами, раз мой диагноз ложен, а мои познания терпят поражение?

— Мне скучно! — удрученно ответила маркиза, откинувшись на спинку кресла.

При этих словах лицо аббата приняло выражение крайнего изумления, ямочки сморщились, а глаза, тревожные и вопрошающие, неподвижно уставились на маркизу. Восемнадцатый век не скучал со своими безделушками, фарфором, вычурными трюмо, поздними ужинами, легкими победами, игривыми куплетами, фривольными картинками, канапе, табакерками, мопсами и философами[14].

Нет, это развеселое восемнадцатое столетие не оставляло времени для грусти! Потому слова маркизы ошеломили аббата и показались ему лишенными всякого смысла.

— Чтобы маркиза с двумястами тысячами ливров[15] чистого дохода, красавица и в восемнадцать лет вдова такого мужа, — аббат указал на выполненный пастелью овальный портрет, где в ратных доспехах Марса[16] кривлялся желтый, сухой, морщинистый старец лет шестидесяти, — чтобы сия бесподобная женщина утверждала, что ей скучно, нет, ни за что не поверю.

— Тем не менее это так...

— Вы, чья жизнь — сплошное веселье, игры и забавы, вы скучаете?

— Что мне делать, как выйти из столь пагубного состояния?

— А что, если вам вместо вашего озорника-капуцина взять уистити[17], а вместо мопса — негодника?[18]

— Неплохая мысль, я попробую, но боюсь, этого будет мало.

— На вашем месте я сменил бы обои в этой комнате, в голубом цвете есть нечто томное, наводящее тоску, в вашем положении нужно что-то более яркое, более радостное. Как вы посмотрите, например, на нежно-розовый?

— Да, нежно-розовый с серебристым глянцем несколько отвлечет меня от моих черных мыслей, я вызову обойщика. А пока придумайте, чем меня развлечь.

— Хотите, я вам почитаю? У вас весь стол завален книгами, брошюрами, сборниками афоризмов самых разных авторов. Дело не в том, что я ценю всяких писак и бумагомарак, но порой среди нелепостей, которые эти типы извлекают из своих бестолковых голов, попадаются забавные штучки, над коими можно вдоволь посмеяться. Вот «Погремушка»[19], «Шумовка», «Утра Цитеры»[20], — перечислял аббат, листая томики. — Как вам понравится речь феи Усыни, которую превратил в кротиху злой дух Нарцисс, то место, где она перечисляет Танзаю и Неадарне достоинства своего возлюбленного принца Баклана?[21] Это прекрасный отрывок.

Маркиза де Шанрозе кивнула в знак согласия, устроилась поудобнее в глубоком кресле, положила на табурет ножки в туфельках без задников, ножки, которые даже в Китае не сочли бы слишком крупными, и, казалось, исполнилась решимости внимать шедевру.

Аббат принялся за панегирик[22] Баклану совершенно неподражаемым жеманным тоном:[23]

— «Принц танцевал лучше всех на свете, и никто так грациозно не приседал в реверансе; он разгадывал любые загадки, играл во все игры и побеждал в состязаниях и на ловкость, и на выносливость, от тру-мадам[24] до игры в мяч[25]. Внешность его была чарующей и облечена, простите за выражение, редкостной красотой; он пел приятным голосом и умел аккомпанировать себе на любом музыкальном инструменте...

Я перечислила далеко не все его таланты. Принц слагал дивные стихи, а его речи, как игривые, так и серьезные, равно пленяли своей тонкостью и основательностью. Осмотрительный со скромницами, раскованный с кокетками, ласковый с неженками — при дворе не осталось ни одной дамы, в чьем сердце он не вызвал бы ревность.

Будучи на голову выше всех, он не избегал общества, с каждым был непритворно обходителен и никогда не нарушал приличий. Он превосходно владел нашим искрометным жаргоном: слушать его было наслаждением, и, хотя суровый божок, называемый здравым смыслом, не всегда ладил с содержанием речей принца, они ничего не теряли благодаря своей непередаваемой изысканности. Более того, будь здравый смысл, прикрытый восхитительным ворохом метких слов и удачных выражений, одет не так легко, он показался бы приторным и банальным даже самым фанатичным своим приверженцам».

Едва заметный зевок, сдержанный из вежливости, свел челюсти госпожи де Шанрозе, поначалу улыбавшейся нескончаемым достоинствам принца Баклана.

— «Здравый смысл, — продолжал аббат, — сам по себе ничем не примечателен. Он предстает таким, каков он есть, боится утонуть в шутках и отшатывается в испуге, когда сталкивается с непривычно повернутой мыслью или с милым сердцу чистым вымыслом.

Если же он все-таки побеждает, то слишком оскорбительным для людей образом, и даже величайшие самолюбцы в свете здравого смысла кажутся себе столь мелкими, грубыми и отвратительными, что понимают: было бы верхом глупости не порвать с ним раз и навсегда».

— Аббат, пощадите! — Маркиза кокетливо зевнула, показав превосходные белые зубки. — Несомненно, то, что вы читаете, прекрасно и ни с чем не сравнимо, но я все равно ничего не пойму и у меня нет ни малейшего желания напрасно тратить силы.

Томик вернулся на стол. Доложили о посетителях: маленьком шевалье[26] де Вертее, толстом командоре де Ливри и финансисте Бафоне — эдаком Мидасе, превращавшем в золото все, до чего он дотрагивался, но без ослиных ушей[27], хотя они очень бы ему пошли.

Все дружно согласились, что глаза маркизы де Шанрозе несколько потускнели, а личико вызывает беспокойство, хотя как всегда прелестно, только маленький шевалье разволновался и объявил позором всей французской молодежи, что очаровательная маркиза умирает от скуки посреди развеселого царствования Людовика XV Возлюбленного.

Решили, что прогулка пойдет маркизе на пользу, что атмосфера будуара, пропитанная ароматом амбры[28], действует на нервы, вызывает недомогания и хандру и что свежий воздух всенепременно их развеет. Ше-

валье пообещал не дурачиться, командор поклялся не упоминать о своих победах, Бафонь заверил, что поймет плоские остроты шевалье самое большее с трех раз, а аббат, которого призывал долг, намеревался вновь присоединиться к компании у Поворотного моста[29], где после прогулки по Кур-ла-Рен[30] все поужинают, прежде чем отправиться в Оперу.

Глава II

Сказано — сделано: четверку молочно-белых лошадей запрягли в коляску нежно-лилового цвета, отлакированную Мартеном[1] и похожую на раковину Венеры[2].

Маркиза томно откинулась на подушки из белого бархата. Для начала шевалье с особой пикантностью разнес в пух и прах всё и вся, двор и город, он рассказывал скандальные истории с невероятно живыми и в меру солеными подробностями, дабы не заставлять целомудренную даму искать укрытия за веером.

Командор принялся было рассказывать о своих похождениях с одной фигуранткой[3], но вовремя остановился. Финансист производил впечатление сообразительного человека... для финансиста.

Кучер подрезал все экипажи с неслыханной наглостью, происходившей от веры всякого слуги знатного дома в могущество своих господ. Казалось, вечер удался на славу. Повар превзошел самого себя, все согласились, что блюда сегодня изысканны, а аббат нашел предложенные вина восхитительными — он считал себя гурманом и не усматривал в том ни малейшего греха.

В Опере пели «Галантную Индию»[4] менее крикливо, чем обычно, благодаря Жан-Жаку Руссо, гражданину Женевы[5], который в своих статьях подверг публичной критике *urlo francese*;* танцовщики исполнили балет, где любовные чувства изображались с помощью сладострастных, но пристойных поз, наполнявших душу нежной истомой, но, несмотря ни на что, вернувшись поздно вечером домой, госпожа де Шанрозе по-прежнему скучала!

Неужели маркиза обладала одним из тех дурных желчных характеров, одним из тех нелюдимых нравов, что видят во всем лишь изнанку и замыкаются в мрачных грезах?

Благороднейшего происхождения, всегда вращавшаяся в избранном обществе, свободная от средневековых предрассудков относительно гнусной добродетели, которые мешали бы ей искать счастья в удовольствиях,

---

* французский вой[6] (*ит.*).

госпожа де Шанрозе вовсе не чуралась романических идей и при этом никак не могла избавиться от ощущения, что ей заранее известны все шутки шевалье и все арии «Галантной Индии».

Она уже не раз прогуливалась по Кур-ла-Рен в открытой коляске, впереди которой бежал скороход Альманзор[7], быстрый и легкий, точно лань. И не впервые она ужинала на Поворотном мосту, а потому, хотя ее душе были противны новинки дурного толка, маркизе хотелось чего-то более увлекательного и живого.

Когда Жюстина[8] явилась к своей хозяйке, чтобы помочь ей приготовиться ко сну, она застала госпожу в крайне подавленном состоянии и на правах любимой горничной, чьи верность и услужливость позволяют некоторую фамильярность, осмелилась задать несколько вопросов; маркиза отвечала с той сердечной откровенностью, что отличает человека страждущего и желающего облегчить разговором свою боль. Два года назад маркиза де Шанрозе потеряла мужа, к которому из-за чрезмерной разницы в возрасте не испытывала ничего, кроме почтения; с тех пор, не подпуская никого слишком близко к сердцу, она дозволяла мужчинам только ухаживать за собой, и Жюстина, не будь она воплощенной скромностью, могла бы утверждать, что если ее госпожа и походила на какую-нибудь античную даму, то только не на прекрасную Артемисию, вдову Мавсола[9].

Выслушав рассказ хозяйки о ее горестях, Жюстина спросила самым почтительным тоном:

— Похоже, у госпожи сейчас нет любовника?

— Нет, моя бедная Жюстина, — обескураженно ответила госпожа де Шанрозе.

— Госпожа сами виноваты, ведь воздыхателей у них хоть отбавляй, даже я знаю дюжину самых знатных господ, которые ходят на задних лапках перед их совершенством.

— О! Еще бы, я не настолько уродлива, чтобы отпугивать мужчин. — Маркиза бросила взгляд в трюмо.

— Шевалье де Вертей без ума от госпожи.

— Сколько луидоров он тебе дал, чтобы ты утром и вечером нашептывала мне на ушко его имя?

— Госпожа знают, что я само бескорыстие. Страсть шевалье не оставляет меня равнодушной, вот и все. Но раз он не нравится госпоже, есть еще командор де Ливри, он тоже их обожает.

— Да, он любит меня чуть больше, чем Розу или Ла Дезобри[10]. Что с того, что шевалье и командор потеряли из-за меня голову, ведь моя-то остается на месте. Мне хотелось бы полюбить кого-нибудь юного, свежего, чистого, наивного, еще не утратившего веры в любовь, и чтобы я была

у него единственной возлюбленной, мне надоело делиться с оперными танцовщицами и продажными девицами!

— Это труднодостижимо, — вздохнула Жюстина, — если не невозможно.

— Почему, Жюстина?

— Господа герцоги, маркизы, виконты и шевалье не обладают достоинствами, которые позволяют любить так, как угодно госпоже.

— Ты думаешь?

— О! Я уверена, женщины бросаются им на шею из тщеславия, кокетства или корысти, так что карманы этих господ полны любовных записок, медальонов с портретами и прядями волос, и, потом, Опера, как рассказывали госпожа, самое ужасное место для нежных чувств.

— Итак, на твой взгляд, Жюстина, знатные светские люди не способны на чувство, которого я желаю?

— Никоим образом, и, если только госпожа маркиза не отступят от своих правил, боюсь, их мечта никогда не сбудется.

— Отступить? Ты думаешь, что говоришь, Жюстина?

— Я не смею давать госпоже совет, я всего лишь размышляю вслух.

— Я не могу опуститься ниже барона.

— Бароны начисто лишены простодушия.

— Ладно, выберу себе поклонника из берейторов.

— Они очень испорчены нынешними нравами!

— Но не могу же я связаться с простолюдином!

— Только он полюбит вас.

— Да это чистое безумие!

— Любовь — наше достояние, у простых людей нет ни титулов, ни замков, ни карет, ни бриллиантов, ни загородных домиков[11].

— Как ты заговорила!

— Приходится дорожить любовью, прочие удовольствия нам не по карману.

— Так у тебя есть возлюбленный, страстный, нежный, верный?

— Раз госпожа сами догадались, не стану отпираться.

— Несомненно, какой-нибудь принц в ливрее, мой скороход Альманзор или ловчий маркиза Азолан?[12]

— Простите, госпожа, но слуги знатных господ порочны почти так же, как их хозяева.

— Так кто же он?

— Обыкновенный парень, простой сиделец[13] на жалованье, вся его красота — в здоровом румянце, а все его достоинства — в том, что он любит меня как зверь.

— Такая любовь — это благодать. Ты, наверное, очень счастлива!

— Да, особенно в те дни, когда я не нужна госпоже и они позволяют мне отлучиться. Этим вечером, например, если вы соблаговолите отпустить меня, я пошла бы потанцевать в Мулен-Руж, там празднуют свадьбу моей кузины.

— Она красива, твоя кузина?

— Не то слово! Голубые глаза, ресницы длиной с палец и с виду сама добродетель.

— Кто же там будет?

— О! Очень зажиточные люди, буржуа, у которых есть собственная крыша над головой, сыновья и дочери торговцев, клерки судебного исполнителя и прокурора, еще там будут скрипач, флейтист и тамбурист, все поужинают, а утром отправятся за сиренью в Пре-Сен-Жерве[14].

— Мне захотелось туда пойти, новые лица меня развлекут. Наверно, они выглядят очень необычно!

— Если это позабавит госпожу, то нет ничего проще. Я одену их в один из моих нарядов и выдам за свою кузину. В платье с казакином[15] из плотной тафты в белую и розовую полоску, с тонким батистовым платком, гладкой прической и кружевной накидкой госпожа будут совершенно неузнаваемы и в то же время, как всегда, прекрасны.

— Ты льстишь мне... Думаешь, твои вещи в самом деле подойдут мне?

— Мы почти одного роста, только у госпожи талия поуже, но одна складочка и две булавочки все уладят.

Госпожа де Шанрозе, взбодрившись от пикантной фантазии, напрочь забыла о меланхолии, только что полностью владевшей ею; она оставила и скучающий вид, и томные позы. Глаза ее заблестели, маленькие розовые ноздри затрепетали.

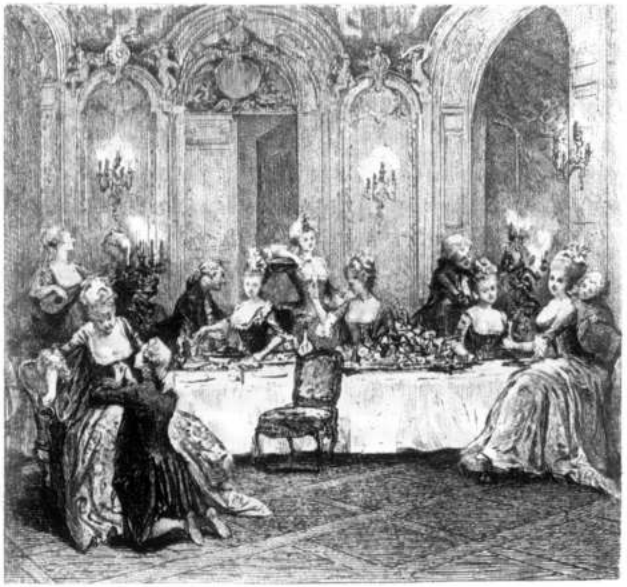
Она сама помогла Жюстине натянуть на свои точеные ножки тонкие шелковые чулки жемчужно-серого цвета с красными стрелками и надеть прелестные ботиночки с серебряными пряжками. Замысловатое сооружение из волос, с таким тщанием и трудом возведенное утром, было разрушено несколькими взмахами щетки. И госпожа де Шанрозе при этом ничуть не утратила привлекательности.

Простое платье Жюстины оказалось маркизе впору: в те времена горничные, подражая субреткам[16] из комедий, нередко были сложены не хуже своих хозяек, а иногда даже лучше, но Жюстины это не касалось, так как госпожа де Шанрозе не была обязана своими прелестями тайной поддержке хитроумных предметов туалета[17].

Ей нечего было скрывать, нечего исправлять, она была красавицей даже в глазах собственной служанки, в отличие от некоторых мужчин, которых ни в грош не ставят их камердинеры[18].

Жюстина послала за фиакром[19], тот встал у маленькой садовой калитки, и маркиза, опустив до самых глаз капюшон пелерины из сизой тафты, радостно уселась в наемную повозку. Подстегнув своих кляч, кучер направил их в сторону Мулен-Ружа в полной уверенности, что везет на танцы двух горничных.





Глава III

Приблизительно в тот час, когда госпожа де Шанрозе покинула свой особняк в облике принарядившейся по случаю воскресного вечера гризетки, Ла Гимар[1], знаменитая танцовщица Королевской академии музыки и танца[2], принимала гостей.

На ужин собралось несколько самых именитых людей Франции, которые не брезговали общеcтвом этой, как называл ее господин де Мармонтель, прóклятой красотки[3], лишь бы развеять скуку, что навевало на них более приличное общество.

Обеденный зал, убранный со вкусом, делавшим честь уму знаменитой куртизанки, и с шиком, говорившим о щедрости господина де С***, объединял в себе все, что ненавязчивая роскошь может поставить на службу утонченной изысканности. Самые ценные, баснословно дорогие породы мрамора, использованные для отделки стен, и позолота, нанесенная весьма кстати, без излишества, в котором так и чувствуется поставщик или финансист, служили достойным обрамлением картинам, принадлежавшим мягкой легкой кисти господина Фрагонара[4], ученика граций и рядового живописца Терпсихоры[5]. Маленькие амуры с голыми ягодицами,

увитыми розами, собирали в корзины дары Цереры, Бахуса и Помоны[6], а один из крылатых проказников принимал из рук Амфитриты[7] разноцветных рыб и омара, который ухватил его за пальчик, заставив скорчить самую прелестную в мире рожицу; гирлянды фруктов и цветов, написанные яркими и смелыми мазками, связывали между собой эти медальоны[8], к которым автор приложил все свое старание из признательности своей любезной покровительнице.

Стол был накрыт с невиданным вкусом и изобилием: только диковины, ранние плоды и изысканные блюда да вино из Ай и Силлери[9]. Это истинно французское вино, что играет и пенится в бокалах и, кажется, смеется от шуток, охлаждалось в наполненных льдом серебряных ведерках с гравировкой Жермена;[10] слуги то и дело подносили новые бутылки, и шампанское умножало веселье гостей.

Люди, менее привычные к подобному великолепию, могли забыть о еде при виде большого плато — шедевра Клодиона[11], в коем ваятель, блиставший в творениях подобного рода, превзошел самого себя.

Это плато из позолоченной бронзы представляло историю нимфы Сиринги, за которой в зарослях тростника гнался великий бог Пан;[12] за сим образчиком похотливого божества следовала толпа эгипанов[13], сатиров[14] и фавнов[15], которые дразнили, ловили, обнимали и опрокидывали подружек Сиринги в камыши и листья, создававшие живописные мотивы орнамента.

Фигурки отличались такой свободой исполнения, их позы были столь сладострастны, а жесты столь красноречивы, что казались живыми и свидетельствовали о пылком воображении и чудесной легкости скульптора в обращении с галантными темами; особенно очаровательными вышли нимфы, в их стыдливости, смешанной со страхом, не чувствовалось ничего излишне дикарского.

Испуганная Сиринга самым выгодным образом обнажала собственные прелести, которые тщетно пыталась защитить. Тростник и травы, кстати расступаясь или смыкаясь, позволяли увидеть все, не показывая ничего.

Знатоки утверждали, что узнают в фигурах нимф черты самых модных красавиц (это предположение не имело под собой никакой почвы), а в масках сатиров и эгипанов — лица откупщиков[16], ростовщиков и даже некоторых старых вельмож, известных своим сластолюбием.

Общество было не многолюдным, зато избранным: его составляли четверо или пятеро мужчин и почти столько же женщин.

Мужчины, как мы сказали, принадлежали к высшему свету, к самым приближенным ко двору семьям, женщины же были порочными, проклятыми, комедиантками, для коих сцена служила лишь прикрытием,

ибо, неизвестно по какой причине, хорошая компания, когда хочет развлечься, вынуждена водиться с плохой, и это заставляет думать, что порок более привлекателен, чем добродетель, — умозаключение, которое предстоит опровергнуть морали.

Ла Гимар председательствовала за ужином с той остроумной любезностью, удовольствием и пылом, которые делали ее великой жрицей наслаждения — религии, насчитывавшей немало приверженцев в галантном восемнадцатом веке.

Ее знаменитая худоба объяснялась тем, что балерина сознательно жертвовала некоторыми женскими округлостями ради легкости танца: и эта худощавость, в которой не было ничего отталкивающего, лишь усиливала впечатление утонченности, грациозности и стройности. Корсаж, хрупкий, будто тельце бабочки, непринужденно обнимал ее талию, лишенную пышных форм, а сверкающая юбка словно образовывала крылышки.

Нежными прозрачными пальцами она поигрывала бриллиантовыми кольцами, которые не смогла бы надеть даже десятилетняя девочка.

Плоская грудь, бесстрашно обнаженная, напоминала мальчишескую, но, скажем прямо, у Ла Гимар даже этот недостаток выглядел как достоинство.

Ее благородная белая шея казалась не толще стебелька, и потому танцовщица, осторожно поворачивая голову, походила на цветок или птичку.

По жадным глазам, которые светились несбыточными фантазиями и оживляли деликатно подрумяненное бледное лицо, можно было вычислить, сколько миллионов, брошенных на ветер, сколько промотанных состояний стоила эта пылкая худощавость.

Многие женщины любят удовольствия и роскошь. Ла Гимар слыла их гением.

Лица трех прочих актрис отличались тем пастельным цветом кожи, что напоминает бело-розовое облачко с лазоревыми прожилками. Глаза с поволокой, пронизанной насмешкой и вожделением, неправильные носики — ни греческие, ни римские, полные капризности и здравого смысла, губки сердечком, готовые и к поцелуям, и к сарказму, ямочки, в которых улыбка дает приют амурам, украшали эти подвижные, возбужденные, пикантные, столь гармонирующие с нравами, искусствами и модами эпохи личики того типа, который ныне утрачен.

Их наряды, с очаровательным безумством усыпанные бантиками и бабочками, цветами и драгоценностями, радовали глаз приятными нежными расцветками, так как в соответствии со временем года дамы были одеты по-весеннему и носили розовые, небесно-голубые и салатовые цвета, только Ла Гимар, несомненно для антифразы[17], была в белом, словно

весталка[18], и во всем облике танцовщицы выделялись лишь слегка подкрашенные губы и скулы.

Казалось, пламя свечей озаряет только Ла Гимар, словно указывая на нее как на королеву праздника.

И в целом собрание получилось столь живописным, что даже сам господин Фрагонар, пожелай он запечатлеть его на полотне, расположил бы группы и расставил акценты так и никак иначе.

Разумеется, если бы человека молодого или даже зрелого спросили, знает ли он более приятный способ убить время, чем отужинать в зале, освещенном сотней свечей, с самыми остроумными придворными и прекрасными женщинами из Оперы и Комедии[19], он ответил бы, что нет, ничто не сравнится с удовольствием поднять бокал шампанского за здоровье первой красавицы, сидя между двумя восхитительно нарядными нимфами, чей смех звенит, а щеки, несмотря на пудру и грим, пылают от неги и наслаждения.

Глава IV

Так вот, похоже, сие времяпрепровождение мало радовало виконта де Кандаля[1]. Откинувшись на спинку стула, он печально и равнодушно ждал, пока осядет пена, шипевшая в его хрустальном фужере, и можно будет поднести последний к губам, дабы ответить на тост, который, стоя и оперевшись одной рукой на стол, только что произнесла прекрасная Ла Гимар:

— За господина виконта де Кандаля, или, иначе говоря, за Мрачного Красавца.

— Да, за здоровье нового Амадиса Галльского![2] — хором воскликнули остальные гости, протянув бокалы в сторону виконта.

Кандаль, чокнувшись с каждым, молча опустошил свой бокал и поставил его на стол.

— Быть может, наш дорогой виконт, — улыбнулась красавица, чьи глаза, и без того живые, еще сильнее блестели благодаря удачно наложенному гриму, — получил какое-нибудь неприятное известие? Неужели его дядюшка, чьим наследником является виконт, дядюшка, который, казалось, понимает, что смешно не умереть в семьдесят лет, выгнал всех докторов и начал новую жизнь?

— Замолчи, Сидализа, — оборвала ее высокая девушка в светло-зеленом платье из расшитой серебром тафты, полная противоположность своей соседке, — господин де Кандаль еще не пал так низко, чтобы вздыхать о наследстве, этот несравненный единственный сын проедает свое

законное состояние, и у виконта столько денег, что в Опере его будут любить еще лет пять.

— О! — протянула Сидализа. — Когда у виконта кончатся деньги, ему дадут кредит и будут любить за долговые расписки, которые он оплатит из приданого своей будущей жены.

— А я, — светловолосая красавица в сладострастном забытьи склонилась к уху виконта, — я буду любить его просто так.

— Это обойдется вам слишком дорого, Розетта. — Кандаль дружески похлопал молодую женщину по обнаженному трепещущему плечику. — Думаю, в самом крайнем случае я залезу в долги под залог будущего наследства и объяснюсь в любви Сидализе, но успокойтесь, я разорен не более чем обычно, и у меня по-прежнему найдется в запасе несколько тысяч луидоров, чтобы пустить их на ветер.

— Тогда что же с вами, Кандаль? — вмешалась в беседу Ла Гимар. — Вы мрачны как никогда, вас не узнать. Вы всегда так остроумны, за словом в карман не лезете, а сегодня столь серьезны, что просто страшно. Вы похожи на прокурора, восседающего на лилиях[3]. Но мы, мой дорогой, никого не судим.

— И правда, у бедного Кандаля самое печальное в мире выражение лица, и он дурно обращается с бутылками и красотками, — закричал с другого конца стола маркиз де Вальнуар[4], на котором уже сказались многочисленные возлияния Бахусу и который уже не раз получил веером по пальцам от своей не слишком строгой соседки.

— Я исповедую его. — Белокурая Розетта взяла виконта за руку и увлекла в глубину залы к роскошному рокайльному[5] пафосу[6], что сулил самые благоприятные возможности для душевных излияний. — Брат мой, сначала вы должны стать на колени, это обязательно для кающегося грешника, — заявила Розетта суровым назидательным тоном.

— Не буду нарушать традиции, — ответил виконт, — особенно когда у исповедника такие ласковые глазки и нежный голосок.

Он опустился на колени, и Розетта склонила к нему свою прелестную головку.

— Какие угрызения совести вас тревожат, отчего вы бродите по свету с такой скорбной и обиженной миной? Какая победа ускользнула от вас? Какую невинную девицу или какого супруга вы помиловали в порыве нелепой добропорядочности? Ведь именно таковы ошибки, от которых нет утешения.

— Не могу упрекнуть себя ни в чем подобном. Невинность — я не встречал ее нигде. Что до мужей, то в них слишком много от Вулкана[7], чтобы я их жалел, в общем, с этой точки зрения моя совесть чиста.

— Раз вы не совершали этих прегрешений, я отпускаю вам ваши грехи. И незачем больше стоять на коленях, сядьте рядом и поцелуйте мне руку в качестве епитимьи[8].

Кандаль поднялся и галантно прижал губы к изящной пухленькой ручке Розетты.

— Объясните же мне, откуда это похоронное настроение. Если ваше лицо омрачают не угрызения совести, то печаль, а от чего вам печалиться? От неразделенной любви? В вашем случае это невозможно.

— Вы мне льстите, но мне недостает главного условия для этого несчастья, поскольку я никого не люблю.

— Знаете, то, что вы сейчас сказали, не галантно и не по-французски. Учтите, в Париже светский человек всегда предположительно влюблен в женщину, с которой говорит.

— Вы не женщина, вы мой исповедник.

— Отнюдь. Вы уже не на коленях, и мы беседуем. Фи! Господин виконт... Я женщина и очень даже женщина.

— Ладно, малышка, будь я в тебя влюблен, то не грустил бы, поскольку ты не привечала бы меня, как гирканская тигрица[9], если, конечно, верить тому, что ты недавно нашептала мне на ушко.

— А что я сказала?

— Что будешь любить меня, даже если я разорюсь.

— Да, но поскольку вы не разорены, я вас больше не люблю; я совершила бы сей благородный поступок, если бы вы были бедны. Тому, кто привык получать все, что пожелает, иногда нравится давать, это ни с чем не сравнимое наслаждение.

Тут веселый и насмешливый тон Розетты вдруг смягчился, а красивые голубые глаза наполнились нежностью, которая поразила Кандаля.

— Какая жалость, что я не беден, как поэт! Хотелось бы мне достичь того состояния, в котором вы полюбили бы меня! Готов для этого играть в карты ночи напролет.

— Но вы же можете выиграть.

— Тогда я стану устраивать судьбу добродетельных девушек, раздавать пожертвования академиям и строить водные каскады в саду моего замка — это разоряет даже королей[10].

— В этом не было бы необходимости, — Розетта расправила складки своей пышной юбки, — если бы вы меня хоть чуточку любили; я, так и быть, согласилась бы стерпеть ваше богатство, но в вашей душе нет ни малейшей искры любви.

— Только что это было правдой, но теперь, возможно, уже нет. — Кандаль приблизился к Розетте настолько, насколько позволяли фижмы[11], и взял ее руку, которую она уступила без сопротивления.

— Итак, вы узнали секрет Кандаля? — Маркиз де Вальнуар, которого удерживала на ногах лишь привычка к обильным возлияниям, приблизился шаткой походкой к уединившейся на время паре.

— Да, узнала, — Розетта встала, не отнимая руки у виконта, — он поверил мне свои несчастья, и я возвращаю его вам совершенно утешенным.

— Черт! Какая утешительница! Надо поручить ей исцеление отчаявшихся! — прогремел маркиз де Вальнуар, шутливо препровождая парочку к столу.

Виконт де Кандаль, если и не был полностью излечен, несомненно стряхнул с себя часть меланхолии, его глаза снова заблестели, он с изяществом и остроумием отвечал на колкости, посыпавшиеся на него со всех сторон, и Ла Гимар признала, что вредные пары, портившие настроение молодому человеку, полностью улетучились и она узнает прежнего Кандаля.

Все подняли бокалы за здоровье Розетты, сотворившей чудо, и добросовестно осушили их до последней капли благодаря строгой бдительности маркиза де Вальнуара, который следил за тем, чтобы никто не уклонялся от возлияний и никому не дозволял оставаться трезвее его самого.

Посреди вакханалии, которая последовала за этим тостом, Кандаль и Розетта потихоньку вышли. Их уход остался незамеченным — настолько все были заняты собой.

Розетта, которая намеревалась уехать позже с той же самой подругой, что подвезла ее к Ла Гимар, поднялась в двухместную коляску, называемую визави[12], виконта де Кандаля.

Этот экипаж, в котором одно сиденье расположено напротив другого, похоже, изобрела сама любовь, дабы облегчить признания и ласки; многие влюбленные обязаны случайному толчку счастьем, о коем у них не хватало смелости попросить.

Ножка встречается с ножкой, колено задевает колено, руки соприкасаются, губы и щеки устремляются друг к другу. Стоит только громадному кучеру, захмелевшему сильнее, чем обычно, внезапно заехать колесом в канаву, и мало кто из скромников выйдет из этой коляски таким, как прежде.

Розетта, как можно догадаться, не была отчаянной недотрогой, Кандаль не грешил излишней суровостью, и что же! Мы смеем утверждать то, во что никто не поверит: за все время пути, которое было довольно долгим, поскольку кучер виконта обладал достаточным умом, чтобы не подстегивать лошадей, когда хозяин находится в коляске с красивой женщиной, Кандаль не позволил себе ни малейшей вольности, несмотря на то что Розетта часто наклонялась к нему и выдавала свои чувства легкими вздохами и дрожью, заставлявшей трепетать букет на ее груди.

Да, тем вечером случилось это неправдоподобное для восемнадцатого столетия событие.

Кандаль довез Розетту до дома, не получив от нее ни одного поцелуя, и, попрощавшись, оставил на пороге.

Сев в коляску, он зевнул и сказал:

– Господи! До чего ж мне надоели эти девицы и ужины! Как бы провести остаток ночи? А что, если ненадолго забыть о том, что я виконт, и отправиться инкогнито на танцы, о которых рассказывал Боннар[13] и где должны быть хорошенькие мещаночки и простолюдинки, гораздо свежее всех этих набивших оскомину кукол, напомаженных и лоснящихся точно идолы, отполированные поцелуями преданных поклонников!

Розетта, с которой никогда не приключалось ничего подобного, мечтательно вверила себя заботам горничных, которые переодели свою хозяйку, и легла в одиночестве, похоже, удивлявшем и огорчавшем ее.

– Ах! Кандаль, Кандаль! – шептала она, засыпая.





Глава V

Госпожу де Шанрозе, которую мы оставили в фиакре вместе с верной Жюстиной, сильно позабавила езда в наемной колымаге, качавшейся на скрипучих рессорах. Они ехали довольно долго, несмотря на то, что кучер, которому обещали щедрое вознаграждение, без жалости подхлестывал своих росинантов[1]. Каждый раз, когда из-за неровностей отвратительной мостовой шаткий кузов наклонялся то в одну, то в другую сторону, маркиза вскрикивала и заливалась звонким смехом. Неудивительно, что дорога была разбита: в ту пору господин начальник полиции был более занят поиском скандальных историй для развлечения короля, своего повелителя[2], нежели удобством горожан.

Наконец они прибыли, поскольку именно этим всегда заканчивается поездка, даже если отправиться в путь на фиакре.

Маленький савояр[3] с фонарем галантно подставил дамам локоть, и те с подчеркнутой неловкостью спустились по скользкой подножке, что дало им возможность на мгновение показать толпившимся у дверей зевакам точеные лодыжки и хорошо натянутые чулки.

Праздник уже начался, ярко освещенные окна Мулен-Ружа свидетельствовали, что его распорядители, хотя и буржуа, не поскаредничали и не поскупились на масло, доставленное одним щедрым бакалейщиком; торговцы мебелью принесли лавки и гирлянды бумажных цветов, таким образом зала, против ожидания, оказалась не слишком безвкусна.

В одном из дверных проемов возвышались подмостки, прикрытые с боков чехлом в латунных бляхах. Там расположились музыканты: скрипач, который, пропиликав свою партию в спектакле у Одино[4] или в Королевском Гран-дансёр[5], не гнушался, играя бурре[6] и ригодоны, подзаработать ливра три за остаток ночи; тамбурист, что громко притоптывал, не надеясь на свой слух, и флейтист, не позволявший себе фальшивить слишком часто.

Конечно, господин Рамо, непревзойденный сочинитель весьма замысловатых музыкальных композиций[7], нашел бы это трио несколько худосочным и варварским, но в конечном счете оркестр справлялся с тем, что от него требовалось, восполняя малочисленность пылом: скрипач кривлялся как одержимый, яростно рвал жилы инструмента и то и дело выдавал самые пронзительные на свете звуки; флейтист надувал щеки не хуже помощника Эола в балете ветров и дул в свою дуду так, что у него побагровело лицо; тамбурист будто бесноватый ударял по ослиной коже, грозя порвать ее, и все трое, боясь сбиться, громко выстукивали такт ногами, словно деревенские музыканты, и поднимали облако пыли с дощатых подмостков.

Рядом с этими амфионами[8] стоял кувшин с вином, из которого они по очереди пили большими глотками. Хозяин Мулен-Ружа любезно пополнял сей сосуд, зная по опыту и судя по неутолимой жажде музыкантов, что нет ничего солонее музыки.

Мелодии, гремевшие уже на лестнице, рассмешили госпожу де Шанрозе, она сама была весьма искусна в игре на клавесине и сумела расслышать вольности, которые этот сборный оркестр позволял себе в обращении с музыкальной грамотой.

По пути госпожа де Шанрозе соизволила посоветовать Жюстине не выказывать ей обычное почтение, ибо для кузин оно выглядело бы неестественно.

Она даже приказала обращаться к ней на «ты», и поскольку не могла назваться своим настоящим именем, то остановила свой выбор на Жанетте, как имени одновременно простом, пасторальном и нежном.

Когда Жюстина появилась в сопровождении Жанетты, все с большой поспешностью устремились ей навстречу, и горничная самым непринужденным образом представила свою мнимую кузину; любезное собрание разразилось комплиментами, которые, хотя и не отличались ловкими обо-

ротами, принимались с немалым удовольствием: боги, короли и женщины верят любым хвалам, и госпожа маркиза нашла, что эти мелкие буржуа обладают бóльшим вкусом, чем полагают, и что некоторая неуклюжесть не всегда вредит мадригалам[9], поскольку свидетельствует об искренности. Слишком гладкие формулировки внушают недоверие.

Так, госпожа де Шанрозе, которой не сильно льстило, когда аббат или командор сравнивали ее с Гебой, покраснела от удовольствия, услышав, как юный сын москательщика[10] с улицы Сент-Авуа[11] сказал, поравнявшись с ней: «Вот это щечки... персик! Так бы и укусил!»

Правду сказать, не часто удается лицезреть что-то прелестнее, милее, свежее и утонченнее мнимой Жанетты.

Хотя она привыкла носить роскошные платья, как принцесса, с благородным бесстыдством знатной особы, простой костюм гризетки шел ей больше.

Котильон[12] подчеркивал ее грациозность выгоднее, чем шестиаршинные фижмы[13].

Сбросив навязанный модой чепец, она стала во сто крат очаровательней, ее красивые светло-пепельные волосы, обычно начесанные, напомаженные, взгроможденные в виде вычурного сооружения на каркас из железной проволоки, перегруженные бантиками, перьями, цветами и фарфоровыми бабочками, едва различимые под слоем пудры, сейчас ниспадали на белую шейку пышным хвостом и, стянутые по-китайски на затылке, подчеркивали каждую черточку лица и открывали гладкий лоб совершенной формы.

Госпожа де Шанрозе не обладала той скучной греческой или римской красотой, которая хороша для мрамора, но не для любви. Ее пленительные, проницательные глаза оживляли любопытное личико, способное, — правда, благодаря юности своей обладательницы, — искусно разыгрывать наивность.

Ее носику, носику Роксоланы[14], по счастью, не хватало всеми превозносимой правильности, которая на самом деле никому не нравится, что до ротика маркизы, то по рисунку он напоминал миниатюрный лук Купидона, а по цвету — вишенки, из тех, что Жан-Жак Руссо бросал с верхушки дерева на грудь мадемуазель Галлей[15].

Хотя госпожа де Шанрозе являлась весьма знатной дамой, гризетка из нее получилась вполне правдоподобная.

Ее ножка была очень маленькой, а башмачок — прелестным, впрочем, всем известно, что и парижские гризетки, семенящие словно куропатки, размером своих крохотных ножек не уступают андалусским маркизам и весьма требовательны в выборе обуви.

Что до ручек, тонкие и розовые ноготки коих выглядывали из черных ажурных митенок[16], то их нежность никого не удивляла, ведь мадемуазель Жюстина сказала, что ее кузина была кружевницей, а переплетая нити Арахны[17], конечно же нельзя поцарапать себе пальчики и поломать ногти.

Жанетта сразу стала царицей бала; едва она присаживалась рядом с Жюстиной на лавочку, как ее тут же снова приглашали; кто-то из кавалеров разыскал для нее огромный букет королевских роз, который она держала, танцуя; один цветок она воткнула в вырез платья в том месте, где соединялись концы ее платочка. Поэт-мушкетер Дора[18] сказал бы, что это для того, чтобы придать цветку благоухание. Другой кавалер, клерк судебного исполнителя, преподнес ей угощение в виде двух апельсинов и подарил зеленый бумажный веер, на внутренней стороне которого была написана ария Эрнелинды[19].

Ухаживания донельзя веселили Жанетту, которая принимала их со смехом, ее забавляло, как дико вращают глазами и громко вздыхают юный москательщик и третий клерк; она и вообразить не могла, что люди подобного сорта будут до такой степени похожи на мужчин.

Эти буржуа и простолюдины, которых маркиза едва замечала с высоты своей кареты, когда они месили уличную грязь или спасались бегством от ливня, а ее кучер забрызгивал их с головы до пят, поражали ее почти человеческими манерами. Прежде она ни за что не поверила бы, что эти животные умеют изъясняться на членораздельном языке, говорить осмысленные и даже галантные фразы.

Точно так же она изумилась бы, если бы в один прекрасный день ее мопс, вместо того чтобы тявкать, внезапно обрел дар речи или любимая обезьянка вмешалась в разговор, нет, это поразило бы ее меньше, ибо мопс был весьма умен, а капуцин очень сообразителен благодаря воспитанию господина аббата.

Дело не в том, что госпожа де Шанрозе слишком высокомерно и презрительно относилась к обычным людям. Она не сходила с ума от своего дворянского происхождения, не имела обыкновения хвастать своими предками и ничуть не интересовалась собственным генеалогическим древом, просто она никогда не зналась ни с кем, кроме представителей своего сословия, которые все как один считали, что у них белая кость и голубая кровь.

Маркиза заметила, что у третьего клерка судебного исполнителя ноги были такие же точеные, как у шевалье де Вертея, который вечно ходил вразвалочку, чтобы выставить их напоказ.

И от нее не укрылось, что у сына москательщика, хотя он и не смеялся по поводу и без повода, зубы блестели, словно жемчуг, совсем как у господина аббата, а тот настолько гордился своими зубами, что хохотал, даже когда слышал самые ужасающие новости.

Глава VI

«Эти мужланы выглядят не хуже дворян и глупости говорят не чаще, чем они», — подумала госпожа де Шанрозе, принимая приглашение на очередной контрданс.

Повинуясь общему настроению, мнимая Жанетта всем сердцем отдалась танцу. Когда надо было сомкнуть круг, она, не колеблясь, вкладывала свои тонкие аристократические пальчики в красные руки партнеров и сама удивлялась тому, что, несмотря на свое чрезвычайно высокое происхождение, просто веселится, как человек без роду и племени.

Можно сказать, вместе с фижмами, бриллиантами и помадой она сбросила с себя томность, которая пристала только людям с положением и обходит стороной грубо сколоченную буржуазию.

Наивное восхищение этих увальней льстило маркизе. Оно не рядилось в самые изысканные одежды, но обладало тем неоспоримым достоинством, что шло от души.

Для всех этих добрых людей госпожа де Шанрозе была всего лишь Жанеттой, кузиной горничной, правда, гризеткой высокого ранга, но безо всяких титулов.

Здесь ее единственным титулом были ее прекрасные глаза, а единственным достоянием — то, что скрывалось под корсажем.

Она была рада, что, утаив свое имя, ничего не потеряла, хотя обычно это не идет на пользу многим, даже самым знатным, особам.

Она танцевала гавот, менуэт[1], бурре, стараясь не показывать то, чему ее научил Марсель[2], и оставаться естественной, что ее только красило.

Однако время шло, а маркиза еще не приметила того, кто соответствовал бы ее мечтам, и среди множества добрых лиц не нашла ни одного, которое произвело бы на нее желаемое впечатление.

Любовь с первого взгляда была тогда в большой моде: славная эпоха существенно сократила устаревшие формальности, которыми окружало себя благочестие наших предков; считалось обшепризнанным, что два сердца, созданных друг для друга, могут договориться с первой встречи, не изводя себя до смерти правилами приличия.

Но госпожа де Шанрозе, несмотря на страстное желание, не находила особого очарования ни в разговорах любезного наследника москательной лавки, ни в улыбках обаятельного третьего клерка судебного исполнителя, ее ум и сердце оставались свободными, и когда Жюстина, поравнявшись в одной из фигур контрданса с хозяйкой, взглядом спросила ее, не выбрала ли она себе кавалера, мнимая Жанетта незаметно покачала головой.

Да, ее чувств никто не разбудил, зато в сердцах мелких буржуа Жанетта произвела устрашающий погром, и все местные красотки, которые кое-как блистали до восхода новой звезды, потускнели в ее свете.

Девицы Жавотта, Нанетта и Дениза, покинутые своими обожателями, маялись в унылом одиночестве, точно дуэньи или старушки, которым из-за преклонных лет остается только подпирать стены.

У них были румяные и круглые, как яблоки, щеки, трещащие по швам тугие корсажи и упитанные ножки в шелковых чулках с красными стрелками, и они искренне недоумевали, как такая мелкая, тощая, почти бесцветная особа может соперничать с их пышными телесами и весомыми преимуществами.

Чтобы вернуть похищенных возлюбленных, они раздавали самые щедрые авансы, усиленно строили глазки и громко хохотали несколько ревнивым смехом. Проходя мимо юного москательщика, который до сих пор занимал место ее воздыхателя и весьма исправно исполнял свои обязанности, Дениза, чтобы привлечь к себе его внимание, не смогла удержаться и, простите за выражение, ущипнула его. Москательщик, увлеченный в тот момент разговором с Жанеттой, стойкий, как юный спартанец, которому раздирала внутренности лисица[3], не выказал ни возгласом, ни жестом, что его плоть терзают слабые пальчики, от досады ставшие сильными.

Он даже не обернулся, и Денизе пришлось вернуться на скамейку, не заслужив в награду за свою выходку ни взгляда, ни улыбки.

Тщетно Жавотта вытягивала ножку перед третьим клерком, поблескивая пряжкой из марказита, или рейнского камня[4], дабы заслужить комплимент юного служителя Фемиды[5], который прежде ни за что не упустил бы такого случая, но и она не добилась успеха: глаза клерка были слишком заняты, чтобы опуститься так низко, и Жавотта кокетничала понапрасну.

Нанетта, которой обыкновенно едва удавалось присесть — так рьяно охотились за ней поклонники, пропустила по меньшей мере полдюжины контрдансов.

Ни одна душа во всем собрании не заподозрила в Жанетте маркизу, но можно смело утверждать, что сила происхождения и благородной крови оказывала-таки воздействие на этих славных людей, невольно обращавшихся к мнимой Жанетте с деликатностью и вниманием, на которые не вдохновила бы их столь же прекрасная гризетка.

Маркизе льстил успех, но ей не удалось достичь своей цели.

Говорят, королевы, даже самые строгие, порой оказывались более чувствительны к неуклюжим комплиментам матросов, чем к искусным мадригалам придворных поэтов и поклонников.

В легкой грубости есть что-то, что не отвращает даже самые тонкие натуры, и госпожа де Шанрозе наслаждалась похвалами, предназначенными Жанетте.

Роль гризетки удостоверила маркизу в искренности любезностей шевалье, командора и аббата.

Однако госпоже де Шанрозе было мало вскружить голову какому-нибудь простому парню, ей хотелось самой хоть немного увлечься, а не довольствоваться в своей эскападе лишь ригодонами в танцевальном зале.

Стыдливый вид невесты, чье целомудрие усмиряло страсть и сдерживало пыл юного супруга, жаркие поцелуи которого, встречаемые смехом гостей, заставляли ее краснеть до корней волос, наводил маркизу на мысли о простом и неподдельном счастье, дарованном самой природой тем, кто не пренебрегает ее законами.

Она вспомнила скрюченную подагрой руку, поданную ей на выходе из церкви, угрюмое, морщинистое и холодное лицо маркиза де Шанрозе, эдакой мумии, иссушенной честолюбием и развратом, вспомнила, каким смешным он показался ей без парика под балдахином их брачного ложа, и подумала, что Гименей обошелся с кузиной ее горничной лучше, чем с ней.

Правда, у жениха не было шестидесяти поколений предков, зато не было и шестидесяти лет, что само по себе неплохая компенсация.

Пока она предавалась размышлениям, обмахиваясь зеленым бумажным веером с ловкостью, которая могла бы выдать маркизу более искушенным наблюдателям, сын москательщика и третий клерк, обдумывая признания, разрозненные варианты которых вертелись в их головах, стояли перед ней застыв, словно перед распятием, с самым жалким и смехотворным видом. Госпожа де Шанрозе про себя насмехалась над ними и из лукавой жестокости не помогала им ни в малейшей степени, так что они вращали глазами, как механические негры с часами в утробе.

Жюстина, заметив, что ее хозяйка не танцует, подошла и взяла ее под руку; они сделали несколько кругов по залу, тихо переговариваясь.

— Госпожа скучали на балу моей кузины, им не понравились простые люди?

— Нет, я с удовольствием танцевала, и эти буржуа кажутся мне довольно милыми.

— И это все?

— Все.

— Однако сын москательщика весьма заметная фигура на улице Сент-Авуа, даже самые красивые девушки не пренебрегают знаками его внимания.

— Возможно, но он не вдохновляет меня на подвиги.

– А третий клерк?

– У него есть все, чтобы стать вторым клерком, и ничего более.

– Мне очень жаль, что госпожа напрасно все это затеяли.

– Мне уже хочется послать за фиакром и вернуться в особняк.

– Если госпожа позволят, то я бы посоветовала им задержаться хотя бы ненадолго.

– Тебе здесь очень весело?

– Мне грустно, раз госпожа скучают, но, возможно, как только мы уедем, появятся те, кого мы ищем. Ожидают прихода еще нескольких молодых людей, и, кроме того, на свадьбе, так же как на фейерверке, самое красивое – букет – оставляют на конец.

Госпожа де Шанрозе прислушалась к столь разумным доводам и не ошиблась, в чем мы вскоре убедимся.

Как удивительно устроена жизнь, и как странен ход вещей!

Если бы госпожа де Шанрозе покинула Мулен-Руж на четверть часа раньше, она никогда бы не влюбилась.





Глава VII

Прогнозы Жюстины незамедлительно оправдались и доказали мудрость этой образцовой горничной, которую господин де Мариво вывел в одной из своих комедий под именем Лизетты;[1] маркизе де Шанрозе не оставалось ничего, кроме как похвалить себя за то, что прислушалась к совету служанки.

Свадьба достигла почти середины любого приличного праздника, то есть двух часов ночи; уже перешли к жареным каштанам и прохладительным напиткам, представленным легким сидром и сюренским вином[2], когда у дверей раздался шум, и некто, словно важная персона, величественно и торжественно вошел в зал: то был управляющий маркиза де ***. В тот вечер сей добрый малый не пренебрег возможностью немного повеселиться и отдохнуть от великих забот.

Управляющему было около пятидесяти. Красные щеки под мелко завитым париком свидетельствовали, что в его лице культ Бахуса имел рьяного служителя, в то же время нервные икры, обтянутые ажурными чулками, и широкие плечи в просторном коричневом платье доказывали, что, несмотря на свои лета, он был повесой хоть куда и тем, кого на Кифере[3] называют мышиным жеребчиком.

Этот персонаж, коему все собрание выказывало большое почтение и которого подобострастно величали уважаемым господином де Боннаром, привел с собой еще одного гостя и представил того всем как господина Жана, родственника из провинции, приехавшего в Париж в надежде стать благодаря его покровительству сборщиком налогов.

— Он несколько застенчив, — добавил величественный господин Боннар к своей рекомендации, принятой весьма благосклонно, и под стать знатным вельможам с подчеркнутой аристократической небрежностью стряхнул несколько крошек испанского табака со складок жабо, — но я надеюсь, дамы не сочтут его деревенщиной и соблаговолят отнестись снисходительно к неопытному новичку, который только что сошел с дилижанса из Огзера[4] и очень хочет научиться хорошим парижским манерам.

Закончив эту маленькую торжественную речь, дядюшка Боннар довольно живо сделал разворот на пятках и, решив, что исполнил долг в отношении своего протеже, предоставил того самому себе, а точнее, отпустил петуха к курочкам, и отправился говорить вольности мамашам и щипать за щечки дочек с полуотеческой-полуразвратной миной, секрет которой давно утерян.

Господин Жан, за которым Жанетта пристально следила из своего уголка, оказался не так неловок, как можно было ожидать от провинциала; если учесть смущение, которого он не мог избежать в толпе незнакомых людей, то держался он довольно раскованно среди домовладельцев, москательщиков, клерков, нарядных как принцессы горничных из хороших домов и разодетых в яркие шелка зажиточных торговок с перламутровыми раковинами в ушах. Для провинциала он был недурно сложен, а платье из сизого драгета[5] со стальными пуговицами, хоть и пошитое в заштатном городишке, сидело на нем совсем неплохо.

У нового гостя, как заметила Жанетта, были красивые ноги и маленькие ступни в чудесных, смазанных яйцом туфлях с блестящими стальными пряжками.

Его очаровательному лицу шло выражение легкой наивности, которую женщины, включая самых искушенных, так любят в молодых людях; по живому огоньку в глазах было видно, что, несмотря на застенчивость, он далеко не прост. Впрочем, застенчивость его не доходила до глупости — этой погибели новичков, что вынуждает их совершать одну оплошность за другой и выставляет в самом смешном свете.

Несмотря на провинциальное происхождение, непохоже было, что он испытывает один из тех приступов глупости, что толкают несчастного молодого человека, сгорающего от желания пригласить прелестную кузину, в которую он, как полагается, влюблен, в объятия ужасной дурнушки, не вызывающей у него ничего, кроме отвращения.

Этот новичок со смиренным и почтительным видом, однако не слишком смущаясь, сразу же пригласил самую красивую, изящную и заметную девушку в зале, а именно мадемуазель Жанетту.

Сей подвиг поразил трех или четырех простофиль, белобрысых жердей с красными ручищами, которые уже час кружили вокруг Жанетты, время от времени, как неприкаянные цапли, переступая с ноги на ногу и обдумывая фантастический и несбыточный план пригласить прекрасную кружевницу... на следующий танец.

Исполненный печали вздох вырвался из груди четырех дурней, хотя и родившихся в Париже, на улицах Говорящего колодца, Безголовой бабы, Вооруженного мужа и Маленького мышонка[6], но не сумевших удержаться от зависти при виде легкости, с которой этот жалкий заморыш, явившийся из Огзера, знакомится с молоденькими девушками.

Любезный москательщик, надеявшийся, что произвел приятное впечатление на мадемуазель Жанетту, и с самого начала праздника напрягавший все свои извилины, чтобы выудить из них мадригалы или комплименты, от которых не несло бы их родной улицей Сент-Авуа, с неудовольствием отметил появление на арене нового соперника.

Хоть и говорят, что самолюбие ослепляет мужчину, оно не настолько ослепляет москательщиков, чтобы те не встревожились, завидев привлекательного юношу рядом с объектом их пристального внимания.

Третий клерк тоже не удержался: он бросил злобный взгляд на новичка и проклял in petto* господина Боннара за то, что тот привел этого чистенького, одетого с иголочки юнца, преуспевшего с первой фразы лучше, чем он за четыре часа ухаживаний и любезностей. Улыбка, которой Жанетта ответила на приглашение господина Жана, казалась столь милой, нежной и доброжелательной, что судейский крючок взревновал; ему самому достались лишь натянутые улыбки, которыми кружевница одаривала его как бы из милости, хотя его искрометная веселость расшевелила бы мертвых и в этот вечер он был просто неподражаем.

Господин Жан деликатно взял мадемуазель Жанетту под руку кончиками холеных пальцев и проводил к месту для танцев.

Он легко и непринужденно двигался и исполнял все фигуры. Если бы господин Боннар не предупредил, что молодой человек недавно приехал из провинции, никому бы и в голову не пришло заподозрить такое.

— Вы никогда не бывали в Париже, господин Жан? — спросила Жанетта своего партнера после контрданса.

— Нет, сударыня, я впервые в этом огромном городе.

---

* в душе (*ит.*).

— И как вы находите: соответствует он тому, что вы рисовали в своем воображении?

— И да, и нет; здесь встречаются великолепные сооружения, которые свидетельствуют о могуществе наших королей и богатстве отдельных лиц, но все это перемешано с такой нищетой, грязью и смрадом, что я не знаю, должен ли я восхищаться или порицать Париж. Самое замечательное, что до сих пор я видел здесь, — это вы, и мои слова не лесть.

— О, это потому, что вы недавно приехали и у вас не было времени как следует все осмотреть и поискать.

— Я нашел! И больше искать не стану. Я провинциал, это правда, но я умею по достоинству ценить красоту, воспитание и грацию.

— Замолчите, гадкий льстец, вы заставляете меня краснеть.

— Разве есть румяна краше, чем кровь вашего сердца, взволнованного честными речами влюбленного юноши?

— Которому я нравлюсь, не более того... Я скромна, но понимаю, что вряд ли внушаю ужас; однако как вы можете утверждать, что влюблены?.. Мы только что познакомились.

— Только что! Это уже много! Едва я вас увидел, как почувствовал, что принадлежу вам. Мы мало знакомы, Боже правый! Разве я не видел небесное выражение ваших глаз, прелесть улыбки, не слышал серебристый звук вашего голоса? Разве не коснулся вашей руки и не пожал ее легонько? Разве, танцуя, я не вдыхал аромат вашего букета, пахнущего вашей кожей? Разве я не заметил, что у вас белокурые волосы, тонкая гибкая талия и что вы чудесно танцуете? Что еще я узнаю о вас, даже если буду следовать за вами по пятам многие месяцы, точно верный пес или тень? Такая чистая, светлая жизнь, как ваша, видна насквозь с первого взгляда.

— Вы так думаете? — При последних словах господина Жана мнимая Жанетта не удержалась от еле уловимой улыбки. — Да, у меня светлые волосы и голубые глаза, с этим не поспоришь, ну, а вдруг я злая, невыносимая, сварливая, коварная? Любая девушка на балу хороша, танцы сглаживают самые неровные характеры.

— Клевещите на себя сколько угодно, божества могут наговаривать на себя, не богохульствуя, но вам меня не переубедить.

— Что ж! Пусть я состою из одних совершенств, не стану это обсуждать, хотя в ваших словах много преувеличений, но отсюда не следует, что я должна принять вашу любовь так же быстро, как она возникла.

— А кто вас об этом просит? Если позволите, я докажу, сколь долговечным может быть чувство, которому понадобилась всего минута, чтобы появиться на свет, и всего час, чтобы развиться.

— О! Предупреждаю, если фантазия, рожденная на балу, не испарится вместе с его окончанием, если вы не забудете кружевницу, которая в

соседстве с несколькими дурнушками показалась вам хорошенькой, то придется вам ухаживать за ней по всем правилам и нежно любить, как герою старинных романов. Но и после всех испытаний еще неизвестно, не рассмеюсь ли я вам в лицо и не откланяюсь ли, пожелав всего хорошего!

Глава VIII

Очередной ригодон вовремя оборвал сию беседу, и Жюстина, скромно державшаяся в сторонке и довольно небрежно присматривавшая за мнимой кузиной, благодаря глубокому пониманию человеческого сердца вообще и сердца хозяйки в частности, свойственному горничным, достойным этого звания, сразу почувствовала, что госпожа де Шанрозе всерьез заинтересовалась господином Жаном и ее желание вот-вот исполнится.

Праздник подходил к концу; менестрели[1], уставшие пиликать, дуть и стучать, безуспешно пытались подбодриться, пользуясь музыкальными паузами, чтобы промочить горло; их одолевали сон и хмель; в лампах иссякло масло, а свечи догорели уже до розеток. Аврора, только что покинувшая ложе Тифона[2], бросала сквозь занавеси нежно-голубые лучи.

Кто-то, самый сообразительный, предложил, прежде чем отправиться спать, пойти полюбоваться зарей на Пре-Сен-Жерве, попить парного молока и нарвать сирени. Дело было в начале мая, в пору столь любимых парижанами цветов, лиловые кисти коих справедливо вызывают общее восхищение.

Предложение было принято так, как оно того заслуживало, и все присутствующие, даже самые пожилые люди, которым постель подошла бы больше, нежели прогулка по росе, с радостными возгласами устремились на знаменитые луга, в одно из самых зеленых и очаровательных мест в окрестностях Парижа.

Господин Жан предложил руку мадемуазель Жанетте, которая приняла ее под строгим надзором мадемуазель Жюстины, отвечавшей за добродетель маркизы.

Москательщик взял под руку Денизу. Она так обрадовалась возможности вновь захватить в плен своего поклонника, что сочла несвоевременными бесполезные упреки.

Третий клерк был совершенно счастлив тем, что Жавотта, красавица с маркаситовыми пряжками, соблаговолила пройтись рядом с ним. Таким образом разбившись по двое, вся толпа пара за парой разбрелась по тропинкам, обрамленным душистыми кустами.

Среди пар встречалось немало влюбленных и помолвленных; воспользовавшись поворотами аллей, кое-кто из них обменялся поцелуями, ибо в поцелуях нет ничего страшного.

Господин Жан не позволил себе подобных вольностей, но он несколько раз прижал к сердцу ручку госпожи де Шанрозе и преподнес маркизе огромную охапку белой и лиловой сирени: ни одна гризетка не приносила такого букета в свою мансарду. Он опустошил для мадемуазель Жанетты всю корзину Флоры.

Влюбленные, нарочно заблудившиеся в узких аллеях, послужили бы прелестнейшим сюжетом для кисти господина Ланкре, живописца изящных праздников[3].

Яркие юбки из цветного и полосатого шелка выделялись на зеленом фоне, скромные корсажи, без тех глубоких декольте, что с благородным бесстыдством любят носить придворные дамы, позволяли узреть или, точнее, угадать нарождающиеся, но уже готовые для любви прелести, руки небрежно обвивали талии, головы склонялись друг к дружке под предлогом тихого разговора, губы доверяли щеке признание, предназначенное для уха, — все здесь взывало к кисти художника, привыкшего приносить жертвы грациям, и образовывало картину столь же приятную для глаза, как и для сердца.

Несколько позади группами шли родители: папаши в просторных, самого простого старинного покроя кафтанах с широкими басками[4] и огромными блестящими пуговицами опирались на крючковатые трости, а их шляпы решительно и прочно сидели на головах; мамаши, пухленькие и румяные, еще аппетитные, были наряжены в расставленные свадебные платья из ткани с разводами и крупными цветами, модной в начале правления[5]. Выслушивая шуточки своих благоверных, краем глаза они следили за дочками, хотя и были вполне уверены в благоразумии своих чад.

На фоне пожилых людей, которых художник написал бы в самых теплых и ярких тонах, чудесным образом выделялась блестящая и полная сил молодежь, купавшаяся в розовом свете авроры, авроры — юности дня!

Господин Ланкре несомненно поместил бы Жана и Жанетту в центр композиции.

Желая уберечься от утренней прохлады, Жанетта накинула на плечи светло-серую пелерину из тафты; но шелк соскальзывал, и, когда она наклоняла голову, оголялась белая гладкая шея, а на ней поблескивали непослушные прядки, выбившиеся из стального гребешка; она прижималась к господину Жану, чтобы не задеть кусты, с которых на ее платье падали жемчужины росы; ветви сирени, казалось, стремились перегородить ей дорогу и задержать подле себя.

По крайней мере, Жанетта именно так объясняла себе свое поведение: ибо несомненно она держалась за руку господина Жана сильнее, чем

того требовала необходимость: и усталости не ощущалось, и дорога была ровной.

Дабы скрыть смущение, она склонила личико к огромной охапке подаренных ей цветов, так что розы утопали в сирени.

Добрались до коровника, хозяин которого поспешил подоить удивленных нашествием такой веселой компании коров. Они вертели головами, пока пенистое молоко стекало в плошки сказочной чистоты.

Поскольку у хозяина не нашлось достаточного количества посуды, то Жан и Жанетта, пара, которую уже никто не пытался разлучить — настолько природа хорошо подобрала их друг для друга, получили одну плошку на двоих; Жанетта отпила первой, и Жан легко нашел на краешке чаши отпечаток прелестных губ молоденькой кружевницы.

Старики и господин Боннар попросили подать им вина, предпочитая сок винограда аркадскому[6] угощению, годному лишь для сосунков, недавно отлученных от материнской груди.

Затем все наконец разошлись.

Перед расставанием господин Жан спросил, будет ли он иметь счастье снова видеть мадемуазель Жанетту, и та, после непродолжительного совещания с Жюстиной, ответила, что послезавтра она понесет готовое кружево заказчице, и если господину Жану будет угодно в три часа дня ждать на улице Сен-Мартен[7], то они смогут проделать часть пути вместе.

Затем мадемуазель Жанетта и Жюстина уселись в фиакр и вернулись домой. Поднявшись в свои покои по потайной лестнице, обязательной детали всех, даже самых добропорядочных, особняков восемнадцатого века[8], госпожа де Шанрозе под расшитым гербами балдахином ложа погрузилась в сон, который не раз посетил образ господина Жана.





Глава IX

Спящая красавица проснулась далеко за полдень, в чем не было ничего необычного, ибо она редко звала горничную раньше этого часа.

Для всех, кроме верной Жюстины, она провела ночь в особняке, и никто в целом мире не догадывался о проделке, в которой, к слову, никто не имел права ее упрекнуть, ибо, как вдова, она была вольна в своих поступках; впрочем, нет ничего легче, нежели делать то, что хочется, соблюдая самые строгие приличия, только простофили добровольно снимают с себя глянец хорошей репутации, всегда столь приятный и необходимый.

На молчание Жюстины можно было положиться, горничная ни за что на свете не раскрыла бы тайну маркизы. Помимо всего прочего верность Жюстины подкреплялась довольно значительным содержанием, которое ей посулили по истечении нескольких лет работы при условии, что ею будут довольны.

Следовательно, с этой стороны госпожа де Шанрозе не рисковала ничем.

Двойные занавеси и ставни, защищавшие этот замок сна от света и шума, были открыты, и Феб[1], допущенный к пробуждению маркизы, явился, чтобы ухаживать за ней и порхать вокруг ее постели.

Жюстина помогла встать своей немного усталой или, скорее, слегка обессилевшей от бальных подвигов хозяйке, поскольку Терпсихоре, доводящей мужчин до жестокой ломоты, еще не удалось по-настоящему утомить ни одной женщины — настолько представительницы этого очаровательного и невесомого пола созданы для танца.

Служанки приготовили ванну; Жюстина помогла своей хозяйке лечь в воду, и если бы при этом присутствовал какой-нибудь любопытный, то он не заполучил бы, подобно Актеону, оленьих рогов и не попал бы на растерзание к собственным собакам, увидев формы совершеннее, чем у Дианы[2], ибо трудно поверить, что воистину прекрасная богиня до такой степени разъярилась бы, если бы ее застали обнаженной: значит, ей было что терять и она не желала, чтобы о ее прелестях пошли нелестные слухи.

С госпожой де Шанрозе, о которой по праву можно сказать, что наряды и украшения ей ничего не добавляли, а скорее кое-что отнимали, дело обстояло как раз наоборот.

Когда маркиза погрузилась в теплую душистую воду, между хозяйкой и горничной завязался разговор: речь, разумеется, зашла о господине Жане.

— Ты заметила, — спросила маркиза Жюстину, — как этот молодой человек отличался от всех остальных, ты не находишь, что он выглядит лучше всех на свете?

— Спорить не стану, — согласилась любезная Жюстина, — у этого юноши завидная внешность.

— У него непринужденные и ловкие манеры.

— О! Что верно, то верно; он очень обходителен.

— Он прекрасно говорит; его слова просты, но изысканны.

— И тут мне нечего возразить; госпожа в этом понимают больше, чем я, кроме того, молодой человек говорил тихо-тихо и только на ушко юной Жанетте, так что я ничего не расслышала.

— Думаешь, он влюблен в меня?

— Мне кажется, госпожа не нуждаются в моем мнении на сей счет.

— Он делал мне комплименты, он даже признался в любви; но этого мало, мне хотелось бы знать, испытывает ли он ко мне одну из тех сильных возвышенных страстей, на которую, если верить твоим словам, способны простые люди.

— Насколько я могу доверять моим слабым познаниям, мне кажется, в сердце господина Жана пробивается росток настоящей любви.

— Только росток?

— Немного добродетели и неуступчивости с вашей стороны, и росток превратится в одну из тех страстей, о которых я говорила госпоже и коих в высшем свете не сыщешь днем с огнем.

— Жюстина, сдается мне, ты дерзишь; тебя послушать, так выходит, что мы, герцогини и маркизы, в делах любовных совсем не держим оборону.

— У вас свои порядки, у нас — свои, и правила, которым следуют простые люди, не должны стеснять знатных господ; я лишь намекнула, что, возможно, из-за этого маркизы, виконты и шевалье любят лишь поверхностно.

— Значит, чтобы господин Жан полюбил меня, ты советуешь мне быть целомудренной?

— Я не осмелилась бы высказаться так прямо из боязни показаться смешной, но вы верно меня поняли.

— Странная ты девушка, Жюстина! У тебя какие-то средневековые представления, однако я послушаюсь тебя, лишь бы посмотреть, что из этого получится.

— Госпожа хотят выйти из ванны?

— Да, заверни меня в пеньюар и проводи в спальню.

Когда госпожа де Шанрозе устроилась на подушках, взбитых легкой рукой Жюстины, их беседа продолжилась.

— Жюстина, возможно, это противоречит твоим представлениям о целомудрии, но я назначила свидание господину Жану, правда, свидание на улице, которое ни к чему страшному не приведет, но тем не менее...

— Госпожа, я вовсе не собираюсь осуждать вас. Нельзя было отступать, вы же не хотели положить этому приключению конец. Не назначь вы свидание, как бы мы нашли господина Жана, о котором ничего не знаем. Не спрашивать же господина Боннара.

— Ты очень рассудительна, Жюстина, но как ни хорош наш план, а осуществить его будет очень нелегко.

— Пусть госпожа маркиза соблаговолят положиться на свою Жюстину, все мелочи и трудности я возьму на себя и немедленно отправлюсь выполнять наш план боевых действий: но прежде всего мне нужно двадцать пять луидоров.

— Возьми их. Там, в ящике маленького бюро из розового дерева, около окна.

— Взяла.

— Продолжай.

— На эти деньги я сниму прелестную комнату, чистую и скромную, и обставлю ее мебелью, которая может быть по карману кружевнице с лов-

кими пальчиками, не испытывающей недостатка в заказах, так как, если позже вам захочется видеть господина Жана в более удобном и укромном месте, чем улица, вы не сможете, не развеяв полностью его заблуждений, принять его в особняке де Шанрозе. Ваш швейцар очень удивится, если ему придется во всеуслышанье произнести такое простое имя.

— Ты превосходно рассуждаешь, мне кажется, такая комнатка — то, что нужно.

— Поскольку госпожа согласны, я займусь этим нынче же; ведь понадобится еще и одежда: ночная сорочка, домашнее платье, халат, чепчик; ибо как бы ни был хорош гардероб госпожи маркизы, он не подходит мадемуазель Жанетте. Изобилие вещей иногда вредит.

— Ты красноречива, как философ, но, в отличие от философов, ты права. Итак, приданое согласовано, только пусть все вещи будут подобраны со вкусом. Не хочу переодеться и стать дурнушкой.

— Будьте покойны, я куплю для вас самое тонкое полотно, которое не поранит вашу нежную кожу, розовый и белый репс, ситец в мелкий цветочек и другие ткани свежих весенних расцветок, уместных в это время года. Да, ведь светлые волосы госпожи без пудры окажутся на виду, поэтому ей понадобятся простые кокетливые чепчики, которые, учитывая ремесло Жанетты, мы украсим кружевами.

— Какая прелесть! — захлопала в ладоши маркиза, совершенно покоренная этими туалетами. Ей уже не терпелось примерить наряды гризетки так же, как гурману хочется весной отведать ситного хлеба, сливок и клубники на травке у какой-нибудь фермы.

— Госпожа смогут выглядеть наилучшим образом даже в обносках: они украшают собой все, что носят, а впрочем, вещи не обязательно должны быть дорогими, чтобы хорошо смотреться, и я надеюсь, госпоже понравится гардероб кружевницы.

— Что мне будет дорогого стоить, так это обходиться без шелковых чулок.

— Есть простые хлопчатобумажные чулки, но такие тонкие, что госпожа даже не почувствуют разницы. А кроме того, мы можем рискнуть и оставить шелковые чулки, не нарушив при этом правдоподобия, ибо некоторые самые зажиточные гризетки позволяют себе это излишество.

— Ты меня утешила, но что же будет завтра? Как я явлюсь на свидание? Не могу же я выйти отсюда в три часа дня в обличье Жанетты.

— Конечно нет. Но госпожа прикажут, чтобы карета доставила их к какой-нибудь церкви или лавке, у которой есть второй выход. Там за дверями нас будет ждать фиакр, мы сядем в него, поедем в комнату Жанетты, и я наряжу госпожу так, что они сами поверят, будто всю свою жизнь не занимались ничем, кроме кружев.

Глава X

Условившись обо всем, Жюстина помогла госпоже де Шанрозе подняться, затем передала ее в руки других горничных, дабы те одели и причесали хозяйку, и удалилась, испросив разрешения покинуть особняк.

Пришел аббат и с порога осыпал маркизу ворохом комплиментов. Несмотря на страдания, которые вроде бы причиняла аббату безответная любовь, он был, как всегда, румян и даже чересчур бодр для человека, распаленного, сожженного и обращенного в пепел своей страстью. Не замедлил объявиться и шевалье, опередивший командора, за которым последовал и финансист. Таким образом свита госпожи де Шанрозе оказалась в сборе.

Все были счастливы обнаружить маркизу в наилучшем расположении духа, которое они дружно приписали полезной для здоровья прогулке по Кур-ла-Рен.

Но ни один из проницательных мужей не угадал, что своей свежестью госпожа де Шанрозе обязана ночи, проведенной на балу, а блеском очей — тому, что она никого из них не любила.

Жюстина не теряла времени, да ей и некогда было его терять, поскольку все следовало устроить за один день.

Она сняла подходящую комнату неподалеку от церкви за сто пятьдесят ливров в год и тут же заплатила за три месяца вперед. Затем побежала к торговцу подержанной мебелью и купила необходимые для обстановки квартирки мадемуазель Жанетты предметы, заботясь о том, чтобы каждый из них сиял чистотой, но не выглядел слишком новым; и вскоре с помощью двух довольно ловких грузчиков Жюстина преобразила гнездышко так, что оно могло принять птичку.

Потом она приобрела у знакомой галантерейщицы готовое, но довольно приличное белье. Четыре портнихи, получившие щедрое вознаграждение, по выкройке с размерами госпожи де Шанрозе быстро раскроили принесенные Жюстиной ткани, а затем сметали и сшили наряды для кружевницы Жанетты.

Назавтра все прошло гладко как по маслу.

Покинув особняк в своем обычном платье, госпожа де Шанрозе доехала в экипаже до церкви Сен-Р***, вошла в одну дверь, выскользнула в другую и обнаружила в поджидавшем ее фиакре длинную накидку, положенную туда Жюстиной, чтобы маркиза могла скрыть под ее складками костюм знатной дамы и незаметно подняться в квартирку.

Лестница оказалась крутовата. По одну сторону ее огораживали толстые деревянные перила, а по другую, как на мельнице, висела веревка, которая облегчала подъем.

Да, этому сооружению было очень далеко до лестницы в особняке госпожи де Шанрозе, так удобно устроенной архитектором фаворитки[1] господином Леду[2], — с барельефами Леконта[3], изображавшими детские вакханалии[4], и прекрасными перилами, выкованными знаменитым мастером кузнечного дела Ламуром[5]. Но этот контраст понравился маркизе, которая, пошатываясь, ставила на грубые ступеньки ножки, привыкшие попирать мрамор и мягкие ковры.

Добравшись до комнаты, госпожа де Шанрозе осталась как нельзя более довольна расторопной Жюстиной, ибо маленькое убежище выглядело совершенно заурядно и при этом обладало всем необходимым для того, чтобы должным образом спрятать от посторонних глаз невинность или любовь.

Будь госпожа де Шанрозе философом (а она им не была), то сделала бы тысячу скучных выводов относительно безумства смертных, которые изводят себя тысячью разных способов, чтобы добиться роскоши, вовсе не обязательной для счастья.

Этот непритязательный интерьер живописец Шарден, по праву превозносимый господином Дидро, с удовольствием запечатлел бы на своем полотне:[6] деревянная обшивка стен; плиточный пол, покрытый стареньким ковриком; камин из искусственного мрамора, увенчанный деревянным рельефом; узкие окна, где в некоторых стеклах местами виднелись пузырьки; горшок с цветком из венсеннской керамики;[7] приглушенный свет, спокойный, ненавязчивый, падавший на рабочий столик. Сия обстановка служила столь же выгодным фоном красоте маркизы, как и ее будуар, заставленный лаковой мебелью, фарфоровыми безделушками, севрской посудой[8], гуашами Бодуэна[9], импостами[10] Буше[11] и прочими дорогостоящими излишествами.

И каждая вещь стояла на своем месте, Жюстина ничего не упустила.

Деревянная кушетка, серая с белой каймой, наполовину скрытая скромным пологом из набивного кретона;[12] несколько стульев с выгнутыми ножками; глубокое бархатное кресло из зеленого утрехтского бархата[13], немного потертого, немного лоснящегося, но без единого пятнышка, без единой дырочки, из чего можно было сделать вывод, что в нем лет десять сидела чья-то бабушка; инкрустированный комод с мраморной столешницей и ящиками с причудливыми медными ручками; маленький глянцевый стол, отполированный так, что своей чистотой сделал бы честь фламандской хозяйке (на столике лежали пяльцы, мотки ниток, подушечки для булавок и коклюшки для плетения кружева); трюмо, поскольку даже самой добропорядочной и бедной девушке необходим хотя бы краешек зеркала, чтобы в него смотреться, составляли обстановку, которая

позже убедила госпожу де Шанрозе, что не нужны слишком большие расходы, чтобы дать приют счастью.

Окно, так как раньше здесь жила настоящая гризетка, увили душистый горошек, вьюнок и настурция; часть растений цвела, часть в ожидании лучших времен устремилась вверх своими листьями в форме сердца, хватаясь усиками за натянутые предусмотрительной рукой бечевки.

Это окно выходило в сад соседнего особняка, и благодаря такой счастливой случайности Жанетта была избавлена от удручающих глаз парижских панорам, сплошь состоящих из угловатых крыш, дымоходов и мрачных, полинявших от дождя стен.

Высокие каштаны слегка покачивали султанами цветов, и зефир[14] на краешке крыла доносил их горьковатый запах.

После осмотра помещения пришла очередь переодевания, которое совершилось в мгновение ока: следовало лишь переменить платье и прическу, то есть перейти от сложного к простому.

Благодаря опыту и ловкости Жюстины маркиза совершенно преобразилась.

Вероятно, нелегко поверить, что знатная дама может превратиться в гризетку; гораздо проще представить противоположное.

Позднее Жюстина сама признавалась, что наряд Жанетты стал ее шедевром, ее вершиной, что ни один туалет маркизы не стоил ей таких размышлений и трудов.

Госпожа де Шанрозе обернулась к зеркалу, к которому до сей поры стояла спиной, уступив мольбам Жюстины: та просила ее не подсматривать, а окинуть взглядом все сразу, чтобы насладиться удивительным превращением.

Маркиза ахнула от восхищения — она не узнала себя. Да и как было узнать, если она казалась краше прежнего и в ней переменилось все вплоть до оттенка волос и цвета кожи; без помады и пудры даже выражение лица стало иным; пикантная прелесть, высокомерие и вызов уступили место скромности и почти детской наивности, а простота и естественность отняли у нее года два-три; Жанетта выглядела еще чудеснее, чем на позавчерашнем балу, когда, позаимствовав платье Жюстины, она надела менее свежий и изысканный наряд, ведь одежда перенимает характер своих хозяев, души тех, кто ее носит, оставляют на ней следы, а у Жюстины была душа горничной.

— Госпожа видят, что могут лишиться богатства без малейшего ущерба для своей красоты и что их прелести не продаются ни в модных магазинах, ни в ювелирных лавках, — в голосе Жюстины звучала законная гордость, — все, что надето на госпожу, не стоит и тридцати ливров.

– Дело в том, что меня одевала Жюстина, – вернула комплимент своей камеристке госпожа де Шанрозе. – Однако уже четвертый час. Подай мне вон ту маленькую картонку и проводи на улицу Сен-Мартен, там ты оставишь меня на произвол судьбы.





Глава XI

Переодевшись, госпожа де Шанрозе спустилась по лестнице, Жюстина заботливо поддерживала ее под руку.

Маркизе показалось странным самой идти по улице, первый раз в жизни она ступала по парижской мостовой, такой грязной, неровной и скользкой и в то же время полной очарования для наблюдателей и моралистов, умеющих почерпнуть здесь столько своеобразных философских анекдотов.

До сих пор маркиза видела простых смертных не иначе, как с высоты своей кареты, теперь, находясь на одном с ними уровне, она смотрела им прямо в глаза и удивлялась, что среди многих печальных и исхудалых лиц, отмеченных нищетой и горем, попадались чрезвычайно похожие на те, что встречались ей в Версале[1].

В отличие от настоящих гризеток, которые проворно семенят и протискиваются сквозь толчею, маркиза шла с восхитительной неловкостью, она пошатывалась на каждом шагу, словно проверяла ножкой каждый булыжник наподобие начинающей канатоходки, которая ощупывает канат своими натертыми тальком подошвами.

Экипажи пугали ее и заставляли тихонько вскрикивать.

Сердце билось так же сильно, как сердце любой женщины, отважившейся на приключение; хотя и не склонная к строгостям весталок, маркиза не привыкла к таким эскападам и потому испытывала естественное волнение.

По правде говоря, злопыхатели могли бы заметить, что у госпожи де Шанрозе в ее восемнадцать лет впереди была еще тысяча возможностей, чтобы догнать герцогиню де Б., баронессу де С. и президентшу де Т.

По дороге она думала о смелости своего поступка, ведь поначалу затея выглядела очень простой, а на деле оказалось, что от замысла до исполнения — путь неблизкий. Мечта всегда очаровывает, но жизнь выдвигает свои грубые требования, и они ранят нежные души, которые, обдумывая ту же ситуацию, не испытывали никаких опасений.

Прохожие рассматривали Жанетту в упор с любопытством и бесцеремонностью, которые возмутили бы ее, если бы Жюстина заранее не предупредила, что взгляды, оскорбительные для госпожи де Шанрозе, не должны обижать простую девушку.

Миновав несколько кварталов, мнимая Жанетта свыклась с новой ролью, она летела по мостовой, не пачкая своих красивых жемчужно-серых шелковых чулок, и довольно легко переносила откровенные мадригалы восхищенных прохожих.

Жюстина, бесстрашная и расторопная, как комедийная субретка, служила флангами и арьергардом, оберегая хозяйку от грубых шалостей молодых повес и старых развратников, чей нрав не изменился со времен купания Сусанны[2].

Таким образом они добрались до улицы Сен-Мартен, места свидания.

Здесь Жюстина была вынуждена оставить госпожу де Шанрозе, ибо простые гризетки не имеют компаньонок или служанок, коих они таскали бы за собой по городу.

Жюстина, однако, не ушла, а встала в сторонке, наблюдая за происходящим, чтобы в случае необходимости броситься на защиту своей госпожи.

Посреди людной улицы маркиза де Шанрозе почувствовала себя так же одиноко, как в африканской или американской пустыне, и потому, призвав на помощь все свое мужество, помчалась вдоль домов, словно испуганная ласточка.

Ее одиночеству очень скоро пришел конец. Хотя на часах приходской церкви[3] еще не пробил час свидания, господин Жан уже давно томился ожиданием, ибо если точность — вежливость королей, то вежливость влюбленных состоит в том, чтобы опережать время; не придешь заранее — опоздаешь.

Господин Жан издали заметил Жанетту, но ради приличия продолжал делать вид, что с большим вниманием наблюдает за жалким пачкуном, покрывавшим слоем краски вывеску «Кот на рыбалке»[4]. Быстрым шагом, но без излишней спешки, он пошел навстречу прекрасной кружевнице, которую приветствовал весьма почтительно, только оказавшись прямо перед ней.

Когда господин Жан заговорил, Жанетта разыграла удивление, словно эта встреча была делом случая. Прелестный румянец окрасил ее щеки, потому что госпожа де Шанрозе, хотя и принадлежала к высшему обществу, обладала такой особенностью — краснеть при малейшем волнении.

Увидев, что господин Жан идет рядом с Жанеттой и парочка с самым благопристойным видом направляется в сторону бульвара, Жюстина сочла, что дальнейшее наблюдение не имеет смысла, и незаметно удалилась, дабы освободить поле битвы для своей госпожи.

Трудно было вообразить зрелище более поразительное и чарующее: казалось, сам Амур, переодетый сборщиком налогов, пытался завоевать Психею[5], наряженную гризеткой.

Когда они проходили, мужчины восклицали: «Какая хорошенькая!» Женщины ахали: «Как он сложен! Это сам Купидон! Сама Венера!»

И каждый мечтал о такой возлюбленной, каждая — о таком любимом.

Полная разных лавочек улица Сен-Мартен, которая видела немало привлекательных работниц и пригожих искателей приключений, любовалась неоспоримыми достоинствами Жана и Жанетты.

Жанетта и в самом деле выглядела прелестно; появление господина Жана, хотя и не было неожиданностью, заставило распуститься на ее щеках такие розы, что Флора пожелала бы положить их в свою корзину, тихий огонек оживил синие глаза кружевницы, оттененные длинными светлыми ресницами, как золотым веером, а грудь, взволнованная биением сердечка, вздымала тонкий батист ее корсажа.

Господин Жан даже в скромной одежде имел столь благородный вид, что заставлял усомниться в добродетели его матери, казалось невероятным, чтобы подобный Адонис[6] мог появиться в провинциальном роду: видимо, какой-нибудь знатный господин проездом поухаживал за госпожой Жан.

Таково было объяснение, которое придумала госпожа де Шанрозе, убежденная в простом происхождении Жана.

Что до читателя, то он не удивится приличному виду молодого человека, вспомнив о скуке виконта де Кандаля на ужине у Ла Гимар, его холодности с Розеттой в коляске визави и внезапном желании провести остаток

ночи в Мулен-Руже, чтобы вкусить радостей менее изысканных, зато более чистосердечных.

— Я боялся, что вы не придете, — без лишнего смущения приступил к делу Жан.

Единственным ответом ему послужил полный мягкого упрека взгляд, который невозможно было понять иначе, чем: «Вы прекрасно знали, что приду».

— Сердце мое безумно бьется, ведь я уже целый век делаю вид, что разглядываю вывески.

— Я не опоздала, — возразила Жанетта, указав тонким пальчиком на часы церкви, с которой поравнялась наша парочка.

— Любовь всегда спешит, и самые точные часы отстают, когда ждешь свидания.

— Господин Жан, вы столь любезны...

— Любезен — нет, влюблен — да. Любезны господа из высшего общества, они умеют произносить тысячу самых галантных непристойностей! Мы люди маленькие, но мы страстны и искренни; за нас говорит не разум, но сердце.

При этих пылких словах госпожа де Шанрозе подумала, что Жюстина была права, утверждая, что только среди простых людей можно найти сердце неопытное, но способное любить по-настоящему.

— Хорошо, допустим, вы влюблены, однако это не повод, чтобы так размахивать руками, на нас смотрят.

— Простите и позвольте предложить вам руку: когда мы идем рядом, это выглядит так, будто мы незнакомы и я пристаю к вам и, возможно, оскорбляю. Если вы примете ее, вы окажетесь под моей защитой, и, хотя ваша красота все равно будет привлекать внимание, мое присутствие заставит всех быть почтительными.

Маркиза де Шанрозе, которая чувствовала, что приведенные доводы весьма разумны, а та, кто вопреки всему откажется, будет неправа, кончиками тонких пальцев в маленьких ажурных митенках ухватилась за тщательно вычищенный рукав господина Жана: найдя опору, она зашагала по скользкой мостовой более уверенно и вскоре дошла до бульвара.

— Я хотела бы вернуться домой, — самым невинным и благовоспитанным тоном произнесла Жанетта, которая была не прочь продолжить прогулку и самым естественным образом дать господину Жану свой адрес.

— Домой? Тем лучше, но где вы живете?

Жанетта назвала улицу.

Однако она совершенно не знала города, поскольку всегда ездила в карете, и потому не могла объяснить, как добраться до ее дома.

Кому-то менее влюбленному и увлеченному, чем господин Жан, показалось бы странным, что работница-кружевница не знает дороги домой; но молодая женщина объяснила, что выходит редко, а если выходит, то только с подружкой, которая умеет хорошо ориентироваться в большом городе, и что сегодня она не взяла ту с собой по причине, которую господин Жан, само собой, нашел уважительной.

Не нашему молодому человеку считать это оправдание никуда не годным, а потому он им удовлетворился.

Что до господина Жана, то положение провинциала, недавно приехавшего в Париж, позволяло ему вообще ничего не знать об улицах Парижа; оставалось только спрашивать дорогу на каждом перекрестке, что было бы крайне утомительно, или же нанять фиакр, и надо признать, что, как бы сдержан и скромен ни был господин Жан, ему очень хотелось побыть наедине с Жанеттой в защищенном от ветра будуаре на колесах.

Он предложил это последнее средство Жанетте, которая согласилась не без легкого смущения, но она в жизни не ходила так долго пешком и потому уже начинала чувствовать усталость.

Глава XII

Найти фиакр оказалось проще простого: неподалеку колесил один, с ослепительно-голубым кузовом и сиденьями из желтого утрехтского бархата. В любви фиакр нередко стоит киферийских рощ.

Наши двое влюбленных сели в него и по пути, к несчастью оказавшемуся слишком недолгим, Жан завладел ручкой Жанетты, которая не сильно сопротивлялась, и покрыл ее розовые ноготки поцелуями.

Экипаж остановился, и с губ госпожи де Шанрозе сорвалось невольное «Уже!». Это восклицание конечно же очаровало господина Жана, ибо могло сойти за признание в нежных чувствах или по меньшей мере за пролог признания.

Господин Жан, подав руку Жанетте, чтобы помочь ей сойти, не выпустил милые пальчики, нежно зажав их в своей руке.

Строгие правила приличия, возможно, требовали, чтобы он откланялся и ушел, но господин Жан, хотя и был из провинции и старался вести себя как можно почтительнее, не относился к тем, кто, поймав удачу за хвост, выпускает ее на волю[1].

Он последовал за Жанеттой, чтобы помочь ей подняться по лестнице, хотя она утверждала, что легко справится сама, справедливо полагая, что гризеткам не положен оруженосец, протягивающий им руку помощи.

Невзирая на реверанс, который сделала Жанетта, добравшись до двери, с настойчивостью, мягкой, но неотразимой, господин Жан проник в ее комнату, сохраняя такой чистый, благопристойный и сдержанный вид, что госпожа де Шанрозе не смогла счесть его намерения дурными.

«Ах, что скажет Жюстина, — подумала маркиза, — всего вторая встреча, а враг уже захватил высоту и мое сердце готово к капитуляции».

Немного уставшая от прогулки и взволнованная сильнее, чем она сама себе признавалась, госпожа де Шанрозе упала в старинное кресло и, несмотря на прохладу, принялась обмахиваться платочком.

Взяв низкий табурет, господин Жан устроился у ее ног. Не так уж он неловок, подумала маркиза, для простого парня из Огзера, ибо это столь почтительное на первый взгляд положение, позволительное даже по отношению к королевам, имеет то преимущество, что одинаково годится как для поклонения, так и для вольностей.

Сразу занять такую позицию в любовной битве — подвиг, достойный великого стратега, все Полибии[2] этого дела советуют именно ее. Подобное начало — ход мастера.

— У вас неплохая квартирка, сударыня. — Господин Жан огляделся вокруг.

— Да, — небрежно ответила Жанетта, — здесь достаточно места, чтобы работать и петь.

— И любить!

— О! Не могу знать; моя тетя Урсула была с принципами, всем ухажерам давала от ворот поворот[3]. К несчастью, она скончалась в прошлом году! Бедная тетя! — Здесь Жанетта воздела до невозможности сухие очи к потолку, который в подобных сценах заменяет небо.

— Да упокоит Господь ее душу! — с вполне сочувствующим видом воскликнул Жан, которого ничуть не огорчила кончина несговорчивой тетушки, дракона, стерегущего яблоки Гесперид[4]. — Так вы живете совсем одна?

— Я вижусь только с моей кузиной Жюстиной, помните, она была со мной на балу, очень хорошая девушка. В будни я выхожу лишь, чтобы отнести работу, а по воскресеньям хожу на мессу и на вечерню.

«И где только, черт возьми, не таится добродетель?» — вспомнились господину Жану слова Мольера о честном нищем[5].

— Мои мать и отец умерли, когда я была еще совсем ребенком; меня воспитала тетя, и теперь у меня нет никого кроме Жюстины, вы первый посторонний человек, который ступил в это убежище. Моя кузина станет сильно бранить меня за то, что я позволила вам войти.

— А я благодарю вас за это, как за бесценную милость. Нельзя поймать птичку, не узнав ее гнездышка. Мне доставит сладчайшее удовольст-

вие, думая о вас, иметь возможность поместить позади вашего образа тот фон, на котором он обычно выделяется. Днем я буду представлять вас за работой, сидящей в этом большом кресле, около этого окна, я увижу, как лучи солнца золотят ваши волосы, увижу ваши пальчики, предназначенные для скипетра, ночью — воображу себе вашу невинную головку, полную детских сновидений, на целомудренной подушке вашей маленькой сине-белой кроватки, а утром буду знать, запах каких цветов вы вдыхаете, когда, устыдив саму зарю, встаете и открываете ставни.

— О, господин Жан, вы говорите как по писаному. Может, вы сочинитель или задумываете комедию? — несколько встревожилась Жанетта.

— Успокойтесь, мадемуазель Жанетта, я не настолько люблю поэзию, чтобы слагать стихи.

— О! Тем лучше, если я полюблю кого-нибудь, мне бы хотелось, чтобы он думал только обо мне.

— Так вы довольны жизнью?

— Да, в моей работе над кружевами нет ничего отталкивающего или тяжелого, и то, что я делаю для собственного удовольствия, с лихвой обеспечивает меня, хотя, по правде говоря, мне много не надо.

— И вы не ощущаете, что вам чего-то не хватает?

— Нисколько. Разве у меня нет молока на завтрак и услужливой соседки, которая готовит мне, так как наша профессия требует, чтобы пальцы всегда оставались чистыми? И чем не мила моя комнатка, особенно теперь, когда тетя Урсула оставила мне свое кресло и прелестный комод с медными ручками? Ей-богу, мало найдется таких гордых и независимых гризеток, как я: не считая домашней одежды, у меня есть платье на каждое время года, зеленое для весны, розовое для лета, сиреневое для осени, цвета опавших листьев для зимы. Что до чепчиков, то я могу менять их каждый день, я сама их украшаю... Одним словом, я считаю себя очень практичной.

Перечисляя свои богатства, Жанетта встала и в порыве прекрасно разыгранного, а возможно, и неподдельного детского кокетства распахнула дверцы шкафа.

Ее наряды, хотя и непритязательные, отличались хорошим вкусом, были сшиты лучшими мастерицами и делали честь маркизе, потому что кружевница в них казалась господину Жану очень привлекательной.

— Вы не нуждаетесь ни в чем, чтобы быть красивой, — галантно заметил юный Феникс[6] из Огзера, полюбовавшись богатствами Жанетты.

— О! Не нуждаюсь! Хорошо сказано, но вам никогда не убедить молоденькую девушку, что красивый чепчик портит милое личико, а новое платье ничего не добавляет к тонкой талии.

У господина Жана, слишком хорошо знакомого с господином Кандалем, на языке уже вертелся откровенный и аллегорический ответ, кото-

рый был в обиходе у Ла Гимар или за кулисами Оперы, но совершенно не вязался с целомудренной мансардой порядочной гризетки.

Поэтому он лишь признал, что *наряды не портят красавиц*, аксиома, которую женщины всегда находили разумной и которую столетием позже попытался опровергнуть известный сочинитель комических опер[7].

Пойдя на эту уступку, он не преминул вернуться к своему первому вопросу и продолжил:

— Старое кресло и комод с медными ручками не могут заполнить всего сердца, особенно сердца семнадцати лет. Жюстина — замечательная подруга, но быть вдвоем с женщиной значит быть одинокой. Вы никогда не хотели иметь друга?

— О нет! Тетя Урсула говорила, что все мужчины соблазнители и дружба между девушкой и юношей невозможна.

— Дружба — нет, а любовь — да.

— Любовь — грех.

— Самый маленький грех на свете и тот, что легче всего прощается на небесах. — Господин Жан привлек к себе мадемуазель Жанетту, которая оттолкнула его с таким слабеньким «Оставьте меня», что он не расслышал и поцеловал ее в порозовевший лобик, очутившийся как раз на уровне его губ.

На лестнице весьма кстати для целомудрия Жанетты послышались громкие шаги.

Господин Жан, решив, что случай еще представится, отпустил голубку, которую уже держал за крылышко, и самым вежливым образом откланялся, успев, однако, назначить свидание на следующее воскресенье.

Госпожа де Шанрозе взяла для виду одну из книг, лежавших на этажерке, то ли «Гюон из Бордо», то ли «Четыре сына Эмона»[8], мы уже не помним точно, какую именно, вернулась в кресло, положила ноги на табуретку и стала поджидать Жюстину, которая еще не пришла, поскольку шум на лестнице оказался ложной тревогой.





Глава XIII

Жюстина, оставив хозяйку под защитой господина Жана, воспользовалась случаем, чтобы навестить своего простоватого ухажера, который виделся ей воплощением настоящей любви и чья солидность нравилась ей больше, чем несколько слащавая красота шевалье де Вертея.

Речь сидельца не отличалась изысканностью, но с женщинами он обретал убедительное красноречие, так что в беседах с глазу на глаз Жюстина находила его достойным самого Цицерона[1].

Они проговорили довольно долго, и, когда горничная пришла за госпожой де Шанрозе в комнату Жанетты, уже спустились сумерки.

Хозяйка держала в руках книгу, но скорее для виду, чем для чтения; душа ее и без того была достаточно взбудоражена, ибо женщине ее собственные романы интереснее, нежели те, о которых она читает, пусть даже они принадлежат перу гражданина Женевы, или господина Аруэ де Вольтера[2], или господина Кребийона-сына.

Жюстина, предусмотрительно придумавшая по дороге весьма пристойное и вполне приемлемое оправдание своему несколько затянувшемуся свиданию, обнаружила, что на сей раз выговор ей не грозит.

Госпожа де Шанрозе не заметила опоздания Жюстины, как не заметила ни блестящих глаз, ни горящих щек своей камеристки[3], ни ее несколько растрепанных волос, которые могли бы вызвать подозрение, что Жюстина не все время стояла на часах; впрочем, доброй и снисходительной маркизе было не до придирок, особенно теперь, когда она очень нуждалась в наперснице.

— Ах! — воскликнула маркиза, внезапно очнувшись от грез. — Вот и ты, Жюстина.

— Я вся к вашим услугам, госпожа, — ответила субретка с почтительным и покаянным видом.

— Жюстина, переодень меня. — Маркиза вверила себя заботам горничной.

— Я быстренько управлюсь, у меня есть все, чтобы переодеть госпожу.

Проворная Жюстина всего несколькими взмахами расчески заставила исчезнуть кружевницу и вернула на ее место госпожу де Шанрозе.

Простое полосатое платьице, косынка из тонкого батиста, серые шелковые чулки и маленькие башмачки с пряжками улетучились как по волшебству, чтобы уступить место одежде знатной дамы, которой не хочется привлекать к себе излишнее внимание.

Таким образом преображенная, госпожа де Шанрозе в сопровождении Жюстины добралась до поджидавшего экипажа и вернулась в особняк, где никто не придал особого значения ее отсутствию, которому нашли подходящее объяснение.

По пути Жюстина ни разу не нарушила молчания своей госпожи, чье сердце волновали доселе неведомые ей ощущения; рассеянная и счастливая, маркиза наслаждалась новыми нежными чувствами. Она не промолвила ни слова, но ее прелестное личико мечтательно сияло.

Финансист и аббат, которые этим вечером ужинали с маркизой, нашли ее самой обворожительной в мире и прекрасной, как никогда, но где им было понять, что, пусть это сравнение и покажется грубоватым, женщина — все равно как породистая лошадь: чтобы увидеть ее во всей красе, надо увидеть ее возбужденной.

И действительно, госпожа де Шанрозе в тот вечер была сама сердечность: она весьма любезно улыбалась финансисту и держалась с аббатом гораздо приветливее, чем обычно.

Она смеялась их шуткам так, словно они говорили самые остроумные и пикантные вещи, и смех служил ей хорошим предлогом, чтобы излить переполнявшую ее радость; на самом деле господин финансист Бафонь был остроумен, как сундук, и изящен, точно набитый мешок, а аббат, хоть и знал латынь и владел уличным жаргоном, едва ли когда-нибудь обещал, двигаясь и дальше по церковной стезе, сравниться с орлом из Мо[4] или лебедем из Камбре[5].

Но, как утверждают некоторые философы, которые правы, несмотря на свой витиеватый язык, ничто не существует вне нас, только наша веселость или грусть делает окружающее веселым или грустным: человек, чья душа радуется, находит хорошее там, где другие, пребывающие в скверном расположении духа, не видят ничего достойного внимания[6].

Госпожу де Шанрозе в ее душевном состоянии вполне позабавило бы и общество людей куда менее приятных, чем аббат и откупщик.

Однако в конце концов они все-таки утомили маркизу, так как несмолкающие взрывы их смеха стали столь громкими, что отвлекали от дорогих ее сердцу мыслей, которых ей не хотелось растерять в ничего не значащей болтовне.

Желая намекнуть гостям, настроенным на продолжение беседы, что час отдыха уже пробил, она состроила одну из тех гримасок, которые светские люди понимают без слов, хотя порой перспектива оставить соперника наедине с дамой сердца вынуждает их притвориться слепыми.

Маркиза приоткрыла розовый ротик, вежливо поднесла к нему ладошку и зевнула достаточно звонко для тех, кто хотел слышать.

При втором зевке финансист поднялся и взялся за шляпу, но, заметив, что аббат не шелохнулся, с упрямой ревностью уселся на место.

Увидев, что Бафонь располагается в просторном кресле, словно устраивается на всю ночь, а аббат сидит напротив него в позе фаянсового пса, госпожа де Шанрозе поняла, что должна нанести решающий удар, и осведомилась прямо, без обиняков, который час.

Аббат, как человек светский и более опытный, чем финансист, понял, что оставаться долее было бы уже дурным тоном, и, искусным маневром подхватив Бафоня под руку, сказал легко и непринужденно:

— Вы идете, мой дорогой? Вы же видите, нашей ненаглядной маркизе пора отдохнуть.

Бафоню, до крайности раздраженному, пришлось встать и откланяться, дабы не уступить в вежливости аббату.

Как только гости удалились, госпожа де Шанрозе, на которой, казалось, Морфей только что испытывал самые сильнодействующие снотворные вроде докладов, трагедий и академических споров, неожиданно пробудилась, словно кошка, приметившая птичку.

Она встала с дюшески, на которой полулежала в позе умирающей от усталости дамы, два-три раза прошлась по комнате, затем свернула к камину и дернула за муаровый шнурок сонетки.

На серебристый звон колокольчика тут же явилась Жюстина, ибо она чувствовала, что вот-вот настанет час доверительных бесед, и ждала за дверью, готовая прийти по первому зову.

Жюстина была слишком хорошей горничной из знатного дома, чтобы не понимать, насколько выгодно субретке иметь право совещательного голоса в сердечных делах своей госпожи.

Она помогла маркизе раздеться, облачила ее в просторную ночную сорочку из индийского муслина, отороченную кружевом малин[7] в три пальца шириной, и закрепила ей на затылке маленький и самый кокетливый на свете чепчик с очаровательнейшими крылышками. После этого Жюстина сделала вид, что собирается уходить, и обратилась к хозяйке с традиционным вопросом:

— Госпоже еще что-нибудь угодно?

— Останься, Жюстина, у меня сна ни в одном глазу. — Маркиза приподнялась на прелестном розовом локотке, утопавшем в батистовой подушке.

— Госпожа хотят мне что-то сказать?

— Нет, вы только поглядите на эту хитрую бестию, какое искреннее удивление! Разумеется, мне есть что сказать.

— Слушаю, госпожа. — Субретка сложила на животе ручки в чистеньких митенках.

— Что ж, начну сама, поскольку ты, похоже, сегодня проглотила язык: как тебе нравится господин Жан?

— Очень.

— У него красивые зубы.

— Очень красивые.

— Тонкая талия.

— Очень тонкая.

— Ах, так! Жюстина, и долго ты будешь изображать эхо?

— Я могу только согласиться с госпожой. Господин Жан кажется мне молодым человеком хоть куда; он любезен, аккуратно одет и восхитительно танцует. Что до его ума, то тут мне нечего сказать, поскольку он говорил исключительно с мадемуазель Жанеттой; впрочем, ум для любви необязателен.

— Он умен, уверяю тебя, и очень проницателен.

— Тем хуже.

— Почему тем хуже? Ум любви не помеха.

— Мне казалось, что госпожа желает наивной страсти.

— Да, но разве непременно нужно быть дураком, чтобы любить?

— Говорят: любит, как зверь; а пословицы — это народная мудрость.

— Черт возьми, Жюстина, чем тебе досадили умные люди, отчего ты их то и дело поносишь?

— Мне они не сделали ровным счетом ничего.

— И поэтому ты предпочитаешь безмозглых животных?

— Разве я не права?

— Успокойся, господин Жан не из тех, кого ты опасаешься.

— Не стану скрывать от госпожи, но вначале, из-за его меланхоличного вида, я заподозрила, что он поэт.

— Фи! Для этого у него слишком чистые ногти, волосы чересчур хорошо причесаны, а чулки — натянуты, и, кроме того, я не заметила ничего высокопарного в его манере выражаться.

— Раз госпожа уверены, что он не писака, я нахожу его очаровательным во всех отношениях.

— Ты думаешь, он любит меня так, как мне хочется?

— Я считаю, что, судя по всему, он безумно влюблен в госпожу, то есть в мадемуазель Жанетту, я хотела сказать...

— О! Несомненно, он не осмелился бы глаз поднять на госпожу де Шанрозе.

— Как знать, как знать... Блеск его глаз говорит, что в душе он довольно самолюбив.

— Он ни в коем случае не должен узнать, что Жанетта на самом деле маркиза.

— Нет ничего проще, ведь этот молодой человек не ходит туда, где бывают госпожа, и разумеется, не разъезжает в карете.

— Впрочем, если он и встретит меня, то не узнает: ты сумела сделать из меня два совершенно разных существа: когда на моих плечах казакин Жанетты, я уж и сама не знаю, кто я.

— А когда госпожа должны встретиться снова с молодым любезником?

— В воскресенье. Считается, что в этот день у меня нет ни работы, ни дел в городе.

— Если мне позволительно дать госпоже совет, то для правдоподобия стоит напустить на себя немного строгости, если речи господина Жана станут чересчур нежными, и дать ему по рукам, если он позволит себе лишнее. Так принято у простых людей.

— Я скажу ему: перестаньте! Тоном... из комической оперы.

— Я говорю это, госпожа, потому что если добропорядочная Жанетта, воспитанная в духе своего тесного мирка и полная средневековых предрассудков, поведет себя как легкомысленная знатная дама, то господин Жан может заподозрить в ней маркизу.

— Ты хоть понимаешь, что твои слова оскорбительны?

— О! Простите, госпожа, но обычные люди придают таким вещам огромное значение: ни о каких уступках не может быть и речи раньше, чем через полтора-два месяца ухаживаний; и потом, заставив господина Жана потерпеть, как это делают мещанки, госпожа, я ручаюсь, испытают то, что даже представить себе не могут.

— Господи, Жюстина, ты сегодня изъясняешься так туманно!

— Госпожа когда-нибудь испытывали чувство голода?

— Какой странный вопрос? Никогда! Разве можно хотеть есть?

— Крестьяне и мастеровые считают, что да.

— За столом ничто не вызывает у меня аппетита: я пробую бланманже[8], съедаю крылышко куропатки, немного пряной зелени, пью капельку ликера, и все.

— Так вот! Если госпожа день-два не поедят, то вопьются всеми зубками в кусок ситного хлеба и найдут его несказанно вкусным, даже если он будет полон отрубей и щепок.

— Понятно! Ты прописываешь мне диету, чтобы вернуть аппетит?

— Точно так.

— Возможно, ты права.

— Две недели сопротивления, и госпожа будут влюблены, словно белошвейка.

— А что скажет об этой диете господин Жан?

— Он потеряет голову от мадемуазель Жанетты и будет готов на любые безумства.

— Ты говоришь, как в позапрошлом веке, но определенный смысл в твоих словах есть; хорошо, что ты укрепляешь меня в этих мыслях, ведь сегодня я уже чуть было не вышла из роли и почти забыла, что Жанетта — не маркиза де Шанрозе. Ради моей добродетели тебе следовало вернуться пораньше, еще немного — и роман начался бы с последней главы. Решено, чтобы все шло по твоему плану, отныне я буду неприступна, как гирканка[9], и целомудренна, точно мещанка.

Глава XIV

За этими разговорами маркиза наконец улеглась, и Жюстина, заметив, что Морфей вот-вот посыплет золотой пылью глаза ее прекрасной госпожи[1], удалилась, а сие событие не замедлило произойти.

Не одна маркиза де Шанрозе нежно вздыхала о господине Жане.

Танцовщица Розетта после ужина у Ла Гимар также не переставала думать о виконте Кандале.

Розетта, несмотря на ее образ жизни Манон Леско[2] (а в оправдание Розетты надо сказать, что вести другой образ жизни в Опере невозможно), испытывала чувство, довольно редкое для недавно вышедшей на авансцену фигурантки: она любила!

Что покорило ее в виконте, так это его печальное изящество и томный, скучающий вид, который позволял предположить за его умом душу — вещь, о которой очень мало пеклись в тот развеселый восемнадцатый век.

В те времена для того, чтобы нравиться, требовалось, во-первых, иметь живой взгляд, румянец на щеках, натуральный или наносной, и натянутые штрипки, во-вторых, никогда не вешать носа, носить шпагу на боку острием назад, а цилиндр — под мышкой, и держать руку на жабо, подобно маркизу де Монкада[3]. Кроме того, предписывалось предлагать леденцы из бонбоньерки, говорить пошлости и двусмысленности, напевать модные куплеты, высмеивающие фаворитку, оставаться неизменно веселым, жизнерадостным, щеголеватым, поверхностным и, главное, смеяться, ибо то было время Смеха, Игр и Развлечений, которым полагалось царить в жизни так же, как в балетах и живописи.

Меланхолия, этот нежный цветок души, считалась болезнью, которая, в соответствии со своей этимологией[4], касалась господ Пургона и Флёрана[5].

Очевидно, Розетта полюбила виконта, потому что обладала более чувствительной и тонкой натурой, нежели ее подружки и даже женщины более высокого положения, которые непременно нашли бы, что он наводит на всех тоску, поскольку ему не хватает остроумия и пикантности.

Когда он сверкал, точно фейерверк, под блестками своего платья и ума, когда в пору своих первых побед еще не познал тщету удовольствий, Розетту его достоинства не трогали. Теперь все изменилось, но тот факт, что во времена царствования Котильона Третьего[6] танцовщица из Оперы обладала душой, является исключением, подтверждающим правило. Обычно эти особы любили только золото, стабильное содержание, бриллианты, столовое серебро, кареты, лакеев ростом в шесть футов и прочие надежные вещи, их смешили только самые пошлые шутки на жаргоне кулис и разврата.

Бедную Розетту глубоко уязвило то, как Кандаль, проводив ее в визави, целомудренно простился с ней на пороге дома, ибо фигурантка безо всякого зазнайства считала, что ничем не заслужила такого обращения и к тому же за все правление Людовика XV подобный казус вряд ли когда-либо имел место.

Розетта никому ничего не сказала, ведь, получи эта история огласку, репутации Кандаля пришел бы конец.

Утром, крайне обеспокоенная этим злоключением, она перед зеркалом провела смотр своих прелестей: распустила волосы, которыми ее щедро одарила природа, проверила зубы, обнажив их до розовых десен — даже самый молодой волк, загрызший в лесу свою первую овечку, не мог похвастаться такими белыми зубами; изучила кожу, которая была глаже атласа, мрамора и всего, что только есть гладкого на свете, и не нашла на ней ни складочки, ни морщинки, ни трещинки, ни пятнышка, ни рубчика:

сама Геба, богиня юности, и даже Гигия, богиня здоровья, несомненно уступали ей в свежести.

В силу счастливого каприза природы, которая чаще благоволит пороку, чем добродетели, щеки Розетты, несмотря на румяна и поцелуи, сохранили те краски цветка персика, которые разрушает малейшее прикосновение. Она осмотрела свои руки — самые красивые руки на свете, и ноги, блестевшие, словно мрамор, под шелковой паутинкой чулок в балетах Доберваля[7], ноги, которыми любовался весь Париж.

Результаты осмотра вызвали улыбку: Розетта нашла себя прекрасной.

Она успокоилась и объяснила поведение Кандаля тем, что в тот вечер он был чем-то озабочен или устал, хотя восемнадцатый век не признавал усталости.

Тогда Розетта приняла поистине великое решение, особенно для танцовщицы, более ловко владеющей ногами, чем руками: она решила написать виконту Кандалю!

Танцовщицы и даже знатные дамы восемнадцатого столетия особо не блистали каллиграфией и орфографией.

Сохранились письма госпожи де Помпадур и госпожи де Попелиньер[8], прелестные по стилю, но написанные так, как нынче не пишут даже кухарки.

Розетта умела ни больше и ни меньше, чем красавицы ее времени. Она взяла большой лист бумаги и накорябала аршинными буквами, похожими скорее на иероглифы, следующее послание, которое удалось бы танцовщице лучше, макай она в чернила ногу:

> Мой дорогой виконт,
>
> Я очень беспокоюсь за Вас, похоже, прошлым вечером Вы были больны или мучились угрызениями совести, ведь Вы так неожиданно ретировались с мрачным видом. Я подозреваю, что Вы скрыли от меня какой-то серьезный грех, когда были у моих ног, в доме великой бесплотной Гимар. Приходите, закончите Вашу исповедь, наказание не будет строгим. Для Вас я всегда у себя и ночью, и днем, только с полудня до двух я репетирую новые па с гаргульядами[9], которыми Вы останетесь очень довольны и которые подходят мне больше ригодонов, тамбуринов и луров[10].
>
> До свидания, сердце мое,
>
> *Розетта, фигурантка Оперы.*
>
> *P.S.* Не правда ли, Ла Гимар слишком худа и похожа на паука, когда танцует?

Письмо отнесли в особняк Кандаля и подали виконту на красивом серебряном подносе с чеканкой Ревея.

Кандаль особо не удивился черточкам, произвольно расставленным над «т» и под «ш», а также фантастической орфографии записки, которую он довольно легко расшифровал, и, обратившись к дожидавшемуся ответа верзиле посыльному, сказал полускучающим-полупокровительственным тоном с восхитительно самодовольным видом знатного господина прошлого века:

– Хорошо, я заеду.





Глава XV

Едва пробудившись, госпожа де Шанрозе подумала о господине Жане. Все сны были о нем: ночь напролет под сенью своего балдахина маркизе грезилось, как она в костюме Жанетты сидит в снятой Жюстиной комнатке, в кресле, которое так ловко притворилось, что принадлежало ее бабушке. Маркиза держала на коленях узкие пяльцы кружевницы и тонкими пальчиками переплетала невидимые нити, которые путались под поцелуями сидящего на низком табурете господина Жана, преданно склонившегося к ее рукам.

В новой обстановке ее душа и характер словно изменились: настойчивость галантных кавалеров, досаждавших госпоже де Шанрозе пошлыми мадригалами и приторными комплиментами, действовала на нее подобно сладостям, взбитым сливкам и безе с мороженым, которые отбивают вкус к здоровой пище и пресыщают, не питая.

Чересчур многочисленное окружение не позволяло ей сделать выбор, чрезмерная предупредительность мешала испытать желание, и она прожигала жизнь со взбалмошной беспечностью. Любовные интрижки подменили Любовь. После встречи с господином Жаном Любовь прогнала прочь все интрижки.

Одевшись, маркиза пожелала немедленно отправиться в комнату кружевницы, но Жюстина, которая была более осторожна, несмотря на легкомысленный вид, почтительно объяснила хозяйке, что им не всегда легко и незаметно удастся выскользнуть из особняка и что обман, который поначалу сходит с рук, из-за непредвиденных обстоятельств может обнаружиться.

— Думаю, госпоже лучше объявить, что они отправляются месяца на полтора в деревню, в какой-нибудь замок.

— Нет ничего проще, но если я объявлю, что уезжаю в одно из моих имений, то меня там будут ждать; затем, мои парижские друзья захотят нанести мне визит, и правда всплывет на поверхность.

— Потому я не присоветовала бы госпоже какой-нибудь из их замков.

— Поехать в гости? Все раскроется еще быстрее.

— Если не ошибаюсь, у госпожи есть родственница в Бретани.

— Да, я о ней совсем забыла, старая семидесятилетняя тетушка, сидит в главной башне своего старинного замка как сова в обществе филинов и носит такое труднопроизносимое имя, что при попытке его выговорить — язык сломаешь. Говорят, надо проехать несколько очень опасных мест, чтобы добраться до этого владения, висящего в двух-трех сотнях футов над океаном.

— Так вот, госпожа поступят разумно, если отправятся в гости к своей тете месяца на два, на три.

— Жюстина, что ты такое говоришь?

— Ваша родственница никогда не бывает ни в Париже, ни в Версале?

— О! Нет, конечно, она думает, что на дворе по-прежнему эпоха Анны Бретонской[1] и парламентов[2], и смотрит на Париж, как на гнусный Вавилон[3].

— Это то, что нам надо; госпожа в сопровождении верной Жюстины сядут на почтовых, объяснив, что не берут других слуг из-за сварливого и неуживчивого характера старой дамы, и не таясь покинут город; потом на первой же станции они переоденутся и вернутся в Париж через другую заставу.

— Восхитительно! — Маркиза радостно захлопала в ладоши. — Таким образом я получу полгода свободы! Жюстина, ты настоящий клад.

— Поскольку госпожа маркиза сами изволят так говорить, не стану перечить. — Жюстина присела в шутливом реверансе. — Я знаю себе цену, господин де Мариво изобразил в своих пьесах для Французского театра субреток послабее меня.

Госпожа де Шанрозе слегка кивнула, и все прошло без сучка и задоринки, так, как задумала Жюстина.

Отъезд был обставлен подобающим образом, экипаж, запряженный тремя мощными першеронами[4], выехал за ворота под щелканье кнутов, заставлявших сильфов[5] жалобно попискивать.

Коляска вскоре пересекла грязные улицы большого города, обливая пешеходов потоками мутной жижи, давя собак и сбивая с ног философов, которые, по примеру Жан-Жака, нарочно бросались под колеса экипажа, дабы потом вставлять в свои статейки обвинения в адрес богатеев на потребу сброду, которому такого сорта высокопарная брань всегда по сердцу.

Миновали заставу, выехали за город. Утром прошел дождь, дороги размыло, но теперь солнце сияло во всем своем блеске. Прелестные пушистые облачка, легкие, будто с плафонов[6] Фрагонара, проплывали по нежно-голубому небу, чистому, словно лучшие образчики севрского фарфора; листва была ярко-зеленого цвета, поскольку весна только-только зарождалась и Флоре еще не довелось лицезреть, как ее цветы превращаются в плоды и наполняют корзины Помоны — все это делало открывающийся вид приятным для глаза и радующим душу, точно сельские декорации в Опере, изготовленные Буше: краски пейзажа бледнели в отдалении, но не теряли своего очарования, потому что природа, пусть не совсем изящно и порой несколько грубовато, все же владеет палитрой и кистью. Несколько уроков мастерства — и ее ни в чем нельзя будет упрекнуть.

Правда, встречавшиеся в этих сельских просторах персонажи в отличие от тех, что мы видим на десюдепортах[7] и в пасторалях[8], не рядились в светло-серую тафту и бледно-зеленый атлас, пасущиеся овечки вовсе не заслуживали эпитета «белые», коим одаривает их госпожа Дезульер[9]. Казалось, им давно не устраивали бани, если их вообще когда-либо купали, нежные шеи овечек не украшали ни розовые, ни белые ленточки, и пожелай прекрасная Филида[10] прижать их к груди, она неизбежно испачкала бы свой корсаж, ибо чем-чем, а чистотой эти божьи твари не отличались[11].

Сии агнцы весьма изумили маркизу, которая, основываясь на маленьких виршах господина аббата и гуаши на собственном веере, составила себе совершенно иное представление об овечьей породе.

— Что это за гора лохмотьев вышагивает на таких гадких, кривых и красных ногах?

— Это, госпожа моя, пастух.

— Боже! Жюстина, что я слышу? Ты смеешься? Пастух — вот этот увалень?.. Не верю!

— Да, он не похож на оперного пастушка.

— И он очень неправ, Жюстина. Реальность должна подражать искусству[12].

— Конечно, Марсель и Вестрис[13], когда танцуют куранту[14] в пасторалях, выглядят гораздо лучше.

— А это что еще за чучело с хворостиной, которое бьет индюшек?

— Только что мы видели Тирсиса[15], теперь любуемся Филидой.

— Жюстина, ты злоупотребляешь тем, что я совсем не знаю жизни, и рассказываешь бог знает что. Жуткий, уродливый кусок плоти, спутанная копна волос, рябая кожа, громоздкие залатанные юбки, потрепанная накидка, нет, это вовсе не Филида.

— Она собственной персоной. Во Франции тысячи Филид, еще более уродливых, чем эта.

— Ах! Ты нарочно путаешь мои представления о деревне.

За разговором госпожа де Шанрозе поворачивала голову то направо, то налево, поражалась всему, что видела, и радовалась тому, что, удаляясь от господина Жана, на самом деле приближается к нему.

Когда экипаж подъехал к станции, госпожа де Шанрозе сказалась немного уставшей и с утомленным видом попросила комнату, словно дама, почувствовавшая недомогание, которое не могла предвидеть и которое не позволяет ей ехать дальше.

Лошадей распрягли, и госпожа де Шанрозе сообщила, что не знает, сможет ли часа через два продолжить путь. Как вы сами понимаете, ей становилось только хуже, и Жюстина авторитетным тоном человека, сведущего в медицине, заявила, что надо возвращаться, и они отправились обратно в Париж, но на этот раз не в почтовой карете, а в двуколке, заблаговременно нанятой Жюстиной.

Першерон приятной мелкой рысью доставил маркизу и субретку к заставе Сен-Дени, вещи перегрузили в фиакр, и вскоре обе женщины оказались в маленькой квартирке, дорогу к которой господин Жан, хотя и не записавший ее адреса, безо всякого труда нашел тем же вечером.

Глава XVI

В некоторых индийских сказках встречаются персонажи, то ли боги, то ли духи, то ли просто колдуны, которые умеют изменять тела и жизни, не меняя при этом душу.

Благодаря проворству Жюстины, которая претворила в жизнь каприз своей хозяйки, госпожа де Шанрозе без талисманов и волшебных книг оказалась в положении этих сказочных персонажей.

Превращение, или, если угодно, перевоплощение, было полным. Ничто в этой комнатушке не напоминало Жанетте о госпоже де Шанрозе. Здесь текла совершенно другая жизнь.

Мы часто оказываемся в незнакомой обстановке, но при этом всегда привносим в нее что-то от себя, будь то одежда или имя; у госпожи де Шанрозе не осталось ни того, ни другого, она и сама уже с трудом понимала, кто она на самом деле — маркиза или гризетка.

Она назначила свидание на воскресенье. Как вы понимаете, господин Жан вовсе не собирался его пропускать.

Поскольку день был выходной, юный протеже господина Боннара явился рано утром и чуть не застал в постели мнимую Жанетту, привыкшую вставать поздно. Он предложил, как это принято между простыми служащими и гризетками, провести день за городом, пособирать землянику, покататься на осликах по лесу и пообедать в кабачке «Белый кролик»[1].

Жанетта план одобрила, вот только хотела взять с собой Жюстину. Та, предпочитая любой, даже самой приятной компании своего ухажера, парня обычно немногословного, но весьма красноречивого на свиданиях, извинилась, сославшись на необходимость нанести важные визиты, которые нельзя отложить. Жан был весьма признателен ей за такую любезность, да и госпожа де Шанрозе не сильно огорчилась.

До заставы доехали на фиакре; господин Жан, хотя и не приступил еще к своим обязанностям в налоговой службе, сделал вид, что захватил с собой из Огзера кожаный кошелек с кругленькой суммой в шесть ливров, и мог себе позволить щедрость, которая ужаснула и разорила бы как мелких судейских клерков, так и сыновей москательщиков.

Не отличаясь красотами, кои поджидают путешественников в других известных городах, окрестности Парижа предлагают тем не менее приятное сочетание полей, садов, болот и рощ, где птицы и влюбленные могут свить себе гнездышко.

Сельские домики, ветряные мельницы, мягко вращающие крыльями, веселые распевающие песни кабачки оживляют этот пейзаж, который, не будучи ни диким, ни живописным, обладает тем не менее прелестными чертами и удивительным очарованием.

Впрочем, тень и прохлада Темпейской долины[2] совсем не обязательны для обрамления любви парижской гризетки и сборщика налогов.

Итак, Жан и Жанетта гуляли вдоль изгородей, за коими молодая женщина то и дело замечала цветочки, которые ей хотелось сорвать, и вдоль полей, еще слишком зеленых, чтобы предоставить свои снопы или нивы влюбленным.

Беседуя, они дошли до леса, где Жанетту, к ее большой радости, усадили на ослика и прокатили по нескольким аллеям в сопровождении Жана и хозяина осла, сообща стегавших по крупу дядюшку Алиборона[3]. Длинноухое животное не обращало на них никакого внимания и успева-

ло на ходу прихватить веточки с листьями или стебли чертополоха, спугнув бабочек, увивавшихся вокруг колючих цветов с той же страстью, что и вокруг роз, в которые, если верить художникам, они влюблены[4].

Разговор парочки трудно передать. Малозначительные фразы приобретают огромный смысл благодаря блеску глаз, дрожи в голосе и румянцу на щеках.

Жан и Жанетта испытывали друг к другу слишком глубокие чувства, чтобы говорить о любви, и, не нуждаясь в словах, радовались счастью быть вместе, в полях, среди цветов и зелени, в прекрасный весенний день.

Поскольку любовь является чувством примитивным, она, возможно, живее ощущается на лоне природы. Социальные условности легче забываются, когда ничто наносное не напоминает о них, и добродетель, которая в городе остается неприступной, смягчается в полях.

Именно по этой причине поэты, прячущие порой за своими образами некоторые философские идеи, населили горы, долы, леса, луга и водоемы весьма галантными и любвеобильными ореадами, дриадами, напеями, лимнадами, наядами, панами, эгипанами, сатирами и фавнами[5] и не сумели придумать ничего подобного для городов.

Каким-то чудом госпожа де Шанрозе не поддалась очарованию природы, и, хотя маркиза слышала советы птиц, целующихся в своих гнездах, и цветов, склонявших друг к другу приоткрытые чашечки, она их вовсе не слушалась.

Была ли причиной тому ее выдержка, или она помнила наставления Жюстины, или господин Жан, притихший от волнения, не смог воспользоваться тенистой сенью рощ или укромными зарослями папоротника? Отнюдь.

Состояние, в котором пребывали двое молодых людей, было столь сладостным, что они боялись утратить его из-за поспешного шага, который мог как приумножить их счастье, так и разрушить его.

Маркиза и виконт, переодетые в гризетку и приказчика, ели лесную землянику[6], заставляя добродетель скулить разве что от легких рукопожатий и поцелуев в лоб или волосы, не смутивших бы даже самую стыдливую пастушку. Если кто-то из читателей найдет странным, что господин Жан, который вначале казался напористым и раскованным, вдруг ослабил свой натиск, мы ответим, что тогда он входил во вкус, а теперь в его сердце вошла любовь.

Мы очень надеемся, что наша чувствительная читательница поймет этот тонкий нюанс.

Говорят, что влюбленные живут одним лишь воздухом, подобно сильфам, о которых господин Кребийон-сын и господин граф де Габалис рас-

сказывают самые невероятные вещи[7], но это утверждение представляется нам слишком смелым, и, несомненно, Жан и Жанетта, несмотря на огромное удовольствие, с которым они предавались сбору ягод, цветов и поцелуев, не испытали неудовольствия, добравшись до кабачка «Белый кролик».

Этот кабачок нельзя было не заметить.

Его вывеску, известную с незапамятных времен, намалевал на двух сторонах железного листа, громыхавшего на ветру, весьма далекий потомок Апеллеса[8]. Огромная ветка сосны почти скрывала надпись, и не уверенный в таланте художника хозяин, сомневаясь в точности изображения белого кролика, принял остроумное решение и разместил в клетке живую вывеску, которая не могла ввести в заблуждение даже самых непонятливых.

Огромный белый кролик с безразмерными ушами и большими красными глазами, обгладывая морковку, шамкал отвислыми губами рядом со своим лживым изображением, которое можно было принять за лошадь, оленя или слона.

Фасад «Белого кролика» сверкал, точно нос у пьянчужки, веселенькой алой краской, указующей служителям божественной бутылки, что здесь находится храм или по меньшей мере часовня Бахуса[9].

На крыше из старой, поросшей мхом черепицы, сквозь которую кое-где пробилась живучка, прогуливались голуби всех расцветок — бедные птички Венеры[10], не подозревающие о предназначении сковородок и зеленого горошка и предающиеся любви так, словно на первом этаже не крутился непрестанно вертел.

Цыплята на дворе демонстрировали ту же беззаботность, несмотря на то что время от времени из кухни выбегал поваренок в колпаке и белой куртке с тесаком на боку и хватал одного из них за крылышко, не обращая внимания на писк; кабачок был бойким заведением, и дым из его трубы, голубоватая спираль коего выделялась на фоне зелени, никогда не иссякал.

Вокруг дома располагались трельяжные беседки, где находились отдельные, сплошь увитые хмелем, диким виноградом, плетистым шиповником и жимолостью, кабинеты. Все выглядело по-деревенски грубовато, но вполне пристойно.

Аромат цветов очень кстати заглушал менее приятные, но сильные кухонные запахи, и лепесток шиповника, падая в стакан, как бы соединял Венеру и Бахуса.

Двое влюбленных расположились в одном из зеленых кабинетов, они сели напротив друг друга за стол, накрытый толстой, очень чистой скатертью в широкую розовую полоску, на которой рядом с оловянными

приборами стояли граненые стаканы и кувшин аржентийского вина, довольно молодого, но неразбавленного, случай редкий для рестораторов — этих великих специалистов по обращению вин, хотя последние ничуть не страдают в подвалах оттого, что не прошли обряд крещения водой и не стали добрыми христианами.

За обедом они шутили и веселились. Блюда, пусть и простые, были довольно хорошо приготовлены, а аппетит служил им приправой.

Несомненно, если бы кто-нибудь шел мимо и увидел сквозь заросли этих приказчика и гризетку, смеющихся от всей души за общей трапезой, то он ни за что не заподозрил бы в приказчике виконта, а в гризетке — маркизу, в господине Жане — господина де Кандаля, а в мадемуазель Жанетте — госпожу де Шанрозе.

Они вернулись в город, освещенный дивным лунным светом, и Жанетта, которая совершенно освоилась с ролью, мило попрощалась с господином Жаном на пороге своего дома и очень ловко захлопнула дверь прямо перед его носом.

Таким образом день, начатый под покровительством Венеры, богини любви, закончился под знаком Минервы, богини мудрости.





Глава XVII

Бедная Розетта напрасно прождала маркиза де Кандаля, поскольку господин Жан никак не мог исполнить две роли одновременно.

Она удивилась подобному отсутствию галантности у столь совершенного аристократа и от досады весьма грубо обошлась с одним офицером мушкетеров, одним аббатиком и даже с одним пожелавшим присутствовать при ее туалете откупщиком, хотя обыкновенно собратья последнего пользуются в Опере полной свободой и их прихоти не находят там отпора.

Вечером она танцевала кое-как, споткнулась, сбилась с темпа и рисковала быть освистанной, поскольку все время высматривала в зале виконта и не находила его в обычной ложе. Розетта старательно обвела взором все ярусы и весь партер, все уголки, где, как она подозревала, виконт мог любезничать с какой-нибудь соперницей; так и не обнаружив его, она вернулась за кулисы до крайности раздраженная, даже не думая о неважном впечатлении, произведенном гаргульядом, который она, надо признать, исполнила очень плохо и которым в случае успеха снискала бы такие аплодисменты, что несомненно привела бы в ярость свою подругу Ла Гимар.

Ужин, который танцовщица давала после спектакля, получился самым унылым и тоскливым на свете, вопреки тому что гости и прихлебатели, коих всегда в избытке на подобных празднествах, прилагали все усилия, дабы развеселиться. Возможно, впервые у Розетты все скучали.

На следующий день, видя, что Кандаль опять не явился, она приняла героическое решение: пойти самой к виконту, несмотря на то что ее собственное самолюбие могло пострадать; но любовь сильнее смерти, и, если она настоящая, ей нетрудно взять верх и над тщеславием.

Она оделась, как женщина, которая хочет быть неотразимой, со вкусом, изяществом и неслыханной роскошью. Казалось, феи своими нежными пальчиками сотворили хрупкое чудо ее прически и сшили платье из лепестков, настолько оно было невесомым, невзирая на множество разного рода украшений.

Ее прическа а-ля Дюбарри[1], очаровательное изобретение, коим мы обязаны сей фаворитке, покоряла чувственностью и небрежностью; она выглядела так, словно дерзкая рука второпях приподняла распущенные волосы и сколола их золотой заколкой, увенчанной громадным бриллиантом. Это украшение не одобряют недотроги, но смотрится оно столь восхитительно, что Розетта превратилась в обольстительную нимфу-сердцеедку, — перед такой не устоял бы даже старый Приам[2], невзирая на его седины.

Она села в превосходную визави, появившуюся у нее благодаря нежным чувствам и расточительности князя де Р*** и стоившую не меньше пятидесяти тысяч ливров — излишество, которое не должно поражать, если вспомнить, что Ла Гимар прогуливается по Лоншану[3] в экипаже на колесах с серебряными ободами, который тянут шесть лошадей с серебряными подковами; этим порочным женщинам, готовым осквернить золото ради удовольствия раздразнить бедную добродетель, всегда хочется большего.

Мир не видел ничего великолепнее и в то же время изысканнее, чем карета, в которую села фигурантка Оперы; сама королева не мечтала о подобной роскоши.

Помимо вензеля Розетты в виде цветов на золотом фоне, помещенного в центре между четырьмя основными медальонами, на каждом боковом медальоне были изображены, во-первых, полные роз корзины, на которых самозабвенно целовались два голубка, во-вторых, сердце, пронзенное стрелой, а также колчан, факелы и прочие атрибуты бога-покровителя Пафоса[4].

Изысканные эмблемы огибала витая гирлянда цветов — самая прекрасная из тех, что можно узреть воочию. Все остальное выглядело не хуже.

Обивка на козлах, запятки для лакеев, колеса, ступицы, подножки отличались таким множеством утонченных деталей, что можно было любоваться ими без устали, все они несли на себе отпечаток изящества обладательницы столь сладострастной колесницы.

Каждый, кто видел эту коляску, восклицал, что никогда искусство не доходило до такой степени совершенства, что она являет собой воплощенное преклонение перед женщиной.

Вот в такой великолепной карете Розетта и отправилась в особняк Кандаля, вызывая восхищение у мужчин и отчаяние у женщин, негодовавших оттого, что подобная особа выставляет напоказ такую роскошь, тогда как им самим приходится идти пешком или передвигаться в колясках прошлого века, столь же ветхих, сколь и смешных, и годных лишь для того, чтобы возить брюзгливых уродин и добропорядочных мумий.

Ее встретил швейцар, похожий на великана, краснолицый и прыщавый. При каждом движении с его парика слетала пудра, а на спине, обтянутой ливреей, покачивался огромный шелковый чехол для волос. Он поспешно отворил ворота, и коляска, влекомая четверкой чудных лошадей, в гривы которых были вплетены розы и монетки, свернула в песчаный двор и остановилась у лестницы, напоминавшей лестницу королевского дворца благодаря своей величественности и изысканной отделке.

В вестибюле на банкетке сидел выездной лакей, игравший в карты с верховым курьером. Он сообщил лакею Розетты, что виконта де Кандаля нет дома.

Недовольная таким ответом, который развеял ее самые лучшие надежды, Розетта подозвала выездного лакея, чтобы допросить его самолично.

— Лафлёр или Лабри? — строго спросила она.

— Лафлёр, сударыня, к вашим услугам, — с поклоном произнес лакей.

— Скажи мне прямо, Лафлёр, хозяин у себя?

— Нет, сударыня, его нет.

— Ты уверен, что он не прячется?

— Если бы он прятался от тех, кто ему досаждает, то это не касалось бы госпожи. Господин виконт де Кандаль распорядился пропускать хорошеньких женщин, — ответил бездельник, который претендовал на остроумие и иногда почитывал романы в передних.

— Ты любезен, Лафлёр, как слуга из комедии. Вот тебе два луидора за комплимент. Говоришь, хозяин велит впускать хорошеньких женщин... если только у него уже нет женщины. Признавайся, он не один?

— О! Никак нет, сударыня. Когда господин виконт назначает свидание, он выезжает в свой загородный домик.

— Верно, — вспомнила Розетта. — Как же я не догадалась?

– Должен ли я передать господину виконту, что сударыня приезжали?

– Да, не забудь.

– Госпожа де...? – с хитрым видом, но весьма почтительно вопросил слуга.

– Просто Розетта, или, если тебе так необходим титул, Розетта из Оперы, это стоит титула герцогини.

– Хорошо, сударыня, я и не подумаю забыть, а на эти два луидора я выпью за ваше здоровье с моим другом Шампанским.

Розетта приказала кучеру трогаться к предместью ***, где скрывался домик виконта де Кандаля, о котором она знала из рассказов своих приятельниц, поскольку ей, увы, не доводилось бывать там ни разу!

В таком блестящем экипаже не принято отправляться в тайные убежища, лучше одеться в серое платье, запахнуться в просторный плащ, спрятать лицо под опущенной вуалью и воспользоваться скромной коляской или же наглухо задраенной почтовой каретой. Она подвезет вас к двери, а та мгновенно откроется и закроется, так что любопытный прохожий не заметит ничего, кроме мыска атласной туфли и кончиков пальцев, берущих дверной молоточек или тянущих шнурок звонка.

Поскольку Розетте не надо было отчитываться ни перед суровым братом, ни перед ревнивым мужем или титулованным покровителем, то она ничем не рисковала, показавшись в открытую, и потому смело постучалась в дверь.

Облаченный в вычурную ливрею слуга, постоянно живший в домике на случай, если господина виконта приведет туда дневное или ночное свидание, тут же отворил дверь и ввел Розетту в святилище.

Этот привратник, достойный Киферы, имел вид суровый, чопорный, сдержанный и проникнутый чувством значимости своей должности, которая отнюдь не являлась синекурой[5], ибо до той поры виконт не давал ему засиживаться без дела.

Старик, казалось, совсем не удивился появлению Розетты, хотя и не ждал ее; но господин де Кандаль был столь убедителен и неотразим в обхождении с красотками, что ему часто недоставало времени, чтобы предупредить министра своих прихотей, поэтому последний решил, что виконт назначил свидание экспромтом и не замедлит явиться.

Этот маленький, ничем не примечательный снаружи домик прятался за толстыми невзрачными стенами, умышленно состаренными, дабы не привлекать внимания, и по праву считался самым изысканным в предместье: в нем все располагало к тайным удовольствиям.

В домике насчитывалось четыре или пять комнат со сводчатыми потолками, сквозь которые проникал свет. Здесь было собрано все самое редкое и чувственное, что только может изобрести роскошь.

Любовные сцены на мифологические сюжеты приятной легкой кисти Буше, живописца граций и амуров, украшали потолки и десюдепорты.

Прихотливые, отделанные с невиданной изобретательностью панели стен сверкали позолотой разных оттенков и представляли ракушки, пальмовые ветви и цветы вперемежку с волынками, флейтами Пана, гнездами голубков, озерами любви, стрелами, сердцами, кубками, флаконами и прочими утонченными атрибутами, выписанными с большим искусством и изяществом.

Обстановка дышала галантностью и великолепием. Большие зеркала, казалось, жаждали приумножить чарующие предметы, которые это райское местечко радушно принимало у себя в гостях.

В огромных китайских вазах из потрескавшегося серо-зеленого фарфора стояли диковинные, всегда свежие цветы; толстые ковры, усыпанные лепестками роз, приглушали шаги.

Однако тщательнее всего были подобраны софы, дюшески и пафосы.

Среди них особо выделялась софа небесно-голубого цвета. Украшенная серебряной тесьмой и воланами, она могла бы стать богатым и удобным убежищем для души Аманзея, любимого сказителя Шахабама, и одна предложила бы ему столько же приключений, сколько все диваны Агры[6].

Глава XVIII

Поняв, что в доме никого нет, Розетта облегченно вздохнула, поскольку, желая увидеть Кандаля, в то же время боялась встречи с ним.

В знак того, что побывала здесь, она сняла великолепный браслет с камеей, изображавшей танцующую Терпсихору и играющую на флейте Евтерпу[1], положила на подушку софы так, чтобы он не остался незамеченным, и ушла, взглянув на часы, словно тот, кто не может больше ждать.

— Я еще вернусь, — бросила она на прощание.

— Как вам угодно, сударыня, — поклонился слуга.

Розетта приказала отвезти ее в особняк Ла Гимар, куда Кандаль часто наведывался, в надежде узнать что-нибудь о виконте, но знаменитая танцовщица не видела его с того самого ужина.

Господин де Вальнуар напрасно искал его, чтобы пригласить на празднество, которое он устраивал и где должны были играть витиеватую пьесу Колле[2], одну из самых скабрезных и увлекательных.

Розетта вернулась к себе очень недовольная и расстроенная. Ей оставалось только одно — ждать, ждать, когда виконт, движимый благород-

ным раскаянием, сам придет к ней, — участь печальная и жалкая, на которую не согласится ни одна влюбленная женщина.

На следующий день она вернулась в маленький загородный домик и обнаружила свой браслет на том же месте, как доказательство благоразумия Кандаля.

Дело принимало серьезный оборот: виконт двадцати пяти лет, красивый, богатый и... благоразумный. Это было неестественно.

Несомненно, тут скрывалась страсть; только счастье может отвлечь от удовольствия.

Побродив полчаса по этой пустыне чувственности, которую ей безумно хотелось оживить, Розетта уехала, к изумлению старика, в голове которого никак не укладывалось, что его хозяин пропустил два свидания, обещавших быть весьма приятными.

Он еще понял бы, не явись виконт на второе, но то, что он забыл о первом, разрушало все представления этого слуги донжуана, который ранее имел честь состоять при господине де Ришельё[3] и работать на господина Лёбеля, министра развлечений Его Величества;[4] поэтому старик взял на себя труд написать господину виконту. Вот послание почтенного слуги:

> Господин виконт,
>
> Я всегда с большим усердием исполнял должность, которую сударь соизволили мне доверить, и надеюсь, показал себя достойным ее. Не смея никоим образом судить о намерениях господина, который сам себе хозяин, думаю, мой долг сообщить, что два раза в домик, который я охраняю и коим управляю, приезжала очень красивая дама в большом экипаже, без маски, не таясь. Мне показалось, что она из Оперы и что она всей душой желала видеть Вашу милость.
>
> Может, за важными делами, которыми загружен господин, за чередой принцесс, герцогинь, маркиз, баронесс, президентш и прочими заботами он позабыл о ней? Понимаю, для господина это не слишком почетная победа, но, помимо того что сия дама весьма хороша собой, она, похоже, в самом деле привязана к господину и уходит с тяжелым сердцем. Мы, повидав на своем веку много разных историй, знаем в этом толк; здесь любовь настоящая, и я предупреждаю господина об этом, чтобы они поступили так, как им угодно.
>
> *Рыжий, по прозвищу Гектор,*
> *покорный слуга и серый лакей*[5]
> *господина виконта.*

Послание дошло до Кандаля. Он сразу понял, что речь идет о Розетте, и пообещал себе навестить ее, но человек предполагает, а любовь располагает, и виконт, переодетый в платье из дрогета господина Жана, очутился не в будуаре танцовщицы, как намеревался, а в маленькой комнате кружевницы.

Раздосадованная тщетностью своих усилий, Розетта почувствовала такую тоску, что сочла себя больной. Она заявила, что у нее нервы, что ей плохо, и улеглась на кушетку. Друзья приходили навестить ее, в том числе Ла Гимар, которая, несмотря ни на что, в глубине души оставалась доброй.

Как женщина бывалая, она тут же поняла, что за болезнь у Розетты, и вместо того, чтобы искать кучу непроизносимых названий ее недуга, что не преминул бы сделать любой член четырех факультетов[6], сказала без предисловий:

— Ты влюблена.

— Увы! Да.

— Как это, увы! Не всякий, кто хочет, может влюбиться; это счастье было дано мне только однажды, и я назначила бы содержание в много тысяч экю[7] в неделю тому, кто подарит мне принца, лишь бы еще раз полюбить!

— Но быть влюбленной не значит быть любимой!

— Ну и что? Ты любишь, это же прекрасно! И потом, перед твоей внешностью никто не устоит. Будь он даже холоднее льда. Ой, прости, это сравнение рассмешило меня. Оно как будто нарочно создано для того, чтобы рифмоваться с «навсегда» или «никогда» в романсах и мадригалах.

— Ты еще смеешься!

— Неужто стоит оплакивать того, кто разжег в тебе это пламя? Он, наверное, Ипполит, злое угрюмое создание, которое, подобно герою Расина, любит только лес и предпочитает обществу прекрасного пола оленей и ланей?[8]

— Отнюдь, возможно, он и дикарь, но не до такой степени.

— Позволь узнать его имя?

— Господин виконт де Кандаль.

— Тогда ситуация не безнадежна, он не закоренелый варвар, и в тот вечер, у меня на ужине, ваши отношения казались многообещающими.

— Увы, я тоже думала, что он неравнодушен ко мне, но с того самого вечера я ни разу его не видела.

— Не может такого быть, он часто появляется на Кур-ла-Рен, в Версале, Пале-Рояле[9], Тюильри[10], Опере, Комедии и даже посещает спиритические сеансы.

— Так вот! Уже несколько дней, как он превратился в химеру.

— А что, если он отправился в одно из своих поместий или же последовал за королем в Марли?[11]

— Ничего подобного, я все выяснила у его выездного лакея Лафлёра: Кандаль давно не пользуется своими экипажами, дома появляется только время от времени, но всегда один.

— Вот это уже странно!

— Не то слово!

— Если бы у него была связь с какой-нибудь знатной дамой, мы сразу узнали бы об этом, так как в подобных случаях обманутые мужья и любовники приходят за утешением именно к нам.

— Это правда.

— Попадись он в сети какой-нибудь красотки из театра, она кричала бы об этом на каждом углу, поскольку, будь ты фигурантка, хористка или даже первая танцовщица, ты не станешь скрывать связь с виконтом де Кандалем.

— Тогда что же сталось с его сердцем?

— Боюсь, не потерял ли он его у буржуа или у чиновников, на Сен-Луи или в Маре[12].

— Ты пугаешь меня, дорогая Ла Гимар.

— Но иначе, милая Розетта, никак не объяснить, что ты, одна из первых красавиц Оперы, вздыхаешь понапрасну.

— Я чувствую, что ты права, но как мне поступить?

— Пусть за тобой поухаживают два других любовника, это наверняка развлечет тебя.

— Ни за что. Я прислушаюсь к твоим советам при условии, что они не заставят меня отказаться от любви к Кандалю.

— В добрый час, это по-честному, и я дам тебе совет в твоем вкусе. Надо во что бы то ни стало выяснить, что делает господин де Кандаль. Ты твердо решила, не так ли, ты ведь не из тех трусливых душонок, что предпочитают неопределенность правде?

— Нет, конечно, но как узнать, где он пропадает? Я пыталась, и все без толку.

— Прекрасный способ проникнуть в тайну другого человека — спросить у него самого!

— А ты что предлагаешь?

— Господин де Сартин[13], мой очень близкий друг, оказал мне несколько мелких услуг в вопросах, относящихся к его ведению, и самым любезным образом.

— Господин начальник полиции?

— Да.

– Какая связь между полицией и любовью?

– Очень большая. У меня был любовник, которого я подозревала в тайных похождениях; я не придавала им особого значения, но мне не нравится, когда меня держат за идиотку. Дабы разузнать, что и как, господин де Сартин предоставил мне двух этаких хитрых бестий, восхитительных типов для козней и интриг, гениев, которые умеют читать письма у вас в кармане, узнают людей в масках, видят сквозь стены и расскажут вам обо всех ваших секретах. Всем комедийным Скапенам[14] стоит у них поучиться.

– И что из этого вышло?

– Мои Сбригани[15] за один день выяснили, как подло меня обманывают, и я с наслаждением присовокупила к брани неопровержимые доказательства измены. В общем, бедняга поверил, что за всем этим стоит какая-то чертовщина или по меньшей мере белая магия.

– Восхитительно!

– Я составлю тебе протекцию у господина де Сартина, и он непременно согласится дать тебе этих Аргусов[16], если только они не заняты чем-то, связанным с государственной безопасностью.

Розетта ухватилась за идею с пылом влюбленной ревнивой женщины, нашедшей способ разрешить свои сомнения, и две танцовщицы отправились к господину де Сартину. Они нашли его в кабинете, полном париков, в тот момент, когда он примерял новый.

Служитель закона принял их чрезвычайно радушно и любезно; он с удовольствием отправил на временную службу к Розетте господ Кумполя и Стибрина[17], и эти выдающиеся виртуозы не смогли сдержать улыбки, когда танцовщица сообщила, что ей надо.

На следующее утро Розетта нашла под подушкой таинственным образом оказавшийся там маленький, весьма аккуратно написанный рапорт.

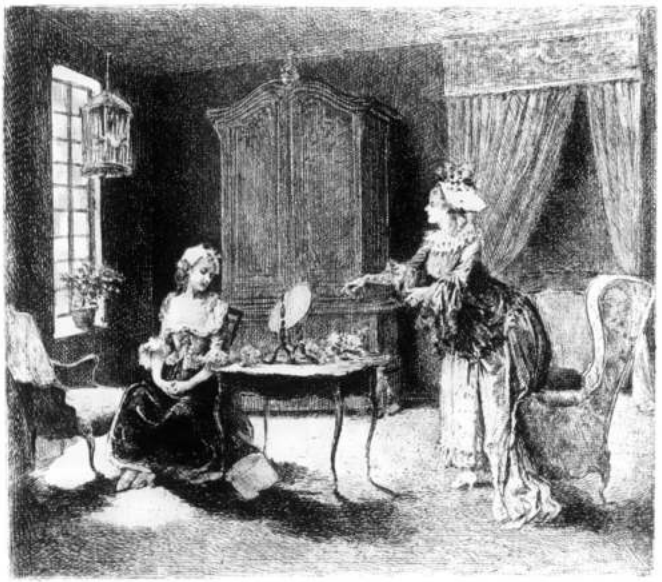
Он гласил буквально следующее:

> Господин виконт де Кандаль каждый день приходит к господину Боннару – своему управляющему, там снимает верхнюю одежду и переодевается в костюм сборщика налогов; в таком виде он отправляется на улицу ***, номер ***, третий этаж, к мадемуазель Жанетте, кружевнице, которая поселилась там недавно. Он проводит у нее около двух часов.
>
> В прошлое воскресенье господин виконт и мадемуазель Жанетта ездили на прогулку за город и обедали в ресторанчике «Белый кролик». Мы не знаем точно, что они там ели, но, если госпоже угодно, можем постараться...

– Ах! Великий Боже! – вздохнула Розетта, читая роковую записку. – Гризетка – это еще хуже, чем мещанка.

Она упала на спинку кресла и потеряла сознание; ее смогли привести в чувство только с помощью воды королевы венгерской[18] и капель генерала Ламотта[19], незаменимых в подобных случаях.





Глава XIX

Из-за прихоти госпожи де Шанрозе, пожелавшей превратиться в Жанетту, страдало не одно сердце.

Чувствительного москательщика Ружерона с улицы Сент-Авуа на балу в Мулен-Руже прямо в грудь ранила стрела Купидона. Как известно, этот божок стреляет в смертных стрелами двух видов.

У первых — золотые наконечники, у вторых — свинцовые; первые внушают любовь, вторые — отвращение или по меньшей мере холодность[1].

Несчастного москательщика пронзила золотая стрела, да так, что острие торчало у него промеж лопаток, столь сильно лукавый божок натянул тетиву и согнул лук. Одна из свинцовых — попала в госпожу де Шанрозе, и маркиза думать забыла о своем воздыхателе, словно его никогда и не существовало на свете.

Грустно и унизительно быть единственным законным наследником прекрасной москательни на улице Сент-Авуа под названием «Серебряная ступка» и умирать от любви к гризетке, у которой за душой нет ни гроша.

В таковом положении очутился юный Ружерон — Алкивиад[2], Амилькар[3] и Галаор[4] своего квартала, на которого Денизы, Николь и Жавотты нежно поглядывали, проходя мимо заведения, где, сидя за чисто вытертым прилавком, он составлял какие-нибудь лекарства, растирал специи, смешивал благовония или отдыхал от дневных забот, весьма ловко сворачивая бумажные фунтики из произведений господ имярек, среди коих попадались и некоторые члены Французской Академии[5].

Многие девицы с улиц Мобюэ, Платр, Жоффруа-л'Анжевен и Бардю-Бек[6] мечтали, как они с победным видом будут красоваться за этим прилавком в шелковом платье с разводами; ибо хотя москательная лавка, с одной стороны, похожа на бакалею, с другой стороны, она напоминает аптеку, что бесконечно ее возвышает и придает величие.

Но девушки мечтали и вздыхали напрасно; Ружерон думал только о мадемуазель Жанетте, которая, ввиду различного действия стрел, о коих мы упоминали, ни разу не вспомнила о москательщике.

Как он разыскал прекрасную кружевницу? Сей факт остается загадкой.

Возможно, он встретил ее случайно и разузнал, где она живет, или его друг сиделец, ухажер Жюстины, позволил себе проболтаться; не задерживаясь долее на этой незначительной подробности, скажем только, что однажды утром к Жанетте с самым жалким, беспомощным и глупым видом вошел сын москательщика. Он вертел в руках шляпу, неловко кланялся, словно мальчик-хорист, в общем, был смущен до полуобморочного состояния и не знал куда девать собственные руки и ноги — ни дать ни взять деревенский ухажер перед родителями своей нареченной.

Этот сердцеед, отличавшийся на танцах отменным хладнокровием и большим апломбом, до того растерялся, что, когда Жанетта предложила ему сесть, чуть не растянулся во весь рост, точно красавец Леандр[7] или Жанно[8] из спектаклей на ярмарке в Сен-Лоране;[9] дело в том, что любовь, которая делает девушек мудрыми, неизвестно почему превращает юношей в круглых дураков.

Жанетта, увидев, как он покраснел и вспотел, изнемогая от смущения, пожалела несчастного и начала разговор с банальной фразы:

— Что привело вас ко мне, любезный сударь?

— Я проходил мимо и воспользовался случаем, чтобы нанести вам визит, ведь я не видел вас с того самого знаменательного вечера...

— Это большая честь для меня, поверьте, я очень тронута, — ответила Жанетта холодным тоном, противоречившим учтивости и доброжелательности ее слов.

Разговор угас, но тут несчастный москательщик, сделав над собой мощнейшее усилие, произнес пылко и порывисто:

— Нет, мадемуазель Жанетта, я не проходил мимо, как я только что сказал. Я пришел нарочно, собрав все свое мужество: я очень страдал оттого, что не вижу вас... Все из-за праздника в Мулен-Руже. Вы были в тот вечер так красивы, милы и нарядны, что тут же покорили мое сердце. Раньше у меня были лишь приключения, теперь это сама любовь, я чувствую это по боли, которую мне приходится терпеть; я перестал есть, пить и спать, хотя мне так хочется уснуть и увидеть вас во сне, это точно она — любовь! Прежде чем я узнал вас, я слыл сведущим в своем деле остроумным парнем, мои шуточки повторяли от улицы Веррери до улицы Вьей-Одриет[10]. Теперь у меня все валится из рук, я путаю гирьки, взвешиваю все черт-те как, сворачиваю фунтики сикось-накось, подаю ваниль вместо корицы и постоянно ошибаюсь, когда принимаюсь за сиропы. Я уже не в силах отличить щелочь от кислоты, и, наконец, я испортил подсолнечную настойку, в приготовлении которой мне нет равных. Раньше у меня всегда находилось смешное словечко, я веселил покупателей и девушек самыми забавными в мире шутками, а нынче все наоборот: я туп, дурак дураком и места себе не нахожу, вот доказательство, мадемуазель, что я люблю вас. Я даже подозреваю, что не иначе как здесь замешан сам лукавый божок.

Во время этого странного признания Жанетта несколько раз чуть не рассмеялась, но несчастный москательщик говорил с таким огнем и страстью, его чувство было столь искренним, несмотря на бурлескную[11] речь, что маркизе удалось сдержаться и ответить достаточно мягко, чтобы не усугублять пусть и нелепое, но горе.

— Господин Ружерон, все, что с вами происходит, несомненно, очень досадно, но при чем здесь я?

— Тот, кто принес болезнь, может ее излечить.

— Я действительно могу вернуть вам рассудок, но не так, как вам хочется.

— А как?

— Заставив забыть обо мне. На моем месте любая порядочная девушка поступила бы подобным образом.

— Вы меня не любите?

— Нет! Но мое равнодушие не должно ранить ваше сердце. Никто не властен над своими чувствами. Дениза любит вас, а вы ее — нет.

— Да, правда. Но мне кажется, что, если вы отнесетесь к моим чувствам благосклонно, в конце концов я вам понравлюсь.

— Понравиться надо не в конце, с этого нужно начинать.

— В любви, возможно, но для брака — необязательно. Есть нерушимость клятвы, затем приходит привычка, а приятные хлопоты и дети довершают остальное. Да, Жанетта, сила моей страсти такова, что я женюсь на вас, если нужно, несмотря на пропасть, которая отделяет состоятель-

ного москательщика от бедной кружевницы. Мои родители сначала будут ворчать и даже кричать о неравном браке на улице Сент-Авуа, но ваша красота все победит и заставит их одобрить мое решение. Я кладу, божественная Жанетта, к вашим ногам «Серебряную ступку» вместе с ее дубовым прилавком, сверкающими весами, фарфоровыми горшками и этикетками, ее таблетками и ящиками, полными кошенили, шафрана, мастики, ультрамарина, экстракта канарской драцены, безоара, адраганта, сандарака, корицы, росного ладана и пряностей из Индии, столь же бесценных, как золото, я прибавлю к этому три тысячи ливров дохода, которые достанутся мне от матери, мой дом на улице Кюльтюр-Сент-Катрин[12], что приносит солидную прибыль, и виноградник неподалеку от Орлеана, где делают славное вино, не считая тряпок, шляпок и безделушек.

— Благодарю покорно, — ответила госпожа де Шанрозе, ничуть не прельщенная внушительным перечнем, что должен был бы ослепить Жанетту и на который влюбленный москательщик рассчитывал как на самый неотразимый и красноречивый довод. — Однако я не могу вступить в брак, который испортит ваши отношения с родителями...

— Если других препятствий нет, то от этого я камня на камне не оставлю! — воскликнул москательщик, побелев от волнения.

— ...и к которому, — продолжила Жанетта, — несмотря на все его выгоды, я не чувствую никакой склонности.

— Раз вы мне отказываете подобным образом, мадемуазель Жанетта, значит, вы любите другого.

— Ну и что! Даже если и так! Не вольна ли я распоряжаться моим сердцем по собственному усмотрению?

— И этот счастливый смертный — господин Жан! Мелкий провинциал из Огзера, который когда-нибудь будет получать тысячу двести ливров жалованья на налоговой службе... Прекрасная партия!

— Очень хорошая для той, у кого нет ничего. Но помилуйте, господин Ружерон, не стоит впадать в дурной тон и осмеивать соперника.

Не проронив больше ни слова, раздавленный воздыхатель, бледный от злости и ревности, ушел, задумав отомстить Жанетте или Жану или обоим вместе, ибо нет на свете существа более злопамятного и желчного, чем оскорбленный москательщик.

Глава XX

Мы оставили Розетту без чувств после того, как она узнала прискорбную новость о том, что виконт де Кандаль увлечен гризеткой. Когда фигурантка пришла в себя, первой же ее мыслью было своими глазами уви-

деть эту Жанетту, чья красота позволила дерзкой срывать розы прямо из-под ног богини Оперы и возбудить настоящее чувство в юном аристократе, до сих пор довольствовавшемся только легкими интрижками.

Женское чутье, которое никогда не ошибается, подсказало ей, что раз кружевница до такой степени покорила Кандаля, повидавшего многих на своем веку, то она должна быть лакомым кусочком.

Больше всего ее встревожило, что мадемуазель Жанетта, несмотря на то что за ней ухаживал виконт, оставалась в своей скромной комнатушке, а не переехала в какой-нибудь разорительно роскошный особнячок, как это обычно происходит, когда знатный господин обращает свой взор на простую девушку.

Или Жанетта наделена непоколебимой добродетелью, или господин Кандаль бесконечно уважает ее, раз не поступил с нею так, как поступил бы с любой другой.

Розетта понимала, что виконт сначала переменил внешность, чтобы не напугать девицу и проникнуть под чужим обличьем в ее убежище, но недоумевала, почему он продолжал маскарад; дабы разрешить свои сомнения, она наняла фиакр, села в него, закутавшись в широкую темную накидку, и приказала доставить ее на улицу ***.

Жанетта верила, что на всем белом свете никто не знает, где она, что, спрятавшись в этом любовном гнездышке, она затерялась, словно птичка в чаще леса, и потому была несказанно удивлена, когда к ней вошла красивая, хорошо одетая женщина с довольно презрительным выражением лица.

— Мадемуазель Жанетта? — спросила незваная гостья.

— Да, сударыня, это я.

— Вы кружевница?

— Да, сударыня.

— Сможете ли вы сплести мне три локтя кружева с рисунком вроде этого?

— Это будет непросто и долго, но мы справимся, — ответила госпожа де Шанрозе, на всякий случай решив не выходить из своей роли перед незнакомкой, чьи намерения оставались пока не ясны.

— Сколько вы берете за работу?

— Три луидора, сударыня.

— Возьмите, я плачу вперед. — Розетта хотела дать себе время, чтобы изучить соперницу, но, несмотря на самое жгучее желание убедиться в ее невзрачности, не могла не признать, что Жанетта прелестна.

Со все возраставшей досадой танцовщица рассматривала прекрасные голубые глаза, такие мягкие и в то же время гордые, алый рот, нежный цвет лица и чистые черты, красиво посаженную шею и скромную грацию,

подчеркнутую новеньким домашним платьем, и результаты осмотра вырвали у нее вздох.

Разумеется, ее собственная красота не уступала очарованию Жанетты, и, однако, в кружевнице было что-то непостижимое, особый шарм, природное благородство, некая аристократичность, если можно употребить это слово по отношению к простой гризетке.

«Откуда она такая взялась и чем она лучше меня? — думала танцовщица, глядя на работницу. — Мои глаза не хуже, и кожа так же сияет, да и сложена я лучше. Неужели это тот самый случай, о котором говорил мой философ, подражатель Жан-Жака, что часто обедает у меня, неужели помимо физической красоты она обладает красотой духовной? Я пришла, чтобы смешать ее с грязью, а стою перед ней и не знаю, куда деваться от смущения».

Эти размышления молнией пронеслись в голове Розетты, отчего на несколько мгновений воцарилось молчание, которое становилось уже неловким, и потому танцовщица решила прервать его.

— Дорогуша, — сказала она самым любезным тоном, на какой была способна, — кружево было лишь предлогом, я хотела встретиться с вами и поговорить о важных вещах, которые касаются нас обеих. Да, мы не знакомы, но то, что интересует вас, сильно затрагивает и меня.

— Все, что вы говорите, сударыня, для меня загадка, я ничего не понимаю. Что общего может быть между двумя людьми, которые никогда не встречались и, возможно, никогда больше не встретятся?

— Мадемуазель Жанетта, у вас есть любовник?

Столь прямолинейный вопрос заставил благородную кровь предков госпожи де Шанрозе прилить к щекам, но маркиза вовремя вспомнила, что играет роль Жанетты, взяла себя в руки и высокомерно промолчала.

— Возможно, любовник, это слишком громко сказано, пусть ухажер, так это у вас называется?

— Есть или нет, вам-то какое дело? Оставьте меня, сударыня, не знаю, с какой целью, но вы говорите такие слова, которые я не могу слушать.

— Это очень даже мое дело, потому что я люблю виконта де Кандаля.

— А я — господина Жана, и мне безразлично, кого любите вы.

— Не так безразлично, как вам кажется.

— Почему?

— Потому что виконт де Кандаль и господин Жан — одно лицо.

— Я вам не верю. Хотите помучать меня — что ж, я не ревную, поскольку вас не любят. Иначе вы не пришли бы за господином виконтом де Кандалем к бедной Жанетте.

— Увы! Мадемуазель Жанетта, вы совершенно правы, он меня совсем не любит, и теперь я его понимаю, потому что вы красивы, очень краси-

вы, да, вы красивее меня; но любовь, которую вы принимаете от господина Жана, сможете ли вы принять ее от господина де Кандаля, молодого наследника знатного рода, занимающего высокое положение при дворе и устроившего весь этот маскарад, чтобы соблазнить вас, подобно Юпитеру, который менял свой облик, чтобы развлечься с простыми смертными?[1] У него нет другой цели, кроме как совратить вас, злоупотребив вашей наивностью. Между вами не может быть ничего серьезного. Вы вращаетесь в слишком разных кругах, чтобы вас не разбросало в разные стороны. Что вы для него? Мимолетное развлечение, не больше. Вскоре он вернется в свет, он рожден, чтобы блистать, а вы останетесь в тени, оплакивая свою доверчивость. Конечно, он оставит вам столько золота, сколько пожелаете, он обеспечит вас, но вы же хотите иного, поскольку вы благоразумны и целитесь только в сердце. Возможно, милая крошка, вы надеялись, что господин Жан женится на вас. С господином де Кандалем — это несбыточная мечта, он станет герцогом и испанским грандом[2] после смерти своего дяди.

— Кто знает? — Самая безмятежная на свете улыбка озарила лицо Жанетты. — Мы вернемся к этому разговору, когда вы придете за кружевом.

«Значит, она добьется своего, — вздохнула Розетта, садясь в экипаж. — Эти гризетки, с их притворным бескорыстием и добродетелью, в тысячу раз хуже, чем о них поется, и это еще мягко сказано. Ах, мое бедное девичье сердце, какая же это каторга — любить Кандаля!»

Что же испытала та, кто таким странным образом узнала столь потрясающую новость, — боль или радость? Скажем прямо, если Жанетта потеряла, то госпожа де Шанрозе выиграла.

Маркиза поблагодарила себя за прозорливость и достойный выбор: она полюбила свою ровню и не обманулась, сердце ее не пошло на поводу у постыдного каприза, рожденного скукой и кознями горничной.

Маркиза радовалась, как горностай, чья белоснежная шубка осталась незапятнанной[3]. В глубине души, несмотря на всю свою любовь к Жану, она находила его имя слишком заурядным и была счастлива, что к нему добавился титул виконта Кандаля; теперь утонченность, изысканные манеры и остроумие, которые казались ей удивительными у мнимого сборщика налогов, стали понятны.

Она могла совершенно спокойно отдаться своей любви, не боясь последствий и получив возможность увековечить связь, которая иначе так и осталась бы всего лишь мимолетной прихотью.

Таким образом Розетта, вместо того чтобы навредить Кандалю и гризетке, сослужила им добрую службу, но откуда ей было знать, что Жанетта — маркиза де Шанрозе! Она не спрашивала об этом шпиков, а те, будучи людьми подневольными, по совету господина де Сартина, осторожно-

го, мудрого и умеющего держать язык за зубами, оставили ее в неведении относительно этого обстоятельства.

Когда господин Жан явился с обычным визитом к своей Жанетте, та встретила его с самым жеманным на свете видом и со всеми знаками глубочайшего почтения.

— Вы сегодня делаете очень красивые реверансы, мадемуазель Жанетта, но я привык к более дружескому и простому приему у вас, мне больше по душе один поцелуй, нежели тридцать поклонов.

— Ах! Дело в том, что я не знала, что принимаю в моей жалкой комнатушке такую знатную и влиятельную персону.

— Какую еще персону? Что вы хотите этим сказать? К чему это жеманство? — Кандаля сильно обеспокоил оборот, который принимал их разговор.

— Это действительно большая честь для бедной Жанетты.

— Черт побери! Довольно шутить! Жан и Жанетта могут доставлять друг другу радость, а не выказывать почтение, их титулы равны.

— Нет. Мадемуазель Жанетта — не пара господину виконту де Кандалю. Ваш род, господин Жан, — позвольте в последний раз назвать вас именем, которое я так любила, — гораздо выше моего.

Внезапный удар несколько ошеломил Кандаля, но он скоро пришел в себя и с чувством собственного достоинства произнес:

— Каким бы образом вы ни узнали мое имя, я не отрекусь от него. Да, я виконт де Кандаль. Я обязан этим именем моим предкам и должен им называться.

— Ах, господин Кандаль, как же вы злоупотребили доверием юной девушки! Как обманули ее!

— Обманул? Но в чем? Разве я лгал? Взгляните, разве мои глаза не полны страсти и любви? Все, что говорил господин Жан, Кандаль лишь повторит.

— Но разве можно мадемуазель Жанетте его слушать?

— Гордячка! Она благосклонно внимала господину Жану, а теперь не хочет снизойти до виконта? Не все на свете могут быть простолюдинами. Я не имел счастья родиться без частицы[4] и титула. Прошу прощения.

— Как случилось, что виконт де Кандаль оказался на свадьбе в Мулен-Руже?

— Господи! Да из чистого каприза, от безделья, от скуки, оттого, что все надоело! И еще из любви к неведомому, из смутной надежды сердца, которое ищет свою мечту, и я нашел ее, нарядившись в чужое платье; вы приветили сборщика налогов, но оттолкнули бы виконта. Верьте, Жанетта, — продолжил виконт более серьезным тоном, — я люблю вас, как не любил никого прежде. Я не собираюсь скрывать свое чувство, напротив,

я хочу гордиться им, хочу помочь вам занять достойное место, хочу вставить вашу красоту в золотую оправу, сделать вашу жизнь радостной и похожей на праздник, а вас — богатой, блистательной, счастливой на зависть всем герцогиням! Я мечтаю поднести вам на серебряном подносе золотые ключи от всех моих замков; фаворитка короля, почти королева Франции, позеленеет от зависти, когда вы будете проходить мимо, поскольку почувствует себя низвергнутой с трона красоты, который она занимает только потому, что вы соблаговолили оставаться в тени. Моя жизнь, мое имя, мое богатство — все ваше. Я отдаю вам все.

— Да, все, кроме кольца, которое господин Жан надел бы на палец Жанетты и которое позволило бы ей принять сокровища господина де Кандаля. Прощайте, виконт, мы не должны больше видеться. Поцелуйте мне руку в последний раз... Ах! Господин Жан, зачем вы пришли на танцы в Мулен-Руж!





Глава XXI

Нашему перу не хватает ловкости и мастерства, чтобы описать глубоко разочарованное выражение лица аббата, когда он явился в особняк де Шанрозе в свое обычное время и узнал от швейцара, что госпожа маркиза на полтора месяца уехала в Бретань, в имение своей тетушки, старой баронессы де Керкарадек.

Аббат, радуясь предстоящей встрече с госпожой де Шанрозе, чье общество он весьма ценил, прибыл с веселым заговорщическим видом, подпрыгивая на носках туфель с золотыми пряжками, изящно перебросив через руку сутану и натянув на ноги тонкие черные шелковые чулки, в общем, как говорится, in fiocchi*.

Он был еще более румяным и цветущим, чем обыкновенно, и его улыбка, вследствие безграничного самодовольства, сверкала всеми тридцатью двумя жемчужинами зубов.

Он заготовил две-три почти новых шутки и столько же почти не опубликованных мадригалов и рассчитывал произвести неотразимое впечат-

---

* Букв.: «в бантиках» (*ит.*). Здесь: «при полном параде».

ление на маркизу. Он никогда еще не чувствовал себя в таком ударе и, чтобы прийти раньше всех, поставил отправлять требу[1] своего слугу.

Бедный аббат! Ничто не предвещало подобной неприятности!

Сегодня он рассчитывал затмить изяществом и любезностью обезьянку, свою ученицу и соперницу в сердце госпожи де Шанрозе, а госпожа де Шанрозе укатила в дикие, недостижимые края, хуже Херсонеса Таврического[2], населенного тупинамбами, алгонкинцами и гуронами!..[3] Какой удар!

Улыбка, с которой он никогда не расставался, наполовину угасла, что являлось для него наивысшим выражением печали, и аббат удалился медленным шагом, с расстроенным и пришибленным видом, влача за собой повисшую печальными складками сутану и машинально повторяя:

— Что за неслыханное варварство, какое чудовищное сумасбродство — уехать вот так, без барабанов и фанфар, к древней тетке и бросить всех — друзей, сотрапезников, обожателей и даже любимых четвероногих питомцев. Перед кем, спрашивается, я блесну своими маленькими экспромтами, которые я с таким трудом заготовил нынче утром? Что ж, им теперь киснуть до ее возвращения?.. Ах! Жестокая судьба, неумолимый рок, и кто только сделал меня бедным придворным аббатом, чтобы так терзать!

После аббата пожаловал финансист Бафонь в раззолоченной карете с росписью и огромными гербами (ибо Бафонь недавно купил себе дворянскую грамоту)[4], с целой толпой лакеев на запятках и кучером весьма внушительных размеров на передке.

Финансист с трудом вылез из своего роскошного экипажа. Одет он был с неслыханной пышностью: камзол, жилет и панталоны[5] из золотой парчи на подкладке из серебряной парчи плюс бриллиантовые пуговицы, огромные, как табакерки. Бафонь сверкал, словно павлиний хвост; он уже давно готовился сделать госпоже де Шанрозе предложение по всей форме и, выбрав именно этот день для сего великого подвига, явился во всеоружии, а поскольку госпожа де Шанрозе внушала ему уважение, вырядился, как мог красиво, то есть крайне нелепо, ибо вкус не купишь ни за какие деньги.

Когда он узнал о немыслимом отъезде, поломавшем его грандиозный план, он пришел в сильнейшую ярость, сначала из багрового стал фиолетовым, а потом разразился бранью, проклятиями, принялся рвать и метать, а также с такой силой стучать по земле огромной тростью с золотым набалдашником, работы самого Роеттье[6], королевского гравера, что чуть не сломал ее, хотя она и стоила бешеных денег, и наконец обратился к швейцару со словами, которые более чем красноречиво свидетельствовали о глубокой вере Бафоня в могущество злата:

— Презренный, скажи мне, что твоя хозяйка здесь, и я дам тебе сто пистолей![7]

Совестливому швейцару, который и не мечтал заработать такую сумму, с грустью пришлось подтвердить, что хозяйка на самом деле уехала еще накануне в замок своей тетушки, баронессы де Керкарадек, что находится неподалеку от Пенмарка в заливе Одьерн[8] — подробность, которую он счел необходимым добавить, дабы отблагодарить откупщика за щедрость его предложения, и за которую тут же получил горсть экю в шесть ливров весом.

За откупщиком пожаловали командор де Ливри и шевалье в фаэтоне, запряженном крупными английскими лошадьми, которых стало модно ввозить благодаря господину де Лораге[9], вернувшемуся из Лондона, куда он отправился, чтобы научиться думать[10].

Командор был весьма раздосадован отсутствием госпожи де Шанрозе, чей повар полностью отвечал его представлениям о науке чревоугодия.

Никому лучше, на его вкус, не удавался раковый суп и фрикадельки в масле, к тому же то был несравненный мастер в приготовлении рагу из бекасов.

По сей причине командор хранил беспримерную верность ужинам у маркизы. Его трудно было уговорить поесть где-нибудь в другом месте, и наряду с собственными винами, о выборе которых он заботился самым тщательным образом, он признавал достойными глотки ценителя только вина маркизы, чей сомелье[11] испытывал к де Ливри глубочайшее уважение за его обширные познания в предмете.

Шевалье, в душу которого Жюстина заронила надежду на благосклонность своей госпожи, верил, что вскоре наступит пора любви, и, к его крайней досаде, обнаружил, что ему опять придется смиренно ждать.

Он воображал, что благодаря своим уличным остротам и красивым ногам — предмету его особой гордости — произвел некоторое впечатление на любезную маркизу: сколько же еще придется шутить и прохаживаться, чтобы наверстать упущенное! — подумал он с некоторой яростью, которая, впрочем, осталась втуне.

Четверо завсегдатаев особняка де Шанрозе разбрелись кто куда, ломая голову, как теперь провести вечер.

Аббат отправился к президентше де Т***, но нашел ее мопса так дурно воспитанным, а ее обезьянку такой скучной, что ничуть не развеселился; мало того, президентша излишне румянилась, и в довершение всех бед ни у кого еще румяна не ложились так плохо: розы стыдливости покинули ее щеки, чтобы найти убежище на носу, где, несмотря на огуречную и цикорную воду, которыми их орошали, превратились в пунцовые маки.

Сравнивая этот нос и его необузданный пыл с маленьким нежным и беленьким носиком госпожи де Шанрозе, аббат с новой горечью ощутил всю невосполнимость своей утраты.

Напрасно пытался он вставить в разговор свои стихи и остроты, сочиненные утром: удача отвернулась от него: его комплименты сочли смертельными оскорблениями.

Удрученный ударами судьбы, он замолчал, и президентша де Т*** заявила баронессе де Б***:

— Решительно, он сдал, наш дорогой аббат.

Добро бы еще ужин был хорош! Но вина оказались разбавленными, лакеи наливали их с исключительно хмурым видом; стоило только отвернуться, и тарелки исчезали. Их проворно убирали слуги, мечтавшие поскорее отправиться спать, прихватив с собой десерт.

Несмотря на роскошь посуды, блеск хрусталя и свечей, то была самая обыкновенная трактирная еда, как в большинстве домов, где кичливость живет в паре со скупостью.

Несчастный аббат ретировался. Мучаясь от несварения и в то же время умирая от голода, он побрел восвояси, подумывая, не закончить ли вечер у Ла Трапп.

Бафоню повезло и того меньше: не зная, как убить время, он отправился к Ла Дезобри, помогавшей ему терпеливо сносить строгие порядки, заведенные у знатных дам, но поскольку порочная женщина рассчитывала, что ее Мондор[12] проведет вечер в другом месте, то приняла меры, дабы скрасить одиночество, в котором он ее оставил.

Откупщик, войдя к ней без предупреждения на правах человека, который платит, увидел столик, изящно сервированный на две персоны, а также кончик шпаги и краешек военной формы, мгновенно исчезнувшие за дверью в кабинет.

Напрасно Ла Дезобри пыталась растолковать ему, что, когда ты одна, нет ничего естественнее, чем стол, накрытый для двоих. Откупщик не пожелал вникать во столь благовидное объяснение. Ибо видел, видел собственными глазами полу одежды, мелькнувшую в дверях кабинета, в который он вознамерился войти во что бы то ни стало.

Из кабинета вышел красный как рак мушкетер и с самым самоуверенным видом заявил Бафоню, что он кузен мадемуазель Дезобри, весьма уважаемой особы, и вправе ожидать большего почтения в обращении со своей родственницей; кроме того, он клялся всеми чертями на свете, что отрежет оба уха наглецу, который относится к ней столь пренебрежительно.

Финансист, который не отличался особым мужеством, а также дорожил своими ушами, хотя они и были великоваты, бросил на Ла Дезобри косой взгляд, подобно козлам, о которых пишет Вергилий[13], но не промол-

вил ни слова и, громко хлопая дверями, удалился, оставив мушкетера и девицу, беспрестанно взвизгивавшую от смеха.

Так провел вечер откупщик Бафонь.

Командор де Ливри, дабы утешиться, съел почти целую голову кабана с фисташками и чуть не задохнулся, невзирая на то что запивал ее кувшинами без счету и несмотря на луженый желудок, знаменитый своей способностью переваривать гвозди.

Ночью ему приснился кошмар. Кабан, чью голову он проглотил, зловещий и обезглавленный, топтался по его груди и бросался на него, угрожая разорвать.

Этот сон до такой степени встревожил командора, что он обратился к Троншену.

Знаменитый доктор ответил с улыбкой:

— Ваш сон означает, что кабан — тяжелая пища и что у вас будет несварение, если вы еще раз его отведаете.

Что до шевалье, то он пребывал в сквернейшем настроении и стал настолько раздражительным и высокомерным, что за кулисами Оперы поссорился с Версаком[14]. Назначили время дуэли, и шевалье, едва не лишившись глаза, получил царапину на щеке; несколько дней ему пришлось носить огромную мушку из английской тафты, которая так смешно уродовала его, что чуть не привела к еще одной дуэли.

Таковы ужасающие крайности, до коих довела своих поклонников госпожа де Шанрозе, которая, сделав вид, что уезжает на шесть недель к своей тетке, вдовствующей баронессе де Керкарадек, на самом деле предавалась нежной любви с господином Жаном в маленькой комнате кружевницы.

Но чего госпожа де Шанрозе не предвидела, так это крайнего шага, на который решились все эти отчаявшиеся бездельники.

Через несколько дней, проведенных в бесплодных попытках как-то устроить свою жизнь, аббат, финансист, шевалье и командор независимо друг от друга составили план, и при этом каждый считал, что додумался до него первым, и принялся приводить его в исполнение в строжайшем секрете.

Этот план повлек за собой осложнения, о которых мы сейчас поведаем.

Глава XXII

Древний замок Керкарадек, пережиток варварских времен, представляет собой крепость со стенами толщиной в пятнадцать футов, где каждая бойница размером с небольшую комнату, с зубцами, деревянными решет-

ками на окнах, машикули[1], барбаканами[2], подъемным мостом, опускной решеткой и прочим феодальным оснащением.

Четыре башенки с конусообразной крышей прикрывают углы, над ними возвышаются флюгеры в виде ласточкиных хвостов, проржавевшие от морского ветра. У подножия замка с жалобным, монотонным и надоедливым шумом бьются о скалы волны, и тучи стрижей с криком кружатся над почерневшими от столетий стенами, пытаясь хоть немного оживить их.

Что может быть ужаснее, чем этот замок Керкарадек, возведенный в эпоху, когда вкус еще не был развит Мансарами[3], Габриелями[4], Леду и Сервандони[5], то есть теми, кто привил нам любовь к симметрии и высокому стилю в архитектуре.

Удивительно, как можно жить не в атмосфере двора, вдали от солнца Версаля[6], единственного настоящего светила, среди диких, как звери, крестьян и суровых, как их свирепые кельтские предки, дворян.

Однако вдова Керкарадек, хотя и принадлежала к одному из самых знатных родов, решила эту проблему, благо ей уже перевалило за восемьдесят; в самом деле, у нее было время, чтобы на пустынном песчаном побережье Одьерна забыть Париж, в котором прошло ее детство.

Несомненно, старый замок и мечтать не мог о более подходящей хозяйке; ее фигура как нельзя лучше соответствовала обрамлению: вдова Керкарадек — в чепце с пышными оборками времен юности Людовика XIV, в платье из жесткой ткани — то ли полупарчи, то ли шелковой камчи, будто выкроенном из старой портьеры, с большими совиными глазами, обведенными темными кругами и разделенными тонким блестящим, словно клюв, носом, и вдобавок с беззубым, ввалившимся ртом, походила на призрак, явившийся посетить этот памятник прошлого. Несмотря на внешность колдуньи, которую придали ей одиночество и царящая вокруг дикость, госпожа де Керкарадек тем не менее сохраняла высокомерный и надменный вид; сразу было ясно, что в старых венах под пергаментной кожей высохших, точно у мумии, рук течет голубая кровь из благородного источника.

Доброй даме не хватало только одного — партнера по картам. Все ее старые друзья аристократы давно умерли.

У нее остались только дальние родственники или же родственники, жившие слишком далеко от Бретани, а местный кюре не мог навещать ее так часто, как ей хотелось.

До церкви от замка тоже было не близко, да и все окрестные дороги находились в отвратительном состоянии.

Бедная вдова сидела у окна в большом штофном кресле и старательно разыгрывала партию сама с собой, правой рукой она играла за себя,

левой — за воображаемого противника, как вдруг в комнату вошла старая служанка и голосом, полным ужаса, воскликнула:

— Госпожа! Госпожа! Звонят в колокол подъемного моста!

— Вот еще! Дура, это у тебя в ушах звенит. Кто, по-твоему, станет звонить в нашу старую заброшенную голубятню?

— Ничего у меня не звенит, Ивонна пошла открывать.

— Что ты несешь? Там уже сто лет никто не ходит. Господин кюре пользуется калиткой парка, а потом — потайной дверью.

— Госпожа, нам звонили, звонили три раза.

— Что за бредни! Последним, кто заставил опустить подъемный мост, был господин де Пеноэль, потому что приехал на лошади, но... — почтенная дама принялась загибать свои худые желтые пальцы, — вот уже пятнадцать лет, как он умер.

Однако старая Берта не обманулась, ибо через несколько минут чудной верзила, наполовину лакей, наполовину батрак, доложил, что некий дворянин, чей экипаж поломался неподалеку от замка, просит приюта.

— Мы всегда рады гостю, которого посылает нам Господь, — сказала престарелая дама, соблюдавшая древние традиции. — Впустите его.

Лакей вышел, а госпожа де Керкарадек не удержалась и промолвила:

— Он сыграет со мной партию, этот благословенный гость, свалившийся с неба.

Известная нам персона, а именно шевалье, которого теперь нельзя было не узнать из-за красного шрама, оставленного на его щеке шпагой Версака, приблизился к креслу слегка приподнявшейся ему навстречу вдовы и глубоко поклонился.

— Сударыня, позвольте представиться: шевалье де Сент-Юбер[7].

— Баронесса де Керкарадек.

— Неловкий форейтор[8] опрокинул карету, колесо сломалось, и я не могу продолжать путь, пока мою карету не починят.

— Замок к вашим услугам, сударь. Вы не поранились при падении?

— Нет, сударыня, мне очень повезло: я соскользнул на мягкий холмик, весь покрытый мхом и травой.

— Что ж, тем лучше; значит, в ожидании ужина вы можете сыграть со мной сотенку в пикет[9].

— Весьма охотно, — ответил шевалье, обрадовавшись возможности задержаться в гостях.

Завладев колодой, он с такой легкостью перетасовал и сдал карты, что доставил вдове истинное наслаждение.

«Какой черт внушил госпоже де Шанрозе, — думал шевалье, — похоронить себя в этом совином гнезде, в этой крысиной норе вместе со старой мумией! Женщины поистине безумны. Где она может быть? Несо-

мненно, в постели, читает, вышивает или дремлет. Наверняка она выйдет к ужину, и тогда я увижу ее, и страсть, которая меня сюда привела, произведет впечатление и продвинет мои дела».

Шевалье и вдова едва успели сыграть два кона, как Берта, в еще большем изумлении, чем прежде, пришла и доложила:

— Госпожа, опять звонили.

— Прекрасно, пусть откроют.

Через несколько минут лакей препроводил в комнату очаровательного придворного аббата, румяненького и чистенького, которого поразил и сильно раздражил вид уже занявшего позиции шевалье.

Впрочем, вы знаете этого аббата. Он не выдержал и двух дней у президентши и отправился в погоню за госпожой де Шанрозе.

Подавив досаду, аббат представился и рассказал свою историю, в точности повторившую историю шевалье.

Госпожа де Керкарадек объяснила это двойное происшествие ужасным состоянием дорог, на которых пропадают животные, экипажи и люди, а затем пригласила аббата занять место за зеленым столом[10].

Приблизительно полчаса спустя раздался третий звонок, и явился Бафонь, весь в грязи, поскольку, будучи толще и тяжелее, он опрокинулся не столь ловко, как шевалье и аббат.

Его приветствовали так же радушно, и вдова, воздев к небу свои прозрачные от худобы руки, сказала с глубочайшим ликованием:

— Небеса не захотели, чтобы я умерла, не сыграв еще раз в вист[11]. Нас четверо, это то, что надо, хвала Провидению!

Командор, порядком потрепанный, тоже не замедлил явиться, воспользовавшись уже известным предлогом.

— Присаживайтесь, сударь, когда один из этих господ устанет, вы замените его. — Старая дама была в восторге от такого наплыва игроков.

Всех четырех поклонников госпожи де Шанрозе одновременно посетила одна и та же мысль поехать в замок Керкарадек, а скудное воображение предоставило в их распоряжение одно и то же средство, разумеется, самое банальное.

Каждый надеялся быть единственным изобретателем выигрышной комбинации, и потому, встретившись с соперниками у престарелой бретонки, каждый пришел в свирепейшее бешенство.

Играя с самым нелюбезным на свете видом, они поглядывали друг на друга исподлобья, как усеянные бородавками японские химеры, что часто украшают этажерки и камины.

Но это был еще пустяк по сравнению с тем, что их ожидало.

Госпоже де Керкарадек доложили, что кушать подано, и все перешли в столовую, при этом старая дама подала руку шевалье.

О, неожиданность! О, ярость! О, отчаяние! Госпожа де Шанрозе не появилась: ее не было в замке!

Но где же она? Разумеется, в деревне с каким-нибудь возлюбленным.

Шевалье деликатно перевел разговор на госпожу де Шанрозе, которая, как он уверял, ему часто с большим почтением и любовью говорила о госпоже де Керкарадек.

— Ох! — вздохнула старая дама. — Несомненно, мои морщины наводят на нее ужас. Я не видела ее уже шесть лет, и вот уже два года, как она перестала мне писать.

«Нас одурачили!» — вскричали разом, но каждый про себя, шевалье, аббат, откупщик и командор, и, скоротав день-другой, как того требовали приличия, за игрой в карты с госпожой де Керкарадек, они все вместе отправились в Париж, усталые и злые.

Как вы понимаете, всем желающим в городе и при дворе, в гостиных и на улице, в Опере и Комедии они поведали о случившемся, и вскоре все только и говорили, что об исчезновении госпожи маркизы де Шанрозе, похищенной неизвестным поклонником, ибо в том изобретательном и здравомыслящем восемнадцатом столетии никто не допускал ни секунды, что маркиза уехала одна.

Слухи дошли и до Кандаля, который был весьма удивлен, но и только: он был в тысяче лье от мысли, что только ему одному известно, где находится прекрасная беглянка.





Глава XXIII

Положение осложнялось. Благодаря Жюстине и ее верным осведомителям, которые сообщали обо всем, что происходит в особняке де Шанрозе, маркиза узнала о путешествии четверки своих поклонников к госпоже де Керкарадек и о слухах, распространившихся после их возвращения.

Открыть правду господину Жану было бы нелегко. С виконтом все обстояло гораздо проще, но маркиза решила пока не сбрасывать прелестную маску кружевницы, под которой она скрывалась столько дней. Ей хотелось, раз уж она впуталась в романтическую интригу, довести ее до развязки и доказать себе и всему свету, что Кандаль любит Жанетту искренне и беззаветно, и что она обязана победой только своим личным достоинствам, а не титулу, богатству и положению.

С другой стороны, виконт де Кандаль, возвратившись к себе и сняв уже не нужный костюм господина Жана, почувствовал, что он безумно влюблен в Жанетту и жить без нее не может.

Он снова отправился к ней, одетый на этот раз в соответствии со своим положением в великолепное изящное платье, которое чудесным обра-

зом подчеркивало достоинства виконта. Он надел даже ордена, словно наносил официальный визит.

Когда он, сияющий и прекрасный, вошел в комнату, Жанетта вздрогнула от радости и нашла, что виконт гораздо красивее сборщика налогов.

— Ах! Господин Жан, — вскричала она, превосходно разыграв удивление и боль, — то есть, я хотела сказать, господин де Кандаль, сколь неблагородно с вашей стороны преследовать бедную девушку, чье сердце вы разбили, я прошу оставить меня и дать забыть вас насколько возможно в той тени, где вы меня встретили.

— Жанетта, смилуйтесь, подарите Кандалю дружбу и любовь, которую вы как будто питали к господину Жану.

— Не напоминайте мне имя, под которым вы завладели душой, верившей, что может отдать всю себя.

— Хорошо! Пусть будет по-вашему. Забудем о Жане, поговорим о Кандале. — С этими словами виконт бросился к ногам Жанетты. — Злая девчонка, добродетельное холодное создание, чего ты добиваешься, играя на моих страданиях? Ты отказываешься принять меня, потому что я виконт. Значит, твоя простота благороднее моего дворянства? Была бы ты принцессой, происходила бы по прямой линии от Шарлеманя[1], стоял бы твой герб рядом с моим, обязанным одной из своих фигур Святому Людовику[2] за крестовые походы, я любил бы тебя точно так же. И разве можно винить меня за превосходство, к которому я не стремился? Да, Жанетта, я чувствую, жизнь моя отныне связана с твоей и неотделима от нее, ты должна полюбить виконта таким, каков он есть. Я вижу, ответ уже готов сорваться с твоих прелестных губ, но ты не произнесешь его, помешает мой нежный поцелуй. Ты моя по святому праву любви, именем священной природы, твоей трепещущей души, моего скачущего сердца; герцогиня или гризетка, принц или нищий, какая разница! Здесь только Купидон и Психея, которые, узнав друг друга, раскрывают объятия.

— Кандаль, оставьте меня, — вздохнула Жанетта, пытаясь высвободиться из рук виконта, — не злоупотребляйте моей любовью.

— Не бойся ничего, мой ангел; прижмись к моему сердцу, твое место здесь, разве может виконтесса де Кандаль бояться своего мужа?

— О, небо! Что вы такое говорите?

— Я говорю, что женюсь на вас, потому что отныне для меня существует только одна женщина — вы.

— Нежданное счастье! — Жанетта побледнела и покраснела одновременно. — Но нет, оно не для меня! Подумайте сами, какой мезальянс! Одно из прекраснейших имен Франции и бедная кружевница, у которой нет ничего, кроме добродетели.

— Ты королева в своей добродетели. И потом, при нынешних нравах и нравственности никто не может быть уверен в чистоте своей крови. Кто

знает, может быть, ты так же благородна, как и я? Наши вельможи достаточно галантны, чтобы в буквальном смысле называть себя отцами народа.

— О, смилуйтесь, Кандаль, не клевещите на мою мать. — Госпожа де Шанрозе улыбнулась про себя предположению Кандаля, которое было гораздо ближе к правде, чем он думал. — И не настаивайте, мне не хочется портить вам жизнь.

— Наоборот, я считаю, нам доставит удовольствие, если мы доведем до бешенства весь свет.

— Как я, бедная невежда, не знающая ничего о светской жизни, войду в этот блистательный круг, как появлюсь среди знатных вельмож, спесивых дам, которые будут смотреть на меня с высоты своей гордыни и напомнят о моем низком происхождении презрительными взглядами и оскорбительным смехом?

— Всем придется уважать женщину, которую я представлю, держа под руку.

— И вы не боитесь насмешек в городе и при дворе?

— Во-первых, я никого не боюсь: я молод, свободен, богат, и если какой-нибудь старый туз, напичканный древними предрассудками, станет позорить меня за самый разумный поступок в жизни, на моей стороне будут господин де Вольтер, гражданин Женевы, Дидро и вся энциклопедическая клика[3], которая поднимет дьявольский шум, прославляя мой поступок, как достойный одного из семи греческих мудрецов[4]. Я стану популярной личностью. Как видите, Жанетта, все ваши доводы не стоят и гроша, и вскоре вы сделаетесь самой утонченной и модной женщиной Парижа. Так дадите вы мне или нет вашу ручку, белую и хрупкую, словно у маркизы, чтобы я надел вам колечко господина Жана?

Жанетта, которая понимала, что дальнейшее сопротивление может обидеть и оттолкнуть виконта, потупив глазки и раскрасневшись от смущения, протянула пальчик к обручальному кольцу, которое предлагал ей Кандаль, а надев кольцо, бросилась жениху на шею в восхитительном порыве нежности.

Назначили день свадьбы. Кандаль потребовал, чтобы они обручились как можно скорее, и с сердцем, полным радости и счастливых грез, покинул свою невесту, при этом влюбленный похитил несколько поцелуев из сокровищницы супруга.

Госпожа де Шанрозе, заполучив колечко, хотела было открыть Кандалю свое настоящее имя, но решила отложить этот сюрприз до подписания брачного договора: какое сказочное счастье переполнило ее сердце, когда она убедилась, что ее любит, забыв о тщеславии и корысти, благородный, богатый и выдающийся человек, который верит, что она — простая бедная девушка из народа, зарабатывающая на жизнь плетением кружев,

и только из любви дарит ей свой титул и состояние. Эта любовь венчала ее более блистательной короной, чем корона маркизы. Жанетта сыграла свою роль, и госпожа де Шанрозе, в сопровождении Жюстины, вернулась в особняк в наемном экипаже с большим шумом, так, чтобы ее возвращение заметили. Аббат, финансист, командор и шевалье тут же поспешили к ней. Маркиза объяснила им, что по дороге в Керкарадек она довольно серьезно заболела и ей пришлось задержаться на постоялом дворе и что она вернулась в Париж, а не продолжила свой путь, чтобы в случае нового недомогания быть в пределах досягаемости заботливого Бордё, которому она полностью доверяет.

Историю с болезнью полностью опровергала внешность маркизы. Госпожа де Шанрозе выглядела как никогда сияющей и цветущей, но, поскольку выдумка была весьма благовидна, всем пришлось ею удовлетвориться, ибо никто не имел права счесть ее неправдоподобной.

Все следующие дни госпожа де Шанрозе показывалась в разных местах, дабы убедить Париж в том, что она вернулась.

Она вновь появилась в Опере и в Версале, где на большой лестнице в Оранжерее[5] произошла случайная встреча, которая чуть было не смешала все планы маркизы.

Когда она спускалась вниз, Кандаль поднимался наверх.

Увидев женщину в пышных шестиаршинных фижмах, в перьях, бриллиантах и прочих атрибутах парадного придворного туалета, белую, как мел, от пудры и блестящую от грима, словно колесо телеги, окруженную, подобно принцессе, толпой порхающих поклонников, Кандаль весьма смутился.

Несмотря на отличия во внешности и нарядах, сходство было столь разительным, что он остановился как вкопанный и, глядя госпоже де Шанрозе прямо в глаза, воскликнул:

— Великий Боже! Жанетта...

Не замешкавшись ни на мгновенье, маркиза бросила на него удивленный и наивный взгляд, словно не понимая, о чем речь, и, убедившись, что ноги изумленного Кандаля прилипли к мрамору, легко и как ни в чем не бывало поспешила дальше. За ней следовали командор де Ливри и Бафонь, которого она нарочно заставляла ходить быстро, ибо тот был очень толст: маленькая шалость, которая крайне ее развлекала.

«Природа играет порой в странные игры, — думал Кандаль, поднимаясь по лестнице, когда видение исчезло, — она забавляется: использует дважды одну форму и извлекает на свет божий две одинаковые отливки: одну для маркизы, другую для гризетки! Как они похожи! Но насколько Жанетта красивее!»

Нет, дорогой виконт, Жанетта не красивее, ты вскоре в этом убедишься. Ты просто исполняешь долг влюбленного, находя свою возлюбленную самой красивой на свете, красивее даже самой себя.

Спасает только вера, а вера влюбленного стоит веры угольщика[6], когда она идет от сердца.

Глава XXIV

Если вы помните, москательщик вышел от Жанетты, глубоко уязвленный тем, что его предложение было отвергнуто мелкой сошкой, очень хорошенькой, по правде говоря, но не имевшей за душой ни гроша.

Он думал, как отомстить за такое пренебрежение, и, поскольку знал возлюбленного Жюстины, которому та имела неосторожность открыть правду насчет Жанетты, то под тем предлогом, что хочет навести справки о заинтересовавшей его малышке, вытряс из сидельца всю душу, но выяснил, что так называемая кружевница была маркизой де Шанрозе. Юный Ружерон поклялся извлечь из этого открытия выгоду.

Для начала он распространил слух о том, что маркиза, подобно многим высокородным дамам, которым наскучили придворное сластолюбие и пошлые комплименты надоевших поклонников, завлекала молодых простолюдинов в свои маленькие Нельские башни[1], где под разными личинами безнаказанно срывала цветы удовольствия.

Как мы увидим, этим он в своей злобе не ограничился; но звезда, покровительствовавшая судьбе Жана и Жанетты — позвольте нам еще раз назвать их этими именами, — была столь счастливой, что все задуманное против них обращалось к их пользе.

В день, когда Кандаль пришел к Жанетте, чтобы подписать брачный договор, посыльный открыл дверь и бросил на стол письмо.

Письмо было адресовано господину Жану и гласило следующее:

> Господин Жан!
>
> Берегитесь! Вы в западне; вы несомненно слышали истории о юношах, которых под видом простых девушек любят знатные дамы, желающие узнать, стоят ли радости маленьких людей придворных удовольствий, а простые кабачки — поздних ужинов вдвоем; вам рассказывали о юных красавцах, исчезавших или в тюремных одиночках, или в трюме корабля, идущего на острова... Трепещите! Кружевница — это маркиза, а Жанетта — госпожа де Шанрозе. Теперь вы сами понимаете, какая судьба вас ожидает, когда каприз новоявленной госпожи Эгмонт[2] пройдет.

Если у вас хватит мужества, попытайтесь отомстить за то, что вами так играли, и погубить ее, как она того заслуживает; если же вам не хватит смелости, если вы попались на приманку, не вините никого, кроме себя, за то, что с вами случится. Вас предупредили!

Виконт де Кандаль, занятый мыслями о своем счастье, небрежно раскрыл письмо, написанное на грошовой бумаге, и был более чем поражен, когда наконец вник в его содержание.

— Что все это значит? — воскликнул он не своим голосом.

— А! Я знаю, в чем дело, — невозмутимо молвила Жанетта, пробежав глазами послание, — моя горничная проболталась.

— Ваша горничная! Что? Боже! Неужели это правда? Откройте мне эту тайну, или я умру!

— Жанетта доиграла свою роль.

— Так то была роль?

— Господин Жан, не вам попрекать Жанетту.

— И это письмо — правда?

— Более чем.

— Госпожа маркиза де Шанрозе!

— Господин виконт де Кандаль!

— Вероломная!

— Обманщик!

— Ах! Как вы меня разыграли!

— А вы, не вмешайся Розетта, вы навсегда остались бы господином Жаном?

— Если бы это письмо не открыло мне глаза, вы так и хранили бы молчание?

— Моя подпись под брачным договором вот-вот раскрыла бы мой секрет. Ну же, дорогой Кандаль, не надо вешать нос. Да, я всего-навсего маркиза, это правда, но не всем женщинам везет, не все появляются на свет гризетками. Неужели я так подурнела с тех пор, как перестала быть Жанеттой?

— Нет. — Виконт с пылом поцеловал ее руку.

— И когда мы встретимся на лестнице в Версале, вы меня узнаете и поклонитесь мне?

— Так это были вы?

— А кто же еще?

— Ну, разумеется, на свете не может быть двух Жанетт.

— Льстец!

— Какое странное стечение обстоятельств!

— Нами обоими двигали наши сокровенные желания, но не подумайте, что мне свойственны подобного рода выходки. Впрочем, вы в этом скоро убедитесь, — засмеялась госпожа де Шанрозе. — Моя история — ваша история: однажды вечером от скуки я переоделась в платье Жанетты, и в нем я познала счастье любви. В высшем свете, покоряясь моде и фривольным нравам, в вихре удовольствий, мы могли никогда не распознать нашу подлинную суть. Мы разминулись бы, не поняв друг друга. Маски заставили нас быть самими собой. Я — с моей репутацией манерной и дерзкой модной дамы — на самом деле простая и искренняя, меня трогает только естественность. А вы, несмотря на репутацию щеголя и повесы, нежны и чистосердечны. Давайте не будем никому об этом рассказывать, но навсегда останемся друг для друга Жаном и Жанеттой.

Венчание состоялось в часовне особняка де Шанрозе, и вечером, когда аббат явился к маркизе, дабы засвидетельствовать свое почтение, он был весьма удивлен, обнаружив в гостиной новое лицо, которое не сулило ничего хорошего огню его любви, так как незнакомец был молод, хорош собой и великолепно одет.

Желая затмить новичка, аббат решил прочитать маркизе стихотворение, на которое он весьма рассчитывал и которое начиналось следующим образом:

К розе дивной устремясь,
Мотылек капризный
Опустился, трепеща,
На уста маркизы...[3]

— Довольно! Мой дорогой поэт, — рассмеялась бывшая маркиза, — мне очень жаль, но придется нарушить стройность вашего произведения, так как я уже не маркиза, а виконтесса, что совершенно не в рифму, а вот и мой муж, господин виконт де Кандаль, позвольте мне вам его представить.

Командор, откупщик и шевалье очень скоро узнали новость и смирились. Только аббат, так и не сумевший вставить в свой куплет имя Кандаля, остался безутешен.



Некоторое время спустя Розетта получила большую коробку, полную кружев малин, и браслет с очень крупными бриллиантами чистой воды.

К подаркам прилагалась маленькая записка.

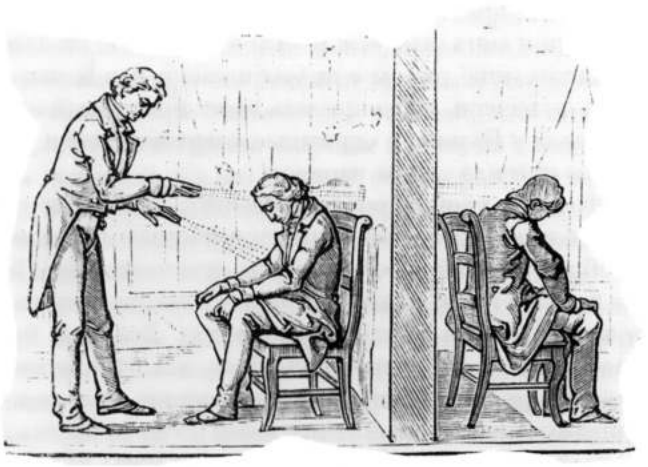
В ней было только четыре слова:

«От Жана и Жанетты».



ABATAPA





Глава I

Никто не понимал, что за таинственный недуг медленно подтачивает здоровье Октава[1] де Савиля. Он не лежал в постели и не нарушал привычного образа жизни; ни разу ни одна жалоба не сорвалась с его губ, и, однако, он угасал на глазах. Доктора, к которым ему приходилось обращаться по просьбе участливых родителей и друзей, расспрашивали его, но не получали никакого ответа, да и сами медики не обнаруживали у больного ни одного тревожного симптома: они простукивали его грудь и не слышали ничего подозрительного, прикладывали ухо к сердцу и улавливали только чуть замедленное или чуть учащенное биение. Октава не мучали ни кашель, ни жар, но жизнь вытекала из него по капле сквозь одну из невидимых дыр, которых, как утверждает Теренций, у человека немало[2].

Порой в странном обмороке он становился бледен и холоден, точно мрамор, и две-три минуты походил на мертвеца. Затем маятник, остановленный неведомой рукою и ею же запущенный, возобновлял свой ход, и Октав словно пробуждался ото сна. Ему прописали воды, но нимфы минеральных источников ничем не смогли ему помочь. Путешествие в Неа-

поль также не принесло облегчения[3]. Хваленое южное солнце виделось ему черным, как на гравюре Альбрехта Дюрера: летучая мышь со словом «*меланхолия*» на крыльях взбивала сияющую лазурь[4] своими пыльными перепонками и металась между ним и светом. И он замерзал на набережной Мерджеллина[5] рядом с полуобнаженными lazzaroni*, что загорают там с утра до вечера, дабы придать коже бронзовый налет.

Октав вернулся в Париж, в скромные апартаменты на улице Сен-Лазар[6], и жизнь его потекла своим чередом.

Комнаты его были удобны ровно настолько, насколько требуется для холостяка. Но, как известно, жилище со временем перенимает лицо, а возможно, и образ мыслей своего хозяина, и потому дом Октава с каждым днем все больше погружался в печаль. Шелковые занавеси выцвели и теперь пропускали лишь тусклый серый свет. Большие букеты белых пионов увядали на фоне потускневших обоев, золотые багеты, обрамлявшие несколько акварелей и эскизов кисти хороших мастеров, постепенно побурели от неумолимой пыли, обессиленный огонь не желал разгораться, а камин то и дело чадил. Старинные напольные часы Буля[7], инкрустированные медью и зелеными ракушками, старались тикать как можно тише, и даже их колокольчики звонили тоскливым полушепотом, словно боялись потревожить больного. Двери закрывались бесшумно, огромный ковер заглушал шаги редких гостей, а смех замирал сам собою, проникнув в эти холодные, сумрачные покои, где, однако, во всем ощущался дух современности. Вдоль стен, с поникшим султаном[8] под мышкой или с подносом в руках тенью скользил Жан, слуга Октава. Постепенно поддавшись настроению хозяина, он волей-неволей научился держать рот на замке.

Над камином, точно трофеи, висели боксерские перчатки, маски и рапиры, но сразу было видно, что к ним давно не прикасались. Раскрытые, но равнодушно забытые книги валялись по всей комнате, как будто машинальным чтением Октав стремился заглушить не дававшие ему покоя мысли. Неоконченное письмо на пожелтевшей бумаге месяцами дожидалось, когда его допишут, и немым упреком пылилось посередине бюро. Дом казался необитаемым. В нем не было жизни. Войдя сюда, вы ощущали холодное дуновение склепа.

Ни одна женщина не отваживалась ступить на порог этой унылой кельи, Октав же чувствовал себя здесь лучше, чем где бы то ни было, ему подходили ее тишина, грусть и запустение. Веселье и суматоха улиц наводили на него ужас, хотя изредка он и делал попытки присоединиться к ним, но с маскарадов, приемов и ужинов, куда увлекали его друзья, он возвращался мрачнее прежнего и, в конце концов, перестав бороться с самим

* бездельниками, повесами (*ит.*).

собой, стал жить день за днем с безразличием человека, не рассчитывающего на завтра. Он не строил планов, ибо не верил в будущее, и, смиренно подав Господу прошение об отставке, ожидал, когда тот ее примет. Впрочем, если вы вообразите истощенное лицо землистого цвета, впалые щеки, исхудалые члены и прочие внешние признаки разрушения, вы ошибетесь. Самое большее, что вы заметите, — это несколько опухшие веки, темные круги вокруг глаз и биение голубых жилок на слегка размягченных висках. Искра души угасла в его зрачках, от которых отлетели воля, надежда и желание. Безжизненный взгляд на молодом лице производил жутковатое впечатление и пугал больше, чем свойственная обыкновенным болезням костлявая маска с блестящими от жара глазами.

Прежде чем занемочь, Октав был, как говорится, хорош собой. Он и теперь оставался красив. Густые черные локоны, шелковые и блестящие, обрамляли его щеки. Темно-синего цвета бархатные миндалевидные глаза с бахромой загнутых ресниц порой загорались влажным блеском, а порой, если никакая страсть не волновала их, привлекали внимание ясной безмятежностью, присущей глазам азиатов, когда у дверей кафе в Смирне[9] или Константинополе они предаются кейфу, выкурив свой наргиле[10]. Щеки Октава не знали румянца, и этим он походил на южан, чей оливковый оттенок кожи предстает во всей красе только при ярком свете солнца; рука его была тонка и изящна, а нога — узка и стройна. Он хорошо одевался, не обгоняя моду и не плетясь у нее в хвосте, и прекрасно умел подчеркнуть достоинства, данные ему от природы. Он никогда не претендовал на звание денди или джентльмена-райдера[11], но, явись Октав в Жокей-клуб[12], его бы там приняли за своего.

Как же случилось, что молодой, красивый, богатый юноша, имеющий все основания чувствовать себя счастливым, влачил столь жалкое существование? Вы скажете, что Октаву все надоело, что модные романы испортили его своими вредными идеями, что он во всем разуверился, что от молодости и состояния, растраченных в безумных оргиях, ему остались одни долги, но любые ваши предположения будут далеки от истины. — Не успев пресытиться удовольствиями, Октав не мог проникнуться к ним отвращением; его не донимали ни сплин[13], ни романтические порывы; он не был ни атеистом, ни распутником, ни мотом. До недавних пор его жизнь, как у всех прочих молодых людей, состояла из учения и развлечений: утром он отправлялся в Сорбонну, а вечером располагался на лестнице Оперы, чтобы полюбоваться стекающим вниз каскадом нарядов. Он не знался ни с мраморными девами[14], ни с великосветскими дамами и довольствовался доходами, не покушаясь даже в мыслях на основной капитал, за что личный нотариус питал к нему глубочайшее уважение. В общем, Октав де Савиль являлся человеком весьма здравым и был не способен бро-

ситься в пропасть подобно Манфреду[15] или разжечь печку по примеру Эскусса[16]. Что до причины его странного состояния, поставившего в тупик всю медицинскую науку, то она настолько невероятна для Парижа девятнадцатого столетия, что мы не возьмем на себя смелость ее огласить и потому чуть позже предоставим слово нашему герою.

Поскольку рядовые врачи ничего не понимали в его редком заболевании, ибо еще не научились препарировать в анатомическом театре души, то пришлось, как к крайней мере, прибегнуть к помощи единственного в своем роде доктора, который долго пробыл в Индии и слыл необыкновенным целителем.

Октав опасался, что сей врачеватель окажется весьма проницателен и раскроет его тайну, и только благодаря неустанной настойчивости матери согласился принять господина Бальтазара Шербонно[17].

Когда врач вошел, Октав полулежал на диване: одна подушка поддерживала его голову, другая — локоть, третья согревала ноги; пушистый восточный халат окутывал его мягкими складками, он читал или, скорее, держал в руках книгу, ибо его глаза, уставившиеся на страницу, явно ничего не видели. Лицо его было бледно, но, повторим еще раз, не искажено заметными страданиями. С первого взгляда никто не поверил бы, что молодому человеку, на чьем столике, вместо непременных в подобном случае снадобий и склянок с бальзамами, микстурами и настойками, лежат сигары, что-то угрожает. Его тонкие черты, хотя и несколько утомленные, не утратили изящества, и, если бы не исключительная вялость и непреходящая безнадежность во взгляде, Октав выглядел бы вполне здоровым. Однако, сколь ни велико было безразличие Октава, странный вид доктора поразил его. Господин Бальтазар Шербонно походил на персонажа, который сбежал из фантастической сказки Гофмана[18] и теперь разгуливал по свету, с изумлением взирающему на столь нелепое создание. Его сильно загорелое лицо чуть ли не полностью поглощал огромный лоб, казавшийся еще огромнее ввиду почти полного отсутствия волос. Этот лысый череп, отполированный, будто слоновая кость, оставался белым, тогда как лицо под воздействием солнечных лучей приобрело благодаря нескольким слоям загара цвет старого дуба или закопченного портрета. Все выпуклости, впадины и косточки проступали на нем так четко, что малое количество плоти, которое покрывало их, из-за морщин и складок напоминало размоченную кожу, натянутую на позаимствованный у мертвеца череп. Редкие волоски, еще сохранившиеся на затылке и собранные в три тощие прядки, две из которых торчали над ушами, а третья волочилась по темени и замирала у линии лба, самым гротескным образом венчали его физиономию щелкунчика и наводили на мысль, что зря он не носит ни старинного парика с буклями, ни современной накладки. Но что особо привлека-

ло во врачевателе — это его глаза: на дубленном временем, прокаленном пылающими небесами, истощенном науками лице, в каждой черточке которого — в глубоких морщинах, лучистых гусиных лапках, носогубных складках и губах, сжатых плотнее, чем страницы книги, — читалась бесконечная усталость от учения и жизни, сверкали две лазурно-голубые зеницы, ясные, свежие и непостижимо юные. Эти голубые звезды сияли в глубине коричневых глазниц и морщинистых век, своими рыжеватыми кругами отдаленно напоминавших перья, что ореолом окружают зрячие в сумерках глаза совы. Невольно думалось, что каким-то колдовством, перенятым от брахманов[19] и пандитов[20], доктор похитил глаза ребенка и приладил их к отжившему свое лицу. Как бы то ни было, старик смотрел на мир глазами двадцатилетнего мужчины, а молодой человек — глазами шестидесятилетнего старика.

Одет он был на манер всех парижских врачей: в сюртук и панталоны из черного драпа, шелковый жилет того же цвета и сорочку. Лишь огромный бриллиант — подарок какого-нибудь раджи или набоба — притягивал взор с силой магнита. Костюм болтался на нем как на вешалке и покрывался множеством поперечных складок, когда доктор усаживался и его острые коленки и локти выпирали наружу. Чтобы достичь столь феноменальной худобы, недостаточно одного всепожирающего солнца Индии. Несомненно, Бальтазар Шербонно подвергал себя в целях какой-нибудь инициации[21] длительным голоданиям и лежал рядом с йогами на шкуре газели между четырьмя пылающими жаровнями; однако, несмотря на недостаток плоти, язык не поворачивался назвать доктора немощным. Толстые сухожилия кистей, ни дать ни взять струны на грифе скрипки, связывали между собой тощие косточки фаланг, и те шевелились без особого хруста.

Характерным движением человека, давно привыкшего сидеть на циновках, доктор устроился рядом с диваном, в кресле, на которое указал ему Октав, и сложил руки, точно складной метр. При этом господин Шербонно повернулся спиной к окну, в то время как лицо больного оставалось на свету: положение весьма выгодное для заинтересованного наблюдателя. Хотя лицо доктора скрывала тень и лишь по макушке его черепа, блестящего и круглого, как гигантское страусиное яйцо, скользил свет, Октав различал мерцание его странных голубых очей, которые, казалось, обладали собственным свечением, словно фосфоресцирующие тела: они испускали тонкий яркий луч прямо в грудь молодого человека, и луч этот вызывал покалывание и жжение, подобно рвотному порошку.

— Итак, сударь, — произнес врачеватель после паузы, во время которой он как бы обобщил симптомы, отмеченные при беглом осмотре, — я уже вижу, что в вашем случае и речи нет о простой патологии, об одной из

тех описанных в справочниках и всем известных болезней, которые врач может вылечить или усугубить. Посему после нашей непродолжительной беседы я не попрошу у вас бумаги, дабы списать из «Кодекса»[22] рецептуру болеутоляющего, поставить под ней неразборчивую роспись и послать вашего слугу в аптеку за углом.

Октав лишь слабо улыбнулся, благодаря господина Шербонно за избавление от бесполезных и надоевших лекарств.

— Но, — продолжал врач, — не спешите радоваться. Из того, что у вас нет ни сердечной недостаточности, ни чахотки, ни размягчения спинного мозга, ни кровоизлияния в головной мозг, ни тифозной или нервической лихорадки, отнюдь не следует, что вы в добром здравии. Дайте мне руку.

Полагая, что господин Шербонно сейчас достанет секундомер и прощупает его пульс, Октав засучил рукав халата, оголил запястье и машинально протянул руку доктору. Но господин Шербонно не стал определять учащение или замедление сердцебиения, которые свидетельствуют о том, что часовой механизм человека пришел в негодность. Он взял в свою загорелую лапу, костлявые пальцы которой походили на клешню краба, хрупкую, влажную, с просвечивающими жилками кисть молодого человека и начал ее щупать, мять, растирать, словно хотел таким образом войти в магнетический контакт[23] с ее обладателем. Октав, при всем своем скептическом отношении к медикам, невольно почувствовал некоторую тревогу, ему почудилось, будто пожатие вынимает из него душу, и кровь отхлынула от его щек.

— Дорогой господин Октав. — Доктор выпустил наконец руку молодого человека. — Положение ваше очень опасно, и медицина, по крайней мере традиционная европейская медицина, здесь бессильна: вы потеряли волю к жизни, ваша душа незаметно отделяется от тела, хотя у вас нет ни ипохондрии[24], ни липемании[25], ни меланхолической склонности к самоубийству. Нет! Случай редкий и любопытный, и, если я не справлюсь, вы умрете без какого-либо серьезного внутреннего или внешнего повреждения. Вы вовремя обратились ко мне, ибо ваш разум соединяется с телом одной-единственной ниточкой, но мы еще успеем завязать ее добрым узлом.

И врач радостно потер ладони, изобразив на лице улыбку, которая вызвала целую бурю в тысяче его морщин.

— Господин Шербонно, я не знаю, удастся ли вам меня вылечить, да, в общем, мне это безразлично, но должен признать, что вы с первого взгляда распознали суть моего непонятного состояния: тело словно стало проницаемым и пропускает мое «я» наружу, наподобие решета или сита. Я чувствую, что растворяюсь в чем-то огромном, и с трудом различаю самого себя в пучине, в которую погружаюсь. Жизнь превратилась в привычную

пантомиму. Я, насколько возможно, играю свою роль, лишь бы не огорчать родителей и друзей, но все кажется мне таким далеким, будто я уже покинул этот мир. Механически следуя заведенному обычаю, я изредка выхожу из дому и возвращаюсь, но не участвую в том, что делаю. Я сажусь за стол в обычное время, ем и пью, не различая вкуса даже самых пряных блюд и самых крепких вин, солнечный свет видится мне бледным, ровно свет луны, а пламя свечей — черным. Мне холодно в самые знойные летние дни. Порой во мне воцаряется такая тишина, словно сердце мое перестало биться и все внутренние механизмы остановились по неведомой причине. Должно быть, именно так выглядит смерть, жаль, мы не можем спросить об этом усопших.

— У вас, — прервал его доктор, — хроническая невозможность жить, болезнь духовная и более распространенная, чем принято считать. Мысль — это сила, которая может убить так же, как синильная кислота или разряд в лейденской банке[26], хотя след производимых ею разрушений неуловим для слабых методов анализа, коими владеет современная наука. Какая тоска вонзила свой орлиный клюв в вашу печень? С высот каких честолюбивых помыслов вы упали и разбились вдребезги? Какое горькое отчаяние переживаете вы в неподвижности? Мучит ли вас жажда власти? Или вы поставили перед собой недостижимую для человека цель и сами от нее отреклись? Нет, вы слишком молоды для этого. Вас обманула женщина?

— Нет, доктор, — вздохнул Октав, — мне не выпало даже это счастье.

— Тем не менее по вашим тусклым глазам, вялому телу, глухому голосу я читаю название шекспировской драмы так ясно, будто оно выгравировано золотыми буквами на корешке сафьянового переплета.

— И какую же пьесу я играю, сам того не подозревая? — поинтересовался Октав, в котором помимо его воли проснулось любопытство.

— «Love's labour' lost»*. — Явный акцент доктора свидетельствовал о том, что он долго жил в индийских колониях Британии.

— То есть, если не ошибаюсь... «Бесплодные усилия любви».

— Совершенно верно.

Октав промолчал; легкий румянец окрасил его щеки, и молодой человек для отвода глаз принялся играть кисточкой своего пояса. Доктор положил одну согнутую ногу поверх другой, так что теперь его ноги стали похожи на перекрещенные кости, изображаемые на гробницах, и на восточный манер ухватился рукой за ступню. Он пристально смотрел на Октава, взглядом властным и ласковым требуя ответа.

— Ну же, — сказал господин Шербонно, — откройтесь мне. Я врачеватель душ — вы мой пациент и, как католический пастырь грешника, прошу

---

* «Бесплодные усилия любви»[27] (*англ.*).

вас, исповедуйтесь без утайки, и при этом не требую, чтобы вы встали передо мной на колени.

— Зачем? Даже если вы правы, мой рассказ не утишит моих страданий. Моя печаль молчалива, ни один человек, в том числе и вы, не в силах излечить ее.

— Возможно. — Доктор откинулся на спинку кресла, словно готовясь выслушать длинную исповедь.

— Я не хочу, — заговорил Октав, — чтобы вы обвинили меня в ребяческом упрямстве и чтобы мое молчание послужило вам предлогом умыть руки в случае моей кончины. Раз уж вы так просите, я расскажу вам свою историю; вы угадали ее суть, опишу только детали. Не ждите ничего из ряда вон выходящего или романического. Это очень старая история, очень рядовая и всем известная, но, как писал Генрих Гейне, она всегда кажется новой тому, с кем случается, и всегда разбивает сердце[28]. По правде, мне стыдно говорить о столь обыденных вещах с человеком, который жил в самых сказочных и фантастических краях.

— Смелее, только обыденное и способно меня поразить, — улыбнулся врачеватель.

— Так вот, доктор, я умираю от любви.

Глава II

— Я находился во Флоренции в конце лета тысяча восемьсот сорок... года, в самую прекрасную пору для знакомства с этим городом. У меня были время, деньги и прекрасные рекомендательные письма, и, как любой другой молодой человек, я не искал ничего, кроме развлечений. Я поселился на Лунгарно[1], нанял коляску и погрузился в размеренную флорентийскую жизнь, столь притягательную для иностранца. По утрам посещал храмы, дворцы, галереи, спокойно и неспешно, дабы не пресытиться шедеврами, поскольку в Италии слишком жадных туристов скоро начинает тошнить от искусства. Я любовался бронзовыми дверями баптистерия[2], статуей Персея работы Бенвенуто под арками Ланци[3], портретом Форнарины в Уффици[4] или же Венерой работы Кановы во дворце Питти[5], но всегда чем-то одним. Затем я завтракал в кафе Донея[6], выпивал чашку кофе глясе, курил сигары, просматривал газеты и, украсив бутоньерку цветком от сидевших подле кафе хорошеньких цветочниц в больших соломенных шляпах, волей-неволей возвращался к себе на сиесту. В три часа дня приезжала коляска и отвозила меня в Кашины[7]. Кашины во Флоренции — то же, что Булонский лес[8] в Париже, с той лишь разницей, что там все друг друга знают, а круглая площадь служит подобием салона под открытым

небом, где кресла заменяют встающие аккуратным полукругом экипажи. Женщины, в парадных туалетах, полулежа на мягких сиденьях, беседуют с возлюбленными и воздыхателями, денди и дипломатами, которые со шляпами в руках устраиваются на подножках карет. Впрочем, вы все это знаете не хуже меня... Там составляют планы на вечер, назначают свидания, принимают приглашения; это своего рода биржа удовольствий, открытая с трех до пяти в тени больших деревьев под самым ласковым небом на свете. Чтобы занять более или менее приличное положение в обществе, нужно каждый день непременно появляться в Кашинах. Я и не помышлял манкировать этой обязанностью, а вечером, после обеда, наведывался в ту или иную гостиную или отправлялся в Перголу[9], если певица того стоила.

Вот так я проводил лучший месяц моей жизни, но счастье не могло длиться вечно. Однажды в Кашинах появилась великолепная коляска. В это потрясающее творение венских каретчиков, шедевр Лауренци[10], сверкающий лаком и украшенный чуть ли не королевским гербом, была запряжена а-ля д'Омон пара коней[11], самых прекрасных из всех, что когда-либо гарцевали в Гайд-парке[12] или в Сент-Джеймсском парке[13] под окнами большой гостиной королевы Виктории[14]. Ими самым аккуратным манером правил совсем юный жокей в белых кожаных лосинах и зеленой курточке; медные детали упряжи, ступицы колес, ручки на дверцах блестели, словно золото. Взгляды всех присутствующих обратились к роскошному экипажу, который, выписав на песке плавную, точно циркулем начерченную, линию, остановился рядом с другими колясками. В карете находилась дама, но мы успели различить только кончик туфельки, лежавшей на переднем сиденье, краешек шали и большой зонт с белыми шелковыми оборками. Затем зонт закрылся, и перед нами воссияло лицо несравненной красоты. Я был верхом и смог подъехать достаточно близко, чтобы не упустить ни одной черточки этого чуда природы. Незнакомка была в платье цвета морской волны с серебристым глянцем: только очень уверенная в себе блондинка может отважиться на такое, ибо на подобном фоне всякая женщина с небезупречной кожей выглядит черной как смоль. Огромная шаль из белого плиссированного крепдешина, сплошь покрытого вышивкой того же цвета, окутывала ее мягкими волнами, будто туника на скульптурах Фидия[15]. Шляпка тончайшей флорентийской соломки, украшенная незабудками и нежными стеблями водных растений с узкими сине-зелеными листьями, служила ореолом ее головке, а драгоценностями красавица явно пренебрегала — лишь золотая ящерка, усеянная бирюзой, поблескивала на руке, сжимавшей зонтик из слоновой кости.

Простите, доктор, эту картинку из журнала мод влюбленному, для которого даже такие мельчайшие воспоминания обретают огромную значимость. Густые светлые локоны подобно потокам света двумя пышными

волнами ниспадали по обе стороны ее лба, белого и чистого, словно свежий снег, выпавший ночью на самую высокую вершину Альп. Длинные ресницы — тонкие, как те золотые нити, с помощью которых средневековые миниатюристы изображают сияние вокруг головок ангелов, — наполовину скрывали ее глаза зелено-голубого цвета, цвета бликов, играющих под лучами солнца на поверхности ледников. Божественно очерченные губы алели, будто створки раковины Венеры, а щеки походили на стыдливые белые розы, краснеющие от признаний соловья и поцелуев бабочек. Ни одному художнику не под силу передать их неземную пленительность, свежесть и прозрачность; казалось, их оттенок никак не может быть обязан той красной жидкости, что течет в наших венах; лишь первые проблески Авроры на вершине Сьерра-Невады, алые сердечки некоторых белых камелий, паросский мрамор[16], просвечивающий сквозь розовую газовую вуаль, дают отдаленное представление об их цвете. Шея, открытая взору между лентами шляпки и шалью, сияла белизной с опаловым отливом по краям. С первого взгляда внимание привлекал не рисунок этой яркой головки, а только ее колорит — точно так воспринимаются добротные произведения венецианской школы[17]. Вместе с тем ее абрис чистотой и изяществом напоминал античные профили, вырезанные на агатовых камеях.

Как Ромео забыл Розалинду, встретив Джульетту[18], так и я, увидев эту недосягаемую красавицу, забыл все мои прошлые увлечения. Страницы моего сердца снова стали чистыми: все имена, все воспоминания стерлись. Я более не понимал, что могло привлекать меня в тех вульгарных связях, которых редко избегают молодые люди, я упрекал себя за них, словно за измену. Новая жизнь началась для меня с этой роковой встречи.

Ее карета покинула Кашины и поворотила в город, унося ослепительное видение. Я подъехал к молодому, весьма любезному русскому, большому любителю курортов, из тех, что встречаются во всех космополитических салонах Европы и знают всю подноготную их завсегдатаев, завел разговор о незнакомке и узнал, что то была графиня Прасковия Лабинская, литовка из знатного и очень богатого рода, чей муж вот уже два года воевал на Кавказе[19].

Не стоит останавливаться на том, какие уловки пришлось пустить мне в ход, чтобы добиться приема у графини — в отсутствие графа она весьма настороженно относилась к новым знакомствам, — но наконец я был принят: две вдовствующие княгини и четыре баронессы без возраста поручились за меня своей древней добродетелью.

Графиня Лабинская сняла великолепную виллу, в прошлом принадлежавшую семье Сальвиати[20], в полулье от Флоренции; всего за несколько дней она сумела привнести современный комфорт в этот старый дом, ни-

чем не нарушив его суровую красоту и строгую элегантность. Тяжелые портьеры с вышитыми гербами удачно вписывались в стрельчатые арки; мебель старинной формы гармонировала со стенами, покрытыми темно-коричневым деревом или фресками приглушенных тонов, походившими на средневековые гобелены; ничто: ни яркие краски, ни кричащее золото — не раздражало глаз, наш век нигде не диссонировал с прошлым. Графиня же столь естественно выглядела в роли владетельницы замка, что, казалось, старый дворец был некогда построен именно для нее.

Если поначалу меня поразила лучезарная красота Прасковии, то после нескольких визитов я был совершенно покорен ее редким, тонким и развитым умом. Когда она говорила о чем-то интересном, ее душа, так сказать, оголялась и делалась зримой. От белой кожи, словно от алебастра[21], исходило свечение, лицо покрывалось фосфоресцирующими бликами, светлым трепетом, о котором говорит Данте, когда живописует великолепие рая;[22] можно сказать, вам являлся ангел во плоти. Рядом с ней я был ослеплен, ошеломлен и потому очень глуп. Поглощенный созерцанием ее красоты, зачарованный звуками небесного голоса, превращавшего каждую фразу в несказанную музыку, я, вместо подобающих ответов, лепетал нечто бессвязное, отнюдь не делавшее чести моему уму. Слова выдавали мое смятение, мою непроходимую тупость, и порой едва уловимая ирония дружеской улыбкой скользила по ее прелестным губам.

Я не открывал графине своих чувств; глядя на нее, я лишался разума, сил, отваги; сердце билось, как будто хотело вырваться из груди и броситься на колени его повелительницы. Сотни раз я решал объясниться, но непреодолимая застенчивость останавливала меня; малейшая холодность или сдержанность графини повергали меня в глубочайший транс, сравнимый лишь с чувствами приговоренного к смертной казни, который, положив голову на плаху, ждет, когда лезвие топора рассечет его шею. Нервные судороги душили меня, тело обливалось холодным потом. Я краснел, бледнел и уходил, не проронив ни слова, с трудом находя дверь и шатаясь как пьяный на ступенях ее дома.

Переступив порог, я вновь обретал способность мыслить и оглашал окрестности самыми пламенными дифирамбами[23]. Я посылал моему воображаемому идолу тысячу признаний, столь красноречивых, что перед ними никто не смог бы устоять. В моих немых апострофах[24] я равнялся с величайшими поэтами. Песни Песней Соломона с ее пьянящим восточным ароматом и лиризмом, навеянным гашишем, сонетам Петрарки[25] с их платонической тонкостью и возвышенной изысканностью, «Интермеццо» Генриха Гейне[26] с его нервической и исступленной чувственностью было далеко до этих нескончаемых душеизлияний, которым я отдавался весь, без остатка. После каждого такого монолога мне казалось, что покоренная гра-

финя вот-вот спустится с небес, и не раз я сплетал руки на груди, думая, что заключаю ее в объятия.

Я был настолько одержим, что часами, как литанию любви, повторял только два слова: Прасковия Лабинская. Находя несказанное очарование в звуках ее имени, я медленно перебирал их, словно жемчужины, или выпаливал горячечной скороговоркой богомольца, впадающего в экстаз от собственной молитвы. Иногда я чертил дорогое сердцу имя на самой красивой веленевой бумаге[27], украшал его буквы каллиграфическими изысками средневековых рукописей, золотыми тенями, лазурными виньетками, изумрудными разводами. Долгие часы, разделявшие мои визиты к графине, я с пылкой кропотливостью и ребяческой дотошностью посвящал этой работе. Больше я ничем не мог заниматься, даже читать. Меня интересовала Прасковия — и только; я не распечатывал письма, приходившие из Франции. Не раз я пытался побороть себя, вспоминал известные всем влюбленным аксиомы обольщения и стратагемы[28], которые пускают в ход вальмоны[29] из Кафе де Пари[30] и донжуаны из Жокей-клуба, но применить их мне не хватало духу, и я досадовал, что нет у меня под рукой, как у стендалевского Жюльена Сореля, пачки посланий, чтобы переписывать их по одному и каждый день отсылать графине[31]. Любовь заполняла меня целиком, я довольствовался ею, ничего не требуя в ответ и не имея ни малейшей надежды, ибо в моих самых смелых мечтах я едва касался губами розовых пальчиков Прасковии. Даже в пятнадцатом веке юный послушник, припавший к подножию алтаря, и преклоненный рыцарь в тяжелых доспехах не испытывали к своей мадонне такого рабского обожания.

Господин Бальтазар Шербонно выслушал Октава с глубоким вниманием, поскольку для него исповедь молодого человека была не просто любовной историей, и сказал, как бы сам себе, когда рассказчик на мгновение умолк: «Да, вот диагноз любви-страсти, любопытной болезни, с которой я столкнулся лишь однажды, в Шандернагоре[32], где юная пария[33] влюбилась в брахмана. Она умерла, бедная девочка, но то была дикарка, а вы, господин Октав, — цивилизованный человек, вас мы вылечим». Закончив это маленькое отступление, врач подал господину де Савилю знак продолжать, сложил ногу, как саранча свою членистую лапку, и подпер коленом подбородок, устроившись в невообразимой для любого другого человека, но, похоже, любимой своей позе.

— Не хочу докучать вам деталями моих тайных страданий, — продолжил Октав, — и перейду к решающей сцене. Однажды, не сумев долее сдерживать настоятельное желание видеть графиню, я пришел раньше обычного. Было душно, надвигалась гроза. Я не нашел госпожу Лабинскую в гостиной. Графиня расположилась под стройными колоннами портика, выходившего на террасу со ступеньками в сад; она приказала вынести туда

пианино, плетеные кресла и канапе. Жардиньерки, полные великолепных цветов — нигде нет таких свежих и таких ароматных цветов, как во Флоренции, — стояли между колоннами и наполняли благоуханием редкие дуновения ветра, долетавшего с Апеннин[34]. В просветах аркады виднелись стриженые тисы и самшиты, над ними возвышались несколько столетних кипарисов, там обитали вычурные мраморные божества в духе Баччо Бандинелли[35] и Амманати[36]. Вдали, над силуэтом Флоренции, вырисовывались округлый купол Санта-Мария-дель-Фьоре[37] и устремленная ввысь квадратная башня Палаццо Веккьо[38].

Графиня в небрежной позе полулежала на тростниковом канапе и никогда еще не казалась мне такой прекрасной. Ее тело, утомленное от жары, утопало, словно тело морской нимфы в белой пене, в просторном пеньюаре из индийского муслина, обшитого сверху донизу оборками, напоминавшими серебристые гребни волн. Стальная черненая брошь из Хорасана[39] скрепляла на груди это платье, легкое, как одежды, что струятся вокруг Ники, завязывающей сандалию[40]. Из рукавов, доходивших до локтей, подобно пестику из чашечки цветка, выглядывали руки; их цвет превосходил чистотой алебастр, из которого флорентийские скульпторы делают копии античных статуй. Широкий черный пояс с длинными концами смело нарушал всю эту белизну. Сочетание черного и белого, напоминавшее о трауре, могло бы навеять печаль, если бы из-под нижней складки муслина не выглядывал задорный носок маленькой черкесской туфельки из синего сафьяна с желтыми рельефными арабесками.

Светлые, будто наполненные воздухом волосы графини открывали чистый лоб и прозрачные виски, образуя своего рода нимб, в котором переливались золотые искорки света.

Рядом с ней, на стуле, трепетала от ветра большая шляпа из рисовой соломки, украшенная такими же черными лентами, как пояс ее платья, и покоилась пара шведских перчаток[41], оставшихся ненадетыми. Увидев меня, Прасковия захлопнула книгу — стихи Мицкевича[42] — и приветливо кивнула. Она была одна — редкое и благоприятное обстоятельство. Я сел напротив, в кресло, на которое она мне указала. На несколько минут воцарилось молчание, которое грозило стать тягостным, но я не мог вспомнить ни одной расхожей фразы, уместной в таких случаях. Мысли путались, волны пламени поднимались от сердца к щекам, а любовь кричала мне: «Не упусти случая!»

Не знаю, что бы я сделал, если бы графиня, угадав причину моего смятения, не приподнялась и не протянула прекрасную руку, как будто желая прикрыть мне рот.

«Ни слова, Октав... Вы любите меня, я знаю, чувствую, верю. И я нисколько не сержусь на вас, ведь мы не вольны в любви. Другие, более жестокосердные, женщины сделали бы вид, что оскорблены, а я вам сочувст-

вую, ибо не могу ответить вам любовью и мне очень грустно служить причиной вашего несчастья. Очень жаль, что вы повстречались со мной, – будь проклят каприз, заставивший меня покинуть Венецию ради Флоренции... Сначала я надеялась, что моя упорная холодность утомит и оттолкнет вас, но настоящему чувству, все признаки которого я читаю в ваших глазах, ничто не помеха. Я не хочу, чтобы моя нежность дала вам повод к напрасным надеждам и мечтам, не принимайте сострадание за поощрение. Ангел с алмазным щитом и сверкающим копьем[43] охраняет меня от всякого соблазна, этот ангел – моя любовь, ибо я обожаю графа Лабинского. Мне выпало счастье обрести страсть в замужестве».

Это признание, столь чистосердечное, доброжелательное и благородно-целомудренное, извергло поток слез из-под моих ресниц, я почувствовал, как у меня в груди лопнула пружина жизни.

Взволнованная Прасковия встала и, повинуясь женской жалости, нежно провела батистовым платком по моим векам.

«Ну же, не плачьте, – промолвила она, – я вам запрещаю. Постарайтесь думать о чем-то другом, представьте, что я навсегда уехала, умерла, забудьте меня. Путешествуйте, работайте, окунитесь в жизнь, ищите утешения в искусстве или любви...»

Я негодующе покачал головой.

«Вы думаете, что будете меньше страдать, продолжая видеть меня? – спросила графиня. – Приходите, я всегда приму вас. Бог учит прощать нашим врагам, так почему же поступать иначе с теми, кто нас любит? Однако мне кажется, что разлука – более надежное средство. Года через два мы сможем пожать друг другу руки безо всякого риска... Для вас», – добавила она, попытавшись улыбнуться.

На следующий день я уехал из Флоренции, но ни учение, ни путешествия, ни время не избавили меня от страданий, я знаю, что погибаю. Не мешайте мне, доктор!

– И с тех пор вы не видели графиню? – Голубые глаза доктора странно блеснули при этом вопросе.

– Нет, – ответил Октав, – но сейчас она в Париже. – И он протянул господину Бальтазару Шербонно карточку с выгравированными на ней словами: «Графиня Прасковия Лабинская принимает по четвергам».

Глава III

В те годы изредка, но все же попадались прохожие, которые, стремясь избежать облаков пыли и щегольского шума Елисейских полей, предпочитали прогуляться от оттоманского посольства[1] в сторону Елисейского

дворца[2] по уединенному тенистому проспекту Габриеля, окаймленному с одной стороны деревьями, а с другой — садами. И среди этих любителей тишины мало нашлось бы таких, кто не остановился бы, заглядевшись с восхищением, смешанным с завистью, на редкой красоты особняк, где, казалось, богатство в виде исключения живет под одной крышей со счастьем.

Кому не случалось замедлить шаг у решетки парка, засмотреться на утопающее в пышной зелени белое здание и удалиться с тяжелым сердцем, как будто за этими стенами укрылась мечта всей жизни? Другие дома, напротив, своим видом навевают нескончаемую грусть. Тоска, запустение, отчаяние оставляют на их фасадах серый налет и сушат полуголые верхушки деревьев; облупившиеся статуи зарастают мхом, цветы увядают, вода в фонтанах зеленеет, дорожки зарастают, несмотря на все старания садовника, а птицы, если они еще не улетели, смолкают.

Сады, расположенные в конце проспекта Габриеля, отделялись от него канавой и тянулись более или менее широкими полосами до особняков, парадные фасады которых выходили на улицу Фобур-Сент-Оноре[3]. Сад, окружавший упомянутый особняк, заканчивался у канавы насыпью, над которой высилась ограда из крупных необработанных камней, выбранных за любопытную неправильность их формы; шероховатые и неровные, эти стены подобно кулисам обрамляли свежий зеленый пейзаж, заключенный между ними.

Опунция, алый ваточник, зверобой, камнеломка, цимбалярия, очиток, альпийский горицвет, ирландский плющ, укоренившись в щелях кладки и уцепившись за малейшие ее выступы, прикрывали зеленью самых разных форм и оттенков строгий фон камней — живописец и тот не нашел бы более выгодного переднего плана для своего полотна.

Боковые стены этого земного рая прятались под вьющимися растениями: кирказон, синий страстоцвет, колокольчик, жимолость, гипсолюбка, китайская глициния, греческий обвойник сплетались своими усиками, корнями-прицепками, шипами и стеблями в сплошной живой занавес; счастье не желает жить в заточении, и благодаря этой зелени сад походил скорее на полянку в лесу, чем на клочок земли, со всех сторон теснимый городом.

Немного отступив от каменных оград, живописными группами стояли деревья с пышной листвой контрастных оттенков: лаковое дерево, канадская туя, американский клен, зеленый ясень, белая ива и южный каркас, над которыми возвышались две или три лиственницы. Между деревьями простирался идеально ровный газон из райграса;[4] тонкий, мягкий и шелковистый, словно бархат королевской мантии, и такого изумрудного цвета, какого добиваются только в английских усадьбах; естественный ковер, на котором так любит покоиться глаз и который боится помять нога;

растительный покров, где днем дозволено резвиться на солнце ручной лани с маленькой герцогской дочкой в кружевном платье, а ночью при свете луны проскользнуть какой-нибудь Титании из Вест-Энда под руку с Обероном[5], чье имя внесено в Книгу пэров и баронов[6].

Искусственный дождик поддерживал траву в свежем и влажном состоянии даже в самые засушливые дни лета. Вокруг коротко стриженного газона желтой лентой бежала аллея из песка, тщательно просеянного, дабы, не дай бог, осколок раковины или острый камешек не поранили аристократические ножки, оставлявшие на нем свои нежные отпечатки.

В то время, когда происходила эта история, по краям газона взрывался цветочный фейерверк из пышной герани, чьи алые соцветия пылали на фоне темной земли.

Завершалась перспектива изящным фасадом особняка. Стройные колонны ионического ордера[7], поддерживавшие аттик[8], каждый угол которого поверху украшали мраморные скульптурные группы, придавали дому вид греческого храма, перенесенного сюда по капризу миллионера, и подправляли, навевая мысли о поэзии и искусстве, все, что могло показаться чрезмерным в этом великолепии. Между колоннами виднелись шторы в широкую розовую полоску. Почти всегда опущенные, они подчеркивали окна, которые распахивались в портик, подобно стеклянным дверям.

Когда своенравное небо Парижа соизволяло натянуть позади этого маленького палаццо лазурное полотнище, особняк так выгодно смотрелся на фоне зеленых куп, что его можно было принять за временное пристанище королевы фей[9] или за увеличенную картину Барона[10].

По бокам особняка выдавались в сад две оранжереи; их стеклянное покрытие между позолоченными рамами переливалось на солнце, подобно бриллиантам, создавая для множества редких и ценных экзотических растений иллюзию их родного климата.

Пройдись какой-нибудь поэт по проспекту Габриеля при первых проблесках Авроры, он услышал бы, как соловей выводит последние трели своего ноктюрна, да увидел бы, как дрозд в желтых тапочках прогуливается, будто у себя дома, по аллее сада. Зато ночью, когда стихает шум экипажей, возвращающихся из Оперы, тот же поэт смутно различил бы белую тень под руку с красивым молодым человеком и вернулся бы в свою тесную мансарду со смертельной тоской на сердце.

Именно здесь, как читатель уже догадался, жила с некоторых пор графиня Прасковия Лабинская и ее муж граф Олаф Лабинский, вернувшийся с Кавказа после победоносной кампании, где он если и не сражался врукопашную с мистическим и неуловимым Шамилем[11], то наверняка имел дело с самыми фанатичными и преданными мюридами[12] знаменитого имама. Он избежал пули, как избегают их только отчаянные смельчаки, устрем-

ляясь навстречу опасности, а кривые дамасские сабли диких воинов ломались о его грудь, не причиняя ей вреда. Отвага служила ему неуязвимой броней. Граф Лабинский обладал той бесшабашной храбростью, что свойственна только славянам, которые любят риск как таковой и о которых можно сказать словами одной старинной скандинавской песни: «Они убивают и погибают смеясь!»[13]

Упоение, с каким вновь обрели друг друга супруги, для которых брак был не чем иным, как страстью, дозволенной Богом и людьми, смог выразить только Томас Мур в своей «Любви ангелов»![14] Каждой капле чернил с нашего пера следовало бы превратиться в частицу света, а каждому слову — высохнуть на бумаге, пылая и благоухая, подобно крупице ладана. Как описать две души, слитые воедино, похожие на две капли росы, которые, скатившись по лепестку лилии, встретились, смешались, поглотили друг друга и превратились в одну неделимую жемчужину? Поскольку счастье — редкий гость в этом мире, человек не подумал об изобретении слов, способных его передать, тогда как слова для изображения душевных и физических страданий занимают бесчисленные колонки в словарях всех языков.

Олаф и Прасковия полюбили друг друга еще детьми, сердце каждого из них билось при звуках лишь одного-единственного имени, почти с колыбели они знали, что будут принадлежать друг другу, — все остальное для них не существовало. Можно сказать, в них воссоединились половинки платоновского андрогина, искавшие друг друга после первоначального разъединения[15], они образовали ту двуединость, которая являет собой полную гармонию, и так, бок о бок, шли, точнее летели, по жизни в едином порыве, словно два голубя, влекомых, как прекрасно сказал Данте, одной волей[16].

Дабы ничто не омрачало это блаженство, огромное богатство защищало его, подобно золотому куполу. Стоило этой лучезарной паре появиться, и нищие забывали о своих страданиях и убожестве, а слезы высыхали. Олафу и Прасковии был свойственен тот благородный эгоизм, каковым наделены все счастливые люди, в своем свечении они не были глухи к чужой боли.

С тех пор, как политеизм[17] унес с собой молодых богов, этих улыбчивых гениев и юных небесных созданий с их абсолютно совершенными, гармоничными и идеально чистыми формами, с тех пор, как античная Греция перестала петь гимн красоте строфами Пароса[18], человек жестоко злоупотребляет данным ему дозволением быть уродливым и, хоть создан по образу и подобию Божьему, представляет Бога на земле довольно скверно. Но граф Лабинский сим дозволением не воспользовался: немного вытянутый овал лица, тонкий, изящный нос, четко очерченные губы, подчерк-

нутые светлыми, лихо закрученными усами, слегка выдающийся подбородок с ямочкой и черные глаза — пикантная особенность, притягательная странность — все это делало его похожим на одного из ангелов-воителей, Михаила или Рафаила[19], которые в золотых доспехах борются с демоном. Он был бы слишком красив, если бы не мужественный блеск в его темных зрачках и загар, которым покрыло его азиатское солнце.

Граф был среднего роста, худощав, строен, нервичен, однако под видимой хрупкостью он прятал стальные мускулы. Когда по случаю какого-нибудь посольского бала Олаф надевал костюм польского вельможи, шитый золотом, сверкающий бриллиантами и усыпанный жемчугом, он проходил между гостями, подобно сияющему видению, вызывая зависть мужчин и восхищение женщин, к которым, благодаря Прасковии, сделался совершенно равнодушным. Нет нужды добавлять, что граф обладал не только внешними достоинствами. Он также был наделен и умом, и сердцем. Добрые феи щедро одарили его в колыбели, а злая колдунья, которая все портит, в тот день пребывала в исключительно хорошем настроении[20].

Вы понимаете, что с таким соперником Октав де Савиль тягаться не мог и что он правильно поступил, решив спокойно умереть на подушках своего дивана, несмотря на надежду, которую пытался внушить его сердцу фантасмагорический доктор Бальтазар Шербонно. Забыть Прасковию было единственным, но невозможным лекарством, увидеть ее снова — для чего? Октав чувствовал, что воля молодой женщины никогда не ослабеет, а сердце останется нежным, но неумолимым, сочувствующим, но холодным. Он опасался, как бы его плохо зарубцевавшиеся раны вновь не открылись и не начали кровоточить при виде той, которая невольно убивала его, и при этом ни в чем не винил ее, свою возлюбленную и свою убийцу!

Глава IV

Два года прошло с тех пор, как графиня Лабинская прервала признание в любви, которое считала недопустимым. Октав, низвергнутый с высот своей мечты, бежал из Флоренции. Клюв черной тоски терзал его печень, но юноша никак не давал о себе знать Прасковии. Единственное слово, которое он хотел бы ей написать, было под запретом. Не раз обеспокоенная графиня вспоминала своего бедного обожателя: неужто ему удалось ее забыть? Она желала, чтобы это было так, и в то же время, несмотря на полное отсутствие кокетства, свойственное всем небожителям, знала, что такое невозможно. Ведь в глазах Октава пылал огонь неугасимой страсти, в этом графиня не сомневалась. Любовь и боги узнают друг друга с перво-

го взгляда: мысль об Октаве, как мимолетное облачко, омрачало ясную лазурь счастья графини и внушало ей легкую грусть, подобную той, что испытывают ангелы, когда на небесах вспоминают о земле. Ее прелестная душа страдала оттого, что где-то есть некто, кого она сделала несчастным. Но чем может помочь звезда, сияющая на вершине небосвода, безвестному пастырю, в отчаянии воздевающему к ней руки? Да, в далеком прошлом Феба в серебряных лучах спускалась с небес к Эндимиону[1], но она не была замужем за польским графом.

Переехав в Париж, графиня Лабинская послала Октаву то вежливое приглашение, которое доктор Бальтазар Шербонно рассеянно вертел между пальцами. Не дождавшись визита, она, хоть и желала Октаву выздоровления, подумала в порыве невольной радости: «Он все еще любит меня!» И однако, то была женщина ангельской чистоты, целомудренная, как девственный снег на самой высокой вершине Гималаев.

Даже у Господа Бога, дабы развеять скуку, которую наводит вечность, есть одна отрада — услышать, как бьется преданное ему сердце крохотного жалкого создания, обреченного на смерть на хрупком шарике, затерянном в пространстве. Прасковия была не строже Бога, а посему граф Олаф не мог винить ее за невольную слабость души.

— Я внимательно выслушал ваш рассказ, — сказал доктор Октаву, — и он убедил меня, что всякая надежда с вашей стороны была бы несбыточной. Никогда графиня не ответит на вашу любовь.

— Как видите, господин Шербонно, я прав, не пытаясь цепляться за жизнь, которая покидает меня.

— Я имел в виду, что нет надежды на обычные средства, — продолжил доктор, — однако есть еще силы оккультные[2]. Современная медицина отрицает их существование, но они испокон веков используются в тех далеких странах, которые невежественная цивилизация называет варварскими. Там, еще с сотворения мира, человек неразрывно слит с живой природой и знает секреты, которые в Европе считают утраченными, ибо кочевые племена, позднее превратившиеся в народы, не смогли унести их с собой. Эти секреты сначала передавались от человека к человеку в таинственной глубине храмов, затем их записали на священных языках, непонятных для непосвященных, высекли иероглифами на стенах пещер Эллоры[3]. И по сей день на склонах горы Меру, откуда берет начало Ганг[4], у подножия белокаменной лестницы священного города Бенарес[5], в глубине разрушенных пагод Цейлона вы можете встретить столетних брахманов, разбирающих по буквам неизвестные манускрипты, йогов, неустанно повторяющих один и тот же слог «*ам*»[6] и не замечающих, что небесные птахи свили гнезда в их волосах, а также факиров, со следами от железных когтей Джаггернау-

та[7] на плечах, — все они владеют этими забытыми тайнами и творят чудеса, когда соизволяют пустить свои знания в ход.

Наша Европа, всецело поглощенная материальными интересами, и не подозревает, каких высот духа достигли индийские аскеты. Полное воздержание, медитации, пугающие своей отрешенностью, тяжелейшие посты, соблюдаемые годами, так ослабляют их тела, что, случись вам увидеть их, сидящих на корточках под раскаленным солнцем между пылающими курильницами, с длинными нестриженными ногтями, вросшими в ладони, вы бы решили, что это египетские мумии, покинувшие свои гробницы и скорчившиеся в обезьяньих позах. Их человеческая оболочка становится лишь куколкой, которую душа, сия бессмертная бабочка[8], может по своей воле скинуть, подобно платью, или снова надеть. И пока их тощее тело остается здесь, неподвижное, ужасное на вид, словно дух ночи, застигнутый светом дня, их разум, свободный и независимый, устремляется на крыльях видений к неизмеримым высотам, к сверхъестественным мирам. Им являются странные образы и странные сны, они переходят от экстаза к экстазу[9] вслед за колебаниями, которые совершают минувшие годы в океане вечности, они преодолевают бесконечность во всех направлениях, присутствуют при сотворении мироздания, при рождении богов и их метаморфозах, в их памяти всплывают знания, погребенные под вулканической лавой и водами потопов, забытые связи между человеком и стихиями. В этом чудно́м состоянии они бормочут слова на мертвых языках, на которых уже тысячи лет не говорит ни один из народов, населяющих земной шар, они вновь постигают первоначальное слово, слово, которое когда-то породило свет во тьме: их принимают за безумных, а они почти равны богам!

Столь неожиданная преамбула пробудила любопытство Октава. Он не спускал удивленных и вопрошающих глаз с господина Бальтазара Шербонно, ибо при всем желании никак не понимал, к чему тот клонит и какое отношение индийские аскеты имеют к его любви к Прасковии Лабинской.

Доктор, прочитав мысли Октава, взмахнул рукой, как бы отметая все вопросы, и сказал:

— Терпение, мой дорогой пациент, еще немного, и вы узнаете, в чем смысл и польза сего многословного отступления.

Очень долго, стремясь постичь, что такое разум и душа, я со скальпелем в руках исследовал трупы, распростертые на мраморных столах анатомических театров. Но ответа не добился: там, где я искал жизнь, трупы являли только смерть. И я задумал, — и замысел мой был так же дерзок, как замысел Прометея, поднявшегося на небо, чтобы похитить огонь[10], — так вот я задумал найти и уловить душу, изучить и, так сказать, препари-

ровать ее. Я отбросил следствие ради причины и преисполнился глубокого презрения к материалистической науке, чья пустопорожность сделалась для меня очевидной. Я решил, что воздействовать на эти расплывчатые формы, на случайные и мгновенно распадающиеся сочетания молекул следует при помощи грубого эмпиризма[11]. Прибегнув к магнетизму, я пробовал разрушить связи между разумом и его оболочкой. Очень скоро в моих действительно чудесных опытах я превзошел Месмера[12], Делона[13], Максвелла[14], Пюисегюра[15], Делёза[16] и прочих, но мои успехи не удовлетворяли меня. Каталепсия[17], сомнамбулизм[18], телепатия и ясновидение — я в совершенстве овладел этими фокусами, необъяснимыми для простых людей, но простыми и понятными для меня. Я поднялся еще выше: от озарений Кардано[19] и святого Фомы Аквинского[20] я перешел к нервным кризам пифий[21], я раскрыл тайны греческих эпоптов[22] и древнееврейских пророков; я последовательно проник в тайны Трофония и Эскулапа[23], всякий раз убеждаясь, что за чудесами, которые о них рассказывают, кроется концентрация или экспансия души[24], спровоцированная жестом, взглядом, словом или каким-то другим неведомым мне способом. Я повторил одно за другим все чудеса Аполлония Тианского[25].

Однако мои научные мечты не сбылись. Душа по-прежнему ускользала от меня, я чувствовал ее, слышал, воздействовал на нее, сковывал или, наоборот, возбуждал ее способности, но между мной и ею по-прежнему стояла оболочка из плоти, которую я не мог устранить так, чтобы душа при этом не отлетела. Я походил на птицелова, который держит птичку в сачке, но не осмеливается его приподнять, боясь, что крылатая добыча исчезнет в небесах.

Я отправился в Индию, надеясь найти разгадку в стране древней мудрости. Я выучил санскрит[26] и пракрит[27], язык ученых и язык толпы, я мог разговаривать с пандитами и брахманами. Я пересекал джунгли, где рычит тигр, шагал вдоль священных озер, воды которых вспарывают спинами крокодилы; продирался сквозь непроходимые дебри с баррикадами лиан, вспугивая стаи летучих мышей и тучи обезьян. Я сталкивался на повороте тропинки нос к носу со слоном, напуганным диким зверем, — и все ради того, чтобы добраться до хижины какого-нибудь знаменитого йога, до муни[28], и дни напролет я сидел рядом с ним, на одной шкуре газели, и запоминал еле уловимые звуки, что шептали в экстазе его черные, потрескавшиеся губы. Таким образом, я усвоил всемогущественные созвучия, всесильные заклинания, слоги Слова, которое было в начале[29].

Я изучил символические скульптуры во внутренних, недоступных для профанов[30], помещениях пагод, куда проник единственно благодаря одеянию брахмана, я прочел все, что отыскал, о разных космогонических мис-

териях[31], изучил сотни легенд об исчезнувших цивилизациях, постиг смысл атрибутов, которые держат эти многорукие гибридные божества[32], пышные, как сама природа Индии. Я медитировал над диском Брахмы[33], над лотосом Вишну[34], над коброй Шивы, синего Бога[35]. Казалось, Ганеша[36], помахивая своим толстокожим хоботом, кося маленькими глазками и хлопая длинными ресницами, сочувствует моим усилиям и подбадривает меня. Все эти чудовищные создания говорили мне на языке камня: «Мы только формы, массой движет дух».

Однажды я поделился своим замыслом со священником из храма Тирунамалая[37], и он поведал мне о великом отшельнике с острова Элефанта[38], который достиг того, о чем я мечтал. Святого звали Брахма-Логум[39], и я нашел его в пещере, где он сидел в полной неподвижности, прислонившись спиной к камням. Его прикрывала лишь тонкая циновка. Невероятно худой, он прижал колени к подбородку, обхватив их руками, и закатил глаза так, что оставался виден лишь белок. Меж сморщенных губ торчали пожелтевшие зубы, сухая кожа плотно обтягивала скулы; отброшенные назад волосы свисали жесткими прядями, подобно пучкам травы из расщелин скал, его борода разделялась надвое и почти касалась земли, а длинные ногти загибались, будто когти орла.

Солнце высушило и вычернило его смуглую от природы кожу, придав ей вид базальта. Эта скорченная темная фигура походила на канопу[40], и поначалу я подумал, что Брахма-Логум мертв. Я тряс его за несгибающиеся, словно у каталептика, руки, выкрикивал громко, как только мог, прямо ему в ухо те заветные слова, по которым он должен был догадаться, что я из посвященных, но старец не шелохнулся, даже веки его оставались неподвижны. Отчаявшись, я пошел было прочь, и вдруг услышал странное потрескивание: голубоватая искра пролетела перед моими глазами со скоростью молнии, на долю секунды задержалась возле приоткрытых губ отшельника и исчезла.

Брахма-Логум, казалось, очнулся от летаргического сна: зрачки вернулись на положенное место, он посмотрел на меня человеческим взглядом и ответил на все мои вопросы. «Что ж, твое желание исполнилось: ты видел душу. Я добился того, что могу отделять мою душу от тела, когда захочу, она покидает меня и возвращается светящейся пчелкой[41], доступной взорам посвященных. Я так долго голодал, молился, медитировал, так жестоко умерщвлял мою плоть, что сумел развязать земные узы, удерживающие мою душу, и Вишну, бог десяти воплощений, открыл мне магическое слово, которое ведет ее, душу, от Аватары к Аватаре[42] через различные формы. Если, после священных жестов, я произнесу это заклинание, твоя душа отлетит, чтобы переселиться в человека или животное, на которых я укажу. Я передам тебе этот секрет, которым на всем белом свете никто,

кроме меня, не владеет. Я рад, что ты пришел, ибо я спешу раствориться в лоне несотворенного, как капля воды в море». И отшельник прошептал слабым, точно последний вздох умирающего, голосом, несколько слогов, от которых все кости мои потряс тот самый трепет, что упоминает Иов[43].

— Что вы хотите сказать, доктор? — вскричал Октав. — Я не осмеливаюсь проникнуть в пугающую глубину вашей мысли.

— Я хочу сказать, — спокойно продолжил господин Бальтазар Шербонно, — что я не забыл магическое заклинание моего друга Брахма-Логума и что графиня Прасковия Лабинская окажется невероятно проницательна, если узнает душу Октава де Савиля в теле Олафа Лабинского.

Глава V

Слава Бальтазара Шербонно, врача и чудотворца, начала распространяться по Парижу. Присущие ему странности, подлинные или мнимые, сделали его модным. Но, нисколько не заботясь о том, что называется поиском клиентуры, он старался отделаться от неинтересных ему больных: то просто указывал им на дверь, то давал немыслимые рецепты, то предписывал невыполнимые диеты. Со спесью и презрением отправляя к своим коллегам тривиальные воспаления легких, банальные энтериты и вульгарный брюшной тиф, он брался лишь за смертельные недуги и в этих безнадежных случаях добивался поистине непостижимых исцелений. Стоя рядом с постелью умирающего, он совершал магические пассы над чашей с водой, и, после того как несколько капель его напитка попадало в разжатые челюсти, тела́, сведенные агонией, негнущиеся и окоченевшие, полностью готовые к погребению, вновь обретали гибкость и здоровый цвет, и люди приподнимались на смертном одре, озираясь вокруг удивленными глазами, уже привыкшими к потусторонним теням. За это его прозвали врачевателем мертвых, или воскресителем. Почти всегда с ним трудно было договориться, нередко он отказывался от огромных денег, которые ему предлагали страдающие опасным недугом богачи. Он соглашался вступить в схватку со смертью, только если его трогала боль матери, умоляющей о спасении единственного ребенка, отчаяние влюбленного, просящего о милости к обожаемой возлюбленной, или же если он сам полагал, что жизнь, находящаяся под угрозой, принесет пользу поэзии, науке и прогрессу. Так он спас очаровательного младенца, которому круп сжал горло железными пальцами, прелестную девушку, больную туберкулезом в последней стадии, поэта, ставшего добычей delirium tremens*, а также пора-

* белой горячки (*лат.*).

женного кровоизлиянием в мозг изобретателя, который едва не унес в могилу секрет своего открытия. В иных ситуациях доктор Шербонно говорил, что нельзя противиться природе, что каждая смерть имеет свой высший смысл и что, мешая ей, мы рискуем нарушить порядок мироздания. Как видите, Бальтазар Шербонно был самым парадоксальным врачевателем на свете и сделался в Индии необычайно эксцентричным. Однако его слава как магнетизера[1] превзошла его известность как врача. В присутствии горстки избранных он дал несколько сеансов, о которых рассказывали как о чудесах, способных перевернуть все представления о возможном и невозможном и оставивших далеко позади самого Калиостро[2].

Доктор поселился на первом этаже особняка на улице Регар[3]. Комнаты располагались по старинке, анфиладой; высокие окна выходили в сад, заросший большими деревьями с черными стволами и чахлой зеленой листвой. Хотя стояло лето, мощные печи выдыхали в обширные залы из своих устьев, забранных латунными решетками, пылающие смерчи и поддерживали температуру в тридцать пять градусов тепла, так как господин Бальтазар Шербонно, привыкший к жаркому климату Индии, дрожал под нашими бледными светилами, подобно тому, как путешественник, вернувшийся с истоков Голубого Нила в Центральной Африке, трясется от холода в Каире[4]. Он выезжал исключительно в закрытом экипаже, зябко кутаясь в шубу из сибирского песца и грея ноги о жестяной бак с кипятком.

Из мебели в комнатах были только низкие диваны, обитые плотной тканью, расписанной изображениями сказочных слонов и птиц, да резные этажерки, с варварской наивностью раскрашенные и позолоченные уроженцами Цейлона. Тут и там стояли японские вазы с экзотическими цветами. По всей анфиладе расстилался один из тех мрачных ковров с черно-белыми разводами, что ткут в качестве наказания заключенные тхуги[5] и при этом, кажется, используют в качестве утка не пеньку, а те самые веревки, которыми они душили своих жертв. В углах на подставках сидели, скрестив ноги, несколько индийских идолов из мрамора и бронзы с большими миндалевидными глазами, с кольцами в носу, с полными улыбающимися губами, с жемчужными ожерельями, спускающимися до пупка, и загадочными предметами в руках. На стенах висели миниатюры, выполненные гуашью каким-нибудь художником из Калькутты или Лакхнау и представлявшие девять аватар-превращений, уже свершенных Вишну:[6] в рыбу, в черепаху, в вепря, во льва с человеческой головой, в карлика, в Парашураму, сражающегося с тысячеруким великаном Карташусириаргуненом[7], в Раму[8], в Кришну — чудесного младенца, в котором фантазеры видят индийского Иисуса[9] и в Будду[10], поклоняющегося великому богу Махадеве[11]. На последней, десятой, миниатюре посреди молочного моря на змее с пятью головами, сомкнувшимися над ним в виде балдахина, был изображен Виш-

ну, спящий в ожидании часа последнего воплощения в белого крылатого коня, который уронит свое копыто в мироздание, что приведет к концу света[12].

Господин Бальтазар Шербонно расположился в самой дальней комнате, натопленной еще сильнее, чем остальные, посреди санскритских книг, нацарапанных шилом на тонких деревянных табличках, которые соединялись между собою с помощью шнурка, продернутого сквозь специальные дырочки, и таким образом больше походили на жалюзи, чем на книги в понимании европейцев[13]. Посередине комнаты рядом с месмеровским баком[14], в центр которого был погружен металлический штырь, а по бокам торчали многочисленные железные стержни, возвышалась тревожным и громоздким силуэтом электрическая машина[15] с заполненными золотыми стружками бутылками и со стеклянными дисками, которые вращались с помощью рукояток. Господин Шербонно вовсе не был шарлатаном и не стремился к внешним эффектам, однако всякому, кто входил в его странное убежище, казалось, что он попал в средневековую лабораторию алхимика.

Граф Олаф Лабинский прослышал о творимых доктором чудесах и, будучи человеком легковерным, сгорал от любопытства. Славянские народы отличаются врожденной верой в сверхъестественное, которую порой не может подавить даже самое широкое образование, а тут еще достойные уважения свидетели, побывавшие на сеансах, рассказывали такое, во что, при всем доверии к рассказчику, невозможно было поверить, не увидав собственными глазами. В общем, граф решил навестить чудотворца.

Он прошел в жарко натопленные апартаменты на улице Регар, и его как будто охватило зыбкое пламя; вся кровь прилила к голове, вены на висках вздулись; зной, царивший вокруг, душил его, лампы, в которых курились ароматические масла, большие цветы с острова Ява, качавшие огромными соцветиями, словно кадилами, пьянили дурманящими испарениями. Пошатываясь, он сделал несколько шагов к господину Шербонно, скрючившемуся на диване в одной из тех странных и любимых санньяси[16] и факирами поз, какие можно увидеть на выразительных рисунках князя Салтыкова, собственноручно проиллюстрировавшего свою книгу о путешествии по Индии[17]. Взглянув на острые углы его конечностей, прорисовывавшиеся под складками одеяний, всякий подумал бы, что это не человек, а паук, который застыл в центре паутины, поджидая добычу. При появлении графа лазурные глаза доктора вспыхнули фосфоресцирующим светом в центре орбит, позолоченных желтухой, и тут же потухли, как бы покрывшись бельмом. Доктор сразу оценил состояние Олафа, протянул к нему руку и двумя-тремя пассами окружил атмосферой весны, вызвав в сознании ощущение свежести.

— Теперь вам лучше? Ваши легкие, привычные к бризам Балтики, еще холодным после прогулки по вечным снегам полюса, должно быть, задыхались, будто кузнечные мехи, в этом палящем воздухе, в котором я, к сожалению, мерзну, я, жареный-прожаренный и прокаленный на солнцепеке.

Граф Олаф кивнул в знак того, что больше не страдает от жары.

— Хорошо... — Доктор явно был настроен благодушно. — Вы, конечно, прознали о моих фокусах и хотите узреть их своими глазами. О, я сильнее Комю[18], Конта[19] и Боско[20]!

— Мое любопытство не должно обижать вас, — отвечал граф, — я с искренним уважением отношусь к вам, одному из царей науки.

— Я не ученый в обычном понимании этого слова; однако, изучая некоторые явления, которыми пренебрегает наука, я овладел не используемыми ею оккультными силами и совершаю то, что кажется чудесным, а на самом деле естественно. В погоне за душой я не раз настигал ее, и она открыла мне то, что я научился применять, и доверила слова, которые я запомнил. Разум есть все, существование материи — только видимость; вселенная, возможно, лишь видение Бога или Слово, превратившееся в бесконечность. Я леплю по моему хотению рубище тела, останавливаю или возрождаю жизнь, уничтожаю пространство, искореняю боль, не прибегая к хлороформу, эфиру или любому другому обезболивающему. Вооруженный волей, этой электрической энергией разума, я оживляю или испепеляю. Мои глаза не знают препятствий, мой взгляд проникает во все; я отчетливо вижу лучи мысли, и как солнечный спектр можно спроецировать на белый экран, так я могу пропустить чужие мысли сквозь мою невидимую призму и заставить их отразиться на белой ткани моего мозга. Но даже все это — ничто по сравнению с чудесами, которые совершают некоторые индийские йоги, достигшие высшей ступени просветления. Мы, европейцы, слишком поверхностны, слишком рассеянны, слишком мелки, мы слишком любим нашу тленную оболочку, чтобы широко распахнуть окна в вечность и бесконечность. Тем не менее я достиг некоторых впечатляющих результатов. — Доктор Бальтазар Шербонно сдвинул кольца тяжелой портьеры, висевшей на металлическом карнизе, и открыл некое подобие алькова, отгороженного в глубине залы. — Судите сами.

В неверном свете спиртовки, горевшей на бронзовом треножнике, граф Олаф Лабинский увидел устрашающее зрелище, которое заставило его содрогнуться, несмотря на всю его отвагу. На столе из черного мрамора лежало тело молодого человека, обнаженное до пояса, неподвижное, точно труп; из его груди, пронзенной стрелами, как тело святого Себастьяна, не стекало ни одной капли крови;[21] его можно было принять за картину, изображающую убийство, на которой отверстия ран забыли окрасить киноварью.

«Этот странный доктор, — подумал Олаф, — наверное, поклонник Шивы, и он принес жертву своему идолу».

— О, не подумайте, что он страдает! Пронзайте его безбоязненно, ни один мускул не дрогнет на его лице. — И доктор, словно булавки из клубка, одну за другой вынул стрелы из груди молодого человека.

Несколько быстрых движений руками освободили пациента от электрического плена, и юноша очнулся с блаженной улыбкой на губах, как бы пробудившись от счастливейшего сна. Господин Бальтазар Шербонно жестом отпустил его, молодой человек встал и удалился через маленькую дверь в деревянной стене, которой был окружен альков.

— Я мог бы отрезать ему руку или ногу, и он ничего не заметил бы, — сказал доктор, уложив складки своего лица в подобие улыбки. — Я не делаю ничего такого, потому что еще не умею созидать, а человек в этом отношении слабее ящерицы и не обладает достаточно мощными силами, чтобы восстанавливать отнятые у него члены. Да, я не умею созидать, но зато я умею возвращать молодость.

Доктор приподнял вуаль, которая укрывала пожилую женщину, сидевшую в кресле рядом с черным мраморным столом. Женщина спала, погрузившись в глубокий гипнотический сон. Ее черты, когда-то, наверное, красивые, увяли, разрушительная работа времени читалась на ее руках, плечах и груди. Доктор на несколько минут сфокусировал на ней взгляд своих пронзительных синих глаз. Искаженные линии выровнялись и окрепли, контуры груди вновь обрели девственную чистоту, белая атласная плоть наполнила складки тощей шеи, щеки округлились и покрылись, словно персики, пушком свежей юности, распахнулись сияющие, полные жизни глаза; под маской старости, снятой, как по волшебству, открылись давно исчезнувшие черты красивой молодой женщины.

— Думаете, где-то забил источник молодости? — спросил доктор графа, пораженного этим превращением. — Лично я в это верю, ибо человек ничего не изобретает, каждая его мечта — это или пророчество, или воспоминание. Но забудем о форме, мгновенно преображенной по моей воле, давайте лучше обратимся к юной девушке, которая спокойно спит в этом углу. Она знает больше, чем пифии[22] или сивиллы[23]. Вы можете отправить ее в один из ваших богемских замков и спросить, что спрятано в вашем самом секретном тайнике, — она ответит, так как ее душе нужна всего одна секунда, чтобы проделать это путешествие. На самом деле в этом нет ничего удивительного, поскольку электрический заряд преодолевает за то же время семьдесят тысяч лье[24], а электричество для мысли — то же, что фиакр для пассажира. Дайте ей руку, чтобы между вами установилась связь, вам не нужно формулировать вопрос, она прочтет его в ваших мыслях.

Девушка вялым, монотонным голосом призрака ответила на мысленный вопрос графа:

– В кедровой шкатулке находится кусок земли, покрытый тонким слоем песка, на котором виднеется отпечаток маленькой ножки.

– Она угадала? – небрежным тоном поинтересовался доктор, полностью уверенный в непогрешимости своей сомнамбулы.

Яркий румянец залил щеки графа. Действительно, в самом начале их с Прасковией любви он снял с одной из аллей парка ее след и хранил, как реликвию, на дне изящной шкатулки, инкрустированной серебром и перламутром, крохотный ключик от которой он носил на шее, подвесив на венецианскую цепочку.

Господин Бальтазар Шербонно заметил смущение графа, но, будучи добродушным человеком, не стал его ни о чем расспрашивать, а подвел к столу, на котором стояла чаша с водой, чистой как бриллиант.

– Вы, несомненно, слышали о волшебном зеркале, в котором Мефистофель показывал Фаусту образ Елены[25]. И хотя под моими шелковыми чулками нет конского копыта, а на шляпе не торчат петушиные перья, я могу угостить вас этим невинным чудом. Наклонитесь к чаше и мысленно сосредоточьтесь на человеке, которого хотите увидеть, живом или мертвом, близком или далеком, – он явится по вашему зову с другого конца света или из глубины прошлого.

Граф склонился над чашей; вскоре под его взглядом вода заколыхалась, помутнела, как если бы в нее влили капельку эссенции, а по краям образовался переливающийся всеми цветами радуги ободок, обрамляя картину, которая уже проступала сквозь белесое облачко.

Туман рассеялся. Молодая женщина в кружевном пеньюаре с глазами цвета морской волны, с золотыми вьющимися волосами и прекрасными руками, которые, как белые бабочки, небрежно порхали над клавиатурой слоновой кости, появилась, словно в зеркале, под слоем воды, снова ставшей прозрачной. Ее облик, казалось, был запечатлен кистью столь совершенной, что все художники умерли бы от зависти: то была Прасковия Лабинская, подчинившаяся, помимо своей воли, страстному призыву графа.

– А теперь перейдем к более любопытным вещам. – Доктор взял руку графа и приложил ее к одному из железных стержней месмеровского бака.

Олаф, едва коснувшись заряженного магнетизмом металла, упал как громом пораженный.

Доктор подхватил его, поднял, словно перышко, уложил на диван, дернул сонетку и приказал слуге, возникшему в дверях:

– Поезжайте за господином Октавом де Савилем.

Глава VI

В тихом дворике раздался стук подъехавшей кареты, и вскоре перед доктором предстал Октав. Он застыл в изумлении, когда господин Шербонно показал ему графа Олафа Лабинского, который лежал на диване словно мертвый. Октав было подумал, что произошло убийство, и на несколько мгновений онемел от ужаса, но, приглядевшись внимательнее, заметил, как едва уловимое дыхание приподнимало и опускало молодую грудь спящего графа.

— Вот, — сказал доктор, — ваш маскарадный костюм готов, правда, надеть его несколько труднее, чем домино, взятое напрокат у Бабена;[1] но ведь Ромео, взбираясь на веронский балкон, не думает о том, что может свернуть себе шею, он знает, что в ночной тиши его ждет несравненная Джульетта, а графиня Лабинская, несомненно, стоит дочери Капулетти[2].

Октав, в смятении от невероятности происходящего, ничего не отвечал, он не спускал глаз с графа, чья голова, слегка откинутая назад, покоилась на подушке. В этом положении граф Олаф походил на изваяния рыцарей, лежащих поверх надгробий в готических склепах и опирающихся твердыми затылками на мраморные изголовья. Это прекрасное, благородное создание, которого он собирался лишить души, поневоле будило в нем угрызения совести.

Доктор принял смущение Октава за трусость: легкая улыбка презрения скользнула по его губам, и он промолвил:

— Если вы не решаетесь, я могу разбудить графа, пусть уйдет отсюда, как пришел, в восхищении от моей магнетической силы, но подумайте хорошенько, вряд ли такая возможность вам еще когда-нибудь выпадет. Однако, при всем моем сочувствии вашей любви и интересе к этому эксперименту, никогда не проводившемуся в Европе, я не имею права скрывать, что обмен душами чреват некоторыми опасностями. Положите руку на грудь, спросите ваше сердце. Готовы ли вы без колебаний поставить жизнь на эту карту? Ведь любовь сильна как смерть, утверждает Библия[3].

— Я готов, — просто ответил Октав.

— Отлично, молодой человек! — вскричал доктор и с невероятной скоростью потер одну о другую сухие загорелые ладони, как будто хотел добыть огонь на манер дикарей. — Мне нравится страсть, которая не отступает ни перед чем. В мире есть только две вещи: страсть и воля. Конечно, если вы не добьетесь счастья, в том не будет моей вины. Ах! Мой старый Брахма-Логум, с далеких небес Индры, где апсары услаждают твой слух своими песнями[4], ты увидишь, забыл ли я заветное заклинание, что ты про-

хрипел мне в ухо, покидая свой мумифицированный остов. Слова и жесты — я все запомнил. За дело! За дело! Подобно ведьмам Макбета, мы заварим в нашем котле чудодейственное яство[5], но для этого нам не понадобится грубая северная магия. Садитесь сюда, в кресло, прямо передо мной, отбросьте все сомнения и доверьтесь мне. Вот так! Глаза в глаза, рука к руке. Чары уже действуют. Исчезают пространство и время, стирается сознание собственного «я», опускаются веки, расслабляются мышцы, не получая команд от мозга. И наконец, затухает мысль, рвутся тонкие нити, удерживающие душу в теле. Брахма, дремавший десятки тысяч лет в золотом яйце[6], и тот был больше связан с внешним миром... Насытим тело токами, омоем его лучами.

Доктор, продолжая бормотать отрывистые фразы, ни на мгновение не прекращал двигать руками: из его раскрытых ладоней изливались светящиеся струи, которые он нацеливал то в лоб, то в сердце пациента, и вокруг Октава постепенно образовалась своего рода оболочка, светившаяся и переливавшаяся, словно нимб.

— Очень хорошо! — Господин Шербонно рукоплескал собственному творению. — Вот этого я и хотел. Что там еще? Что мне мешает? — вскричал он после небольшой паузы, будто заметив в черепе Октава последнее усилие личности, стоящей на пороге уничтожения. — Что за строптивая мыслишка, изгнанная из мозговых извилин? Почему она пытается спрятаться от меня, съежившись на примитивной монаде[7], на центральной точке жизни? Ничего, я сумею ее схватить и обуздать!

Чтобы победить эту своевольную мятежницу, доктор еще сильнее зарядил магнетизмом свой взгляд и застиг взбунтовавшуюся мысль между основанием мозжечка и спинным мозгом, в самом потаенном убежище, в хранилище души. Его триумф был полным.

Тогда он с величавой торжественностью стал готовиться к эксперименту: облачился в льняные одежды, как чародей, омыл свои руки ароматной водой, достал из разных коробочек особые краски и нарисовал на щеках и на лбу магические символы, обмотал руку шнурком брахманов, прочел две-три шлоки[8] из священных поэм, не упустив ни малейшей детали ритуала, которому обучился у санньяси из пещеры Элефанты.

Закончив церемонию, он отворил все отдушники[9], и вскоре залу заполнил пылающий зной, от которого потерял бы сознание тигр в джунглях, растрескался бы защитный слой грязи на бугристой шкуре буйвола и в одно мгновенье раскрылся бы огромный цветок столетника.

— Нельзя, чтобы две искорки божественного пламени, которые обнажатся сейчас и останутся на несколько секунд без смертной оболочки, побледнели или погасли в нашем ледяном воздухе, — молвил доктор, взгля-

нув на термометр, который показывал уже сто двадцать градусов по Фаренгейту[10].

Стоя в белых одеждах между двумя неподвижными телами, доктор Бальтазар Шербонно походил на жреца одной из тех кровавых религий, что бросают трупы людей на алтари своих богов. Он напоминал священнодействующего жреца, свирепого мексиканского идола Вицлипуцли, о котором говорит Генрих Гейне в одной из своих баллад[11], хотя, несомненно, намерения доктора были отнюдь не кровожадными.

Он приблизился к неподвижному Олафу Лабинскому и произнес над ним невоспроизводимое заклинание, которое тут же повторил над глубоко спящим Октавом. Обычно чудаковатая физиономия господина Шербонно приобрела в этот миг особую величественность; огромная власть, которой он обладал, облагородила беспорядочные черты, и если бы кто-нибудь увидел, с какой священнической степенностью он исполняет эти таинственные ритуалы, то не узнал бы в нем доктора из сказки Гофмана, который так и напрашивался на карандаш карикатуриста.

Тем временем происходили весьма странные вещи: Октав де Савиль и граф Олаф Лабинский одновременно вздрогнули, словно от предсмертной конвульсии, их лица исказились, легкая пена выступила на губах, мертвенная бледность окрасила кожу; в то же время две маленькие голубоватые искорки робко задрожали над их головами.

По мановению руки доктора, которая, казалось, указала им путь по воздуху, две фосфоресцирующие точки сдвинулись и, оставляя за собой светящийся след, поменялись местами: душа Октава заняла тело графа Лабинского, а душа графа — тело Октава: аватара свершилась[12].

Легкий румянец на скулах свидетельствовал о том, что жизнь вернулась в осиротевшие на несколько секунд тела. Черный ангел[13] не преминул бы завладеть ими, если бы не могущество доктора.

Голубые глаза чудодея сверкали торжеством, он мерил комнату широким шагом и повторял:

— Пусть эти хваленые медики сделают то же! Они так гордятся тем, что научились худо-бедно чинить человеческий часовой механизм, когда он ломается! Гиппократ[14], Гален[15], Парацельс[16], Ван Гельмонт[17], Берхааве[18], Троншен[19], Ханеман[20], Разори...[21] Да самый жалкий индийский факир, скорчившийся на ступенях пагоды, умеет в тысячу раз больше вас! Чего стоит тело, когда управляешь духом!

Закончив свою речь, ликующий доктор сделал несколько пируэтов и начал танцевать, как горы в Шир ха-ширим царя Соломона[22]. Он чуть не расквасил себе нос, запутавшись в складках своего брахманского платья, и это маленькое происшествие привело его в чувство.

— Разбудим-ка наших сонь. — Доктор стер с лица разноцветные полоски и скинул наряд брахмана. Он встал перед телом графа Лабинского, в котором теперь обитала душа Октава, и начал выводить его из сомнамбулического состояния, проделывая необходимые для этого пассы и постоянно стряхивая с пальцев флюид[23], который снимал со спящего.

По прошествии нескольких минут Октав-Лабинский (отныне для ясности мы будем называть его так) приподнялся, протер веки и удивленно огляделся вокруг глазами, еще не освещенными сознанием собственного «я». Когда к нему вернулась способность четко различать предметы, первым, что он заметил, было его собственное тело, лежащее отдельно от него на диване. Он видел самого себя! Не отражение в зеркале, а свое собственное, вполне материальное тело. Он закричал, закричал не своим голосом, и этот чужой голос ужаснул его; обмен душами произошел во время магнетического сна и не оставил никаких следов в памяти, Октав испытывал лишь странное недомогание. Разум, управляющий новыми органами, чувствовал себя как рабочий, которого лишили привычных инструментов и дали чужие. Растревоженная Психея билась беспокойными крыльями[24] в свод незнакомого черепа и плутала в извилинах мозга, натыкаясь на последние следы чужого сознания.

— Ну, хорошо. — Доктор вдоволь насладился изумлением Октава-Лабинского. — Нравится вашей душеньке новое жилище? Удобно ли ей в теле этого очаровательного рыцаря, гетмана[25], господаря[26] и высокопоставленного вельможи, мужа самой прекрасной женщины на свете? Вы уже не хотите умереть, как во время нашей первой встречи в печальной обители на улице Сен-Лазар? Теперь, когда двери особняка Лабинских открыты для вас, вы больше не боитесь, что, как на вилле Сальвиати, Прасковия приложит руку к вашим губам, едва вы попытаетесь признаться ей в любви?! Видите, старый Бальтазар Шербонно с физиономией макаки, которую он сменит на другую только по собственному усмотрению, еще не растерял всех добрых рецептов из арсенала своих фокусов.

— Доктор, — ответил Октав-Лабинский, — вы могущественны, как Бог, или по меньшей мере как демон.

— Ох! Ох! Не бойтесь, тут нет никакой дьявольщины. Спасению вашей души ничто не угрожает: я не заставлю вас подписывать договор кровью. Все очень просто. Слово, которое сотворило свет, способно переместить душу. Если бы люди захотели услышать Бога сквозь время и бесконечность, они, черт возьми, сотворили бы еще и не такое.

— Какими словами, какими делами смогу я отблагодарить вас за столь неоценимую услугу?

— Не думайте об этом. Вы мне интересны, а для такого старого, дубленого и прожженного ласкара[27], как я, такое чувство — редкость. Ваша лю-

бовь необыкновенна, а, да будет вам известно, мы мечтатели — немного алхимики, немного чародеи, немного философы — всегда так или иначе стремимся к абсолюту. Но поднимайтесь наконец, подвигайтесь, походите, покрутитесь, — проверьте, не тесна ли вам новая кожа.

Октав-Лабинский подчинился и несколько раз прошелся по комнате; растерянность мало-помалу проходила; тело графа, лишившись своей души, не утратило прежних привычек, и новоявленный хозяин доверился его физической памяти, так как ему было важно перенять движения, походку и жесты хозяина изгнанного.

— Если бы я сам только что не поменял местами ваши души, то решил бы, — засмеялся доктор, — что ничего необычного в этот вечер не произошло, и принял бы вас за настоящего, законного, подлинного литовского графа Олафа Лабинского, истинное «я» которого покоится пока там, в куколке, которую вы изволили покинуть. Но скоро пробьет полночь, уходите, а то Прасковия будет сердиться и обвинит вас в том, что вы предпочли ей ландскнехт[28] или баккару[29]. Не стоит начинать супружескую жизнь со ссоры, это дурная примета. А я тем временем разбужу вашу прежнюю оболочку со всеми подобающими предосторожностями и почтением.

Согласившись с доктором, Октав-Лабинский поспешно удалился. У крыльца, жуя удила и роняя хлопья пены, приплясывали от нетерпения великолепные гнедые кони графа. Заслышав шаги, красавец лакей из ныне вымершего племени гайдуков[30] устремился к карете и со стуком опустил подножку. Октав, направившийся было к своему скромному брогаму[31], устроился в высоком роскошном экипаже и бросил лакею приказ, который тот мгновенно передал кучеру: «В особняк!» Едва дверца захлопнулась, кони вскинулись на дыбы и рванули, а славный потомок альманзоров и азоланов[32] повис на широких, шитых золотом поводьях с неожиданным для столь высокого и крупного детины проворством.

Для таких лошадей путь от улицы Регар до улицы Фобур-Сент-Оноре оказался совсем недолог: они преодолели его за несколько минут, и кучер крикнул громоподобным голосом:[33] «Отворяй!»

Швейцар распахнул гигантские створки ворот и пропустил карету, которая свернула на подъездную аллею и с изумительной точностью остановилась под полосатым бело-розовым навесом.

Двор, который Октав-Лабинский в мгновение ока рассмотрел во всех подробностях — свойство, которое обретает душа в особо важных случаях, — напоминал, скорее, королевский парк. Он был просторен, окружен симметричными строениями и освещен бронзовыми фонарями. Белые языки газа метались в больших хрустальных плафонах, похожих на те, что украшали в прошлом Букентавр[34], а по асфальтовому бордюру, кото-

рым был обрамлен песчаный ковер, устилавший аллею, на равном расстоянии друг от друга стояли кадки с апельсиновыми деревьями, достойные террас Версаля.

Бедному влюбленному пришлось задержаться на несколько секунд у порога и прижать руку к сердцу, чтобы унять его биение. Да, теперь он владел телом Олафа Лабинского, но все знания, представления и опыт графа улетучились вместе с его душой. Дом, хозяином которого стал Октав, внутреннее расположение комнат были ему незнакомы, и потому, увидев перед собой лестницу, Октав наугад пошел наверх, решив в случае ошибки сослаться на рассеянность.

Сверкающие белизной ступени из полированного камня подчеркивали ярко-красный цвет широкой ковровой дорожки, закрепленной позолоченными штангами; она как бы указывала стопам, куда идти, а жардиньерки, полные экзотических цветов, провожали идущего до самого верха.

По стенам, покрытым белой штукатуркой под мрамор, дрожали золотые блики от огромного фонаря в граненом плафоне, который висел на толстом пурпурном тросе с кистями и бантами и щедро освещал авторскую копию одной из самых знаменитых скульптур Кановы — «Амур, целующий Психею»[35].

Лестничная площадка была выложена мозаикой тонкой работы, слева и справа на шелковых шнурах висели четыре пейзажа кисти Париса Бордоне, Бонифацио, Пальмы Старшего и Паоло Веронезе[36], помпезность и архитектоника картин прекрасно гармонировали с роскошью лестницы.

На площадку выходила высокая дверь, усеянная гвоздиками с золотыми шляпками; Октав-Лабинский толкнул ее и оказался в просторной прихожей, где дремали несколько ливрейных лакеев; при его появлении они вскочили, словно на пружинах, и выстроились вдоль стен с невозмутимостью восточных невольников.

Октав прошел мимо них и оказался в бело-золотой гостиной, где не было ни души. Он позвонил, и появилась горничная.

— Госпожа графиня может меня принять?

— Ее сиятельство сейчас переодеваются, но очень скоро будут готовы.

Глава VII

Оставшись наедине с неподвижным телом Октава де Савиля, в которое вселилась душа графа Олафа Лабинского, доктор Бальтазар Шербонно не стал медлить. Несколько мановений, и Олаф-де Савиль (позвольте

нам объединить эти два имени, дабы обозначить сей двойственный персонаж) очнулся от глубокого сна, или, скорее, от каталепсии, которая удерживала его на краю дивана. Он поднялся медленно и машинально — видно было, что его движениями еще не управляет воля, — и пошатнулся. Голова его кружилась, все предметы плавали перед глазами, будто в тумане, инкарнации Вишну выплясывали на стенах сарабанду[1], а доктор Бальтазар Шербонно представился в виде санньяси с Элефанты, машущего руками, точно птица крыльями, и вращающего голубыми зрачками в ореоле коричневых морщин, похожих на оправу очков. Поразительные зрелища, свидетелем которых граф стал, перед тем как впал в магнетическое беспамятство, продолжали воздействовать на его разум, и он медленно возвращался к реальности подобно тому, кто резко пробудился от кошмара и принимает свою разбросанную одежду, сохранившую очертания человеческого тела, за призраков, а медные розетки, что поддерживают занавеси и вспыхивают в свете ночника, — за пылающие очи циклопов[2].

Мало-помалу наваждение рассеялось; вещи снова приобрели свой естественный вид; господин Бальтазар Шербонно был уже не индийским отшельником, а простым доктором с обыкновенной доброжелательной улыбкой.

— Господин граф доволен теми экспериментами, которые я имел честь ему показать? — проговорил он раболепным тоном, к которому примешивалась легкая доля иронии. — Осмелюсь надеяться, господин граф не будет сожалеть о проведенном здесь вечере и уйдет в убеждении, что слухи о магнетизме — не сказка и не шарлатанство, как утверждает официальная наука.

Олаф-де Савиль кивнул в знак согласия и в сопровождении доктора, который у каждой двери отвешивал ему глубокие поклоны, покинул апартаменты.

Едва не задев крыльцо, подъехал брогам, и душа мужа графини Лабинской погрузилась в него вместе с телом Октава де Савиля, не отдавая себе никакого отчета в том, что и слуги, и карета были чужими.

Кучер спросил, куда следовать.

— Домой, — ответил Олаф-де Савиль, слегка удивившись, что не узнает голоса своего выездного лакея, который обыкновенно задавал ему этот вопрос с явным венгерским акцентом.

Он заметил, что сиденья кареты покрыты темно-голубым шелком, а стенки обиты золотистым атласом; граф удивился новшеству, но воспринял его, как во сне, где привычные вещи предстают в совершенно ином виде, оставаясь при этом узнаваемыми: он чувствовал, что как будто стал меньше ростом, и, кроме того, ему казалось, что к доктору он пришел во

фраке, а теперь на нем был легкий летний сюртук, которого никогда не водилось в его гардеробе, и он не помнил, когда переоделся; разум его испытывал непонятное стеснение, мысли, столь ясные утром, путались и давались ему с большим трудом. Приписав свое странное состояние необыкновенным впечатлениям этого дня, он отбросил прочь все сомнения, устроился поудобнее и отдался волнам дремы, мутному забытью, не похожему ни на бодрствование, ни на сон.

Лошадь резко стала, голос кучера, крикнувшего «Отворяй!», привел его в чувство; граф открыл окошко, высунул голову наружу и при свете уличного фонаря увидел незнакомую улицу и чужой дом.

— Куда, черт побери, ты привез меня, скотина? — вскричал он. — Разве это Фобур-Сент-Оноре, особняк Лабинских?

— Простите, сударь, я вас не понял, — пробурчал кучер и направил лошадь в указанном направлении.

По дороге преображенный граф задавал себе множество вопросов, на которые никак не мог найти ответа. Почему его карета уехала без него, когда он приказал дожидаться? Каким образом он сам оказался в чужом экипаже? Предположив, что небольшой жар нарушил четкость его мыслей или, возможно, доктор-чародей, чтобы живее поразить его доверчивое воображение, дал ему понюхать во сне флакон с гашишем или каким-то другим наркотиком, вызывающим галлюцинации, граф понадеялся, что ночь отдыха развеет иллюзии.

Экипаж подъехал к особняку Лабинских, но швейцар отказался открыть ворота, сказав, что нынче вечером не принимают, что его сиятельство вернулся больше часа назад, а госпожа уже удалилась в свои покои.

— Чепуха, ты пьян или спятил? — Олаф-де Савиль толкнул колосса, который возвышался в приоткрытых воротах, подобно одной из тех бронзовых статуй, что в арабских сказках встают на пути странствующих рыцарей, не давая им пройти к заколдованному замку.

— Сами вы, сударь мой, пьяны или с ума сошли, — возразил швейцар, чей обыкновенно пунцовый цвет лица от возмущения сменился на синий.

— Ничтожество! — прорычал Олаф-де Савиль. — Да если б не моя честь...

— Замолчите, или я сломаю вас о колено, а куски брошу на мостовую! — Гигант разжал кулак, и его длань оказалась больше и шире, чем гипсовая кисть, выставленная в витрине перчаточника на улице Ришельё[3]. — Не советую вам шутить со мной, молодой человек, даже если вы выпили одну-две лишних бутылки шампанского.

Олаф-де Савиль в отчаянии так резко оттолкнул швейцара, что проник за ворота. Несколько слуг, еще не успевших лечь спать, прибежали на шум ссоры.

— Я уволю тебя, скотина, разбойник, иуда! Я не позволю тебе даже переночевать в особняке, убирайся, или я убью тебя как бешеную собаку! Не вынуждай меня пролить грязную кровь лакея!

И граф, лишенный собственного тела, с глазами, налитыми кровью, и с пеной у рта, сжав кулаки, бросился на огромного швейцара. Тот схватил одной рукой обе кисти противника и почти раздавил их тисками своих коротких пальцев, мясистых и узловатых, как у средневекового мастера заплечных дел[4].

— Послушайте, успокойтесь. — Гигант, довольно добродушный по природе человек, совершенно не опасавшийся своего противника, чтобы несколько охладить его пыл, прибавил к словам несколько тумаков. — Разве ж так можно? Оделись как светский человек, а потом явились посреди ночи, точь-в-точь смутьян какой-нибудь, и скандалите в приличном доме? Поосторожней надо с вином. Должно, отъявленный мерзавец — тот, кто вас так напоил. Я уж не стану вас бить, довольно будет выставить вас аккуратненько на улицу, пусть вас заберет патруль, если вы будете продолжать шуметь; воздух кутузки проветрит вам мозги.

— Подлецы! — Олаф-де Савиль повернулся к лакеям. — Вы позволяете этому мерзкому каналье оскорблять вашего хозяина, благородного графа Лабинского!

Услышав это имя, слуги, как один, громко загоготали. Взрыв жуткого, гомерического, судорожного смеха потряс их обшитые галуном груди: «Этот сударик вообразил, что он — граф Лабинский! Ха-ха! Хи-хи! Неплохо придумано!»

Холодный пот залил виски Олафа-де Савиля. Страшная мысль пронзила его мозг, как стальное лезвие, он почувствовал, что кровь стынет в его жилах. Смарра[5] раздавил его грудь коленом, или все происходит наяву? Неужто его разум помутился в бездонном океане магнетизма, неужто он стал жертвой какой-то дьявольской махинации? Его слуги, такие трусливые, покорные, раболепные, не узнали его. Или ему подменили тело так же, как одежду и карету?

— Вот, убедитесь сами, что вы не граф Лабинский, — ухмыльнулся один из самых наглых в лакейской своре. — Посмотрите-ка туда, вон он собственной персоной спускается с крыльца и идет сюда, желая узнать, что тут за шум.

Пленник швейцара обратил взгляд в глубину двора и увидел под полотном навеса молодого человека, высокого и стройного, с овальным ли-

цом, черными глазами, орлиным носом и тонкими усиками, который был не кто иной, как он сам или его призрак, вылепленный руками дьявола с такой точностью, что любой бы ошибся и принял этот фантом за графа.

Швейцар отпустил Олафа. Слуги почтительно выстроились вдоль стены и, потупив глаза, с вытянутыми по швам руками застыли в полной неподвижности, как ичогланы[6] перед султаном; они встречали сие исчадие ада с почестями, в которых отказывали подлинному графу.

Муж Прасковии, отважный, как все славяне, почувствовал — и тут ничего ни убавить, ни прибавить — невыразимую тревогу при виде этого Менехма[7], который был гораздо страшнее, чем в театре, ибо вмешивался в реальную жизнь и делал неузнаваемым своего близнеца.

Старинная семейная легенда всплыла в его памяти. Каждый раз, когда кто-то из Лабинских должен был умереть, его предупреждал о смерти похожий на него призрак. Среди северных народов увидеть своего двойника, даже во сне, всегда было плохой приметой[8], и отважнейшего воина Кавказа, узревшего наяву свое второе «я», охватил неодолимый суеверный ужас; он, запускавший руку в дуло заряженной пушки, отступил перед самим собой.

Октав-Лабинский приблизился к своей бывшей оболочке, в которой билась, возмущалась и трепетала душа графа, и сказал с высокомерной холодной вежливостью:

— Сударь, не стоит компрометировать себя перед слугами. Если вы хотите поговорить с господином графом де Лабинским, то он принимает по четвергам тех, кто имел честь быть ему представленным.

Медленно, весомо произнеся каждое слово, мнимый граф удалился спокойным шагом, и двери закрылись за его спиной.

Олафа-де Савиля, потерявшего сознание, перенесли в экипаж. Очнувшись, он обнаружил себя в кровати, которая не походила на его собственную, и в комнате, в которой он никогда прежде не бывал; рядом с ним стоял незнакомый слуга, он поддерживал его голову и подносил к носу флакон с эфиром.

— Господину лучше? — спросил Жан у графа, которого принимал за хозяина.

— Да, — ответил Олаф-де Савиль. — Пустяки, минутная слабость.

— Я могу идти или мне побыть около вас, сударь?

— Нет, оставьте меня одного; но прежде чем уйти, зажгите торшеры у зеркала.

— Господин не боится, что яркий свет помешает ему заснуть?

— Нисколько. К тому же я еще не хочу спать.

— Я тоже не лягу и, если господину что-нибудь понадобится, прибегу по первому звонку... — Жана до глубины души обеспокоили бледность и искаженное лицо хозяина.

Когда Жан зажег свечи и ушел, граф кинулся к зеркалу и в глубоком, чистом стекле, где отражался и подрагивал свет, увидел молодое, нежное и печальное лицо, с пышной черной шевелюрой, темно-голубыми глазами, бледными щеками, опушенными шелковистой каштановой бородкой, лицо, которое ему не принадлежало и с удивлением смотрело на него из зеркала. Сперва он попытался уверить себя, что какой-то злой шутник вставил свою физиономию в инкрустированную медью и ракушками оправу венецианского зеркала. Граф пошарил за рамой, но нащупал только дерево, там не было никого.

Он осмотрел свои руки: они были тоньше, длиннее и жилистее, чем прежде, на безымянном пальце выступал массивный золотой перстень с авантюрином, на котором был выгравирован герб — треугольный щит с красными и серебряными полосами, окаймленный жемчугом. Никогда не было такого кольца у графа, на его золотом гербе был изображен взлетающий степной орел с клювом, лапами и, конечно, когтями и жемчужная корона. Он обшарил карманы и нашел маленький бумажник, в котором лежали визитные карточки с именем «Октав де Савиль».

Смех лакеев в особняке Лабинских, появление двойника, незнакомая физиономия в зеркале — все это могло быть в крайнем случае наваждением больного разума, но чужая одежда и кольцо, которое он снял с пальца, служили материальными доказательствами, ощутимыми и неопровержимыми свидетельствами. Без его ведома кто-то осуществил в нем полную метаморфозу; наверняка колдун, или, может, демон, украл его тело, титул, имя, всю его личность, не оставив ничего, кроме души, которая никак не может заявить о своих правах.

В памяти его возникли фантастические истории о Петере Шлемиле[9] и «Приключения накануне Нового года»[10], но персонажи Ламот-Фуке[11] и Гофмана потеряли всего-навсего свою тень или отражение, и хотя эти странные пропажи того, чем обладают все, внушали тревожные подозрения, никто не отрицал, что пострадавшие остались собою.

Его положение было другим, более страшным: он не мог потребовать вернуть ему титул графа Лабинского в той форме, в которой оказался заключен. Всякий сочтет его самозванцем или по меньшей мере сумасшедшим. Даже его собственная жена не узнает его, выряженного в эту лживую личину. Как доказать, кто он на самом деле? Конечно, есть множество интимных обстоятельств, тысячи сокровенных деталей, не известных никому на свете. Если напомнить о них Прасковии, ей придется признать

под этим нарядом душу своего мужа, но чего будет стоить убежденность одной женщины против единодушного мнения света? Он действительно оказался полностью лишен своего «я». И еще одно опасение: превращение коснулось лишь роста и внешности, или он оказался в чужом теле? В таком случае, где его тело? Поглотил ли его колодец с известью, или оно стало добычей наглого вора? Двойник в особняке Лабинских мог быть призраком, но мог быть и живым существом, вселившимся в кожу, которую с дьявольской ловкостью похитил у него коварный доктор с лицом факира.

Ужасная мысль вонзилась в его сердце ядовитыми зубами гадюки: «А что, если этот мнимый граф Лабинский, которому руки дьявола придали мою форму, этот вампир, живущий в моем особняке, которому, вопреки всему, служат мои лакеи, в сию минуту ступает своим раздвоенным копытом на порог спальни, той самой спальни, куда я всегда проникал с взволнованным, как в первый раз, сердцем, а Прасковия нежно улыбается ему и в божественном смущении склоняет ему на плечо, помеченное дьявольским клеймом, свою очаровательную головку... Она принимает за меня эту лживую куклу, этого бруколака[12], эту эмпузу[13], это уродливое исчадие ночи и ада! Надо бежать в особняк, поджечь его, крикнуть сквозь огонь Прасковии: "Тебя обманывают, ты обнимаешь не своего любимого Олафа! Ты в неведении совершаешь гнусное преступление, о котором моя отчаявшаяся душа будет помнить даже тогда, когда вечность устанет переворачивать песочные часы!"»

Волны жара подступали к голове графа, он испускал бешеные нечленораздельные крики, кусал себе руки, кружась по комнате, точно дикий зверь. Безумие едва не затопило остатки его помутившегося сознания; он подбежал к туалетному столику Октава, наполнил таз ледяной водой и окунул в нее голову, а когда вынул, то от головы его пошел пар.

Хладнокровие вернулось к нему. Он сказал себе, что время магии и колдовства давно миновало, что только смерть может отделить душу от тела, что невозможно в центре Парижа подменить польского графа, имеющего многомиллионный кредит у Ротшильда[14], человека, связанного узами крови со многими знатными семействами, любимого мужа известной в свете женщины, кавалера ордена Святого Андрея первой степени[15], что все это, несомненно, довольно глупая шутка господина Бальтазара Шербонно, которая вскоре разъяснится самым естественным образом, как страшные тайны в романах Анны Радклиф[16].

Поскольку граф умирал от усталости, он бросился на кровать Октава и забылся тяжелым, продолжительным, беспробудным, похожим на смерть сном, и спал до тех пор, пока Жан, решив, что хозяину пора просыпаться, не пришел, чтобы положить на столик письма и газеты.

Глава VIII

Граф открыл глаза и внимательно огляделся. Он увидел спальню, уютную, но простую. На полу лежал пятнистый ковер под шкуру леопарда; тяжелые шторы, которые Жан только что приоткрыл, обрамляли окна и двери, стены были затянуты зелеными бархатистыми обоями под драп. На камине белого с голубыми прожилками мрамора стояли часы из цельного куска черного мрамора с платиновым циферблатом, над которым возвышалась потемневшая от времени серебряная статуэтка — уменьшенная копия Дианы из Габий работы Барбедьена[1] и две античные вазы, тоже серебряные. Венецианское зеркало, в котором накануне граф обнаружил, что лишился собственного лица, и портрет пожилой женщины, несомненно матери Октава, кисти Фландрена[2], служили украшением этой комнаты, немного печальной и строгой. Диван и вольтеровское кресло[3] около камина да письменный стол с ящиками, покрытый бумагами и книгами, составляли обстановку удобную, но ничем не напоминавшую роскошь особняка Лабинских.

— Господин изволит одеваться? — сказал Жан ровным тоном, который он освоил за время болезни Октава, и подал графу цветастую рубашку, фланелевые кальсоны с носками и алжирский халат — утренний наряд своего хозяина. Хотя графу тошно было надевать чужую одежду, но делать нечего: скрепя сердце он надел то, что предлагал Жан, и опустил ноги на шелковистую шкуру черного медведя, лежавшую у кровати.

Вскоре его туалет был завершен, и Жан, у которого, казалось, не возникло ни малейшего сомнения в подлинности мнимого Октава де Савиля спросил:

— В котором часу господин желает позавтракать?

— В обычное время. — Граф решил сделать вид, что смирился со своим необъяснимым превращением, и тем самым не создавать себе лишних препятствий на том пути, который он рассчитывал проделать, чтобы вернуть свое прежнее обличье.

Жан вышел, а Олаф-де Савиль, надеясь раздобыть хоть какие-то сведения, распечатал два письма, принесенные вместе с газетами. В первом, подписанном незнакомым именем, содержались дружеские упреки, сожаления о добрых товарищеских отношениях, прерванных без причины. Во втором нотариус Октава просил его поторопиться и забрать давно поступившую четверть годового дохода или, по крайней мере, указать, каким образом употребить капиталы, лежащие без движения.

— Так, — заключил граф, — похоже, Октав де Савиль, в шкуру которого я влез не по своей воле, действительно существует. Это вовсе не фанта-

стическое существо, не персонаж Ахима фон Арнима[4] или Клеменса Брентано:[5] у него есть дом, друзья, нотариус, доход, который надо получить, то есть все, что должно быть у добропорядочного члена общества. Однако мне почему-то по-прежнему кажется, что я граф Олаф Лабинский.

Он бросил взгляд в зеркало и убедился, что это мнение никто с ним не разделит: как при тусклом сиянии свечей, так и при ясном свете дня отражение оставалось неизменным.

Продолжая осмотр, он открыл ящики стола: в одном из них обнаружились бумаги на право собственности, два билета по тысяче франков и пятьдесят луидоров, которые безо всяких угрызений совести граф тут же присвоил, дабы направить на нужды кампании, которую он собирался начать, а в другом – сафьяновый портфель, запертый на замочек с секретом.

Жан доложил о господине Альфреде Умбере, который с бесцеремонностью старого приятеля тут же ворвался в комнату, не дожидаясь, пока слуга пригласит его войти.

– Здравствуй, Октав, – сердечно и открыто сказал гость, красивый молодой человек. – Чем занимаешься, что с тобой, жив ты или мертв? Тебя нигде не видно; тебе пишут – ты не отвечаешь. Я должен был бы обидеться на тебя, но, ей-богу, дружба дороже, и я пришел пожать тебе руку. Какого черта! Нельзя же бросить однокашника умирать от меланхолии в недрах этого дома, мрачного, как келья Карла Пятого в монастыре Святого Юста[6]. Ты вообразил, что болен, – нет, тебе просто скучно, но это не беда: я заставлю тебя развеселиться, я силой отведу тебя на славный обед, который дает Гюстав Рембо по случаю похорон своей холостяцкой свободы.

Выпаливая эту тираду тоном полурассерженным-полушутливым, он тряс на английский манер руку графа, которую успел захватить.

– Нет, – ответил муж Прасковии, входя в роль, – мне сегодня хуже обычного; я не в духе, я нагоню на вас тоску и буду стеснять своим присутствием.

– В самом деле, ты очень бледен, у тебя усталый вид. Что ж, до лучших времен! – Альфред направился к двери. – Я убегаю, ибо опаздываю на три дюжины свежих устриц и бутылку сотерна[7]. Рембо будет в ярости, когда я приду без тебя.

Этот визит еще больше опечалил графа. Жан принимал его за своего хозяина, Альфред – за друга. Не хватало последнего доказательства. Дверь открылась, в комнату вошла дама с седыми, гладко расчесанными на пробор волосами, потрясающе похожая на портрет, висевший на стене. Она села на диван и обратилась к графу:

– Как ты себя чувствуешь, мой бедный Октав? Жан сказал, что вчера ты вернулся поздно и еле живой; береги себя, мой дорогой сын, ты знаешь,

как я люблю тебя, несмотря на то, что ты весьма огорчаешь меня своей необъяснимой грустью, причину которой ты мне так и не открыл.

— Не беспокойтесь, матушка, со мной ничего серьезного не происходит, — ответил Олаф-де Савиль, — сегодня мне гораздо лучше.

Госпожа де Савиль, немного успокоившись, поднялась и ушла, не желая долее смущать сына, который, как ей было известно, не любил, когда нарушали его одиночество.

— Итак, решительно, я — Октав де Савиль! — вскричал граф, едва старая дама скрылась за порогом. — Его мать узнала меня и не почувствовала, что под кожей сына живет чужая душа. Я, быть может, навсегда заточен в эту личину; и что за странная тюрьма для души — чужое тело! Как тяжело отказаться от того, что ты граф Олаф Лабинский, до чего жутко потерять герб, жену, состояние и опуститься до прозябания жалкого буржуа. О! Я выйду наружу, я разорву эту шкуру Несса[8], прилипшую к моему «я», и верну ее клочки прежнему владельцу. А что, если снова пойти в особняк? Нет! Опять будет бессмысленный скандал, опять швейцар выставит меня за дверь, никто не узнает меня в этом халате; посмотрим, поищем, надо хоть что-то разузнать о жизни Октава де Савиля, который занял мое место и выдает себя за меня.

Он попробовал отпереть портфель. Одна из случайно нажатых пружинок поддалась, и граф вытащил из кожаных отделений сначала несколько бумаг, черных от мелкого убористого почерка, затем квадратный кусок из веленя: на нем неопытной, но верной рукой был нарисован по памяти сердца и со сходством, которого не всегда добиваются великие художники, карандашный портрет графини Прасковии Лабинской, чей облик невозможно было не узнать с первого же взгляда.

Граф остолбенел от изумления. Изумление сменилось приливом жестокой ревности: каким образом портрет графини оказался в портфеле этого молодого незнакомца, откуда у него этот набросок, кто сделал его, кто дал? Прасковия, божественная, обожаемая Прасковия, неужели она спустилась с небес ради вульгарной интрижки? В силу какой адской насмешки он, муж, оказался воплощенным в тело любовника женщины, которую считал самой чистой на свете? Побыв мужем, он станет теперь ухажером! Саркастическая метаморфоза, перемена положений, способная свести с ума, он и сам запутался бы, будучи одновременно Клитандром и Жоржем Данденом![9]

Все эти мысли роились и жужжали в его черепе; он чувствовал, что разум вот-вот покинет его, и невероятным усилием воли заставил себя успокоиться. Не обратив внимания на Жана, который сообщил, что завтрак подан, он с нервным трепетом продолжил изучение чужого портфеля.

Листки составляли своего рода психологический дневник, который автор в разное время то вел, то забрасывал. Вот несколько его строк, которые с тревожным любопытством и жадностью изучил граф:

> Никогда она не полюбит меня, никогда, никогда! Я прочитал в ее нежнейших глазах жесточайшие слова, самые суровые слова, которые Данте нашел для бронзовых ворот обители скорби: «Оставь надежду навсегда»[10]. Чем я провинился перед Господом, обрекшим меня при жизни на вечные муки? Завтра, послезавтра — всегда будет то же! Скорее орбиты небесных тел пересекутся, звезды, затмевающие друг друга, сольются воедино, нежели что-либо изменится в моей судьбе! Одним словом она развеяла все мечты, одним движением — лишила крыльев химеру[11]. Самые фантастические комбинации не дают мне ни единого шанса; ставки, миллиард раз сделанные на колесе удачи, никогда не сыграют — нет числа, которое принесет мне выигрыш!
>
> Горе мне! Я знаю, что рай закрыт для меня, но, точно глупец, все сижу на пороге, прислонившись к его вратам, они никогда не откроются, и я плачу в тишине без содроганий, без усилий, как будто мои глаза стали источниками чистой воды. У меня не хватает мужества встать и углубиться в бескрайнюю пустыню или шумный людской Вавилон.
>
> Порой, когда ночью мне не удается уснуть, я думаю о Прасковии; если же я сплю, то вижу ее во сне. О, как она была прекрасна сегодня в саду виллы Сальвиати, во Флоренции! Это белое платье и черные ленты — так красиво и так мрачно! Белое для нее, черное для меня! Временами ленты, колышущиеся от бриза, скрещивались на фоне ослепительной белизны — то невидимый дух отпевал мое погибшее сердце.
>
> Даже если бы какой-нибудь неслыханный переворот возложил на мою голову венец императора или халифа; земля вскрыла бы для меня свои золотые жилы; алмазные копи Голконды и Биджапура[12] позволили бы мне порыться в своих сверкающих породах; лира Байрона зазвучала бы под моими пальцами; самые совершенные шедевры античного и современного искусства одолжили бы мне свою красоту; даже если бы я открыл новый мир, — что ж, и тогда я не приблизился бы к ней ни на шаг!
>
> Что значит судьба! Почему я не прислушался к своим желаниям и не уехал в Константинополь! Нет, я остался во Флоренции, увидел ее и умираю!

Я бы убил себя, но она дышит одним воздухом со мной, и, может статься, о, несказанное счастье, мои жадные губы изопьют частицу ее благоуханного дыхания; и потом, если мою грешную душу отправят в изгнание, я лишусь последнего шанса на то, что она полюбит меня в другой жизни. Быть в разлуке и там: она в раю, я в преисподней — сколь удручающая мысль!

Почему, ну почему я полюбил именно ту единственную женщину, которая не может любить меня! Другие, прекрасные и свободные, завлекали меня самыми нежными улыбками и, казалось, ждали признания, но не дождались. О! Как он счастлив! За какие великие заслуги в прошлой жизни Бог вознаграждает его этим великолепным даром любви?

Бесполезно было читать дальше. Подозрение, которое внушил графу портрет Прасковии, рассеялось с первых строчек этих печальных откровений. Он понял, что Октав тысячу раз пытался воспроизвести дорогой образ, ласкал его вдали от оригинала с тем неистощимым терпением, что свойственно неразделенной любви, и что портрет был иконой мадонны из маленькой тайной часовни, мадонны, которой поклонялись с безнадежным обожанием.

— А что, если этот Октав заключил договор с дьяволом, чтобы украсть у меня мое тело и добиться под моим обличьем любви Прасковии!

Подобное предположение, невероятное в девятнадцатом веке, смутило графа, но, как ни уговаривал он себя, а отмести его не смог.

Улыбаясь собственному простодушию, он съел давно остывший завтрак, оделся и попросил подать экипаж. Когда все было готово, он приказал ехать к доктору Бальтазару Шербонно, прошел сквозь анфиладу, куда накануне вошел под именем графа Олафа Лабинского и откуда вышел тем, кого весь свет величал Октавом де Савилем. Доктор сидел на диване в дальней комнате, по своему обыкновению зажав ступню в руке. Казалось, он погрузился в глубокую медитацию.

Заслышав шаги графа, врачеватель приподнял голову.

— А, это вы, мой дорогой Октав; я собирался навестить вас, но это хороший знак, если больной сам приходит к доктору.

— Опять Октав! — вскричал граф. — С ума можно сойти!

Затем граф скрестил руки на груди, встал перед доктором и сказал, устрашающе сверля его взглядом:

— Вы прекрасно знаете, господин Бальтазар Шербонно, что я не Октав, а граф Олаф Лабинский, поскольку вчера вечером на этом самом месте с помощью вашего экзотического колдовства вы украли у меня мое тело.

При этих словах доктор захохотал, опрокинулся на подушки и схватил себя за бока, чтобы не лопнуть от смеха.

— Умерьте, доктор, вашу бурную радость, как бы вам не пришлось в ней раскаяться. Я говорю серьезно.

— Тем хуже! Тем хуже! Это доказывает, что апатия и ипохондрия, от которых я вас лечил, привели к слабоумию. Надо назначить другое лечение, только и всего.

— Чертов лекарь! Да я задушу тебя вот этими руками! — И граф набросился на Шербонно.

В ответ на угрозу доктор усмехнулся и дотронулся до графа стальной палочкой. Олаф-де Савиль почувствовал сильнейший удар и решил, что у него сломана рука.

— Да-да! У нас есть средства для укрощения больных, когда они брыкаются. — Доктор смерил графа холодным, точно ледяной душ, взглядом, способным утихомирить безумных и заставить львов распластаться на брюхе. — Пойдите к себе, примите ванну, чрезмерное возбуждение снимет как рукой.

Олаф-де Савиль, оглушенный ударом электрического тока, вышел от доктора Шербонно в еще большей неуверенности и смущении, чем прежде. Он приказал отвезти себя в Пасси[13] к доктору Б***[14], чтобы посоветоваться с ним.

— Я стал, — сказал он знаменитому медику, — жертвой странной галлюцинации: когда я смотрюсь в зеркало, мне кажется, что мое лицо утратило привычные черты, форма предметов, которые окружают меня, изменилась, я не узнаю ни стен, ни мебели в своей комнате; мне кажется, что я — не я, а другой человек.

— Каким вы видите себя? — спросил врач. — Ошибка может происходить как от глаз, так и от мозга.

— Я вижу, что у меня черные волосы, темно-голубые глаза, бледное лицо с бородкой.

— Особые приметы в паспорте и те не были бы столь точны: у вас нет ни умственных галлюцинаций, ни искажения зрения. Вы выглядите именно так, как говорите.

— Нет! На самом деле у меня светлые волосы, черные глаза, загорелое лицо и усы, закрученные на венгерский лад.

— Здесь, — заметил доктор, — начинается легкое умопомрачение.

— И тем не менее, доктор, я не сумасшедший.

— Несомненно. По своей воле ко мне приходят только здравомыслящие люди. Некоторое переутомление, слишком усердное чтение или излишек удовольствий могли послужить причиной расстройства. Вы ошибаетесь.

Вас обманывает не зрение, а мозг: вы не блондин, который видит себя брюнетом, вы — брюнет, который считает себя блондином.

— И однако, я уверен, что я — граф Олаф Лабинский, но со вчерашнего дня все называют меня Октавом де Савилем.

— Именно об этом я и говорю, — повторил доктор. — Вы — господин де Савиль, и вы воображаете себя графом Лабинским, которого я, как мне помнится, видел и у которого в самом деле светлые волосы. Именно поэтому вы видите в зеркале другое лицо: ваше собственное лицо вовсе не отвечает вашему внутреннему представлению и удивляет вас. Поразмыслите, почему все называют вас господином де Савилем и, следовательно, не разделяют вашего убеждения. Останьтесь у меня недельки на две: ванны, отдых, прогулки по парку развеют это досадное недоразумение.

Граф опустил голову и обещал подумать. Он не знал, чему верить. Вернувшись на улицу Сен-Лазар, он случайно заметил на столе карточку с приглашением от графини Лабинской, которую Октав показывал господину Шербонно.

— С этим талисманом, — вскричал он, — я завтра же увижу ее!

Глава IX

После того, как слуги усадили в экипаж настоящего графа Лабинского, изгнанного из его земного рая мнимым ангелом, стоявшим на страже его ворот, преображенный Октав вернулся в маленькую бело-голубую гостиную, чтобы дождаться, когда его пригласят к графине.

Прислонившись к беломраморному камину, очаг которого был заполнен цветами, он посмотрел на свое отражение в глубине расположенного напротив зеркала на вычурных позолоченных ножках. Хотя Октав знал тайну своей метаморфозы или, говоря точнее, своего переселения, ему никак не верилось, что перед ним именно его отражение, и он не мог оторвать глаз от странного призрака, в которого превратился. Он смотрел на себя, а видел другого и невольно оглядывался: не стоит ли граф Олаф рядом, облокотившись на каминную доску, и не он ли отражается в зеркале; но нет, рядом никого не было — доктор Шербонно сделал свое дело на совесть.

Через несколько минут Октав-Лабинский уже не думал о чудесной аватаре, переместившей его душу в тело супруга Прасковии; его мысли приняли другой, более соответствующий ситуации оборот. Случилось нечто невероятное, за пределами возможного, о чем он не осмелился бы мечтать даже в горячке, в исступлении, в бреду! Сейчас он окажется наедине с пре-

краснейшей, обожаемой женщиной, и она не оттолкнет его! Единственная комбинация, которая могла примирить его желания с непорочностью графини, осуществилась!

Перед этим высшим мгновением его душа испытывала ужас и тревогу: робость, присущая настоящей любви, внушала ей страх, как если бы она по-прежнему обитала в теле Октава де Савиля.

Появление горничной положило конец этой внутренней борьбе и смятению. Завидев ее, он не справился с нервами и вздрогнул; вся кровь прилила к его сердцу, когда он услышал долгожданные слова:

— Госпожа графиня готова принять господина графа.

Октав-Лабинский последовал за горничной, поскольку не знал, куда идти, и не хотел выдать себя неуверенным блужданием по комнатам.

Горничная проводила его в довольно просторную гардеробную, украшенную со всеми изысками утонченной роскоши. Ряд шкафов ценного дерева с резьбой, выполненной Кнехтом[1] и Льенаром[2], и дверцами, разделенными спиралевидными колонками, увитыми вырезанными с необыкновенным мастерством легкими стебельками вьюнка с листьями-сердечками и цветами-колокольцами, образовывал своего рода деревянную обшивку стен — портик прихотливого ордера, на редкость изысканный и законченный. Эти шкафы были забиты бархатными и муаровыми платьями, кашемировыми шалями, накидками, кружевами, собольими и песцовыми шубами, шляпками тысячи разных фасонов — всем арсеналом красивой женщины.

У стены напротив повторялся тот же мотив, с той разницей, что место деревянных панно занимали зеркала, поворачивающиеся на шарнирах, как створки ширмы, таким образом, чтобы можно было увидеть себя спереди, сзади, сбоку и судить о красоте корсажа или прически.

У третьей стены царствовал длинный умывальник, покрытый алебастром-ониксом[3]. Из серебряных кранов с холодной и горячей водой наполнялись огромные японские раковины, окантованные по окружности тоже серебром; флаконы из богемского хрусталя[4], полные эссенций и духов, сверкали при свете свечей, словно бриллианты и рубины.

Стены и потолок, обитые светло-зеленым атласом, напоминали внутренние стенки шкатулки для драгоценностей. Толстый ковер из Смирны мягкой и гармоничной расцветки устилал пол.

В центре комнаты на цоколе, обтянутом зеленым бархатом, покоился большой кофр[5] необычной формы из хорасанской стали, чеканной работы, с черной эмалью и цветными арабесками[6], столь замысловатыми, что рядом с ними все красоты зала Послов в Альгамбре[7] показались бы простенькими. Восточное искусство, похоже, сказало свое последнее слово в этой чудной работе, к которой пери[8], несомненно, приложили свои вол-

шебные руки. В этом кофре графиня Лабинская держала свои драгоценности — сокровища, достойные королевы, которые она надевала крайне редко, справедливо полагая, что они не в силах украсить то, что в украшении не нуждается. Она была так прекрасна, что золото и блеск камней только мешали: женский инстинкт не обманывал ее. Поэтому она доставала свои украшения лишь в самых торжественных случаях, когда счастливый наследник старинного дома Лабинских должен был предстать во всем своем великолепии. Никогда и ни у кого бриллианты не бездельничали так, как у графини Лабинской.

Около окна, занавешенного широкими складками штор, перед изогнутым туалетным столиком напротив зеркала, которое склоняли два ангела, вылепленные мадемуазель де Фово[9] с типичным для ее таланта изяществом и вкусом, освещенная белым светом двух торшеров в шесть свечей, сияя молодостью и красотой, сидела графиня Прасковия Лабинская. Тончайший тунисский бурнус[10], отделанный белыми и голубыми лентами, с чередующимися матовыми и прозрачными полосами, окутывал ее мягким облаком, легкая ткань соскальзывала с атласных плечей и позволяла увидеть шею и ключицы, рядом с которыми белоснежная лебединая грудь показалась бы серой. Между полами бурнуса кипело кружево батистового пеньюара, свободного ночного наряда безо всяких завязок и пояса. Волосы графини были распущены и окутывали ее волнистым покрывалом, точно мантия императрицы. Вне сомнений, когда Венера-Афродита[11], как морской цветок, вышла из ионической лазури и, стоя на коленях в перламутровой раковине, выжимала свои мокрые золотые кудри, с которых падали, превращаясь в жемчуг, капли, ее волосы были менее светлыми, менее густыми, менее тяжелыми! Смешайте янтарь Тициана[12] и серебро Паоло Веронезе[13] с золотистым лаком Рембрандта[14], пропустите солнечный свет сквозь топаз[15] — даже тогда вы не получите чудесного оттенка этой пышной шевелюры, которая, казалось, испускала, а не поглощала свет и которая больше, чем волосы Вероники, заслуживала стать новым созвездием, затмевающим старые звезды![16] Две женщины расчесывали ее, разглаживали, взбивали и тщательно укладывали, чтобы соприкосновение с подушкой не помяло ни одного волоска.

Во время этой сложной процедуры графиня поигрывала ножкой, обутой в белую бархатную туфельку без задника, шитую золотой канителью[17], — ножкой такой крохотной, что ей позавидовали бы одалиски и жены самого падишаха. Порой, откидывая шелковые складки бурнуса, она обнажала белую руку и с шаловливой грацией отбрасывала упавшие на лицо прядки.

Забывшись в этой небрежной позе, она напоминала стройные греческие фигурки, украшающие античные вазы, но ни один художник не сумел

найти столь чистый и пленительный контур, столь легкую юную красоту. Прасковия выглядела еще более соблазнительной, чем тогда, во Флоренции, на вилле Сальвиати. Если бы Октав уже не был безумно влюблен, он неизбежно влюбился бы сейчас, но, к счастью, к бесконечности трудно что-либо добавить.

Увидев эту картину, Октав-Лабинский почувствовал, как ноги его подкосились, а колени обмякли, словно перед ним открылось устрашающее зрелище. Во рту у него пересохло, волнение сжало горло, точно рука тхуга[18], а перед глазами заплясали красные языки пламени.

Понимая, что законный супруг, сколь бы ни был он влюблен в свою жену, покажется смешным, если выкажет неуверенность и глупость, точно отвергнутый любовник, Октав призвал на помощь все свое мужество и решительно приблизился к графине.

— Ах, это вы Олаф! Как вы поздно сегодня! — Не оборачиваясь, так как ее голову удерживали причесывавшие ее горничные, Прасковия протянула мужу прекрасную руку, высвободив ее из складок бурнуса.

Октав-Лабинский принял эту ручку, которая была свежее и нежнее цветка, поднес к губам и запечатлел на ней долгий, жгучий поцелуй — вся его душа сосредоточилась на этом маленьком пятачке.

Не знаем, какое тончайшее чувство, какой инстинкт божественной чистоты, какая неосознанная интуиция сердца предостерегли графиню, но внезапно розовое облачко окутало ее личико, шею и руки, и они приобрели тот оттенок, который принимает снег на высоких горных вершинах при первом поцелуе солнца. Она вздрогнула и медленно высвободила руку, возмутившись и смутившись одновременно, — губы Октава обожгли ее, будто раскаленное клеймо. Однако вскоре она пришла в себя и улыбнулась, как ребенок.

— Вы молчите, Олаф, а ведь я не видела вас целых шесть часов. Вы пренебрегаете мной, — укоризненно промолвила она, — прежде вы никогда не оставляли меня одну на целый вечер. Вы хотя бы думали обо мне?

— Все время, — ответил Октав-Лабинский.

— О нет, не все время. Где бы вы ни были, я всегда чувствую, думаете вы обо мне или нет. Нынче вечером, например, я была одна, играла на пианино что-то из Вебера[19] — хотела музыкой развеять скуку. Ваша душа несколько минут витала вокруг меня в звонком вихре нот, но при последнем аккорде улетела, не знаю куда, и больше не возвращалась. Не спорьте со мной, я знаю, что говорю.

Прасковия и в самом деле не обманывалась: это случилось в тот момент, когда у доктора Бальтазара Шербонно граф Олаф Лабинский склонился над чашей с волшебной водой, сосредоточив все силы своего воображения на любимом образе. После этого граф, погруженный в безбрежный

океан магнетического сна, уже не владел ни своими мыслями, ни чувствами, ни волей.

Горничные, закончив ночной туалет графини, удалились, а Октав-Лабинский по-прежнему стоял и смотрел на Прасковию жгучим взглядом. Смущенная и опаленная этим взглядом, графиня запахнула бурнус, словно Полигимния[20] свои одеяния. Только личико, очаровательное, но обеспокоенное, выглядывало из бело-голубых складок.

Хотя никто, будь он сама проницательность, не смог бы догадаться о тайном переселении душ, произведенном доктором Бальтазаром Шербонно при помощи заклинания санньяси Брахма-Логума, Прасковия не находила в глазах Октава-Лабинского обычного для своего мужа выражения глаз, светившихся чистой, тихой, ровной любовью, вечной, как любовь ангелов. Земная страсть пылала в его взоре, он смущал ее и заставлял краснеть. Она не понимала, что именно произошло, но не сомневалась: случилось что-то страшное. Тысячи предположений мгновенно пронеслись в ее голове: неужели отныне она для Олафа просто красивая женщина, и он вожделеет ее, точно куртизанку? Высшая гармония их душ нарушилась из-за какого-то неведомого ей диссонанса? Олаф полюбил другую? Порочные нравы Парижа замарали его целомудренное сердце? Не найдя ни одного удовлетворительного ответа, графиня решила, что сошла с ума, хотя в глубине души чувствовала, что права. Неизъяснимый ужас завладел ею, как будто рядом притаилась угроза — скрытая для глаз, но различимая тем вторым зрением души, которым мы обыкновенно пренебрегаем.

Взволнованная, испуганная, она встала и направилась к двери своей спальни. Мнимый граф следовал рядом, обняв ее за талию, как Отелло обнимает Дездемону при каждом своем выходе в пьесе Шекспира. У порога Прасковия повернулась к нему, замерла на мгновение, бледная и холодная, словно статуя, затем, бросив полный смятения взгляд, впорхнула в комнату, быстро захлопнула дверь и заперла ее на задвижку.

— Глаза Октава! — воскликнула она и в полуобморочном состоянии рухнула на козетку[21]. Придя в себя, она подумала: «Как может быть, что это выражение, которого я никогда не забуду, нынче вечером сверкает в глазах Олафа? Откуда этот мрачный, отчаянный огонь в зрачках моего мужа? Может быть, Октав умер? И его душа засияла на мгновение передо мною, чтобы попрощаться, прежде чем покинуть землю? Олаф! Олаф! Если я ошиблась, если уступила напрасным страхам, ты простишь меня, но, приняв тебя нынче вечером, я чувствовала бы, что изменяю тебе».

Графиня убедилась, что дверь крепко заперта, зажгла свет, съежилась в постели, подобно напуганному ребенку, охваченному ночными страхами, и заснула только под утро: странные, бессвязные сны мучили ее. Горящие глаза — глаза Октава — смотрели на нее в упор из толщи тумана, ис-

пуская огненные лучи, черная сморщенная фигура сидела на корточках у изножья ее кровати, бормоча слова на незнакомом языке. Граф Олаф тоже появился в этом кошмарном сне, но он был одет в какое-то чужое платье.

Не будем и пытаться описать разочарование Октава, когда он оказался перед закрытой дверью и услышал лязг задвижки. Его последняя надежда рухнула! Как! Он прибег к ужасному, противоестественному средству, отдался во власть чудодея, быть может, даже демона, рискуя жизнью в мире земном и душою в мире потустороннем, чтобы завоевать женщину, и она была уже у него в руках, но, несмотря на индийское колдовство, ускользнула! Отвергнутый как любовник, теперь он был отвергнут как муж — непобедимое целомудрие Прасковии одержало верх над самыми адскими махинациями. На пороге спальни она показалась ему белым ангелом Сведенборга[22], испепеляющим злого духа.

Чтобы не оставаться всю ночь в смехотворном положении, Октав принялся искать покои графа и в конце длинной анфилады нашел комнату, где возвышалась кровать с эбеновыми балясинами и тяжелым пологом, на котором узоры и арабески перемежались с гербами. Собрание восточного оружия, рыцарские доспехи и шлемы при свете лампы отбрасывали рассеянный свет на стены, обитые богемской кожей[23] с золотым тиснением. Три или четыре больших резных кресла и такой же сундук дополняли эту обстановку в чисто феодальном вкусе, которая, казалось, перенесена сюда из средневекового замка, но для графа она была не легкомысленным подражанием моде, а благоговейной данью памяти. Эта комната в точности воспроизводила ту, в которой жила его мать, и, хотя над спальней графа многие подсмеивались, называя декорацией пятого акта[24], он наотрез отказывался что-либо менять.

Октав-Лабинский, опустошенный от усталости и переживаний, бросился на кровать и заснул, проклиная доктора Бальтазара Шербонно. К счастью, утро принесло ему более радостные мысли, он решил в дальнейшем вести себя сдержаннее, пригасить пламя своего взгляда и научиться супружеским манерам. С помощью графского камердинера[25] он тщательно умылся и оделся, а затем спокойным шагом направился в столовую, где госпожа графиня ожидала его к завтраку.

Глава X

Октав-Лабинский следовал по пятам за камердинером, так как понятия не имел, где в этом доме, хозяином которого он как будто являлся, находится столовая. Столовая — просторная зала на первом этаже — вы-

ходила окнами во двор и была выдержана в благородном и строгом стиле, напоминавшем одновременно старинный замок и аббатство. Темно-коричневая дубовая обшивка насыщенных теплых тонов, симметрично разделенная на глухие панели и отделения с полками, покрывала стены от пола до потолка. Выступающие резные балки образовывали на потолке шестиугольные кессоны голубого цвета с легкими золотыми арабесками. В удлиненных настенных панно Филипп Руссо[1] символически изобразил четыре времени года, но не в виде мифологических персонажей, а в виде плодов, собираемых в разные месяцы. Эти натюрморты Руссо дополнялись картинами с разнообразной дичью кисти Жадена[2], и над каждым полотном сверкали, точно круглые щиты, огромные блюда из японского фарфора, майолики или арабской глины[3], расписанные Бернаром Палисси[4] или Леонаром де Лиможем[5], — они были покрыты лаком, отливающим всеми цветами радуги. Чучела оленьих голов и рога туров перемежались с фарфором. В двух концах залы стояли высокие, словно алтари в испанских храмах, горки, такой искусной формы и с такой резьбой, что могли соперничать с самыми прекрасными работами Берругете[6], Корнехо Дуке[7] и Вербрюгтена;[8] на их выдвижных полках скромно поблескивало фамильное серебро Лабинских, кувшины для воды с ручками в виде химер, старомодные солонки, кубки, чаши, большие вазы, изогнутые в соответствии с причудливой германской фантазией и достойные того, чтобы храниться в Дрездене, в сокровищнице Зеленые Своды[9]. Напротив старинного серебра сверкали чудесные произведения современных ювелиров, шедевры Вагнера, Дюпоншеля, Рудольфи, Фромен-Мёриса[10], чайные сервизы из позолоченного серебра с фигурками Фёшера[11] и Вехте[12], черненые серебряные блюда, ведерки для шампанского с ручками в виде виноградной лозы и с барельефами, изображавшими вакханалии, настольные жаровни, изящные как треножники из Помпей[13], не говоря уже о богемском хрустале, венецианском стекле[14], старинных саксонских и севрских сервизах[15].

Вдоль стен выстроились дубовые стулья, обтянутые зеленым сафьяном. На стол с резными ножками в виде орлиных лап лился ровный и чистый рассеянный свет, проникавший сквозь матовое белое стекло, вставленное в центральный потолочный кессон. Прозрачная гирлянда из виноградных листьев обрамляла своими зелеными листьями это молочное панно.

На столе, сервированном по-русски, уже стояли фрукты, окруженные венком из фиалок, в ожидании ножей под полированными металлическими крышками, блестевшими, как шлемы эмиров, томилась еда, московский самовар со свистом испускал струю пара. Два прислужника в коротких штанах и белых галстуках неподвижно и молча застыли, словно статуи, позади кресел, стоявших у противоположных концов стола.

Октав быстрым взглядом охватил все эти детали, боясь выдать себя невольным интересом к предметам, которые, как предполагалось, ему давно знакомы.

Звук легких шагов и шорох тафты заставили его обернуться. Графиня Лабинская прошла мимо него и села напротив, дружески кивнув в знак приветствия.

На ней был шелковый пеньюар в бело-зеленую клетку, отделанный ажурными рюшами из той же ткани. Волосы, разделенные на пробор и завитые в пышные мелкие локоны около висков, сзади были свиты в золотой шнур, похожий на завиток ионической капители; эта прическа была столь же проста, сколь благородна, – ни один греческий ваятель не посмел бы внести в нее даже мелкой поправки. Розовое личико несколько побледнело от вчерашних переживаний и тревожной ночи. Едва уловимые перламутровые тени залегли вокруг обыкновенно спокойных и ясных глаз графини; у нее был утомленный и немного печальный вид, но, смягченная таким образом, красота Прасковии стала лишь проникновенней, приобрела нечто человеческое: богиня стала женщиной, ангел, сложив крылья, спустился с небес на землю.

Октав, на сей раз более осторожный, притушил пламя очей и спрятал свое немое восхищение под маской безразличия.

Графиня утопила ножки, обутые в домашние туфли из красно-коричневой кожи с золотым отливом, в теплом и мягком шерстяном коврике, которым была прикрыта мозаика из холодного белого мрамора и веронской брекчии[16], служившая полом, и слегка повела плечами, словно поежившись от последнего утреннего озноба. Затем, пристально посмотрев небесно-голубыми глазами на своего сотрапезника, которого теперь, когда дневной свет развеял ночные предчувствия, страхи и призраки, принимала за мужа, и ласковым и мелодичным голосом, полным целомудренной кротости, сказала несколько слов по-польски!!! С графом она говорила на этом дорогом их сердцу языке в минуты нежности и близости, особенно в присутствии французской прислуги.

Парижанин Октав знал латынь, итальянский, испанский, несколько слов по-английски, но, как и все французы, ничего не смыслил в славянских языках. Частокол из согласных, стоящий на защите редких польских гласных, не позволил ему даже приблизиться к этому языку, когда он попытался познакомиться с ним хотя бы поверхностно. Во Флоренции графиня всегда говорила с ним по-французски и по-итальянски, ему и в голову не пришло выучить язык, с помощью которого Мицкевич почти сравнялся с Байроном[17]. Всего не предусмотришь!

В голове графа, где теперь обитало «я» Октава, началось нечто странное: звуки, чуждые парижанину, пройдя все извивы славянского уха, до-

стигли привычного закутка, в котором прежде душа Олафа принимала их, чтобы, поняв, превратить в мысли, и пробудили своего рода физическую память. Октав чувствовал, что смысл этих звуков где-то близко; слова, спрятанные в извилинах головного мозга, в тайниках памяти, зашумели в голове, совсем готовые к ответу; но вскоре расплывчатые воспоминания, не найдя контакта с сознанием, рассеялись, и все снова стало мутным. Замешательство бедного влюбленного было ужасающим; натягивая на себя кожу графа Олафа Лабинского, он не подумал о возможных осложнениях и только теперь осознал, что кража чужой внешности чревата жестокими испытаниями.

Прасковия, удивленная молчанием Октава, решила, что он не расслышал ее слов, потому что отвлекся или замечтался, и медленно и громко повторила свой вопрос.

Лучше различив звуки, мнимый граф по-прежнему не разобрал их смысла; он делал отчаянные усилия, чтобы разгадать, о чем идет речь; но языки Севера совершенно непонятны для тех, кто ими не владеет, француз может догадаться о том, что говорит итальянка, но, слушая речь польки, он останется глух. Помимо воли жаркий румянец залил щеки Октава, он прикусил губу и, чтобы скрыть свои чувства, яростно набросился с ножом на то, что лежало у него на тарелке.

— Дорогой, можно подумать, — промолвила графиня по-французски, — что вы меня не слышите или не понимаете...

— В самом деле, — пробормотал Октав, уже не соображая, что говорит, — этот чертов язык так труден!

— Труден! Наверное, да, для иностранцев, но у того, кто лепетал на нем первые слова, сидя на коленях матери, он слетает с губ, как дыхание, как сама мысль.

— Да, несомненно, но порой мне кажется, что я перестал его понимать.

— Что я слышу, Олаф? Как? Вы забыли язык ваших предков, язык святой родины, язык, благодаря которому вы отличаете своих братьев от всех прочих людей, и, — добавила она тише, — язык, на котором вы в первый раз сказали, что любите меня!

— Я отвык от него, — рискнул признаться Октав-Лабинский, исчерпав все разумные доводы.

— Олаф, — с упреком промолвила графиня, — вижу, Париж испортил вас, я была права, когда не хотела сюда ехать. Кто бы мне сказал, что граф Лабинский, вернувшись отсюда в свои владения, не сумеет ответить на приветствия своих соотечественников?

Очаровательное личико Прасковии болезненно исказилось. Впервые печаль набросила тень на ее чистое, как у ангела, чело. Этот странный про-

вал в памяти оскорбил ее до глубины души, он казался ей чуть ли не предательством.

Завтрак закончился в молчании. Прасковия дулась на того, кого принимала за графа. Октав невыносимо страдал, так как боялся новых расспросов, которые он вынужден будет оставить без ответа.

Графиня встала из-за стола и удалилась в свои покои.

Октав, оставшись один, крутил в руках нож. Ему очень хотелось вонзить его в сердце, ибо положение его стало безнадежным: он рассчитывал на обман, а теперь запутался в тонкостях жизни, которой не знал. Вместе с телом графа Лабинского ему следовало украсть все знания, все языки, которыми тот владел, все воспоминания детства, тысячу интимных деталей, которые составляют «я» человека, а также нити, связующие его жизнь с жизнью других людей, но даже доктор Бальтазар Шербонно был бессилен помочь ему в этом. С ума сойти! Попасть в рай, на порог которого он не осмеливался взглянуть даже издалека, быть под одной крышей с Прасковией, видеть ее, говорить с ней, целовать ее прекрасную руку губами ее собственного мужа — и при этом не мочь обмануть ее неземное целомудрие и выдавать себя на каждом шагу какой-нибудь дурацкой оплошностью! «Это судьба! Прасковия никогда не полюбит меня, хотя я принес самую большую жертву, на какую способна человеческая гордыня: я отказался от собственного “я” и был готов принять под чужим обличием ласки, предназначенные другому!»

Его внутренний монолог прервал грум; склонившись в самом почтительном поклоне, он спросил, на какой лошади граф намерен выехать сегодня...

Не дождавшись ответа, грум, в ужасе от собственной дерзости, осмелился прошептать:

— Вультур или Рустам? Они не выходили уже целую неделю...

— Рустам, — ответил Октав. Он мог точно так же сказать «Вультур», но последнее имя лучше отпечаталось в его занятой другими заботами голове.

Он оделся для верховой прогулки и отправился в Булонский лес, решив остудить расшалившиеся нервы.

Рустам, великолепный чистокровный конь неджской породы, который нес на своей груди в шитом золотом бархатном мешочке благородные титулы, берущие начало в первых годах после хиджры[18], не нуждался в командах. Казалось, ему ведомы все мысли всадника, и, едва ступив с мостовой на землю, он пустился стрелой, хотя Октав не пришпоривал его. После двух часов сумасшедшей скачки наездник и конь вернулись в особняк, один — успокоившись, другой — дымясь и с покрасневшими ноздрями.

Мнимый граф направился к графине, которую нашел в гостиной, одетую в белое платье из тафты с воланами до самой талии и с бантом возле уха: был четверг — день, когда она не выходила, но принимала визиты.

— Ну как, — спросила она с очаровательной улыбкой, ибо обида надолго не задерживалась на ее прекрасных губах, — вы догнали вашу память на аллеях парка?

— Господи, нет, дорогая, — ответил Октав-Лабинский, — и мне надо кое в чем признаться.

— Разве мне не известны заранее все ваши мысли? Разве между нами появились тайны?

— Вчера я ходил к доктору, о котором так много говорят.

— Да, доктор Бальтазар Шербонно, который провел долгое время в Индии и, по слухам, перенял у брахманов тысячу секретов, один чудеснее другого. Вы даже хотели привести его ко мне, но я не любопытна, я знаю, что вы любите меня, а большего мне не надо.

— Он показал мне такие странные эксперименты, проделал такие чудеса, что я до сих пор не могу опомниться. Этот чудной человек, обладающий невероятной властью, погрузил меня в глубокий магнетический сон, и, проснувшись, я обнаружил, что утратил часть моих способностей: я много чего забыл, прошлое плавало в мутном тумане, только моя любовь к вам осталась незыблемой.

— Вы совершили ошибку, Олаф, поддавшись влиянию этого доктора. Только Бог, сотворивший душу, имеет право коснуться ее. Если это делает человек, то он святотатствует, — строгим голосом произнесла графиня Прасковия Лабинская. — Надеюсь, вы больше не вернетесь туда и, если я скажу вам что-нибудь приятное по-польски, вы меня поймете, как раньше.

Во время прогулки Октав придумал это объяснение, чтобы оправдать все промахи, которые он будет допускать в своей новой жизни, но, оказалось, трудности еще не закончились. Слуга, распахнув створку двери, доложил о госте:

— Господин Октав де Савиль.

Хотя настоящий Октав знал, что встреча неизбежна, он побледнел, услышав эти простые слова, так, будто у него над ухом затрубили трубы Страшного суда. Дабы не пошатнуться, ему пришлось призвать на помощь все свое мужество и вспомнить, что в сложившейся ситуации преимущество на его стороне; он невольно вонзил ногти в спинку козетки и таким образом удержался на ногах с твердым и спокойным видом.

Граф Олаф в обличии Октава приблизился к графине и низко поклонился.

— Господин граф Лабинский... Господин Октав де Савиль... — Графиня представила мужчин друг другу.

Они холодно приветствовали один другого, бросая дикие взгляды сквозь маски ледяной светской учтивости, под которыми так часто скрываются жестокие страсти.

— Вы сердились на меня после Флоренции, господин Октав, — по-дружески просто сказала графиня, — я боялась, что уеду из Парижа, так и не повидав вас. Вы были более частым гостем на вилле Сальвиати, я числила вас среди моих верных друзей.

— Сударыня, — натянутым тоном ответил мнимый Октав, — я путешествовал, страдал от тоски, даже болел и, получив ваше любезное приглашение, долго сомневался, воспользоваться ли им, ибо нельзя быть эгоистом и злоупотреблять снисходительностью, которую так часто выказывают скучным людям.

— Скучающим, может быть, но не скучным, нет, — возразила графиня. — Вы никогда не отличались веселым нравом, но разве не один из ваших поэтов сказал о меланхолии: «После праздности это наименьшее из зол»?[19]

— Так говорят о меланхолии только счастливые люди, дабы избавить себя от необходимости жалеть тех, кто ею страдает.

Графиня бросила на графа, заключенного в форму Октава, взгляд, полный невыразимой нежности, будто прося прощения за любовь, которую она ему внушила против собственной воли.

— Вы считаете меня более легкомысленной, чем я есть на самом деле, всякое подлинное страдание находит во мне сочувствие. Я хочу, чтобы вы были счастливы, дорогой господин Октав, но почему вы замкнулись в вашей печали, упорно отворачиваетесь от жизни, которая просится к вам в руки со всеми своими дарами, радостями и обязанностями? Почему вы отказались от дружбы, которую я вам предлагала?

Эти простые и откровенные слова произвели на слушателей разное впечатление. Октав услышал в них подтверждение тому, что было сказано на вилле Сальвиати этими же губами, которых никогда не касалась ложь. Олаф черпал в них еще одно доказательство несокрушимой добродетели своей жены, которую не сломило даже дьявольское наваждение. Внезапная ярость охватила его, когда он взглянул на своего двойника, одушевленного чужой душой и поселившегося в его собственном доме. Он набросился на мнимого графа и вцепился ему в глотку:

— Вор, грабитель, негодяй, отдай мне мою кожу!

Это из ряда вон выходящее происшествие вынудило графиню позвонить, и лакеи оттащили гостя от графа.

— Бедный Октав сошел с ума! — сказала графиня, когда уводили отчаянно отбивавшегося Олафа.

— Да, — согласился настоящий Октав, — сошел с ума от любви! Графиня, определенно, вы слишком прекрасны!

Глава XI

Через два часа после этой сцены граф мнимый получил от графа подлинного письмо, скрепленное печатью Октава де Савиля, — бедняга, лишенный всего, чем владел, не имел других в своем распоряжении. Странное чувство испытал узурпатор его имущества, вскрывая послание со своим собственным гербом, а впрочем, в этой ситуации все было более чем странным.

Послание, начертанное неловкой рукой и почерком, похожим на поддельный, поскольку Олаф не привык писать пальцами Октава, гласило:

> Всякий, кто прочтет это письмо, решит, что оно отправлено из Петит-Мезон[1], и только Вы меня поймете. Необъяснимое стечение роковых обстоятельств, какого, возможно, не случалось с тех пор, как Земля вращается вокруг Солнца, вынуждает меня делать то, что никто и никогда не делал. Я пишу самому себе и адресую письмо на имя, принадлежащее мне, имя, которое Вы украли вместе с моим телом. Я не ведаю, жертвой каких темных махинаций я стал, в круг каких адских наваждений я вступил, но Вы, несомненно, знаете все. Если Вы не трус, то дуло моего пистолета или острие моей шпаги попросят Вас открыть этот секрет там, где любой честный или бесчестный человек отвечает на поставленные перед ним вопросы: завтра для одного из нас солнечный свет должен померкнуть навсегда. Этот необъятный мир стал слишком тесен для нас двоих: я убью свое тело, в котором поселился Ваш самозваный разум, или Вы убьете Ваше тело, в котором заточена моя возмущенная душа. Не пытайтесь выдать меня за сумасшедшего, я найду в себе мужество быть разумным и везде, где Вас встречу, буду оскорблять Вас с учтивостью джентльмена и хладнокровием дипломата. Господину Октаву де Савилю могут не понравиться усы господина Олафа Лабинского, он будет каждый раз наступать ему на ногу у выхода из Оперы, но, надеюсь, это не потребуется. Мои слова, пусть и невнятные, не пропадут втуне, и мои секунданты прекрасно договорятся с Вашими о месте, часе и условиях дуэли.

Письмо привело Октава в глубокое замешательство. Он не мог не ответить на вызов графа, и, однако, ему было отвратительно драться с самим собой, поскольку он сохранил довольно нежные чувства к своей прежней оболочке. Дожидаться публичного оскорбления тоже не хотелось, и он решил принять вызов. Конечно, в крайнем случае мнимый граф мог бы надеть на своего противника смирительную рубашку и таким образом связать ему руки, но насилие было отвратительно его деликатной натуре. Увлеченный неодолимой страстью, Октав действительно совершил неблаговидный поступок, ибо скрыл любовника под маской супруга, желая восторжествовать над добродетелью, которая не поддавалась никакому обольщению, но при этом он не был лишен чести и мужества. Он решился на крайние меры после трех лет борьбы и страданий, когда жизнь, изнуренная любовью, уже покидала его. Он не знал графа, не числился среди его друзей, не был ему ничем обязан и лишь воспользовался случайно подвернувшимся средством, которое предложил доктор Бальтазар Шербонно.

Где искать секундантов? Разумеется, среди друзей графа, но Октав за тот единственный день, что провел в особняке, еще не успел с ними познакомиться.

На камине стояли две круглые селадоновые чаши[2] с ручками в виде золотых драконов. В одной лежали кольца, булавки, печатки и прочие мелочи, в другой — визитные карточки, где под гербами герцогов, маркизов и графов готическим, округлым или английским шрифтом[3] ловкие граверы начертали множество польских, русских, венгерских, немецких, итальянских и испанских имен, свидетельствовавших о кочевой жизни графа, имевшего друзей во многих странах.

Выбрав наугад две карточки, графа Замоецкого и маркиза де Сепульведы, Октав приказал заложить карету и отвезти себя к ним. Он застал дома и первого, и второго. Они, казалось, не удивились просьбе того, кого принимали за графа Олафа Лабинского. Чуждые сентиментальности, присущей секундантам-мещанам, они не стали интересоваться, нельзя ли уладить дело, и, будучи людьми благородными, не задавали щекотливых вопросов относительно причины ссоры.

Со своей стороны, подлинный граф, или, если угодно, мнимый Олаф, оказался перед той же проблемой, но, вспомнив об Альфреде Умбере и Гюставе Рембо, на обед к которому отказался пойти, он уговорил их оказать ему услугу. Молодые люди слегка удивились, что их друг, который почти год не покидал своего дома и чей нрав был скорее миролюбивым, чем воинственным, оказался вовлеченным в дуэль, но, услышав, что речь идет о жизни и смерти и что причину поединка их друг разгласить не вправе, воздержались от расспросов и отправились в особняк Лабинских.

Вскоре условия были обговорены. Монета, подброшенная вверх, решила вопрос об оружии, поскольку противники заявили, что им одинаково подходят и шпага, и пистолет. Следовало явиться в шесть часов утра в Булонский лес, на проспект Пото[4], туда, где на неотесанных подпорках стоит соломенная кровля. Там было место, свободное от деревьев, а утрамбованный песок служил хорошей ареной для поединков такого рода.

Когда все уладилось, было уже около полуночи, и Октав направился к Прасковии. Ее спальня, как и накануне, оказалась заперта, только насмешливый голос графини сообщил ему из-за двери:

— Приходите, когда вспомните польский, я слишком большая патриотка, чтобы принимать у себя иностранца.

Утром приехал доктор Бальтазар Шербонно, предупрежденный Октавом; он привез с собой укладку с хирургическим инструментом и сверток с бинтами. Они сели в карету. Господа Замоецкий и Сепульведа ехали следом в другом экипаже.

— Ну как, мой дорогой Октав, — заговорил доктор, — приключение превращается в трагедию? Надо было мне на недельку оставить графа спать в вашем теле на моем диване. Мне случалось продлевать магнетический сон и на более долгий срок. Но сколько ни изучай мудрость брахманов и санньясинов в Индии, всегда что-нибудь да упустишь, и в самом хитроумном плане находятся изъяны. И все же... как графиня Прасковия встретила своего флорентийского влюбленного, переодетого столь хитрым образом?

— Похоже, — ответил Октав, — она узнала меня, несмотря на превращение, или же ангел-хранитель нашептал ей на ушко не доверять мне. Я нашел ее целомудренной, холодной и чистой, как полярный снег. В теле любимого мужа ее утонченная душа, несомненно, почувствовала чужую душу. Я ведь говорил вам, что вы не можете ничего сделать для меня, сейчас я еще более несчастен, чем когда вы пришли ко мне в первый раз.

— Кто может постичь пределы возможностей души, — задумчиво промолвил доктор Шербонно, — особенно когда душа эта не испорчена земными страстями, не запятнана людской грязью и остается такой, какой вышла из рук Создателя — в свете и любви? Да, вы правы, она вас узнала; ее ангельская душа затрепетала под взглядом, полным желания, и инстинктивно закрылась своими белыми крылами. Мне жаль вас, мой бедный Октав! Ваша болезнь в самом деле неизлечима. Если бы мы жили в Средние века, я посоветовал бы вам уйти в монастырь.

— Я и сам часто думал об этом, — признался Октав.

Приехали. Экипаж мнимого Октава уже стоял в назначенном месте.

В этот утренний час лес был поистине живописен, тогда как днем его красота теряется за наплывом праздных людей. Стояла та летняя пора,

когда солнце еще не успело притушить яркую зелень листвы; чистые, прозрачные краски расцвечивали умытые ночной росой купы деревьев, и все благоухало свежестью. Деревья в этой части леса были особенно прекрасны, то ли потому, что почва здесь весьма богата, то ли потому, что они сохранились от старого сада; их толстые, покрытые мхом или гладкой серебристой корой стволы, цеплявшиеся за землю узловатыми корнями, раскидывали причудливо извилистые кроны; они вполне могли бы послужить натурой для художников или декораторов, которые отправляются в дальние края на поиски куда менее примечательных пейзажей. Несколько пташек, чьи голоса смолкают к полудню, весело щебетали в листве; кролик, которого никогда не увидеть днем, в три прыжка пересек песок аллеи и поспешно укрылся в траве, напуганный шумом колес.

Однако, как вы понимаете, красоты природы, застигнутой в утреннем дезабилье[5], мало интересовали двух соперников и их секундантов.

Появление доктора Бальтазара Шербонно произвело неприятное впечатление на графа Олафа Лабинского, но он быстро взял себя в руки.

Проверили длину шпаг, обозначили места для противников, и они, раздевшись до сорочек, встали друг против друга, скрестив шпаги.

Секунданты крикнули: «Начинайте!»

Во всякой дуэли, каково бы ни было ожесточение соперников, есть момент торжественной неподвижности: каждый молча изучает врага и составляет план, обдумывая атаку и готовясь к защите, затем шпаги начинают рыскать, распаляются, так сказать, ощупывают друг друга, не размыкаясь: это продолжается несколько секунд, которые кажутся вечностью и подпитывают тревогу свидетелей.

Условия этой дуэли, с виду совершенно нормальные, были столь странны для участников, что они оставались в этой позиции дольше обычного. В самом деле, каждый из них видел перед собой собственное тело и каждому предстояло вонзить сталь в плоть, которая совсем недавно принадлежала ему. Поединок осложнялся своего рода невольным самоубийством, и, хотя оба соперника отличались отвагой, Октав и граф испытывали инстинктивный ужас, оказавшись со шпагой в руке перед собственным призраком и готовясь броситься на самого себя.

Едва секунданты, потеряв терпение, еще раз крикнули: «Начинайте же, господа!» — как шпаги наконец сшиблись.

Вначале соперники по очереди атаковали один другого, и оба успешно защищались.

Граф, благодаря военной выучке, был отличным фехтовальщиком, он пронзал нагрудники самых известных мастеров, но если он и продолжал владеть теорией, то для ее воплощения у него больше не было той подвиж-

ной руки, что доставляла столько хлопот мюридам Шамиля: его шпагу сжимала слабая кисть Октава.

Напротив, Октав обнаружил в теле графа невиданную силу и, несмотря на неопытность, постоянно отводил от своей груди ищущий ее стальной клинок.

Напрасно Олаф силился достать противника и наносил самые неожиданные удары. Октав, более хладнокровный и сдержанный, разгадывал все его обманные движения.

Графом начала овладевать ярость, его движения стали нервными и беспорядочными. Пусть он навсегда останется Октавом де Савилем, он хотел непременно покончить с телом, которое могло обмануть Прасковию, одна эта мысль повергала его в неописуемое бешенство.

Рискуя получить смертельную рану, он попытался нанести удар справа, чтобы сквозь собственное тело достать до души и жизни своего соперника, но шпага Октава обвилась вокруг его шпаги таким быстрым, резким и уверенным движением, что клинок, вырванный из руки Олафа, взметнулся ввысь и упал на расстоянии нескольких шагов.

Жизнь Олафа была в распоряжении Октава, ему оставалось нанести один-единственный удар, чтобы поразить его. Лицо графа скривилось, но не от страха смерти, а от мысли, что он оставит жену в руках вора, которого никто уже не сможет разоблачить.

Октав был далек от того, чтобы воспользоваться своим преимуществом, он отбросил шпагу и, подав секундантам знак не вмешиваться, подошел к оторопевшему от изумления графу, взял его за руку и увлек в чащу леса.

— Что вам нужно? — возмутился граф. — Почему вы не убили меня, когда могли? Почему не продолжили схватку, не дали мне снова взять шпагу, если уж вам отвратительно убивать безоружного? Вы прекрасно знаете, что солнце не должно отбрасывать две наши тени на песок, нужно, чтобы земля поглотила одного из нас.

— Выслушайте меня спокойно, — попросил Октав. — Ваше счастье в моих руках. Я мог бы навсегда сохранить за собой тело, в котором сегодня нахожусь и которое по всем законам является вашей собственностью. С удовольствием признаю это теперь, когда рядом нет свидетелей, когда только птицы могут нас услышать, но они никому ничего не расскажут. Если мы продолжим дуэль, я убью вас. Граф Олаф Лабинский, которого я представляю по мере моих сил, сильнее в фехтовании, чем Октав де Савиль, чье тело сейчас является вашим, но которое я, к моему сожалению, буду вынужден уничтожить, и его смерть, пусть и не совсем настоящая, поскольку моя душа переживет его, огорчит мою мать.

Граф, признавая справедливость этих замечаний, хранил молчание, которое походило на согласие.

– Никогда, – продолжал Октав, – вам не удастся, если я стану оказывать сопротивление, вернуть вашу личность, вы же видите, чем окончились обе ваши попытки. Дальнейшие усилия приведут к тому, что вас сочтут маньяком. Никто не поверит ни одному вашему слову, и, когда вы станете утверждать, что вы граф Олаф Лабинский, весь свет рассмеется вам в лицо, в чем вы уже имели возможность убедиться. Вас упрячут в сумасшедший дом, и вы проведете остаток ваших дней под душем, крича, что на самом деле вы муж прекрасной графини Прасковии Лабинской. Слушая вас, добрые люди скажут: «Бедный Октав!», но вы так и останетесь непонятым, подобно бальзаковскому Шаберу, который хотел доказать, что он не умер[6].

Сказанное было так математически верно, что сраженный граф уронил голову на грудь.

– Поскольку сейчас вы – Октав де Савиль, то, несомненно, порылись в ящиках его стола, пролистали его бумаги и знаете, что вот уже три года он питает к графине Прасковии Лабинской безумную, безнадежную любовь, которую он напрасно пытался вырвать из своего сердца и которая покинет его только вместе с жизнью, если только не последует за ним в могилу.

– Да, я все знаю, – ответил граф, кусая губы.

– Так вот, чтобы приблизиться к ней, я прибегнул к ужасному, чудовищному средству, на которое могла решиться только безумная страсть. Доктор Бальтазар Шербонно пошел ради меня на то, от чего отступятся чудодеи всех времен и народов. Он усыпил нас обоих, а затем магнетическим образом заставил наши души поменяться местами. Напрасное чудо! Я верну вам ваше тело: Прасковия меня не любит! В теле мужа она распознала душу воздыхателя; ее взгляд похолодел на пороге супружеской спальни так же, как в саду на вилле Сальвиати.

В голосе Октава прозвучала такая искренняя и неподдельная печаль, что граф поверил его словам.

– Я влюблен, это правда, – добавил Октав с улыбкой, – но я не вор. И поскольку единственное, чего я желал на этом свете, не может мне принадлежать, к чему мне ваши титулы, замки, владения, деньги, лошади, оружие? Давайте пожмем друг другу руки, сделаем вид, что помирились, поблагодарим наших секундантов, возьмем доктора Шербонно и вернемся в его волшебную лабораторию, из которой мы вышли преображенными. Старый брахман сумеет исправить то, что сделал... Господа, – сказал Октав, оставив за собой еще на несколько минут роль графа Лабинского, – мы, мой противник и я, объяснились и пришли к согласию, которое делает

бессмысленным продолжение боя. Ничто так не способствует взаимопониманию между честными людьми, как небольшое упражнение в фехтовании.

Секунданты попрощались и разъехались по домам. Граф Олаф Лабинский, Октав де Савиль и доктор Шербонно поспешили на улицу Регар.

Глава XII

По пути из Булонского леса на улицу Регар Октав де Савиль обратился к Бальтазару Шербонно:

— Дорогой доктор, я еще раз подвергну испытанию вашу науку: надо вернуть наши души на их привычные места. Это не должно составить вам труда, и, я надеюсь, господин граф Лабинский не станет сердиться на вас за то, что вы заставили его сменить дворец на хижину, за то, что его достойнейшей душе пришлось пожить несколько часов в моей скромной шкуре. Впрочем, вы обладаете таким могуществом, что можете не бояться ни гнева, ни мести.

Доктор Шербонно кивнул в знак согласия и произнес:

— Эта процедура пройдет гораздо проще, чем в первый раз: неосязаемые нити, которые связуют душу с телом, были порваны у вас недавно и еще не успели срастись с новыми телами, ваша воля не станет тем препятствием, каковым обычно является для магнетизера инстинктивное сопротивление магнетизируемого. Господин граф, несомненно, простит ученого старца за то, что он не устоял перед соблазном осуществить сей эксперимент, добровольцев для которого мало, простит, поскольку эта попытка привела лишь к тому, что блестяще подтвердила добродетель его супруги, чья интуиция восходит до проницательности и торжествует там, где всякая другая женщина потерпела бы поражение. Извольте отнестись к этому мимолетному превращению как к странному сну, и когда-нибудь, возможно, вы улыбнетесь при воспоминании о чудесном ощущении, которое мало кому из людей удалось испытать, о том, как вы жили в двух телах. Метемпсихоза — не новое учение[1], но, прежде чем переселиться в новое тело, души пьют из чаши забвения, и никто не может, подобно Пифагору, вспомнить, что он участвовал в обороне Трои[2].

— Если вы будете столь любезны, что вернете мне прежнее тело, — вежливо ответил граф, — это возместит неудобства, связанные с его похищением, и я не стану держать зла на господина Октава де Савиля, которым я пока являюсь и которым скоро перестану быть.

Губами графа Лабинского Октав улыбнулся этим словам, которым пришлось проникнуть сквозь чужую оболочку, чтобы достичь адресата,

и все трое умолкли, поскольку исключительная странность ситуации не располагала к разговорам.

Бедный Октав думал о своей испарившейся надежде, и его мысли, надо признать, не были окрашены в розовый цвет. Как все отвергнутые влюбленные, он снова и снова спрашивал себя, почему его не любят, как если бы любовь знала, почему! Единственный ответ, который можно получить на этот трудный вопрос, — *потому*, ответ краткий и единственно возможный. Октав признавал свое поражение: пружина жизни, на какой-то момент натянутая доктором Шербонно, лопнула и теперь позвякивала в его сердце, как в часах, упавших на пол. Октав не хотел самоубийством причинять горе матери, он искал место, где мог бы тихо угаснуть от неведомой тоски, обозначаемой научным термином «*болезнь благовидная*»[3]. Будь он художником, поэтом или музыкантом, он излил бы свою боль в шедевре, и Прасковия в белых одеждах и венце из звезд, подобно Беатриче[4], сияющим ангелом витала бы над его вдохновением. Но, как мы уже говорили в начале нашей истории, Октав при всей его образованности и утонченности не относился к тем избранным гениям, которые оставляют след в искусстве. Душа тихая и возвышенная, он мог лишь любить и умереть.

Карета въехала в ворота старого особняка на улице Регар. Двор порос зеленой травой, в которой посетители протоптали дорожку. Серые стены внутренних построек наполняли его холодными тенями, похожими на тени в галереях монастыря: тишина и покой, словно две невидимые статуи, стояли на пороге, дабы ничто не нарушало ход размышлений ученого.

Октав и граф быстро соскочили с подножки. Доктор преодолел ступеньки более расторопно, чем можно было ожидать от человека его возраста, даже не взглянув на руку, которую лакей предложил ему с той учтивостью, какую слуги из богатых домов выказывают людям слабым и пожилым.

Двойные двери закрылись за ними, и тут же Олаф и Октав почувствовали, как их обволакивает жара, напоминавшая доктору об Индии, зной, в котором он свободно дышал и задыхались все, кто не прокаливался тридцать лет под солнцем тропиков. Инкарнации Вишну по-прежнему кривлялись в своих рамах: при свете дня они казались еще более дикими, чем при мерцании свечей. Шива, синий бог, ухмылялся на своей подставке, а Дурга, закусившая мозолистую губу обезьяньими зубами, казалось, трясет своей гирляндой из черепов[5]. Жилище врачевателя, как прежде, хранило печать таинственности и колдовства.

Доктор Бальтазар Шербонно проводил двух своих подопытных туда, где произошло первое перевоплощение. Он раскрутил стеклянный диск электрической машины, потряс железные стержни в месмеровском баке, распахнул отдушники, с тем чтобы как можно скорее повысить темпера-

туру в зале, прочел две-три строчки из папируса, такого древнего, что он походил на старую кору, готовую рассыпаться в прах, и по прошествии нескольких минут сказал Октаву и графу:

— Господа, я в вашем распоряжении. Желаете приступить?

Пока доктор занимался приготовлениями, тревожные мысли проносились в голове графа: «Когда я усну, что сделает с моей душой эта старая макака? Кто знает, может, он сам дьявол во плоти и хочет забрать ее в преисподнюю? Этот обмен, который должен вернуть мне все мое достояние, не окажется ли он новой ловушкой, макиавеллиевской комбинацией ради нового трюка, цель которого мне не ведома? Впрочем, хуже уже не будет. Октав владеет моим телом, и, как он справедливо заметил сегодня утром, если я в моем нынешнем обличье стану доказывать, что он вор, меня упрячут в дом для умалишенных. Если бы он хотел раз и навсегда избавиться от меня, он мог это сделать одним движением шпаги, я был безоружен, целиком в его власти — суд людской не усмотрел бы в этом ничего предосудительного: по форме дуэль соответствовала правилам, все происходило согласно обычаю. Ну же! Долой детские страхи, подумаем лучше о Прасковии! Испробуем последнее средство, чтобы отвоевать ее!»

И он взялся, как и Октав, за железный стержень, на который указал ему Бальтазар Шербонно.

Получив через металлические проводники, до предела заряженные магнетическим флюидом, удар током, молодые люди быстро впали в забытье столь глубокое, что всякий непосвященный принял бы его за смерть: доктор, как и в первый раз, сделал пассы руками, исполнил ритуал, произнес заклинания, и вскоре две маленькие искорки затрепетали над Октавом и графом; доктор проводил в первоначальное жилище душу графа Олафа Лабинского, которая торопливо последовала за жестом магнетизера.

В это время душа Октава медленно удалилась от тела Олафа и вместо того, чтобы воссоединиться со своим телом, воспарила ввысь, поднимаясь все выше и выше, как будто радуясь свободе и нисколько не заботясь о том, чтобы вернуться в свое узилище. Доктор почувствовал, как им овладевает жалость к этой трепещущей крыльями Психее, и спросил себя, будет ли благом вернуть ее обратно в юдоль скорби и печали. Пока он колебался, душа продолжала возноситься. Вспомнив о своей роли, господин Шербонно самым требовательным тоном повторил всесильное заклинание и сделал указующий жест, но маленький дрожащий лучик был уже вне досягаемости и, найдя щелочку в оконной раме, исчез.

Доктор прекратил попытки, зная, что они напрасны, и разбудил графа. Увидев в зеркале привычные черты, тот испустил радостный крик, бросил взгляд на все еще неподвижное тело Октава, как бы желая убе-

диться, что он действительно освободился от чужой оболочки, и выбежал вон, на прощание махнув доктору рукой.

Несколько мгновений спустя раздался глухой стук колес под сводом арки, и доктор Бальтазар остался один на один с трупом Октава де Савиля.

— Клянусь хоботом Ганеши! — вскричал ученик брахмана с Элефанты, когда граф уехал. — Скверное дело! Я распахнул дверцу клетки, птичка улетела и теперь уже обретается в мире ином, так далеко, что даже сам санньяси Брахма-Логум не смог бы ее поймать. Я остался с трупом на руках! Конечно, я могу растворить его в соляной ванне, такой насыщенной, что от него не останется ни одного атома, или за несколько часов сделать из него мумию фараона, подобную тем, что заперты в испещренных иероглифами гробницах, но начнется следствие, обыщут дом, станут рыться в шкафах, приставать с утомительными расспросами...

В этот момент светлая мысль пронзила доктора. Он схватил перо, торопливо написал несколько строк на листке бумаги и запер его в одном из ящиков стола.

Бумага содержала следующие слова:

> Не имея ни близких, ни дальних родственников, я завещаю все мое имущество господину Октаву де Савилю, к которому испытываю особую привязанность, с тем условием, что он передаст сто тысяч франков цейлонской брахманской больнице и приюту для больных, слабых и старых животных, а также обеспечит пожизненным содержанием в размере тысячи двухсот франков моего индийского слугу и моего английского лакея и передаст библиотеке Мазарини[6] рукопись «Законов Ману»[7].

Это завещание от живого мертвому — пожалуй, самая странная загадка в этом неправдоподобном и в то же время правдивом рассказе, но она очень скоро разъяснится.

Доктор дотронулся до еще теплого тела Октава де Савиля, с поразительным отвращением взглянул в зеркало на свое морщинистое, обветренное, бугристое, словно шагреневая кожа, лицо, и, сделав в его направлении жест, каким скидывают старую одежду, когда портной подает новое платье, прошептал заклинание Брахма-Логума.

В ту же секунду тело доктора Бальтазара Шербонно рухнуло, как громом пораженное, на ковер, а тело Октава де Савиля, полное сил, бодрости и жизни, воспряло ото сна.

Октав-Шербонно постоял несколько минут над тощей, костлявой, мертвенно-бледной оболочкой, которая без поддержки могучей души, толь-

ко что оживлявшей ее, почти сразу же явила признаки крайней дряхлости и превратилась в труп.

— Прощайте, бедные человеческие лохмотья, жалкое рубище с прорехами на локтях и расползшимися швами, которое я семьдесят лет влачил по пяти частям света! Ты славно послужило мне, я привык к тебе за долгие годы, не без сожалений я покидаю тебя! Но с этой юной оболочкой, чье здоровье отныне в надежных руках, я смогу продолжить исследования, смогу прочитать еще несколько слов из великой книги, и смерть не захлопнет ее на самом интересном месте со словами: «Конец!»

Завершив надгробную речь, адресованную самому себе, Октав-Шербонно, или Бальтазар-де Савиль, спокойным шагом удалился, чтобы вступить во владение новой жизнью.

Граф Олаф Лабинский, вернувшись в свой особняк, прежде всего поинтересовался, может ли графиня его принять.

Он нашел ее на заросшей мхом скамейке в оранжерее, залитой теплым и ясным светом, который проникал сквозь наполовину приподнятые рамы, посреди настоящего девственного леса, полного экзотических тропических растений. Она читала Новалиса[8], одного из самых тонких, воздушных и возвышенных авторов, рожденных германским духом; графиня не любила книг, описывающих жизнь как она есть, они казались ей слишком грубыми, поскольку сама она жила в мире, полном любви и поэзии.

Прасковия отложила книгу и медленно подняла глаза на графа. Она боялась вновь увидеть в черных глазах мужа тот жгучий, беспокойный, одержимый взгляд, который так болезненно смущал ее и который казался ей — безумие, нелепость — взглядом другого!

В глазах Олафа сияла чистая радость, горел огонь любви целомудренной и ясной; чужая душа, искажавшая его черты, навсегда улетучилась: Прасковия тут же узнала своего обожаемого Олафа, и радостный румянец мгновенно оттенил ее нежные щечки. Она не знала о превращениях, проделанных доктором Бальтазаром Шербонно, но ее тонкая чувствительная натура, пусть неосознанно, сразу уловила перемену.

— Что вы читаете, дорогая Прасковия? — Олаф подобрал со скамейки книгу в голубом сафьяновом переплете. — А, история Генриха фон Офтердингена![9] Та самая книга, за которой я помчался во весь опор в Могилев в тот день, когда за обедом вы признались, что хотели бы ее почитать. В полночь она была на круглом столике около вашей лампы... но я совсем загнал бедного Ральфа!

— А я сказала, что больше никогда в вашем присутствии не выкажу ни одного желания. Вы, как тот испанский гранд, который просил свою возлюбленную не смотреть на звезды, поскольку никак не сможет их достать для нее.

— Если ты взглянешь на одну из них, — ответил граф, — я постараюсь взобраться на небо и выпросить ее у Бога.

Слушая мужа, графиня отбросила прядь, выбившуюся из ее расчесанных на пробор волос и переливавшуюся в лучах солнца. Рукав соскользнул вниз и обнажил прекрасную руку, запястье которой обвивала ящерица, усыпанная бирюзой, та самая, что была на Прасковии в столь роковой для Октава день ее появления в Кашинах.

— Как напугала вас, — промолвил граф, — эта бедная маленькая ящерица, которую я убил ударом трости, когда вы, уступив моим настойчивым мольбам, в первый раз спустились в сад! Я приказал позолотить ее и украсить несколькими камнями, но даже как украшение она всегда не нравилась вам, и только по прошествии времени вы решились носить ее.

— О, теперь я совершенно привыкла к этому браслету и предпочитаю его другим моим безделушкам, поскольку с ним связано дорогое воспоминание.

— Да, — согласился граф, — в тот день мы договорились, что назавтра я официально попрошу вашей руки.

Графиня, признав взгляд и речь своего любимого Олафа, поднялась, полностью успокоенная этими интимными подробностями, улыбнулась, взяла его за руку и несколько раз обошла с ним оранжерею, по пути свободной рукой срывая цветы; она покусывала их лепестки своими сочными губками, как та Венера Скьявоне[10], что лакомится лепестками роз.

— Раз сегодня у вас такая хорошая память, — она отбросила цветок, рассеченный жемчужными зубками, — вы должны снова владеть вашим родным языком... который забыли вчера.

— О! — И граф заговорил по-польски: — Это тот язык, на котором моя душа будет говорить с твоей на небесах и расскажет, как я люблю тебя, если только в раю душам нужен человеческий язык.

Прасковия на ходу тихо склонила головку на плечо Олафа.

— Сердце мое, — прошептала она, — наконец-то вы такой, каким я вас люблю. Вчера вы напугали меня, и я бежала от вас, как от незнакомца.

На следующий день Октав де Савиль, в чьем теле жила душа старого доктора, получил письмо с траурной каймой, в котором его просили присутствовать на отпевании, проводах и похоронах господина Бальтазара Шербонно.

Доктор, одетый в новое тело, проводил на кладбище свои ветхие обноски, посмотрел, как их закопали, выслушал с весьма хорошо разыгранным сокрушением произнесенные над могилой речи ораторов, сожалевших о невосполнимой утрате, которую понесла наука, затем вернулся на улицу Сен-Лазар и дождался, пока вскроют завещание, написанное им самим в свою же пользу. Чуть позже в разделе «Разное» вечерних газет можно было прочесть следующую заметку:

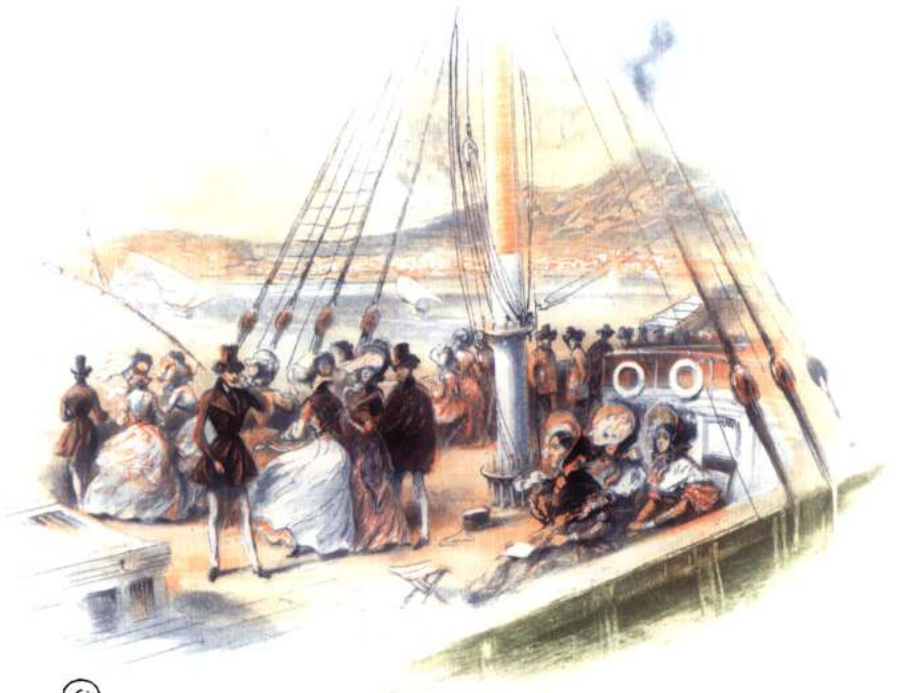
Вчера в своем рабочем кабинете был найден мертвым недавно вернувшийся из Индии господин Бальтазар Шербонно – доктор, прославившийся научными познаниями и чудесными исцелениями больных. Тщательное обследование тела полностью исключает подозрения на насильственную смерть. Господин Шербонно, несомненно, скончался от чрезмерного умственного напряжения или погиб в результате какого-то смелого эксперимента. Говорят, что завещание, написанное целиком рукой завещателя и найденное в одном из ящиков его стола, передает библиотеке Мазарини крайне ценные рукописи и назначает наследником господина О. де С. – молодого человека, принадлежащего к известной фамилии.





ДЖЕТТАТУРА





Глава I

Величественный тосканский пароход «Леопольд», курсирующий между Марселем и Неаполем, только что миновал остров Прочида[1]. Пассажиры высыпали на палубу, мгновенно излечившись от морской болезни, ибо вид приближающейся земли является гораздо более действенным лекарством, нежели мальтийские пастилки и прочие снадобья, рекомендуемые в подобных случаях.

На площадке верхней палубы, отведенной для пассажиров первого класса, собрались англичане; каждый старался встать подальше от остальных и как бы очертить вокруг себя невидимую демаркационную линию; их бесстрастные лица были тщательно выбриты, галстуки повязаны без единой морщинки, жесткие белые воротнички сорочек топорщились, словно уголки бристольского картона[2], свежие шведские перчатки[3] обтягивали руки, а сверкающие новизной лаковые ботинки не уронили бы чести самого лорда Эллиота[4]. Казалось, всех их только что извлекли из дорожных несессеров, ибо костюмы англичан отличались безукоризненностью, а во всем туалете не наблюдалось ни малейшего следа обычного для путешественников беспорядка. Среди них были лор-

ды, члены палаты общин, торговцы из Сити, портные с Риджент-стрит[5] и ножовщики из Шеффилда[6] – все сосредоточенные, серьезные, надменные и скучающие. Женщин тоже хватало, ибо англичанки, в отличие от уроженок других стран, отнюдь не домоседки и пользуются малейшим предлогом, чтобы покинуть родные берега. Поблизости от почтенных миссис и леди с красивыми увядающими лицами, покрытыми красноватыми прожилками, под голубыми газовыми вуалями прятались жизнерадостные юные мисс; на их обрамленных блестящими белокурыми локонами личиках цвета земляники со сливками играли улыбки, выставлявшие на всеобщее обозрение крупные белые зубы; девушки поразительно напоминали распространенные изображения на гравюрах и в кипсеках[7], и весь облик юных особ полностью снимал с английских художников незаслуженные обвинения во лжи, нередко доносящиеся с противоположного берега Ла-Манша. Эти очаровательные создания произносили, каждая на свой лад, но с одинаково сладкозвучным британским акцентом сакраментальную фразу: «Vedi Napoli e poi mori»*, листали путеводители или заносили свои впечатления в записные книжечки, не обращая ни малейшего внимания на донжуанские взгляды парижских фатов, которые кружили вокруг них, в то время как встревоженные мамаши вполголоса возмущались французской невоспитанностью.

Вдоль границ аристократической части верхней палубы прогуливались, дымя сигарами, трое или четверо молодых людей: соломенные и серые фетровые шляпы, пальто-саки[8] со множеством больших костяных пуговиц и широкие тиковые панталоны сразу же выдавали в них художников; принадлежность их к богемной братии подтверждали усы а-ля Ван Дейк и волосы, завитые а-ля Рубенс или коротко стриженные а-ля Паоло Веронезе; пустые карманы не оставляли им надежду на близкое знакомство с прекрасными англичанками, но живописцы так же, как и денди, правда, с другими целями, старались хорошенько запомнить их черты. Это занятие несколько отвлекало их от неповторимой панорамы, открывшейся взорам пассажиров.

На носу корабля, прислонившись к леерам[9] или сидя на сложенных бухтами канатах, разместились неимущие пассажиры третьего класса; они поглощали еду, оставшуюся нетронутой из-за постоянных приступов морской болезни, и даже не помышляли о том, чтобы полюбоваться восхитительнейшим в мире зрелищем, ибо чувство прекрасного является привилегией просвещенных умов, способных отрешиться от забот о хлебе насущном.

---

* «Посмотри Неаполь и умри» (*ит. поговорка*).

Стояла прекрасная погода; синие волны лениво набегали друг на друга широкими складками, нехотя поглощая бурунчики, пенившиеся за кормой парохода, а дым из трубы подобно легким клочкам ваты медленно уплывал прочь, восполняя отсутствие облаков на ослепительно чистом небосводе. Лопасти колес кружились в ореолах алмазной пыли, сверкавшей на солнце всеми цветами радуги, и радостно шлепали по воде, словно чувствуя близость порта.

Длинная вереница холмов, что от Позиллипо[10] до Везувия[11] обрамляет изумительный залив, в глубине которого, точно морская нимфа, греющаяся на солнышке после купания, раскинулся Неаполь, приобретала все более и более ясные очертания и, наконец, проступила резкой фиолетовой линией на фоне небесной лазури; разбросанные то тут, то там виллы белыми точками замелькали на темном фоне земли. И будто подгоняемые ветерком лебединые перья, над гладкой голубизной воды заскользили паруса рыбацких лодок, возмущая своим движением величественное спокойствие моря.

Несколько оборотов колес — и на вершине той самой горы, на склоне которой расположился Неаполь, над смутно проступающими в утренней дымке куполами храмов, террасами особняков, крышами домов, фасадами дворцов и зеленью садов четко вырисовались крепость Святого Эльма[12] и монастырь Святого Мартина[13]. Еще немного — и показалось, что риф с крепостью Кастель дель Ово[14], утопающий в пене прибоя, двинулся навстречу пароходу, а длинный мол с маяком на конце вытянулся вперед, подобно руке, сжимающей факел.

Везувий, по правую сторону залива, при приближении сменил свои голубоватые краски на более яркие и сочные тона; склоны его были изрезаны трещинами и потоками застывшей лавы, а из конусообразного жерла, как из гигантской курильницы, вырывались маленькие струйки белого дыма, которые мгновенно развеивались порывами ветра.

Когда уже отчетливо стали видны Кьятамоне[15], Пиццофальконе[16], набережная Санта-Лючия[17] с теснящимися вдоль нее гостиницами, Палаццо Реале[18], опоясанный рядами балконов, Палаццо Нуово[19] с ажурными башенками, Арсенал[20] и корабли под разными флагами со сплетающимися наподобие голых ветвей диковинного леса мачтами и реями, на палубу впервые за все время плавания вышел странный пассажир; то ли его удерживала взаперти морская болезнь, то ли нелюдимый нрав не позволял ему присоединиться к остальным путешественникам, то ли он столько раз любовался живописной панорамой Неаполя, что она не вызывала у него никакого интереса, но до сих пор он ни разу не покидал своей каюты.

На первый взгляд ему можно было дать от двадцати шести до двадцати восьми лет, но стоило присмотреться к нему внимательнее, как он начинал казаться или старше, или моложе, ибо в его внешности юношеская свежесть загадочным образом соединялась со старческой усталостью. Его темно-русые волосы имели оттенок, именуемый англичанами auburn:* на солнце они отливали медным металлическим блеском, а в тени становились почти черными. Точеный профиль отличался чистыми резкими линиями, выпуклый лоб привел бы в восхищение любого френолога[21], нос поражал благородной орлиной горбинкой, губы изумляли безупречными очертаниями, а волевой подбородок навевал воспоминания об античных медальонах. Но, несмотря на то что по отдельности черты его лица были прекрасны, все вместе они не составляли столь же упоительного целого: им не хватало таинственной гармонии, делающей переходы плавными, а единое — неделимым. В одной легенде говорится о том, как некий итальянский художник, пожелав изобразить мятежного архангела, выписал черты его лица так, что каждая из них обладала истинным совершенством, однако ни одна не подходила к другой; таким образом, мастер добился гораздо более устрашающего эффекта, чем если бы нарисовал искусителя с рогами, косматыми бровями или жутким оскалом. Лицо иностранца производило похожее впечатление. Особенно отталкивающими выглядели водянисто-серые глаза незнакомца: они плохо сочетались с обрамлявшими их черными ресницами, равно как и с волосами цвета жженого каштана. К тому же из-за чрезмерно тонкого носа они казались необычайно близко посаженными, в нарушение всех общепринятых принципов изображения, отчего выражение глаз было совершенно невозможно определить. Пока они смотрели вдаль, в их влажном блеске читалась меланхоличная томность, но стоило им остановиться на ком-то или на чем-то, и брови тотчас же хмурились, а на лбу появлялась глубокая вертикальная складка. Глаза из серых становились зелеными, их испещряли черные точки и покрывала тончайшая сеть желтоватых прожилок, взгляд делался пронзительным, острым как кинжал; через некоторое время взор обретал прежнюю безмятежность, и мефистофелевского вида персонаж превращался в светского молодого человека, если угодно, в отправившегося на лето в Неаполь члена Жокей-клуба[22], которому не терпелось поскорее сойти с шаткой палубы «Леопольда» на прочную мостовую из вулканического туфа.

Его наряд был модным, но не вычурным: редингот[23] темно-синего цвета, завязанный аккуратным узлом черный галстук в горошек, жилет того же рисунка, светло-серые панталоны и сапоги из мягкой кожи; на золотой

---

* золотисто-каштановым, темно-рыжим (*англ.*).

цепочке — часы, на гладком шелковом шнурке — пенсне; в туго обтянутой перчаткой руке — тонкая трость из узловатой виноградной лозы с серебряным набалдашником.

Молодой человек прогуливался по палубе и время от времени бросал рассеянный взгляд в сторону берега. Набережная приближалась, глаз уже различал, как катятся по улицам экипажи, снуют прохожие, толпятся зеваки, для которых прибытие дилижанса или парохода всегда представляет собой новое любопытное зрелище, хотя они видали его никак не менее тысячи раз.

Наконец от причала отделилась готовая к штурму «Леопольда» эскадра; в шлюпках и челноках теснились гарсоны[24] из гостиниц, слуги, ищущие работу, носильщики и прочая челядь, привыкшая смотреть на иностранцев точно на свою добычу; в каждой лодке дружно налегали на весла, чтобы опередить других, и гребцы, как это принято, громко обменивались между собой сочными выражениями и отборной бранью, приводя в ужас путешественников, мало знакомых с нравами неаполитанских низов.

Стремясь получше разглядеть открывшийся перед ним пейзаж, молодой человек с волосами цвета auburn водрузил на нос пенсне; однако зычные крики, источником которых служила стремительно приближавшаяся флотилия, отвлекли его внимание от величественного залива, и он устремил взгляд на лодки; очевидно, шум оскорбил его слух, ибо брови его сдвинулись, лоб пересекла глубокая морщина, а серые глаза приобрели желтоватый оттенок.

Неожиданно со стороны открытого моря накатила огромная, окаймленная пенистой бахромой волна; пароход вскарабкался на ее гребень и тяжело опустился вниз, а она, ударившись о набережную, разбилась на миллионы золотистых брызг и окатила с ног до головы зевак, безмерно удивленных этим внезапным ливнем. Затем мощная обратная волна столкнула друг с другом многочисленные лодки, да так сильно, что несколько носильщиков не удержались и свалились в воду. Ничего страшного не случилось, ибо неаполитанцы, подобно морским божествам, плавают как рыбы, и уже через несколько секунд бедолаги с прилипшими к лицам волосами вынырнули на поверхность. Отфыркиваясь от попавшей в нос и рот горько-соленой воды, они возмущались и всем своим видом напоминали изумленного Телемака, сына Улисса, в ту минуту, когда Минерва в облике мудрого Ментора сбросила его с высокой скалы в море, дабы спасти от объятий влюбленной в него нимфы Евхарисы[25].

За спиною странного путешественника, на почтительном от него расстоянии, подле груды чемоданов стоял маленький грум[26], этакий пятна-

дцатилетний старичок, гном в ливрее, вызывавший в памяти карликов, которых — дабы воспрепятствовать их физическому развитию — выращивают в больших фарфоровых вазах терпеливые китайцы; плоское лицо слуги с едва-едва выдающимся вперед кончиком носа, казалось, сплюснули еще в младенчестве, а взгляд выпученных глаз отличался кротостью, присущей, по мнению натуралистов, жабам. Он не сутулил спину, не выпячивал грудь, не прятал никакого горба ни спереди, ни сзади, и при этом всем своим обликом поразительно походил на горбуна. Одним словом, то был настоящий грум из тех, что встречаются на скачках в Эскоте[27] или на бегах в Шантийи;[28] едва взглянув на недовольное выражение его лица, любой джентльмен — любитель верховой езды без колебаний взял бы молодчика к себе на службу. Он выглядел отталкивающе, но в своем роде так же безупречно, как и его господин.

Началась высадка. Носильщики, обменявшись поистине площадными ругательствами, поделили иностранцев и багаж и двинулись в разные стороны — к гостиницам, коими изобилует Неаполь.

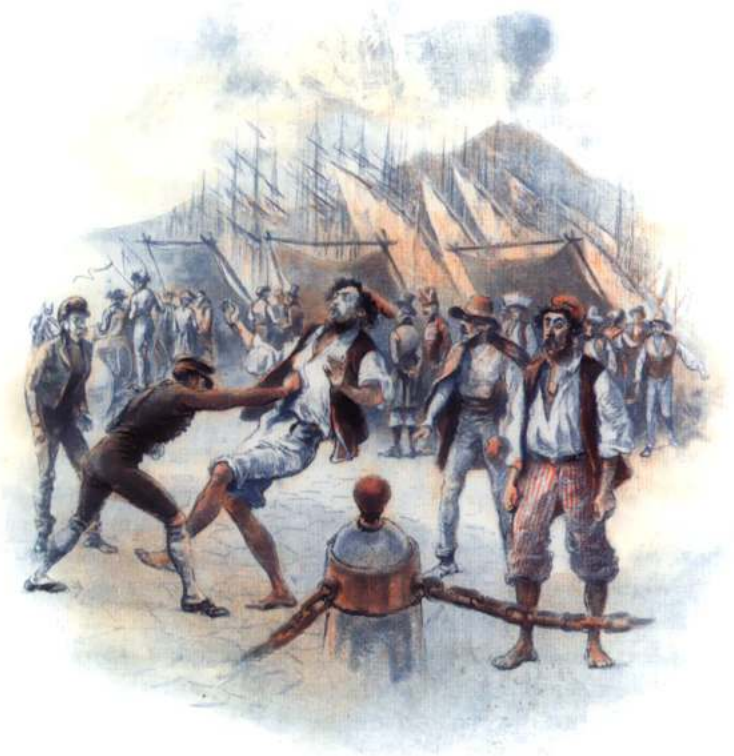
Путешественник в пенсне и грум направились к гостинице «Рим», вслед за ними шествовали широкоплечие facchini;* одни из них, в расчете на щедрые чаевые, кряхтели и потели, делая вид, что изнемогают под грузом шляпной картонки или другой столь же невесомой коробки, другие же, играя мускулами, могучими, как у Геркулеса, чья статуя восхищает посетителей Штудий[29], вчетвером или даже впятером толкали тележку, на которой тряслись два далеко не самых тяжелых чемодана средних размеров.

После того как они добрались до дверей гостиницы и padrone di casa** сообщил новому гостю номер его комнаты, носильщики, несмотря на то что получили втрое больше положенного, принялись отчаянно размахивать руками, спорить и требовать еще денег, презабавным образом перемежая мольбы с угрозами. Они тараторили все разом, с ужасающей скоростью и клялись всеми богами, что им недоплатили. Поскольку его хозяин, нимало не смутившись всей этой шумихой, удалился к себе, Пэдди остался на поле боя один. Бедный малый походил на макаку, окруженную сворой собак. Он попытался было унять обрушившийся на его голову ураган с помощью короткой проповеди на своем родном, то есть английском, языке, но поскольку слова не возымели успеха, сжал кулаки и, подняв их на уровень груди, принял настоящую боксерскую стойку, чем до слез насмешил носильщиков. Затем он нанес один, но достойный Адам-

---

* носильщики (*ит.*).

** хозяин гостиницы, дома (*ит.*).



са[30] и Тома Крибба[31] прямой удар в солнечное сплетение самого рослого носильщика, и тот кувырком покатился по улице, вымощенной вулканическим туфом.

Сей подвиг обратил шайку в бегство; гигант же, потрясенный своим поражением, тяжело поднялся и, даже не попытавшись расквитаться с Пэдди, удалился, морщась от боли и потирая мгновенно выступивший синяк. Поверженный ничуть не сомневался, что под курточкой этой хилой обезьяны, годной самое большое на то, чтобы ездить верхом на собаке, в груди этого уродца, который, казалось, не устоит на ногах, если на него просто дунуть, скрывается сам демон.

Иностранец вызвал padrone di casa и поинтересовался, не приходило ли в гостиницу «Рим» письмо на имя господина Поля д'Аспремона; хозяин ответил, что действительно означенное письмо уже целую неделю лежит в ячейке, и поспешил принести его гостю.

Послание в конверте из cream-lead — небесно-голубой бумаги верже[32] — с прозрачной восковой печатью было написано наклонным почерком с угловатыми толстыми черточками и плавными тонкими линиями, который свидетельствует о настоящем аристократическом воспитании и отличает, пожалуй, чересчур одинаковую манеру письма юных англичанок из хороших семей[33].

Обуреваемый любопытством, а возможно, и не только им, д'Аспремон поспешно вскрыл конверт и прочел следующее:

> Дорогой господин Поль!
>
> Вот уже два месяца, как мы живем в Неаполе. Всю дорогу, пока мы добирались сюда, мой дядя горько сетовал на жару, комаров, вино, масло, постели; он клянется, что воистину только сумасшедший мог променять благоустроенный коттедж в нескольких милях от Лондона на отвратительные придорожные гостиницы, где отказалась бы ночевать даже английская собака. Он ворчит и тем не менее покорно следует за мною повсюду, и если бы я захотела, то могла увезти его на край света. Теперь ему хорошо, и я тоже чувствую себя лучше. Мы живем на берегу моря, в выбеленном известкой домике, утопающем в настоящем девственном лесу, полном апельсинных, лимонных и миртовых деревьев, а также олеандров и прочей экзотической растительности. Из моей беседки открывается чудесный вид, и там вас каждый вечер ожидает чашка горячего чая или холодного лимонада — выбор остается за вами. Мой дядя, которого Вы каким-то чудом совершенно очаровали, будет счастлив пожать Вам руку. Думаю, нет необходимости напоминать, что Ваш приход не рассердит и Вашу покорную служанку, хотя, прощаясь с нею на набережной Фолкстона, Вы своим кольцом чуть не порезали ей пальцы.
>
> *Алисия У.*



Глава II

Пообедав у себя в комнате, Поль д'Аспремон приказал подать коляску. Вокруг больших гостиниц всегда стоит множество экипажей, готовых тронуться в путь по первому требованию постояльцев, поэтому распоряжение Поля было тут же исполнено. Наемные лошади в Неаполе так худы, что рядом с ними Росинант[1] выглядел бы вполне упитанным животным; туго обтянутые кожей головы, ребра, торчащие подобно обручам от бочки, а также выступающие ободранные до костей хребты взывают к милосердию живодера: беспечные южане считают излишним кормить своих скакунов. Видавшая виды упряжь держится на честном слове, и когда кучер берется за вожжи и, прицокивая языком, щелкает кнутом, так и кажется, что лошадь тотчас испарится, а коляска растает в воздухе, словно карета Золушки, которая вопреки наказу феи задержалась на балу после полуночи. Но ничуть не бывало: клячи поднатуживаются, затем, пошатнувшись разок-другой, пускаются в галоп и несутся без остановки, ибо кучер сообщает им свой пыл и виртуозно высекает кончиком кнута последнюю искру жизни, тлеющую в их крови. Они бьют копытом, трясут головой, раз-

дувают ноздри, что твой ретивой, и мчатся со скоростью, которую выдержит не всякий английский рысак. Чем объясняется этот феномен и какая сила заставляет нестись во весь опор этих полумертвых одров, неизвестно. Однако сие чудо происходит в Неаполе каждый божий день и ровным счетом никого не удивляет.

Коляска господина Поля д'Аспремона летела сквозь тесную толпу, минуя увешанные гирляндами лимонов ларьки acquaioli*, лавки уличных торговцев жареной рыбой, мясом и макаронами, лотки с дарами моря и горы арбузов, что высились посреди улиц словно пушечные ядра на артиллерийском складе. У стен домов, завернувшись в длинные плащи с капюшонами, прямо на улицах спали lazzaroni**, нехотя убиравшие ноги из-под колес экипажей. Время от времени бок о бок с коляской, почти касаясь ее осей, в тучах пыли громыхали огромными пунцовыми колесами корриколо[2] — повозки, битком набитые монахами, кормилицами, носильщиками и прочей веселой публикой. Власти пытаются убрать их с улиц города, введя запрет на производство новых корриколо; но можно поставить новый короб на старые колеса или к старому коробу приделать новые колеса: изобретательность возниц поистине неистощима, и потому эти нелепые экипажи еще долго не исчезнут с мостовых Неаполя, к великому удовольствию любителей местного колорита.

Наш путешественник рассеянно взирал на пеструю сутолоку, которая, несомненно, привлекла бы его внимание, если бы в гостинице «Рим» он не получил записки, подписанной Алисией У.

Лишь мельком взглянул он на прозрачное лазурное море, где в сверкающей дали, переливаясь всеми оттенками аметистов и сапфиров, виднелись раскинувшиеся веером при входе в залив живописные острова: Капри, Искья, Низида, Прочида, чеканные имена коих звенят словно греческие дактили; душа его была далеко. Она летела на крыльях в сторону Сорренто[3], к утопавшему в зелени белому домику Алисии. В этот момент лицо д'Аспремона утратило непонятное отталкивающее выражение, присущее ему в те часы, когда радость не озаряла изнутри совершенные, но лишенные гармонии черты: сейчас оно выглядело поистине красивым, и, как любят говорить итальянцы, симпатичным. Брови разгладились, презрительно опущенные уголки рта приподнялись, а спокойные глаза излучали мягкий свет — при взгляде на д'Аспремона становились понятными чувства, сквозившие в полунежных-полунасмешливых фразах мисс Алисии У. Поразительная внешность д'Аспремона вкупе с благородством не могла не произвести впечатления на юную мисс, свободно воспитанную на английский манер старым и необычайно снисходительным дядюшкой.

---

* продавцов холодной воды с лимонным соком (*ит.*).

** нищие, безработные (*ит.*).

Тем временем возница пустил своих одров галопом, и они быстро проехали Кьяйю и Маринеллу;[4] далее коляска покатила среди полей по той самой дороге, которую сегодня заменило железнодорожное полотно. Вокруг нежилась под ясным ослепительным небом омытая ласковым лазурным морем земля, которая из-за черной пыли, напоминающей измельченный уголь, выглядела будто пожарище; то пепел Везувия, принесенный сюда ветром, запорошил весь берег и сделал дома Портичи и Торре дель Греко похожими на заводы в Бирмингеме. Но д'Аспремона совершенно не занимал контраст между эбеновой почвой и сапфировым небом: ему не терпелось поскорее добраться до места. Что ж, и самая живописная дорога покажется долгой, если в конце ее вас ждет мисс Алисия, с которой вы попрощались полгода назад на набережной Фолкстона: ясно, что и море, и небо Неаполя в этом случае теряют все свое очарование.

С наезженной дороги коляска свернула на проселок и вскоре остановилась перед воротами, представлявшими собой две колонны из побеленного кирпича с глиняными вазами наверху, из которых торчали серебристые и острые, как сабли, листья алоэ. Воротами служила зеленая решетка, а оградой — кактусы, замысловато изогнутые побеги которых цеплялись друг за друга, образуя непроходимые колючие заросли.

Над живой изгородью возвышались три или четыре огромные смоковницы, их раскидистые кроны с широкими резными листьями напоминали о близости Африки; рядом распростерла ветви зонтичная сосна. Сквозь узкие просветы в буйной зелени с трудом угадывались очертания дома, белый фасад которого выглядывал то тут, то там из-за плотного живого занавеса.

На шум экипажа выбежала смуглая служанка с такими густыми и курчавыми волосами, что о них сломались бы зубья самого крепкого гребешка. Она открыла калитку и повела д'Аспремона по аллее; ветви олеандров, сгибаясь под тяжестью цветов, ласково прикасались к щекам путников. Девушка проводила гостя в беседку, где мисс Алисия Уорд в этот час пила чай вместе со своим дядюшкой.

Из-за каприза, а может быть, просто из духа противоречия, чтобы досадить дяде, над чьими буржуазными вкусами она постоянно потешалась, Алисия, пресытившись порядком и комфортом, выбрала эту старую, пустовавшую много лет виллу, владельцы которой отправились в длительное путешествие. Она находила своеобразную прелесть в запущенном и почти одичавшем саду. Под жарким небом Неаполя все разрасталось с удивительной быстротой: апельсины, лимоны, мирты и гранаты радовались свободе, а их ветви, не боясь ножниц садовника, тянулись друг к другу с разных сторон аллей или же бесцеремонно проникали в комнаты через разбитые местами стекла. Здесь, в отличие от наших северных краев, не чувствовалось печали и уныния заброшенного дома, а, напротив, царило безудержное веселье пышно цветущей и предоставленной самой себе

растительности; южная природа правила тут свой бал, устроив настоящую вакханалию красок, форм и запахов: деревья и цветы вновь заняли пространство, некогда отвоеванное у них человеком.

Когда коммодор[5] — именно так Алисия дружески называла своего дядюшку — увидел эти заросли, сквозь которые можно было продраться только с помощью специального ножа-мачете, используемого в девственных лесах Америки, он испустил горестный вопль, решив, что племянница положительно сошла с ума. Но Алисия клятвенно пообещала ему распорядиться сделать от ворот к гостиной и от гостиной к беседке проход, достаточный, чтобы прокатить бочку с мальвазией[6], — единственная уступка, на которую она согласилась пойти ради дядюшкиного пристрастия к цивилизации. Коммодор сдался: он не умел спорить со своей любимицей. В эту минуту он как раз сидел напротив нее в беседке и, пока Алисия пила чай, неторопливо потягивал ром из большой чайной чашки.

Беседка, которая покорила сердце молодой мисс своей необычайной живописностью, заслуживает особого внимания, поскольку Поль д'Аспремон еще не раз вернется сюда, а писатель обязан набросать декорации, в которых разыгрываются сцены сочиненной им пьесы.

Строение располагалось на вершине крутого, нависавшего над извилистой тропинкой холма, куда вела лестница из широких плит, между которыми неукротимо пробивалась сорная трава. Четыре неотесанные, извлеченные из каких-нибудь античных развалин колонны, утраченные капители которых заменили каменными кубами, служили опорой для сплетенных из виноградной лозы решетчатых стен и потолка, покосившихся под тяжестью гирлянд дикого винограда и других вьющихся растений. Рядом в очаровательном беспорядке росли индийская смоковница, алоэ и земляничное дерево, над ними возвышались три итальянские сосны и одна пальма, за кронами коих открывался вид на пологие холмы, густо усеянные белыми виллами, Везувий в лиловатой дымке и бескрайнее голубое море.

Когда на верхней ступени лестницы появился Поль д'Аспремон, Алисия вскочила, ахнула и быстро шагнула ему навстречу. По английскому обычаю Поль намеревался пожать протянутую девушкой руку, но Алисия не захотела вызволять свою попавшую в плен кисть и грациозным движением, исполненным невинного кокетства, поднесла ее к губам друга.

Забыв о подагре, коммодор вознамерился встать, что удалось ему после нескольких попыток. В эти мгновенья радостное выражение его широкого лица сменялось на страдальчески-обиженное и смотреть на него без смеха было невозможно. Вполне бодрым для своего возраста шагом коммодор подошел к молодым людям и так крепко стиснул Полю руку, что чуть не раздавил ему пальцы: подобное рукопожатие является высшим проявлением традиционного британского радушия.



Мисс Алисия Уорд была настоящей английской красавицей. Она являла собою тот идеал красоты, в основе коего лежит цветовой контраст: кожа ослепительной белизны, рядом с которой желтеют даже лилии, молоко, снег, алебастр, чистый воск – словом, все, что служит поэтам символом белизны, вишневые губы и волосы цвета воронова крыла. Впечатление, производимое этим сочетанием, не сравнимо ни с чем, и встретить его можно лишь в Англии. Наверное, только черкешенки, что с самого детства растут в серале[7], обладают таким же чудесным цветом лица, но этим предположением мы обязаны восточной поэзии, склонной к преувеличениям, и гуашам Льюиса, изображающим гаремы Каира[8]. Несомненно одно: Алисия олицетворяла чистейший образец красоты этого типа.

Удлиненный овал лица, несравненно гладкая кожа, тонкий прямой нос, темно-синие глаза, окруженные бахромой длинных ресниц, тень от которых черными бабочками трепетала на нежно-розовых щеках, когда Алисия опускала веки, губы ярко-пурпурного цвета, волосы, блестящие, словно шелковые ленты, локоны, струящиеся вдоль щек и ниспадающие на лебединую шею, – все в девушке свидетельствовало в пользу правдивости романтических женских портретов Маклайза, чьи полотна на Всемирной выставке казались очаровательными фантазиями[9].

На Алисии было платье из гренадина[10] с фестончатыми оборками, вышитыми красными пальметтами[11], кои восхитительно сочетались с наброшенной на волосы сеточкой из крохотных коралловых бусинок, а также с ожерельем и браслетами; пять ажурных подвесок, прикрепленных к граненому коралловому шарику, подрагивали на ее маленьких, изящно закругленных ушах. Если вы сочтете недостатком столь пылкое пристрастие к кораллам, вспомните, что мы в Неаполе, где рыбаки сутки напролет вытаскивают со дна моря их хрупкие веточки, мгновенно краснеющие на воздухе.

Представив вам портрет мисс Алисии Уорд, мы полагаем своим долгом для полноты картины, а также для контраста набросать портрет коммодора, пусть даже в духе сатирических гравюр Хогарта[12].

Коммодору было никак не менее шестидесяти лет, и он обладал одной весьма примечательной особенностью: лицо его имело равномерный ярко-багровый цвет и на этом фоне отчетливыми пятнами выделялись белоснежные брови и бакенбарды того же цвета в форме котлет, отчего он походил на старого индейца в боевой раскраске, нанесенной мелом. Солнечные ожоги, непременные спутники путешественников по Италии, внесли свою лепту в пламенеющий оттенок щек коммодора, и при виде последнего на ум невольно приходило сравнение с огромной миндалиной, зажаренной в сахаре и завернутой в гофрированную белую бумажку. Костюм его состоял из сюртука, жилета, панталон и гетр — все из вигоневой ткани[13] грязновато-серого цвета; видимо, портной долго клялся честью, заверяя, что это цвет не только самый модный, но и самый немаркий, причем последнее соответствовало действительности. Но, несмотря на красное лицо и нелепое одеяние, коммодор отнюдь не выглядел вульгарно. Исключительная чистоплотность, безупречная фигура и великосветские манеры выдавали в нем образцового джентльмена, хотя на первый взгляд он более напоминал англичанина из комических водевилей Гофмана или Левассора[14]. Коммодор в равной степени обожал племянницу, портвейн и ямайский ром; оба напитка потреблялись им в огромных количествах, дабы поддерживать, согласно методу капрала Трима, «первичную влагу»[15].

— Вы только посмотрите, как прекрасно я себя чувствую, как я похорошела! Взгляните на мои щеки; конечно, они не такие красные, как у дядюшки, но, надеюсь, до этого и не дойдет. И все же они у меня розовые, с самым настоящим румянцем, — Алисия провела по лицу своим тоненьким пальчиком с блестящим, словно агат, ноготком. — К тому же я прибавила в весе, мои жалкие, выступающие наружу ключицы исчезли, а ведь они доставляли мне столько неприятностей, особенно когда надо было надевать бальное платье. Признайтесь, стоило на целых три месяца лишить себя общества жениха, чтобы после разлуки он заметил, как его невеста расцвела и посвежела? И разве не простительно подобное кокетство?

Продолжая радостно и сбивчиво щебетать в свойственной ей манере, Алисия с вызывающим видом стояла перед Полем, с нетерпением ожидая его похвал.

— Не правда ли, — вставил коммодор, — теперь она пышет здоровьем и напоминает тех прекрасных дочерей Прочиды, что носят на головах греческие амфоры?

— Разумеется, коммодор, — ответил Поль. — Конечно, мисс Алисия не стала красивей, это просто невозможно, но с тех пор, как она вынудила нас расстаться — по ее собственному утверждению — из кокетства, здоровье ее видимо улучшилось.

И его странные глаза остановились на сияющем личике девушки.

Внезапно нежный румянец, которым Алисия только что хвалилась, сбежал с ее щек словно пурпур заката со снежных ланит горных вершин, когда солнце прячется за горизонт; вся дрожа, она прижала руку к сердцу; ее очаровательные губы побелели и скривились.

Встревоженный, Поль вскочил, а следом за ним и коммодор; лицо Алисии вновь порозовело; она улыбнулась, но улыбка вышла невеселой.

— Я обещала вам чашку чаю или шербета[16]. Хоть я и англичанка, но советую выбрать шербет. От Неаполя до Африки рукой подать, и оттуда, из пустынь, сюда дует знойный ветер сирокко, поэтому лучше отдать предпочтение холодному питью, нежели горячему.

Все трое заняли места вокруг каменного столика, под крышей, сплошь увитой виноградом. Солнце погрузилось в море, и синий день, как называют в Неаполе ночь, пришел на смену дню желтому. Сквозь просветы в листве луна высыпала на пол беседки горсть серебряных монет, волны с шелестящим звуком ласкали берег, издалека доносился перезвон медных баскских бубнов, наигрывавших тарантеллу...

Пришла пора прощаться. Виче, диковатого вида служанка с кудрявой шевелюрой, принесла фонарь, чтобы провести Поля через лабиринт сада. Весь вечер, подавая шербет и холодную воду, она в упор глядела на гостя; во взгляде ее читалось любопытство вперемешку со страхом. Без сомнения, осмотр завершился не в пользу молодого человека, ибо табачного цвета лоб Виче потемнел еще больше. Провожая чужестранца, она незаметно вытянула мизинец и указательный палец, прижав остальные пальцы к ладони, как будто хотела с помощью этих нехитрых действий сложить некий каббалистический знак, и направила получившиеся «ро́жки» на д'Аспремона.



Глава III

Друг Алисии прежней дорогой вернулся в гостиницу «Рим». Вечер был упоителен. От блестящего незамутненного диска луны по прозрачной лазури водной глади протянулся длинный мерцающий шлейф; тихо плескавшиеся волны дробили его на мириады серебристых чешуек, умножая его сияние. В открытом море виднелись рыбацкие лодки; за кормой у каждой находился большой кованый сигнальный фонарь, наполненный горящей паклей, что осыпала море красными искрами. Столб дыма над Везувием, белесый днем, превратился в сверкающую колонну, отражение которой вспыхивало в спокойных прибрежных водах. В эту минуту залив являл собой зрелище, непривычное для глаз северного жителя, знакомого с подобными картинами исключительно по недавно появившимся в продаже многочисленным итальянским гуашам в черных лаковых рамках, гораздо более достоверным, чем это принято считать, именно благодаря своим неправдоподобно ярким краскам.

По берегу бродили lazzaroni-полуночники; возбужденные волшебной игрой света и воды, широко распахнув черные глаза, они устремляли взо-

ры в синеющую даль. Некоторые из них, сидя на опрокинутых лодках, распевали арию из «Лючии»[1] или модный тогда народный романс «Ti voglio ben'assai»* голосами, которым позавидовали бы многие тенора, получающие за выступление по сто тысяч франков. Подобно всем южным городам, Неаполь засыпает поздно; однако постепенно все окна погасли, и только киоски с лотерейными билетами, разукрашенные цветными бумажными гирляндами и табличками со счастливыми номерами, призывно сияли огнями, приглашая расстаться здесь со своими деньгами запоздалых игроков, если вдруг по дороге домой их посетит фантазия поставить несколько карлино[2] или дукатов на заветное число.

Поль лег в постель, задвинул кисейный полог, защищавший от комаров, и тотчас же уснул. Как это обычно бывает у путешественников после долгого плавания по морю, д'Аспремону чудилось, что его недвижное ложе раскачивается во все стороны так, словно из гостиницы «Рим» он вновь перенесся на борт «Леопольда». Видимо, от этого ощущения ему приснилось, что он все еще плывет по морю и впереди, на молу, видит Алисию; чрезвычайно бледная, она стояла рядом со своим багроволицым дядюшкой и махала рукой, как бы запрещая ему причаливать к берегу; лицо девушки выражало глубокую скорбь, казалось, она отталкивает его против воли, подчиняясь неумолимому року.

Этот сон, почти не отличавшийся от яви, настолько взволновал спящего, что он проснулся и с облегчением обнаружил, что находится в гостинице; дрожащее пламя ночника отбрасывало на стены опаловые блики, а его маленькую фарфоровую башенку с жужжанием осаждали комары. Боясь опять увидеть во сне что-нибудь неприятное, Поль решил больше не спать и принялся вспоминать, как он познакомился с мисс Алисией, перебирая одну за другой невинные картины, полные наивного очарования первой любви.

Он вновь перенесся в Ричмонд, увидел увитый шиповником и жимолостью дом из розового кирпича, где жила мисс Алисия с ее дядей и куда во время своего первого путешествия в Англию Поль приехал с одним из тех рекомендательных писем, прочитав которые адресат обычно ограничивается тем, что приглашает вас на обед. Он вспомнил, что в тот день Алисия, недавно покинувшая пансион, была в белом платье из индийского муслина, отделанном простою лентой, вспомнил веточку жасмина, кружившую в водопаде ее волос, словно цветок из венка Офелии, упавшего в ручей[3], вспомнил синие бархатистые глаза, которые она прятала под сенью длинных ресниц, приоткрытые губы, перламутровые зубки, хрупкую шею, вытянутую, точно у внимательно прислушивающейся пти-

* «Я так люблю тебя»[4] (*ит.*).

цы, и щеки, мгновенно вспыхнувшие под пристальным взглядом молодого французского джентльмена.

Гостиная темного дерева, обитая зеленым сукном, гравюры со сценами охоты на лис и стипль-чеза[5], их резкие цвета, свойственные английской миниатюре, — его память воспроизводила все с точностью камеры-обскуры. Он видел желтые клавиши пианино, похожие на зубы столетней старухи. Камин с лепниной в виде гирлянд из веточек ирландского плюща сверкал литой чугунной решеткой, по форме походившей на гигантскую раковину; дубовые кресла с изогнутыми ножками раскрывали свои обитые сафьяном объятия, ковер на полу пестрел розами, а дрожавшая как осиновый лист мисс Алисия фальшиво пела самым милым на свете голоском арию из «Анны Болейн» «Deh, non voler costringere»*. Не менее взволнованный Поль невпопад аккомпанировал, а в это время разомлевший от сытного обеда и побагровевший сильнее обычного коммодор дремал, уронив на пол толстенный номер «Таймс» с приложением.

Затем картина изменилась: Поль стал частым гостем в доме, и коммодор пригласил его на несколько дней в Линкольншир... Старый феодальный замок с зубчатыми башнями, готическими окнами и увитыми густым плющом стенами внутри был оснащен всеми современными удобствами; перед ним простиралась поросшая райграсом[6] лужайка, словно бархатная от тщательного ухода. Вокруг лужайки пролегала аллея, посыпанная желтым песком: она служила манежем мисс Алисии, которая каталась по ней на одном из тех шотландских пони с косматой гривой, что так любит рисовать сэр Эдвард Лэндсир[7], наделяя их почти человеческим взглядом. Поль, на гнедой лошадке с вишневым отливом, одолженной коммодором, сопровождал мисс Уорд в ее прогулках по кругу, ибо врач, полагавший, что у девушки слабые легкие, прописал ей физические упражнения.

В другой раз легкая лодочка скользила по пруду, раздвигая водяные лилии и распугивая королевских зимородков, таившихся под серебристыми листьями ив. Алисия гребла, а Поль сидел у руля; светило солнце, его лучи пронизывали соломенную шляпку девушки, создавая вокруг головы мисс Уорд золотистый ореол. Как она была хороша! Когда она откидывалась назад, чтобы вытащить весла, кончик ее серого лакового ботиночка упирался в скамью: ножки мисс Уорд были совсем не похожи на маленькие и крепенькие, будто утюжки, ножки уроженок Андалусии, вызывающие восхищение в Испании; нет, подъем Алисии отличался изящным изгибом, щиколотки были тонкими, а ступни хотя и длинноваты, зато в ширину имели не более двух дюймов.

---

* «Ах, не надо принуждать»[8] (*ит.*).



Грузный коммодор всегда оставался *на приколе*, но не из боязни *уронить себя* в глазах окружающих, а опасаясь опрокинуть утлое суденышко. Он встречал племянницу у причала и с материнской заботливостью набрасывал ей на плечи накидку, чтобы девушка, не дай бог, не простудилась; затем, привязав лодку, все отправлялись в замок на ланч. Одно удовольствие было смотреть, как Алисия, которая обычно ела не больше птички, жадно откусывала своими жемчужными зубками от розового, прозрачного, словно лист бумаги, ломтика йоркской ветчины и заедала его булочкой, не оставляя ни крошки золотым рыбкам, плавающим в пруду.

Как быстро летели счастливые дни! Неделю за неделей Поль откладывал свой отъезд. Чудесный зеленый парк постепенно облачался в шафранное убранство; по утрам над прудом стелился густой туман. Невзирая на грабли, с которыми не расставался садовник, сухие листья толстым ковром устилали песок аллеи; тысячи морозных жемчужинок искрились по утрам на зеленом газоне, а вечерами среди оголившихся ветвей деревьев устраивали перепалку сороки.

Алисия бледнела под обеспокоенным взглядом Поля, и на ее скулах проступали два маленьких розовых пятнышка. Она часто мерзла, и даже жаркое пламя камина не согревало ее. Доктор озабоченно хмурился и наконец предписал мисс Уорд провести зиму в Пизе, а весну в Неаполе.

Семейные дела требовали отбытия Поля во Францию; Алисия и коммодор отправлялись в Италию; они расстались в Фолкстоне. И хотя о планах на будущее не было сказано ни слова, мисс Уорд смотрела на Поля как на своего жениха, а коммодор на прощание весьма ощутимо стиснул ладонь молодого человека — с такою силой пожимают руку только будущему зятю.

Спустя шесть месяцев, которые показались нетерпеливому Полю шестью веками, он снова встретился с Алисией. Она полностью излечилась от своей слабости и лучилась здоровьем. Дитя повзрослело, и Поль, упиваясь мечтами о будущем, подумал, что, если он попросит у коммодора руки его племянницы, тот вряд ли станет возражать.

Убаюканный этими сладостными видениями, Поль заснул и проспал до позднего утра. Неаполь уже вовсю шумел; продавцы холодной воды зазывали покупателей; торговцы снедью протягивали прохожим палочки с нанизанными на них кусочками жареного мяса; высунувшись из окон, ленивые хозяйки спускали на веревках пустые корзинки и быстро поднимали их обратно с помидорами, рыбой и большими кусками тыквы. Писцы в потрепанных черных сюртуках и с пером за ухом рассаживались под навесами; менялы раскладывали на прилавках столбики карлино и дукатов; возницы в поисках ранних седоков пускали галопом своих кляч, а колокола во всех церквах весело вызванивали «Angelus»[9].

Закутавшись в халат, наш путешественник распахнул ставни и оперся о подоконник; он смотрел на набережную Санта-Лючия, Кастель дель Ово и бескрайний морской простор, простиравшийся до Везувия и далее, до синеватого мыса, где вырисовывались летние домики Кастелламмаре[10], а за ними точками рассыпались виллы Сорренто.

Небо было чистым, только легкое белое облачко, гонимое беззаботным бризом, приближалось к городу. Поль задержал на нем свой взгляд, странную особенность которого мы уже успели описать; брови его нахму-



рились. Неизвестно откуда взявшиеся тучки присоединились к единственному облачку, и вскоре небо над крепостью Святого Эльма заволокло сплошной черной завесой. Тяжелые капли застучали по мостовой из вулканического туфа, и через несколько минут пошел один из тех проливных дождей, что превращают улицы Неаполя в бурные потоки, смывающие в водосточные канавы собак и даже ослов. Изумленные зеваки бросились врассыпную в поисках укрытия; разносчики спешно ретировались, теряя при отступлении часть своего товара, и дождь, оставшись победителем на поле боя, гигантскими скачками помчался по опустевшей набережной.

Великан facchino, тот самый, которому Пэдди нанес свой великолепный удар, стоял, прижавшись к стене, под балконом, что худо-бедно защищал его от ливня. Носильщик не поддался всеобщей панике, а задумчиво смотрел на открытое окно, туда, где виднелся Поль д'Аспремон.

Его внутренний монолог закончился следующей фразой, которую носильщик пробурчал себе под нос: «Капитан "Леопольда" наверняка сделал бы доброе дело, если бы швырнул этого forestiere* за борт»; и, пошарив рукой под широкой холщовой рубашкой, он коснулся висевшей у него на шее связки амулетов.



* иностранца (*ит.*).



Глава IV

После дождя вновь установилась хорошая погода, горячие солнечные лучи в несколько минут высушили последние капли, оставшиеся после ливня, и на набережной опять радостно замельтешила толпа. Однако носильщик Тимберио отнюдь не изменил своего отношения к молодому французу и ушел поджидать клиентов подальше от гостиницы. Несколько знакомых lazzaroni выразили ему свое удивление, ибо он покинул весьма доходное место.

— Сами там стойте, если хотите, — ответил он с таинственным видом, — а уж я-то знаю, что делаю.

Поль позавтракал у себя в комнате, ибо — то ли от застенчивости, то ли от заносчивости — не любил находиться на людях. Затем он оделся и, чтобы скоротать время в ожидании часа, когда будет прилично явиться к мисс Уорд, отправился в музей Штудий. Невидящим взором он окинул чудесное собрание кампанских ваз, бронзовую утварь, обнаруженную при раскопках Помпей, покрытый патиной медный шлем с черепом греческого воина, кусок спекшейся глины с отпечатком очаровательного

торса молодой женщины, которую извержение застало в загородном доме Аррия Диомеда[1], статую Геркулеса Фарнезского и его великолепные рельефные мускулы, Флору и древнюю Минерву, двух Бальбов и изумительную скульптуру Аристида[2] – возможно, самое совершенное творение, доставшееся нам от античности. Но ни один влюбленный не может быть истинным ценителем произведений искусства: скромный набросок милого сердцу профиля ему дороже всех мраморных статуй Греции и Рима.

Убив кое-как два или три часа в музее Штудий, Поль почти бегом вернулся к поджидавшей его коляске и приказал ехать за город, к дому, где проживала мисс Уорд. Как истинный южанин, кучер понимал страстное нетерпение Поля и потому пустил своих одров во весь опор. Вскоре экипаж остановился перед уже знакомыми нам воротами, украшенными вазами с сочной зеленью. Та же самая служанка вышла открыть калитку; ее непокорные кудри по-прежнему торчали во все стороны; как и в прошлый раз, ее наряд, традиционный для женщин Прочиды, состоял из рубашки грубого холста с вышитым на рукавах и по вороту цветным орнаментом и юбки из плотной ткани с поперечными полосами. На ней, надо признаться, не было ни обуви, ни чулок, но она уверенно ступала по пыли босыми ногами, форма коих восхитила бы самого взыскательного скульптора. На ее груди на черном шелковом шнурке висела связка маленьких подвесок странной формы из кости и кораллов; к явному удовольствию Виче, взгляд Поля задержался на этом необычном украшении.

Мисс Алисия ждала его в беседке, где проводила бóльшую часть дня. Между двумя колоннами, поддерживавшими потолок из виноградных лоз, был натянут красно-белый индейский гамак, украшенный птичьими перьями; запахнув легкий пеньюар из китайского шелка-сырца и безжалостно смяв его плоеные оборки, девушка беспечно покачивалась, утопая в легкой веревочной сетке. Сквозь ячейки гамака мелькали то ножки, обутые в домашние туфли из нитей алоэ, то прекрасные белые руки, скрещенные за головой; поза девушки напоминала позу, в которой античные художники обычно изображали Клеопатру. Хотя май только начался, но уже установилась жара и в разросшемся вокруг кустарнике дружно стрекотали мириады цикад.

Коммодор, облаченный в костюм плантатора, сидел в тростниковом кресле и через равные промежутки времени дергал за веревку, приводившую гамак в движение.

Композицию довершал третий персонаж: это был граф Альтавилла[3], изящный молодой неаполитанец, при виде которого на лбу Поля обозначилась складка, придавшая его лицу дьявольски злобное выражение.

Граф в самом деле не относился к тем, кого приятно видеть рядом с любимой женщиной. Он был высок и безупречно сложен; густые, черные

как смоль волосы обрамляли его чистый благородный лоб; глаза сияли ярче солнца Неаполя, а крупные и крепкие, словно жемчужины, зубы казались ослепительно белыми на фоне алых губ и кожи оливкового оттенка. По самым строгим меркам граф обладал лишь одним недостатком — он был слишком красив.

Свои костюмы Альтавилла заказывал в Лондоне, и умение графа одеваться одобрил бы даже самый взыскательный денди. Только чересчур дорогие пуговицы на сорочке выдавали в нем итальянца. Тут его подводило врожденное пристрастие южан к безделушкам. И вероятно, везде, кроме Неаполя, сочли бы проявлением дурного вкуса прикрепленную одним кольцом к цепочке часов графа связку брелоков. На ней покачивались и коралловые веточки, и выточенные из лавы Везувия кисти рук с согнутыми пальцами или сжимавшие кинжал, и собачки с вытянутыми лапами, и белые и черные ро́жки, и другие мелкие фигурки. Впрочем, стоит вам сделать круг по улице Толедо или по аллее Вилла Реале, как вы тотчас обнаружите, что граф отнюдь не претендовал на оригинальность, потому что эти странные брелоки носят в Неаполе почти все.

Когда Поль д'Аспремон подошел к беседке, граф по настоятельной просьбе мисс Уорд исполнял одну из тех сладкозвучных неаполитанских песен, автор коих неизвестен и каждая из которых — если бы ее подобрал какой-нибудь композитор — могла бы обеспечить успех целой опере. Те, кто не слышал этих мотивов, распеваемых lazzaroni, рыбаками и попрошайками на набережной Кьяйа и на молу, получат представление о них, если послушают прелестные романсы Гордиджани[4]. Мелодии Неаполя сотканы из дыхания бриза, лунного света, аромата апельсинных деревьев в цвету и биения сердца.

Алисия своим красивым, но плохо поставленным голосом пыталась воспроизвести понравившийся ей мотив; не прерываясь, она дружески кивнула Полю, бросившему на нее весьма нелюбезный взгляд, — присутствие красивого молодого человека больно задело его самолюбие.

В гамаке лопнула одна из веревок, мисс Уорд соскользнула на землю, но не ушиблась; шесть готовых помочь рук разом протянулись к ней. Но девушка, пунцовая от смущения, сама вскочила на ноги, ибо знала, что падать в присутствии мужчин считается improper*. Впрочем, все складочки ее целомудренного платья остались на месте.

— Надо же! Я сам проверил этот гамак, — произнес коммодор, — а мисс Уорд весит не больше колибри.

Граф Альтавилла с загадочным видом покачал головой: самому себе он, очевидно, объяснял сей казус отнюдь не перегрузкой, а совершенно

---

* неприличным (*англ.*).

иной причиной, но, будучи человеком хорошо воспитанным, хранил молчание и довольствовался тем, что теребил связку брелоков, покачивавшуюся на его жилете.

Как многие мужчины, случайно столкнувшиеся с грозным, по их мнению, соперником, Поль д'Аспремон, вместо того чтобы продемонстрировать удвоенную вежливость и обходительность, стал угрюм и раздражителен, и, хотя поведение его никогда не вызывало нареканий в свете, на этот раз ему не удавалось скрыть свое плохое настроение. Он отвечал односложно, не поддерживал беседу, и, когда подошел к Альтавилле, в его взгляде появилось зловещее выражение, а в прозрачных серых глазах, словно водяные змейки в глубоком колодце, заплясали желтые точки.

Всякий раз, когда Поль смотрел на графа, тот как бы машинально срывал цветок из стоящей возле него жардиньерки и бросал его таким образом, чтобы преградить путь флюидам, исходившим от раздраженного соперника.

— С чего это вы вдруг решили разорить мою жардиньерку? — воскликнула мисс Алисия Уорд, заметив маневры графа. — По какому праву вы отламываете головки у моих цветов, чем они провинились перед вами?

— О! Ничем, мисс; это у меня нервное, — ответил Альтавилла, срезал ногтем великолепную розу и отправил ее вслед за предыдущей.

— Вы очень обидели меня, — продолжала Алисия, — потому что, сами того не ведая, наступили на мою любимую мозоль. Я ни разу в жизни не сорвала ни одного цветка. Букеты внушают мне ужас, срезанные цветы для меня мертвы и пахнут могильным тленом, я вижу трупы роз, вербены и барвинков.

— Во искупление совершенных мною убийств, — с поклоном произнес граф Альтавилла, — я пришлю вам сто корзин живых цветов.

Поль встал и потянулся за шляпой, всем своим видом показывая, что собирается уходить.

— Как! Вы нас покидаете? — удивилась мисс Алисия.

— Мне надо написать несколько важных писем.

— О! Какие ужасные слова! — Девушка рассердилась и надула губки. — Разве письма могут быть важными, если вы пишете их не мне?

— Останьтесь, Поль, — подал голос коммодор, — у меня есть превосходный план, и, думаю, племянница одобрит его: сначала мы для аппетита выпьем по стакану пахнущей тухлыми яйцами воды из фонтана Санта-Лючия, потом зайдем в рыбную лавку и съедим там по паре дюжин устриц с белым и красным вином, пообедаем под сенью виноградных лоз в какой-нибудь чисто неаполитанской остерии[5], отведаем фалерна[6] и лакри-

ма-кристи[7] и завершим наши развлечения посещением синьора Пульчинеллы[8]. Да заодно граф растолкует нам тонкости местного диалекта.

План коммодора, похоже, нисколько не заинтересовал д'Аспремона, и тот, холодно попрощавшись, удалился.

Альтавилла остался, но мисс Уорд, огорченная уходом Поля, не поддержала своего дядюшку, так что неаполитанец тоже откланялся.

Спустя два часа мисс Алисия получила несколько больших корзин, наполненных горшками с редчайшими цветами, и поразившую ее до глубины души пару огромных рогов сицилийского быка, прозрачных, подобно яшме, и гладких, словно агат; они были не менее трех футов в длину и оканчивались грозными черными остриями. Великолепная подставка из позолоченной бронзы позволяла разместить их на каминной полке, консоли или карнизе.

Виче, помогавшая носильщикам расставлять цветы и рога, казалось, поняла назначение необычного подарка. Она водрузила его на самое видное место, а именно на мраморный столик: глядя на них, можно было подумать, что эти великолепные полумесяцы некогда венчали голову божественного быка, похитившего Европу[9].

— Вот теперь нам нечего бояться, — удовлетворенно произнесла служанка.

— Что вы хотите этим сказать, Виче? — удивилась мисс Уорд.

— Ничего... кроме того, что у французского синьора очень странный взгляд.



Глава V

Часы трапез давно миновали, и теперь пылающие уголья, которые в течение дня уподобляли кухню гостиницы «Рим» кратеру Везувия, медленно дотлевали и превращались в золу в тушилках из черной жести. Кастрюли заняли свои места на предназначенных для них гвоздях, и сверкающие днища повисли в ряд подобно щитам на борту античной триремы[1]. Под главной потолочной балкой на тройной цепочке покачивалась лампа из желтой меди — точная копия тех ламп, что находят при раскопках Помпей. Три фитиля, плававшие в масле, озаряли светом центральную часть кухни, оставляя углы в темноте.

Яркие лучи падали сверху и благодаря игре света и тени придавали необычайную живописность характерным лицам тех, кто расселся вокруг массивного деревянного стола с выщербленной и поцарапанной за долгие годы столешницей. Сие сооружение занимало всю середину обширного помещения, стены которого от кухонной копоти покрылись блестящими жирными потеками, столь дорогими сердцам художников-караваджистов[2]. Нечего и говорить, что Спаньолетто[3] или Сальватор Роза[4], отличаясь здоровой приверженностью к правде жизни, наверняка с вниманием от-

неслись бы к представителям человеческой породы, которые собрались здесь по воле случая или, скорее, в силу привычки к ежевечерним посиделкам на кухне.

Во главе стола с важным видом восседал шеф-повар Вирджилио Фальсакаппа; огромного роста и ужасающей толщины, он вполне сошел бы за одного из сотрапезников Вителлия[5], будь на нем вместо белой бумазейной куртки обшитая пурпурным кантом римская тога. Черты его лица, на удивление четкие, являли собой своего рода карикатуру на некоторые античные изваяния; густые черные брови, изломанные, как у маски Мельпомены, выступали на полдюйма и нависали над глазами; огромный нос отбрасывал тень на широкий, точно акулья пасть, рот, наполненный, казалось, тремя рядами зубов. Мощный двойной подбородок, напоминавший подгрудок Фарнезского быка[6], был отмечен ямочкой такой величины, что в нее поместился бы кулак, и переходил в мускулистую и жилистую шею атлета. Два густых пучка бакенбард, каждый из которых послужил бы достойной бородой для бравого сапера[7], обрамляли широкое лицо, отличавшееся буйными красками. Короткие черные завитки блестящей шевелюры пронизывали седые нити, а тучный затылок тремя глубокими складками наплывал на ворот куртки. В ушах, оттопыренных из-за наростов на мощных челюстях, способных за день перемолоть целого быка, сверкали серебряные кольца серег, огромных, словно полная луна. Таков был дядюшка Вирджилио Фальсакаппа; заткнув за пояс конец фартука и вложив нож в деревянные ножны, он выглядел скорее как жрец, приносящий жертву, нежели как повар.

Вторым участником собрания оказался носильщик Тимберио; постоянная физическая работа и умеренность ежедневной трапезы, состоявшей из тарелки макарон, слегка сдобренных качкавалом[8], ломтя арбуза и стакана ледяной воды, объясняли его относительную худобу; однако, если бы Тимберио ел вдоволь, он, несомненно, достиг бы размеров Фальсакаппы, ибо обладал могучим костяком, созданным, чтобы служить опорой для горы плоти. Носильщик был облачен в свой единственный костюм — штаны, длинный коричневый жилет и наброшенный на плечи мешковатый дождевик.

Рядом, положив локти на стол, сидел еще один примечательный персонаж — Скаццига, возница коляски, нанятой Полем д'Аспремоном. Смышленое плутоватое лицо Скацциги отличалось неправильностью черт и выражением простодушного лукавства; на губах его постоянно блуждала дежурная улыбка, а обходительность манер свидетельствовала о том, что он имеет дело с людьми благородного происхождения. Сюртук, купленный у старьевщика, отдаленно напоминал ливрею, чем Скаццига весьма гордился, ибо, по его представлениям, он занимал более высокое

положение в обществе, нежели невежа Тимберио, и одежда являлась ярким тому доказательством. Речь возницы, пестревшая английскими и французскими словами, которые тот употреблял часто и невпопад, всегда вызывала восторг судомоек и поварят, сраженных столь глубокой ученостью.

Немного поодаль сидели две юные служанки, чьи далекие от совершенства лица, без сомнения, напоминали тип красоты, хорошо знакомый нам по сиракузским монетам: низкий лоб, нос без переносицы, пухлые губы, массивный округлый подбородок. Их иссиня-черные волосы, разделенные прямым пробором, были собраны на затылке в тяжелый пучок и заколоты шпильками с коралловыми шариками; коралловые бусы трижды обвивали мускулистые шеи, ибо, подобно кариатидам, служанки имели обыкновение носить тяжести на голове. Разумеется, светский щеголь просто не заметил бы этих бедных девушек, сохранивших в чистоте кровь своих предков, некогда населявших благословенные земли Греции, но истинный художник, едва завидев их, тотчас бы вооружился блокнотом и остро отточенным карандашом.

Доводилось ли вам видеть в галерее маршала Сульта[9] полотно Мурильо, на котором изображены херувимы, хозяйничающие на кухне?[10] Если да, то это избавляет нас от описания нескольких кудрявых поварят, ибо вы сами легко дополните общую картину.

На тайном собрании обсуждался вопрос чрезвычайной важности. Речь шла о господине Поле д'Аспремоне, французском путешественнике, прибывшем с последним пароходом: челядь перемывала косточки господам.

Слово получил носильщик Тимберио. Чтобы дать слушателям возможность прочувствовать значимость каждого сказанного им слова, он, словно модный актер, делал паузу после каждой фразы.

— Внимательно следите за ходом моих мыслей, — вещал оратор. — Капитан «Леопольда» — честный тосканец, и его можно упрекнуть только за то, что он возит слишком много английских еретиков...

— Английские еретики хорошо платят, — перебил его Скаццига, который благодаря щедрым чаевым отличался веротерпимостью.

— Согласен; впрочем, иначе и быть не может: когда еретик заставляет христианина работать на себя, он обязан как следует вознаградить того, дабы искупить причиняемое унижение.

— Меня вовсе не унижает, когда какой-нибудь forestiere нанимает мою коляску; мое ремесло не имеет ничего общего с трудом вьючного животного, которым занимаешься ты, Тимберио.

— Я такой же человек и католик, как ты. — Носильщик сдвинул брови и сжал кулаки.

— Дайте договорить Тимберио, — хором воскликнули остальные, опасаясь, как бы сей интереснейший диспут не превратился в потасовку.

— Полагаю, вы согласны, — продолжил, успокоившись, оратор, — что, когда «Леопольд» вошел в порт, стояла великолепная погода?

— Мы согласны с вами, Тимберио, — снисходительно заявил величественный шеф-повар.

— Море было спокойным, словно покрылось льдом, — добавил facchino, — однако огромная волна с такой силой ударила в лодку Дженнаро, что он вместе с парой своих приятелей свалился в воду. Разве это естественно? А между тем Дженнаро бывалый моряк, он может без всякого балансира станцевать тарантеллу на рее.

— Наверняка он выпил лишнюю бутылку «Асприно»[11], — заметил рационально мыслящий Скаццига.

— Ни даже стакана лимонада! — решительно отверг его подозрения Тимберио. — Нет, просто на борту парохода находился некий человек, который нехорошо посмотрел на него, — надеюсь, вы меня понимаете?

— О, разумеется! — хором ответили слушатели, с восхитительным единодушием выбросив вперед руки с вытянутыми вперед мизинцем и указательным пальцем.

— И этот человек, — заключил Тимберио, — есть не кто иной, как господин Поль д'Аспремон.

— ...что проживает в номере три, — уточнил шеф-повар, — и никогда не спускается в наш ресторан.

— Совершенно верно, — ответила самая молоденькая и хорошенькая служанка. — Я никогда не видела такого угрюмого, противного и надменного путешественника: он ни разу не взглянул на меня и не сказал ни слова, а ведь все наши постояльцы в один голос твердят, что я очень мила.

— Они вас недооценивают, дорогая моя Джельсомина, вы настоящая красавица, — галантно улыбнулся Тимберио. — Но вам очень повезло, что этот иностранец на вас не смотрит.

— Ты слишком суеверен, — заметил скептик Скаццига; постоянное общение с иностранцами превратило его в благодушного вольтерьянца.

— А ты слишком много якшаешься с еретиками, того и гляди, сам перестанешь верить в святого Януария[12].

— Если Дженнаро угораздило вывалиться из лодки, — стал на защиту своего клиента Скаццига, — это вовсе не значит, что виноват господин д'Аспремон.

— Вот тебе еще доказательство: сегодня утром я видел, как он стоял у окна и смотрел на облачко размером не больше пушинки, вылетевшей из распоротой подушки; тотчас же начали собираться черные тучи, и по-

шел такой ливень, что собаки могли напиться стоя, просто задрав морды к небу[13].

Скаццига с сомнением пожал плечами: носильщику не удалось убедить его.

— И грум его одного с ним поля ягода, — продолжал Тимберио. — Эта макака в сапогах наверняка знается с дьяволом, иначе как бы ему удалось швырнуть меня на землю? Не помогай ему нечистая сила, я бы одним пальцем раздавил этого плюгавца.

— Я согласен с Тимберио, — величественно произнес шеф-повар. — Иностранец мало ест; он отослал обратно фаршированные тыквочки, жареную курицу и макароны с соусом из помидоров, приготовленным лично мною! Что за страшная тайна кроется за такой подозрительной умеренностью в еде? С чего это вдруг богатый человек отказывается от вкуснейших блюд и заказывает лишь яичный суп и ломтик холодного мяса?

— Он рыжий, — подала голос Джельсомина, проводя рукой по своим черным кудрям.

— И глаза у него выпученные, — подхватила Нанелла, вторая служанка.

— И сидят у самого носа, — назидательно добавил Тимберио.

— А морщины у него на лбу собираются в одну большую складку в форме подковы, — завершил описание несравненный Вирджилио Фальсакаппа. — Значит, он...

— Молчите, не произносите это слово, мы вас поняли, — закричали все, исключая Скаццигу, непоколебимого в своем скептицизме, — и мы все будем начеку!

— Если бы я знал, что полиция не притянет меня к ответу, — проворчал Тимберио, — я бы всенепременно уронил чей-нибудь тяжеленький чемодан на голову этого чертова forestiere!

— Скаццига очень храбр, раз не боится его возить, — произнесла Джельсомина.

— Я сижу на облучке, он видит только мою спину, и взгляд его никак не может встретиться с моим. Впрочем, мне смешны все ваши страхи.

— Вы впадаете в ересь, Скаццига, — заключил Пальфорио, повар геркулесова сложения, — и плохо кончите.

Пока на кухне гостиницы «Рим» судачили на его счет, Поль, находясь в дурном расположении духа из-за встречи с графом Альтавиллой в доме мисс Уорд, отправился прогуляться к Вилла Реале; пресловутая морщина то и дело бороздила его лоб, а взгляд становился пристальным и задумчивым. Один раз ему показалось, что мимо в коляске проехала Алисия с графом и коммодором, и он, водрузив на нос пенсне, дабы не ошибиться, бросился следом; однако оказалось, что это не Алисия, а всего лишь немно-

го похожая на нее женщина. Лошади, впряженные в коляску незнакомки, без сомнения, испугались резких движений Поля и понесли.

Поль зашел в «Европейское кафе» на площади перед дворцом и заказал мороженое; несколько человек внимательно оглядели его и пересели за другой столик, делая при этом странный жест.

Он вошел в театр Пульчинеллы, где давали комическое представление tutto da ridere*. Внезапно актер[14] смутился, прервал веселую импровизацию и умолк, не зная, что сказать; затем он взял себя в руки и продолжил, но посреди одной из лацци[15] его черный картонный нос отвалился, и, так и не сумев приладить его обратно, лицедей, словно оправдываясь, быстро сделал некий знак, объяснив этим причину своих неудач: под взглядом Поля он не мог рассказать толком ни одной шутки.

Сидевшие рядом с Полем зрители один за другим исчезли. Д'Аспремон поднялся и направился к выходу, нисколько не подозревая о своем странном воздействии на окружающих. В коридоре он услышал, как вслед ему тихо прозвучали странные и непонятные слова: «Джеттаторе!** Настоящий джеттаторе!»

* смешное, веселое (*ит.*).

** Человек, обладающий дурным глазом, наводящий порчу (*ит.*).



Глава VI

На следующий день, после того как мисс Уорд получила в подарок бычьи рога, граф Альтавилла нанес ей визит. Молодая англичанка пила чай в обществе своего дядюшки так, словно находилась в гостиной желтого кирпичного дома в Рамсгите[1], а не в беседке с белыми колоннами, среди смоковниц, кактусов и алоэ, ибо одним из отличительных признаков саксонской расы является приверженность традициям, соблюдение которых нередко вступает в противоречие с окружающей обстановкой. Лицо коммодора сияло: с помощью особого аппарата ему удалось химическим путем получить лед (ибо окрестная природа богата только снегом, доставляемым с гор, что высятся сразу за Кастелламмаре), благодаря которому сливочное масло не растаяло, и теперь английский джентльмен с видимым удовольствием намазывал его на хлеб, приготовленный для сандвича.

После нескольких пустых любезностей, предваряющих любую беседу как прелюдия, во время которой пианист пробует клавиши, прежде чем перейти к пьесе, Алисия внезапно отошла от общепринятых тем и обратилась к молодому неаполитанскому графу:

— Что означает странный подарок, который вы прислали мне вместе с цветами? Моя служанка Виче сказала, что это средство защиты от fascino;* больше мне ничего не удалось из нее вытянуть.

— Виче права, — с поклоном ответил граф Альтавилла.

— Но что такое fascino? — продолжала юная мисс. — Я не знакома с вашими суевериями... скорее всего, африканского происхождения; наверняка речь идет о какой-нибудь народной примете.

— Fascino — пагубное воздействие, которое оказывает на вас человек, наделенный, хотя в данном случае это слово не совсем уместно, дурным глазом.

— Придется сделать вид, что мне все ясно, иначе, если я признаюсь, что смысл ваших слов ускользает от меня, у вас сложится неблагоприятное впечатление о моих умственных способностях, — вздохнула мисс Алисия Уорд. — Вы объясняете неизвестное с помощью неизвестного: по-моему, *дурной глаз* — плохой перевод слова «fascino». Следом за героем известной комедии скажу, что знаю латынь, но вы все-таки говорите так, будто я ее не знаю[2].

— Сейчас я все объясню, — ответил Альтавилла. — Только боюсь, что со свойственной британцам надменностью вы сочтете меня дикарем и начнете задаваться вопросом, уж не прячу ли я под сорочкой красные и синие татуировки... Нет, я вполне цивилизованный человек: я воспитывался в Париже, говорю по-английски и по-французски, читал Вольтера, верю в паровые машины и железные дороги. Я, как и Стендаль, уверен в победе двухпалатной системы[3], ем макароны вилкой, по утрам надеваю темные лайковые перчатки, после полудня — цветные, а вечером — светлые.

Столь странное вступление привлекло внимание коммодора, намазывавшего вторую тартинку; прервав сие занятие, он с ножом в руке уставился на Альтавиллу своими светло-голубыми глазами, разительно контрастировавшими с кирпично-красной кожей.

— Начало весьма убедительное, — улыбнулась мисс Алисия Уорд. — Если бы теперь я обвинила вас в *варварстве,* вы с полным основанием могли бы счесть меня пристрастной. Но, видимо, то, что вы собираетесь сказать, действительно ужасно или решительно невероятно, раз вы всё кружите вокруг да около, вместо того чтобы сразу перейти к делу.

— Да, ужасно, да, невероятно и, что хуже всего, смешно, — продолжил граф. — Будь я в Лондоне или Париже, я, может статься, посмеялся бы вместе с вами, но здесь, в Неаполе...

— ...вы останетесь серьезным. Я правильно вас поняла?

— Совершенно верно.

---

* сглаза, порчи (*ит.*).

— Вернемся к fascino, — промолвила мисс Уорд, на которую тон Альтавиллы не мог не произвести впечатления.

— Это поверье восходит к глубокой древности. На него есть намек в Библии[4]. О нем убедительно пишет Вергилий;[5] бронзовые амулеты, найденные в Помпеях, Геркулануме и Стабиях[6], знаки-обереги, обнаруженные во время раскопок на стенах домов, свидетельствуют, насколько широко это суеверие было распространено в те времена. — Альтавилла нарочно сделал ударение на слове *суеверие.* — Весь Восток до сих пор верит в fascino. Чтобы отвести сглаз, к стенам мавританских домов прибивают красную или зеленую руку. Каменная рука, высеченная на замковом камне арки Ворот Правосудия в Альгамбре[7], доказывает, что *предрассудок* этот, даже если и не имеет под собой никакого основания, по крайней мере, весьма древний. Коль скоро миллионы людей в течение тысячелетий верили во что-то, не исключено, что их вера опиралась на факты и длительные наблюдения, подкреплявшие ее... И как бы я ни был самонадеян, не могу согласиться, что столько людей, среди которых немало знаменитостей, ученых и просто выдающихся умов, грубо ошибались, и только я один сумел во всем разобраться...

— Ваше рассуждение несложно опровергнуть, — перебила графа мисс Алисия Уорд. — Разве Гесиод, Гомер, Аристотель, Платон и даже Сократ, принесший петуха в жертву Асклепию[8], а также другие бесспорно гениальные мужи не заблуждались, веря во множество ныне забытых богов?

— Несомненно, мисс, и сегодня уже никто не закалывает быков во славу Юпитера.

— Гораздо разумнее делать из них бифштексы и ромштексы, — назидательно произнес коммодор, которого всегда шокировал описываемый Гомером обычай сжигать жирные окорока жертвенных животных.

— Да, — продолжил Альтавилла, — никто больше не приносит в жертву ни голубок Венере, ни павлинов Юноне, ни козлов Вакху. На смену беломраморным кумирам, коими Греция населила свой Олимп, пришло христианство: истина изгнала ересь, но до сих пор бессчетное число людей страшится fascino, или, как говорят в народе, *джеттатуры.*

— Я понимаю, что невежественные простолюдины могут бояться дурного глаза, — не сдавалась мисс Уорд, — но, когда человек вашего происхождения и воспитания разделяет подобные предрассудки, меня это удивляет.

— Даже те, кто считает себя свободным от суеверий, — ответил граф, — подвешивают к окну рог, над дверью прибивают олений череп с рогами и ходят увешанные амулетами. Буду с вами откровенен и, отбросив стыд, признаюсь, что, когда я вижу *джеттаторе,* я стараюсь перейти на другую сторону улицы, чтобы ненароком не встретиться с ним взглядом, а если встреча неизбежна, изо всех сил стараюсь отвести от себя угрозу с помощью

особого жеста. В этом я ничем не отличаюсь от любого lazzarone и уверен, что прав. Многочисленные несчастные случаи научили меня не пренебрегать подобными предосторожностями.

Мисс Алисия Уорд была протестанткой и к тому же воспитывалась в духе свободы и философского скептицизма, поэтому она ничего не принимала на веру и все подвергала подробнейшему анализу: ее здравый ум испытывал отвращение к тому, что не поддавалось объяснению с помощью точных наук. Речи графа изумили ее. Сначала она усмотрела в них лишь простую игру ума, но спокойный и уверенный тон Альтавиллы пусть не убедил ее, но заставил задуматься.

— Предположим, — сказала она, — этот предрассудок до сих пор существует и очень распространен, предположим, вы искренне опасаетесь дурного глаза, а не разыгрываете шутки ради простодушную иностранку. Дайте же мне какое-нибудь естественное объяснение этого суеверия, так как, предупреждаю вас, я не склонна верить на слово, пусть даже вы сочтете меня начисто лишенной поэзии: все фантастическое, таинственное, оккультное, необъяснимое не производит на меня никакого впечатления.

— Мисс Алисия, но вы ведь не станете отрицать, — настаивал граф, — силы воздействия человеческого взгляда: в нем отражается свет Небес и огонь души; зрачок — это линза, собирающая в пучок жизненные лучи, а в ответ из его узкого отверстия фонтаном бьет электрическая энергия ума. Разве женский взор не пронзает самые суровые сердца? Разве взгляд героя не воодушевляет целые армии? А взгляд врача, разве он не укрощает безумца словно холодный душ? Разве взгляд матери не заставляет отступать даже львов?

— Вы весьма красноречиво отстаиваете свои убеждения, — мисс Уорд покачала своей хорошенькой головкой, — но, прошу меня простить, я по-прежнему сомневаюсь.

— А что вы скажете о птице, которая, вместо того чтобы улететь, спускается с высокого дерева и, трепеща от ужаса и испуская жалобные крики, бросается в пасть змеи, заворожившей ее своим взором? Неужели и она подвержена предрассудкам? Или вы полагаете, что, сидя в гнезде, она слушала пересуды пернатых кумушек о том, как взглядом наводят порчу? Или не существует явлений, причина которых скрыта от наших органов чувств? Миазмы болотной лихорадки, чумы, холеры — разве мы их видим? Даже самый зоркий глаз не разглядит электрического тока, скопившегося на острие громоотвода, но ведь именно к нему притягивается молния! Так почему же вы отказываетесь предположить, что наши глаза, черные, голубые или серые, испускают невидимые лучи — благотворные или губительные? Почему считаете вздорным утверждение, что флюиды наших глаз могут быть добрыми или злыми — в зависимости от того, каким образом их излучают и как получают?

— Мне кажется, — вступил в разговор коммодор, — что в рассуждениях графа есть зерно истины. Вот я, к примеру, всегда, когда смотрю в золотистые глаза жабы, ощущаю нестерпимую резь в желудке, словно только что принял рвотное; а ведь у бедной твари гораздо больше оснований бояться, чем у меня, ибо я в любую минуту могу раздавить ее каблуком.

— Ах, дядюшка, если вы станете на сторону господина Альтавиллы, — воскликнула мисс Уорд, — я непременно потерплю поражение. У меня не хватит сил сопротивляться вам обоим. Разумеется, я могла бы опровергнуть вашу теорию о существовании неких флюидов, испускаемых нашими глазами, сославшись на то, что ни один физик не упоминает о чем-либо подобном. Но предположим, что на время я готова признать ее: тогда скажите, каким образом подаренные вами рога предохраняют от этих пагубных воздействий?

— Как острие громоотвода притягивает молнию, — ответил Альтавилла, — так заостренные концы этих рогов приковывают взгляд джеттаторе, принимают на себя злотворный флюид и лишают его опасного электричества. Пальцы, вытянутые вперед «ро́жками», и амулеты из кораллов служат той же цели.

— Господин граф, все, что вы мне сейчас рассказали, — совершеннейшее безумие, — произнесла мисс Уорд. — Единственный вывод, который я могу сделать из ваших слов, заключается в том, что, по вашему мнению, мне грозит опасность от некоего джеттаторе, и вы послали мне рога в качестве средства защиты.

— Да, мисс Алисия, я боюсь за вас, — твердо и уверенно ответил граф.

— Ну, это мы еще посмотрим! — возмутился коммодор. — Пусть этот косоглазый мерзавец только попробует взглянуть на мою племянницу! Хотя мне пошел уже седьмой десяток, я еще не забыл полученные мною уроки бокса.

И он по-боксерски сжал пальцы в кулаки.

— Хватит и двух пальцев, милорд, — произнес Альтавилла, помогая руке коммодора принять необходимое, с его точки зрения, положение. — Обычно джеттатура не зависит от воли того, кто обладает этим роковым даром; часто джеттаторе, осознав, какой страшной способностью он наделен, сам больше, чем кто-либо, оплакивает последствия своего пагубного воздействия; следовательно, эти люди не виноваты, надо просто избегать их. Впрочем, с помощью рогов, вытянутых вперед пальцев или коралловых рогулек можно отвести от себя или, по крайней мере, ослабить сглаз.

— Воистину, все это очень странно, — произнес коммодор. Как он ни сопротивлялся, уверенность Альтавиллы произвела на него большое впечатление.

— Я и не подозревала, что меня преследуют джеттаторе. Я редко покидаю нашу беседку, а если и покидаю, то лишь для того, чтобы вместе с дядюшкой прокатиться в коляске мимо Вилла Реале, поэтому я не понимаю, что могло дать вам пищу для опасений, — заявила девушка. В ней пробудилось любопытство, но сомнения Алисии отнюдь не рассеялись. — Так кого же вы подозреваете?

— Это не подозрения, мисс Уорд, это уверенность, — возразил Альтавилла.

— Помилуйте, граф, откройте нам имя этого рокового создания! — насмешливо воскликнула мисс Уорд.

Альтавилла молчал.

— Да, неплохо было бы знать, кого нам надо остерегаться, — поддержал коммодор.

Молодой неаполитанский граф словно собирался с мыслями; внезапно он встал, подошел к дядюшке мисс Уорд, почтительно поклонился ему и промолвил:

— Милорд, я прошу руки вашей племянницы.

От неожиданности Алисия покраснела, а коммодор из багрового сделался пунцовым.

Разумеется, граф Альтавилла имел полное право претендовать на руку мисс Уорд: он принадлежал к одному из старейших и знатнейших семейств Неаполя, был красив, молод, богат, обаятелен, превосходно воспитан, обладал безупречным вкусом. Его просьба не могла никого оскорбить, но она прозвучала столь неожиданно и казалась столь далекой от темы предшествующего разговора, что крайнее изумление дяди и племянницы вполне понятно. Только Альтавилла не выглядел ни удивленным, ни растерянным, он спокойно стоял и ждал ответа.

— Мой дорогой граф, — коммодор наконец справился с замешательством, — ваше предложение столь же поразительно, сколь и лестно для меня. Поистине, я не знаю, что ответить; я даже не успел посоветоваться с племянницей. Мы только что болтали о чарах, сглазе, рогах, амулетах, ладонях и пальцах, сжатых в кулак, — о всякой всячине, не имеющей ни малейшего отношения к браку, — и вдруг вы просите руки Алисии! Ваше предложение никак не вяжется с нашим разговором, поэтому надеюсь, вы не будете на меня в обиде, если я скажу, что у меня еще нет определенных соображений на этот счет. Безусловно, вы были бы прекрасной парой, но я думал, у племянницы иные планы. Правда, старый морской волк вроде меня не может похвастаться умением читать в сердцах юных девиц...

Поняв, что дядя окончательно запутался, Алисия, воспользовавшись паузой, решила вызволить его из щекотливого положения и сказала неаполитанцу:

– Граф, когда порядочный человек открыто просит руки честной девушки, ей не пристало чувствовать себя обиженной, однако она вправе удивиться, если эта просьба звучит несколько странно. Я поинтересовалась, как зовут так называемого джеттаторе, чье влияние, по вашему мнению, может повредить мне, а вы вместо ответа ни с того ни с сего предлагаете мне выйти за вас замуж. Ваш мотив совершенно неясен.

– Дело в том, – ответил Альтавилла, – что порядочному человеку не пристало выступать в роли доносчика, зато муж имеет полное право защитить свою жену. Поразмыслите несколько дней. Надеюсь, что рога, поставленные на видное место, пока обезопасят вас от всяческих неприятностей.

С этими словами граф поднялся и, низко поклонившись, удалился.

Виче, служанка с кудрявыми волосами, пришла убрать чайник и чашки; медленно поднимаясь по ступенькам к беседке, она слышала конец разговора. Крестьянская девушка из Абруцци[9], за несколько лет работы прислугой так толком и не привыкшая к городской жизни, питала живейшее отвращение к Полю д'Аспремону, ибо тот был forestiere, подозреваемый в джеттатуре. К тому же она искренне восхищалась графом Альтавиллой



и не понимала, как мисс Уорд могла предпочесть ему этого тщедушного бледного юношу, которого она, Виче, и близко бы к себе не подпустила, даже если бы он и не был джеттаторе. И потому, не оценив деликатности графа и желая отвести от любимой хозяйки порчу, служанка наклонилась к уху мисс Уорд и прошептала:

— А я знаю, чье имя скрывает граф Альтавилла.

— Молчите, Виче, если хотите, чтобы я по-прежнему хорошо относилась к вам. И впредь запрещаю вам подобные разговоры, — ответила Алисия. — Любые суеверия постыдны, и я не собираюсь придавать им значения; истинная христианка страшится только гнева Господня.



Глава VII

"Джеттаторе! Джеттаторе!" Доподлинно это слово относилось ко мне, – твердил про себя Поль д'Аспремон по дороге в гостиницу. – Не знаю, что оно означает, но в нем, без сомнения, содержится или оскорбление, или насмешка. Однако что во мне такого странного, диковинного или смешного, чтобы привлекать столь нежелательное внимание? Со стороны, конечно, виднее, однако я всегда был уверен, что я не красавец и не урод, не великан и не карлик, не тощ и не толст – словом, вполне неприметен. В моей одежде нет ничего вычурного: я не ношу ни тюрбана с зажженными свечами на голове, точно господин Журден во время турецкой церемонии в комедии Мольера, ни куртки с вышитым на спине золотым солнцем; передо мной не вышагивает негр, бьющий в литавры. Моя персона в Неаполе никому не известна, да и одет я как все, так сказать, в домино[1] современной цивилизации и ничем не выделяюсь в толпе щеголей, фланирующих по улице Толедо или Дворцовой площади, разве что только у меня все чуть меньше: и галстук, и булавка, и вышивка на сорочке, и жилет, и золотые цепочки. Да и волосы не так сильно завиты.

Может, я в самом деле недостаточно завит — завтра же попрошу гостиничного парикмахера устранить этот недостаток. Однако здесь уже привыкли к иностранцам, и некоторые различия в туалете вряд ли объясняют, почему в моем присутствии начинают шептать это загадочное слово и делать этот дикий жест. К тому же я заметил, что все, кого я встречал, тотчас же старались перейти на другую сторону улицы, в их глазах читались страх и неприязнь. Что я сделал этим людям? Ведь я впервые вижу их! Путешественник — тень, мелькнувшая, чтобы никогда больше не появиться, — везде встречает вежливое безразличие, если только он не прибыл из какой-нибудь далекой страны и не являет собою образчик неведомой доныне породы. Каждую неделю пакетботы доставляют сюда тысячи таких же, как я, туристов. Но кого они волнуют, кроме носильщиков, хозяев гостиниц и наемных слуг? Я не убивал своего брата, потому что у меня его нет, и, значит, не отмечен Господом печатью Каина; однако, завидев меня, люди мрачнеют и избегают моего общества. Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Вене, ни в одном из городов, где мне довелось побывать, я никогда не замечал подобной реакции. Меня часто считали гордецом, спесивцем, отшельником; мне говорили, что я позаимствовал у англичан их sneer* и злоупотребляю ею, обвиняли в подражании лорду Байрону, однако повсюду мне оказывали прием достойный джентльмена, а если мне случалось самому сделать первый шаг к сближению, от этого уважение ко мне лишь возрастало. Трехдневное плавание из Марселя в Неаполь не могло изменить меня настолько, чтобы я внезапно превратился в негодяя или посмешище; немало женщин одаривали меня своим вниманием; я сумел тронуть сердце мисс Алисии Уорд, прелестнейшей девушки, воистину небесного создания, настоящего ангела, воспетого Томасом Муром!»[2]

Эти, несомненно справедливые, рассуждения несколько успокоили Поля д'Аспремона, и он убедил себя, что неправильно истолковал оживленную мимику неаполитанцев, изъясняющихся, как известно, в отличие от всех прочих народов, не только словами, но и жестами.

Был поздний вечер. Все путешественники, за исключением Поля, уже разошлись по своим комнатам; Джельсомина, одна из тех служанок, что участвовали в кухонном собрании под председательством Вирджилио Фальсакаппы, ожидала возвращения Поля, чтобы запереть входную дверь на засов. Сегодня была очередь дежурить второй служанки, Нанеллы, но она попросила свою более храбрую приятельницу заменить ее: девушке страшно не хотелось встречаться с forestiere, подозреваемым в джеттатуре. Джельсомина вооружилась до зубов: на груди у нее топорщилась огромная связка амулетов, вместо бархатных бантиков с жемчугом,

* усмешку (*англ.*).

которые неаполитанка носила в качестве серег, в ее мочках покачивались пять маленьких коралловых отростков; она заранее сложила предписываемым образом пальцы и при этом так старательно вытягивала указательный и мизинец, что, несомненно, заслужила бы одобрение его преподобия Андреа де Йорио, автора трактата «Mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano»*.

Отважная Джельсомина одной рукой подала господину д'Аспремону подсвечник, а другую спрятала в складках юбки. При этом она так настойчиво, почти вызывающе, смотрела ему прямо в лицо, что француз смутился и отвел глаза; казалось, это обстоятельство доставило девушке большое удовольствие.

Глядя на застывшую, подобно статуе, Джельсомину со свечой в вытянутой руке, на горделивую осанку неаполитанки и четкий, залитый светом профиль со сверкающими очами, можно было принять ее за античную Немесиду[3], обличающую преступника.

Когда путешественник поднялся по лестнице и шум его шагов затих, Джельсомина вскинула голову и с торжеством в голосе произнесла:

— Здорово я отразила взгляд этого несчастного — да покарает его святой Януарий! Теперь ему самому будет худо, а я могу быть спокойна, со мною ничего не случится.

Поль уснул, но сон его был тревожен. На смену дневным волнениям пришли мучительные ночные кошмары: его окружили уродливые лица чудовищ, искаженные ненавистью, гневом и страхом; потом лица исчезли, и из воцарившейся темноты выползли тощие руки с длинными, костлявыми и узловатыми пальцами, мерцавшие адским огнем; они грозили ему, складываясь в магические фигуры; их загнутые, как у тигров, ногти, удлинялись и становились похожими на когти грифа; они медленно тянулись к его лицу, и, казалось, вот-вот вырвут его глаза из глазниц. Нечеловеческим усилием Полю удалось оттолкнуть эти руки, и они разлетелись во все стороны, взмахивая кожистыми крыльями, точно стая летучих мышей. Вслед за руками с крючковатыми пальцами появились черепа — бычьи, оленьи, козлиные, гладкие белые черепа, ожившие, вырванные из небытия; они обступили его, выставив вперед раскидистые рога, и сбросили в море, где в его тело впились сотни острых коралловых шипов. Набежавшая волна вышвырнула его — истерзанного, разбитого, полумертвого — на берег, и сквозь забытье, словно Дон-Жуан лорда Байрона, он увидел склонившуюся над ним очаровательную девичью головку. То была не Гайдэ, а Алисия — прекрасная, как гречанка, созданная воображением поэта[4]. Девушка тщетно пыталась вытащить его из воды, она позвала на помощь

---

* «Мимика древних в неаполитанской жестикуляции»[5] (*ит.*).

Виче, свою диковатую служанку, а та лишь зло рассмеялась в ответ; силы покинули Алисию, пальцы ее разжались, и пучина вновь поглотила Поля.

Эти фантасмагории, внушавшие безотчетный ужас и смутный страх, и другие, еще более расплывчатые образы, похожие на бесформенных призраков в непроглядной тьме офортов Гойи[6], терзали спящего до первых проблесков зари. Душа Поля, освободившись от телесной оболочки, как будто бы разгадала то, над чем бился наяву его мозг, и в сумрачных коридорах жутких снов пыталась донести до него смысл дурных предчувствий.

Д'Аспремон проснулся разбитым и охваченным тревогой; он верил, что ночные кошмары предвещают беду, но боялся проникнуть в роковую тайну; он кружил вокруг нее, зажмурив глаза и заткнув уши, не желая ничего ни видеть, ни слышать. Никогда еще он не чувствовал себя столь неуверенно: он усомнился даже в Алисии. Дерзость неаполитанского графа, удовольствие, с которым девушка слушала его, сочувственное выражение лица коммодора — все всплывало в памяти Поля, стремительно обрастало тысячью безжалостных подробностей, наполняло его сердце горечью и усугубляло тоску.

Утро обладает чудесной способностью рассеивать тревоги, вызванные ночными видениями. Смарра[7], ослепленный золотыми стрелами дневного света, что проникают в комнату сквозь щель между занавесками, улетает, яростно хлопая перепончатыми крыльями. Солнце радостно сияло, небо было чистым, и над синей гладью моря сверкали миллионы золотистых брызг. Мало-помалу Поль успокоился; он постарался забыть о страшных снах и непонятных предчувствиях вчерашнего вечера, а если и вспоминал о них, то лишь для того, чтобы упрекнуть себя в излишней мнительности.

Он отправился прогуляться по бульвару Кьяйа, чтобы развеяться и полюбоваться кипучей неаполитанской жизнью. Отчаянно кривляясь и размахивая руками в манере, совершенно не свойственной жителям северных стран, торговцы снедью протяжно зазывали покупателей, но, поскольку они изъяснялись на неаполитанском диалекте, Поль, владевший только итальянским, не понимал их. Однако всякий раз, когда он останавливался возле какой-нибудь лавочки, ее хозяин приходил в смятение, вполголоса что-то бормотал и вытягивал вперед указательный палец и мизинец, словно желая проткнуть этими символическими рогами непрошеного зеваку; более дерзкие кумушки открыто сыпали проклятиями и грозили вслед Полю кулаком.



Глава VIII

Аспремон, слыша, как проклинают его жители Кьяйа, решил, что стал мишенью для грубоватых шуток, которые торговцы рыбой обычно отпускают в адрес явившихся на рынок хорошо одетых людей. Однако в глазах каждого встречного читалось такое неподдельное отвращение или искренний страх, что вскоре Поль вынужден был отказаться от этого объяснения. Тут кто-то опять произнес слово «джеттаторе», неприятно поразившее его слух в театре Сан-Карлино[1], но на этот раз в нем прозвучала угроза, и д'Аспремон медленным шагом отправился восвояси, ни на чем не задерживая своего взгляда, ставшего причиной стольких волнений. Держась поближе к домам, чтобы не привлекать к себе внимания, он случайно набрел на развал букиниста, повернулся спиною к прохожим и принялся листать книги. Шелестящие страницы закрыли его лицо, и Поль не рисковал снова подвергнуться оскорблениям. У него мелькнула было мысль побить всех этих каналий тростью, но он тут же прогнал ее прочь: в его душу начинал закрадываться смутный суеверный страх. Д'Аспремон вдруг вспомнил, что как-то раз, желая проучить наглого кучера, слегка

ударил его тросточкой, но попал в висок, и бедняга умер на месте; это невольное убийство до сих пор камнем лежало на сердце Поля. Просмотрев и положив на место несколько томиков, он неожиданно нашел трактат о джеттатуре синьора Николы Валлетты[2]. Огненными письменами вспыхнуло заглавие перед его глазами — казалось, сам рок послал ему эту книгу. Букинист насмешливо глядел на Поля, позвякивая двумя или тремя черными рóжками, висевшими вместе с брелоками на цепочке его часов. Поль бросил ему шесть или семь карлино — сумму, в которую тот оценил вожделенный том, и поспешил в гостиницу, чтобы как можно скорее затвориться у себя в комнате и прочесть книгу, обещавшую прояснить и определить природу страхов, заполонивших его душу с первых шагов по Неаполю.

Книжечка синьора Валлетты популярна в Неаполе не меньше «Секретов Альберта Великого»[3], «Эттейлы»[4] или «Толкователя сновидений»[5] в Париже. Валлетта дает определение понятия джеттатуры, учит, по каким признакам следует ее распознавать и как от нее защищаться; он подразделяет джеттаторе на несколько видов, в зависимости от степени их зловредности, и затрагивает все вопросы, связанные с этим серьезным предметом.

Если бы эта книга случайно встретилась ему в Париже, д'Аспремон рассеянно пролистал бы ее, как пролистывают старый альманах, напичканный несуразными историями, и посмеялся бы над тем, с каким глубокомыслием автор рассуждает о явных нелепостях. Но сейчас Поль находился вдали от привычной для него обстановки, дух его пребывал в смятении, к тому же множество мелких происшествий пошатнуло его недоверие. Он читал старый трактат, холодея от ужаса, словно перед ним лежала колдовская книга, а он, непосвященный, разбирал по слогам магические формулы заклинания духов. Сам того не желая, Поль проникал в секреты преисподней, и чем дальше читал, тем больше страшных тайн открывалось ему; он осознал, какой роковой силой наделен, и понял, что он джеттаторе! Волей-неволей приходилось признать: он обладает всеми отличительными признаками, указанными Валлеттой.

Нередко случается, что человек, считающий себя совершенно здоровым, случайно или по рассеянности открывает медицинский справочник и, просматривая описание болезни, понимает, что болен; в новом, пагубном свете он разбирает каждый симптом и чувствует, как тревожно отзывается в его теле какой-то орган, какой-то фибр, скрытые движения коего ранее от него ускользали, и несчастный бледнеет, видя, что смерть, которая казалась такой далекой, уже стоит на пороге. Подобное чувство испытал теперь Поль.



Встав перед зеркалом, он со страхом вгляделся в собственное отражение: в темной глубине зловеще светилось несовершенное лицо, составленное из прекрасных, не сочетаемых черт и более чем когда-либо похожее на лик падшего архангела. Зрачки судорожно сужались и расширялись, прожилки радужки извивались, точно гадюки, брови дрожали подобно тетиве лука, из которого только что выпустили смертоносную стрелу; белая морщина на лбу напоминала шрам от ожога молнией, а отливающие медью волосы как будто вспыхивали адским огнем; мраморная бледность кожи еще более подчеркивала каждую деталь его поистине устрашающего лика.

Поль испугался самого себя, ему показалось, что флюиды его глаз, отразившись от зеркала, возвращаются обратно к нему словно отравленные ядом дротики: представьте себе Медузу, разглядывающую свое чудовищное и одновременно прекрасное отображение в блестящем медном щите[6].

Нам скорее всего возразят, что светский молодой человек, знакомый с последними достижениями современной науки, живущий в обществе, которое привыкло подвергать сомнению всё и вся, вряд ли способен всерьез проникнуться народным суеверием и вообразить, что он сам роковым образом наделен таинственной злокозненной силой. В ответ мы напомним, что существуют идеи, которые оказывают на нас поистине гипнотическое влияние, и наша воля, будучи не в состоянии противостоять им, постепенно оказывается сломленной: многие маловеры, прибыв в Неаполь, смеются над джеттатурой, но проходит время, и они ощетиниваются нелепыми оберегами и в ужасе бегут от каждого незнакомца с пристальным взором. Поль д'Аспремон находился в худшем положении: он сам обладал дурным глазом, и все избегали его или пытались оградить себя жестами, которые рекомендует синьор Валлетта. Разум его бунтовал, но Поль вынужден был признать, что сочетает в себе все признаки джеттаторе. Даже самый просвещенный человеческий ум имеет темный уголок, где корчатся безобразные химеры предрассудков и вьют гнезда летучие мыши суеверия. Да и в нашей повседневной жизни кроется столько неразрешимых вопросов, что немыслимое становится вероятным. Можно верить во все или же все отрицать: с определенной точки зрения фантазия существует наряду с реальностью.

Поль ощутил, как его пронзила безысходная тоска. Он чудовище! Хотя от природы наклонности его отличались миролюбием, а характер — необычайной доброжелательностью, он приносил людям несчастье, его насыщенный ядом взгляд против воли злополучного обладателя вредил тем, на ком останавливался, пусть даже с благими намерениями. Он наделен страшной способностью соединять, концентрировать и распространять болезнетворные миазмы, заряды опасного электричества, роковые воздействия атмосферы, дабы, словно дротики, метать их вокруг себя. Многие обстоятельства его жизни, до сих пор казавшиеся ему непонятными или случайными, теперь предстали в своем истинном зловещем свете. Он мысленно возвращался к разного рода загадочным трагическим происшествиям, необъяснимым несчастным случаям, внезапным катастрофам — теперь он знал, в чем их причина. Странные совпадения полностью завладели его разумом и лишь подтверждали сделанный вывод.

Год за годом перебирал он свою жизнь. Он вспомнил мать, которая умерла, дав ему жизнь, и печальную кончину своих маленьких друзей по коллежу. Его лучший друг разбился — Поль смотрел, как он карабкается на дерево, и малыш неожиданно упал; прогулка на лодке с двумя товарищами, обещавшая быть такой веселой, обернулась трагедией: он вернулся один, еле живой, после бесплодных попыток вырвать у цепкой речной травы тела несчастных мальчиков, утонувших, когда лодка перевернулась. Однажды во время поединка в фехтовальном зале у его рапиры со-

скочил наконечник, и Поль, не заметив, что теперь его оружие несет смерть, опасно ранил противника — молодого человека, которого очень любил. Разумеется, все эти несчастные случаи имели вполне рациональные объяснения, и до сих пор Поль считал их достаточно убедительными. Однако после знакомства с книгой Валлетты все случайное и неожиданное получило новое объяснение: роковое влияние — дурной глаз, джеттатура — вот истинная причина этих страшных случайностей. Подобная череда несчастий вокруг одного и того же человека противоречила *естественному* порядку вещей.

В его памяти во всех ужасных подробностях всплыло еще одно недавнее происшествие, немало укрепившее его прискорбную уверенность.

В Лондоне он часто посещал Королевский театр;[7] особенно поразила его одна молоденькая английская танцовщица, изящная, как сама грация. Он был увлечен ею не более, чем хорошенькой девушкой, изображенной на картине или гравюре, но тем не менее всегда пристально высматривал ее в кордебалете, кружащемся в вихре балетных па. Полю нравилось ее нежное и чуточку грустное лицо, изысканная бледность, которая никогда, даже в самом стремительном танце, не уступала место румянцу, прекрасные волосы, белокурые и блестящие, убранные в зависимости от роли звездами или цветами, томный взор, теряющийся в пространстве, девственной чистоты плечи, вздрагивающие под направленными на них моноклями, и ножки, что как бы с сожалением приподнимали облака газа и блестели под тонким шелком, словно античный мрамор. Каждый раз, когда она пробегала перед рампой, он всегда находил способ незаметно выразить свое восхищение или же вооружался лорнетом, чтобы получше разглядеть ее.

В один из вечеров эта танцовщица, исполнявшая вальс, подлетела непозволительно близко к сверкающей огнями рампе, отделяющей в театре мир вымышленный от мира реального. Ее легкое одеяние сильфиды трепетало как крылья готовящейся взлететь голубки. Газовый рожок выбросил бело-голубой язычок, и он лизнул воздушную ткань. Пламя вмиг охватило девушку; несколько секунд она, словно блуждающий огонек, еще продолжала танец, кружась в багряных сполохах, а затем, ничего не понимая и обезумев от ужаса, бросилась к кулисам, заживо пожираемая огнем. Поль тяжело переживал это несчастье, о котором много говорили и писали. Кстати, те, кому любопытно, могут узнать имя бедной девушки из газет того времени. Но тогда печаль Поля не усугублялась муками совести. Он отнюдь не чувствовал себя виноватым и больше, чем кто-либо, сожалел о жертве трагической случайности.

Теперь же он был уверен, что именно он, не сводивший глаз с очаровательного создания, стал виновником ее смерти, ее убийцей. Он боялся самого себя и хотел бы никогда не появляться на свет.

На смену отчаянию пришел яростный протест. Поль нервно расхохотался, с силой отшвырнул книгу Валлетты и воскликнул: «В самом деле, я или дурак, или безумец! Похоже, солнце Неаполя ударило мне в голову. Что бы сказали мои приятели из клуба, если бы узнали, что я всерьез решаю такой дичайший вопрос: джеттаторе я или нет?»

Пэдди робко постучал в дверь. Поль открыл, и грум, педант во всем, что касалось службы, на блестящей фуражке подал ему письмо от мисс Алисии, сопровождая свои действия извинениями за то, что не смог положить конверт на серебряный поднос.

Д'Аспремон сломал печать и прочел следующее:

> Неужели вы все еще дуетесь на меня, Поль? Вчера вечером Вы не пришли, и лимонный шербет медленно таял на столе в ожидании Вашего прибытия. До девяти часов я прислушивалась, пытаясь сквозь непрерывное пение цикад и звон бубнов различить стук колес Вашего экипажа; когда же я окончательно утратила всякую надежду, то поссорилась с коммодором. Полюбуйтесь же, сколь терпеливы женщины! Значит, Вас очаровали Пульчинелла с его черным носом, дон Лимон и донна Панграция?[8] Мои осведомители донесли мне, что Вы провели вечер в театре Сан-Карлино. Из Ваших так называемых важных писем Вы не написали ни одного. Почему бы Вам просто не признаться честно, что Вы ревнуете к графу Альтавилле? Я считала Вас гордецом, подобная скромность трогает меня. Не бойтесь, господин Альтавилла слишком красив. Аполлон, увешанный брелоками, не в моем вкусе. Надо бы мне презрительно заявить, что я даже не заметила Вашего отсутствия, но истина такова, что те часы, когда Вас не было, показались мне непомерно долгими, отчего настроение мое испортилось, я страшно расстроилась и едва не побила Виче, которая хохотала как безумная — никак не пойму почему.
>
> *А. У.*

Простодушное и насмешливое письмо мисс Уорд окончательно вернуло Поля к реальной жизни. Он оделся, приказал подать коляску, и вскоре вольтерьянец Скаццига уже щелкал кнутом над головами своих норовистых скакунов; те понеслись по туфовой мостовой прямо сквозь тесную толпу людей, по обыкновению собравшихся на набережной Санта-Лючия.

— Скаццига, какая муха вас укусила? Осторожней, так и до беды недалеко! — воскликнул д'Аспремон.

Кучер быстро обернулся, собираясь что-то ответить, и глаза его встретились с сердитым взглядом Поля. В тот же миг переднее колесо налетело на камень, коляску с силой тряхнуло, и Скаццига слетел на мостовую



с вожжами в руках. Ловкий, будто обезьяна, он быстро взобрался на место; на лбу его виднелась огромная, размером с куриное яйцо, шишка.

— Черт меня побери, если я еще раз обернусь к тебе! — проворчал он сквозь зубы. — Тимберио, Фальсакаппа и Джельсомина правы — это джеттаторе! Завтра же куплю пару рогов. Даже если они не помогут, хуже точно не будет.

Это незначительное происшествие имело весьма неприятные последствия для Поля: оно опять вовлекло его в заколдованный круг, который он всей душой стремился разорвать. Да, и камень может случайно попасть под колесо экипажа, и неловкий кучер может свалиться с козел — в этом нет ничего сверхъестественного и таинственного, но на сей раз *совпадение* было слишком очевидным: Скаццига упал сразу после того, как *посмотрел* на него, так что мрачные предчувствия с новой силой пробудились в душе Поля.

«Всё, — воскликнул он про себя, — завтра же уеду из этой дикой страны, где от жары мои мозги болтаются в черепной коробке, точно высохший орех в скорлупе. Но если я доверю свои страхи мисс Уорд, она только посмеется надо мною, да и климат Неаполя полезен ее здоровью. Ее здоровье! До нашей встречи она чувствовала себя превосходно! Из лебяжьего гнезда, что покачивается на волнах и именуется Англией[9], еще не выпорхнул более здоровый и жизнерадостный птенец! Глаза ее радостно блестели; на шелковистых щечках рдел румянец; в голубоватых жилках, проступавших сквозь тонкую кожу, бурным потоком струилась горячая кровь; ее хрупкая красота таила в себе молодую силу! От моего взора она побледнела, похудела, изменилась! Как истончились ее изящные руки! Какие густые тени залегли под глазами! Будто чахотка своими костистыми пальцами впилась ей в грудь. Стоило нам расстаться, и к ней быстро вернулись все краски жизни; дыхание, к которому с таким страхом прислушивался врач, вновь стало легким и свободным. Выходит, избавившись от моего губительного влияния, она поправится. Да я просто убиваю ее! В тот первый вечер, в то самое время, когда я был у Алисии, разве страшная болезнь не посетила ее вновь? Разве щеки ее не побледнели так, словно сама смерть повеяла на нее замогильным холодом? Может, я невольно напускаю на нее порчу? Нет, наверное, ее недомогание объясняется вполне естественными причинами. Многие молодые англичанки предрасположены к заболеваниям легких».

Вот какие мысли занимали в дороге Поля д'Аспремона. Войдя в беседку, излюбленное место мисс Уорд и коммодора, он сразу же увидел огромные рога сицилийского быка; их черненые изогнутые серпы висели на самом видном месте. Поняв, что Поль заметил подарок графа Альтавиллы, сэр Джошуа Уорд посинел (так проступал на его щеках румянец). Менее деликатный, чем его племянница, он поинтересовался мнением Виче...

Алисия презрительным жестом приказала служанке унести рога; ее счастливый взгляд, обращенный к Полю, был исполнен любви, мужества и веры.

— Оставьте рога, — сказал Поль Виче, — они очень красивы.



Глава IX

Замечание Поля о подарке графа Альтавиллы, похоже, доставило удовольствие коммодору. Виче улыбнулась, сверкнув острыми, как у хищного зверя, редкими зубами. В глазах Алисии, обрамленных длинными ресницами, застыл немой вопрос, обращенный к Полю, но д'Аспремон оставил его без ответа.

Воцарилась гнетущая тишина.

Когда приходишь в дом, даже если там тебе всегда рады, всегда ждут и ты бываешь в нем чуть ли не каждый день, в первые минуты порой возникает ощущение некоторой неловкости. Пока ты отсутствовал, пусть совсем недолго, вокруг каждого словно возникла невидимая оболочка, на которую наталкиваются слова, идущие от сердца. Сквозь нее, как сквозь тонкий прозрачный лед, все видно, но не пролетит и муха. Кажется, что ничего не изменилось, однако чувствуется незримое препятствие.

Обычно все трое участников этой сцены общались друг с другом очень непринужденно, сейчас же они, соблюдая приличия, молчали, хотя думали об одном и том же. Коммодор машинально вращал большими

пальцами; д'Аспремон, запретив Виче уносить рога, упорно и внимательно рассматривал их черные и гладкие острия, будто натуралист, что пытается по фрагменту неизвестного животного определить его вид; Алисия, якобы поправляя бант, нервно теребила широкий пояс своего муслинового пеньюара.

С жизнерадостной непосредственностью, присущей английским девушкам, которые становятся крайне скромными и сдержанными после замужества, мисс Уорд первой нарушила молчание.

— Должна признаться, Поль, с некоторых пор вы ведете себя неучтиво. Неужели ваша любезность — это растение, что расцветает только в прохладе Англии и тотчас увядает, попав в жаркий климат, подобный здешнему? Как вы были внимательны в Линкольншире, как предупредительны, как старались угодить мне! Всегда безукоризненно завитый, вы приближались ко мне с трепетом, прижимая руку к сердцу, готовый в любую минуту преклонить колено перед кумиром вашего сердца — ну, точь-в-точь влюбленный с картинок к модным романам.

— Я по-прежнему люблю вас, Алисия, — проникновенно ответил д'Аспремон, не отрывая взгляда от рогов, висевших на одной из античных колонн беседки.

— Вы говорите таким скорбным тоном, что нужно быть очень большой кокеткой, чтобы вам поверить, — продолжала мисс Уорд. — Кажется, я поняла, что вас привлекало во мне: бледная кожа, худоба, сухощавая бесплотная фигура. Недомогание придавало моему облику некое романтическое очарование, которое я теперь утратила.

— Алисия! Вы никогда еще не были столь прекрасны.

— Слова, слова, слова, как сказал Шекспир[1]. Я столь прекрасна, что вы не удостаиваете меня даже взглядом.

В самом деле, д'Аспремон ни разу не посмотрел на девушку.

— Вот видите, — театрально-преувеличенно вздохнула она, — я же понимаю, что стала похожа на толстую коренастую крестьянку, этакую резвую хохотушку с карминными губами и румянцем во всю щеку, неуклюжую, без капли томности. С такой особой не покажешься на балу в Олмэке[2], а ее портрет не поместишь в альбом, отделив листом папиросной бумаги от восторженного сонета в ее честь.

— Мисс Уорд, вам нравится клеветать на себя, — произнес Поль, так и не подняв глаз.

— Лучше честно признайтесь, что вы находите меня ужасной. В этом есть и ваша вина, коммодор; куриные крылышки, котлетки, говяжье филе, рюмка-другая канарского[3], верховые прогулки, морские ванны, гимнастические упражнения превратили меня в здоровую мещанку и развеяли поэтические иллюзии господина д'Аспремона.

— Вы мучаете господина д'Аспремона и смеетесь надо мной, — ответил коммодор. — Никто еще не подвергал сомнению пользу говяжьего филе, а канарское вино никогда и никому не приносило вреда.

— Бедный Поль, какое разочарование! Расстаться с русалкой, эльфом, ундиной[4], а встретить девицу, о которой родственники и врачи отзываются как о юной особе отменного здоровья! Так вот слушайте, раз уж боитесь смотреть мне в глаза, а если и смотрите, то вздрагиваете от ужаса: я вешу на целых семь фунтов больше[5], чем весила перед отъездом из Англии!

— На восемь! — с гордостью уточнил коммодор. Даже самая нежная мать не печется о своем дитя так, как заботился об Алисии старик.

— Неужели на целых восемь? Ах, какой вы гадкий, дядюшка, вы хотите, чтобы господин д'Аспремон окончательно во мне разочаровался? — в притворном отчаянии воскликнула Алисия.

Все то время, пока Алисия кокетничала и подтрунивала над Полем, на что не отважилась бы без веских на то причин, даже по отношению к жениху, д'Аспремон пребывал во власти навязчивой идеи и, не желая своим роковым взглядом причинить вред мисс Уорд, пристально смотрел на устрашающий талисман или же бесцельно блуждал глазами по бескрайнему голубому простору, простиравшемуся у подножия холма.

Он задавался вопросом, не стоит ли ему бежать от Алисии, пусть даже этим поступком он заработает репутацию человека без совести и чести, и не должен ли он окончить свои дни на каком-нибудь необитаемом острове, где его джеттатура угаснет вдали от людских глаз.

— Кажется, — все в том же шутливом тоне продолжала Алисия, — я поняла, что за мрачные думы снедают вас: через месяц должна состояться наша свадьба, и вас пугает мысль стать мужем бедной деревенской дурнушки, лишенной какого-либо изящества. Что ж, возвращаю вам ваше слово: можете жениться на моей приятельнице мисс Саре Темплтон, которая, чтобы сохранить талию, питается одними пикулями и запивает их уксусом!

Представив себе такую картину, она рассмеялась тем звонким серебристым смехом, каким смеются только дети. Коммодор и Поль от души расхохотались вместе с ней.

Однако веселье было недолгим; внезапно умолкнув, Алисия подошла к д'Аспремону, взяла его за руку, подвела к роялю, который стоял в углу беседки, и, открыв лежавшие на пюпитре ноты, произнесла:

— Друг мой, сегодня вы не расположены к разговорам, но, как известно, «чего не следовало бы говорить, то поется»[6], а значит, вы вполне можете исполнить партию в этом дуэте. Думаю, вас также не затруднит аккомпанировать: здесь одни лишь аккорды.

Поль сел на табурет, мисс Алисия встала рядом, чтобы видеть партитуру. В предвкушении блаженства дядюшка устроился поудобнее, а именно откинул голову и вытянул ноги; коммодор утверждал, что разбирается в музыке и обожает ее слушать, однако на шестом такте неизменно засыпал сном праведника, сном, который он упорно, несмотря на насмешки племянницы, называл экстазом, хотя иногда ему случалось при этом храпеть, то есть издавать звуки, весьма далекие от экстатических.

Живая, быстрая мелодия дуэттино[7] в духе Чимарозы[8] на слова Метастазио[9] напоминала бабочку, порхающую в лучах солнечного света.

Музыка способна изгонять злых духов: уже через несколько тактов Поль перестал думать о заклинающих пальцах, магических рогах, коралловых амулетах, забыл о страшной книге синьора Валлетты и пустом вымысле про дурной глаз. Его душа радостно устремлялась ввысь, следуя за бесхитростным светлым напевом.

Словно прислушиваясь к музыке, умолкли цикады, а легкий ветерок, только что подувший с моря, уносил ее звуки вместе с лепестками цветов.

— Мой дядюшка спит так же крепко, как семеро отроков в пещере[10]. Если бы мы к этому не привыкли, он задел бы наше самолюбие виртуозов, — сказала Алисия, закрывая ноты. — Поль, пока дядя отдыхает, не хотите ли прогуляться со мною по саду? Я еще не показывала вам своего райского уголка.

И она сняла с гвоздя, торчавшего из колонны, широкополую шляпу флорентийской соломки.

Что касается садоводства, то здесь Алисия придерживалась весьма странных принципов: она приказала садовнику не касаться ни цветов, ни деревьев; вилла привлекла ее, как мы уже говорили, главным образом своим одичавшим, запущенным садом.

Молодые люди прокладывали себе путь среди буйной растительности, тотчас же смыкавшей за ними свои плотные ряды. Алисия шла впереди и смеялась, когда Поль отбивался от веток олеандра, которые она сначала отводила в сторону, а затем отпускала. Не успела она сделать и двадцати шагов, как одна из ветвей, словно желая подшутить над незваными гостями, подхватила своими гибкими пальцами соломенную шляпку мисс Уорд и подбросила так высоко, что Поль не смог ее достать.

К счастью, зелень была густой, и солнце, как ни старалось, сумело бросить на песок через просветы в листве всего лишь несколько золотых цехинов.

— Вот мой любимый укромный уголок. — Алисия указала Полю на покрытый живописными трещинами обломок скалы, защищенный от

посторонних глаз густыми зарослями миртов и лимонных, апельсинных и мастиковых деревьев.

Девушка села на каменное сиденье, выточенное самой природой, и знаком указала Полю на место возле своих ног, устланное, как и все подножие скалы, толстым слоем сухого мха.

— Дайте мне ваши руки и взгляните на меня. Через месяц я стану вашей женой. Почему вы прячете глаза?

В самом деле, Поль, вновь вспомнив о джеттатуре, упорно отворачивался от Алисии.

— Вы боитесь прочесть в моих глазах измену и ваш приговор? Но вы же знаете, что с того самого дня, когда вы вошли в гостиную нашего дома в Ричмонде и вручили дядюшке рекомендательное письмо, моя душа принадлежит вам. Я из породы тех нежных, романтичных и гордых англичанок, которые влюбляются с первой минуты и на всю жизнь, — а возможно, больше, чем на всю жизнь, ибо тот, кто умеет любить, умеет и умирать. Взгляните мне в глаза, я прошу. Не пытайтесь опустить веки, смотрите и не отворачивайтесь, иначе я подумаю, что джентльмен, которому не пристало бояться никого, кроме Бога, позволил запугать себя гнусным суевериям. Посмотрите на меня тем взглядом, который вы вдруг сочли роковым, но который мне бесконечно дорог, потому что я вижу в нем вашу любовь, и скажите, находите ли вы меня по-прежнему достаточно красивой, чтобы отправиться со мной в открытой коляске в Гайд-парк, когда мы поженимся.

Потеряв голову, Поль устремил на Алисию долгий, исполненный страстного восторга взор. Внезапно девушка побледнела; колющая боль железной стрелой пронзила ей сердце: у нее в груди словно лопнул какой-то сосуд. Алисия быстро поднесла к губам носовой платок. На тонком батисте расплылось красное пятнышко; но она тотчас же скомкала платок.

— О, благодарю вас, Поль! Вы снова сделали меня счастливой, а то я уже решила, что вы разлюбили меня!



Глава X

Движение, которым Алисия спрятала платок, оказалось не настолько быстрым, чтобы д'Аспремон не заметил его. Поль страшно побледнел: он получил неоспоримое доказательство своих роковых способностей. В голове его закружился вихрь самых мрачных мыслей; он даже подумал о самоубийстве; разве не должен он уничтожить себя как вредоносную тварь, устранив тем самым причину стольких несчастий? Он согласился бы пройти через самые суровые испытания, без единого стона претерпел бы любые жизненные тяготы, но нести смерть той, которую любил больше всего на свете, было выше его сил.

Девушка героически снесла боль, вызванную взглядом Поля и удивительным образом подтвердившую опасения графа Альтавиллы. Любого на ее месте поразило бы это если не сверхъестественное, то, по крайней мере, труднообъяснимое совпадение, но, как мы уже говорили, Алисия отличалась стойкостью убеждений и презирала суеверия. Она точно знала, чему следует верить, а чему нет, и не принимала всерьез россказни о таинственных силах, влияющих на человека. Она относилась к историям

о порче и сглазе как к сказкам и смеялась над предрассудками, столь глубоко укоренившимися в сердце простого народа. Впрочем, даже если бы она признала, что джеттатура существует и Поль явно обладает дурным глазом, ее нежное гордое сердце ни секунды не усомнилось бы в своем выборе. Поль не совершил ни одного поступка, в котором его мог бы упрекнуть даже самый строгий судья, поэтому Алисия предпочла бы умереть от его, предположительно столь губительного, взгляда, нежели отказаться от любви, снискавшей одобрение дяди и обещавшей вскоре увенчаться браком. Мисс Алисия Уорд напоминала непорочных героинь Шекспира, отважных и решительных дев, которых внезапно вспыхнувшая любовь, чистая и верная, навеки соединяла с избранником. С той минуты, когда ее рука сжала руку Поля, ни один мужчина не имел больше права дотронуться до нее. Отныне жизнь ее была навеки связана с жизнью д'Аспремона, и целомудрие Алисии возмутилось бы при одной только мысли об ином супруге.

Итак, она не утратила радостного настроения или притворилась, что не утратила, да так искусно, что обманула бы даже самого проницательного наблюдателя. Подняв Поля с колен, она увлекла его за собой и по заросшим цветами и травами аллеям дикого сада привела туда, где пышная растительность расступалась, открывая взору бескрайнюю морскую синеву. Светлое, умиротворяющее зрелище рассеяло мрачные мысли Поля. Алисия самозабвенно и доверчиво опиралась на руку молодого человека, как будто уже была его женой. Эта безмолвная невинная ласка необычайно много значила для нее, ибо ясно свидетельствовала о безграничном доверии к избраннику, о стремлении оградить любимого от ненужных страхов — Алисия давала понять, что не боится опасностей, которыми ее пугают. Хотя она вынудила хранить молчание сначала Виче, а потом и дядю, да и граф Альтавилла, советуя ей остерегаться вредоносных воздействий, никого не назвал, она сразу поняла, о ком идет речь: туманные намеки красавца графа, безусловно, относились к молодому французу. От нее также не укрылось, что Поль поддался неаполитанскому предрассудку, превращающему в джеттаторе всякого, чье лицо кажется хоть чуточку необычным: она почувствовала, что из-за непостижимой слабости духа д'Аспремон поверил, будто может сглазить ее — не зря же он, очевидно из страха повредить ей, отводил свой полный любви взгляд. Чтобы уничтожить эту навязчивую идею в зародыше, она нарочно разыграла только что описанную нами сцену, результат которой противоречил ее замыслу, ибо только укрепил подозрения Поля.

Влюбленные вернулись в беседку, где в бамбуковом кресле все еще спал, мелодично похрапывая, коммодор. Поль откланялся, и мисс Уорд,

подражая прощальному жесту неаполитанцев, кончиками пальцев послала ему едва заметный воздушный поцелуй.

— Мы ведь расстаемся до завтра, Поль, не так ли? — ласково спросила она.

В ту минуту Алисия была ослепительно прекрасна. Ее пугающая, почти сверхъестественная красота встревожила коммодора, разбуженного уходом Поля. Белки́ ее глаз отливали потемневшим серебром, отчего зрачки засверкали как две черные звезды; щеки окрасились в идеально розовый цвет, чистый и яркий, точно краски утренней зари, которые всякий художник мечтает найти в своей палитре; прозрачные, словно агат, виски, покрылись сетью тоненьких голубых прожилок, а сама Алисия словно излучала свет: будто сквозь кожу девушки просвечивала ее душа.

— Как вы сегодня прекрасны, Алисия! — произнес коммодор.

— Вы мне льстите, дядюшка; и если я не выросла самой большой зазнайкой во всех трех королевствах[1], то это не ваша заслуга. К счастью, я не верю лести, даже бескорыстной.

«Красива, пугающе красива, — думал коммодор. — Она все больше и больше напоминает свою мать, бедняжку Нэнси, которая умерла в девятнадцать лет. Таким ангелам нет места на земле: как будто дуновение ветра отрывает их от земли и за их плечами начинают трепетать невидимые крылья. Эти бело-розовые тона слишком чисты, слишком совершенны; ее эфирному телу не хватает алой крови и грубой жизненной силы. Господь, на время одолживший сии создания миру, торопится забрать их обратно. Это прощальная вспышка, и она навевает грусть».

— Послушайте, дядюшка, раз уж я столь прекрасна, — продолжала мисс Уорд, заметив, что чело коммодора омрачилось, — значит, самое время выдать меня замуж: фата и венок будут мне весьма к лицу.

— Выдать замуж! Алисия, ну почему вы так спешите покинуть своего старого краснокожего дядюшку?

— А я и не собираюсь покидать вас! Мы ведь договорились с господином д'Аспремоном, что будем жить все вместе! Вы же отлично знаете, что мне без вас никак не обойтись.

— Господин д'Аспремон! Господин д'Аспремон!.. Свадьба еще не состоялась.

— Разве мы не обещали ему? Сэр Джошуа Уорд никогда не изменял своему слову.

— Да-да, я обещал, — растерянно подтвердил коммодор.

— Разве установленный вами шестимесячный срок не истек?.. Истек, еще несколько дней назад, — робко произнесла Алисия. От смущения ее щеки еще больше порозовели; только сложное положение вынуждало

девушку поддерживать разговор, затрагивающий самые чувствительные струны ее души.

— Ах, моя девочка! Ты, оказывается, считала месяцы! Вот и доверяй после этого вашим скромным личикам!

— Я люблю господина д'Аспремона, — серьезно ответила мисс Уорд.

— В том-то вся закавыка, — пробурчал сэр Джошуа Уорд. Он проникся убеждениями Виче и Альтавиллы и явно не стремился получить в зятья джеттаторе. — Ну, почему бы тебе не полюбить другого?

— У меня только одно сердце, — возразила Алисия, — и я не смогу полюбить дважды, даже если мне, как и моей матери, придется умереть в девятнадцать лет.

— Умереть! Не произноси этих страшных слов, умоляю! — воскликнул коммодор.

— Вы можете в чем-либо упрекнуть господина д'Аспремона?

— Разумеется, нет.

— Он совершил какую-нибудь подлость? Вел себя как трус, негодяй, лжец или лицемер? Оскорбил женщину или поступил непорядочно по отношению к мужчине? Чем-либо запятнал свое имя? Разве девушка не может, не краснея и не опуская глаз, появиться с ним в обществе?

— Господин Поль д'Аспремон — образцовый джентльмен, достойный всяческого уважения.

— Поверьте, дядюшка, если бы существовал хоть малейший повод, я тотчас отказала бы господину д'Аспремону и навек затворилась бы в каком-нибудь уединенном монастыре. Но никакая иная причина, слышите вы, никакая, не заставит меня изменить данному мною нерушимому слову, — кротко, но твердо заявила мисс Алисия.

Коммодор вращал большими пальцами, как всегда, когда не знал, что сказать; это движение помогало ему сохранять присутствие духа.

— Отчего вы вдруг охладели к Полю? — продолжала мисс Уорд. — Раньше вы очень тепло относились к нему и дня не могли прожить без него в Линкольншире. Вы пожимали ему руку с такою силой, что едва не ломали ему пальцы, и утверждали, что с радостью доверите счастье любимой племянницы столь достойному молодому человеку.

— Да, правда, я любил нашего милого Поля, — ответил коммодор, взволнованный неожиданными воспоминаниями, — но то, чего нельзя разглядеть в туманной Англии, становится ясным под солнцем Неаполя...

— На что вы намекаете? — Голос Алисии дрогнул. Свежие краски вмиг исчезли с ее лица, оно стало белым, словно у алебастровой статуи на надгробии.

— Твой Поль — джеттаторе.

— Как! Вы, мой дядя, вы, сэр Джошуа Уорд, джентльмен, христианин, подданный Ее Королевского Величества, бывший офицер английского морского флота, просвещенный и цивилизованный человек, способный поддержать разговор на любую тему, вы, образованный и разумный, каждый вечер читающий Библию и Евангелие, — вы решаетесь обвинять Поля в джеттатуре! О! От вас я этого не ожидала!

— Моя дорогая Алисия, — вздохнул коммодор, — быть может, я действительно обладаю всеми теми качествами, о которых вы только что упомянули, и готов проявлять их — но только не тогда, когда речь идет о вас. Если же вам угрожает опасность, пусть даже воображаемая, я становлюсь суевернее крестьянина из Абруцци, lazzarone с набережной, продавца устриц с Кьяйа, служанки из Терра ди Лаворо[2] или самого графа Альтавиллы. Поль может сколько угодно сверлить меня глазами, я спокойно встречу его взгляд, ибо боюсь его не более, чем шпаги или пистолета. Дурной глаз не страшен моей задубевшей коже, обветренной и обожженной солнцем обоих полушарий. Когда же дело касается вас, дорогая племянница, я мгновенно становлюсь легковерным, и, признаюсь, стоит несчастному молодому человеку посмотреть в вашу сторону, как я тут же обливаюсь холодным потом. Я знаю, у него нет дурных намерений, он любит вас больше жизни; но мне кажется, что от его взгляда ваше лицо болезненно искажается и бледнеет, а вы сами пытаетесь скрыть острую боль. Тогда меня охватывает страстное желание выколоть глаза вашему Полю д'Аспремону теми самыми рогами, что подарил нам Альтавилла.

— Бедный дорогой дядюшка, — воскликнула Алисия, растроганная сердечным порывом коммодора. — Наша жизнь в руках Господа: и принц, спящий в роскошной постели, и воробей, ночующий под черепичной крышей, умрут не ранее назначенного им часа; fascino тут ни при чем. Это кощунство — верить, что какой-то косо брошенный взгляд может навредить. Ну же, дяденька, — продолжала она, вспомнив доверительное обращение шута к королю Лиру[3], — успокойтесь, вы сами не ведаете, что говорите: привязанность ко мне помутила ваш рассудок. Я же знаю, вы не осмелитесь заявить Полю д'Аспремону, что отказываете ему в обещанной руке племянницы по той дичайшей причине, что не желаете иметь зятя-джеттаторе!

— Клянусь Иисусом, моим покровителем, остановившим солнце![4] — воскликнул коммодор. — Я прямо все выскажу этому красавчику Полю! Когда речь идет о вашем здоровье, а возможно, даже о самой жизни, мне совершенно безразлично, выгляжу я смешным, нелепым или даже бесчестным! Я давал слово нормальному человеку, а не джеттаторе. Я обещал ему вашу руку — что ж, я нарушу свое обещание, вот и все. Если же он будет недоволен, я готов дать ему удовлетворение.

И коммодор, забыв про терзавшую его подагру, вскочил и изобразил решительный выпад, словно заколов шпагой невидимого противника.

— Сэр Джошуа Уорд, вы этого не сделаете, — спокойно и с достоинством произнесла Алисия.

Коммодор, задыхаясь, упал в бамбуковое кресло и умолк.

— Так вот, дядюшка, даже если это отвратительное и нелепое обвинение справедливо, разве можно из-за него отказывать господину д'Аспремону? Разве можно вменять человеку в вину его несчастье? Вы же сами согласились, что зло, исходящее от Поля, не зависит от его воли и что на свете нет души более любящей, великодушной и благородной!

— У нас не принято выходить замуж за вампиров, какими бы добрыми ни были их намерения, — упорствовал коммодор.

— Все это вздор, глупость, суеверие, но, к сожалению, Поль тоже подпал под влияние этих безумных идей и воспринимает их всерьез; он напуган, растерян; он верит в свое проклятие, боится самого себя. Даже незначительный несчастный случай, на который раньше он не обратил бы никакого внимания, теперь он относит на свой счет, и каждое такое происшествие укрепляет его уверенность. Именно я, его жена перед Богом, а скоро и перед людьми, я, получившая ваше, дядюшка, благословение, должна успокоить его разыгравшееся воображение, освободить от бессмысленных иллюзий, убедить Поля в том, что мне ничто не угрожает, развеять смутную тревогу, готовую превратиться в навязчивую идею, и, подарив ему счастье, спасти прекрасную мятущуюся душу, блистательный, но попавший в опасные сети ум!

— Вы как всегда правы, мисс Уорд, — ответил коммодор, — а я, хоть вы и зовете меня мудрым, всего лишь старый глупец. Наверное, эта Виче — ведьма; она заморочила мне голову своими историями. Что же касается графа Альтавиллы, то его рога и прочий каббалистический[5] хлам теперь кажутся мне смешными. Не сомневаюсь, с его стороны это была хитрая уловка, чтобы очернить Поля и самому на тебе жениться.

— Возможно, граф Альтавилла не кривил душой, — улыбнулась мисс Уорд, — ведь и вы, говоря о джеттатуре, только что разделяли его мнение.

— Не злоупотребляйте своей победой, мисс Алисия: я слишком недавно обратился в вашу веру и еще могу впасть в прежнюю ересь. Лучше всего нам с ближайшим же пароходом уехать из Неаполя и тихо-мирно вернуться в Англию. Поль будет избавлен от вида бычьих рогов, оленьих черепов, вытянутых пальцев, коралловых амулетов и прочих дьявольских штучек, все уладится, да и я забуду обо всей этой чепухе, едва не заставившей меня нарушить слово и тем самым совершить поступок, недостойный порядочного человека. Вы выйдете замуж за Поля, потому что таков уговор. Вы сохраните за мной гостиную и спальню на первом этаже наше-

го дома в Ричмонде, а также восьмиугольную башню в Линкольншире, и мы все вместе будем жить там долго и счастливо. Если вашему здоровью необходим более теплый климат, мы снимем дом в окрестностях Тура или Канн, где у лорда Брогама есть прекрасное поместье и где это проклятое суеверие о джеттатуре, слава богу, не в ходу. Что скажете об этом плане, Алисия?

— Зачем вам мое одобрение — разве я не самая послушная из племянниц?

— Да, когда я делаю то, что вам угодно, маленькая проказница. — Коммодор улыбнулся, встал и направился в свою комнату.

Некоторое время Алисия сидела в беседке одна; то ли разговор с дядей вызвал у нее лихорадочное возбуждение, то ли Поль действительно оказывал на девушку влияние, которого так боялся коммодор, но теплый бриз, скользнувший по ее плечам, прикрытым легким газом, показался ей ледяным; в тот же вечер, почувствовав легкое недомогание, она попросила Виче закутать ее холодные белые, словно выточенные из мрамора, ноги в одно из тех лоскутных одеял, коими славится Венеция.

Тем временем в траве вспыхивали огоньки светлячков, пиликали сверчки, а на небе взошла плоская желтая луна, подернутая туманной дымкой, что поднималась ввысь от остывающей земли.



Глава XI

На следующий день после описанной нами сцены Алисия, не спавшая почти всю ночь, едва притронулась к питью, которое ей каждое утро приносила Виче, и медленно поставила стакан на низенький столик возле кровати. Она не испытывала никакой боли, но чувствовала себя совершенно разбитой и не способной ни побороть болезнь, ни описать симптомы недуга врачу. Она попросила у Виче зеркало: девушек больше волнует ущерб, который болезнь наносит их красоте, нежели сама болезнь. Мисс Уорд была необычайно бледна, и только два маленьких пятнышка, похожих на два лепестка бенгальской розы, которые упали в чашку с молоком, алели на белоснежных щеках. Глаза сверкали ярче, чем обычно, в них догорали последние язычки лихорадочного жара; зато вишенки губ поблекли, и, чтобы вернуть им прежний цвет, она покусывала их своими перламутровыми зубками.

Алисия встала, закуталась в халат из белого кашемира, обернула вокруг головы газовый шарф, – несмотря на жару, от которой распелись цикады, она все еще чувствовала легкий озноб, – и, дабы не встревожить бдительного коммодора, в положенный час вошла в беседку. Ей не

хотелось есть, но она заставила себя проглотить завтрак, ибо сэр Джошуа Уорд даже самое ничтожное недомогание тотчас же приписал бы влиянию Поля, а этого Алисия стремилась избежать любой ценой.

Затем она сказала, что ослепительное солнце утомляет ее, и под этим благовидным предлогом удалилась к себе в комнату, предварительно заверив коммодора, становившегося весьма подозрительным, когда дело касалось ее здоровья, что чувствует себя великолепно.

«Гм, великолепно... Сомневаюсь, — подумал коммодор, когда племянница ушла. — Круги под глазами и красные пятна на щеках — точно такие же были у ее бедной матери. Та тоже уверяла, что чувствует себя прекрасно. Что делать? Разлучить ее с Полем — все равно что убить ее, только иным способом. Лучше довериться природе, и пусть все идет своим чередом. Алисия так молода! Да, но именно самых молодых и красивых не любит старуха Моб[1] — она ревнива, как женщина. Пригласить доктора? Но разве медицина может помочь ангелу? И ведь все тревожные симптомы исчезли... Ах! Если бы я был уверен, что всему виною ты, проклятый Поль, что из-за твоего дыхания вянет этот чудесный цветок, я бы задушил тебя собственными руками. Но ведь Нэнси умерла, хотя не встречалась ни с каким джеттаторе. Неужели и Алисия тоже?.. Нет, это невозможно. Я ничем не провинился перед Господом, чтобы он уготовил мне такие страшные муки. Когда пробьет ее час, я уже давно буду спать в родной земле под камнем с надписью "Sacred to the memory of Sir Joshua Ward"*. И она будет приходить на мою могилу, чтобы помолиться и оплакать старого коммодора... Не знаю, что со мною сегодня творится и почему у меня чертовски унылое и мрачное настроение!»

Чтобы развеять грустные мысли, коммодор добавил в остывший чай немного ямайского рома и приказал принести кальян — невинное развлечение, которое он позволял себе только в отсутствие Алисии, чьи чувствительные легкие не выносили даже такого едва уловимого ароматного дыма.

Вода в колбе уже забурлила и коммодор выпустил несколько синеватых колечек дыма, когда Виче доложила о приходе графа Альтавиллы.

— Сэр Джошуа, — спросил граф после положенного приветствия, — обдумали ли вы предложение, которое я сделал несколько дней назад?

— Я думал над ним, — ответил коммодор, — но вы же знаете: я дал слово господину Полю д'Аспремону.

— Разумеется. Однако бывают случаи, когда слово можно взять обратно; например, когда человек, которому это слово дали, оказывается не тем, кем его считали первоначально.

— Граф, говорите яснее.

---

* «Памяти сэра Джошуа Уорда» (*англ.*).

— Мне неприятно, что приходится обвинять соперника, но, памятуя о нашем разговоре, мне кажется, вы должны меня понять. Если вы отклоните предложение господина Поля д'Аспремона, согласитесь ли вы, чтобы я стал вашим зятем?

— Я — да, но нет уверенности, что мисс Уорд согласится на замену. Она без ума от своего Поля, отчасти и по моей вине, ибо он мне тоже очень нравился, прежде чем начались все эти дурацкие истории. Простите, граф, за такие слова, но, по правде говоря, у меня голова кругом идет.

— Вы желаете племяннице смерти? — взволнованно и торжественно произнес Альтавилла.

— Гром и молния! Смерти Алисии?! — Коммодор вскочил с кресла и отбросил в сторону сафьяновый шланг.

Стоило задеть струнку поистине родительской любви сэра Джошуа Уорда, как она тут же начинала вибрировать.

— Неужели она так серьезно больна?

— Рано беспокоиться, милорд, мисс Алисия может поправиться и прожить еще очень долго.

— Вот и замечательно! А то вы чуть с ума меня не свели!

— Но при одном условии, — продолжил граф Альтавилла, — если она больше не увидит Поля д'Аспремона.

— Ах, опять вы о своем! К несчастью, мисс Уорд не верит в джеттатуру.

— Выслушайте меня, — медленно проговорил Альтавилла. — Когда я впервые встретил мисс Алисию на балу у князя Сиракузского и проникся к ней чувством столь же пылким, сколь и почтительным, прежде всего меня поразили ее бьющая через край энергия, ее жизнерадостность и цветущий вид. Она была ослепительно хороша и словно упивалась блаженством от того, что прекрасно себя чувствует. От нее исходило поистине фосфорическое сияние, и она как звезда затмила англичанок, русских, итальянок — я видел только ее. Британская благовоспитанность сочеталась в ней с дивной грацией и силой вечно юных античных богинь — простите потомку греческих колонистов это обращение к мифам.

— Ваша правда, она была неподражаема! Мисс Эдвина О'Херти, леди Элеонора Лилли, миссис Джейн Стрэнгфорд, княгиня Вера Федоровна Барятинская просто позеленели от зависти. — Коммодор расцвел от приятных воспоминаний.

— И неужели теперь вы не замечаете, что красота ее приобрела некую томность, черты лица заострились, на руках проступили вены, чарующий голос стал надтреснутым, в нем звучат тревожные, дрожащие звуки гармоники? Земное начало исчезает, остается лишь ангельское. Мисс Алисия сделалась совсем воздушной, чего я, признаюсь, пусть вы сочтете меня материалистом, в земных девушках не люблю.

Слова графа были столь созвучны тайным тревогам сэра Джошуа Уорда, что на несколько минут коммодор погрузился в глубокую задумчивость.

— Все так — сколь ни хотелось бы мне обмануть самого себя, не могу с вами не согласиться.

— Я еще не закончил, — продолжал граф. — Вызывало ли состояние мисс Алисии какое-либо беспокойство до прибытия в Англию господина д'Аспремона?

— Никогда! Это был самый резвый и веселый ребенок во всем Соединенном Королевстве.

— Как видите, присутствие господина д'Аспремона совпадает с приступами болезни, подрывающей драгоценное здоровье мисс Уорд. Я не прошу вас, уроженца Севера, беспрекословно поверить в то, во что верим мы, южане. Называйте наши убеждения как угодно — заблуждением, суеверием, предрассудком, но согласитесь, что это факт. Факт очень странный и заслуживающий вашего пристального внимания...

— А не может ли болезнь Алисии иметь... естественные причины? — произнес коммодор, сраженный софизмами Альтавиллы. Он, как англичанин, все же стыдился признать справедливость неаполитанской веры в дурной глаз.

— Нет, это не болезнь; и пусть даже господин д'Аспремон не джеттаторе, но его взгляд действует на нее подобно яду.

— Что же я могу сделать? Она любит Поля, смеется над джеттатурой и утверждает, что не видит причин, по которым честный человек мог бы отказаться от данного слова.

— Я не имею права заботиться о вашей племяннице: я ей не брат, не родственник, не жених. Однако, с вашего одобрения, я смогу попытаться избавить ее от рокового влияния. О, не бойтесь, я не стану делать глупостей! Я молод, но знаю, что не следует поднимать шум вокруг доброго имени девушки. Тем не менее позвольте сохранить мой план в тайне. Верьте, намерения мои чисты, и в том, что я собираюсь сделать, нет ничего противного чести.

— Так вы в самом деле любите мою племянницу? — спросил коммодор.

— Да, люблю, хотя не питаю никаких надежд. Итак, вы позволите мне действовать?

— Вы ужасный человек, граф Альтавилла, но, хорошо, так и быть! Попытайтесь спасти Алисию, и в случае удачи я буду ваш должник.

Граф встал, откланялся, сел в свой экипаж и приказал кучеру ехать в гостиницу «Рим».

Поль сидел за столом, обхватив голову руками, и предавался печальным размышлениям: он заметил капельки крови на носовом платке Алисии и, будучи не в силах избавиться от своей навязчивой идеи, упрекал себя за губительную любовь, за то, что поддался на уговоры чудесной де-

вушки, готовой умереть ради него, и спрашивал, какой величайшей жертвой он мог бы оплатить ее беспримерную самоотверженность.

Пэдди, жокей-гном, прервал его раздумья, протянув карточку графа Альтавиллы.

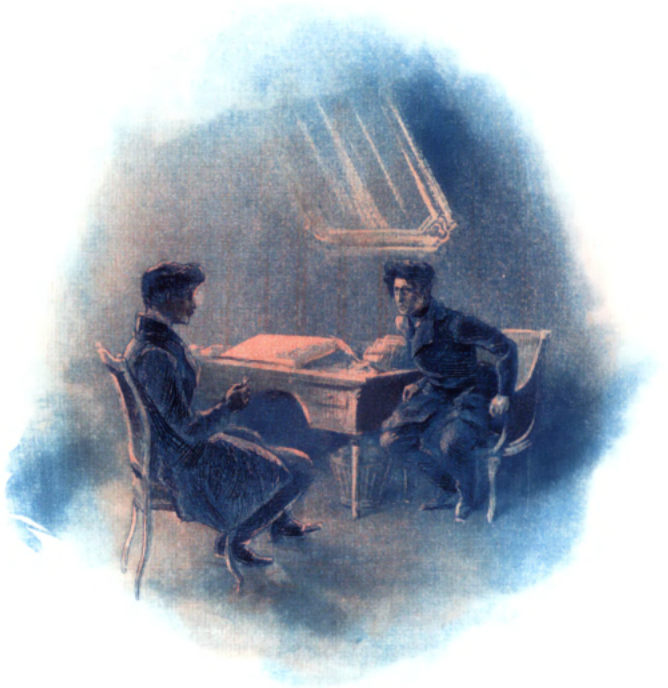
– Граф Альтавилла! Что ему от меня нужно? – изумленно воскликнул Поль. – Просите.

Когда неаполитанец появился на пороге, выражение удивления на лице д'Аспремона уже сменилось маской ледяного безразличия, за которой светские люди скрывают свои истинные чувства.

С холодной вежливостью он указал графу на кресло, сел напротив и, не говоря ни слова, стал ждать, устремив взгляд на посетителя.

– Сударь, – начал граф, поигрывая брелоками своих часов, – то, что я имею вам сказать, столь необычно, невероятно и непривычно, что вы с полным правом можете вышвырнуть меня вон. Но воздержитесь от грубости – как человек воспитанный, я готов дать вам удовлетворение.

– Слушаю вас, сударь, и, если ваши речи покажутся мне оскорбительными, возможно, я воспользуюсь вашим предложением. – Ни один мускул не дрогнул на лице Поля.



— Вы джеттаторе!

При этом слове лицо д'Аспремона моментально покрылось зеленоватой бледностью, веки покраснели, брови нахмурились, глубокая складка исказила лоб, а зрачки засверкали фосфорическим огнем. Судорожно сжимая ручки кресла, Поль приподнялся с таким грозным видом, что Альтавилла, хотя его никак нельзя было назвать трусом, схватился за маленькую коралловую веточку, висевшую среди прочих амулетов на цепочке его часов, и направил заостренные концы подвески на собеседника.

Величайшим усилием воли д'Аспремон взял себя в руки и произнес:

— Вы были правы, сударь, за подобное мне стоило бы выставить вас вон, но я терпелив и подожду другой возможности поквитаться.

— Как вы догадываетесь, — продолжал граф, — у меня имелись веские причины нанести вам оскорбление, которое джентльмен может смыть только кровью. Я люблю мисс Алисию Уорд.

— А мне что за дело до этого?

— Действительно, вам до этого нет никакого дела, ибо она любит вас. Но я, дон Фелипе Альтавилла, запрещаю вам видеться с мисс Алисией Уорд.

— Не мне исполнять ваши приказы.

— Знаю, — ответил неаполитанский граф. — Я и не надеялся, что вы послушаетесь меня.

— Тогда зачем вы здесь? — спросил Поль.

— Я убежден, что fascino, которым вы, к несчастью, владеете, роковым образом влияет на мисс Алисию Уорд. Эта нелепая идея, предрассудок в духе Средневековья, наверняка кажется вам смешной. Не стану спорить. Когда ваш взор устремлен на мисс Уорд, он против вашей воли посылает смертоносные флюиды, постепенно убивающие ее. У меня нет другого способа помешать этому губительному воздействию, кроме как затеять с вами ссору из-за какого-нибудь пустяка. В шестнадцатом веке я бы приказал убить вас одному из моих крестьян, живущих в горах, но сегодня нравы изменились. Я долго думал над этим вопросом, хотел просить вас вернуться во Францию, но такая просьба показалась бы слишком наивной; вы просто посмеялись бы над соперником, который под предлогом джеттатуры заклинает вас уехать и оставить его один на один с вашей невестой.

Пока граф Альтавилла говорил, Поль д'Аспремон чувствовал, как тайный ужас охватывает все его существо. Так, значит, он находится во власти адских сил и злой гений взирает на мир его глазами! Он, христианин, сеет горе, его любовь несет смерть! На мгновение разум Поля помутился, мысли закружились в диком хороводе, и, словно огромная птица в клетке, в его черепной коробке забилось безумие.

Воцарилось тягостное молчание. Неаполитанец терпеливо ждал, пока соперник все обдумает.

— Граф, скажите честно, вы верите в то, что говорите? — спросил наконец д'Аспремон.

— Клянусь честью, верю.

— О! Так это правда! — вполголоса воскликнул Поль. — Выходит, я убийца, демон, вампир! Я убиваю небесное создание, повергаю в отчаяние почтенного старика!

Он почти готов был пообещать графу не видеться с Алисией, но страх перед пересудами и пробудившаяся в сердце ревность удержали слова, уже готовые сорваться с его губ.

— Граф, не скрою: я немедленно отправляюсь к мисс Уорд.

— А я не стану хватать вас за шиворот, чтобы остановить: вы только что снизошли ко мне и не выпроводили отсюда так, как я того заслуживаю, — примите мою признательность. Но я буду рад увидеть вас завтра в шесть утра среди развалин Помпеев, например, в термах;[2] там нам будет очень удобно. Какое оружие вы предпочитаете? Вы оскорбленная сторона, и выбор за вами. Шпага, сабля, пистолет?

— Мы будем биться на ножах[3] с завязанными глазами на расстоянии платка, который каждый из нас будет держать за уголок. Нужно уравнять наши шансы, сударь: я джеттаторе, мне ничего не стоит убить вас одним взглядом!

Поль д'Аспремон пронзительно расхохотался, распахнул дверь и ринулся прочь.



Глава XII

Алисия устроилась в комнате нижнего этажа, расписанной пейзажными фресками, которые заменяют в Италии бумажные обои. Пол устилали циновки из манильской соломки. На столе, покрытом куском турецкого ковра, лежали томики стихов Колриджа[1], Шелли[2], Теннисона[3] и Лонгфелло[4]. Зеркало в старинной раме и несколько плетенных из тростника стульев дополняли обстановку; поднятые до половины китайские шторы из камыша с изображениями пагод, скал, ив, журавлей и драконов пропускали мягкий свет; изогнутая веточка апельсинного дерева, вся усыпанная цветами и плодами, бесцеремонно просунулась в комнату и, вытянувшись, словно гирлянда, над головой Алисии, стряхивала на девушку свои душистые и белые как снег лепестки.

Ей по-прежнему нездоровилось, и она расположилась на узком канапе возле окна. Она полусидела, откинувшись на продолговатые подушки; венецианское покрывало целомудренно окутывало ее ноги; в такой позе она могла принять Поля, не поступаясь английскими правилами приличия.

Раскрытая книга выскользнула из руки Алисии на пол, но она этого не заметила; глаза ее, обрамленные длинными ресницами, рассеянно блуждали, словно были устремлены в невидимую даль. Ее слабость, неизменно

следующая за приступами лихорадки, граничила с чувственной негой, и Алисия отдавалась ей целиком, упиваясь горьким ароматом лепестков апельсина, которые она сгребала в кучку у себя на покрывале и время от времени пробовала на вкус. Разве Скьявоне не изобразил нам Венеру, покусывающую лепестки роз?[5] Какое изысканное подражание картине старого венецианца мог бы создать современный художник, нарисовав Алисию, жующую цветы апельсина!

Мисс Уорд думала о д'Аспремоне и спрашивала себя, действительно ли она уже достаточно пожила, чтобы упорствовать в стремлении стать его женой. Не то чтобы она уверовала в действие джеттатуры, но ее невольно охватывали мрачные предчувствия: в эту ночь она видела сон, впечатление от которого не рассеялось и после пробуждения.

Ей снилось, что она открыла глаза и посмотрела на дверь своей спальни, чувствуя, что сейчас *кто-то* появится. Через несколько минут напряженного ожидания она увидела, как в обрамленном наличником черном проеме двери возникла хрупкая белая фигура, почти прозрачная: сквозь нее, точно сквозь легкий туман, проглядывались стоявшие в отдалении предметы, однако по мере приближения к кровати фигура становилась все более плотной.

Складки ее муслинового платья ниспадали до самого пола; длинные черные локоны, теперь почти распрямившиеся, струились вдоль бледных щек с двумя маленькими розовыми пятнышками на скулах; грудь отличалась такой белизной, что сливалась с платьем, и нельзя было понять, где кончается плоть и начинается ткань; едва различимая венецианская цепочка золотой петлей охватывала тонкую шею; худая, с голубыми вéнками, рука сжимала цветок — чайную розу, лепестки которой облетали и, словно слезы, падали вниз.

Мисс Уорд не знала матери, умершей год спустя после ее рождения; но Алисия часто и подолгу рассматривала ее миниатюрный портрет: некогда яркие краски приобрели желтоватый оттенок слоновой кости; эти блеклые тона напоминали о смерти, и девушке чудилось, что на портрете изображена не женщина, а ее призрак. И сейчас Алисия сразу поняла, что в комнату вошла Нэнси Уорд — ее мать. Белое платье, цепочка, цветок в руке, черные волосы, щеки цвета розового мрамора — все было на месте; к спящей Алисии приближалась тень, изображенная на миниатюре, только во много раз увеличенная.

Нежность, смешанная с ужасом, охватила Алисию, грудь ее затрепетала. Она хотела протянуть руки навстречу призраку, но те стали тяжелыми, как камень, и она не смогла оторвать их от одеяла. Она попыталась заговорить, но с языка вместо слов слетали лишь отдельные звуки.

Нэнси положила чайную розу на столик, опустилась на колени возле кровати и, прижавшись головою к груди Алисии, прислушалась к дыха-

нию и биению сердца девушки. Щека матери была такой холодной, что Алисии, испуганной этим молчаливым осмотром, показалось, что ей на грудь положили кусок льда.

Наконец Нэнси поднялась, бросила горестный взор сначала на спящую, потом на розу с единственным лепестком и произнесла: «Остался всего один».

Затем сон окутал видение черной вуалью, и оно растворилось в ночной тьме.

Явилась ли душа матери предупредить дочь об опасности, или она пришла, чтобы забрать ее к себе? Что означала таинственная фраза, сорвавшаяся с бледных уст: «Остался всего один»? Была ли увядшая роза без лепестков символом жизни Алисии? Странный сон, исполненный жуткого очарованья и завораживающего ужаса, милый призрак в одеянии из муслина, пересчитывающий лепестки, занимали воображение девушки. Время от времени облачко грусти набегало на ее прекрасный лоб, и смутные предчувствия касались ее своими черными крылами.

Возможно, веточка апельсинного дерева, роняющая на нее свои цветы, предвещала некое печальное событие, и не сиять крохотным целомудренным звездочкам флёрдоранжа[6] в ее венке новобрачной! Задумчивая и печальная, Алисия отняла от губ надкушенный цветок: его лепестки уже пожелтели и увяли...

Близился час визита д'Аспремона. Сделав над собой усилие, мисс Уорд придала своему лицу безмятежное выражение, подкрутила пальцами локоны, расправила помятые складки газового шарфа и, чтобы успокоиться, вновь взяла в руки книгу.

Вошел Поль, и мисс Уорд встретила его радостной улыбкой: она не хотела тревожить любимого, ибо, застав невесту в постели, он не преминул бы приписать себе причину ее недомогания. Разговор с графом Альтавиллой поверг д'Аспремона в состояние мрачной растерянности. Виче, увидев выражение лица гостя, сделала заклинающий знак, но нежный взгляд Алисии быстро рассеял облако, набежавшее на чело Поля.

— Что с вами? Почему вы не в беседке? — обратился молодой человек к мисс Уорд, присаживаясь возле нее.

— О, ничего серьезного, просто легкая усталость: вчера дул сирокко, этот знойный африканский ветер мне вреден. Зато вы увидите, до чего мне будет хорошо в нашем коттедже в Линкольншире! Теперь, когда я набралась сил, мы сможем опять ходить кататься на пруд и грести будем по очереди!

Произнося эти слова, она слегка поперхнулась и закашлялась.

Д'Аспремон побледнел и отвел взгляд. Несколько минут в комнате царила тишина.

— Поль, я никогда не делала вам подарков, — продолжила Алисия, снимая со своего истончившегося пальца простое золотое колечко. —

Возьмите это кольцо и носите его в память обо мне. Думаю, вы сможете надеть его, потому что у вас руки изящные, как у женщины. Прощайте! Я устала и хочу попытаться уснуть, но завтра приходите непременно.

Поль удалился. Сердце его разрывалось на части, Алисии не удалось обмануть его. Д'Аспремон безумно любил мисс Уорд — и убивал ее! Неужели это кольцо обручит их навеки только для жизни в мире ином?

Поль, точно безумный, метался по берегу, он мечтал уехать, затвориться в монастыре траппистов, навеки спрятать лицо под монашеским капюшоном и, лежа в своем гробу, ожидать смерти[7]. Он чувствовал себя неблагодарным трусом, ибо не мог отказаться от своей любви и таким образом злоупотреблял самоотверженностью Алисии. Она не обманывала себя, нет: узнав, что он джеттаторе, она, как ангел, пожалела его и не оттолкнула!

— Да, — твердил он себе, — этот неаполитанец, этот красавчик-граф, вызывающий у нее лишь презрение, любит ее по-настоящему. Но, в отличие от меня, страсть Альтавиллы делает ему честь: чтобы спасти Алисию, он не побоялся бросить мне вызов и заставил меня, джеттаторе, этот вызов принять. А ведь он верит, что я опаснее демона, при разговоре со мной он все время перебирал свои амулеты! Знаменитый дуэлянт, уложивший уже трех противников, не смел взглянуть мне в глаза!

Вернувшись в гостиницу «Рим», Поль написал несколько писем и составил завещание, согласно которому все, чем он владел, за исключением небольшой суммы для Пэдди, переходило в собственность мисс Алисии Уорд. Он также отдал распоряжения, которые порядочным людям подобает делать накануне смертельного поединка.

Открыв палисандровые футляры, где в отделениях, затянутых зеленой саржей, хранилось оружие, он перебрал шпаги, пистолеты, охотничьи ножи и наконец нашел два совершенно одинаковых корсиканских стилета, купленных им в подарок друзьям.

То были клинки из великолепной стали, расширяющиеся к рукояти, обоюдоострые, с узорной насечкой, удивительно грозные и сработанные на совесть. Поль выбрал также три шейных платка и бережно завернул в них оружие.

Затем он предупредил Скаццигу, чтобы тот с раннего утра был готов к небольшой загородной прогулке.

— Боже, пусть этот поединок станет для меня роковым! — воскликнул он и, не раздеваясь, упал на кровать. — Пусть меня убьют — зато Алисия будет жить!



Глава XIII

Помпеи – мертвый город и, в отличие от живых городов, он не просыпается по утрам; и хотя он уже наполовину сбросил пепельное одеяло, под которым прятался несколько веков, когда ночь убирается восвояси, он продолжает покоиться на своем смертном одре.

Туристы из разных стран, посещающие его днем, в этот ранний час еще мирно спят в постелях, набираясь сил для новых экскурсий, и утренняя заря, поднимаясь над развалинами города-мумии, не осияет там ни одного человеческого лица. Только ящерицы, повиливая хвостами, карабкаются по стенам, скользят по разбитым мозаикам, не обращая внимания на надписи «Cave canem»* над порогами опустелых домов, и радостно приветствуют первые лучи солнца. Это нынешние обитатели Помпей, унаследовавшие их от античных жителей: создается ощущение, что город извлекли из могилы исключительно ради них.

Странное зрелище являет собой лазурно-розовый труп города, уснувшего вечным сном в разгар удовольствий, трудов и кипящей жизни; он

---

* «Осторожно – злая собака» (*лат.*).

избежал медленного разрушения и не превратился в руины. Так и кажется, что владельцы домов, сохранившихся в мельчайших деталях, вот-вот выйдут на улицы, облачившись в римские или греческие одеяния; колесницы, которые оставили выбоины на плитах мостовых, пустятся в путь, а термополии[1], на мраморных стойках коих еще видны отпечатки чашек, наполнятся посетителями. Ты бредешь, словно во сне, среди прошлого и читаешь на одном из перекрестков начертанное красными буквами название вечернего спектакля — вот только вечер этот миновал семнадцать веков назад! В свете занимающейся зари изображенные на стенах танцовщицы словно начинают бить в бубны и кончиками белых ножек приподнимать розовопенные края одежд, несомненно полагая, что это зажглись светильники и пришла пора для оргии в триклинии[2]. Ожившие в солнечных лучах сатиры, Венеры, герои и актеры пытаются занять место исчезнувших жителей и населить мертвый город своими нарисованными фигурами. На фресках пляшут цветные тени, и разум на несколько минут забывает об иллюзорности фантасмагорического зрелища. Но в этот день, к великому ужасу ящериц, утреннюю безмятежность Помпей нарушил странный посетитель: у поворота на улицу Гробниц остановился экипаж, из него вышел Поль и пешком направился к месту встречи.

Д'Аспремон приехал раньше назначенного времени, и хотя его мысли были далеки от археологии, обратил внимание на тысячи мелких деталей, которые наверняка не различил бы во время обычной прогулки. Когда душа далеко, чувства, предоставленные сами себе, нередко на удивление обостряются. Приговоренные к смерти по дороге к месту казни замечают крохотный цветок, пробившийся между камнями мостовой, номер на пуговице солдата, орфографическую ошибку на вывеске, и эти пустяковые подробности приобретают для них громадное значение. Д'Аспремон миновал, едва удостоив небрежным взором, виллу Диомеда[3], гробницу Мамии[4], погребальные амфитеатры, древние ворота города, дома и лавки, окаймлявшие улицу Консулов, однако яркие живые образы этих памятников запечатлелись в его мозгу с поразительной четкостью. Он подмечал все: колонны с каннелюрами[5], покрытые до середины красной или желтой штукатуркой под мрамор, фрески, надписи на стенах; какое-то объявление о сдаче внаем, начертанное красной краской, столь глубоко врезалось в его память, что он еще долго механически повторял латинские слова, хотя его занимало совсем другое.

Думал ли Поль о предстоящем поединке? Отнюдь нет, он даже не вспоминал о нем. Душой он находился в Ричмонде. Вот он протягивает коммодору рекомендательное письмо, а мисс Уорд украдкой разглядывает гостя. Белое платье, белые звездочки жасмина в волосах. Как она была молода, прекрасна и резва... Была!

Античные бани находятся в конце улицы Консулов, на углу улицы Фортуны[6], и д'Аспремон без труда отыскал их. Он вошел в зал со сводчатым потолком, обрамленный нишами с глиняными атлантами по бокам, поддерживающими архитрав[7] с рельефными листьями и фигурами младенцев. Мраморная облицовка, мозаика, бронзовые треножники исчезли. От былого великолепия остались только атланты и голые, словно у склепа, стены. Неяркий рассветный луч, проникший в круглое оконце, сквозь которое виднелся голубой кружок неба, дрожа, скользил по разбитым плиткам пола.

Именно сюда женщины Помпей приходили после бани, чтобы обсушить свои прекрасные влажные тела, причесаться, надеть тунику и с улыбкой взглянуть на себя в зеркало из полированной меди. Сейчас здесь предстояло разыграться спектаклю совсем иного рода, и на пол, по которому некогда растекались благовония, должна была пролиться кровь.

Через несколько минут появился граф Альтавилла: в руках он держал коробку с пистолетами, под мышкой — две шпаги. Граф не верил, что условия, выдвинутые Полем д'Аспремоном, вполне серьезны; он видел в них лишь мефистофелевскую насмешку, некий дьявольский сарказм.

— К чему эти пистолеты и шпаги, граф? — спросил Поль при виде неаполитанца. — Разве мы не договорились об условиях?

— Разумеется. Но я подумал, вдруг вы измените свое решение, ведь так еще никто и никогда не бился.

— Даже если бы мы в равной степени владели оружием, мое положение дает мне слишком большое преимущество перед вами, — с горькой улыбкой ответил Поль. — Я не хочу злоупотреблять им. Я принес стилеты. Осмотрите их, они совершенно одинаковы; а это платки, чтобы завязать глаза. Видите, они плотные, и мой взгляд не сможет проникнуть сквозь ткань.

Граф Альтавилла поклонился в знак согласия.

— Мы будем драться без секундантов, — произнес Поль, — и один из нас не выйдет отсюда живым. Давайте напишем записки, где засвидетельствуем честность поединка; победитель положит бумагу на грудь убитого.

— Разумная предосторожность! — кивнул неаполитанец и начертал несколько строк на листке из записной книжки Поля, который в свою очередь выполнил ту же формальность.

Закончив, противники сняли верхнюю одежду и сложили ее у стены, завязали себе глаза, вооружились стилетами и схватились за углы платка, который соединил убийцу с его будущей жертвой.

— Вы готовы? — спросил д'Аспремон графа Альтавиллу.

— Да, — спокойно ответил неаполитанец.

Дон Фелипе Альтавилла, человек бесспорно храбрый, не боялся ничего, кроме джеттатуры, и дуэль вслепую, от которой любой другой пришел бы в ужас, нисколько не пугала его: да, он ставил на карту свою жизнь, зато был избавлен от неприятной необходимости смотреть, как хищные глаза противника устремляют на него свой желтый взор.

Оба бойца вслепую взмахнули кинжалами, и соединявший их платок мгновенно натянулся. Повинуясь чувству самосохранения, Поль и граф откинулись назад, прибегнув к единственно возможному в этом странном поединке приему защиты; оба нанесли удар, и оба промахнулись.

Нет ничего ужаснее борьбы во мраке, где каждый ждет смерти, но не видит ее приближения. Разъяренные и молчаливые, противники отступали, разворачивались, отскакивали; изредка они сталкивались друг с другом, промахивались или не дотягивались до цели; слышался только глухой топот ног и прерывистое дыхание, вырывавшееся из легких.

Один раз Альтавилла почувствовал, как острие его стилета на что-то наткнулось; он подумал, что убил противника, и замер, ожидая, что тот упадет, но оказалось, он задел стену!

— Черт возьми! А я уж решил, что пронзил вас насквозь, — рассмеялся он, вновь занимая оборонительную позицию.

— Молчите, — крикнул Поль, — голос выдает вас.

И поединок возобновился.

Внезапно оба противника поняли, что разъединились, — стилет Поля перерезал платок.

— Довольно! — воскликнул неаполитанец. — Мы больше не связаны друг с другом, платок разрезан.

— Какая разница! Продолжим, — ответил Поль.

Воцарилась гробовая тишина. Будучи честными противниками, ни д'Аспремон, ни граф не хотели поражать цель, чье местоположение стало известно благодаря обмену репликами. Немного покружив, чтобы сбить врага с толку, они снова вслепую принялись искать друг друга.

Д'Аспремон отбросил попавший ему под ногу камешек. Этот слабый звук подсказал неаполитанцу, наугад наносившему удары, куда надо двигаться. Присев, чтобы прыгнуть как можно дальше, Альтавилла подобно тигру рванулся вперед и налетел на стилет д'Аспремона.

Поль коснулся острия своего оружия, оно было мокрым... послышались тяжелые неуверенные шаги, затем раздался сдавленный вздох и что-то с шумом упало на пол.

В ужасе Поль сорвал с глаз повязку и увидел распростертого на плитах графа Альтавиллу — бледного, недвижного, с расплывшимся красным пятном на сорочке — в том самом месте, где находится сердце.

Прекрасный граф был мертв!

Д'Аспремон положил на грудь Альтавиллы записку – свидетельство честности поединка, и вышел из терм. Лицо его при ярком дневном свете было бледнее освещенного луной лица преступника, которого волею Прюдона преследуют мстительные эринии[8].



Глава XIV

Около двух часов пополудни группа английских туристов под предводительством чичероне[1] осматривала развалины Помпей. Островное племя, состоявшее из отца, матери, трех взрослых дочерей, двух маленьких сыновей и одного кузена, уже окинуло недоверчивым холодным взглядом, исполненным глубокой скуки, которая характерна для всех британцев, находящиеся в странном соседстве арену для боев, театр трагедии и музыкальный театр[2], карцер гладиаторской казармы, стены коего от нечего делать разрисовали охранники, полуразрушенный Форум, базилику, храмы Венеры и Юпитера, Пантеон[3] и прилегающие к ним лавки. Все молча следили по своему Марри[4] за многословными объяснениями итальянца и время от времени бросали взоры на колонны, статуи, мозаики, фрески и надписи.

Наконец они достигли античных бань, раскопанных, как сообщил гид, в 1824 году. «Здесь располагались ванны, там печь для нагрева воды, а далее помещение с умеренной температурой», — эти подробности, поведанные на неаполитанском диалекте с примесью исковерканных английских слов, казалось, уже не вызывали у слушателей никакого интереса.

Они развернулись к выходу, когда старшая из девушек, мисс Этельвина, молодая особа с веснушчатой кожей и белесыми волосами, похожими на мочало, вдруг попятилась и воскликнула с наполовину возмущенным, наполовину испуганным видом: «Мужчина!»

— Это наверняка один из рабочих, нанятых для раскопок. Он счел это место удобным для сиесты, ведь здесь тень и не так жарко, как снаружи... Не бойтесь, синьорита, — произнес гид и толкнул ногой распростертое на земле тело. — Эй, просыпайся, бездельник, дай пройти их милостям.

Мнимый спящий не пошевелился.

— Этот человек не спит, он мертв, — сказал один из мальчиков. Благодаря своему небольшому росту он, несмотря на полумрак, сумел разглядеть, что перед ним труп.

Чичероне наклонился над телом и тотчас же отскочил с перекошенным лицом.

— Убийство! — воскликнул он.

— О, как это неприятно — оказаться рядом с подобным предметом; Этельвина, Китти, Бесс, отойдите, — приказала миссис Брейсбридж, — добропорядочным юным особам не пристало смотреть на столь неприличное зрелище. Неужели в этой стране нет полиции? Коронер[5] должен был убрать тело.

— Записка! — лаконично заметил кузен, высокий и нескладный малый, застенчивый, как лэрд Дамбидайкс из «Эдинбургской темницы»[6].

— И правда. — Гид поднял с груди Альтавиллы маленький клочок бумаги с несколькими начертанными на нем словами.

— Читайте! — хором потребовали островитяне, изнывавшие от любопытства сверх всякой меры.

— «Не ищите виновного и никого не вините в моей смерти. Когда эта записка будет найдена, я уже паду в честном поединке». Подписано: «Фелипе, граф Альтавилла».

— Вот что значит воспитанный человек! Какая жалость! — вздохнула миссис Брейсбридж, пораженная благородством графа.

— И к тому же красавец, — тихо прошептала Этельвина, девица с веснушками.

— Теперь ты перестанешь жаловаться, — обратилась Китти к Бесс, — на пресность путешествия. Жаль, конечно, что по дороге из Террачины в Фонди на нас не напали разбойники, но обнаружить среди развалин Помпей молодого синьора, убитого ударом стилета, — тоже вполне сносное приключение. Разумеется, поединок состоялся из-за дамы, и мы стали свидетелями любовного соперничества, то есть столкнулись с истинно итальянской, колоритной и романтической драмой — теперь нам есть что

рассказать друзьям. Я сделаю набросок этой сцены в моем альбоме, а ты дополнишь рисунок мрачными стансами в духе Байрона.

— Так или иначе, — произнес гид, — а удар нанесен мастерски, снизу вверх, по всем правилам, тут не к чему придраться.

Такова была надгробная речь над графом Альтавиллой.

Несколько рабочих, предупрежденных чичероне, отправились на поиски представителей правосудия, и вскоре тело несчастного перевезли в замок графа близ Салерно.

Что до Поля, то он вернулся к своему экипажу; взор его блуждал, как у сомнамбулы, он ничего не замечал и походил на шагающую статую. Испытав при виде трупа священный ужас, какой внушает нам смерть, он тем не менее не чувствовал себя виновным, и его отчаяние не имело ничего общего с угрызениями совести. Ему нанесли оскорбление в такой форме, что он не мог отказаться от дуэли и принял вызов в надежде проститься с жизнью, которая с недавних пор стала ему ненавистной. Обладая губительным взором, он жаждал единоборства с закрытыми глазами, чтобы судьба сама решила исход поединка. Рука его даже не нанесла удара — противник сам напоролся на нож! Он скорбел о графе Альтавилле так, словно был совершенно не причастен к его смерти. «Это мой стилет убил его, — снова и снова твердил про себя Поль, — а если бы я посмотрел на него на каком-нибудь балу, наверняка с потолка сорвалась бы люстра и разбила ему голову. Я неповинен, как молния, лавина, манцинелла[7], как любая разрушительная и слепая стихия. Я никому и никогда не желал зла, в сердце моем царят любовь и добро, но я знаю, что приношу несчастья. Гроза не ведает, что сеет смерть. Я человек и, будучи существом разумным, обязан исполнить свой долг. Мне надо предстать перед своим собственным судом и спросить с самого себя. Имею ли я право жить на земле, я — источник зла? И проклянет ли меня Господь, если я покончу с собой из любви к ближним? Вопрос страшный и сложный, не мне его решать, хотя я и склонен надеяться, что в моем случае самоубийство заслуживает прощения. Но если я ошибаюсь? Тогда, очутившись в вечности, я не увижусь с Алисией, а ведь там я смог бы безбоязненно смотреть на нее, ибо глаза души не приносят зла. Я не хочу лишиться такой возможности».

Внезапно в голове несчастного джеттаторе мелькнула спасительная мысль, и он прервал свой внутренний монолог. Напряженное выражение исчезло с его бледного лица, безмятежная ясность разгладила морщины: решение принято, приговор окончателен.

— Будьте вы прокляты, мои глаза, несущие смерть! Но, прежде чем закрыться навсегда, насладитесь светом, полюбуйтесь солнцем, голубым

небом, морской далью, лазурной цепью гор, зелеными деревьями, бескрайними просторами, колоннадами дворцов, хижинами рыбаков, далекими островами, белыми парусами, летящими над бездной, Везувием с его султанчиком дыма. Смотрите, чтобы потом вспоминать эти восхитительные картины, которые вы более не увидите никогда; изучайте форму и цвет каждого предмета, устройте себе последний праздник. Сегодня, губителен ваш взор или нет, вы вольны глядеть на что пожелаете. Дивитесь великолепием созданного Творцом мира! Ну же, смотрите, пользуйтесь свободой. Скоро между вами и декорациями этого спектакля опустится черный занавес.

В эту минуту коляска ехала вдоль берега моря. Воды залива искрились под лучами солнца, небо казалось выточенным из цельного сапфира, и каждая деталь пейзажа ослепляла своей красотой.

Поль приказал Скаццига остановиться, вышел, сел на краю обрыва и долго, долго, долго смотрел вдаль, как бы поглощая бесконечность. Глаза его погружались в море пространства и света, самозабвенно плавали и кувыркались в золотых волнах, впитывая солнце. В грядущей для них ночи им никогда не дождаться рассвета.

С трудом заставив себя подняться, д'Аспремон сел в коляску и направился к мисс Алисии Уорд.

Как и накануне, она лежала на канапе в уже описанной нами комнате нижнего этажа. Поль сел напротив девушки и впервые с тех пор, как поверил, что он джеттаторе, не стал опускать глаза.

Совершенная красота Алисии из-за болезни сделалась почти нематериальной; женщина исчезала, уступая место ангелу: трепещущая плоть стала прозрачной и эфирной, и сквозь нее, словно огонек в алебастровой лампе, просматривалась душа. В глазах мисс Уорд отражалось бескрайнее небо и сверкали звезды, и только карминные губы еще хранили алый росчерк жизни.

Алисия заметила, с какой томительной лаской обнимает ее взгляд жениха, и божественная улыбка озарила ее лицо, словно луч солнца, упавший на розу. Решив, что Поль наконец выбросил из головы мрачные мысли о джеттатуре и вернулся к ней, счастливый и доверчивый, как прежде, она протянула д'Аспремону слабую руку, и тот сжал ее в ладонях.

— Значит, я больше не внушаю вам страх? — с нежной насмешкой обратилась она к Полю, неотрывно глядевшему на нее.

— О! Дайте мне на вас насмотреться, — странным тоном ответил д'Аспремон, опускаясь на колени возле канапе, — дайте налюбоваться вашей несказанной красотой!



Он жадно поглощал глазами черные блестящие волосы Алисии, ее лоб, прекрасный и чистый, как у греческой статуи, иссиня-черные глаза цвета ясного ночного неба, тонко очерченный нос, полуоткрытые в ласковой улыбке губы, жемчужные зубы и лебединую шею, плавную и гибкую; он словно запечатлевал каждую черточку, каждый штрих, каждую линию, будто художник, которому предстоит по памяти воссоздать портрет. Поль впитывал в себя совершенство обожаемого облика и, снова и снова обводя взором профиль, разглядывая очертания, запасался воспоминаниями.

Завороженная его пылким нечеловеческим взором, Алисия испытывала сладостную истому, одновременно болезненную и приятную. Жизнь в ней то пробуждалась, то угасала; Алисия то краснела, то бледнела, то дрожала от холода, то пылала от жара. Еще минута — и душа покинула бы ее.

Она прикрыла глаза Поля рукой, но взгляд молодого человека, словно огонь, проникал сквозь хрупкие прозрачные пальцы Алисии.

«Теперь мои глаза могут угаснуть, ее образ навсегда сохранится в моем сердце», — подумал Поль, вставая.

Вечером, налюбовавшись закатом солнца — последним, который он видел, — д'Аспремон вернулся в гостиницу «Рим» и приказал принести жаровню с углями.

«Он что, хочет угореть? — предположил про себя Вирджилио Фальсакаппа, вручая Пэдди предметы, за которыми его послал хозяин. — Это лучшее, что он может сделать, проклятый джеттаторе!»

Вопреки догадкам Фальсакаппы жених Алисии распахнул окно, разжег угли, погрузил в них лезвие кинжала и принялся ждать, пока сталь нагреется.

От горячих углей тонкий клинок раскалился докрасна, а затем добела; словно прощаясь с самим собой, Поль встал напротив большого зеркала, где отражался свет нескольких свечей, горевших в подсвечнике, и оперся локтем на каминную доску. С тоскливым любопытством он вглядывался в собственное отражение, в оболочку, заключавшую его мысли, в лицо, которое он больше не увидит. «Прощай, бледный призрак, довольно ты сопровождал меня по жизни, прощай, неудавшийся и зловещий облик, чья красота неотделима от ужаса, глиняный слепок с роковым клеймом, кривая маска, скрывшая нежную и чувствительную душу! Отныне ты навсегда исчезнешь для меня: продолжая жить, я погружусь в вечный мрак и вскоре забуду тебя, как кошмарный сон. Напрасно злосчастное тело будет взывать к моей несгибаемой воле: “Хьюберт, Хьюберт, пощади мои бедные глаза!”[8] — ему не удастся смягчить ее. Итак, за дело, жертва и палач!» И, отойдя от камина, Поль сел на край кровати.

Он раздул угли в жаровне, стоявшей на соседнем столике, и схватился за рукоятку клинка, от которого в разные стороны летели дрожащие белые искорки.



В этот страшный миг, несмотря на всю свою решимость, д'Аспремон ощутил приступ слабости. Холодный пот выступил у него на висках, но он быстро подавил животный трепет плоти и поднес к глазам раскаленное железо.

Острая, колющая, нестерпимая боль пронзила его, и он с трудом сдержал рвущийся из груди вопль. Он чувствовал, будто струи расплавленного свинца хлынули в отверстые зеницы и заполнили весь его череп. Поль выронил кинжал, и тот покатился по полу, оставляя за собою багровый след.

Густой непроницаемый мрак, рядом с которым самая темная ночь кажется ярким солнечным днем, окутал Поля своим черным покрывалом. Он повернул голову к камину, на котором только что горели свечи: там не было ничего, кроме сплошной, кромешной тьмы. Он не различал даже тех расплывчатых огоньков, что видят зрячие, когда закрывают глаза, стоя напротив источника света. Жертва была принесена!

— Теперь, — произнес Поль, — благородное очаровательное создание, я могу стать твоим мужем, не будучи убийцей. Отныне тебе не грозит мучительная смерть от моего проклятого взгляда: ты снова обретешь былое здоровье. Увы! Я больше не увижу тебя, но твой небесный облик будет вечно озарять мои воспоминания. Я буду видеть тебя взором души, внимать твоему голосу, что звучит сладостней самой нежной музыки, прислушиваться к шороху твоих шагов, шелесту шелкового платья, едва уловимому скрипу башмачков, вдыхать легкий аромат твоих духов и кожей ощущать движение воздуха вокруг тебя. Не раз ты задержишь свою руку в моей, убеждая меня в своем присутствии, ты станешь поводырем и опорой для бедного слепца, будешь читать ему стихи, рассказывать о картинах и статуях. Твои слова вновь откроют ему все краски мира, он будет думать и грезить только о тебе; лишенная возможности наслаждаться видом вещей и игрой света, душа его на неутомимых крыльях устремится к тебе одной!

Я ни о чем не жалею, потому что теперь ты спасена. В самом деле, чего я лишился? Монотонного созерцания времен года, череды дней и живописных декораций, среди которых разыгрываются сотни разнообразных актов невеселой человеческой комедии?[9] Земля, небо, воды, горы, деревья, цветы — они всегда одни и те же! Тот, кто любит, обладает и солнцем, и никогда не меркнущим светом!

Так убеждал сам себя несчастный Поль д'Аспремон, и время от времени его лирический экстаз сменялся бредом от невыносимой боли.

Постепенно боль утихла; он погрузился в черный сон, что сродни смерти и, как смерть, дарует утешение.

Дневной свет, проникнув в комнату д'Аспремона, не разбудил его. Отныне для Поля полдень и полночь были окрашены одним цветом, но колокола, радостно звонившие «Angelus», растревожили своим гулом спящего и, становясь все громче и отчетливее, окончательно вырвали его из забытья.

Он поднял веки и за тот миг, пока его пробуждавшаяся душа обретала память, испытал невообразимый ужас. Глаза Поля открылись в пустоту, в черноту, в ничто, как если бы его заживо похоронили и он очнулся от летаргического сна уже в гробу. Но он быстро взял себя в руки. Разве теперь его ежедневное пробуждение может быть иным? Разве ночная темень отныне не будет сменяться для него мраком дня?

Он нащупал шнурок звонка.

Прибежал Пэдди.

Видя, как хозяин неуверенно встает и, словно слепой, неловко водит вокруг себя руками, грум удивленно спросил, что произошло.

— Я поступил неосмотрительно: заснул с открытым окном, — ответил Поль, дабы прекратить дальнейшие расспросы, — и от ночной сырости у меня, кажется, воспалились суставы. Это скоро пройдет. Проводи меня к креслу и поставь рядом стакан с холодной водой.

Пэдди, отличавшийся истинно английской сдержанностью, без лишних слов исполнил приказание хозяина и удалился.

После его ухода Поль смочил холодной водой носовой платок и приложил его к глазам, чтобы утишить боль от ожога.

Оставим же д'Аспремона, погруженного в горестные размышления, и вернемся к другим действующим лицам нашей истории.

Новость о странной гибели графа Альтавиллы быстро облетела Неаполь и породила тысячи догадок — одну нелепее другой. Граф прославился как непревзойденный фехтовальщик. Он считался одним из лучших учеников знаменитой неаполитанской школы, каждый из которых слыл грозным противником на фехтовальной дорожке; Альтавилла уже убил троих соперников и тяжело ранил пятерых или шестерых. Завоевав репутацию непобедимого дуэлянта, он давно перестал драться на поединках. Записные забияки почтительно приветствовали его и, даже когда он косо смотрел на них, не решались его задеть. Если бы Альтавиллу сразил один из этих фанфаронов, он не преминул бы похвастаться и пожать лавры столь почетной победы. Найденная на груди убитого записка свидетельствовала о том, что граф погиб не от руки наемного убийцы. Кое-кто попытался опротестовать подлинность почерка, но руку графа узнали все, кто получил от него не одну сотню писем. И никто не мог понять, зачем у трупа были завязаны платком глаза. Кроме стилета, вонзенного в грудь

графа, нашли второй такой же клинок, несомненно, выпавший из руки Альтавиллы. Но если дуэль состоялась на кинжалах, зачем тогда шпаги и пистолеты, которые, как выяснилось, принадлежали покойному? Кучер графа заявил, что его хозяин, доехав до развалин Помпей, приказал ему через час возвращаться домой, если он сам не появится раньше указанного срока.

В общем, голову можно было сломать.

Слухи о смерти графа быстро достигли ушей Виче, а та довела их до сведения сэра Джошуа. Коммодор тотчас же вспомнил свой разговор с Альтавиллой об Алисии и понял, что граф совершил отчаянную попытку вступить в беспощадную борьбу, исход которой вольно или невольно предрешил д'Аспремон. Что же касается Виче, то она без колебаний приписала смерть красавца графа гнусному джеттаторе. В этом деле ненависть удвоила ее проницательность, хотя накануне, когда д'Аспремон в обычный час нанес визит мисс Уорд, он не выдал своим поведением никаких чувств относительно разыгравшейся трагедии и выглядел даже более спокойным, чем обычно.

Смерть Альтавиллы скрыли от мисс Уорд, чье состояние вызывало серьезные опасения. Английский доктор, вызванный сэром Джошуа, не нашел у нее симптомов какой-то определенной болезни, которая поддавалась бы лечению известными средствами: просто жизнь несчастной угасала, а крылья души трепетали в предчувствии дальнего полета. Девушка уподобилась птице, задыхающейся под стеклянным колоколом, откуда выкачивают воздух[10], или ангелу, которого удерживают на земле, в то время как он страдает от тоски по небу; красота ее стала столь нежна, тонка, светозарна, эфемерна, что грубый земной воздух сделался непригодным для легких Алисии. Казалось, она парит в золотом райском свете, и даже ее маленькая кружевная подушка сверкала словно нимб. Лежа в постели, она напоминала Пречистую Деву кисти Схореля[11], этот бесценный алмаз в короне готического искусства.

Д'Аспремон в тот день не явился: он хотел скрыть от Алисии свою жертву и решил не показываться ей с покрасневшими веками, а потом объяснить внезапную потерю зрения какой-нибудь благовидной причиной.

На следующий день, когда боль прошла, он в сопровождении грума Пэдди сел в коляску.

Как обычно, экипаж остановился у ворот. Слепец толкнул калитку и ступил на знакомую, но невидимую аллею. Виче не выбежала на звон колокольчика, соединенного с пружиной калитки, ни один из тысячи легких радостных звуков, подобных дыханию дома, где кипит жизнь, не донесся до настороженного уха Поля. Тревожная, глубокая, пугающая тишина ца-

рила повсюду: вилла казалась покинутой. Это безмолвие, зловещее даже для зрячего, было вдвойне жутким для слепца, который еще не свыкся с поглотившим его беспросветным мраком.

Недоступные его взору ветви пытались задержать Поля, молитвенно простирая к нему свои гибкие руки, мешая двигаться дальше. Лавры вставали на его пути, розовые кусты цеплялись за одежду, лианы обвивались вокруг ног. Сад шептал на своем бессловесном языке: «Несчастный! Зачем ты пришел сюда? Не пытайся одолеть расставленные мною преграды, уходи!» Но Поль не слушал и, мучимый страшными предчувствиями, продирался сквозь густую листву, крушил зеленую стену, отводил ветви и упорно, шаг за шагом приближался к дому.

Израненный и истерзанный, он все-таки прорвался сквозь густые заросли и очутился в конце аллеи. Струя чистого воздуха ударила ему в лицо; вытянув вперед руки, он продолжил свой путь и, натолкнувшись на стену, нашел на ощупь дверь.

Поль открыл ее — ни один голос не приветствовал его.

Не слыша ни единого звука, который стал бы для него путеводным, он в нерешительности застыл на пороге. Запах эфира, благоухание лавана, аромат горящего воска — удушливые испарения комнаты, где находится покойник, окружили пошатнувшегося от ужаса слепца; страшная догадка пронзила его мозг.

Сделав несколько шагов, он обо что-то споткнулся — предмет со страшным грохотом упал. Наклонившись, он нащупал металлический подсвечник, по форме напоминавший церковный канделябр для толстой свечи.

В отчаянии он устремился вперед. Ему показалось, что он слышит голос, бормочущий молитвы. Он сделал еще шаг, и руки его случайно ухватились за край кровати. Он наклонился и дрожащими пальцами коснулся безжизненного тела, накрытого тонким покровом, затем венка из роз и гладкого лица, холодного, точно мрамор.

То была Алисия, лежавшая на смертном одре.

— Умерла! — сдавленно прохрипел Поль. — Она умерла! Я убил ее!

Леденея от ужаса, коммодор наблюдал, как, шатаясь, в комнату вошел призрак с потухшим взором и принялся блуждать наугад, пока не наткнулся на смертное ложе Алисии. Старик все понял. Величие бесполезной жертвы исторгло из его покрасневших глаз пару капель, хотя коммодору казалось, что он выплакал уже все слезы. Поль бросился на колени и покрыл ледяную руку Алисии поцелуями; рыдания сотрясали его тело. Горе д'Аспремона смягчило даже диковатую Виче. Мрачная служанка молча стояла у стены, охраняя последний сон своей хозяйки.

Завершив безмолвное прощание, д'Аспремон выпрямился и подобно заводному механизму на негнущихся ногах направился к двери. Его распахнутые мертвые глаза с безжизненными зрачками таили в себе что-то сверхъестественное: они были слепы и в то же время как будто зрячи. Тяжелой поступью мраморного гостя Поль пересек сад[12], выбрался на проселок и зашагал по каменистой дороге. Порой спотыкаясь и чуть не падая, он прислушивался к отдаленному шуму и упорно шел к своей цели.

Грозный зов моря звучал все отчетливее. Волны, вздыбленные ураганным ветром, обрушивались на берег с оглушительными всхлипами, извергая неведомую боль, и, снова и снова переполняясь отчаянием, вздувались их груди под кипенными гребнями. Миллионы горьких слез струились по скалам, жалобно вскрикивали растревоженные чайки.

Наконец Поль достиг края отвесной скалы. Грохот воды и соленый дождь, исторгнутый шквалистым ветром из беснующихся волн и брошенный в лицо слепого, словно предупреждали об опасности, но и они ни на мгновенье не остановили его зловещий марш; странная улыбка промелькнула на его бледных губах, и он шагнул в пропасть.

Д'Аспремон упал в воду. Чудовищный вал подхватил его, закрутил в своих пенистых завихрениях и поглотил навеки.

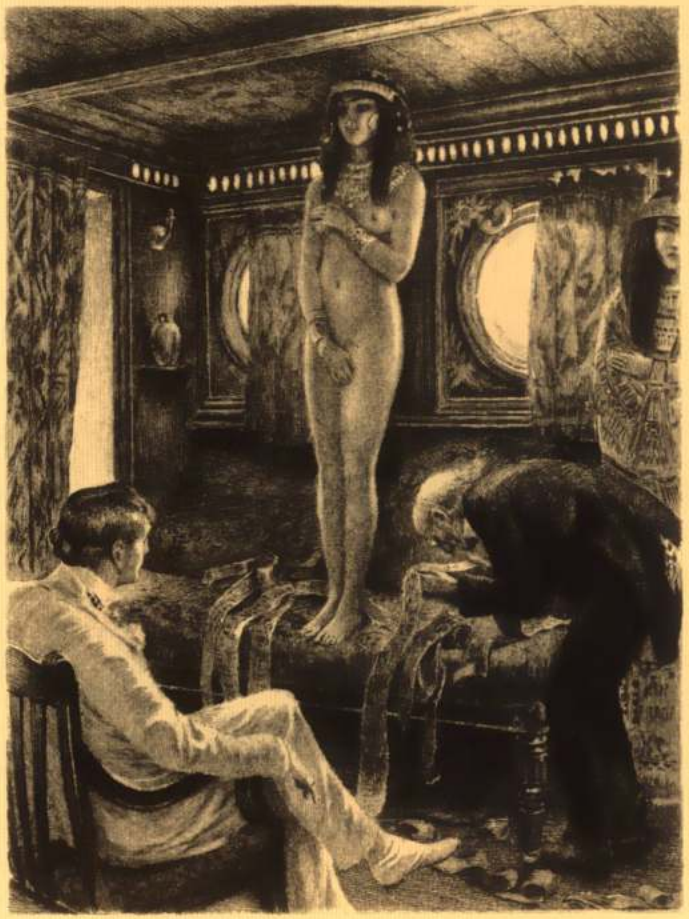
Гроза разбушевалась с новой силой. Обезумевшие волны, тесня друг друга, подобно воинам, идущим на приступ, набрасывались на берег, взметая ввысь тучи брызг. По черному небу во все стороны побежали трещины, и из этих узких расселин на землю, подобно адскому пламени, устремился поток молний. Ослепительные вспышки, сравнимые разве что с огнем преисподней, озаряли небо. Вершина Везувия покраснела, и черный султан, разгоняемый ветром, закружился над жерлом вулкана. Лодки у причала сталкивались со страшным треском, а натянувшиеся цепи заунывно скрипели. Вскоре хлынул ливень, и его свистящие струи напоминали частый дождь стрел, — казалось, хаос пожелал опять завладеть природой и заново смешать все стихии.

Тело Поля д'Аспремона так и не нашли, несмотря на поиски, предпринятые коммодором.

Гроб из черного дерева с серебряными застежками и ручками, обитый изнутри стеганым атласом, — словом, такой, какой мисс Кларисса Гарлоу столь трогательно расписывала в деталях «господину столяру»[13], — заботами коммодора доставили на борт яхты, а затем в семейную усыпальницу подле коттеджа в Линкольншире. Так упокоились земные останки мисс Алисии Уорд, прекрасной даже в смерти.

Что касается сэра Джошуа, то в нем произошли разительные перемены. Исчезла его знаменитая полнота. Он уже не наливает в чай ром, ест с видимым отвращением, произносит едва ли пару слов за день, а контраст между его седыми бакенбардами и багровым лицом полностью исчез — коммодор побледнел!





РОМАН О МУМИИ



Господину Эрнесту Фейдо[1]

Посвящаю эту книгу тому, кому она принадлежит по праву, кто распахнул передо мною свои познания и свою библиотеку и заставил поверить в то, что я достаточно изучил Древний Египет и могу его описать. Вслед за ним я прогуливался по храмам, дворцам и гипогеям[2], по живым и мертвым городам. Он приоткрыл для меня тайны Исиды[3] и воскресил гигантскую исчезнувшую цивилизацию. Все исторические факты исходят от него, роман — от меня: я лишь сложил мозаику из драгоценных камней, которые он мне преподнес, и скрепил их своим стилем, как цементом.

Т. Г.



Пролог

— У меня такое предчувствие, что в Бибан-эль-Молуке[1] мы найдем нетронутую гробницу... — говорил молодому, благородного вида англичанину куда более невзрачный пожилой человек. Огромным платком в синюю клетку он вытирал капли пота, выступившие на его лысом черепе, похожем на полный воды фиванский горшок[2] из пористой глины.

— Да услышит вас Осирис[3], — отозвался на замечание доктора-немца его спутник. — Полагаю, нелишне обратиться к этому древнему божеству перед столь же древним Диосполисом Магна[4], ведь наши надежды уже не раз обернулись разочарованием! Искатели сокровищ всегда опережали нас[5].

— Гробницу, которую не успели разорить ни кочевники, ни персы Камбиза, ни греки, ни римляне, ни арабы[6], с нетронутыми сокровищами и нераскрытыми тайнами, — продолжал взмокший от жары ученый. Даже за синими стеклами очков было видно, каким воодушевлением сверкают его глаза.

— И о которой вы опубликуете наинаучнейшую статью, что поставит вас в один ряд с Шампольоном[7], Розеллини[8], Уилкинсоном[9], Лепсиусом[10] и Бельцони[11], — добавил британец.

— Я посвящу ее вам, милорд, вам. Ибо без вашей поистине королевской щедрости я не подкрепил бы свою теорию описанием памятников и так бы и умер в немецком захолустье, не узрев чудес этой древней земли, — взволнованно ответил ученый.

Сия беседа происходила неподалеку от Нила, у входа в долину Бибан-эль-Молук, и вели ее лорд Ивендэйл[12], восседавший на арабском скакуне, и доктор Румфиус[13], громоздившийся на тощем осле, которого погонял палкой феллах[14]. Наши герои прибыли на фелуке[15], служившей им временным жилищем; она стояла на якоре у правого берега Нила, близ селения Луксор. Ее большие треугольные паруса были свернуты и привязаны к реям, весла сушились вдоль бортов. Посвятив несколько дней изучению изумительных развалин Фив — гигантских обломков огромного мира, лорд Ивендэйл и доктор Румфиус пересекли реку на сандале (легкой местной лодке), и направились к безводным холмам[16], скрывавшим в своих недрах, в глубине таинственных гипогеев, тела прежних обитателей фиванских дворцов. Несколько матросов сопровождали путешественников на почтительном расстоянии, в то время как остальные, охраняя лодку, разлеглись на палубе в тени и неторопливо курили трубки.

Лорд Ивендэйл был одним из тех безупречных со всех точек зрения мужчин, которыми цивилизованное общество обязано истинно британскому воспитанию:[17] всем своим видом он выражал самоуверенное превосходство, каковое придают солидное наследство, знатное имя, занесенное в Книгу пэров и баронов[18] — вторую Библию англичан, и красота, о которой только и можно сказать, что для мужчины она слишком совершенна. Безукоризненное, но холодное лицо лорда походило на восковую копию с Мелеагра или Антиноя[19]. Казалось, его губы подкрашены помадой, щеки нарумянены, а вьющиеся от природы волосы цвета спелой пшеницы уложены самым искусным парикмахером или ловким камердинером. Однако твердый взгляд стальных глаз, презрительная усмешка и слегка выдающаяся вперед нижняя губа вносили поправку во внешность молодого человека, которая иначе была бы чересчур женственной.

Как член Яхт-клуба[20], лорд мог иногда позволить себе маленький каприз — путешествие на собственном легком судне под названием «Пак»[21], построенном из тикового дерева и обставленном не хуже будуара. Его немногочисленный экипаж состоял из отборных моряков. В прошлом году Ивендэйл посетил Исландию, теперь знакомился с Египтом, а яхта тем временем ожидала его на александрийском рейде[22]. Чтобы совместить приятное с полезным, он пригласил с собой доктора Румфиуса — ученого, врача, натуралиста, художника и фотографа[23]. Лорд получил великолепное образование, и даже успехи в светском обществе не затмили его триумфа в Кембриджском университете[24]. Он одевался со строгостью и педантич-

ной аккуратностью, характерной для англичан, которые вышагивают по пустыне в том же облачении, что и на прогулке по дамбе Рамсгита[25] или по широким тротуарам Вест-Энда[26]. Его костюм составляли куртка, жилет и панталоны из отражающего солнечные лучи белого тика, дополнением служили узкий голубой галстук в белый горошек и на редкость изящная панамская шляпа с газовой вуалью[27].

Египтолог Румфиус даже под палящим небом не мог отказаться от традиционного для ученого черного сюртука с обвислыми полами, покоробившимся воротником и поцарапанными пуговицами, часть которых давно вылезла из своей шелковой оболочки. Черные панталоны местами лоснились, местами истрепались; на правом колене внимательный наблюдатель заметил бы застарелые темные пятна, которые свидетельствовали о привычке доктора стирать излишек чернил с пера об эту часть своего одеяния. Муслиновый галстук, скрученный на манер шнура, лениво свисал с шеи, примечательной крутым выступом того хряща, что зовется «адамовым яблоком». Румфиус был не только неряшлив, подобно большинству его собратьев-ученых, но и далеко не красив: остатки рыжеватых, с седыми нитями, волос кустились позади оттопыренных ушей и воевали с чересчур высоким воротником; плешивый череп блестел, будто кость, и возвышался над невероятной длины и толщины рыхлым носом с шишкой на конце. Последняя деталь, а также синие очки вместо глаз и сильная сутулость придавали ему некоторое сходство с ибисом[28]. Впрочем, для специалиста по расшифровке иероглифов[29] и картушей[30] он имел вид как нельзя более подходящий, словно предопределенный самой судьбой. Глядя на него, многие невольно думали, что это бог с головой ибиса сошел с надгробных фресок[31] и каким-то путем переселился в тело ученого[32].

Лорд и доктор направлялись к островерхим скалам, которые окружают долину захоронений Бибан-эль-Молук — царский некрополь древних Фив, и вели беседу, из которой мы привели несколько фраз, как вдруг на сцену, словно пещерный человек, из черной пасти пустой гробницы (в них часто селятся феллахи) выскочил новый персонаж, одетый почти театрально. Он остановился перед путешественниками и приветствовал их по-восточному — смиренно, подобострастно и в то же время с достоинством.

Это был грек, который занимался раскопками захоронений, торговал своими находками[33], а также изготавливал и сбывал подделки, ибо древностей на всех не хватало. Тем не менее он совсем не походил на заурядного алчного обиралу. На нем была красная фетровая феска[34] с длинной и пушистой шелковой кисточкой синего цвета: под узкой белой каемкой ее подкладки из стеганого холста виднелись свежевыбритые синеватые виски. Оливковый цвет лица, черные брови, нос крючком, глаза хищной птицы, пышные усы, подбородок с глубокой, как сабельный шрам, ямоч-

кой — в общем, грек выглядел бы настоящим разбойником, если бы грубость черт не сглаживали любезное обхождение и услужливая улыбка лицедея, часто общающегося с публикой. Костюм его смотрелся весьма прилично: коричневая куртка, расшитая шелковым сутажом[35] того же цвета, кнемиды[36], или гетры, белый жилет с пуговицами в виде ромашек, широкий красный пояс и просторные шаровары со множеством складок.

Грек уже давно наблюдал за баркой, стоявшей на якоре у Луксора. Своим торгашеским носом он чуял, что на столь большом, великолепно оснащенном судне, да еще и с британским флагом на корме, должен находиться очень богатый путешественник, чью жажду знаний можно с выгодой использовать. Подобная персона, понимал делец, не удовольствуется дешевыми статуэтками, покрытыми синей или зеленой глазурью[37], резными скарабеями[38], папирусными эстампами с изображениями иероглифов и прочими поделками египетских ремесленников.

Он следил за перемещениями путешественников по руинам и, зная, что они, после того как удовлетворят первое любопытство, непременно пересекут реку, чтобы посетить царские захоронения, ждал на другом берегу, уверенный, что обдерет их как липку. Грек относился к этим местам, как к своим владениям, и отгонял от них шакалов помельче, намеревавшихся покопаться в могилах.

С обычной для греков проницательностью по внешнему виду лорда Ивендэйла торговец быстро прикинул вероятные доходы его милости и счел, что обманывать не стоит, ибо в данном случае правда принесет больше денег, чем мошенничество. Отказался он и от мысли поводить благородного англичанина по сто раз перерытым местам или предложить начать раскопки там, где уже невозможно что-либо обнаружить, поскольку все интересное он сам давно оттуда извлек и выгодно продал. Аргиропулос[39] (так звали грека) занимался разведкой в тех окраинах долины, куда редко забирались другие, потому что там никто отродясь не находил ничего стоящего. И он твердо знал, что в одном укромном уголке под обломками скал, нагромождение которых казалось случайным, находится с особой тщательностью замаскированный вход в сирингу[40]. Глаза торговца, ясные и зоркие, как у ягнятника-бородача, сидящего на кровле храма, и богатый опыт позволяли ему увидеть то, чего не замечали менее прозорливые охотники. Вот уже два года, как грек сделал свое открытие, но он не позволял себе ни пойти, ни даже бросить взгляд в ту сторону из боязни навести на след расхитителей захоронений.

— Не желает ли ваша милость произвести раскопки? — спросил Аргиропулос на невообразимом международном жаргоне, диковинное звучание и странный синтаксис которого мы не осмеливаемся воспроизвести. Но те, кому доводилось бывать в портах Леванта[41] и прибегать к услугам драго-

манов-полиглотов[42], не знающих толком ни одного языка, без труда смогут его вообразить. К счастью, лорд Ивендэйл и его ученый компаньон успели познакомиться со всеми оборотами, к которым прибегал Аргиропулос. — Я могу предоставить в ваше распоряжение сотню неутомимых феллахов. С помощью курбаши[43] и за хороший бакшиш[44] они ногтями разроют Землю до самого центра. По желанию вашей милости мы могли бы откопать сфинкса[45], расчистить наос[46], открыть вход в гипогеи...

Увидев равнодушие лорда к его заманчивым предложениям и скептическую улыбку, блуждавшую на губах его спутника, Аргиропулос смекнул, что имеет дело с серьезными покупателями, и утвердился в своем желании на сей раз продать находку, за счет которой он надеялся округлить свое состояние и обеспечить приданое дочери.

— Вижу, вы не просто путешественники, а ученые, и рядовые достопримечательности вас не устроят, — продолжал он на английском, уже менее смешанном с греческим, арабским и итальянским. — Я покажу вам гробницу, которая до сих пор ускользала от охотников за сокровищами. Никто о ней не знает, кроме меня. Я заботливо хранил мою тайну для того, кто будет ее достоин.

— И кто дорого за нее заплатит, — с улыбкой заметил лорд.

— Не хочу перечить вашей милости и буду откровенен: я надеюсь выручить за мое открытие хорошую сумму. В этом мире каждый живет своим делом: я извлекаю из земли фараонов[47] и продаю их иностранцам. Судя по всему, фараоны становятся редкостью — на всех не напасешься. Эти изделия пользуются спросом, но они давно не производятся.

— В самом деле, — вмешался ученый, — уже много веков, как колхиты[48], парасхиты[49] и тарисхевты[50] закрыли свою лавочку, а их потомки опустошили Мемнонию[51] — тихий квартал мертвых.

Искоса взглянув на немца в неряшливой одежде, грек рассудил, что в сем капитуле[52] тот не имеет решающего голоса, и продолжал, обращаясь только к англичанину.

— Милорд, тысяча гиней[53] за древнюю гробницу, которую ни одна человеческая рука не тревожила целых три тысячи лет, с тех самых пор как жрецы завалили ее вход камнями, — разве это много? По правде, это вообще даром — может, она скрывает золотые слитки, бриллиантовые и жемчужные ожерелья, серьги с карбункулами, печатки с сапфирами, древние статуэтки из драгоценных металлов, монеты! Выгодное дело!

— Хитрый мошенник! — остановил его Румфиус. — Вы расхваливаете товар, прекрасно зная, что никто ничего подобного в египетских захоронениях не находит[54].

Убедившись, что столкнулся с сильным противником, Аргиропулос прекратил свои игры и снова повернулся к Ивендэйлу:

— Ну что, милорд, подходит вам цена?

— Подходит, — ответил молодой человек. — Тысяча гиней, если гробница никогда не вскрывалась, как вы говорите, и ничего, если там хоть одна песчинка сдвинута с места ломом изыскателя[55].

— Есть еще одно условие, — предусмотрительно уточнил Румфиус. — Мы заберем все, что найдем в гробнице.

— Принимаю, — нимало не смутившись, согласился Аргиропулос. — Ваша милость может сразу готовить банкноты и золото.

— Дорогой господин Румфиус, — обратился лорд Ивендэйл к своему спутнику, — похоже, ваши недавние мечты сбудутся. Сдается, этот забавный малый знает, о чем говорит.

— Да будет на то воля Божья! — Не в силах справиться с пирроновским сомнением[56], ученый пожал плечами, да так, что воротник прошелся вверх и вниз по его ушам. — Ведь греки такие обманщики!.. «Cretæ, mendaces»*, — гласит пословица.

— Нам, вероятно, попался грек не с острова Крит, а с материка, — предположил Ивендэйл, — и я чувствую, что на сей раз он в порядке исключения говорит правду.

Искатель древностей зашагал вперед по-хозяйски легко и уверенно, но на некотором расстоянии от лорда и доктора, как человек хорошо воспитанный и знающий правила приличия.

Вскоре они приблизились к узкому проходу в долину Бибан-эль-Молук. Казалось, будто этот проход в толще гор проложила рука человека, а не природа — вопреки духу пустыни, желавшему сохранить в неприкосновенности тихую обитель смерти.

На островерхих склонах ущелья глаз различал неясные очертания огромных скульптур, полуразрушенных временем, а неровности скал выглядели словно контуры персонажей наполовину стертых ветрами барельефов.

За проходом долина расширялась, открывая картину мрачной скорби.

Со всех сторон виднелись крутые уступы мощных известковых скал: рыхлые, неровные, облупившиеся, растрескавшиеся, запыленные — они умирали под неумолимым солнцем. Скалы напоминали кости, прокаленные на костре, и навевали своими глубокими расселинами смертную тоску; тысячи трещинок молили хотя бы о капельке дождя, не проливающегося здесь никогда. Каменистые склоны вздымались почти вертикально на огромную высоту, и на фоне неба цвета темного, почти черного индиго[57] вырисовывался неровный серовато-белый хребет, похожий на развалины гигантской крепостной стены с выщербленными зубцами.

---

* «Лгут критяне»[58] (*лат.*).

Одну сторону долины захоронений лучи солнца выжгли добела, а другую заливал характерный для жарких стран пронзительно-синий цвет, который жителям северных стран кажется неправдоподобным, когда они видят его на живописных полотнах, и который выделяется так четко, как тени на архитектурном плане.

Долина уходила вдаль, то изгибаясь, то сужаясь так, что гряды холмов раздвоенного хребта чуть ли не смыкались. Благодаря особенности местного климата, полностью лишенная влаги атмосфера была абсолютно прозрачна и потому лишала этот театр скорби воздушной перспективы:[59] даже на заднем плане ясно различались мельчайшие подробности пейзажа, удаленность которых угадывалась только по ничтожности их размеров. Жестокая природа словно выставляла напоказ убогость и тоску этой изможденной земли, такой же мертвой, как заключенные в ней мертвецы.

На солнечную сторону ущелья огненными каскадами низвергался ослепительный, словно расплавленный металл, свет. Каждая поверхность, превращенная в пылающее зеркало, вновь нагревала его и направляла вверх. К отраженному свету и зною присоединялся жар лившихся с неба лучей, вместе они раскаляли воздух, будто в огромной домне, и бедняга доктор не успевал вытирать потное лицо насквозь мокрым клетчатым платком.

Во всей долине не отыскалось бы и щепотки плодородной земли; ни одной травинке, вьюнку, колючке, клочку мха не удалось нарушить однообразно-белесый, выжженный пейзаж. Трещины и углубления не хранили ни капли влаги, и самому крохотному ползучему растению не за что было зацепиться своим тонким ворсистым корешком. Казалось, груды шлака — это остатки горного хребта, сгоревшего в огромном планетарном пожаре в эпоху космических катастроф; и дабы усилить сходство, широкие черные полосы, похожие на шрамы от ожогов, расчерчивали крутые меловые откосы.

В этом запустении царила полная тишина. Ни одно движение жизни не тревожило его: ни трепет крыльев, ни жужжание насекомых, ни шорох ящериц или змей; даже цикада, подруга знойных пустынь, не извлекала звуков из своей хрупкой цимбалы.

Мельчайшая слюдяная пыль, похожая на дробленую крупу, заменяла почву. Там и тут попадались кучи камней, сложенные руками давно ушедших поколений, которые упорно выгрызали в горах вечное пристанище для мертвых. Измельченные примитивными орудиями недра образовали новые холмы — неровные нагромождения осколков известняка, которые теперь уже походили на творения природы.

В скалах кое-где зияли квадратные черные отверстия, на подступах к которым в беспорядке валялись каменные обломки. То были входы в усы-

пальницы древних фиванских царей. Эти входы обрамляли по бокам столбы, украшенные фигурками и иероглифами, а сверху — перемычка с таинственными картушами, где различались священный скарабей в большом желтом диске, солнечное божество с головой овна[60] и коленопреклоненные Исида и Нефтида[61].

Аргиропулос, не останавливаясь, повел своих спутников дальше по подобию уступа, который издалека казался небольшой царапиной на склоне горы. В нескольких местах его пересекали потоки осыпей, однако грек уверенно продвигался к узкому карнизу на отвесной стене, где случайное на первый взгляд расположение камней имело, если хорошо присмотреться, определенный порядок.

Когда лорд, привыкший к физическим упражнениям, и ученый, давно утративший силу и ловкость, докарабкались до места, Аргиропулос палкой указал на огромный камень и с торжествующим видом произнес:

— Здесь!

Затем он хлопнул в ладоши — так на Востоке вызывают слуг, — и тотчас изо всех щелей выскочили исхудалые и оборванные феллахи. Взбираясь по крутой тропинке, словно полчище черных муравьев, они тащили в бронзовых от загара руках рычаги, мотыги, кувалды, лестницы и другие необходимые инструменты и приспособления. Те, кому не хватало места на узкой площадке, занятой греком, лордом Ивендэйлом и доктором Румфиусом, цеплялись руками и ногами за шероховатости скалы.

Грек подал знак трем наиболее крепким феллахам, чтобы те вставили ломы под самый большой камень. Когда они всем весом налегли на железные рукоятки, жилы на их тощих руках натянулись как канаты. Наконец глыба сдвинулась и зашаталась, будто пьяная. Общими усилиями Аргиропулос, лорд Ивендэйл, Румфиус и арабы, поместившиеся на уступе, подтолкнули ее, и она, тяжело подпрыгивая, покатилась вниз. Затем по очереди удалили два других камня меньших размеров, и тогда стало ясно, что надежды грека оправдались: все увидели вход в гробницу, несомненно избежавшую посягательств искателей сокровищ.

Незваные гости стояли перед чем-то вроде кубического портика, выдолбленного в твердой породе; слева и справа его свод подпирали по два одинаковых столба, увенчанных капителями в виде коровьих голов с кривыми, полумесяцем, рогами[62].

Вход обрамляли длинные панно, испещренные символическими изображениями: в центре желтого диска рядом со скарабеем — знаком непрерывного возрождения находился бог с головой овна — символ заходящего солнца. По бокам от диска Исида и Нефтида — олицетворения начала и конца — сидели в традиционной египетской позе: одна нога подвернута, другая согнута в колене, поднятом до талии; руки в знак мистического изум-

ления вытянуты вперед ладонями вверх; чресла стянуты узкими повязками с поясами, концы которых ниспадают почти до земли.

Стена из щебня и сырцового кирпича быстро обвалилась под ударами кирки, и за ней открылась служившая дверью в подземелье каменная плита с большой глиняной печатью.

Доктор-немец, хорошо знакомый с иероглифами, без труда прочел на ней имя присматривавшего за гробницами колхита, который навеки затворил эту пещеру и один мог разыскать на карте долины смерти, хранившейся в коллегии жрецов ее тайное расположение.

— Я уже верю, — светясь от счастья, признался ученый муж, — что мы накрыли сороку-воровку прямо в гнезде[63], и прошу прощения за мой нелестный отзыв об этом славном греке.

— Возможно, мы рано радуемся, — возразил Ивендэйл, — и нас ждет то же разочарование, что и Бельцони. Он думал, что первым вошел в гробницу Менефты Сети[64], а, пройдя по лабиринту коридоров, комнат и шахт, обнаружил пустой саркофаг с разбитой крышкой, так как искатели сокровищ проникли в гробницу, пробурив ход с другой стороны.

— О нет! — воскликнул ученый. — Стены здесь слишком толстые и подземелье слишком удалено от других, эти проклятые кроты не могли прогрызть скалу и забраться внутрь.

Пока они так беседовали, рабочие, подгоняемые Аргиропулосом, принялись за большую каменную плиту, прикрывавшую вход в захоронение. Расчистив ее основание, чтобы вставить ломы (лорд приказал ничего не разбивать), они обнаружили в песке маленькие, длиной в несколько пальцев, покрытые голубой и зеленой глазурью глиняные фигурки превосходной работы. То были статуэтки, принесенные в дар родными и друзьями усопшего, подобно тому как мы возлагаем на могилы цветочные венки. Но наши цветы быстро увядают, а свидетельства скорби древних обнаруживаются нетронутыми и через три тысячи лет, ибо Египет производит только вечное.

Когда каменную дверь сдвинули и она впервые за тридцать пять веков дала дорогу дневному свету, из отверстия вырвался жаркий, как из плавильни, ветер — будто после долгой спячки горячие легкие пещеры испустили вздох облегчения. Свет, как бы нехотя, проник в подземный коридор и яркими бликами оживил пестрые иероглифы, высеченные на стенах ровными перпендикулярными столбцами, упиравшимися в голубой плинтус. У порога гробницы, словно страж вечности, замерла терракотового цвета фигура бога с головой ястреба. Увенчанное пшентом божество держало крылатый шар[65].

Феллахи зажгли факелы[66] и первыми ступили внутрь. Горящая смола трещала и чадила в душном разреженном воздухе, который тысячи лет томился под раскаленной толщей горы в лабиринте гипогеев. Румфиус тя-

жело дышал и истекал потом. Даже у невозмутимого Ивендэйла лицо покраснело, а на висках выступили капли испарины. Что касается грека, то его уже давно иссушили огненные ветры пустыни и он потел не сильнее мумии.

Проход вел прямо к сердцу горы, вдоль известковой жилы, безупречно ровной и чистой.

В конце его путешественники наткнулись на вторую каменную дверь; так же, как и первая, она была запечатана глиняной печатью и увенчана шаром с распростертыми крыльями. Все свидетельствовало о том, что гробница не разорена и что за этой дверью находится еще один проход, ведущий в чрево горы.

Жара все усиливалась. Лорд снял белую куртку, а потом и жилет, доктор избавился от черного сюртука и рубашки. Аргиропулос, услышав их тяжелое дыхание, прошептал что-то на ухо одному из феллахов; тот сбегал к выходу и вернулся с двумя большими губками, пропитанными холодной водой. Оба путешественника по совету грека приложили их ко рту, чтобы через влажные поры вдыхать более прохладный воздух — так делают в русских банях, когда пар становится нестерпимо обжигающим.

Феллахи навалились на дверь, и вскоре та подалась, открыв вырубленную в скале лестницу с круто уходящими вниз ступенями.

На стенах, по обе стороны от лестницы на зеленой полосе, очерченной голубой линией, тянулась цепочка символических фигур, таких ярких и свежих красок, будто кисть художника расписала их только вчера;[67] при свете факелов эти фигуры, словно призраки, оживали на мгновение и тут же снова растворялись во мраке.

Под полосой фресок сверху вниз, как в китайской письменности, были нанесены иероглифы[68], разделенные на столбцы выбитыми в стене бороздками. Причудливые знаки, казалось, приглашали пытливый ум проникнуть в их таинственный смысл.

Свободные от иератических знаков места[69] занимали изображения шакала, лежащего на животе, с вытянутыми лапами и поднятыми ушами[70], и коленопреклоненной фигуры, увенчанной митрой, с обручем в вытянутой руке. Они, наподобие часовых, стояли слева и справа от двери, над которой две женщины в узких набедренных повязках одной рукой поддерживали картуши[71], а другую, покрытую перьями, распростерли, как крыло.

— Ну и ну! — сказал доктор, переведя дух в конце лестницы и увидев, что шахте нет конца. — Нам что же, придется спускаться до центра Земли? Жара такая, точно мы недалеко от преисподней.

— Вне всякого сомнения, — подхватил лорд Ивендэйл, — мы движемся вдоль известкового слоя, который в соответствии с законами геологии должен идти еще глубже.

Дальше вниз с большим уклоном уходила ступенчатая галерея. Ее стены были также покрыты росписью, на которой можно было с трудом различить аллегорические сцены. Пояснением к ним, по-видимому, служили иероглифы, расположенные ниже, словно подписи под фотографиями. Этот фриз[72] тянулся по всей длине прохода, а в глубине его виднелись фигурки, преклоненные перед священным скарабеем и символическим змеем[73], окрашенным в лазурный цвет.

Вдруг первый феллах, который нес факел, резко отскочил назад.

Путь прервался — в земле зияла черная пасть квадратного колодца.

— Тут яма, хозяин, — сообщил феллах Аргиропулосу. — Что делать?

Грек взял протянутый факел, встряхнул, чтобы он лучше разгорелся, бросил вниз и осторожно заглянул в колодец.

Факел падал, шипя и вращаясь. Скоро послышался глухой удар, затрещали искры, поднялся клуб дыма, затем пламя вновь ярко и живо разгорелось, и зев колодца засиял во мраке, как кровавый глаз циклопа.

— Не слишком хитроумно, — заметил лорд, — но лабиринты с каменными ловушками должны были умерить рвение воров и ученых.

— Нет, ни тех, ни других этим не остановишь, — возразил доктор, — ведь они ищут золото и истину — две самые драгоценные вещи на свете.

— Принесите канат с узлами! — крикнул Аргиропулос арабам. — Мы осмотрим и простучим стены колодца. Где-то там наверняка есть продолжение прохода.

Один конец каната закинули в колодец, а за другой для противовеса взялись восемь или десять человек.

С ловкостью обезьяны или профессионального гимнаста Аргиропулос спустился футов на пятнадцать[74] по болтающемуся канату, перехватывая руками узлы и постукивая каблуками по стенам.

Скала везде отзывалась одинаково глухо, Аргиропулос соскользнул на дно колодца, ударил по нему своим канджаром[75] и услышал все тот же глухой звук.

Ивендэйл и Румфиус, разгоряченные тревожным любопытством, стояли в опасной близости от края колодца и со страстным нетерпением следили за действиями грека.

— Эй, наверху, держите крепче! — крикнул наконец уставший от бесполезных попыток грек и вцепился в веревку двумя руками, чтобы выбраться наверх.

Тень Аргиропулоса, освещенная снизу факелом, который продолжал гореть на дне колодца, падала на потолок в виде силуэта неведомой безобразной птицы.

Смуглое лицо грека выражало явное разочарование, и, кусая губы, он воскликнул:

— Никаких признаков прохода! И все-таки галерея не может здесь кончаться.

— При условии, — возразил Румфиус, — что египтянин, для которого сооружалась эта могила, не умер в каком-нибудь захолустном номе[76], в путешествии или на войне и работы не были прерваны, чему есть примеры.

— Будем надеяться, что, продолжив поиски, мы наткнемся на какой-нибудь секретный выход отсюда, — сказал лорд Ивендэйл. — Если нет, то попробуем найти боковое ответвление.

— Эти проклятые египтяне старательно прятали входы в свои погребальные норы! Не знали, что и придумать — лишь бы обмануть бедных людей! Представляю, как они насмехались над растерянными физиономиями будущих археологов, — бормотал Аргиропулос.

Зорким взором ночной птицы грек осмотрел все стены маленького помещения, в котором находился колодец. Он не увидел ничего, кроме обычных участников психостасии:[77] высшего судию Осириса в ритуальной позе на троне, с посохом[78] в одной руке и бичом — в другой, да богиню правосудия и истины, приведшую душу покойного на суд в Аменти[79].

Внезапно он вздрогнул и быстро обернулся: богатый опыт раскопок напомнил ему один похожий случай, а желание получить тысячу гиней весьма обострило его умственные способности. Он взял из рук феллаха кирку и принялся, медленно продвигаясь, ее тупым концом наносить удары по стенам, рискуя попасть по иероглифам, разбить клюв ястреба или сломать надкрылье священного скарабея.

И наконец, стена отозвалась звоном.

Из груди грека вырвался торжествующий крик, а глаза сверкнули огнем.

Ученый и лорд захлопали в ладоши.

— Ломайте! — приказал Аргиропулос, к которому вернулось обычное хладнокровие.

Вскоре образовалась брешь, достаточная, чтобы в нее мог пролезть человек. За ней открылась галерея, прорубленная в толще горы. Она огибала колодец — ловушку для осквернителей — и вела в квадратный зал; его голубой потолок покоился на четырех массивных столбах, украшенных меднокожими фигурами в белых набедренных повязках — миниатюрами, которые в египетском искусстве часто представляют тело анфас, а голову — в профиль[80].

Этот зал переходил в другой, с чуть более высоким потолком, подпираемым только двумя столбами. Различные сцены — таинственная бари[81], священный бык Апис[82], уносящий мумию в сторону заходящего солнца, верховный суд и взвешивание поступков умершего на весах, жертвоприношение загробным божествам — украшали столбы и стены.

Здесь все изображения составляли неровный барельеф, высеченный уверенными штрихами, но они не были раскрашены — кисть живописца не завершила и не дополнила творение скульптора. Тщательность и тонкость работы свидетельствовали о высоком положении человека, гробницу которого хотели скрыть от любопытных глаз.

Спустя несколько минут, отданных созерцанию затейливой резьбы, сделанной в лучших традициях прекрасного стиля классической эпохи Египта, вдруг обнаружилось, что в зале нет другого выхода и он представляет собой нечто вроде тупика. Воздух становился все более удушливым. Факелы еле горели, а их чад скапливался под потолком. Грек лез из кожи вон, желая исполнить обещанное, но все было впустую. Снова обследовали стены — безрезультатно: монолитная толстая гора повсюду отвечала глухим эхом — никаких признаков двери, прохода или какого-нибудь отверстия!

Лорд был заметно разочарован, а у обессилевшего ученого буквально руки опустились. Аргиропулос, боясь лишиться двадцати пяти тысяч франков, изображал жестокое отчаяние. И все-таки приходилось отступать, так как жара становилась смертельной в прямом смысле слова.

Все вернулись в предыдущий зал, и там грек, который не мог смириться со зрелищем улетающей, как дым, мечты о золоте, кропотливо и внимательно обследовал столбы, дабы удостовериться, что под ними не прячется потайной ход, который открывается, если сдвинуть их с места. От безысходности он путал реальную египетскую архитектуру с волшебными замками из арабских сказок.

Но столбы составляли единое целое с вырубленным в горе залом, понадобилась бы мина, чтобы их поколебать.

Все надежды рухнули!

— И все-таки, — молвил Румфиус, — не могли же этот лабиринт создать ради забавы. Где-то должен быть ход, похожий на тот, что мы нашли рядом с колодцем. Покойный, без сомнения, опасался, что его побеспокоят назойливые люди, и постарался затаиться, но терпение и настойчивость открывают любые двери. Может, здесь есть ловко скрытая каменная плита, края которой не видны под слоем пыли, а за нею спрятан спуск, ведущий в погребальную камеру.

— Вы правы, дорогой доктор, — согласился Ивендэйл, — проклятые египтяне умели соединять камни, как стыки на английских люках[83]. Надо искать.

Предположение ученого показалось греку разумным, и он вместе со своими феллахами начал простукивать каблуками все углы и закоулки зала.

Наконец, неподалеку от третьего столба, раздался неясный отзвук. Искушенный слух Аргиропулоса тут же уловил его. Грек бросился на колени, чтобы осмотреть место, и принялся стирать брошенным ему одним из арабов обрывком бурнуса невидимую пыль, измельченную тридцатью пятью веками мрака и тишины. Черная черта, тонкая и отчетливая, как линия, проведенная по линейке на чертеже архитектора, обозначила на полу контуры плиты вытянутой формы.

— Я же говорил, — торжествующе воскликнул ученый, — подземелье не может здесь заканчиваться!

— По правде говоря, мне совестно, — неожиданно и по-британски флегматично произнес лорд Ивендэйл. — Совестно тревожить последний сон неизвестного бедняги, который надеялся мирно и безмятежно отдыхать до скончания веков. Хозяин сей обители прекрасно обошелся бы без нашего визита.

— Тем более что для знакомства по всем правилам этикета вам не хватает третьего лица[84], — ответил доктор. — Но уверяю вас, милорд, я достаточно хорошо знаю эпоху фараонов, чтобы представить вас великородному обитателю подземного дворца.

Рычаги проскользнули в узкую щель, и после некоторых усилий плита сдвинулась и приподнялась.

Лестница с высокими, крутыми ступенями убегала в темноту из-под ног нетерпеливых искателей, которые гурьбой ринулись вниз. За лестницей шла покатая галерея, расцвеченная по обеим сторонам фигурами и иероглифами. В конце ее оказалось еще несколько ступенек, ведущих в коридор, похожий на нечто вроде вестибюля в том же стиле, что и первый зал, но значительно больших размеров, с шестью колоннами, вырубленными в горной породе. Орнамент здесь был еще роскошнее, а потолок желтого цвета был сплошь покрыт обычными для гробниц сюжетами.

Справа и слева в скале открывались два маленьких склепа, заполненных погребальными статуэтками[85] из глины, бронзы и смоковницы.

— Эта зала должна предшествовать той, в которой находится саркофаг! — воскликнул Румфиус. Его серые глаза искрились от радости из-под сдвинутых на лоб очков.

— До сей минуты, — сказал Ивендэйл, — грек выполнял свои обещания: мы явно первые люди, проникшие сюда с тех пор, как покойный, кем бы он ни был, ушел в вечность и неизвестность.

— О, это, должно быть, могущественная персона, — с воодушевлением промолвил доктор, — царь или по меньшей мере царский сын. Я вам скажу это позднее, когда прочту надпись на его саркофаге. А теперь пройдем в самую прекрасную и значительную залу, которую египтяне называли Золотой[86].

Лорд Ивендэйл на несколько шагов опережал ученого, менее проворного или, может быть, из почтительности желавшего оставить честь первооткрывателя за англичанином.

Не успев переступить через порог, лорд нагнулся, как будто заметил нечто неожиданное.

Приученный сдерживать чувства, так как нет ничего более противного правилам истинного дендизма, чем обнаружить собственное изумление или восхищение, он, однако, не удержался от протяжного: «О-у», произнесенного с характерной английской интонацией.

Что же вырвало возглас из груди самого великолепного джентльмена трех соединенных королевств?

На тонком слое серой пыли, покрывавшей каменный пол, ясно вырисовывался след пяти пальцев и пятки — отпечаток человеческой ступни[87], ступни последнего жреца или последнего друга, который вышел отсюда за пятнадцать столетий до Рождества Христа, воздав умершему последние почести. Пыль, такая же вечная в Египте, как и гранит, запечатлела этот оттиск и хранила более тридцати веков. Точно так же затвердевший после Всемирного потопа ил хранит следы некогда месивших его лап животных.

— Глядите, — указал Румфиусу Ивендэйл, — след направлен к выходу из подземелья. В какой сиринге Ливийского хребта покоится пропитанное смолой тело[88], оставившее этот отпечаток?

— Кто знает — отозвался ученый. — В любом случае сей легкий, как дуновение, оттиск просуществовал дольше, чем цивилизации и империи, религии и памятники, считавшиеся несокрушимыми. Прах Александра, быть может, служит затычкой пивной бочки, по словам Гамлета[89], а след этого египтянина до сей поры живет на пороге гробницы!

Подстрекаемые любопытством, не оставлявшим времени на долгие разглагольствования, лорд и доктор проникли в зал, осторожно переступив через чудесный отпечаток.

Войдя внутрь, бесстрастный Ивендэйл испытал странное ощущение.

Ему показалось, что, как говорил Шекспир, колесо времени повернуло вспять[90]. Понятие современности стерлось: он забыл и Великобританию, и свое имя, записанное в золотой книге дворянства, и замки Линкольншира[91], и особняки в Вест-Энде, и Гайд-парк[92], и Пикадилли[93], и приемы у королевы, и Яхт-клуб, — забыл все, что составляло его привычную жизнь. Невидимая рука перевернула песочные часы вечности, и столетия, песчинка за песчинкой, снова потекли, как минуты, в пустоту и мрак. История как бы не состоялась: жив Моисей[94], царствует фараон[95], а он, британский подданный, испытывает неловкость оттого, что на нем нет головного убо-

ра с рифлеными лопастями[96], нагрудника с эмалями и узкой повязки, крепко затянутой на бедрах, – единственного подходящего костюма для того, чтобы предстать перед царственной мумией. Он нарушил покой защищенного с такою заботой дворца Смерти и, хотя в самой зале не было ровно ничего зловещего, чувствовал своего рода религиозный ужас. Нарушение неприкосновенности захоронения показалось святотатством, и лорду подумалось: «А вдруг фараон восстанет с ложа и ударит меня жезлом?» На мгновение Ивендэйлу захотелось опустить наполовину приподнятый саван, скрывавший труп давно умершей цивилизации, но доктор, в пылу научного энтузиазма не помышлявший ни о чем подобном, ликующе вскрикнул:

– Милорд, милорд, саркофаг цел и невредим!

Эта фраза вернула англичанина к действительности. Со скоростью мысли он перенесся обратно, из глубины трех с половиной тысяч лет:

– В самом деле, дорогой доктор, невредим?

– Неслыханное счастье! Чудо! Удача! Бесценная находка! – Доктор без передышки изливал свою радость знатока.

Аргиропулос, глядя на воодушевление доктора, почувствовал лишь одно угрызение, доступное его совести: он пожалел, что запросил всего-навсего двадцать пять тысяч франков. «Дурак! – мысленно обругал он себя. – Другого такого случая не выпадет. Этот лорд ограбил меня». И он решил впредь быть осмотрительнее.

Феллахи зажгли все факелы, чтобы иностранцы могли насладиться великолепием и необычностью зрелища. Предыдущие галереи и залы с ровными потолками были высотой не более восьми – десяти футов, а это помещение имело совсем другие размеры. Лорд Ивендэйл и Румфиус замерли в ошеломлении и восхищении, хотя уже не раз созерцали роскошь египетского погребального искусства.

Освещенный Золотой зал засиял, и, возможно, впервые его росписи заиграли во всей своей красе. Багровые, голубые, зеленые, белые – с девственной свежестью и невиданной чистотой они блестели на покрытом чем-то вроде лака золотистом фоне и ослепляли так, что глаза не сразу различали фигуры, иероглифы и составленные из них сюжеты.

На первый взгляд казалось, что это огромный роскошный ковер. Свод в тридцать футов высотой являл своего рода лазурный велариум[97], окаймленный длинными желтыми пальметтами[98]. На стенах переливались всеми красками царские картуши и символический шар[99] с крыльями неимоверного размаха. Исида и Нефтида распростерли руки-крылья с бахромой из перьев. Уреи[100] раздули синие капюшоны, скарабеи попытались развернуть свои надкрылья, боги с головами животных, как будто в них снова вдохнули жизнь, приподняли длинные шакальи уши, принялись то-

чить ястребиные клювы, сморщили морды бабуинов[101], разинули змеиные пасти, втянули в плечи птичьи шеи. Степенные фигуры с угловатыми движениями потащили мистические священные ладьи, полуобнаженные гребцы пустились в путь по симметричным волнам. Коленопреклоненные плакальщицы, в знак печали положив руки на свои голубые шевелюры, повернулись к катафалкам[102], в то время как жрецы с бритыми головами и леопардовыми шкурами на плечах курили над лицами обожествленных умерших фимиам, покачивая кадильницами в форме человеческой руки, держащей маленький кубок. Другие персонажи подносили загробным духам цветы и бутоны лотосов[103], луковичные растения, домашнюю птицу, мясо антилопы и кувшины с напитками[104]. Безглавые боги правосудия сопровождали души к Осирису: руки его были тесно прижаты к телу, как в смирительной рубашке. Ему помогали сидевшие на корточках в два ряда сорок два судьи Аменти с головами, позаимствованными во всех зоологических царствах и увенчанными страусовыми перьями. Выдолбленная в известняке кайма обрамляла все эти изображения; пестрые и яркие, они, несмотря на неподвижность, казались живыми благодаря таинственной силе египетского искусства, стесненного жреческим уставом[105] и напоминающего человека, который с кляпом во рту силится поведать свои тайны.

Посреди зала возвышался грандиозный саркофаг[106], вырезанный из огромного куска черного базальта; его закрывала крышка того же материала в форме ослиной спины. Со всех четырех сторон этот монолит[107] был покрыт персонажами и иероглифами, так же тщательно высеченными, как инталия[108] на перстне из драгоценного камня, хотя египтяне не знали железа[109], а базальт столь прочен, что притупляет даже самую твердую сталь. Невозможно вообразить технологию, с помощью которой этот удивительный народ писал на порфире[110] и граните, словно стилем[111] по восковой дощечке.

По углам саркофага высились четыре вазы из восточного алебастра[112] самых изысканных и безупречных очертаний; их крышки представляли скульптурные изваяния человеческой головы Амсета, павианьей — Хапи, шакальей — Сумаутфа и ястребиной — Кебсбнифа[113]. Это были сосуды с внутренностями мумии, скрытой в саркофаге. В изголовье гробницы изображение Осириса с заплетенной в косичку бородой, казалось, охраняло сон покойника. Две раскрашенные статуи женщин высились справа и слева. Одной рукой они поддерживали квадратный ларец на голове, а другой, согнутой в локте, сжимали сосуд с жертвенными возлияниями. Одна из женщин была в простой, обтягивающей бедра белой юбке на скрещенных бретелях; другая — в более богатом наряде, похожем на узкое платье, покрытое, как чешуей, красными и зелеными ракушками.

Рядом с первой располагались три глиняных кувшина, некогда наполненных простой нильской водой (вода испарилась, оставив лишь осадок), и блюдо с засохшим тестом.

Рядом со второй — два маленьких кораблика, похожих на модели судов, которые изготавливают в морских портах, воспроизводили до мельчайших деталей ладью, перевозившую тела из Диосполиса в Мемнонию, и символический корабль, уносивший души в Западные края. Ничто не было забыто: ни мачты, ни руль — длинное весло на корме, ни лоцман, ни гребцы, ни мумия под наосом[114] на ложе с львиными лапами, окруженная плакальщицами, ни аллегорические фигуры священнодействующих загробных богов. Яркие краски покрывали лодки и их пассажиров, а с обоих бортов носовой части и кормы, приподнятых в форме клюва, глядели большие глаза Осириса, удлиненные сурьмой[115]. Разбросанные там и тут кости и череп быка свидетельствовали, что здесь принесли жертву, дабы отвлечь на нее несчастья и неудачи, которые могут помешать отдыху умершего.

Прямо на саркофаге стояли шкатулки, расписанные пестрыми иероглифами, а на тростниковых столах сохранились похоронные подношения — все в этом дворце Смерти осталось так, как в тот день, когда тщательно завернутая в полотно и помещенная в два гроба, ящик и саркофаг мумия возлегла на базальтовое ложе. Могильный червь ловко прокладывает путь сквозь любые плотно закрытые гробы, но поворачивает назад, натолкнувшись на острый запах смолы и аромат благовоний.

— Прикажете открыть саркофаг? — спросил Аргиропулос, подождав, пока лорд Ивендэйл и Румфиус налюбуются великолепием Золотого зала.

— Конечно, — ответил лорд, — но осторожно: не обломайте края крышки, когда будете вставлять рычаги, я хочу извлечь этот саркофаг на свет божий и подарить его Британскому музею[116].

Чтобы сдвинуть с места верхнюю плиту, под нее с осторожностью вставили деревянные клинья, и благодаря общим усилиям через несколько минут огромный камень сдвинулся и соскользнул на заранее подложенные брусья. В глубине саркофага показался первый герметично закрытый гроб — ящик с симметричными рисунками, позолоченными ромбами, клетками, пальмовыми листьями и полосками иероглифов. Его крышку также сняли, и Румфиус испустил изумленный крик.

— Женщина! Это женщина! — воскликнул он, определив пол мумии по форме гроба и по отсутствию бородки Осириса[117].

Грек, казалось, тоже был поражен. Опыт подсказывал ему, сколь исключительна подобная находка. Долина Бибан-эль-Молук — это Сен-Дени[118] древних Фив: здесь хоронили только царей. Некрополь цариц[119] рас-

полагался дальше, на другой стороне горы, и их гробницы были значительно проще и обыкновенно состояли из двух-трех коридоров и одной-двух комнат. На Востоке женщины всегда ставились ниже мужчин, даже после смерти. Бóльшая часть женских захоронений, разграбленных еще в давние времена, служила вместилищем уродливых, грубо забальзамированных мумий, почерневших и раздувшихся, будто от проказы или слоновой болезни. Благодаря какой случайности, какому чуду, какой подмене женщина заняла царский саркофаг посреди склепа-дворца, достойного самого выдающегося и самого могущественного из фараонов?

— Это, — обратился доктор к Ивендэйлу, — опрокидывает все мои представления, расходится со всеми теориями и утвердившимися понятиями о египетских погребальных ритуалах, которые с величайшей точностью соблюдались на протяжении тысячелетий. Мы прикоснулись, без сомнения, к какой-то забытой и таинственной странице истории. Женщина взошла на трон фараонов и управляла Египтом. Звали ее Таосер, если верить надписям, выгравированным поверх первоначальной чеканки. Или она узурпировала гробницу, так же как и трон, или же, возможно, кто-то другой, чье имя история не сохранила, увековечил ее честолюбие.

— Никто, кроме вас, не в силах ответить на столь трудный вопрос, — заметил лорд. — Мы перенесем на нашу лодку сей полный секретов сундук. Вы сможете покопаться в нем в свое удовольствие и разгадать загадку, которую задают нам ястребы, скарабеи, коленопреклоненные фигуры, волнистые линии, крылатые уреи и все остальные иероглифы, ибо вы читаете их так же бегло, как великий Шампольон.

Под руководством Аргиропулоса феллахи подняли на плечи огромный ящик, и мумия повторила в обратном направлении путь, который она проделала во времена Моисея на позолоченной и расписной колеснице, возглавлявшей длинную процессию. Ее погрузили на сандал, который ранее доставил путешественников в Долину Царей, и вскоре она прибыла на барку, поджидавшую их у другого берега Нила. Мумию разместили в каюте, очень похожей на наос погребальной ладьи, ибо в Египте формы со временем почти не меняются.

Разложив все найденные в гробнице предметы, Аргиропулос в почтительном ожидании замер на пороге каюты. Лорд Ивендэйл понял его и приказал камердинеру отсчитать двадцать пять тысяч франков.

Открытый ящик лежал на брусьях посреди каюты, сверкая так, будто его блестящий орнамент закончили только вчера, внутри под несколькими оболочками покоилась плотно завернутая мумия.

Никогда Древний Египет не пеленал свое дитя, готовя его для вечного сна, с такою тщательностью. Хотя ни единая форма не выступала у этого Гермеса, заключенного в искусный кокон[120], из которого выглядывали

только плечи и голова, под тугим покровом угадывалось молодое, изящно сложенное тело. Позолоченная маска — чуть раскосые глаза с веками, нарисованными черной краской, и эмалевыми белка́ми, придававшими им блеск и живость; любовно вырезанные крылья носа; округлые скулы; губы, приоткрывшиеся в не поддающейся описанию улыбке сфинкса;[121] маленький подбородок необычайно нежных очертаний — представляла чистейший образец египетского идеала, но тысячи мелких характерных деталей говорили, что это портрет, а не фантазия художника. Множество косичек, заплетенных шнурочками, чередуясь с гладкими прядями, пышным каскадом окружали маску. Голову обвивал стебель лотоса: он начинался на затылке и распускал свой лазурный цветок на матовом золоте лба, вкупе с погребальным флаконом[122] дополняя эту роскошную и вместе с тем изысканную прическу.

Широкий нагрудник из разноцветных эмалей, скрепленных золотыми звеньями, обхватывал шею и спускался вниз несколькими рядами, оставляя на виду две золотые чаши юной груди.

Чуть ниже священная птица зловещих очертаний с головой овна несла между зеленых рогов красный круг заходящего солнца. Птицу поддерживали две змеи с пшентом на голове и раздутыми капюшонами — рисунок, исполненный глубокого символического смысла. Еще ниже, на участках, свободных от ярко раскрашенных лент, которые обвязывали тело мумии крест-накрест, ястреб Фре[123] с короной в виде шара, широко раскрытыми крыльями, телом, покрытым перьями, словно черепицей, и распустившимся веером хвостом, сжимал в когтях эмблему бессмертия — таинственный тау[124]. Боги загробного мира с зелеными мордами обезьян и шакалов, торжественно, будто жрецы, вздымали бич, посох и жезл. Глаз Осириса, обведенный сурьмой, горел красным зрачком. Небесные кобры, раздувая капюшоны, обвивали священные диски. Символические фигуры поднимали напоминавшие жалюзи руки в длинных перьях. Обнаженные по пояс и затянутые в узкие юбки богиня начала и богиня конца с волосами, усыпанными голубой пудрой, по-египетски преклонили колена на зеленые и красные подушки с пышными кистями.

Иероглифы, изображенные на длинной, спускавшейся от пояса до ступней мумии ленте, наверняка хранили заклинания похоронного ритуала, описание достоинств умершей или ее титулы — эту задачу Румфиус пообещал себе разрешить позже.

Стиль рисунков, смелость штриха, сияние красок указывали опытному взгляду на их несомненную принадлежность к периоду расцвета египетского искусства[125].

Когда лорд и ученый вдоволь насмотрелись на первый гроб, из ящика вынули его крышку[126] и прислонили к стене каюты.

То было странное зрелище — стоявшая вертикально крышка с золотой маской напоминала призрак во плоти, который явился на этот свет после многовекового покоя на базальтовом ложе смерти по вине людей, обуреваемых неутолимой жаждой знаний. Душа покойной, рассчитывавшей на вечный отдых и тщательно позаботившейся о защите своих останков, где бы она ни пребывала, должна была возмутиться

Чтобы разделить на две части следующую оболочку мумии, Румфиус вооружился молотком и зубилом. Он стал похож на одного из загробных божеств с головами животных, которые на фресках подземелий толпятся вокруг мертвых, чтобы выполнить некий ужасный таинственный обряд. Лорд Ивендэйл, внимательный и спокойный, напоминал своим благородным профилем божественного Осириса, ожидающего душу на суд, и, если продолжить сравнение, его стек[127] выглядел как жезл.

Эта операция заняла много времени, поскольку доктор не хотел повредить позолоту. Наконец переложенный на пол гроб развалился надвое[128], будто раковина, и показалась мумия в полном блеске посмертного наряда, столь кокетливого, словно она собиралась обольстить духов подземного царства.

Слабый и нежный аромат благовоний из кедровой живицы[129], сандалового порошка[130], мирры[131] и коричника[132] распространился по каюте, ибо тело не было пропитано черной смолой, которая превращала в камень трупы простых смертных. Казалось, древние бальзамировщики применили все свое искусство, дабы уберечь драгоценные останки[133].

Голову мумии окутывали узкие ленты тонкого льняного полотна, под которыми расплывчато проступали черты лица. Бальзамы, которыми были пропитаны эти ленты, окрасили их в красивый золотистый цвет. Сетка из тонких зеленых стеклянных трубочек, похожих на бисер, которым вышивают испанские юбки[134], скрепленная в местах переплетения маленькими золотыми бусинками, покрывала все тело до самых ног и образовывала восхитительный саван, достойный царицы. Симметрично расположенные статуэтки четырех богов Аменти[135] из чеканного золота сверкали у верхнего края сетки, а снизу она заканчивалась бахромой с орнаментом на редкость тонкого вкуса. Между фигурками богов загробного мира лежала золотая пластинка, на которой расправил свои длинные позолоченные надкрылья лазуритовый[136] скарабей.

Голова мумии покоилась на дорогом зеркале из полированного металла, словно душе хотели дать возможность любоваться красотой усопшей, пока тело будет спать. Рядом с зеркалом стояла керамическая шкатулка безупречной работы, а в ней пряталось ожерелье из золотых, лазуритовых и сердоликовых[137] бусин, соединенных кольцами из слоновой кости. Сбоку вдоль тела помещалась узкая четырехугольная чаша сандалового

дерева, в которой ее хозяйка при жизни умывалась ароматной водой. В глубине гроба виднелись три витые вазы из алебастра, так же, как и мумия, закрепленные в слое каустической соды;[138] в двух из них хранились еще не утратившие запаха бальзамы, а в третьей — высохшая сурьма и тоненькая палочка, которой в соответствии с египетской традицией подводили веки, чтобы придать глазам удлиненную форму. Восточные женщины следуют этой традиции и в наши дни.

— Какой трогательный обычай, — воскликнул доктор Румфиус, воодушевленный видом сокровищ, — хоронить вместе с юной женщиной весь арсенал ее кокетливого туалета! Ибо, несомненно, эти пожелтевшие от времени и бальзамов покровы скрывают юное создание. Рядом с египтянами мы — настоящие варвары. Захваченные вихрем грубой жизни, мы утратили деликатное отношение к смерти. Сколько нежности, любви, ласки в этих тщательных заботах, бесконечных предосторожностях, бесполезных усилиях, результата которых никто никогда не должен был увидеть! Какое трогательное внимание к безжизненным останкам, какая борьба за то, чтобы вырвать у тлена обожаемую оболочку и в целости передать ее душе в день их воссоединения!

— Возможно, — задумчиво промолвил лорд Ивендэйл, — наша цивилизация, которую мы считаем кульминацией развития человечества — на самом деле лишь глубокий упадок, не сохранивший даже воспоминаний о гигантских исчезнувших мирах. Мы, как глупцы, кичимся несколькими хитроумными, недавно изобретенными машинами, и не думаем о недостижимых для любого другого народа грандиозности и величии древней земли фараонов. У нас есть пар, но пар слабее, чем мысль, которая воздвигала пирамиды, сооружала подземные гробницы, превращала горы в сфинксов и обелиски[139], покрывала залы единым монолитом, который ни один из наших механизмов не в силах сдвинуть с места, и обладала таким чувством вечности, что научилась защищать от небытия бренное человеческое тело!

— О! Египтяне, — улыбнулся Румфиус, — были изумительными архитекторами, удивительными художниками, глубокими мыслителями. Жрецы Мемфиса[140] и Фив дали бы фору даже нашим немецким эрудитам, а по части символики они превзошли нескольких Крейцеров[141]. Но когда-нибудь мы расшифруем эту тарабарщину и вырвем все их секреты. Великий Шампольон дал нам египетский алфавит[142], и теперь мы научимся бегло читать египетские гранитные книги. Ну-с, приступим. Давайте осторожно, не торопясь, разденем эту трехтысячелетнюю красотку.

— Бедная леди! — пробормотал лорд. — Глаза невеж будут щупать твои таинственные прелести, которые, быть может, даже не познали любви. О да! При всем тщеславии науки мы такие же варвары, как персы

Камбиза[143], и если б я не боялся повергнуть в отчаяние почтенного доктора, то не стал бы отнимать у тебя, прекрасная незнакомка, последний покров, а спрятал бы тебя обратно в тройную колыбель гробов!

Румфиус поднял мумию, весившую не больше ребенка, и принялся разворачивать ее с ловкостью и проворством матери, пеленающей своего младенца. Сперва он снял оболочку, сшитую из холста, пропитанного пальмовым вином[144], и широкие полосы, в которые слой за слоем было завернуто тело, затем нашел кончик узкой ленты, обегавшей бесконечной спиралью члены юной египтянки, и стал сматывать клубок, следуя всем изгибам и выпуклостям тела, не хуже самого искусного тарисхевта Мемнонии. Подобно статуе, которую скульптор вытесывает из куска мрамора, мумия постепенно избавлялась от всего лишнего и становилась все более стройной и безупречной. Наконец лента была свернута. Под ней обнаружилась следующая, еще более узкая, плотно прилегавшая к телу. Она была такой тонкой и гладкой, что могла бы выдержать сравнение с батистом и муслином наших дней[145]. Лента точно повторяла все формы, она обволакивала каждый пальчик и, словно маска, лежала на лице, черты которого уже проступили сквозь ее тонкое плетение. Бальзамы, пропитавшие ткань, как бы накрахмалили ее, и, разматываясь, она похрустывала в пальцах доктора, будто бумага, которую комкают или рвут.

Оставался один-единственный виток, и, хотя Румфиус привык к подобным операциям, он на секунду прервал свой труд: может, из уважения к смерти, а может, из того самого чувства, что, несмотря на жгучее желание проникнуть в тайну, мешает человеку распечатать письмо, открыть дверь, приподнять завесу. Доктор отнес передышку на счет усталости. В самом деле, пот ручьями тек с его лба, а он и не помышлял вытереть его пресловутым клетчатым платком, но усталость тут была ни при чем.

Меж тем умершая уже просматривалась под тонкой, как газовая вуаль, тканью, сквозь сетку которой смутно поблескивала какая-то позолота.

Наконец последнее препятствие было устранено, и в целомудренной наготе прекрасных форм, сохранивших, несмотря на прошедшие века, плавность очертаний и мягкое изящество чистых линий, предстала юная женщина. Не часто встречаются мумии в подобном виде: эта напоминала Венеру Медицейскую[146], словно те, кто бальзамировал ее, стремились избавить очаровательное тело от тоскливой позы смерти и смягчить неизбежное трупное окоченение. Одна рука наполовину прикрывала девичью грудь, другая заслоняла таинственные прелести, как будто целомудрие покойной не вполне надеялось на защиту могильной тьмы.

Восхищенный крик сорвался с губ и Румфиуса, и Ивендэйла.

Ни одна греческая или римская статуя не может похвастаться столь изящными очертаниями. Характерные особенности египетского идеала

красоты придавали этому чудесным образом сохранившемуся совершенному телу стройность и легкость, не присущие античной скульптуре. Миниатюрные кисти рук и узкие ступни с точеными пальцами и сверкающими ярче агата ногтями, тонкая талия, чаши грудей, маленьких и приподнятых, как носок покрытого золотом татбеба[147], слегка выступающие округлые бедра, чуть длинноватые ножки с изящными лодыжками — все напоминало прелестных стройных танцовщиц с тех фресок, что изображают погребальные пиры. То была пленительная и хрупкая девушка, уже обладавшая всеми совершенствами женщины — именно такой образ стремились создавать египетские мастера, когда уверенной кистью расписывали стены гробниц или терпеливо преодолевали упорство базальта.

Обычно мумии, пропитанные смолой и каустической содой, походят на черные изваяния, вырезанные из эбенового дерева; их не может тронуть разложение, но у них и с жизнью нет ничего общего. Трупы не возвращаются в прах, из которого вышли. Они становятся каменными и столь отвратительными, что на них невозможно смотреть без омерзения и ужаса. Здесь же плоть, тщательно подготовленная более надежными, трудоемкими и дорогостоящими методами, сохранила природную мягкость, структуру кожного покрова и как будто естественные краски: смуглая кожа имела светлый оттенок новой флорентийской бронзы[148]. Вполне возможно, именно этот янтарный и теплый тон, который восхищает нас на потемневших полотнах Джорджоне[149] и Тициана[150], не сильно отличался от цвета кожи юной египтянки при жизни.

Девушка казалась не мертвой, а спящей: меж век, подведенных сурьмой, под бахромой длинных ресниц влажным светом жизни блестели глаза — казалось, они вот-вот стряхнут тридцативековой сон, словно легкую дрему. Нос, тонкий и изящный, сохранил безупречную форму; щеки остались округлыми, как бока вазы, едва заметные складки оживляли уголки рта, а на розовых губах порхала меланхоличная загадочная улыбка, полная неги, грусти и обаяния, — именно такая ласковая и смиренная улыбка придает столь восхитительное выражение лицам умерших, изображенным на канопах[151], хранящихся в Лувре.

Лоб ее был гладким и невысоким, что вполне соответствовало канонам античной красоты[152]. Черные как смоль волосы, с чередующимися в строгом порядке гладкими прядями и тоненькими косичками, ниспадали до самых плеч. Подобно цветам в бальной прическе двадцать золотых заколок усыпали бриллиантовыми звездами эту густую шевелюру, настолько пышную, что ее можно было принять за парик. Две крупные желтые серьги, круглые, будто маленькие щиты, поблескивали рядом со смуглыми щечками. Великолепное ожерелье — три ряда божков и амулетов из золота и драгоценных камней — украшало шею мумии-кокетки, а ниже

на грудь ниспадали две изысканнейшие подвески с симметрично расположенными золотыми, лазуритовыми и сердоликовыми звеньями и розетками.

Пояс из золота и самоцветов почти того же рисунка стягивал стройную талию.

Браслет с двумя рядами золотых и сердоликовых звеньев украшал левое запястье, а на указательном пальце той же руки мерцал перстень из тонкой витой золотой нити с крошечным эмалевым скарабеем в золотой оправе.

Удивительное ощущение — встретиться лицом к лицу с человеческим существом, жившим в эпоху, когда История едва лепетала, превращаясь в предания, увидеть прекрасную незнакомку — современницу Моисея, сохранившую всю притягательность молодости, дотронуться до нежной, пропитанной благовониями руки, которую, наверно, целовал сам фараон, прикоснуться к волосам, пережившим империи и более стойким, чем гранитные памятники.

Глядя на прекрасную покойницу, лорд испытал то обращенное в прошлое искушение, какое нередко внушает созерцание статуи или картины, изображающей женщину давно минувших лет, известную своим очарованием. Ему казалось, живи он три тысячи пятьсот лет назад, непременно влюбился бы в эту незнакомку[153], чью красоту не тронул даже тлен, и, кто знает, возможно, его нежные чувства передались растревоженной душе, блуждавшей вокруг своей осквернённой оболочки.

Настроенный значительно менее поэтично, чем английский аристократ, доктор Румфиус приступил к изучению драгоценностей, не снимая их, так как лорд не желал, чтобы у мумии отнимали последнее слабое утешение. Лишить украшений женщину, даже мертвую, — все равно что убить ее во второй раз! Вдруг ученый заметил свиток папируса[154], спрятанный между рукой и телом мумии.

— Ах! — воскликнул он. — Это, без сомнения, Книга мертвых[155], которую клали в гроб и писали более или менее старательно в зависимости от богатства и положения персоны.

И он с бесконечными предосторожностями принялся разворачивать хрупкий свиток. Когда появились первые строчки, Румфиус не смог скрыть недоумения: он не узнавал обычных фигур и знаков ритуальной записки. Тщетно искал он на положенном месте символическое изображение похорон и погребальной процессии, которое служит фронтисписом Книге мертвых[156]. Он не обнаружил ни перечня ста имен Осириса, ни сведений об усопшей, ни обращения к богам Аменти. Рисунки особенного свойства рассказывали о различных событиях жизни человека, а не о путешествии его души в мире ином. Главы или абзацы были отмечены красными иеро-

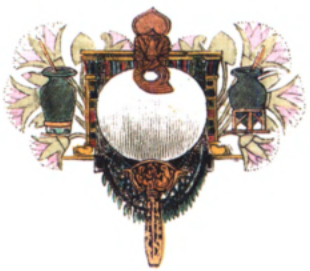
глифами, дабы они выделялись на фоне остального, написанного черной тушью, текста и привлекали внимание читателя к его фрагментам. Значки, расположенные сверху, похоже, скрывали название произведения и имя иерограммата[157] — автора или переписчика. Вот и все, что проницательному доктору удалось распознать при первом осмотре свитка.

— Решительно, милорд, мы ограбили господина Аргиропулоса, — заключил Румфиус, высказав Ивендэйлу все замечания о различиях между найденным папирусом и уже известными документами. — Ведь впервые удалось обнаружить египетский манускрипт, в котором содержатся не жреческие заклинания, а что-то другое. О! Я его расшифрую, и пусть ослепнут мои глаза, а борода три раза обернется вокруг письменного стола! Да, я вырву твои секреты, таинственная египтянка, я узнаю историю твоей жизни, прекрасная покойница, ибо папирус, который ты прижимаешь к сердцу своей очаровательной ручкой, должен содержать именно ее! Я прославлюсь, как Шампольон, и заставлю Лепсиуса лопнуть от зависти!

. . . . . .

Доктор и лорд вернулись в Европу. Мумия, вновь завернутая во все свои покровы и помещенная в три гроба, находится в парке лорда Ивендэйла, в Линкольншире, в базальтовом саркофаге, который он, не считаясь с расходами, перевез из Бибан-эль-Молука и так и не подарил Британскому музею. Время от времени лорд облокачивается на саркофаг и, глубоко задумавшись, вздыхает...

За три года упорного труда Румфиус расшифровал таинственный папирус. Остались непрочитанными лишь несколько пассажей, содержащих то ли искаженные, то ли неизвестные знаки. Ученый изложил текст на латыни, мы перевели на французский, и вы прочтете его под названием «Роман о мумии».







Глава I

Оф (так египтяне называли город, который греки позднее переименовали в Фивы Стовратные, или Диосполис Магна) под всепожирающими лучами палящего полуденного солнца казался спящим. Белый свет лился с бледного неба на изнывающую от жары землю, ее гладкая поверхность блестела, будто начищенный металл. Лишь у подножия зданий оставались узкие голубоватые полоски тени, напоминавшие чернильные линии, которые зодчий наносит на папирус, чертя план будущей постройки. Слегка отлогие стены домов пылали, как кирпичи при обжиге. Все двери были закрыты, и никто не выглядывал из окон, занавешенных тростниковыми шторами.

В конце пустынных улиц и поверх плоских террас в прозрачном раскаленном воздухе возвышались острые обелиски, пилоны[1], антаблементы[2] дворцов и храмов с капителями в виде человеческих лиц или цветов лотоса, которые выглядывали то тут, то там из-за ровной линии крыш и вздымались, подобно рифам, посреди скоплений частных домов.

За садовыми стенами кое-где виднелись устремленные ввысь чешуйчатые стволы пальм с веером листьев, застывшим на верхушке, ибо даже

малейший ветерок не нарушал покоя атмосферы. Акации, смоковницы и сикоморы[3] выплескивали каскад листвы, отбрасывая ажурную тень на искрящийся грунт. Эти зеленые мазки оживляли и освежали торжественную неподвижность и сухость картины, которая иначе казалась бы изображением мертвого города.

Изредка рабы-нехси[4], с черными обезьяноподобными лицами и звериными повадками, не обращая внимания на полуденный зной, проносили в глиняных кувшинах на коромыслах воду, набранную в Ниле. Хотя из одежды на них не было ничего, кроме коротких полосатых штанов, завязанных на бедрах, их блестящие, словно отшлифованный базальт, тела обливались ручьями пота, и им приходилось чуть ли не бежать, чтобы не обжечь босые ступни о горячие, как в бане, плиты. Матросы спали под наосами своих суденышек, причаленных у кирпичной набережной, уверенные, что никто в этот час не потревожит их сна, чтобы переправиться на другой берег, в кварталы Мемнонии. Высоко в небе парили ястребы, и в царившем повсюду безмолвии слышался их пронзительный свист, который в другое время дня терялся в городском шуме. На фоне прокаленной белесой голубизны вырисовывались изящные силуэты двух-трех ибисов: поджав лапу и спрятав клюв в лохматую шею, они сидели на карнизах памятников и, казалось, погрузились в глубокие раздумья.

Не все, однако, спали в Фивах в этот час. Из-за стен большого дворца, чей антаблемент с пальметтами длинной прямой чертой выделялся на фоне пылающего небосвода, просачивался неясный шепот музыки; время от времени струи гармонии разливались в дрожащем воздушном мареве, так что глаз почти различал волнообразное движение звука.

Музыка, смягченная толстыми стенами, как сурдинкой[5], таила в себе странную сладость: то была песня грустной неги, томного изнеможения, усталости тела и отчаяния души; в ней слышалась также светлая тоска[6] вечной лазури, бесконечное уныние жарких стран.

Проходя мимо дворца, раб забывал о хозяйской плетке, замедлял шаг, останавливался и напряженно ловил исполненную загадочной печали песню, навевавшую воспоминания о потерянной родине, разбитом сердце и невеселой доле.

Откуда доносилась эта песня, эти тихие вздохи, нарушавшие тишину города? Чья беспокойная душа бодрствовала посреди всеобщей дремы?

Фасад дворца, выходивший на обширную площадь, отличался той прямизной линий и монументальностью, что присущи египетским дворцам и храмам. Такое жилище могло принадлежать только очень высокопоставленной особе: это угадывалось по выбору материалов, тщательности постройки, богатству отделки.

В центре фасада возвышался большой павильон с крышей в форме усеченного треугольника и двумя боковыми приделами. Широкий карниз с сильно вогнутой серединой и выдающимися вперед краями[7] проходил по верху его стены, на которой не было ни одного отверстия, кроме двери, расположенной в нарушение симметрии не в середине, а в углу павильона, — без сомнения, для того, чтобы оставить место для внутренней лестницы. Карниз, украшенный, как и антаблемент, резными пальмовыми листьями, венчал эту единственную дверь.

Павильон выступал из стены, к которой была пристроена двухэтажная галерея, своего рода открытые портики с колоннами поразительной формы: основанием этих колонн служили громадные бутоны лотоса, из них, словно гигантские пестики, вырастали постепенно сужающиеся кверху стебли, стянутые лепным ожерельем под капителью в виде распустившегося цветка.

В широких пролетах между колоннами виднелись маленькие двустворчатые окна с разноцветными стеклами. Все здание венчала плоская крыша, выложенная, подобно террасе, огромными плитами.

На внешних галереях виднелись деревянные треножники с большими глиняными вазами, натертыми внутри горьким миндалем и закупоренными пучком листьев, в них освежалась на воздухе нильская вода. На круглых одноногих столиках стояли пирамиды фруктов, большие букеты цветов и чаши разнообразных форм: египтяне любили проводить время на свежем воздухе и обедали, так сказать, на улице[8].

По обе стороны от центральной части дворца располагались длинные одноэтажные строения. Верхнюю часть их стен занимали панно, а понизу шел ряд колонн, так что получалась крытая галерея для прогулок, защищенная от солнца и нескромных взглядов. В целом здание, оживленное орнаментом (капители, колонны, карнизы и панно были покрыты росписью), производило впечатление благополучия и великолепия.

Пройдя павильон насквозь, можно было попасть в обширный двор, окруженный с четырех сторон портиком. Капители его колонн состояли из четырех женских голов с коровьими ушами, раскосыми глазами, слегка курносыми носами и радостно улыбающимися ртами. Сверху колонны заканчивались толстыми округлыми шапками, похожими на полосатые подушки, а на них лежали кубы из твердого песчаника.

Под портиком находились двери в комнаты, куда благодаря затененной галерее никогда не проникал яркий солнечный свет.

Посреди двора искрилась на солнце купальня с бортиками из сиенского гранита[9]. На ее глади плавали широкие листья лотоса в форме сердца; розовые и голубые цветы, хотя и купались в воде, наполовину закрылись, изнемогая от жары.

От купальни веером расходились бордюры с цветами, высаженными на маленьких земляных холмиках. По узким дорожкам между ними с осторожностью прогуливались два ручных аиста; время от времени они стучали длинными клювами и хлопали крыльями, будто хотели взлететь.

Четыре высоких персеи[10] с пышными серебристо-зелеными кронами раскинулись по углам двора.

В самой его глубине портик прерывался чем-то вроде пилона; за его широким голубым просветом виднелась длинная аллея с аркадой, увитой виноградными лозами, а в ее конце — летняя беседка, одновременно роскошная и изысканная.

Слева и справа от аллеи, на участках, ровно расчерченных рядами карликовых деревьев, подстриженных в форме конуса, росли гранатовые деревья, сикоморы, тамариксы, обвойники, мимозы, акации[11]. Их цветы сверкали разноцветными искрами на темном фоне взметнувшейся над стеной сада зелени.

Тихая и нежная музыка, о которой шла речь, лилась из комнаты, выходившей во внутренний портик.

В то время как двор был залит ослепительным светом, покои омывала голубоватая живительная тень. Глаза после яркого солнца сперва лишь различали формы предметов и, только привыкнув к полумраку, начинали их узнавать.

Под потолком шел карниз, расцвеченный сочными красками и золотыми пальмовыми листьями. Гладкая нежно-сиреневая поверхность стен была разбита на отдельные панно, расписанные орнаментами, букетами, птицами, квадратами контрастных цветов, расположенными в шахматном порядке, или сценами частной жизни.

В глубине, у стены, виднелось причудливое ложе в форме быка[12] с украшенной страусовыми перьями головой и диском, зажатым между рогами; плоская спина животного, покрытая тонкой красной перинкой, служила лежанкой, а сам бык упирался в пол широко расставленными ногами с зелеными копытами, высоко подняв свой загнутый, раздвоенный на конце хвост. Подобное ложе показалось бы странным в любой стране, кроме Египта, где по прихоти ремесленника кровати принимают вид львов и шакалов. Чтобы лечь в постель, нужно было подняться по лесенке из четырех ступенек; подголовник[13] из восточного алебастра выгибалось полумесяцем: оно поддерживало шею, не нарушая прически.

Посреди комнаты стоял чудесной работы круглый стол из дерева драгоценной породы на точеной подставке, а на нем теснились самые разные предметы: ваза с цветами, бронзовое зеркало на ножке из слоновой кости, витой агатовый кувшин, наполненный сурьмой, сикоморовый шпатель

для благовоний в форме плывущей молодой девушки, обнаженной по пояс и будто бы стремящейся удержать свою плошку над водой[14].

Около стола в деревянном кресле, украшенном позолотой, подчеркнутой красной обводкой, с голубыми ножками и подлокотниками в виде львов, на толстой пурпурной в черную клетку перине с золотыми звездами, перекинутой через его спинку, в грациозной позе, полной неги и печали, сидела молодая женщина или, скорее, девушка дивной красоты.

Тонкие черты ее лица являли чистейший образец египетской красоты[15]. Должно быть, скульпторы вопреки строгим жреческим запретам часто вспоминали ее, создавая портреты Исиды и Хатхор[16]. Золотистые и розовые отблески оживляли ее гладкую бледную кожу, на которой резко выделялись полные несказанной грусти узкие черные глаза, подведенные сурьмой. Большие, с густыми ресницами и темными веками, они отличались странным для милого, почти детского личика девушки выражением.

Меж чуть полноватых полураскрытых губ цвета лепестков граната влажно блестел голубоватый перламутр зубов — то была невольная и слегка болезненная улыбка, которая придает лицам египтян столь чарующее обаяние. Нос с маленьким углублением у переносицы, там, где брови сгущались в бархатную тень, имел линии столь благородные, крылья столь тонкие, а ноздри столь четко очерченные, что всякая женщина и даже богиня была бы им довольна, несмотря на его еле уловимую африканскую форму. Подбородок плавно закруглялся и блестел, как полированная слоновая кость; щеки, немного более пухлые, чем принято у красавиц других стран, придавали лицу несказанную нежность и прелесть.

На волосах девушки красовалась шапочка-цесарка:[17] полураскрытые крылья птицы спадали на виски, очаровательная головка с острым клювиком спускалась на лоб, а хвост, усыпанный белыми точками, закрывал затылок. Искусно подобранные эмали столь дотошно воспроизводили красочные перья с глазками, что птицу можно было принять за живую. Довершал головной убор хохолок из настоящих страусовых перьев, служивший символом девственности, тогда как египетские жены украшали свои головы перьями грифа, который слыл покровителем материнства.

Блестящие черные волосы девушки были заплетены в тонкие косички и спускались к плечам вдоль круглых гладких щек, повторяя их очертания; в тени волос сияли, подобно солнцу посреди туч, серьги — большие золотые диски. Пара длинных лент с бахромой на концах изящно ниспадала на спину. Широкий нагрудник в несколько рядов эмалей, золотых и сердоликовых бусин, рыб и ящериц из чеканного золота закрывал тело от основания шеи до бело-розовой груди, просвечивавшей сквозь воздуш-



ную ткань калазириса[18]. Перевязанное под грудью длинным ниспадающим поясом платье в крупную клетку завершалось широкой каймой с поперечными полосками и бахромой. Тройные браслеты из лазоревого камня, скрепленные золотыми звеньями, обхватывали хрупкие, как у ребенка, запястья. Прекрасные ножки девушки, обутые в сандалии из белой кожи с золотым тиснением, покоились на табурете из кедра, инкрустированном зеленой и красной эмалью.

Возле Таосер (так звали юную египтянку), подвернув одну ногу под себя и согнув другую под тупым углом, в позе, которую художники любили изображать на стенах подземелий, сидела арфистка[19]. Она устроилась на чем-то вроде низкой тумбы, служившей, без сомнения, для усиления резонанса инструмента. Длинный полосатый шарф, плиссированные концы которого свисали на спину, поддерживал ее волосы и обрамлял лицо с таинственной, как у сфинкса, улыбкой. Узкое платье, точнее чехол из прозрачной газовой ткани, плотно облегало контуры стройного девичьего тела. Это платье поднималось чуть выше пояса, оставляя плечи, грудь и руки в целомудренной наготе.

Подставка, вбитая в тумбу, на которой сидела арфистка, имела стержень в форме ключа, служивший опорой для арфы: не будь его, инструмент наваливался бы всем весом на плечо молодой женщины. Арфа завершалась декой, которая являла собой раковину, украшенную орнаментом, и увенчанную изваянием головы Хатхор с пером страуса на темени. Девять диагональных струн трепетали под длинными тонкими пальцами арфистки, которая, чтобы взять трудные ноты, то и дело грациозно наклонялась вперед, будто хотела нырнуть в волны музыки вслед за уплывающей гармонией.

Позади нее стояла другая девушка. Если бы не легкий белесый туман, приглушавший бронзу ее тела, то можно было бы подумать, что она обнажена. Она играла на чем-то вроде мандоры[20] с необычайно длинным грифом; три струны этого инструмента заканчивались кокетливыми разноцветными кисточками. Одна рука музыкантши, тонкая и в то же время округлая, красиво вытянулась вдоль грифа, а другая перебирала струны.

Третья молодая женщина казалась совсем хрупкой из-за своей необыкновенно пышной шевелюры. Она отбивала такт на тимпане[21], представлявшем собой слегка вогнутую с боков деревянную раму, обтянутую кожей дикого осла.

Арфистка, аккомпанируя себе в унисон, пела с неповторимой нежностью и глубокой грустью. Слова выражали смутные стремления, тайные желания, гимн любви к неизвестному, робкую жалобу на суровость богов и жестокость судьбы.

Таосер облокотилась на одного из львов, подперев щеку и приподняв палец к виску. Казалось, она совсем не слушает. То вздох переполнял ее грудь и приподнимал эмали нагрудника, то глаза влажно поблескивали от невольной слезы, то маленькие зубки прикусывали нижнюю губу, будто преграждая дорогу чувствам.

— Сату, — сказала она, тихо хлопнув в маленькие ладоши, чтобы заставить замолчать певицу, которая тут же накрыла струны ладонью, — твоя песня волнует меня, томит и кружит голову, как слишком сильные благовония. Струны твоей арфы будто свиты с фибрами моей души, их звук отдается болью в груди. Ты заставляешь мою совесть терзаться угрызениями, а сердце — плакать вместе с музыкой. Кто выдал тебе мои тайны?

— Госпожа, — отвечала арфистка, — поэты и музыканты знают всё. Боги позволяют им увидеть скрытое от глаз: они могут выразить в своих рифмах и ритмах то, что не всегда постигает разум и о чем бессвязно бормочет язык[22]. Но если моя песня печалит тебя, я сменю мотив, чтобы внушить тебе более веселые мысли.

И струны арфы радостно и энергично зазвенели под частые удары тимпана. После вступления Сату запела песню, прославлявшую чары вина, упоение ароматами и исступление танца.

Чуть в стороне от Таосер на складных стульчиках с ножками в виде переплетенных шей голубых лебедей, чьи желтые клювы зажимали перекладины сидений, или на алых подушках, набитых пухом чертополоха, в томных позах сидели скучающие служанки. Новая музыка заставила их встрепенуться. Ноздри задрожали, вдохнули волшебный ритм, и, подчинившись неодолимому порыву, некоторые девушки встали и пустились в пляс.

Из-под головных уборов с вырезами на ушах выбились пряди волос и начали хлестать смуглые щеки, которые скоро порозовели от жгучего танца. Широкие золотые обручи забились на шеях. Сквозь длинные газовые туники, расшитые жемчугом, виднелись гибкие, змееподобные тела цвета позолоченной бронзы. Танцовщицы извивались, покачивали бедрами в узких поясках, запрокидывались, сгибались в разные стороны, склоняли головы направо и налево, словно находили тайное наслаждение в прикосновениях гладких подбородков к прохладным голым плечам, выпячивали грудь, будто голуби, падали на колени и вновь поднимались, прижимали к груди и плавно разводили руки, как Исида и Нефтида крылья[23], тянули носки, сгибали колени и, следуя переливам музыки, мелкими прерывистыми движениями переставляли ловкие ноги.

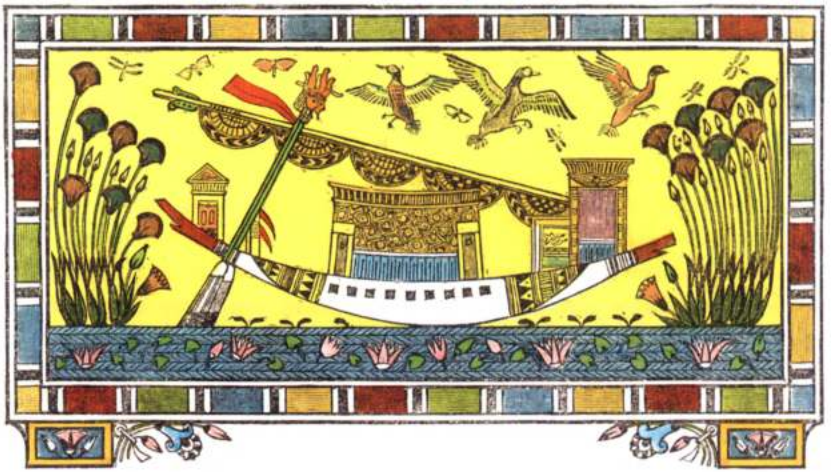
Остальные женщины отодвинулись к стене, чтобы освободить место для танца, и отбивали ритм, щелкая пальцами и хлопая в ладоши. Одни

были полностью обнажены — лишь глиняные браслеты, покрытые глазурью, обхватывали их запястья; другие, в набедренных повязках на бретельках, украсили головы вьющимися цветами. Выглядело это поистине прелестно. Бутоны и цветы мягко колыхались, распространяя благоухание по всей комнате, а молодые женщины в живых венках могли бы вдохновить поэтов на самые смелые метафоры.

Но Сату переоценила силу своего искусства. Веселые ритмы, казалось, только усилили печаль Таосер. Слеза скатилась по ее прекрасной щеке, как капля нильской воды по лепестку белой кувшинки, и, спрятав голову на груди любимой служанки, приблизившейся к креслу своей госпожи, она прошептала с приглушенным стоном голубки:

— О моя Нофрэ, как я тоскую! Как я несчастна!







Глава II

Предчувствуя разговор по душам, Нофрэ подала знак, и арфистка, музыкантши, танцовщицы и служанки тихо удалились одна за другой, подобно фигурам на фресках[1]. Когда исчезла последняя, любимица сказала госпоже ласковым и сочувствующим тоном молодой матери, баюкающей младенца:

— Что с тобой, милая моя госпожа, почему ты тоскуешь? Отчего ты несчастна? Или ты не молода, не прекрасна на зависть всем красавицам, не свободна? Или твой отец, верховный жрец Петамуноф[2], чья мумия покоится в роскошной гробнице, не оставил наследства, которым ты распоряжаешься по собственному усмотрению? Твой дворец великолепен, сады обширны, их орошают проточные воды. Твои шкатулки из сикомора и глины, покрытой глазурью, полны ожерелий, бус, нагрудников, браслетов, драгоценных перстней самой тонкой работы. Твои платья, каласирисы, парики превосходят число дней в году. Хапи-Му[3], отец вод, неизменно поит живительной влагой твои земли, которые ястреб с трудом облетает от восхода до восхода. И вместо того, чтобы радостно раскрыться на-

встречу жизни, как бутон лотоса в месяц Хатхор или Хойяк[4], сердце твое замыкается и болезненно сжимается.

Таосер отвечала Нофрэ:

— Да, правда, боги высших миров милостивы ко мне. Но что значат все блага мира, если не хватает одного, самого заветного? Неутоленное желание превращает богача в его раззолоченном и разукрашенном дворце, посреди гор хлеба и сокровищ, моря благовоний и цветов в бедняка, подобного жалкому метельщику, убирающему в Мемнонии древесные опилки, или полуголому негру, что правит хрупкой папирусной лодкой на Ниле под жарким полуденным солнцем.

Нофрэ улыбнулась и молвила с неуловимой усмешкой:

— Возможно ли, о госпожа, чтобы хоть одна из твоих прихотей не была тут же исполнена? Если мечтаешь об украшениях, дай ремесленнику слиток чистого золота, сердолик, ляпис-лазурь, агаты, гематит[5], и он выполнит все по твоему же рисунку. Проси, чего хочешь: нарядов, колесниц, благовоний, цветов, музыкальных инструментов — твои слуги сыщут для тебя самое прекрасное, самое редкое от Фил до Гелиополиса[6]. А если в Египте нет того, что ты желаешь, караваны доставят это с края света!

Прекрасная Таосер склонила голову, разочарованная непониманием наперсницы.

— Прости, госпожа, — спохватилась Нофрэ, сообразив, что пошла по ложному пути, — я не подумала, что скоро вот уже четыре месяца, как фараон отбыл вместе с армией в Верхнюю Эфиопию[7], и что прекрасный оэрис[8], который не проходил мимо нашей галереи, не подняв головы и не замедлив шага, тоже отправился в поход. Ах, сколь великолепен был Амосис в своем воинском облачении, как мужествен, красив и молод!

Будто желая заговорить, Таосер слегка приоткрыла розовые губы, но легкое пурпурное облачко набежало на ее щеки, она закрыла лицо руками, и фраза, уже готовая слететь с ее губ, так и не развернула свои звучные крылья.

Служанка поняла, что попала в точку, и продолжала:

— В таком случае, госпожа, ты можешь больше не печалиться. Сегодня утром прибыл запыхавшийся гонец и сообщил, что перед заходом солнца царь возвращается в Оф с победой. Слышишь смутный гул за окнами, слышишь, как город выходит из полуденного оцепенения? Прислушайся! Колеса стучат по плитам мостовых, люди уже собираются на берегу реки, чтобы переправиться на поле для парадов. Пересиль свою слабость! Поедем на это восхитительное зрелище! От грусти есть одно лекарство — смешаться с толпой. Одиночество порождает мрачные мыс-

ли. С высоты своей колесницы Амосис пустит в тебя стрелу милой улыбки, и ты вернешься домой веселой.

— Амосис любит меня, — вздохнула Таосер, — но я его не люблю.

— Это — речь юной девы, — возразила Нофрэ. Ей очень нравился красавец военачальник, и она считала наигранным пренебрежительное равнодушие Таосер.

Амосис и в самом деле был несказанно хорош: его профиль напоминал изваяния богов, созданных руками самых умелых скульпторов, по красоте его гордые и правильные черты могли сравниться с женскими: орлиный нос, блестящие черные глаза, удлиненные сурьмой, щеки ровных контуров, гладкие, словно из восточного алебастра, и хорошо очерченные губы. К тому же он был высокого роста, строен, широкоплеч, с узкими бедрами и сильными, но не грубыми руками — словом, оэрис мог бы обольстить самых привередливых, но, что бы ни думала Нофрэ, Таосер его не любила.

Совсем другая мысль, которой она не стала делиться с наперсницей, ибо сочла, что та не способна ее понять, заставила девушку воспрянуть духом. С живостью, которую никто бы в ней не заподозрил, видя, какой подавленной она была во время пения и танцев, Таосер вскочила с кресла. Нофрэ, встав на колени, подала ей туфельки с загнутыми мысками, затем посыпала волосы душистой пудрой, вынула из ларчика несколько браслетов в форме змеи, перстни с камнями в виде священного скарабея, подкрасила щеки зелеными румянами, от соприкосновения с которыми кожа тут же порозовела, отполировала ногти, подправила чуть помятые складки каласириса — в общем, сделала все, что делает самая усердная прислужница, желающая выставить хозяйку в наиболее выгодном свете. Потом кликнула двух-трех слуг, приказала им подготовить лодку и переправить на другой берег реки колесницу и упряжку.

Дворец, или, если это название кажется чересчур громким, особняк, Таосер возвышался рядом с Нилом; их разделяли только сады. Положив руку на плечо Нофрэ, дочь Петамунофа направилась к причалу по аллее из виноградных лоз, которые приглушали солнечные лучи и одевали ее очаровательную фигурку в пестрый наряд из света и тени; впереди шествовали слуги. Вскоре процессия прибыла на мощенную кирпичом набережную, где уже бурлила огромная толпа, ожидавшая отправления и возвращения лодок.

Во всем огромном городе остались только больные, калеки, немощные старики и невольники, охранявшие дома. По улицам, площадям, аллеям сфинксов и набережным текла к Нилу человеческая река. Бóльшую часть этой пестрой разноликой толпы составляли египтяне. Их можно

было узнать по безупречному профилю, стройности и высокому росту, по платью из тонкого льна, по каласирисам с тщательно уложенными складками. Кое-кто из них завернул голову в сине-зеленую полосатую ткань и оставил торс цвета обожженной глины голым до пояса.

На однородном фоне местных жителей выделялись представители других народов: негры с Верхнего Нила, черные, как базальтовые боги, с кольцами из слоновой кости на пальцах и варварскими украшениями в ушах; бронзовые эфиопы[9], которые, несмотря на свирепое выражение лица, словно дикие звери при свете дня, чувствовали себя неуверенно в чужом и непривычном мире; светло-желтые азиаты[10] с карими глазами, бородами, завитыми в кольца, лентами, поддерживавшими тиару на затылке, в платьях с бахромой, вышитых узорами; пеласги[11] в шкурах диких животных, завязанных на плечах и оставлявших на виду причудливо татуированные руки и ноги, с птичьими перьями на головах, двумя косами и уложенными в завитки челками.

Рабы низко, почти касаясь руками земли, кланялись степенным бритоголовым жрецам в шкурах пантеры, завернутых вокруг тела так, что морды животных оказывались на животе, в туфлях из папируса и с длинными, покрытыми иероглифами тростями из акации. Точно так же они приветствовали именитых и уважаемых граждан с наградными цепями на груди и даже солдат с кинжалами в серебряных ножнах на боку, щитами на спине и бронзовыми секирами в руке. Вдоль стен пробирались с грустными и жалкими лицами полуголые бедные женщины. Они сгибались под тяжестью детей, повисших у них на шее в рваных матерчатых мешках и корзинах, а прекрасные девушки в длинных прозрачных платьях, перехваченных под грудью шарфами до пят, с тремя или четырьмя служанками по бокам гордо вышагивали, сияя эмалями, жемчугами и золотом, благоухая цветами и ароматическими маслами.

Пеших быстро и ловко обгоняли эфиопы с носилками на плечах. Попадались также легкие колесницы, запряженные резвыми лошадьми с пышными султанами на головах, и способные вместить целую семью повозки, запряженные грузными быками. Беспечная толпа неохотно расступалась, и иногда кучерам приходилось хлестать кнутом зазевавшихся прохожих или упрямцев, не желавших посторониться.

На реке царило необычайное оживление: несмотря на свою ширину, она была сплошь усеяна самыми разными судами, которые почти полностью заслоняли воду. Все пошло в ход — от больших лодок с приподнятыми носом и кормой, с расцвеченными и раззолоченными наосами, до утлых папирусных челноков. Не брезговали даже посудинами для скота или для фруктов и тростниковыми, на бурдюках, плотами, на которых обычно перевозили глиняные горшки.



Нелегкая работа — переправить с одного берега на другой более миллиона душ[12], и, чтобы справиться с ней, требовалась вся накопленная веками сноровка фиванских речников.

Вода Нила, избитая, высеченная и четвертованная веслами, шестами и рулями, пенилась, точно море, и бурлила тысячью водоворотов, прерывавших ее сильное течение.

Строение лодок было столь же разнообразным, сколь и живописным: у одних спереди и сзади красовались большие, склоненные внутрь цветы лотоса, с увитыми лентами стеблями; другие имели раздвоенную корму и заостренный нос; третьи закруглялись полумесяцем и поднимались над водой двумя остриями; на четвертых возвышались надстройки или помосты, где стояли кормчие; пятые представляли собой три полосы коры, стянутые веревками и управлявшиеся с помощью лопатообразного весла. Связанные между собой суда предназначались для перевозки упряжек и колесниц, они поддерживали один большой дощатый настил, который использовался и как сходни, позволявшие без труда загружаться и разгружаться. Испуганные лошади громко ржали и били о настилы копытами. Быки беспокойно косились на воду, с их лоснящихся морд свисали нити слюны. И успокаивались животные только благодаря ласкам погонщиков.

Хлопая в ладоши, старшины отбивали ритм для гребцов. Кормчие, сидя на корме или прохаживаясь по крыше наоса, отдавали команды, указывая направление движения в беспорядочном лодочном лабиринте. Несмотря на предосторожности, суда иногда сталкивались, и тогда матросы обменивались бранью и колотили друг друга веслами.

Нил являл собою ослепительную, непрерывно менявшуюся картину: на огромном пространстве он покрылся тысячью лодок, бóльшая часть которых была украшена зелеными, синими и красными орнаментами на белом фоне и заполнена мужчинами и женщинами в разноцветных одеждах. Под ярким солнцем Египта бурлящая вода переливалась, как живое серебро[13], блестела и сияла, словно солнце, разбитое на миллион осколков.

Таосер взошла на свою роскошную ладью, центр которой был занят каютой, или наосом; его прямоугольную крышу поддерживали четыре столба, на антаблементе красовался ряд уреев, а стены были покрыты пестрыми симметричными узорами. Корму отягчала островерхая надстройка, уравновешенная на носу чем-то вроде расписного жертвенника. Рулями служили два больших весла с головами Хатхор[14] на рукоятках. На мачте трепетал под крепчавшим восточным ветром продолговатый парус, закрепленный на двух реях. Его дорогая ткань была вышита и расписана ромбами, треугольниками, квадратами, яркими птицами и фантастическими животными; с нижней реи свисала бахрома толстых кистей.

Отдав швартовы и повернув парус к ветру, корабль отошел от берега, раздвигая носом скопления лодок, чьи весла путались между собою и напоминали лапки скарабеев, перевернутых на спину. Он спокойно продвигался вперед сквозь ругань и крики; превосходство в размерах позволяло ему не обращать внимания на удары, которые могли бы отправить на дно более хрупкое судно. К тому же матросы Таосер были столь искусны, что корабль под их управлением казался разумным существом – столь легко он слушался руля и уворачивался от серьезных препятствий. Скоро он оставил позади перегруженные лодки, чьи наосы, палубы и даже крыши были забиты мужчинами, женщинами и детьми, сидевшими в любимой позе египтян. Коленопреклоненные пассажиры походили бы на судебных заседателей Осириса, если бы их лица, вместо того чтобы выражать сосредоточенность, свойственную загробным советникам, не дышали откровенной радостью. Да и было чему радоваться: фараон возвращался с победой и с огромной добычей. Фивы ликовали, и весь городской люд спешил навстречу любимцу Амон-Ра[15], коронованному вседержителю, повелителю мира, всемогущему Ароэрису[16], Царю-Солнцу и попирателю народов![17]

Корабль Таосер вскоре достиг противоположного берега. Почти одновременно причалила и лодка, доставившая повозку. Слуги быстро согнали по сходням быков и запрягли их.

Белые с черными пятнами быки несли на голове нечто вроде тиары, частично закрывавшей ярмо, прикрепленное к дышлу. Ярмо поддерживали два широких кожаных ремня, из которых один окружал шею, а другой, связанный с первым, проходил под животом. Приподнятый загривок, широкий подгрудок, сухие и жилистые голени, крошечные и блестящие, будто из агата, копыта, заботливо расчесанная кисточка хвоста свидетельствовали о породистости быков и о том, что они никогда не знали непосильных работ в поле. Животные шествовали с величавой невозмутимостью священного быка Аписа, принимающего подношения и жертвы. В необычайно легкой повозке, имевшей форму морской раковины, могли стоять два-три человека; полукруглый кузов, украшенный позолотой и орнаментами в виде изящных волнистых линий, поддерживался чем-то вроде диагональной распорки, заходившей за верхний край борта и служившей поручнем для пассажиров при быстрой езде или на ухабистой дороге. Чтобы смягчить тряску, ось располагалась сзади кузова, на ней вращались два колеса с шестью спицами. В глубине повозки торчал шест, на конце которого колыхался зонт в виде пальмовых листьев.

Нофрэ управляла запряженными, как лошади, быками стоя и перегнувшись, по египетскому обычаю, через передний борт кузова. Таосер держалась рядом, опираясь рукой, усыпанной перстнями, на позолоченную резьбу раковины.

Две прекрасные девушки в яркой разноцветной повозке: одна в сиянии эмалей и драгоценных камней, другая едва прикрытая прозрачной газовой туникой – являли очаровательное зрелище. Восемь – десять слуг, одетых в полосатые рубахи, собранные спереди в многочисленные складки, стараясь не отставать, бежали по обе стороны от повозки.

На этом берегу реки стечение народа оказалось не меньшим. Жители Мемнонии и соседних деревень прибывали со всех сторон. Каждую минуту к набережной причаливали новые лодки, толпа любопытных росла. Бесчисленные повозки направлялись к полю для парадов, и колеса их сияли, как солнечные диски, в висевшей в воздухе золотой пыли. Фивы опустели, будто завоеватель увел всех горожан в рабство.

Рама, в которую заключалась картина, стоила ее. Посреди моря зелени, над которым фонтанами взмывали резные ветви дум-пальмы[18], пестрели яркие загородные дома, дворцы, летние павильоны в окружении сикоморов и мимоз. В купальнях играло солнце, гирлянды винограда увивали тенистые аллеи. Вдали выделялся гигантский силуэт дворца Рамсеса Мериамуна[19] с огромными пилонами, величественными стенами, расписанными и позолоченными башнями, на которых реяли флаги. Дальше к северу перед входом в Аменофиум[20] голубоватой тенью маячили два восседавших с царственной невозмутимостью колосса – две гранитные глыбы в форме человека[21]. Они наполовину заслоняли расположенный на заднем плане Рамессеум[22] и гробницу верховного жреца; лишь дворец Менефты[23] оставался полностью на виду.

Ближе к Ливийскому хребту, над Мемнонией, населенной колхитами, парасхитами и тарисхевтами, в голубой воздух поднимался рыжий дым от котлов с каустической содой. Смерть никогда не прерывает свою работу; как бы ни кипела, ни бурлила жизнь, беспрестанно пропитывают ленты, изготовляют оболочки, расписывают иероглифами гробы, и, вытянувшись на смертном ложе с ножками льва или шакала, некий хладный труп терпеливо ожидает, пока его облачат в вечный наряд.

За Мемнонией, у горизонта, на фоне чистого неба известковыми зубцами безводных громад вырисовывались Ливийские горы, изрытые гипогеями и сирингами. Благодаря прозрачности и чистоте воздуха до них, казалось, было рукой подать.

Правый берег являл не меньшее великолепие: лучи солнца окрашивали в розовый цвет гигантский силуэт Северного дворца[24] (расстояние с трудом скрадывало его размеры); своей гранитной массой и лесом громадных колонн он возвышался над жилищами с плоскими крышами, а за ним в туманной дымке синел Аравийский хребет.

Перед дворцом простиралась обширная площадь. От ее углов к реке спускались две лестницы. Между ними аллея криосфинксов[25], перпенди-

кулярная Нилу, вела от берега к пилону величественных размеров, за ним виднелись две колоссальные статуи и два обелиска[26], пирамидальные вершины которых вздымались над карнизом пилона и устремлялись остриями телесного цвета в безупречно гладкую лазурь неба.

В глубине, за стенами, окружавшими дворец, виднелась боковая сторона храма Амона[27]. Правее высились храмы Хонсу[28] и Оф[29] и профиль гигантского пилона, повернутого к югу. Два обелиска высотой в шестьдесят локтей[30] служили началом великолепной аллеи из двух тысяч криосфинксов[31], протянувшейся от Северного дворца к Южному[32]. Из-за обелисков хорошо просматривался ближний ряд пьедесталов с огромными крупами этих чудищ, повернутых спиной к Нилу.

Еще дальше в розовом свете угадывались карнизы, на которых раскрывали свои широкие крылья мистические шары; головы колоссов с бесстрастными лицами, углы огромных зданий, гранитные шпили, наслоения террас, пальмовые ветви, распустившиеся, как зеленые букеты, среди чудесных каменных нагромождений, а Южный дворец являл великолепие своих высоких многоцветных стен и флагов, ворот, расширяющихся книзу, обелисков и бесчисленных сфинксов.

Повсюду, куда хватало глаз, разворачивалась панорама Офа, с его домами, дворцами, коллегиями жрецов, а на заднем плане блеклыми голубыми линиями проступали башни с воротами и гребень городских стен.

Глаза Таосер рассеянно блуждали по давно знакомому пейзажу, и лицо ее не выражало ни малейшего восхищения; и вдруг перед домом, утопавшим в пышной зелени, она вся преобразилась и начала высматривать кого-то на террасе и внешней галерее.

Прекрасный юноша небрежно облокотился о парапет и, казалось, разглядывал толпу, но его задумчивый взгляд, витавший в заоблачных высях, не остановился на повозке Таосер и Нофрэ.

Маленькая ручка дочери Петамунофа судорожно вцепилась в борт повозки. Ее щеки побледнели, несмотря на легкий слой румян, и она, будто ей сделалось дурно, несколько раз вдохнула аромат своего букета лотосов.







Глава III

Невзирая на всю свою наблюдательность, Нофрэ не заметила впечатления, произведенного на ее госпожу пренебрежением незнакомца. Она не видела, как Таосер побледнела, а затем густо покраснела, и не слышала шороха эмалей и жемчугов[1] на затрепетавшей груди. Правда, Нофрэ была полностью поглощена управлением упряжкой, делом довольно трудным посреди густой толпы зевак, стремившихся попасть на торжественную встречу фараона.

Наконец повозка прибыла на поле для парадов — широкую огороженную площадь, тщательно выровненную для военных торжеств. Земляные валы, возведенные руками тридцати обращенных в рабство народов, служили рельефным обрамлением этого гигантского прямоугольника. К этим валам лепились ступенчатые трибуны из необожженного кирпича. Сейчас их заполнили сотни тысяч египтян, чьи белые или пестрые одежды рябили на солнце от беспрерывного движения, характерного для большого скопления людей даже тогда, когда все сидят или стоят на одном месте. Позади рядов зрителей теснились охраняемые возницами, кучера-

ми и рабами повозки, колесницы и носилки. Они были столь многочисленны, что напоминали стоянку кочевников, ибо Фивы, жемчужина древнего мира, насчитывала больше жителей, чем иные царства.

Под лившимся с голубого неба светом ровный мелкий песок окруженной миллионом голов просторной арены блестел слюдяными крапинками, как эмаль на статуэтках Осириса[2].

С южной и северной сторон поля трибуны прерывались и сквозь проемы в периметре открывалась дорога, которая, следуя вдоль Ливийского хребта из Верхней Эфиопии, вела через поле для парадов прямо ко дворцу Рамсеса-Мейамуна.

Слуги приготовили место для дочери Петамунофа и Нофрэ рядом с южным выходом, в верхнем ряду. Отсюда открывался прекрасный вид: все поле лежало перед ними как на ладони.

Необычайный гул, глухой, глубокий и мощный, словно рев надвигающейся бури, послышался в отдалении и перекрыл ропот тысячеустой толпы — так рев льва заставляет умолкнуть тявкающих шакалов. Вскоре в приближающемся шуме наземной грозы, производимом военными колесницами и ритмичным шагом пехотинцев, стали различаться звуки отдельных инструментов. Рыжеватые клубы пыли, будто поднятые ветром пустыни, заволокли небо, в то время как ни малейшее дуновение не колебало воздух и самые нежные веточки пальм застыли неподвижно, словно гранитные изваяния на капителях. Ни один волосок не дрожал на влажных висках женщин, и их завитые локоны вяло поникли вдоль спин. Эта пыльная мгла была поднята армией на марше и плыла над ней грозною тучей.

Шум усиливался. Первые шеренги музыкантов вышли из-за пылевой завесы на огромную арену — к неописуемому удовольствию зрителей, которым, несмотря на всю их любовь к великому фараону, наскучило ждать под солнцем, способным расплавить любой череп, кроме египетского.

Музыканты застыли на несколько мгновений. Коллегии жрецов и депутации коренных жителей Фив пересекли поле, чтобы приветствовать фараона, и выстроились рядами в позе глубочайшего почтения, оставив проход свободным для шествия.

Оркестр, который сам по себе мог сравниться с небольшой армией, состоял из барабанов, тамбуринов, систров[3] и рожков.

Первая группа музыкантов громко протрубила фанфары в короткие медные рожки, золотом сверкавшие на солнце. Каждый из музыкантов нес под мышкой второй рожок, как будто инструмент мог устать быстрее, чем человек. Оркестранты были одеты в короткие туники, завязанные спереди широким поясом с длинными концами, а их густые шевелюры покрывала повязка с двумя страусовыми перьями. Эти торчавшие в

разные стороны перья напоминали усики скарабеев и придавали музыкантам причудливое сходство с насекомыми.

Голые по пояс барабанщики в простых плиссированных юбках били палочками из сикомора в обтянутые кожей дикого осла барабаны, висевшие на кожаных ремнях. Старший барабанщик часто оборачивался к ним и отбивал такт, хлопая в ладоши.

За барабанщиками появились музыканты с систрами. Через равные промежутки времени они резко встряхивали инструментами, и те звенели металлическими кольцами на четырех бронзовых стержнях.

Продолговатые корпуса тамбуринов висели на перевязи, перекинутой через шею их хозяев, которые изо всей силы ударяли по натянутой с двух боков коже.

Каждая группа музыкантов насчитывала не менее двухсот человек. Чудовищный шум, который производили рожки, барабаны, систры и тамбурины, мог оглушить внутри дворца, но под широким куполом неба, на огромной площади, среди бурлящей толпы, в авангарде неисчислимой армии, которая надвигалась с грохотом половодья он не казался слишком громким.

Восемьсот музыкантов, разве это много для любимца Амон-Ра — фараона, увековеченного в колоссах из базальта и гранита высотой в шестьдесят локтей[4], для властелина, имя которого высечено на нетленных монументах, а история запечатлена в росписях и изваяниях на стенах колонных залов и пилонов, на бесконечных барельефах и бесчисленных фресках? Много ли это для царя, державшего за волосы сто покоренных народов и бичевавшего их с высоты своего трона[5], для живого Солнца, слепящего глаза, для богоравного и как бог вечного?

За оркестром плелись пленники-варвары диковинного обличья, со звероподобными лицами, черной кожей, курчавой шевелюрой, похожие одновременно на человека и обезьяну, одетые только в набедренные повязки на одной лямке, покрытой разноцветным орнаментом.

Пленников связали с хитроумной и изобретательной жестокостью. Локти одних были сцеплены за спиной; кисти других сведены над головой в самом неудобном и мучительном положении; руки третьих заключены в деревянные колодки; шеи четвертых сдавлены железными ошейниками или перехлестнуты веревкой, завязанной узлом на каждой жертве и соединявшей всю цепочку. Казалось, победителям доставляло удовольствие придавать самые противоестественные позы этим несчастным, которые, бешено вращая глазами и корчась от боли, с трудом переставляли ноги.

Стража, сопровождавшая пленных, подгоняла их ударами палок.

Смуглые женщины с длинными беспорядочно свисающими косами плелись следом; униженные, стыдливо согбенные в своей тщедушной и

уродливой наготе, – презренное стадо, обреченное на самую грязную работу, – в лоскутах ткани, связанных узлом на лбу, они тащили детей.

Другие, молодые и красивые, с более светлой кожей, с браслетами из слоновой кости на руках и большими металлическими кольцами в ушах, были закутаны в длинные туники с широкими рукавами, расшитым воротником и мелкими складками, закрывавшими их до лодыжек, где позвякивали цепи, – несчастные девушки, оторванные от родины, от родителей и, наверное, от любимых. Они улыбались сквозь слезы, ибо могущество страсти не знает преград, новизна и необычность рождает влечение, и, может быть, хоть одну из них, пленных дикарок, ожидает царская благосклонность в тайных покоях гинекея[6].

Стражники окружали их плотным кольцом, охраняя от толпы.

Затем шли знаменосцы, вздымавшие штандарты с изображениями мистических бари, священных ястребов, головы Хатхор со страусовыми перьями, крылатых ибексов[7], крокодилов; они несли также украшенные узорами картуши с именем царя, религиозными и военными символами. На позолоченных древках в такт ритмичной поступи знаменосцев колыхались завязанные бантом длинные ленты с черными точками.

Завидев штандарты, возвещавшие прибытие фараона, жрецы и именитые горожане, вышедшие навстречу, молитвенно воздели руки ладонями вверх или уронили их на колени. Некоторые пали ниц, прижав локти к телу и уткнувшись лбом в пыль, с выражением безграничного восхищения и полной покорности. Зрители замахали большими пальмовыми ветвями.

И вот сквозь строй знаменосцев и кадильщиков прошествовал глашатай, державший в руках свиток с иероглифами.

Громким, звучным, как медная труба, голосом он перечислил победы фараона, поведал об удачных битвах, количестве пленных и отбитых у врага военных колесниц, о множестве трофеев: золотом песке, слоновьих бивнях, страусиных перьях, пахучих смолах, жирафах, львах, пантерах и других редких животных; он назвал имена варварских вождей, поверженных стрелой или копьем самого царя – Ароэриса всемогущего, любимца богов.

При каждом сообщении народ испускал ликующие вопли и бросал к ногам победителей зеленые пальмовые ветви.

Наконец появился фараон!

Жрецы, стоявшие на равном расстоянии друг от друга, обернулись, бросили фимиам в маленькие бронзовые кубки с раскаленными угольями и подняли вверх, поддерживая за длинную рукоятку, амширы[8] с головой священного животного на другом конце. Затем они начали почтительно пятиться назад, в то время как ароматный голубой дым поднимался к ноздрям триумфатора, столь же безразличного к этим почестям, как божество из бронзы или базальта.

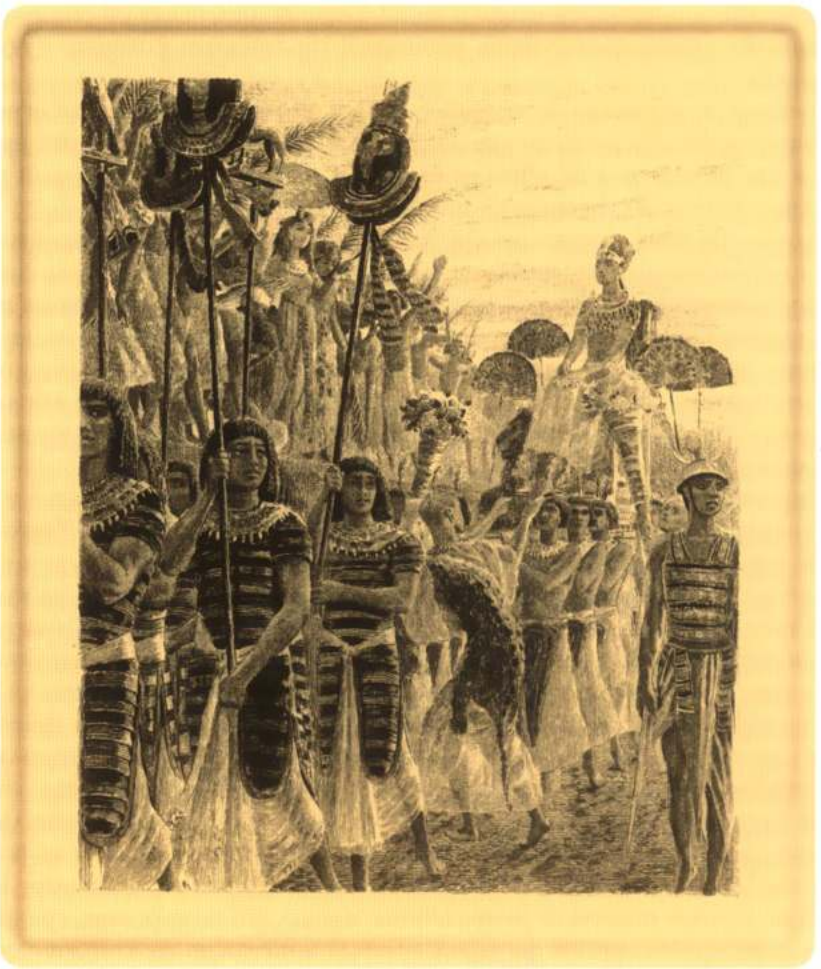
Двенадцать оэрисов, или военачальников, чьи головы покрывали легкие шлемы, украшенные пером страуса, с обнаженным торсом, в набедренной повязке с жесткими складками, с маленьким щитом на поясе, несли на плечах огромный помост, на котором возвышался трон фараона. Это было покрытое позолотой и расписанное яркими красками кресло с ножками и подлокотниками в виде львиных лап, высокой спинкой и свисающей с сиденья подушкой, расшитой гирляндами розовых и голубых цветов.

Носилки сопровождали четверо силачей, которые взмахивали огромными опахалами с длинными овальными перьями и позолоченными древками, а два жреца поддерживали большой изукрашенный узорами рог изобилия с букетами гигантских цветов лотоса.

Голову фараона венчал сдвинутый на затылок шлем с высокой митрой и глубокими вырезами над ушами. На голубом фоне митры сияла россыпь разноцветных — черно-бело-красных — кружков, похожих на павлиньи глазки. По краю митры шли пурпурная и желтая полоски, а на передней части, приподнимаясь и раздуваясь над царским лбом, золотыми кольцами извивалась символическая кобра; две длинные рифленые лопасти пурпурного цвета ниспадали на плечи и придавали головному убору величественность и изысканность.

Широкий нагрудник из семи рядов эмалей, драгоценных камней и золота, сверкая на солнце, лежал полукругом на груди фараона. Верхняя одежда царя состояла из подобия укороченного жилета в розовую и черную клетку, к нижнему краю которого были прикреплены ленты, несколько раз туго обернутые вокруг груди. Короткие рукава, вышитые поперечными золотыми, красными и синими полосками, позволяли разглядеть его гладкие и сильные руки — на левой была широкая металлическая наручь, которая защищала кожу от повреждения тетивой, когда фараон стрелял из лука, а правая, украшенная браслетом в виде змеи, несколько раз обернувшейся вокруг запястья, сжимала длинный золотой жезл, увенчанный бутоном лотоса. Ниже талии тело царя окутывала тончайшая льняная ткань с множеством складок, стянутая чешуйчатым поясом из золотых и эмалевых пластинок. Между жилетом и поясом гладкий торс светился так, словно искусный ремесленник изваял его из розового гранита. Длинные и стройные ноги фараона, обутые в похожие на коньки сандалии с острыми загнутыми носками, были плотно сдвинуты, как ноги богов на стенах храмов.

Гладкое, безбородое, с крупными и правильными чертами лицо царя казалось не подвластным ни одному человеческому чувству, никаким треволнениям обыденной жизни. Мертвенная бледность, плотно сжатые губы, увеличенные черными линиями сурьмы огромные глаза, которые мор-



гали не чаще, чем глаза священного ястреба, и полная неподвижность — все внушало почтительный страх. Создавалось впечатление, что остановившиеся глаза царя не замечают ничего вокруг, ибо устремлены в вечность и бесконечность. Пресыщение наслаждениями и незамедлительное удовлетворение малейших желаний, одиночество полубога[9], не имеющего равных среди смертных, отвращение к восхвалениям и наскучившие победы навсегда застыли на лице фараона, неумолимо равнодушного и невозмутимого, как гранит[10]. Он был величествен и спокоен, будто высший судия Осирис.

Большой ручной лев, подобно сфинксу, возлежал рядом с ним на носилках[11], прищурив желтые глаза и вытянув мощные лапы.

Носилки фараона соединялись канатами с военными колесницами побежденных вождей — он словно тащил их за собой на поводке. Эти мрачные и свирепые пленники с локтями, стянутыми за спиной под неудобным углом, то и дело пошатывались от рывков колесниц, которыми управляли возницы-египтяне.

Затем следовали военные колесницы молодых членов царской фамилии. Запряженные парами чистокровные кони изящных и благородных форм — с тонкими ногами, жилистыми голенями и ухоженной гривой покачивали головами, украшенными султанами из красных перьев, оголовьями и налобниками с металлическими шишечками. Изогнутое дышло давило на загривок, прикрытый алыми полотнищами и двумя седелками с блестящими медными шарами; их соединял легкий хомут в форме лука, концы которого загибались назад. Подпруга и нагрудный ремень, отделанные богатыми вышивками, роскошный чепрак с бахромой из кисточек, исчерченный голубыми и красными линиями, составляли сбрую добротную, тонкую и легкую.

На бортах кузова в красно-зеленую полоску, скрепленных бронзовыми пластинками и полушариями, похожими на умбоны[12], крест-накрест висели колчаны; один из них предназначался для дротиков, другой — для стрел. Позолоченные резные львы с искаженными в ужасающем оскале мордами и вытянутыми лапами украшали лицевые стороны колчанов. Казалось, зверь ревет и бросается на врага.

Волосы царственных юношей стягивали повязки с изображением королевской кобры, раздувавшей капюшон и извивавшейся кольцами. Каждый из них был одет в тунику с ярко вышитыми рукавами и воротником. Кожаный ремешок с металлической пряжкой, покрытой выгравированными иероглифами, обхватывал их талии. Из-под ремешка выглядывал длинный кинжал с треугольным медным клинком и рукояткой с поперечной насечкой и головой ястреба на конце.

На каждой колеснице ехали также возницы, управлявшие лошадьми во время битвы, и щитоносцы, которые отражали удары и защищали высокородного воина, в то время как сам он стрелял из лука или метал дротики, доставая их из боковых колчанов.

Далее следовала египетская конница — более двадцати тысяч запряженных парой лошадей колесниц с тремя ратниками в каждой. Колесницы эти продвигались по десять в ряд, почти соприкасаясь осями, но никогда не сталкиваясь — столь искусны были их ездовые.

Несколько легких колесниц, предназначенных для разведки и мелких стычек, возглавляли парад. В каждой из них находился только один воин с вожжами, прикрепленными к поясу, чтобы руки оставались свободными во время боя[13]. Небольшими наклонами вправо, влево или назад он подгонял или останавливал лошадей, и это было поистине чудесное зрелище: благородные животные, казалось, предоставленные сами себе, а на самом деле ведомые неуловимыми движениями, сохраняли идеально правильную поступь.

На одной из таких колесниц возвышался красавец Амосис, любимец Нофрэ, и взгляд его блуждал по толпе в поисках Таосер.

Топот с трудом сдерживаемых коней, грохот окованных бронзой колес, металлический лязг оружия придавали шествию, устроенному для того, чтобы вселить ужас в самые неустрашимые души, величественность и грандиозность. Шлемы, перья, щиты, чешуйчатые латы из зеленых, красных и желтых пластин, позолоченные луки и медные мечи угрожающе сверкали и переливались под солнцем, сиявшим над Ливийским хребтом словно огромный глаз Осириса[14]. Наступление такой армии должно сметать целые народы, подобно урагану, что гонит перед собой легкую солому!

Под бесчисленными колесами земля дрожала и глухо гудела, будто надвигалось землетрясение или какое-то другое стихийное бедствие.

Вслед за колесницами в боевом порядке вышагивали пехотинцы со щитом в левой руке и с копьем, луком, кривым мечом[15], пращой или секирой, в зависимости от рода войск, — в правой. Их головы покрывали шлемы с забралами и двумя прядями конского волоса, а затянутые поясами тела — панцири из крокодиловой кожи. Невозмутимость воинов, точность их движений, медно-красные лица, загоревшие в последнем походе по жарким областям Верхней Эфиопии, и толстый слой пыли на доспехах внушали не меньшее восхищение, чем их дисциплина и отвага. С такой армией Египет мог завоевать весь мир. За пехотой следовали войска союзников, которых можно было узнать по варварской форме шлемов, то напоминавших усеченную митру, то увенчанных полумесяцем, насаженным на навершие[16]. Их мечи с широкими лезвиями и тяжелые секиры наносили смертельные раны.

Рабы тащили на плечах или на носилках добычу, о которой поведал глашатай, укротители тянули на поводках гепардов и пантер, прижимавшихся к земле в стремлении спрятаться от шума и толчеи, страусов, хлопавших крыльями, жирафов, чьи длинные шеи возвышались над толпой, и даже бурых медведей, пойманных, как говорили, в Лунных горах[17].

Фараон был уже во дворце, а парад все продолжался.

У трибуны, где расположились Таосер и Нофрэ, фараон, носилки которого плыли над толпой на плечах оэрисов как раз на уровне девушек, лениво задержал на Таосер сумрачный взгляд. Он не повернул головы, ни один мускул не дрогнул на его лице, которое осталось неподвижным, как золотая маска мумии, и все-таки глаза его скользнули меж подкрашенных век в сторону Таосер, и искорка желания оживила темные зрачки. Это было страшно — будто гранитные очи божественного изваяния вдруг зажглись, отразив человеческую мысль. Его рука слегка оторвалась от подлокотника — жест, которого не заметил никто, кроме одного из тех царских приближенных, что сопровождали носилки; глаза царедворца тут же впились в дочь Петамунофа.

Тем временем наступила ночь — внезапно, так как в Египте не бывает сумерек: ночь, или скорее лиловый день, сменяет день желтый. На бесконечно прозрачной синеве неба зажглись бесчисленные звезды. Их отсветы смутно мерцали в нильской воде, растревоженной лодками, которые перевозили людей обратно в Фивы. Когда корабль доставил Таосер к причалу, последние когорты воинов, будто хвост гигантской змеи, еще выползали на равнину.







Глава IV

Фараон прибыл к своему дворцу, расположенному неподалеку от поля для парадов, на левом берегу Нила.

В фиолетово-прозрачной ночи и без того огромное здание казалось совсем необъятным, его угловатый силуэт выделялся на фоне Ливийского хребта. Беспредельное могущество исходило от этих неколебимых громад, которые были неподвластны времени, так же как мрамор — воде.

Большой двор, окруженный мощными стенами с сильно вогнутым карнизом, служил преддверием дворца. В глубине двора две высокие колонны с капителями в виде пальм обозначали вход во второй двор. Позади колонн вздымался гигантский пилон с монументальными воротами. Казалось, они предназначены для того, чтобы пропускать колоссов из гранита, а не людей из плоти и крови. Вслед за этими пропилеями[1] в глубине третьего двора в грозном величии представал сам дворец. Его обрамляли две башни, похожие на крепостные бастионы, с необычайной величины барельефами на фасадах. Эти барельефы — высеченные резцом необъятные страницы гигантской каменной книги, предназначенной далеким по-

томкам, — изображали, как было принято, фараона-победителя, бичевавшего и попиравшего своих врагов.

Обе башни намного превосходили пилон по высоте, их выступающий зубчатый карниз[2] гордо возвышался на фоне Ливийских гор — заднего плана картины. Все промежуточное пространство занимал фасад дворца. Над исполинской дверью, зажатой между сфинксами, светились квадратные окна трех этажей, создавая на темной стене некое подобие шахматной доски. Над первым этажом нависали балконы, опорой которым служили статуи согнувшихся под их тяжестью пленников.

Царские охранники, евнухи[3], слуги и царедворцы, рожками и барабанами оповещенные о прибытии фараона, ожидали его стоя на коленях или распростершись ниц на мощенном плитами дворе. Пленники нечистого племени хеттов[4] вынесли урны, наполненные солью и оливковым маслом с плавающим фитилем, на котором весело потрескивало яркое пламя. Они выстроились шеренгой от входа во дворец до первых ворот и застыли, будто бронзовые канделябры.

Наконец фараон достиг дворца, и подхваченные эхом звуки рожков и барабанов вспугнули дремавших на антаблементе ибисов.

Оэрисы остановились у входа, между двумя башнями. Рабы принесли лесенку с несколькими ступеньками и поставили ее рядом с носилками. Фараон медленно и величественно поднялся и на несколько мгновений замер в совершенной неподвижности. Стоя на пьедестале из человеческих плеч, он возвышался над всеми, точно статуя, и, казалось, был ростом в двенадцать локтей. Причудливо освещенный восходящей луной и светом факелов, в одеянии из ярко сверкавших эмалей и позолоты, он походил на Осириса или, скорее, на Тифона[5]. Затем он спустился по лестнице и направился во дворец.

Минуя толпу рабов и прислужниц, распростершихся ниц, фараон неторопливо пересек первый внутренний двор, окруженный огромными, усыпанными пестрыми иероглифами столбами, которые поддерживали фриз, заканчивавшийся волютами[6].

Он прошествовал во второй двор, опоясанный крытой галереей с приземистыми колоннами; на их кубических капителях из твердого песчаника лежал массивный архитрав[7]. Все линии и формы этой конструкции, сложенной из каменных глыб, несли печать несокрушимости: казалось, столбы и колонны из последних сил стараются удержаться и не рухнуть под навалившимся на них каменным бременем, стены отклоняются для большей устойчивости, а кладка превращается в монолит. Днем разноцветные орнаменты и барельефы придавали этим громадам легкость и изящество, зато ночью они вновь обретали всю свою тяжеловесность.

На карнизе египетского стиля[8], безукоризненная линия которого отсекала от неба обширный темно-синий прямоугольник, мерцали под прерывистым дыханием ветра зажженные на равном расстоянии друг от друга светильники. Их красноватые отблески, смешиваясь с голубым светом луны, отражались в расположенном посреди двора пруду, в котором уже мирно дремали рыбки. Ряды кустов вокруг водоема распространяли слабый и нежный аромат.

В глубине двора открывался вход в гинекей и личные покои фараона, украшенные с особой пышностью.

По верхней части стены простирался фриз с изображением уреев, приподнявшихся на хвосте и раздувших капюшоны. На антаблементе двери, в выемке карниза, мистический шар расправлял огромные чешуйчатые крылья. Симметричные ряды колонн поддерживали массивные балки из гранита с голубыми софитами[9], усыпанными золотыми звездами. Яркие красочные рельефы на гранитных стенах представляли повседневную жизнь гинекея. На одном из них сидящий на троне фараон с серьезным лицом играл в шахматы со своей женой;[10] она стояла перед ним нагая, с широкой лентой на голове, из-под которой свисали гирлянды лотосов. На другой фараон, нисколько не утратив величия и царственной невозмутимости, гладил подбородок протягивавшей ему букет юной девушки, на которой не было ничего, кроме ожерелья и браслетов.

На третьем он неопределенно улыбался, будто не решаясь остановить свой выбор ни на одной из юных цариц, нежно подзадоривавших его самыми кокетливыми и соблазнительными способами.

Остальные рельефы представляли танцовщиц и певиц, а также женщин, которых рабыни растирали в банях благовонными маслами. Искусству более поздних времен оказалось не под силу передать такое изящество поз, пленительность юных форм и благородство черт.

Изысканный и безукоризненный по исполнению орнамент, в котором сочетались зеленый, красный, синий, желтый и белый цвета, заполнял пустоты между картинами. На картушах и лентах, протянутых вдоль стен, можно было прочитать титулы фараона и хвалы в его честь.

По поверхности огромных колонн как бы вращались символические фигуры с пшентами на головах и тау в руках. Они следовали друг за другом, будто участники шествия, а их широко раскрытые глаза на повернутых в профиль лицах, казалось, с любопытством наблюдают за происходящим в зале. Вертикальные линии иероглифов отделяли одного персонажа от другого. Среди зеленых листьев, вырезанных на барабане капители, виднелись выкрашенные в их природные тона бутоны и чаши лотоса, собранные в букеты[11].

Между колоннами на изящных кедровых треножниках[12], покрытых позолотой, стояли наполненные благовонным маслом бронзовые кубки, в которых плавали хлопковые фитили, горевшие ароматным пламенем.

Группы удлиненных ваз, связанных между собой гирляндами, чередовались со светильниками и оживляли подножия колонн букетами из золотых колосьев, полевых трав и душистых цветов.

Посреди залы круглый стол из порфира, подставкой которому служило изваяние пленника, ломился от кувшинов, урн, ваз и горшков. Из ваз вырастал целый лес гигантских искусственных цветов: поскольку живые цветы показались бы жалкими в этом громадном помещении, надо было придать природе соразмерность грандиозному творению человека. Все эти огромные чаши пестрели самыми яркими красками — золотом, лазурью и пурпуром.

В глубине залы возвышался царский трон — кресло, ножки которого причудливо скрещивались и опирались на витые подпорки. В просветах между ножками находились четыре статуэтки пленных варваров — азиатов или африканцев, о чем свидетельствовали их физиономии и одежды. Коленопреклоненные, с локтями, стянутыми за спиной, эти несчастные, неловко согнувшись, смиренно подпирали головами подушку с золотыми, красными и черными квадратами, на которой восседал их победитель. Морды фантастических животных, у которых из пасти вместо языка торчала длинная красная кисточка, украшали сиденье трона с боков[13].

По обеим сторонам от престола выстроились менее роскошные, но не менее изысканные и дивные кресла царевичей — египтяне умели резать по кедру, сикомору и кипарису, украшать, золотить и инкрустировать эмалями самые мелкие предметы столь же искусно, как и вытесывать в карьерах Фил или Сиены чудовищные гранитные блоки, из которых потом возводились дворцы фараонов и святилища богов.

Медленным и величавым шагом, так что его подведенные веки ни разу не дрогнули, царь пересек зал. Он как будто не слышал криков обожания, которыми его встречали, не замечал преклоненных или распростершихся ниц прислужников, чьих лбов касались складки его каласириса. Фараон сел, положив руки на плотно сдвинутые колени, и замер в величественной позе божества.

Братья фараона, прекрасные, как женщины, заняли места справа и слева от него. Слуги освободили их от эмалевых нагрудников и поясов с мечами, смочили волосы благовониями, умастили руки ароматными маслами и преподнесли гирлянды цветов: только что изготовленные пахучие венки — душистое великолепие, более подходящее для праздника, чем тяжелая роскошь золота, драгоценных камней и жемчуга, и к тому же восхитительно красившее царевичей.

Обнаженные рабыни — очаровательные, стройные, отроковицы с тонким пояском на бедрах, нисколько не скрывавшим их прелестей, с цветами лотоса в волосах и с витыми алебастровыми кувшинами в руках, робко приблизились к фараону и принялись орошать пальмовым маслом его гладкие, как яшма, плечи, руки и торс. Другие девушки обмахивали его голову широкими опахалами из страусовых перьев на длинных рукоятках из слоновой кости или сандалового дерева. Согревшись от тепла их рук, сандал начал источать нежный аромат. Третьи, точно кубки амширов, подносили к лицу фараона стебли с распустившимися чашами белой водяной лилии. Все эти почести воздавались с глубоким благоговением и с каким-то почтительным страхом, как бессмертному божеству, который исключительно из жалости снизошел из высших миров в презренное стадо людей. Ибо царь — это сын богов, любимец Фре, хранимый самим Амон-Ра.

Женщины гинекея поднялись с колен и устроились в раскрашенных и позолоченных фигурных креслах, на подушках из красной кожи, набитых пухом чертополоха. Расположившись таким образом, они образовали галерею прекрасных сияющих лиц, которую с удовольствием запечатлел бы живописец.

Некоторые из женщин были в туниках из белого газа в матово-прозрачную полоску с короткими рукавами, оставлявшими на виду изящные округлые руки в браслетах от кисти до локтя; другие, по пояс обнаженные, надели юбочки в темно- и светло-сиреневую полоску, покрытые сеткой из розового стекляруса с картушами, вышитыми в ее ячейках; третьи красовались в алых юбках, унизанных черным жемчугом; четвертые завернулись в легкую, как воздух, и прозрачную, как стекло, ткань, складки которой выгодно подчеркивали безупречную форму их груди; пятые затянулись в облегающие платья, сверкавшие, словно рыбья чешуя, синими, зелеными и красными блестками; были также женщины в длинных платьях с бахромой, чьи талии перетягивали пояса с ниспадавшими до земли концами, а плечи прикрывали длинные плиссированные накидки.

Прически поражали не меньшим разнообразием: заплетенные в косы волосы то укладывались спиралями, то разделялись на три части, из которых одна спускалась вдоль шеи, а две другие — вдоль щек. Объемные, пышные парики с мелкими буклями и многочисленными шнурочками, к которым крепились золотые нити, жемчужные и эмалевые бусинки, сидели, будто шлемы, на прелестных головках юных девушек, прекрасных и без помощи цирюльников.

В руке каждая женщина держала голубой, белый или розовый цветок лотоса и трепещущими ноздрями страстно вдыхала резкий аромат, исходивший от широкой чаши. Стебель такого же лотоса грациозно огибал

головы красавиц и опускал свой бутон между бровями, подчеркнутыми сурьмой.

Чернокожие и белые рабыни, весь наряд которых состоял из обруча на бедрах, предлагали им венки из белых с желтой сердцевинкой крокусов, рыжего сафлора, золотых бессмертников[14], физалиса с красными ягодами, незабудок, которые казались сделанными из той же голубой эмали, что и статуэтки Исиды, непентеса[15], чей пьянящий дурман заставляет забыть все, даже далекую родину.

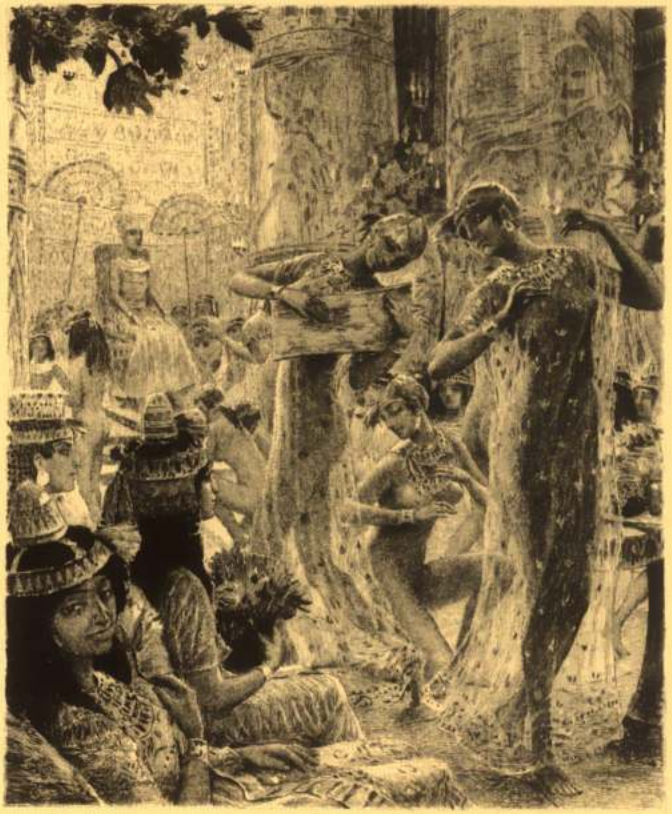
Другие рабыни разносили на повернутой вверх ладони правой руки серебряные и бронзовые кубки, полные вина, а в левой держали салфетки, которыми гости вытирали губы.

Эти вина черпались из глиняных, стеклянных и металлических сосудов, стоявших в красивых плетеных корзинах на подставках с четырьмя изобретательно изогнутыми ножками из легкого и гибкого дерева. В этих сосудах было семь сортов вина из фиников, пальмы и винограда, белое, красное, молодое и зеленое вино[16], вино из Финикии и Греции, и белое вино из Мареотиса[17] с ароматом фиалки.

Фараон также принял чашу из рук виночерпия, стоявшего у подножия трона, и пригубил бодрящий напиток.

И тогда зазвенели арфы, лиры, двойные флейты и мандоры. Они аккомпанировали победной песне, которую начали выстроившиеся перед троном хористки. Стоя на одном колене, они пели и отбивали ладонями ритм.

Из необъятных кухонь дворца, где в адской жаре трудилась тысяча рабов, эфиопы вынесли множество яств и расставили их на одноногих круглых столиках, расположенных на некотором расстоянии от гостей. На блюдах из бронзы, из душистого дерева с тонкой резьбой и из яркой керамики лежали куски говядины, вырезка антилопы, жаренные на вертеле гуси, нильский сом, хлеб, скатанный в длинные трубочки, пироги с кунжутом и медом, зеленые арбузы с розовой мякотью, гранаты, полные рубиновых зерен, виноград цвета янтаря и аметиста. Папирусные гирлянды венчали эти блюда зеленой листвой. Чаши также были увиты цветами, а на центральном столе, посреди покрытых румяной коркой печатных лепешек с рисунками и иероглифами, устремлялась вверх длинная ваза, из которой ниспадал, раскрываясь, как зонт, чудовищных размеров букет из веток и цветов гигантского репейника, мирта, граната, вьюнка, хризантем, гелиотропа, цикория и обвойника — сочетание всех красок, смешение всех запахов! Даже под столами вокруг ножек выстроились горшки с лотосами. Цветы, цветы, цветы, еще цветы, повсюду цветы! Они выглядывали даже из-под кресел пирующих; женщины носили их в руках, на шее, на голове, как браслеты, как ожерелья, как венки; светиль-



ники горели посреди огромных букетов; блюда исчезали под листьями; вина искрились в окружении фиалок и роз — то был безудержный разгул цветов, великая оргия ароматов совершенно особого свойства, неведомая другим народам.

Каждую минуту рабыни приносили из садов, которые они обирали, но не могли разорить, охапки свежего ломоноса, олеандра, граната, сухоцвета, лотоса и заменяли поникшие букеты, в то время как слуги бросали на угли амширов семена лаванды и коричника.

Когда были убраны блюда и ларцы в виде птиц, рыб и химер, в которых подавали соусы и приправы, а также палочки из слоновой кости, бронзы и дерева, медные и кремневые ножи, сотрапезники омыли руки, и чаши с вином и брагой возобновили свое круговращение.

Виночерпий, вооруженный металлическим ковшом с длинной ручкой, разливал вино темное и вино прозрачное из двух украшенных фигурами лошадей и овец золотых ваз, что стояли на треножниках перед фараоном.

Хор удалился, и появились девушки с музыкальными инструментами в руках. Широкие газовые туники скрывали их юные и стройные тела с тем же успехом, с каким чистая вода утаивает формы купальщиц. Гирлянды папируса стягивали их густые волосы и ниспадали до земли, цветы лотоса распускались у них на затылках, крупные золотые кольца сияли в ушах, ожерелья из бус и эмалей обхватывали шеи, а на запястьях, сталкиваясь друг с другом, звенели браслеты.

Одна играла на арфе, другая — на мандоре, третья — на двойной флейте, причудливо скрестив руки: правая рука держала левую флейту, а левая — правую. Четвертая музицировала на пятиструнной лире, прижатой к груди в горизонтальном положении. Пятая била в квадратный барабан, обтянутый кожей дикого осла. Маленькая обнаженная девочка семи или восьми лет с цветами в волосах и пояском на талии, хлопала в ладоши, отбивая ритм.

Настал черед танцовщиц, тонких, стройных и гибких, как змеи. Их большие глаза сверкали меж черных линий век, а перламутровые зубы — меж алых губ; длинные косы спиралями вились вдоль щек. Некоторые девушки были в просторных туниках в белую и голубую полоску, стелящимися вокруг них, словно туман; другие надели только простые плиссированные юбочки от бедер до колен, позволявшие любоваться их тонкими изящными ножками и сильными округлыми бедрами.

Они начали с неторопливо-сладострастных и грациозно-медлительных движений. Затем взмахнули цветущими ветвями, встряхнули бронзовыми трещотками с головой Хатхор, застучали в литавры маленькими ку-

лачками, ударили большими пальцами в загудевшую дубленую кожу тамбуринов и пустились в более быстрый танец со смелыми изгибами. Они делали пируэты, размашистые жете[18] и кружились со все возрастающим задором. Но погруженный в думы и мечты фараон не удостоил их ни малейшим знаком одобрения, его застывшие глаза даже не двинулись в их сторону.

Запыхавшиеся танцовщицы удалились, смущенные и покрасневшие, прижимая руки к груди.

Горбатые и уродливые карлики с кривыми ногами, чьи гримасы обычно смешили даже твердокаменного царя, также не снискали успеха — их кривляние не вызвало у него даже тени улыбки, ни разу не дрогнули уголки его губ.

Под звуки странной музыки, издаваемой треугольными арфами, систрами, трещотками, литаврами и рожками, вышли вперед египетские шуты, коронованные высокими белыми митрами причудливой формы. Выставив вперед по три пальца на каждой руке, они двигались нарочито скованно, как автоматы, и распевали фривольные песенки, сопровождая пение неблагозвучными аккордами. Фараон остался недвижим.

Женщины в маленьких шапочках, с которых свисали по три шнурка с кисточками, в узких трико на одной лямке, с повязками из черной кожи на запястьях и лодыжках, показали чудеса силы и ловкости, одно удивительнее другого: они наклонялись назад, сгибали как ветку ивы свое тело, не отрывая пяток от пола доставали до него затылком и выдерживали в этой невозможной позе вес своих товарок. Другие жонглировали одним, двумя, тремя шарами, перебрасывали их вперед, назад, скрестив руки, взобравшись на лошадь или на плечи одной из гимнасток. Самая ловкая, в наглазниках, чтобы ничего не видеть, как Тмея, богиня правосудия[19], ловила мячи, не роняя ни одного. Эти трюки также не тронули фараона. Не пришлась ему по вкусу и храбрость двух сражавшихся на палках бойцов, чьи левые руки защищали кожаные цесты[20]. Тем более не позабавили его воины, которые метали в кусок дерева ножи, чудесным образом втыкавшиеся острием точно в цель. Он оттолкнул даже шахматную доску, когда прекрасная Твея, на которую он обычно взирал благосклонно, предложила ему сыграть партию. Аменса, Тайя и Онт-Реше отважились было на робкие ласки, но тщетно — он поднялся и, не проронив ни слова, удалился в свои покои.

На пороге неподвижно стоял царедворец, заметивший во время триумфального шествия неуловимый жест своего господина.

Он сказал:

— О царь, любимый богами! Я отстал от кортежа, пересек Нил на хрупкой папирусной лодке и проследил за женщиной, на которую соблаго-

волил упасть твой ястребиный взгляд. Это Таосер, дочь покойного жреца Петамунофа!

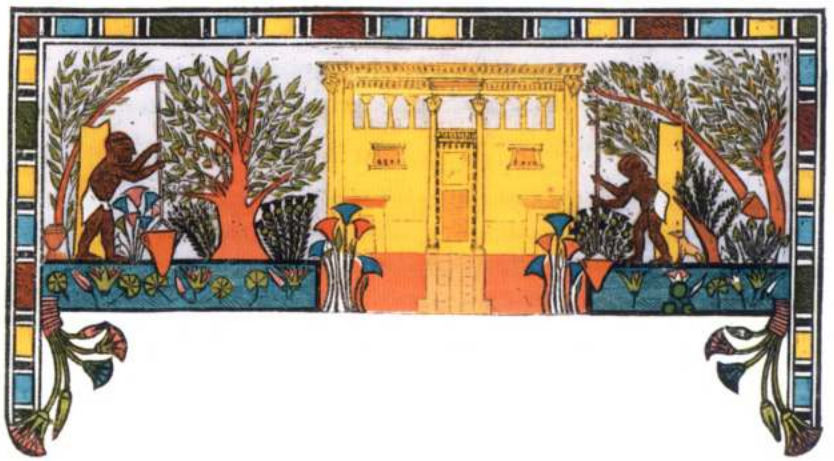
Фараон улыбнулся и произнес:

– Хорошо! Жалую тебе повозку и лошадей, нагрудник из ляпис-лазури и сердолика, а также золотой обруч, весом с гирю из зеленого базальта[21].

Тем временем расстроенные женщины, выдергивая цветы из своих париков и разрывая газовые платья, рыдали, распростершись на полированных плитах, в которых как в зеркале отражались их совершенные тела:

– Не иначе, как одна из проклятых пленниц-дикарок похитила сердце нашего повелителя!





Глава V

На левом берегу Нила простиралось поместье Поэри[1], того самого молодого человека, что так взволновал Таосер, когда по пути на торжественную встречу фараона она проезжала под балконом, о который небрежно облокотился прекрасный мечтатель.

Обширное имение, состоявшее из угодий и усадьбы, раскинулось между берегом реки и первыми отрогами Ливийского хребта. Во время наводнений эти земли заливали красноватые воды, несущие плодородный ил, в другое время года влажность на них поддерживали искусно проложенные оросительные каналы.

Сад, хлебные амбары, винные погреба и дом окружала слегка сужающаяся кверху стена из известковых камней, добытых в соседних горах, а по ее верху проходил акротерий[2] с металлическими зубьями, способными остановить любого беглеца или злоумышленника. Трое ворот со створками, прикрепленными к массивным столбам, каждый из которых был украшен гигантским цветком лотоса, водруженным на вершину капители, с трех сторон прерывали стену. На месте четвертых ворот воз-

вышался особняк, выходивший одним фасадом в сад, а другим — на дорогу.

Этот особняк никоим образом не походил на фиванские дома: архитектор, построивший его, не стремился к фундаментальности и величавости линий, не использовал дорогих материалов; он искал легкость, простоту и изящество, не нарушающих гармонии с природой и сельской тишиной.

Фундамент, который затоплялся во время больших разливов, был из песчаника, остальная часть дома — из сикомора. Высокие, изумительной стройности точеные колонны, похожие на мачты со знаменами перед царским дворцом[3], начинались от земли и одним броском устремлялись к карнизу с пальметтами, расширяясь наверху капителями в виде чаши лотоса.

Между вторым этажом и крышей располагалась просторная терраса. Четверки небольших столбиков с капителями в виде цветов перемежались высокими колоннами, образуя нечто вроде обзорной галереи этих, так сказать, воздушных, открытых всем ветрам покоев.

Сужающиеся кверху, согласно египетской моде, окна с двойными ставнями пропускали свет на второй этаж. Окна первого этажа располагались более часто и были не такими широкими.

Над дверью, украшенной двумя египетскими карнизами, виднелся изображенный на фоне сердца крест в четырехугольнике, усеченном в своей нижней части так, чтобы осталось место для сулящего благополучие знака, смысл которого известен каждому: «Обитель добра»[4].

Вся эта постройка была выкрашена в нежные, веселые тона: на капителях чередовались вырывающиеся из зеленых коробочек синие и розовые лотосы; покрытые золотым лаком пальметты поблескивали на лазурном фоне карниза; на белых стенах фасада выделялись расписные оконные наличники; тонкие линии красного и нежно-зеленого[5] цветов создавали на стенах целые картины или маскировали стыки камней.

Вдоль стен, с двух сторон примыкавших к дому, выстроилась шеренга стриженых деревьев с остроконечными верхушками, которая служила заслоном против пыльного южного ветра, дышавшего зноем пустыни.

Перед особняком зеленела обширная плантация винограда. К каменным колоннам с капителями-лотосами вели проложенные в винограднике аллеи, пересекавшиеся под прямым углом. Лозы протягивали друг другу гирлянды листьев, образуя анфиладу зеленых арок, под которыми можно было гулять, выпрямившись в полный рост. Бурая земля, тщательно обработанная и насыпанная холмиками под каждым растением, подчеркивала радостную, пронизанную солнечными лучами зелень листвы с резвящимися в ней птицами.

По прозрачному зеркалу двух прудов, протянувшихся слева и справа от усадьбы, меж цветов скользили водоплавающие птицы. По углам каждого пруда четыре больших пальмы разворачивали, будто зонт, на вершине чешуйчатых стволов зеленый ореол листьев.

Сад вокруг виноградника был разбит на участки, аккуратно очерченные узкими дорожками, которые служили границами между разными культурами. Вдоль некоего подобия окружной аллеи, огибавшей весь сад, дум-пальмы чередовались с сикоморами. Сами же участки в основном заросли фиговыми, персиковыми, миндальными, оливковыми, гранатовыми и прочими плодовыми деревьями и лишь частично декоративными растениями — тамариксом, акацией, кассией[6], миртом, мимозой и несколькими редкими видами, найденными за водопадами Нила, под тропиком Рака, в оазисах Ливийской пустыни и на берегах Эритрейского залива[7]. Дело в том, что египтяне, питавшие истинную страсть к разводению кустарников и цветов, требовали у побежденных народов новые сорта в качестве дани[8].

На грядках росли цветы, арбузы, люпины и лук всех разновидностей и сортов. На двух больших прудах, которые с помощью подземного канала пополнялись нильской водой, стояли маленькие лодки, дабы хозяин дома мог рыбачить в свое удовольствие. В прозрачной воде между стеблями и широкими листьями лотоса плескались рыбы разнообразных форм и расцветок. Роскошная растительность окружала пруды и отражалась в их зеленой глади.

У каждого пруда располагалась беседка — легкая кровля на невысокой колоннаде — открытая терраса, позволявшая любоваться пейзажем и наслаждаться утренней и вечерней прохладой, полулежа в непритязательных креслах из дерева или тростника.

Этот сад, озаренный светом нарождающегося дня, вызывал ощущение радости, покоя и благоденствия. Зелень деревьев и краски цветов были столь необузданными, воздух и солнце так весело омывали обширные угодья ветерком и лучами, а пышная, свежая листва создавала столь резкий контраст с изможденной белизной и меловой знойностью Ливийского хребта, гребень которого, кромсавший голубизну неба, виднелся поверх садовой стены, что хотелось раскинуть здесь свой шатер и остаться навсегда. Иными словами, то был райский уголок, воплощение мечты о счастье.

По аллеям сада сновали слуги, таскавшие на плечах деревянные коромысла, с концов которых свисали глиняные кувшины на веревках. Они наполняли их водой из резервуаров и выливали в маленькие канавки, вырытые вокруг ствола каждого растения. Другие черпали воду большим

горшком, привязанным к длинному журавлю, и наполняли деревянный желоб, доставлявший воду в самые засушливые уголки сада. Садовники подрезали деревья, придавая им круглую или овальную форму. С помощью мотыги, сделанной из двух кусков твердого дерева, связанных веревкой и образующих крюк, работники, низко склонившись к земле, готовили почву для новых насаждений.

Чарующее зрелище — мужчины с черной курчавой шевелюрой и телом кирпичного цвета, в простых белых штанах, деловито, без суеты, передвигались среди зелени, распевая нехитрые песни в такт своим движениям. Птицы на деревьях, казалось, узнавали их и не торопились взлетать, когда работники на ходу задевали ветки.

Дверь усадьбы распахнулась, и на пороге появился Поэри. Хотя он одевался по местной моде, с первого взгляда становилось ясно, что он нисколько не похож на представителя коренной расы долины Нила. Безусловно, он не принадлежал к ремеч[9]. Его изящный орлиный нос, удлиненный овал лица, тонкие и плотно сжатые губы не имели ничего общего с африканским носом, толстыми губами и широкими скулами, характерными для египтян. Цвет кожи также отличался: вместо красновато-медного — бледно-оливковый с легким розовым оттенком, который придавала ему благородная молодая кровь. Вместо гагатовых зрачков между темными линиями сурьмы сияли темно-синие, как вечернее небо, глаза; шелковистые волосы вились мягкими послушными волнами. Его плечи не повторяли жесткие, прямые линии египетских статуй в храмах или фигур на фресках в усыпальницах.

Все эти особенности составляли редкую красоту, к которой дочь Петамунофа не осталась равнодушной. С того дня, когда она увидела Поэри на балконе усадьбы — его любимом месте отдыха, она, ссылаясь на желание прогуляться, не раз возвращалась туда и всякий раз стремилась проехать мимо в своей повозке.

Она надевала самые тонкие туники, украшала шею самыми дорогими ожерельями, запястья — браслетами искуснейшей чеканки, а голову — свежими цветами лотоса, продлевала до висков черную линию глаз и оживляла румянами щеки, но, несмотря на это, Поэри ни разу не обратил на нее внимания. Меж тем Таосер была прекрасна; за любовь, которую не замечал или которой пренебрегал задумчивый хозяин усадьбы, фараон заплатил бы очень дорого. Он отдал бы за дочь жреца Твею, Тайю, Аменсу, Онт-Реше, пленных азиатов, серебряные и золотые вазы, ожерелья из самоцветных камней, боевые колесницы, непобедимую армию, скипетр — все, вплоть до гробницы, над которой с начала его царствования трудились тысячи рабочих![10]



Любовь в гиперборейской стороне[11], где зима внушает хладнокровие и навевает покой, — не та, что в жарких странах, опаляемых жгучим ветром: здесь в жилах течет не кровь, а огонь. Таосер чахла и угасала, хоть и окружала себя цветами, дышала благовониями и пила напитки, заставляющие обо всем забыть. Музыка наводила на нее тоску или сверх меры умножала ее чувствительность; она не находила никакого удовольствия в танцах своих подруг. Ночью сон бежал от ее глаз, а грудь, переполненная вздохами, теснилась и трепетала — и Таосер покидала роскошное ложе, и падала на широкие плиты, и всем телом прижималась к граниту, словно желая впитать его прохладу.

В ночь после триумфального возвращения фараона Таосер почувствовала себя столь несчастной и опустошенной, что решила умереть, но перед смертью испытать последнее средство.

Она завернулась в простую ткань, оставила на руке только один браслет из душистого дерева, спрятала лицо под полосатым покрывалом, и в предрассветных сумерках выскользнула из комнаты так тихо, что Нофрэ, мечтавшая о прекрасном Амосисе, ничего не услышала. Затем Таосер пересекла сад, отодвинула засов на воротах, прошла к причалу, растолкала гребца, дремавшего на дне папирусного челнока, и переправилась на другой берег.

Пошатываясь и прижимая маленькую ручку к сердцу, чтобы сдержать его биение, она приблизилась к дому Поэри.

Рассвело, и ворота открылись, выпуская упряжки быков в поле и стада на пастбища.

Таосер опустилась на колени и умоляюще воздела руку над головой. В этой смиренной позе и нелепом бедном наряде она была еще прекраснее. Ее грудь трепетала, слезы текли по бледным щекам.

Поэри заметил ее и принял за ту, кем она являлась на самом деле, — за очень несчастную женщину.

— Входи, — сказал он, — и ничего не бойся, в моем доме всегда рады гостям.







Глава VI

Ободренная приветливостью Поэри, Таосер поднялась с колен. Ее бледные щеки стали ярко-розовыми — самолюбие заговорило в ней вместе с надеждой. Она покраснела от стыда за странные поступки, на которые подвигла ее любовь, и застыла в нерешительности у порога, который столько раз пересекала в своих мечтах: от столкновения с реальностью в ней заговорила девичья стыдливость, приглушенная было страстью.

Юноша подумал, что только робость, спутница бедности, мешает Таосер пройти в дом, и мелодичным и мягким голосом, в котором слышался чужеземный акцент, произнес:

— Входи, девушка, и ни о чем не беспокойся, мое жилище достаточно просторно, чтобы дать тебе приют. Если ты утомлена, отдохни. Если хочешь пить, мои слуги принесут чистой прохладной воды, если голодна — подадут пшеничный хлеб, финики и инжир.

Дочь Петамунофа, осмелев от ласковых слов, вошла в дом, дух которого вполне соответствовал начертанному над его дверью иероглифу.

Поэри провел девушку в комнату первого этажа. Стены ее покрывала белая штукатурка с приятным для глаз узором из зеленых стрелок с цветами лотоса на концах. Тонкая тростниковая циновка с симметричным разноцветным рисунком устилала пол; по углам в длинных вазах на тумбах стояли большие букеты цветов, наполнявших ароматом прохладное, затененное помещение. У дальней стены низкая деревянная кушетка с широкой подушкой, украшенная резными листьями и фантастическими животными, как бы приглашала забыться и отдохнуть. Два глубоких кресла из нильского тростника с откидными спинками, деревянная трехногая табуретка в виде раковины, продолговатый стол, также на трех ножках, инкрустированный по краям и расписанный в центре уреями, гирляндами ветвей и символами земледелия, ваза с розовыми и голубыми лотосами дополняли это по-сельски простое и уютное убранство.

Поэри сел на кушетку. Таосер, подогнув одну ногу под себя и согнув другую в колене, опустилась на пол перед юношей, который смотрел на нее с вопрошающей благожелательностью.

Девушка выглядела восхитительно: газовое покрывало сползло с затылка, открыв пышные густые волосы, перевязанные узкой белой ленточкой, и нежное, прелестное и грустное личико. Туника без рукавов оставляла изящные руки обнаженными до плеч, давая им полную свободу движений.

— Меня зовут Поэри, — представился молодой человек, — я поставщик царского двора и в дни торжеств имею право носить на парике позолоченные бараньи рога.

— А меня — Хора, — ответила Таосер, заранее сочинившая маленькую легенду. — Мои родители умерли, и нашего распроданного заимодавцами имущества хватило только на похороны. Я осталась одна и без средств. Но если ты сможешь меня приютить, я отблагодарю тебя за гостеприимство: меня обучали рукоделию, хотя до сих пор жизнь не вынуждала меня применять эту науку. Я умею прясть, ткать разноцветное полотно, делать искусственные цветы и вышивать орнаменты. Я могла бы даже, когда ты устанешь или тебя разморит дневная жара, развлечь тебя песней и игрой на арфе или мандоре.

— Добро пожаловать в мой дом, Хора, — молвил юноша. — Здесь найдется работа, которая не покажется тяжелой такой хрупкой девушке, как ты. Здесь будет чем заняться той, что знавала хорошие времена. Среди моих служанок есть приятные и умные девушки. Они станут тебе добрыми подругами и покажут, как устроена жизнь в нашей сельской обители. Так дни потекут за днями, и, быть может, случится в твоей жизни перемена к лучшему; а нет, так ты можешь жить у меня до старости в довольстве и покое: гость, посланный богами, — священный гость[1].

С этими словами Поэри встал, словно желая уклониться от благодарностей лже-Хоры, которая бросилась к его ногам и стала целовать их, как делают несчастные, когда им оказывают великую милость. Но влюбленная взяла верх над просительницей, и ее влажные розовые губы с трудом оторвались от прекрасных ног, чистых и гладких, как ноги божества из яшмы.

Перед тем как выйти, чтобы проследить за работами в саду, Поэри обернулся и предупредил Хору:

— Побудь здесь, пока тебе приготовят комнату. Я пришлю поесть с кем-нибудь из слуг.

И он удалился спокойным шагом, покачивая плетью. Работники кланялись ему, положив одну руку на голову и опустив другую к земле; сердечность их приветствий как нельзя лучше говорила о том, что они любят его как доброго хозяина. Несколько раз Поэри останавливался, что-то приказывая или советуя, ибо он знал толк в садоводстве, затем шел дальше, поглядывая то направо, то налево и внимательно за всем наблюдая. Таосер проводила его до двери, потом покорно устроилась на пороге, положив локоть на колено и подперев ладонью подбородок, и не спускала с юноши глаз, пока он не затерялся под зелеными сводами. Поэри уже давно вышел через ворота в поле, а она все смотрела ему вслед.

По приказу, отданному Поэри, слуга принес на блюде гусиную ножку, печенные в золе луковицы, пшеничную лепешку и инжир, а также кувшин воды, прикрытый листьями мирта.

— Это прислал тебе хозяин. Ешь, девушка, набирайся сил.

Таосер и не помышляла о еде, но роль требовала, чтобы она изобразила голод. Бедняки должны набрасываться на то, что подают им из жалости, и она стала есть и жадными глотками пить студеную воду.

Когда слуга удалился, Таосер вновь приняла созерцательную позу. Тысяча противоречивых мыслей кружилась в ее юной головке; то целомудрие заставляло ее раскаиваться в совершенном поступке, то страсть рукоплескала смелости. Затем она говорила себе: «Я и в самом деле здесь, под крышей Поэри, я буду видеть его каждый день без помех, буду безмолвно упиваться его нечеловеческой, божественной красотой, слушать чарующий голос, созвучный музыке души, а он... Он ни разу не обратил на меня внимания, когда я проезжала под его балконом в самых ярких одеяниях, в изысканнейших драгоценностях, в благоухании цветов и масел, на разукрашенной и позолоченной повозке с зонтиком, окруженная, как царица, свитой слуг... Заметит ли он ту, которую приютил из жалости, — бедную страдалицу в простой одежде?

Сумеет ли нищета сделать то, что оказалось не под силу богатству? Может, я безобразна, а Нофрэ льстит, утверждая, что от неведомых исто-

ков Нила[2] до устья, где он впадает в море, нет девушки прекрасней, чем ее хозяйка... Нет, я красива! Мне это тысячу раз говорили горящие глаза мужчин, а еще больше — раздосадованный вид и высокомерные, недовольные физиономии женщин. Поэри, разбудивший во мне такую безумную страсть, — полюбит ли он меня когда-нибудь? Он так же приветливо принял бы старуху с морщинистым лбом и впалой грудью, в безобразных отрепьях и с черными от пыли пятками. Любой другой мгновенно узнал бы под обманным нарядом Хоры дочь верховного жреца Петамунофа; а он смотрел на меня, словно базальтовое божество — на богомольцев, приносящих в жертву куски антилопы и букеты цветов».

Эти и подобные им размышления обескураживали Таосер. Затем она вновь собиралась с духом и убеждала себя, что ее красота, молодость и любовь в конце концов растопят ледяное сердце юноши: она будет так ласкова, внимательна и преданна, так изобретательна и привлекательна, что, конечно, Поэри не устоит, несмотря на ее простое платье. И тогда она откроет ему, что скромная служанка — на самом деле благородная девушка, владелица рабов, земель и дворцов. И Таосер воображала уже, как после блаженной безвестности потечет ее полная счастья безмятежная и лучезарная жизнь.

— Но прежде всего я должна быть красивой, — произнесла она вслух, поднялась и направилась к ближайшему пруду.

Подойдя к каменному бордюру, Таосер опустилась на колени, омыла лицо, шею и плечи. Потревоженная вода отразила в своем разбитом на тысячи кусков зеркале ее полное смущения и трепета лицо, улыбавшееся сквозь зеленую пленку ряски, а мальки, заметив ее тень, решили, что им сейчас достанется несколько крошек, и стайками устремились наверх.

Она сорвала с поверхности пруда несколько цветков лотоса, перекрутила их стебли вокруг ленточки на своих волосах и таким образом изобрела прическу, с которой не шли ни в какое сравнение самые искусные ухищрения Нофрэ вкупе со всеми украшениями.

Когда она закончила и, посвежевшая и просветленная, встала на ноги, ручной ибис, сурово наблюдавший за ней, приподнялся на длинных лапках, вытянул шею и захлопал крыльями, будто аплодируя ее красоте.

Таосер вернулась на свой пост у дверей усадьбы и села в ожидании Поэри. Небо было ярко-синим, в прозрачном воздухе колыхались почти осязаемые волны света. От цветов и растений исходил пьянящий запах. Птицы прыгали среди ветвей в поисках ягод. Бабочки порхали и гонялись друг за другом. Это радостное зрелище еще больше оживлялось и одухотворялось благодаря занятым своими делами людям. То тут, то там появлялись садовники; одни слуги возвращались с охапками зелени и грудами овощей, другие, стоя под смоковницами, ловили в корзины пло-



ды, которые бросали им дрессированные обезьяны[3], забравшиеся высоко на деревья.

Таосер с восхищением созерцала первозданную природу, умиротворявшую ее душу, и думала: «О! Как прекрасно быть любимой здесь, среди солнечного света, ароматов и цветов!»

Появился Поэри. Он закончил обход угодий и вернулся в свою комнату, чтобы провести здесь самое жаркое время дня. Таосер робко проследовала за ним и встала у двери, готовая уйти по малейшему знаку, но Поэри велел ей остаться.

Она приблизилась к нему и преклонила колени.

— Ты говорила, Хора, что умеешь играть на мандоре. Возьми ее и спой мне что-нибудь старинное и медленное, ласковое и нежное. После такой колыбельной сон наполняется прекрасными видениями.

Дочь жреца сняла со стены мандору, подошла к ложу, на котором, откинув голову на деревянное изголовье в виде полумесяца, вытянулся Поэри, прижала инструмент к взволнованной груди и, ударив по струнам, взяла несколько аккордов. Затем она запела хорошо поставленным, хотя и немного дрожавшим голосом старую египетскую песню — смутные жалобы предков, передававшиеся из поколения в поколение. В ее припеве все время повторялась одна немудреная фраза, проникавшая в самое сердце.

— Да, — Поэри повернул темно-синие глаза в сторону девушки, — ты сказала правду. Ты разбираешься в ритмах, как настоящий музыкант, и вполне могла бы выступать в царских дворцах. Но тебе удалось придать песне новое звучание. Можно подумать, что ты сама сочинила этот мотив и вдохнула в него волшебную прелесть. Твое лицо уже совсем не такое, как утром; словно другая женщина просвечивает сквозь тебя, как солнце сквозь дымку облаков. Кто ты?

— Я Хора, — ответила Таосер. — Разве не рассказала я тебе свою историю? Я только стерла с лица дорожную пыль, разгладила складки помятого платья и украсила волосы стебельком лотоса. Бедность не повод, чтобы быть уродливой, а боги иногда и богатым отказывают в красоте. Не соблаговолишь ли ты слушать дальше?

— О да! Спой эту песню еще раз, она завораживает, приводит в оцепенение и заставляет забыть обо всем, как чаша непентеса. Пой ее до тех пор, пока сон не сморит меня.

Глаза Поэри, поначалу смотревшие на Таосер, вскоре смежились, а затем крепко закрылись. Девушка продолжала перебирать струны, повторяя все тише и тише припев своей песни. Поэри спал. Она умолкла, взяла со стола опахало из пальмовых листьев и принялась обмахивать спящего.

Поэри был прекрасен, а сон придавал его благородным чертам удивительное выражение наивности и неги. Длинные пушистые ресницы, опустившиеся на щеки, казалось, прятали небесные картины, а красивые полуоткрытые губы дрожали, будто безмолвно обращались к кому-то невидимому.

Долго любовалась им Таосер, а потом тишина и уединение придали ей смелости — забыв обо всем, она склонилась над спящим и, задержав дыхание и прижав руку к сердцу, боязливо, украдкой, чуть коснувшись, поцеловала его в лоб. Затем она выпрямилась и густо покраснела от смущения.

Сквозь сон юноша ощутил прикосновение губ Таосер. Он глубоко вздохнул и пробормотал на древнееврейском:

— О Рахиль, моя любимая Рахиль!

К счастью, эти слова на незнакомом языке не имели никакого смысла для дочери Петамунофа, и она снова взялась за опахало, надеясь и боясь, что Поэри проснется.







Глава VII

Когда наступило утро, Нофрэ, спавшая на низенькой лежанке у ног своей госпожи, поразилась, что не слышит, как Таосер по обыкновению зовет ее, хлопая в ладоши. Она приподнялась на локте и увидела, что постель хозяйки пуста. Тем временем лучи солнца, достигнув фриза на портике, только-только начали отбрасывать на стену тень капителей и верхней части колонн. Таосер никогда не вставала так рано и тем более не покидала ложе без помощи своих горничных. Первым делом она приводила в порядок прическу, затем, встав на колени и прижав руки к груди, ополаскивала свое прекрасное тело потоками душистой воды и только потом выходила из покоев.

Обеспокоенная Нофрэ накинула на плечи прозрачную тунику, надела сандалии из пальмового волокна и пустилась на поиски госпожи.

Сначала служанка прошла под портиками двух дворов, думая, что, может быть, Таосер не спалось и она отправилась подышать утренней прохладой.

Но Таосер там не оказалось.

«Пойду в сад, — решила Нофрэ, — вдруг ей вздумалось посмотреть, как блестит утренняя роса на листьях и как распускаются цветы».

В саду не было ни души. Нофрэ напрасно обыскивала аллеи, аркады, кусты, заросли. Она вошла в беседку, расположенную в конце аллеи из виноградных лоз, но и там не нашла Таосер. Она побежала на пруд, где иногда из прихоти ее госпожа купалась в обществе подруг над гранитной лестницей, спускавшейся от края водоема до его песчаного дна. Широкие листья белой лилии плавали по поверхности и казались нетронутыми. Только селезни бороздили спокойную воду и погружали в нее лазурные шеи; завидев Нофрэ, они радостно закрякали. Верная служанка забеспокоилась не на шутку и подняла на ноги весь дом. Прислужницы, как одна, выскочили из своих каморок и, узнав от Нофрэ о странном исчезновении Таосер, бросились на поиски. Они поднялись на крышу, тщательно обшарили все комнаты и чуланы, проверили каждый закуток. Испуганная и встревоженная Нофрэ открыла даже сундуки с нарядами и ларцы с драгоценностями, будто ее госпожа могла там спрятаться.

Решительно, Таосер в доме не было.

Тяжелые засовы ворот, которые вели в город, оставались на месте, а значит, Таосер ушла другим путем. И тут один старый, опытный и проницательный слуга предложил поискать следы юной госпожи на песчаных дорожках сада. Правда, Нофрэ необдуманно пробежала по всем аллеям, оставив на них отпечатки своих сандалий, но, наклонившись к земле, старый Сухем почти сразу различил между ними легкий оттиск миниатюрной и тонкой ступни, принадлежавший ножке куда более изящной, чем нога служанки. Он пошел по следам, и те привели его к выходу на причал. Засовы, на что он сразу указал Нофрэ, были отодвинуты, и створки не раскрылись только за счет собственной тяжести — видимо, именно здесь выпорхнула дочь Петамунофа.

Дальше след терялся. Кирпичная набережная не сохранила никаких отпечатков. Лодочник, который перевез Таосер, еще не вернулся. Другие речники спали и на все расспросы отвечали, что ничего не видели. Только один сказал, что какая-то бедно одетая женщина, видимо простолюдинка, отправилась рано утром на другой берег реки, в Мемнонию, наверное, чтобы совершить какой-нибудь погребальный обряд.

Приметы никак не совпадали с прекрасной Таосер, и это свидетельство окончательно сбило с толку Сухема и Нофрэ.

Они вернулись в дом грустные и напуганные. Слуги и прислужницы пали на колени в скорбной позе, вытянув одну руку вперед с повернутой к небу ладонью, а другую приложив ко лбу, и жалобным хором вскричали:

— Горе! Горе! Горе! Госпожа пропала!

– Клянусь Омсом, адским псом! Я ее разыщу, – изрек старик Сухем, – даже если будет надо дойти до западной страны[1], куда попадают только мертвые. Таосер – добрая госпожа, она досыта нас кормила, не заставляла через силу работать, а если и наказывала, то справедливо и не слишком строго. Ее нога не обременяла наши склоненные выи, ее раб мог считать себя свободным.

– Горе! Горе! Горе! – повторяли мужчины и женщины, посыпая головы пылью.

– Увы! Милая госпожа, кто знает, где ты сейчас? – заливалась слезами верная служанка. – Может, злой волшебник заставил тебя выйти из дворца каким-нибудь могущественным заклинанием, чтобы навести на тебя гнусную порчу? Он искромсает твое прекрасное тело, вырежет сердце, как парасхит[2], бросит останки прожорливым крокодилам, и твоя искалеченная душа разыщет в день воссоединения только обезображенные кусочки. Ты не возляжешь в глубине сиринги, чертеж которой хранится у колхита, рядом с разрисованной и позолоченной мумией твоего отца, верховного жреца Петамунофа, в приготовленном для тебя погребальном зале!

– Успокойся, Нофрэ, – остановил ее Сухем, – не будем раньше времени отчаиваться. Может, Таосер скоро вернется. Без сомнения, ей взбрела в голову какая-нибудь фантазия, и она вот-вот появится с цветами в руках и радостной улыбкой на устах.

Служанка, вытирая глаза краем подола, кивнула в знак согласия.

Сухем скорчился, согнув колени, как павиан, высеченный из базальта, и глубоко задумался, сжимая виски сухими ладонями.

Загорелое с красноватым оттенком лицо, глубокие впадины глаз, выдающиеся вперед челюсти, щеки, изборожденные резкими морщинами, жесткие волосы, обрамлявшие лицо, будто шерсть, делали его похожим на богов с обезьяньими головами. Богом он, конечно, не был, зато сильно напоминал макаку.

Ожидание Нофрэ тянулось томительно долго, и наконец старик произнес:

– Дочь Петамунофа влюбилась!

– Кто тебе сказал? – вскрикнула Нофрэ, считавшая, что она одна может читать в душе своей госпожи.

– Никто. Но Таосер прекрасна, и она уже шестнадцать раз видела, как разливаются и отступают воды Нила. Шестнадцать – это эмблематическое число наслаждения, и уже давно в неурочное время она призывает арфисток, флейтисток и певиц, как тот, кто хочет успокоить печаль своего сердца музыкой.

– Твои слова умны, в твоей старой седой голове живет мудрость. Но когда ты успел познать женщин, если ты только и делаешь, что мотыжишь землю в саду и таскаешь на плечах кувшины с водой?

Раб растянул губы в молчаливой улыбке, показав две шеренги длинных белых зубов, способных перемалывать косточки фиников, и сия гримаса как бы говорила: «Не всю жизнь я был старым невольником».

Озаренная догадкой Сухема, Нофрэ тут же вспомнила о прекрасном Амосисе, оэрисе фараона, который очень часто проходил под их террасой и так замечательно смотрелся на боевой колеснице во время триумфального шествия. Она сама безотчетно обожала его и приписывала свои чувства хозяйке. Наскоро облачившись в менее легкомысленное платье, Нофрэ отправилась в дом военачальника. Именно там, как она вообразила, непременно должна была находиться Таосер.

Молодой оэрис сидел на низком кресле в глубине комнаты. По всем стенам висело оружие и доспехи: кожаный панцирь с чешуей из бронзовых пластинок, выгравированный картуш, медный кинжал с прорезями для пальцев на нефритовой рукоятке, боевой топор с кремневым лезвием, узкая изогнутая секира, шлем с двумя страусовыми перьями, треугольный лук и стрелы с красным оперением. Тут же на подставках лежали почетные награды, а в открытых ларцах — добытые у врагов трофеи.

Когда Нофрэ, которую Амосис хорошо знал, предстала перед ним, он ощутил сильное и приятное волнение: его смуглые щеки покраснели, тело напряглось, а сердце затрепетало. Хотя дочь Петамунофа никогда не отвечала на его знаки внимания, он возомнил, что Нофрэ принесла какое-нибудь послание от Таосер. Все мужчины, которых боги одарили красотой, считают, что женщины не в силах устоять перед ними.

Он поднялся и подошел к Нофрэ, чей беспокойный взгляд обшаривал углы в поисках Таосер.

— Что привело тебя сюда, Нофрэ? — Амосис первым нарушил молчание. — Надеюсь, твоя госпожа здорова, ведь я, кажется, видел ее вчера на торжественном шествии.

— Тебе лучше знать, чем мне, как чувствует себя моя госпожа, — ответила Нофрэ. — Она исчезла из дома, никого не посвятив в свои планы. Клянусь Хатхор, я думала, она у тебя.

— Исчезла?! Что ты такое говоришь? — воскликнул Амосис с удивлением, которое явно не было наигранным.

— Я решила, что она влюбилась в тебя, — призналась Нофрэ. — Иногда и самые скромные девушки теряют голову. Так ее здесь нет?

— Божественный Фре все видит и знает, где она. Но даже он своими лучами с пальцами на концах не может высветить ее здесь[3], у меня. Можешь обойти и осмотреть все комнаты.

— Я тебе верю, Амосис, и удаляюсь, так как, если бы Таосер пришла сюда, ты не прятал бы ее от верной Нофрэ, желающей только служить вашей любви. Ты прекрасен, а она свободна, богата и невинна. Сами боги с удовольствием благословили бы ваш союз.

Нофрэ вернулась домой, еще более обеспокоенная и потрясенная. Она боялась, как бы слуг не обвинили в убийстве сироты Таосер с целью завладеть ее богатствами и не заставили ударами палок сознаться в том, чего они не делали.

Фараон также думал о Таосер. После жертвенных возлияний и приношений, предписанных обрядом, он расположился во внутреннем дворе[4] гинекея и погрузился в мечты, не замечая шалостей своих обнаженных и увенчанных цветами жен, которые забавлялись в прозрачной купальне. Они брызгались водой и заливались звонким смехом в надежде привлечь внимание своего господина, вопреки обыкновению, еще не решившего, которая из них будет любимой царицей на этой неделе.

То была дивная картина: двор, обнесенный красочными колоннами, купальня в обрамлении кустов и цветов, стройные тела прекрасных женщин, переливавшиеся под водой словно статуэтки из яшмы, и чистое лазурное небо, которое время от времени пересекал вытянувшийся в струнку ибис.

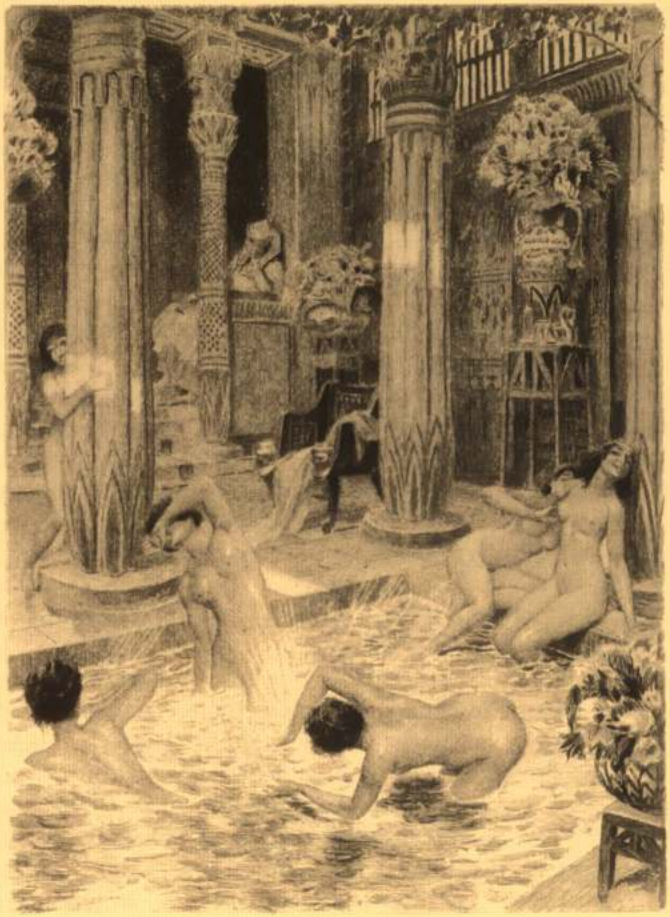
Наплававшись до устали, Аменса и Твея вышли из воды, встали на колени на краю купальни и распустили, чтобы просушить на солнце, свои густые волосы, сквозь которые проглядывала кожа почти такая же черная, как их эбеновые пряди. Последние капли воды стекали по холеным плечам и гладким, подобно нефриту, рукам. Служанки растирали их ароматными маслами и благовониями, в то время как юная эфиопка подносила к лицам женщин благоухающую чашу цветка.

Несомненно, мастеру, изваявшему декоративные барельефы комнат гинекея, послужила моделью именно эта полная изящества картина, но фараон взирал на нее теперь так же холодно, как на рисунок, высеченный на камне.

Взгромоздившись на спинку кресла, ручная обезьянка грызла финики[5] и щелкала зубками. Любимый кот терся о ноги хозяина, выгибая спину дугой. Безобразный карлик дергал обезьянку за хвост, а кота за усы: обезьянка визжала, кот мяукал. Обычно это забавляло царя, но сегодня ему было явно не до смеха. Он оттолкнул кота, сбросил с кресла обезьяну, щелкнул по лбу карлика и направился к гранитным подвалам.

Стены их составляли глыбы необычайной величины; внутрь вела каменная дверь, которую ни один человек был не в силах сдвинуть с места, если не знал ее секрета.

За этой дверью хранились сокровища фараона и трофеи, отнятые у покоренных народов. Здесь лежали слитки драгоценных металлов, короны из золота и серебра, эмалевые нагрудники и браслеты, серьги, сияющие, как диск Шу;[6] семирядные ожерелья из сердолика, ляпис-лазури, кроваво-красной яшмы, сардоникса, жемчуга, агата, оникса; ножные браслеты тонкой работы, пояса из золотых пластинок с иероглифами,



перстни со скарабеями в оправе; сотни отчеканенных в золоте рыб, крокодилов и сердец; эмалевые змеи, извивавшиеся кольцами; бронзовые вазы, кувшины из полосатого алебастра и сосуды из голубого стекла, покрытого белыми спиралями; ларцы из глазурованной глины и шкатулки из сандалового дерева причудливых и фантастических форм; множество благовоний со всех концов света; дорогие и столь тонкие ткани, что целый отрез проходил сквозь перстень; черные, белые или раскрашенные в разные цвета перья страуса; бивни слона чудовищной величины и кубки из золота, серебра, позолоченного стекла и статуэтки, великолепные как по материалам, так и по работе.

В каждом помещении фараон выбирал что-нибудь и клал на носилки, которые держали два могучих раба из Куша[7] и Шето[8], затем, хлопнув в ладони, позвал Тимофта, своего приближенного, который проследил за Таосер, и приказал ему:

— Отнеси все это Таосер, дочери Петамунофа, от имени фараона.

Тимофт в сопровождении рабов переправился на царской ладье через Нил и вскоре прибыл со своим грузом к дому Таосер.

— Для Таосер от фараона, — изрек Тимофт, когда дверь открылась.

Увидев сокровища, Нофрэ не упала в обморок только из страха. Она испугалась, что фараон прикажет убить ее, когда узнает, что Таосер пропала.

— Таосер ушла, — с дрожью в голосе пролепетала она, — и клянусь именами четырех священных гусей: Амсета, Хапи, Сумаутфа и Кебсбнифа, что разлетаются во все четыре стороны[9], я не знаю, где она.

— Фараон, наместник Ра, любимец Амон-Ра, прислал эти подарки, и я не могу унести их обратно. Сохрани их, пока госпожа не найдется. Ты отвечаешь за них головой. Прикажи запереть их и поставь охрану из самых верных слуг, — приказал посланец царя.

Вернувшись во дворец, Тимофт упал с прижатыми к бокам локтями перед повелителем и, уткнувшись лбом в пыль, доложил, что Таосер исчезла. Царь пришел в великую ярость и так ударил жезлом о пол, что каменная плита раскололась.







Глава VIII

Надо сказать, что Таосер нисколько не думала ни о суматохе, вызванной ее отсутствием, ни о любимой наперснице Нофрэ. Она забыла не только о своем прекрасном доме в Фивах и о слугах, но даже об украшениях и нарядах, что для женщины просто немыслимо и почти невероятно.

Дочь Петамунофа не подозревала о любви фараона: она не заметила полного страсти взгляда, брошенного на нее равнодушным и невозмутимым царем, а если б и заметила, то положила бы царскую прихоть вместе со всеми цветами своей души к ногам Поэри.

Ей поручили прясть. Подталкивая большим пальцем веретено, чтобы на него равномерно наматывалась нитка, из своего угла она следила за каждым движением юноши-иудея и обволакивала его взглядом, словно лаской. Она тихо наслаждалась счастьем — находиться рядом с ним.

Если бы Поэри обернулся, его ошеломили бы влажный блеск ее глаз, румянец, внезапно заливавший нежные щеки, и сильное сердцебиение, которое угадывалось по трепету ее груди. Но он сидел за столом, склонившись над свитком папируса, и, набирая чернила из выемки на алебастро-

вой полочке, при помощи тростинки делал какие-то расчеты и писал демотическими знаками[1].

Чувствовал ли Поэри столь явную любовь Таосер? Или по какой-то скрытой причине делал вид, что не замечает ее? Он обращался с гостьей вежливо и доброжелательно, но осторожно, словно хотел предупредить или сдержать признание, на которое ему было бы невозможно ответить. Меж тем лже-Хора была прекрасна. Простое платье лишь усиливало ее очарование; и, как дрожит над землей в самые жаркие часы дня светящееся марево, так дрожал над нею ореол любви. На ее полуоткрытых губах, точно птица перед взлетом, трепетала страсть; и тихо, очень тихо, только когда она была уверена, что никто ее не слышит, она повторяла, как припев: «Поэри, я люблю тебя».

Стояла пора жатвы, и Поэри вышел, чтобы присмотреть за работниками. Таосер не могла оторваться от него, как тень от своего хозяина, и робко последовала за ним, опасаясь, как бы он не приказал ей остаться в доме. Но голосом, в котором не было и намека на гнев, юноша сказал:

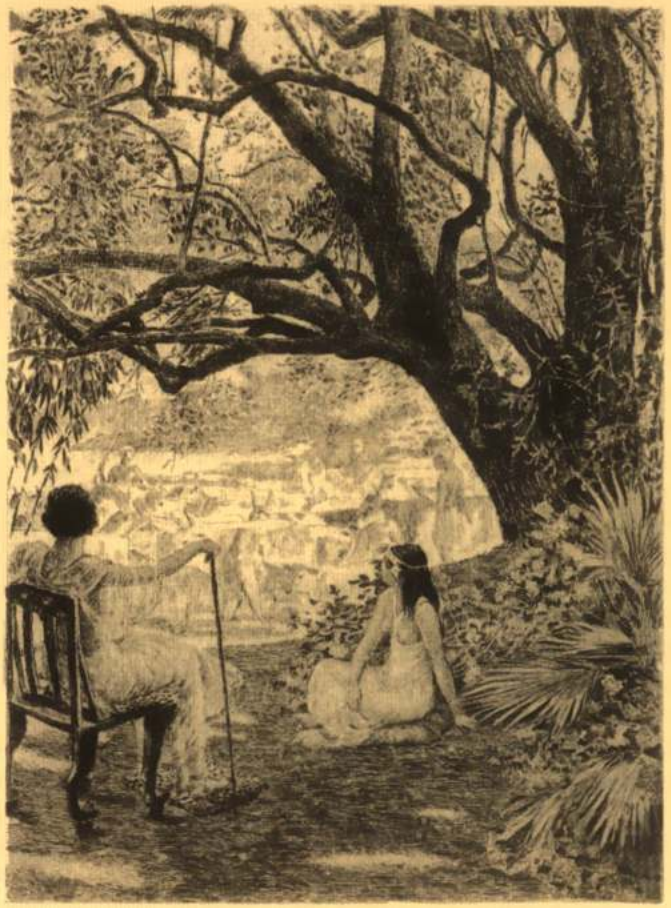
— Вид мирного труда землепашцев облегчает печаль и развлекает душу, даже если ее тяготит болезненное воспоминание об утраченном счастье. Это должно быть тебе в новинку, так как твоя не целованная солнцем кожа, нежные ножки, тонкие руки, изящество, с которым ты носишь одежду из грубого полотна, не оставляют сомнений, что ты всегда жила в городе, среди изысканных вещей и роскоши. Садись и крути свое веретено в тени того дерева; жнецы подвесили к нему бурдюк с водой, чтобы охладить.

Таосер послушалась и расположилась под деревом, скрестив руки на коленях и положив на них подбородок.

За стенами сада до первых отрогов Ливийского хребта простирались похожие на желтое море поля, на которых малейшее дуновение ветра поднимало золотые волны. Свет был столь насыщенным, что золотой фон хлебов местами светлел и принимал серебристый оттенок. На плодородном речном иле густые колосья выросли крепкими и высокими, словно копья, и никогда более богатый урожай не вызревал под пылавшим и трещавшим от жары солнцем[2] — было чем наполнить до краев вереницу сводчатых хлебных амбаров, возвышавшихся над погребами.

Работники с раннего утра занимались жатвой. Вдалеке из хлебных волн то и дело выныривали их курчавые или бритые головы с белыми повязками и голые торсы цвета обожженного кирпича. Выстроившись в такую правильную линию, будто держались за натянутую веревку, они ритмично наклонялись и выпрямлялись, подсекая хлеб серпами.

Позади них по ниве шли сборщики колосьев с плетеными корзинами. Они несли их, водрузив на плечи или подвесив на палку, вдвоем с напарни-



ком, и, наполнив до отказа, сносили в расположенные ровными рядами скирды.

Иногда, выбившись из сил, жнецы останавливались, переводили дух и, сунув серп под мышку, делали глоток воды, затем, опасаясь надсмотрщика, поспешно возвращались к работе. Собранные колосья относили на ток, где их разбрасывали вилами, разгребая высокие кучи по его краям, и куда работники одну за другой вываливали все новые и новые корзины.

Поэри дал знак погонщику волов вывести своих подопечных. Показалась четверка великолепных животных с длинными расходившимися, как у Исиды, рогами[3], с высоким загривком, мощным подгрудком, сухими, жилистыми ногами. На бедре у каждого вола стояло клеймо с печатью имения, выжженное каленым железом. Они шли степенно, подчиняясь одному соединявшему их горизонтальному ярму.

Волов выпустили на ток. Подстегиваемые раздвоенным кнутом, они двинулись по кругу, выбивая широкими копытами зерна из колосьев. Солнце переливалось в блестящей шерсти, а пыль, которую поднимали волы, достигала их ноздрей. Пройдя так двадцать кругов, они начали заваливаться друг на друга и, несмотря на свиставшую по их бокам плеть, ощутимо замедлили шаг. Тогда, чтобы подбодрить скотину, погонщик, который шел сзади, держась рукой за хвосты волов, бодро и радостно запел старинную песню: «Кружитесь, волы, кружитесь! Вам один мешок, хозяевам другой!»

Воспрянув духом, четверка рванулась вперед и исчезла в белесой пыли, сверкавшей золотыми блестками.

Когда волы закончили молотьбу, пришли веяльщики, вооруженные деревянными совками. Они подкидывали хлеб в воздух, и он падал, отделяясь от остей, соломы и шелухи[4].

Провеянное таким образом зерно ссыпали в мешки, которые подсчитывал иерограммат, и затаскивали по лестницам в амбары.

Таосер захватило это полное движения и величия зрелище, и она часто забывалась, отпуская веретено. День не стоял на месте, и солнце, поднявшись позади Фив, пересекло Нил и направилось к Ливийским горам, за которыми его диск каждый вечер ложится спать. Наступил час, когда животные возвращались с пастбищ в свои стойла. Вместе с Поэри Таосер присутствовала на этом пастушеском параде.

Сначала прошествовало огромное стадо коров, разной масти и разных оттенков — белых, рыжих, черных со светлыми крапинками, пегих и с поперечными темными отметинами. Они шли, задрав лоснящиеся морды, с которых падали гроздья пены, и выпучив большие кроткие глаза. Самые нетерпеливые, почуяв стойло, вставали на дыбы и приподнима-

лись над рогатой толпой, с которой вскоре опять смешивались, опустившись на землю. Другие, неповоротливые, отставшие от своих товарок, словно протестовали, протяжно и жалобно мыча.

Рядом с коровами шагали пастухи с кнутами и смотанными веревками.

Проходя мимо Поэри, они в знак почтения вставали на колени, прижав локти к бокам и касаясь лбами земли.

Иерограмматы вели счет скоту, делая записи на дощечках.

Бритоголовые погонщики, вся одежда которых состояла из простой полотняной повязки со спадающими между ног концами, подгоняли палками ослов. Следуя за коровами, те семенили, брыкались, прядали длинными ушами и молотили землю твердыми копытцами.

Погонщики ослов так же, как и пастухи, низко поклонились Поэри, а писцы отметили точное число голов в стаде.

Настал черед коз: они почти бежали с вожаками во главе и блеяли от радости дрожащими, ломкими голосами. Пастухи с большим трудом сдерживали их нетерпение и возвращали отбившихся беглянок в стадо. Козы были посчитаны так же, как коровы и ослы, и пастухи тоже распростерлись у ног Поэри.

Шествие замыкали уставшие от дороги гуси. Они переваливались с боку на бок, шумно хлопали крыльями, вытягивали шеи и хрипло гоготали. Их количество записали, а дощечки с записями вручили главному надсмотрщику поместья.

Быки, ослы, козы и гуси уже давно прошли, а столб пыли, который не могли развеять слабые порывы ветра, все еще медленно поднимался в небо.

— Ну как, Хора, — спросил Поэри, — понравились тебе жатва и мои стада? Вот они, сельские радости. У нас нет, как в Фивах, арфисток и танцовщиц. Но земледелие — святое дело; земля — кормилица людей, и тот, кто посеет хоть одно хлебное зернышко, сделает дело, угодное богам. Теперь ступай, пообедай с подругами, а я пойду к себе — считать, сколько мер зерна собрали с полей.

Таосер поклонилась, в знак почтительного согласия приложив одну ладонь к земле, а другую — к голове.

В обеденном зале юные служанки смеялись и щебетали, закусывая свежим луком, сладкими пирогами с финиками и просом. Так как уже наступил вечер, фитиль, погруженный в небольшой кувшин с маслом, заливал желтым светом их смуглые щеки и тела рыжеватого цвета, не прикрытые никакой одеждой. Одни сидели на простых деревянных стульях, другие прислонились спиной к стене, подогнув одну ногу.

— И куда это каждый вечер ходит хозяин? — лукаво поинтересовалась маленькая девочка, которая чистила гранат ловкими движениями хорошенькой обезьянки.

— Хозяин ходит туда, куда пожелает, — ответила взрослая рабыня, жевавшая лепестки цветов. — Уж не хочешь ли ты, чтобы он давал тебе отчет? Ты, во всяком случае, не сможешь удержать его здесь.

— Ну, не я, так другая, — обиделся ребенок.

Взрослая девушка пожала плечами:

— Даже Хора, самая белокожая и красивая из нас, не преуспеет в этом. Хоть он и носит египетское имя и состоит на службе фараона, он принадлежит к варварскому племени Израиля[5]. А по вечерам он выходит наверняка, чтобы присутствовать при жертвоприношениях детей, которые евреи совершают в пустынных местах, там, где ухают совы, тявкают гиены и шипят гадюки.

Молча, не сказав ни слова, Таосер выскользнула из зала и притаилась в саду за мимозами. Прождав два часа, она увидела, как Поэри вышел в поле.

Легко и бесшумно, словно облачко, она последовала за ним.





Глава IX

Вооружившись толстой пальмовой тростью, Поэри направился к реке по узкой дамбе, проложенной сквозь залитое водой поле папируса. С обеих сторон на высоту шести — восьми локтей поднимались прямые стебли, которые заканчивались пучками волокон, похожими на копья приготовившейся к битве армии.

Сдерживая дыхание, Таосер на цыпочках последовала за ним. Ночь была безлунной, а впрочем, и густого папируса было бы достаточно, чтобы спрятать девушку, которая держалась чуть позади.

На краю поля лже-Хора отстала от Поэри еще больше, пригнулась и, став совсем незаметной, крадучись, продолжила преследование.

Далее началась мимозовая роща. Прячась за ее кустами, Таосер могла продвигаться без особых предосторожностей. Боясь потерять Поэри в темноте, она подошла к нему так близко, что задетые им ветки часто хлестали ее по лицу, но она не обращала на них никакого внимания — острое чувство ревности побуждало ее раскрыть тайну, которую она объясняла совсем не так, как служанки. Ни на секунду не поверила она, что

молодой еврей выходит каждый вечер для выполнения какого-то гнусного варварского обряда. Таосер решила, что целью ночных похождений должна быть женщина, и жаждала выяснить, кто ее соперница. Холодная благожелательность Поэри доказывала, что его сердце занято; в противном случае разве остался бы он равнодушен к чарам, известным не только в Фивах, но и во всем Египте? Или он притворялся, что не видит любви, которая могла бы стать предметом гордости для любого оэриса, верховного жреца, царского иерограммата и даже для царевича?

Поэри дошел до речного обрыва, спустился по вырезанным в склоне берега ступенькам, наклонился и принялся что-то развязывать.

Таосер, лежа на животе на верху откоса и высовываясь из-за него только макушкой, увидела, к своему великому огорчению, что любитель ночных прогулок отвязывает маленькую папирусную лодку, узкую и длинную, как рыба, и готовит ее к переправе через реку.

Он и в самом деле прыгнул в лодку, оттолкнулся ногой от берега и вышел на стремнину, управляя единственным веслом, находившимся на корме хрупкого суденышка.

Бедная девушка от отчаяния ломала руки — она теряла столь важную для нее нить к разгадке. Что делать? Вернуться назад с мучительными подозрениями и неизвестностью в сердце — с этим худшим из зол? Она призвала на помощь все свое мужество и тут же приняла решение. Нечего было и думать искать другую лодку. Она скатилась по склону, одним движением руки сняла платье и обернула его вокруг головы, затем, не поднимая брызг, отважно скользнула в реку. Гибкая, точно водяной уж, она отдалась на волю темному потоку, в котором дрожали отражения звезд, и устремилась за лодкой. Плавала она превосходно, так как упражнялась каждый день с подружками в обширной купальне[1] своего дворца, и никто не умел резать волны искуснее Таосер.

Течение, дремавшее у берега, не мешало ей, но на середине реки девушку начало сносить, и в бурлящей воде ей пришлось сильнее и чаще работать ногами и руками. Дыхание сделалось коротким и прерывистым, и она, как могла, старалась сдерживаться, опасаясь, что молодой еврей услышит шум. Иногда чуть более высокая волна брызгала пеной в ее приоткрытые губы, смачивала волосы и даже захлестывала платье, повязанное на голове. Силы начали покидать Таосер, но, к счастью, вскоре она оказалась в более спокойной воде. Гонимый течением пучок тростника задел девушку, напугав ее до смерти. Зелено-бурая масса показалась в темноте спиной крокодила. Таосер уже почувствовала шершавую кожу чудовища, но справилась с собой и, упорно продолжая плыть, подумала: «Пусть меня сожрут крокодилы, раз Поэри меня не любит».

Было и в самом деле опасно, особенно ночью. Днем постоянное движение лодок, работа на набережных и городская суета держат крокодилов, которые на менее людных берегах резвятся и валяются в иле даже при солнечном свете, на расстоянии, но в сумерках к ним возвращается дерзость.

Девушка не думала об этом. Страсти чужд холодный расчет. Приди Таосер в голову мысль о подобной гибели, она пренебрегла бы ею, хотя обычно была столь пуглива, что боялась даже бабочек, любивших порхать возле нее, как возле цветка.

Вдруг, не доплыв до берега, лодка остановилась. Поэри перестал грести и как будто оглядывался с беспокойством. Он заметил белевшее над водой платье Таосер.

Испугавшись, что ее обнаружили, отважная пловчиха нырнула, решив, что лучше уж захлебнется, но не поднимется на поверхность, пока не рассеются подозрения Поэри.

«Мне почудилось или взаправду кто-то плывет за мной, — подумал Поэри, снова взяв весло. — Но кто пойдет на такой риск посреди ночи? И о чем я только думал? Принял за человеческую голову с повязкой пучок белого лотоса или просто пенистый гребень, теперь же ничего не вижу».

Когда Таосер, у которой в висках уже застучала кровь и перед глазами поплыли красные круги, вынырнула и начала судорожно глотать воздух, папирусная лодка уверенно двигалась дальше, а Поэри греб с невозмутимым спокойствием аллегорических персонажей, которые управляют священной ладьей богини Мут[2] на барельефах и фресках храмов.

До берега оставалось всего несколько взмахов рук. Необъятная тень высоких пилонов и стен Северного дворца, который с выступающими пирамидальными верхушками шести обелисков вырисовывался на фиолетово-голубом ночном небе плотной громадой, зловеще распростерлась по реке и укрыла Таосер, которая теперь плыла, не боясь, что ее обнаружат.

Поэри причалил немного ниже дворца, привязал лодку за колышек, чтобы воспользоваться ею на обратном пути, затем взял пальмовую трость и поднялся по ступеням набережной.

Несчастная Таосер, почти совсем обессилевшая, вцепилась в нижнюю ступеньку лестницы и с трудом вытащила из реки мокрое тело, сразу отяжелевшее на берегу. На нее сразу навалилась усталость, но самая трудная часть задачи была уже позади.

Прижимая одну руку к неистово колотившемуся сердцу, а другой придерживая свернутое платье, она вскарабкалась по ступеням. Проследив, в какую сторону направился Поэри, Таосер присела на лестнице, расправила тунику и натянула ее на себя. Прикосновение влажной ткани вызвало легкий озноб. Ночь была теплой, и дул вялый южный ветерок, но де-

вушку лихорадило от усталости — даже зуб на зуб не попадал. Таосер призвала все свои силы и, держась за стену, окружавшую гигантские здания, старалась не потерять из виду молодого еврея, который обогнул угол кирпичной ограды дворца и зашагал по улицам Фив прочь от берега.

Через четверть часа дворцы, храмы и богатые дома уступили место более скромным жилищам, а гранит, известняк и песчаник сменились саманом[3] — смесью глины и соломы. Архитектурные формы стерлись. Хижины торчали словно волдыри и бородавки на пустырях между растениями неопределенного вида, принявшими ночью чудовищные формы. Деревянные обломки и кучи кирпичей загромождали дорогу. Тишину нарушали странные и тревожные звуки: сова шумно рассекала воздух крыльями; тощие псы, поднимая длинные острые морды, провожали истеричным лаем ломаный полет летучих мышей; скарабеи и пугливые рептилии спасались в шелестевшей траве.

«Неужели Арфрэ сказала правду? — думала Таосер под впечатлением от зловещего вида этих мест. — Неужто Поэри идет на жертвоприношение ребенка диким богам, обожающим кровь и страдания? Ничего не скажешь, удобное место для жестоких обрядов».

Несмотря на все свои страхи и сомнения, Таосер, прячась в темных закоулках, за углами домов, в зарослях кустарника, за взгорками и ухабами, упорно держалась на безопасном расстоянии от Поэри.

«Даже если мне, словно незримому свидетелю, суждено присутствовать при каком-то ужасном ритуале, услышать крики жертвы, увидеть красные от крови руки жреца, вынимающие из крохотного тельца дымящееся сердце, я должна дойти до конца», — уговаривала себя Таосер, следя за юношей, который тем временем вошел в глиняную лачугу. Сквозь трещины в ее стенах пробивалось несколько желтых лучей.

Когда Поэри скрылся за дверью, дочь Петамунофа, как призрак, подкралась поближе. Она ступала столь тихо, что ни один камешек не скрипнул под ее ногами, ни одна собака не залаяла и не выдала ее. Подавляя биение сердца и сдерживая дыхание, она обошла хижину кругом и по свечению на темном фоне глиняной стены нашла щель, чтобы заглянуть внутрь.

Маленькая лампа освещала комнату, которая выглядела гораздо более богато, нежели можно было предположить судя по внешнему виду хижины. Гладкие стены покрывала мраморная шпаклевка[4], на пестрых деревянных подставках стояли золотые и серебряные вазы, в приоткрытых ларцах сверкали драгоценности. Блюда из гладкого металла блестели на стене, редкостные цветы красовались в глиняном кувшине посередине низкого столика.

Но детали убранства не интересовали Таосер, хотя поначалу контраст между скрытой роскошью жилища и его внешней нищетой несколько озадачил ее. Совсем другое приковало взгляд девушки.

На широкой лежанке, покрытой циновками, сидела ослепительно красивая женщина неведомого племени. Она была белее любой из дочерей Египта — как молоко, как лилия, как новорожденный ягненок. Ее брови раскинулись, словно две черные арки, а их концы сходились у переносицы тонкого орлиного носа с розоватыми, как внутренняя поверхность раковины, ноздрями. Ее очи походили на глаза горлицы, внимательные и в то же время томные, а губы — на две пурпурные ленты с жемчужной улыбкой между ними. Волосы, подобные блестящим черным гроздьям зрелого винограда, обрамляли гранатовые щеки;[5] в ушах дрожали подвески, золотые ожерелья с серебряными вставками сияли на круглой и гладкой, будто алебастровая колонна, шее.

Одежда незнакомки также была своеобразной: широкая туника без рукавов, расшитая симметричными разноцветными узорами, спускалась с плеч до самых колен.

Молодой еврей присел рядом с ней и начал беседу, смысл которой Таосер, к своей досаде, угадала очень хорошо, хотя не понимала ни слова, так как Поэри и Рахиль объяснялись на родном языке, столь милом в изгнании или в плену.

Но надежда не желает умирать в любящем сердце.

«Может быть, она его сестра, — утешала себя Таосер, — а приходит он к ней на свидания тайно, чтобы никто не узнал, что он принадлежит к народу, обреченному на рабство».

И она прильнула к стене, с болезненным вниманием прислушиваясь к мелодичным и ритмичным словам, в каждом слоге своем содержавшим тайну, за знание которой она отдала бы жизнь. Они шелестели бегло и неясно и были так же лишены смысла, как шум ветра в листве или журчание воды.

«Она слишком хороша... для сестры...» — прошептала Таосер, ревнивым взглядом пожирая странное, но прелестное бледное личико с алыми губами, в красоте которого, подчеркнутой экзотическими украшениями, таилось нечто загадочное и роковое.

— Рахиль, любимая моя! — часто повторял Поэри.

Таосер вспомнила, что слышала, как он шептал эти слова во сне, когда она баюкала его и обмахивала опахалом.

«Он думал о ней даже во сне. Рахиль — это, конечно, ее имя». И бедное дитя ощутило в груди острую боль, как если бы все уреи с барельефов и все гадюки с царских корон вонзили свои ядовитые зубы прямо ей в сердце.



Рахиль склонила голову на плечо Поэри, словно цветок, переполненный благоуханием и любовью. Губы юноши слегка касались волос прекрасной еврейки, медленно отклонявшейся назад и подставлявшей влажный лоб и полузакрытые глаза робким ласкам и немым мольбам. Руки влюбленных нашли друг друга и соединились в страстном пожатии.

— О, лучше б я застала его за каким-нибудь чудовищным и нечестивым обрядом, увидела б, как он своими руками перерезает горло несчастной жертве, пьет из глиняного кубка кровь и омывает ею лицо! Тогда я не страдала бы так, как теперь, глядя на эту прекрасную женщину и на то, как он ее целует, — лепетала Таосер слабым голосом, оседая на землю в тени хижины.

Дважды она пыталась подняться, но снова падала на колени. Глаза ее затуманились, ноги подкосились, и она потеряла сознание.

Тем временем Поэри вышел из лачуги, поцеловав на прощание Рахиль.







Глава X

Фараон, в тревоге и ярости от исчезновения Таосер, уступил той жажде к перемене мест, что не дает покоя сердцам, сгорающим от неудовлетворенной страсти. К великой досаде его бывших любимиц – Аменсы, Онт-Реше и Твеи, которые приложили все усилия и использовали все способы обольщения, лишь бы удержать его в Южном дворце, он переехал в Северный, на другой берег Нила. Женщины с их болтовней приводили его в еще большее отчаяние. Все не относящееся к Таосер раздражало его. Отныне он находил безобразным то, что еще недавно казалось ему очаровательным: юные, стройные, грациозные тела, полные неги; подчеркнутые сурьмой глаза, в которых блестела страсть; пурпурные губы с призывной белозубой улыбкой. Ему опостылело все, вплоть до нежного аромата, исходившего от их чистой кожи, словно от букета цветов или от шкатулки с благовониями. Теперь он ненавидел их за то, за что прежде любил, и не понимал, как могли увлекать его столь вульгарные прелести. Когда Твея прикасалась к груди царя тонкими розовыми пальцами маленькой ручки, дрожавшей от желания возродить

воспоминания о былой близости, или Онт-Реше, предлагая сыграть партию, ставила перед ним шахматную доску на спинах двух каменных львов, а Аменса с почтительной и просительной грацией протягивала цветок лотоса, он с трудом сдерживался, чтобы не ударить их жезлом, а его ястребиные глаза сверкали при этом таким презрением, что бедные женщины, позволившие себе подобные вольности, удалялись в недоумении с влажными от слез ресницами и тихо замирали у стены, будто стараясь слиться с неподвижными фигурами на фресках.

Дабы избежать чужих слез и собственной жестокости, фараон, одинокий, замкнутый и озлобленный, переехал во дворец в Фивах и там, вместо того чтобы восседать на троне в торжественной позе богов и царей, которые в своем всемогуществе не допускают лишних движений и жестов, лихорадочно метался по огромным залам.

Странное то было зрелище: статный, величественный, громадный, как его гранитные изваяния, царь вышагивал взад и вперед по широким плитам, и они отзывались гулким эхом.

При его приближении испуганные стражники, затаив дыхание, каменели, будто статуи, — даже двойные страусовые перья переставали колыхаться на их шлемах. Когда он удалялся, они едва осмеливались подумать: «Что это нынче с нашим фараоном? Вернись он из похода побежденным, он и тогда был бы не так подавлен и угрюм».

Да, если бы фараон не одержал победу в десятке битв, не поверг двадцать тысяч врагов, не взял в плен две тысячи избранных среди самых прекрасных невинных девушек, не привез сто повозок золотого песка, тысячу повозок эбенового дерева и слоновой кости, не считая редких плодов и невиданных зверей, а увидел, как разгромили в пух и прах его армию, опрокинули и разбили его колесницы, и один, в пыли и крови, спасся бы бегством под градом стрел, приняв вожжи из рук сраженного возничего, — и тогда не было бы у него такого отчаянного и мрачного лица. В конце концов, земля Египта плодовита на солдат, в дворцовых конюшнях ржут и бьют копытами бесчисленные кони, а ремесленники быстро изогнут дерево для луков, отольют медь для стрел и заточат наконечники. Удача на войне переменчива — разгром поправим. Но возжелать того, чего не найти на поле брани, наткнуться на препятствие между прихотью и ее исполнением, метнуть, точно копье, свою волю и не попасть в цель — вот что поражало и убивало всемогущего фараона. У него даже мелькнула мысль, что он всего-навсего человек!

Он бродил по обширным дворам и колоннадам, под неизмеримыми пилонами, между взметнувшимися ввысь обелисками и колоссами, взиравшими на него большими удивленными глазами. Раз за разом он обходил колонный зал и плутал в гранитном лесу из ста шестидесяти двух вы-



соких и мощных, как башни, столбов[1]. Боги, цари и диковинные существа, чьи профили красовались на стенах, казалось, остановили на нем взгляд своих широко раскрытых глаз, нарисованных анфас черными линиями, уреи извивались и раздували капюшоны, божества с птичьими головами вытягивали шеи, а шары размахивали вырванными из карнизов каменными крыльями. Неведомая сказочная сила приводила в движение эти причудливые картины, населяя огромный пустынный зал, равный целому дворцу, подобием живых существ. Вечно неподвижных богов, великих предков и фантастических чудовищ изумлял вид фараона, обычно столь же невозмутимого, сколь и они сами, а ныне не находившего себе места, будто простой смертный из плоти и крови.

В бескрайнем лесу из колонн, подпиравших гранитное небо, царь рыскал, словно лев, что с хмурой мордой обнюхивает зыбучий песок в поисках следов своей жертвы. Утомившись, фараон поднялся на одну из галерей дворца, вытянулся на низкой кушетке и приказал позвать Тимофта.

Тимофт явился и, падая ниц на каждом шагу от лестницы до царской кушетки, приблизился к владыке. Еще совсем недавно он ждал милостей от своего господина, а теперь страшился его гнева. Поможет ли ловкость, проявленная им, когда он выследил Таосер, искупить его вину — исчезновение прекрасной девушки?

Оторвав одно колено от пола, но оставив в пыли другое, Тимофт с мольбой протянул руки к фараону:

— О царь, не карай и не казни меня. Твое желание соблаговолило, точно ястреб на голубку, упасть на прекрасную Таосер, дочь Петамунофа. Она, без сомнения, скоро найдется, а когда вернется в свой дом и увидит твои великолепные дары, сердце ее растает, и она сама придет, чтобы занять указанное тобою место в царском гинекее.

— Ты допросил ее прислужниц и рабов? — спросил фараон. — Кнут развязывает языки даже самым строптивым, боль заставляет открыть сокровенные тайны.

— Нофрэ, ее первая прислужница, и Сухем, самый опытный раб, заметили сдвинутый засов на садовых воротах, они предполагают, что их госпожа проскользнула именно там. Ворота выходят на реку, а вода не хранит следов.

— Что говорят нильские лодочники?

— Они ничего не видели. Только один сказал, что на рассвете бедно одетая женщина переправилась на другой берег. Но это не могла быть прекрасная и богатая Таосер, которую заметил даже фараон, — ведь она, как царица, носит самые роскошные одежды.

Доводы Тимофта, казалось, не убедили фараона. Несколько минут он размышлял, уперевшись в ладонь подбородком. Опасаясь взрыва ярости, бедный Тимофт застыл в немом ожидании. Губы царя шевелились, он словно разговаривал сам с собой:

«Скромное одеяние служило маскировкой... Да, это так... Переодевшись, она переправилась на другой берег... Тимофт глуп, ему не хватает проницательности. Я мог бы приказать бросить его на съеденье крокодилам или колесовать — но что это даст? Невинная девушка высокого происхождения, дочь верховного жреца странным образом исчезает из своего особняка, одна, никого не предупредив!.. На дне этой тайны, должно быть, кроется любовь».

При этой мысли чело фараона побагровело, будто отразив внутренний пожар. Кровь бросилась ему в лицо, красноту сменила смертельная бледность, брови взвились, словно змеи на диадемах, рот перекосился, зубы заскрежетали, и облик его стал столь страшен, что Тимофт в ужасе упал точно подкошенный, ударившись носом о каменный пол.

Но фараон взял себя в руки. Лицо его вновь приняло величественное, скучающее и невозмутимое выражение; заметив, что слуга не поднимается, он снисходительно пнул его ногой.

Тимофт, который уже видел себя на смертном ложе в кварталах Мемнонии с распоротым и выпотрошенным чревом, готовым к погружению в рассол[2], приподнял голову, но взглянуть на царя не осмеливался и продолжал стоять на коленях, объятый непреодолимым ужасом.

— Ну же, Тимофт, — фараон прервал свои раздумья, — вставай и действуй: разошли гонцов во все концы, прикажи обыскать храмы, дворцы, усадьбы, сады, дома, вплоть до самых нищих лачуг, и разыщи Таосер. Направь колесницы по всем дорогам, прикажи, чтобы лодки избороздили Нил вверх и вниз по течению. Ступай сам и спрашивай у каждого встречного, не видел ли кто женщину в простом одеянии. Вытащи ее из-под земли, если она решила укрыться в убежище смерти, в глубине сиринги или гробницы. Ищи, как Исида искала своего мужа Осириса, разрубленного Тифоном[3], и мертвую или живую приведи сюда, иначе, клянусь уреем моего пшента и лотосом моего жезла, тебя ждет страшная смерть.

С резвостью горного козла Тимофт кинулся исполнять приказание, а царь, успокоившись, принял одну из тех величавых поз, какие скульпторы любят придавать колоссам у дверей храмов и дворцов, и стал ждать невозмутимо, как и подобает тем, чьи сандалии в виде пленников со связанными локтями попирают выи покоренных народов.

Глухой гул раздался вокруг дворца, и, если бы небо не голубело нетронутой лазурью, можно было подумать, что начинается гроза. То был шум и

грохот посланных галопом во всех направлениях колесниц, вслед за которыми заклубились по земле вихри пыли.

Вскоре с высоты своей галереи фараон увидел лодки, разрезавшие усилиями гребцов поверхность реки, и скороходов, рассыпавшихся по полям на ее правом берегу.

На фоне Ливийских гор, закрывавших горизонт красными склонами и сапфировыми тенями, высились гигантские постройки Рамсеса, Аменофа и Менефта. Солнечный свет золотил пилоны с косыми углами, стены с уходившими вдаль карнизами, колоссов, положивших руки на колени, — и расстояние не скрадывало их размеров. Но фараон смотрел не на эти величественные сооружения, а туда, где среди букетов пальм и возделанных полей цветными пятнышками на ярком фоне зелени пестрели дома и усадьбы. Под одной из этих крыш, на одной из галерей, без сомнения, скрывалась Таосер, и он хотел бы с помощью какого-нибудь магического действа приподнять эти крыши или сделать их прозрачными.

Часы уходили один за другим. Солнце послало Фивам свои последние лучи и исчезло за горами, а гонцы все не возвращались. Фараон так и не сдвинулся с места. Синяя ночь залила город прохладной свежестью, звезды засияли, подрагивая длинными золотыми ресницами в лиловой бездне, и в углу галереи темным контуром обозначился силуэт фараона, молчаливого и, казалось, бесстрастного, словно базальтовая статуя. Несколько раз ночные птицы пытались опуститься ему на голову, но, испуганные глубоким размеренным дыханием, улетали, хлопая крыльями.

Царь обозревал город, распростертый у его ног. Из глубины голубоватого сумрака вырастали обелиски с острыми вершинами, пилоны, гигантские ворота, карнизы, бюсты колоссов, возвышавшиеся над хаосом строений, пропилеи, колонны, распускавшие свои капители, как огромные гранитные цветы, углы храмов и дворцов, чуть тронутые серебристым прикосновением света. Священные пруды[4] простирались цепочкой, блестя точно расплавленный металл, сфинксы и криосфинксы, выстроившись шеренгами, вытягивали лапы и покачивали широкими крупами, а за ними уходили вдаль кварталы белевших в лунном свете плоских крыш, разделенных там и тут глубокими ущельями площадей и улиц. Красные точки пробивались сквозь синюю тьму, будто звезды роняли на землю искры, — то были светильники в тех домах, чьи обитатели еще бодрствовали в спавшем городе. Дальше, среди менее скученных зданий, расплывчатые купы пальм покачивали веерами листьев. За ними контуры и формы терялись в туманной необъятности, поскольку даже орел не смог бы окинуть взглядом весь этот великий город, а с другой стороны древний Хапи-Му величественно нес свои воды к морю.

Блуждая взглядом и мыслью по необъятному городу, которому он был абсолютным властелином, фараон грустно размышлял о пределах человеческого могущества, тогда как страсть, словно голодный гриф, терзала его сердце. Он говорил себе:

«В этих домах живут существа, которые, лишь завидев меня, падают ниц, те, для кого моя воля — воля божья. Когда я проезжаю в золотой колеснице или в носилках на плечах оэрисов, девушки провожают меня взволнованным взглядом, их сердца замирают от восторга. Жрецы окуривают меня фимиамом, толпа устилает мой путь ветвями и цветами, свист одной моей стрелы повергает в трепет целые народы, стен огромных, как горы, пилонов едва хватает, чтобы описать мои подвиги. А сколько карьеров опустошили, чтобы добыть гранит для моих гигантских статуй! И вот в кои-то веки у меня, гордого и пресыщенного, возникло желание, а я не могу его исполнить! Тимофт куда-то запропастился — он, конечно, ничего не нашел. О Таосер, Таосер, какое блаженство ты должна подарить мне за это ожидание!»

Тем временем царские посланцы с Тимофтом во главе обходили дома и колесили по дорогам, собирая сведения о дочери жреца, опрашивая встречных путников. Но никто ничего не знал.

На галерее появился первый вестник, сообщивший фараону, что Таосер не обнаружена.

Фараон взмахнул жезлом, и вестник упал замертво, несмотря на пресловутую прочность египетских черепов.

Появился второй. Он споткнулся о тело своего товарища, растянувшееся на плитах, понял, что фараон в ярости, и затрясся от страха.

— Что Таосер? — не двигаясь спросил фараон.

— О великий! Ее след потерян, — ответил несчастный, стоя на коленях перед черной тенью, похожей скорее на статую Осириса[5], чем на живого царя.

Гранитная рука оторвалась от неподвижного торса, и металлический жезл ударил как молния[6]. Второй вестник рухнул рядом с первым.

Третьего ожидала та же участь.

...Обходя дом за домом, Тимофт добрался до усадьбы Поэри, который на следующее после ночной прогулки утро забеспокоился, не увидев утром Хору. Арфрэ и служанки, ужинавшие с Хорой накануне, не знали, что с ней случилось, — ее комната оказалась пуста, и они тщетно искали ее в садах, погребах, амбарах и на прудах.

На расспросы Тимофта Поэри отвечал, что совсем недавно некая несчастная девушка появилась у его дверей и на коленях умоляла о милости, что он ее радушно принял, предоставил кров и пищу, но она таинст-

венным образом исчезла по причине, о которой он не догадывается. По какой дороге она ушла? Он не ведает. Без сомнения, немного отдохнув, она продолжила свой путь к неизвестной цели. Она была красива, грустна, одета в простую тунику и выглядела бедной; назвалась она Хорой. Скрывалась ли под именем Хоры Таосер? Поэри предоставил Тимофту самому искать ответ на этот вопрос.

Вооруженный добытыми сведениями, Тимофт вернулся во дворец и, держась подальше от царского жезла, передал все, что ему удалось узнать.

«Зачем она пошла в этот дом? — думал фараон. — Если в самом деле Хора — это Таосер, значит, она любит Поэри. Но тогда она не убежала бы тайком после того, как ее приняли под его крышей. О! Я разыщу ее, даже если ради этого мне придется перевернуть весь Египет от порогов до дельты[7]».





Глава XI

Стоя на пороге хижины, Рахиль провожала взглядом Поэри, как вдруг ей почудился слабый вздох. Она прислушалась. Несколько собак выли на луну; филин испускал свой загробный крик, а в речном тростнике пищали крокодилы, подражая плачу брошенного младенца[1]. Женщина уже хотела вернуться в дом, когда ее ушей достиг более отчетливый звук, похожий не на смутные жалобы ночи, а скорее на стон, исторгнутый человеческой грудью.

Опасаясь какой-нибудь ловушки, она осторожно приблизилась к месту, откуда исходил звук, и около стены хижины в синем прозрачном сумраке обнаружила лежащее на земле словно литое тело — мокрая одежда плотно облегала контуры лже-Хоры и выдавала ее пол четкими округлостями. Поняв, что это всего-навсего упавшая в обморок девушка, Рахиль забыла о страхе и наклонилась, чтобы проверить ее дыхание и сердцебиение: первое замирало на бледных губах, а второе едва приподнимало холодную грудь. Нащупав мокрое платье, Рахиль подумала, что это кровь, что перед ней жертва преступления, и позвала на помощь свою служанку Тамару. Вдвоем они перенесли незнакомку в хижину.

Здесь женщины уложили Таосер на лежанку. Тамара держала лампу, пока Рахиль, наклонившись, искала рану. Но ей не удалось ничего обнаружить ни на коже, ни на одежде. Сняв с девушки платье, они закутали ее в полосатое шерстяное покрывало, и под его ласковым теплом в ней опять разгорелась затухшая искра жизни. Таосер медленно приоткрыла глаза и огляделась вокруг растерянным взглядом попавшейся в капкан газели.

Ей понадобилось несколько минут, чтобы восстановить прерванную нить мыслей. Таосер не понимала, как оказалась в той самой комнате и на той самой лежанке, на которой она только что видела Поэри и юную израильтянку. Они тогда сидели рядом, пожимали друг другу руки и нежно ворковали о любви, в то время как она трепетала и задыхалась, подсматривая сквозь щель в стене... Тут Таосер все вспомнила.

Лампа ярко освещала Рахиль. Таосер молча изучала ее прекрасное лицо и с досадой находила его совершенным. Тщетно, несмотря на пылкую ревность, пыталась она отыскать в нем недостатки и чувствовала, что перед ней по меньшей мере равная соперница: Рахиль воплощала собой израильский идеал, так же как Таосер — египетский. Дочь жреца была вынуждена признать, как это ни трудно для любящего сердца, что Поэри избрал достойный предмет для страсти. Глаза с изломом черных бровей, благородный нос, ослепительная улыбка алых губ, изящно удлиненный овал лица, сильные руки с почти детскими кистями, полная округлая шея, которая при повороте образовывала складки более привлекательные, чем ожерелья из драгоценных камней, — все это вкупе с причудливым головным убором не могло не вызывать восхищения.

«Я совершила большую ошибку, — решила Таосер, — когда представилась Поэри в скромном виде просительницы, положившись на свою красоту, сильно преувеличенную льстецами. Безумица! Я поступила подобно воину, который идет в бой без панциря и секиры. Явись я во всей моей роскоши, вооруженная драгоценностями и эмалями, стоя на золотой колеснице в окружении многочисленных рабов, я разбудила бы его тщеславие, а вслед за ним, быть может, и сердце».

— Как ты себя чувствуешь? — спросила Рахиль по-египетски, сразу определив по профилю и косичкам, что незнакомка чужого рода-племени.

Ее голос был полон сочувствия и ласки, а особый выговор придавал ему еще большее очарование.

Таосер была невольно тронута и ответила:

— Немного лучше. Твои заботы и доброта скоро вылечат меня.

— Не утруждай себя разговором. — Израильтянка прикрыла рукой рот Таосер. — Попробуй заснуть, чтобы восстановить силы. Мы присмотрим за тобой.

Переживания, переправа через Нил, долгий путь по фиванским трущобам утомили дочь Петамунофа. Нежное тело ее было разбито усталостью, и вскоре длинные ресницы опустились, образовав черные полукружья на щеках, окрашенных жаром горячки. Пришел сон, тревожный, беспокойный, полный страшных видений. Таосер нервно вздрагивала, а ее полуоткрытые губы шептали обрывки каких-то фраз.

Сидя в изголовье, Рахиль не спускала глаз с Таосер: тревожилась, когда черты спящей болезненно сжимались, и облегченно переводила дух, когда они разглаживались. Тамара, устроившись на корточках рядом с хозяйкой, тоже наблюдала за дочерью жреца, но ее лицо дышало отвращением. Низкие помыслы читались в морщинах узкого лба под широкой повязкой израильского головного убора. Глаза, сохранившие блеск, несмотря на возраст, сверкали любопытством из-под темных складок век. Лоснящийся костистый нос, загнутый, словно клюв ястреба, казалось, вынюхивал секреты, а губы тихо шевелились, как будто старуха не решалась о чем-то спросить.

Незнакомка, подобранная у дверей хижины, живо интересовала Тамару. «Откуда она взялась? Как оказалась здесь? Зачем? Кто она такая?» — спрашивала себя служанка и, к своему большому сожалению, не находила удовлетворительных ответов. Надо сказать, что Тамара, подобно многим старухам, с предубеждением относилась ко всем красивым женщинам — и потому сразу невзлюбила Таосер. Только своей хозяйке верная служанка прощала красоту — она гордилась Рахилью, считая ее почти своей собственностью, и ревновала ко всему свету.

Увидев, что Рахиль молчит, старуха поднялась, подсела к ней поближе, мигнула темными веками, которые опускались и поднимались, словно крылья летучей мыши, и прошептала на еврейском языке:

— Госпожа, по-моему, эта женщина не принесет нам ничего хорошего.

— Почему, Тамара? — отозвалась Рахиль так же тихо и на том же наречии.

— Странно, — продолжала подозрительная Тамара, — что она потеряла сознание именно здесь, неспроста это.

— Она упала там, где ей стало плохо.

Старуха с сомнением покачала головой.

— Ты считаешь, — забеспокоилась возлюбленная Поэри, — что ее обморок был притворным? Но она так походила на труп, что парасхит не дрогнув вскрыл бы ей внутренности своим острым камнем. Потухший взгляд, бледные губы, бесцветные щеки, неподвижные члены, холодная, как у мертвеца, кожа — такое нельзя изобразить.

— Конечно, нельзя, — согласилась Тамара, — хотя есть очень искусные притворщицы, которые, когда надо, умеют изображать подобные призна-

ки так, что самый проницательный останется в дураках. Но эта девушка, по-моему, в самом деле потеряла сознание.

— Тогда что тебя тревожит?

— Как она очутилась посреди ночи здесь, в отдаленном квартале, где живут только нищие рабы нашего племени[2], которых злой фараон заставляет делать кирпичи, не давая даже соломы?[3] Что привело эту египтянку к нашим убогим хижинам? Почему ее одежда мокрая, будто она вышла из пруда или реки?

— Да откуда же мне знать? — смутилась Рахиль.

— А если это шпионка наших хозяев? — Хищные глаза старухи сверкнули ненавистью. — Грядут великие события... Кто знает, вдруг они что-то пронюхали?

— Как может навредить больная девушка? Она в наших руках, слабая, одинокая и обессиленная. Впрочем, если что, мы продержим ее здесь до дня нашего освобождения.

— В любом случае, не стоит ей доверять — посмотри, какие у нее хрупкие и нежные руки.

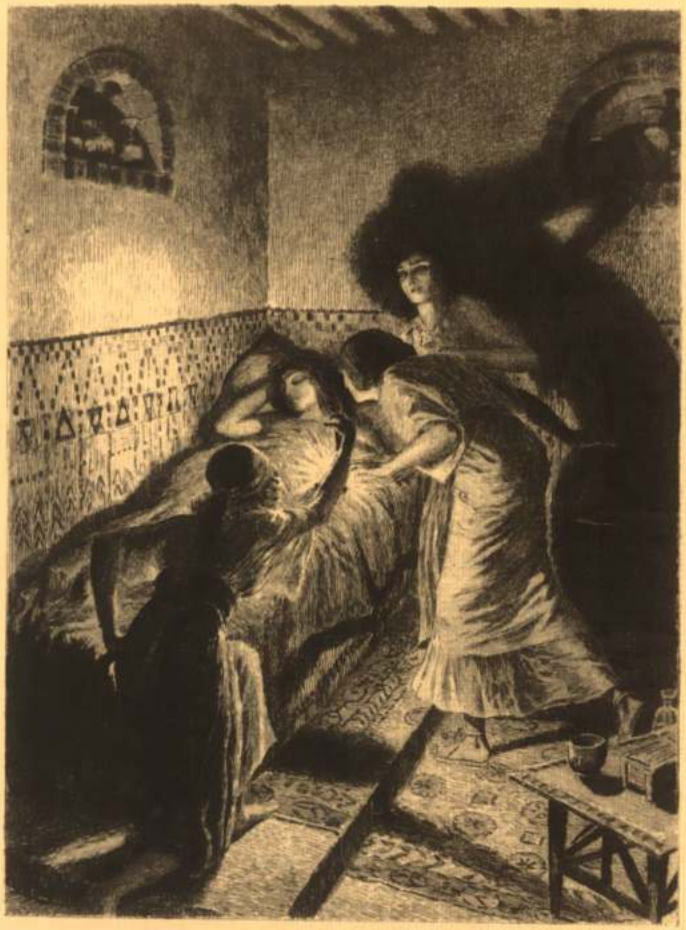
И старая Тамара приподняла руку спавшей Таосер.

— И чем же опасна ее тонкая кожа?

— О, слепая, неосмотрительная молодость! — воскликнула Тамара. — О, безумная молодость, которая не желает ничего видеть и смело идет по жизни, не подозревая о ловушках и терниях, спрятанных под травой, о жгучих угольях, подернутых золою, и беспечно гладит гадюку, считая, что это всего-навсего уж! Очнись, Рахиль, раскрой глаза! Эта женщина не принадлежит к нашему сословию. На ее пальцах нет мозолей даже от веретена! Эта нежная ручка, смягченная маслами и благовониями, никогда не работала. Ее нищета — всего лишь маскировка.

Слова старухи произвели впечатление на Рахиль, и она посмотрела на Таосер с бóльшим вниманием.

Лампа освещала объятую сном девушку мерцающими лучами, и благородные формы дочери жреца представали во всей своей чистоте. Рука, к которой прикоснулась Тамара, снова упала на полосатое покрывало и белела на его темном фоне. Запястье обхватывал браслет из сандалового дерева — незатейливое украшение бедной кокетки; но если украшение было грубоватым и плохо сработанным, то плоть казалась отлитой в душистой форме богатства и роскоши. Рахиль увидела наконец, сколь прекрасна Таосер, но это открытие не зажгло в ее сердце ни искорки зависти. Чужая красота растрогала ее, а не озлобила, как Тамару. Рахиль не верилось, что столь совершенная оболочка скрывает низкую, коварную душу; чистосердечие молодости оказалось прозорливее, чем опыт умудренной годами служанки.



Наступил рассвет, и у Таосер усилился жар. За несколькими минутами бреда последовало глубокое забытье.

— Если она умрет здесь, — ворчала Тамара, — нас обвинят в убийстве.

— Она не умрет. — Рахиль поднесла к губам больной чашу с чистой водой.

— Тогда я брошу ее тело в Нил, — продолжала упрямая Тамара, — пусть крокодилы о ней позаботятся.

Прошел день. Вечером, как обычно, Поэри появился на пороге хижины. Рахиль увидела юношу и приложила палец к губам, предупреждая его, чтобы он не шумел и говорил потише, так как Таосер спала.

Рахиль взяла Поэри за руку и проводила к кушетке, на которой лежала Таосер. Поэри тут же узнал лже-Хору, чье исчезновение сильно встревожило его, особенно после посещения Тимофта, разыскивавшего некую Таосер от имени своего господина.

На его лице отобразилось искреннее удивление, и он склонился над лежанкой, желая убедиться, что на ней действительно лежит та самая девушка, которую он принял у себя в доме. Он никак не мог понять, как она попала сюда, к Рахили.

Рахиль сердцем угадала чувства юноши. Она положила руки ему на плечи, пристально посмотрела в глаза, чтобы прочитать в них правду, и произнесла отрывистым и сухим голосом, не похожим на ее обычную речь, ласковую, точно воркование горлицы:

— Так ты ее знаешь?

Лицо Тамары исказилось в самодовольной гримасе. Она гордилась своей проницательностью и почти радовалась, что ее подозрения в отношении незнакомки частично оправдались.

— Да, — просто ответил Поэри.

Угольные глаза служанки сверкнули злобным любопытством.

Рахиль успокоилась — она больше не сомневалась в своем возлюбленном.

Поэри рассказал, что эта девушка, назвавшись Хорой, представилась ему бездомной просительницей, и он принял ее, как положено принимать гостей; что вчера ее хватились, но он не понимает, каким образом она оказалась в доме Рахили. Юноша добавил также, что посланцы фараона ищут повсюду Таосер, дочь верховного жреца Петамунофа, исчезнувшую из своего дворца.

— Ну вот, госпожа, ты видишь, я была права, — торжествующе произнесла Тамара. — Хора и Таосер — одно и то же лицо.

— Возможно, — согласился Поэри. — Но здесь есть несколько тайн, которые я не могу постичь: во-первых, зачем Таосер (если это она) скрывалась под чужим именем и платьем? Во-вторых, каким чудом я встречаю

здесь девушку, которую оставил вчера вечером на другой стороне Нила и которая, конечно, понятия не имела, куда я иду?

— Она, очевидно, следила за тобой, — сразу догадалась Рахиль.

— Я уверен, что в этот час на реке не было лодки, кроме моей.

— Вот почему с ее волос текла вода, а платье насквозь промокло: она переправилась через Нил вплавь.

— В самом деле, мне в какое-то мгновение показалось, что я заметил человеческую голову на поверхности воды...

— Это была она. Бедное дитя, — вздохнула Рахиль, — теперь понятны и ее усталость, и обморок. Сразу после твоего ухода я нашла ее без сознания рядом с хижиной.

— Похоже, все так и было, — сказал юноша. — Теперь мне понятны поступки, но не их причины.

— Придется мне объяснить, — улыбнулась Рахиль, — хотя я всего-навсего несчастная необразованная девушка, а тебя сравнивают по учености с египетскими жрецами, которые день и ночь ломают голову над глубоким смыслом таинственных иероглифов, украшающих их святилища. Бывает, мужчины, слишком занятые астрономией, музыкой и числами, не способны разобраться в том, что происходит в сердце юной девушки. Они видят далекую звезду на небе и не замечают любви у себя под носом. Хора, вернее Таосер, так как это она, переоделась, чтобы проникнуть в твой дом и жить рядом с тобой. Движимая ревностью, она последовала за тобой в темноте. Рискуя пойти на корм крокодилам, переплыла Нил и, увидев нас через какую-нибудь щель в стене хижины, не вынесла зрелища нашего счастья. Она любит тебя, потому что ты прекраснее, сильнее и нежнее всех. Но мне все равно, ведь ты ее не любишь. Ну, теперь ты понял?

Щеки Поэри порозовели. Он боялся, что Рахиль обиделась и хочет притворной лаской заманить его в ловушку, но светлый и чистый взгляд его возлюбленной не выдавал и тени задней мысли. Она не возненавидела Таосер за любовь к тому, кого любила сама.

Среди призраков своего сна Таосер увидела Поэри. Восторг и радость отразились на ее лице, и, приподнявшись, она взяла руку юноши и поднесла к своим губам.

— Ее губы горят, — промолвил Поэри и убрал руку.

— Не только от жара, но и от любви, — сказала Рахиль. — Однако она в самом деле больна. Может быть, Тамара сходит за Моше?[4] Он куда более учен, чем мудрецы и кудесники фараона, которым приписывают всевозможные чудеса. Ему ведомы целебные свойства растений, и он умеет составлять снадобья, которые воскрешают мертвых. Он вылечит Таосер, ведь я не настолько жестока, чтобы желать ей смерти.

Тамара ушла с недовольным видом и скоро возвратилась в сопровождении статного, величественного старца, один вид которого вызывал уважение: пышная, длинная борода волнами спадала ему на грудь, а по обеим сторонам его лба, словно два огромных протуберанца, торчали пряди волос, напоминавшие то ли рога, то ли лучи. Под густыми бровями сверкали огоньки глаз. Несмотря на простую одежду, он был похож на пророка или бога[5].

Поэри все ему объяснил. Пришедший сел рядом с ложем Таосер и воскликнул, воздев над ней руки:

— Именем Бога Всемогущего, рядом с которым другие боги — только идолы и демоны, дева юная, хоть ты и не принадлежишь к богоизбранному народу, исцелись!







Глава XII

Медленно и торжественно ступая, великий старец удалился, но как будто оставил после себя свет. Удивленная Таосер почувствовала, что болезнь тотчас же покинула ее. Девушка огляделась вокруг и, завернувшись в покрывало, которое накинула на нее юная израильтянка, спустила ноги на пол и села на краю лежанки — усталость и горячку как рукой сняло. Она была свежей, словно после долгого отдыха, и ее красота сияла во всей своей чистоте. Убрав за уши заплетенные пряди волос, Таосер открыла светившееся любовью лицо, будто хотела, чтобы Поэри было удобнее читать по нему. Но Поэри, не ободряя ее ни взглядом, ни жестом, неподвижно стоял подле Рахили. Тогда Таосер медленно встала, шагнула к юной израильтянке и вдруг бросилась к ней на шею.

Она стояла, спрятав лицо на груди Рахили, и обливалась горькими слезами.

Порой рыдания, которых она не могла сдержать, сотрясали ее тело, и она еще сильнее прижималась к сопернице. Это открытое признание своего полного поражения и безутешное горе тронули Рахиль — Таосер без слов взывала к состраданию и великодушию.

Взволнованная Рахиль обняла ее и промолвила:

— Вытри слезы и не отчаивайся. Ты любишь Поэри — и хорошо, люби, я не буду ревновать. Иаков, патриарх нашего народа, имел двух жен: одну звали Рахиль, как меня, а другую — Лия. Иаков предпочитал Рахиль, и тем не менее Лия, которая была далеко не так красива, как ты, жила счастливо подле него[1].

Таосер опустилась на колени у ног Рахили и поцеловала ей руку. Рахиль подняла ее и дружески обняла за талию.

То была очаровательная пара — две женщины, олицетворявшие идеал красоты двух разных народов. Таосер — изящная, хрупкая и тоненькая, будто девочка, которая слишком быстро вытянулась, и Рахиль — яркая, статная и великолепная в своей ранней зрелости.

— Таосер, — начал Поэри, — думаю, именно так тебя зовут, Таосер, дочь верховного жреца Петамунофа...

Девушка кивнула в знак согласия.

— Ты живешь в Фивах в роскошном дворце, владеешь множеством рабов, твоей руки добиваются самые прекрасные египтяне... За что ты выбрала и полюбила сына народа, чей удел — рабство, за что полюбила иноземца, поклоняющегося другим богам?

Рахиль и Таосер улыбнулись, а дочь верховного жреца ответила:

— Именно за это.

— Хоть я и в милости у фараона — ведь я поставщик двора, имеющий право носить позолоченные рога на празднике земледельцев, мне не сравниться с тобой. В глазах египтян я всего лишь раб, а ты принадлежишь к самой высокой, самой почитаемой касте священников[2]. Если ты меня любишь, а я не могу в этом усомниться, тебе придется спуститься с твоей высоты...

— Разве я уже не сделалась твоею служанкой? У Хоры ничего не осталось от Таосер — ни эмалевых ожерелий, ни каласирисов из прозрачной ткани, — ты не заметил даже моей красоты.

— Нужно будет отречься от своей страны и последовать за мною в неведомые края через пустыню, где палит солнце, где дует огненный ветер, где дороги засыпает зыбучий песок, где не растет ни одно дерево, не бьют ключи — в долины безумия и смерти, где земля усыпана, точно вехами, побелевшими костями.

— Я согласна, — спокойно отвечала Таосер.

— Мало того, — продолжал Поэри, — твои боги — не мои боги. Твои — из меди, базальта и гранита, обработанных рукой человека, чудовищные идолы с головами ястреба, обезьяны, ибиса, коровы, шакала, льва. Они прикрываются звериной маской, будто стесняются человеческого лица, в котором светится отражение Иеговы[3]. Сказано: «Не поклоняйся никаким

кумирам и никаким изображениям их из камня, дерева или металла»[4]. В глубине огромных храмов, построенных на крови угнетенных народов, мерзко ухмыляются и непристойно корчатся грязные демоны, которые принимают дары, жертвенные возлияния и подношения; тогда как Бог только один — всемогущий, вечный, бесплотный, бесцветный, единый Бог на необъятных небесах, которые вы заселяете множеством призраков. Наш Бог создал нас, вы же сами создаете себе богов.

Как ни была Таосер влюблена в Поэри, эти слова произвели на нее ошеломляющее впечатление — она ужаснулась. Дочь верховного жреца была воспитана в благоговении перед богами, которых молодой иудей поносил с такой дерзостью. Таосер возлагала на алтари букеты лотоса, курила благовония перед бесстрастными изображениями, в удивлении и восхищении бродила по храмам, украшенным яркими фресками. Она смотрела, как отец исполнял таинственные обряды, сопровождала жрецов, которые несли символическую священную ладью по огромным пропилеям и бесконечным аллеям сфинксов, с замиранием сердца любовалась психостасиями[5], где душа, объятая дрожью, представала перед Осирисом, вооруженным бичом и посохом, задумчиво разглядывала фрески, запечатлевшие образы западного царства[6]. Непросто ей было отказаться от своей веры.

Несколько минут Таосер безмолвствовала, выбирая между религией и любовью. Любовь все-таки взяла верх, и девушка прошептала:

— Ты посвятишь меня в свою веру. Я попытаюсь понять твоего Бога.

— Хорошо, ты будешь моей женой. Оставайся здесь, ибо фараон влюблен в тебя и послал своих слуг на розыски. Ему не найти тебя под этой бедной крышей, а через несколько дней мы будем вне его власти. А теперь мне пора уходить. Скоро утро.

Поэри попрощался, и две девушки устроились на лежанке, держась за руки, как сестры.

Тамара, которая на протяжении всей сцены сидела в углу комнаты, скорчившись, будто летучая мышь, вцепившаяся в стену когтями перепончатых крыльев, и что-то невнятно бормотала, нахмурив низкий лоб, распрямила костлявые чресла, поднялась на ноги и, склонившись к постели, прислушалась. Когда по ровному дыханию девушек она убедилась, что те погрузились в глубокий сон, старуха, ступая как можно тише, прокралась к двери.

Выйдя наружу, она быстрым шагом направилась к Нилу. Ей приходилось отпихивать псов, которые вцеплялись зубами в край рубахи, или волочить их за собой по пыльной дороге, пока они не отказывались от добычи. Порой она обращала на собак столь гневный взгляд, что те, жалобно поскуливая, уступали ей дорогу.

Скоро она миновала жуткие пустынные места, где ночью заправляли шайки воров[7], и попала в богатые районы Фив; три-четыре улицы с высокими зданиями и громадными угловатыми тенями привели ее к ограде дворца — конечной цели ее небезопасной прогулки.

Нелегко было в столь поздний час попасть внутрь дворца старой служанке-еврейке в сомнительном рубище, с белыми от пыли ногами.

Перед ней высился главный пилон, который охраняют пятьдесят криосфинксов — выстроенных в две шеренги чудовищ, готовых смолоть своими гранитными челюстями тех неосторожных, что осмелятся пройти между ними.

Стражники остановили ее, для начала хорошенько исколотив древками своих копий, а уж потом спросили, зачем она явилась.

— Я хочу видеть фараона, — ответила старуха, потирая спину.

— Конечно, конечно... сейчас... для такой старой карги мы нарушим покой фараона, любимца Ра, наместника Амон-Ра, повелителя народов! — покатилась со смеху стража.

Тамара упрямо повторила:

— Я хочу немедленно видеть фараона!

— Удачный ты выбрала час! Фараон только что расправился с тремя гонцами. Он восседает на галерее, неподвижный и мрачный, как Тифон — бог зла, — снизошел до объяснения самый молодой стражник.

Служанка Рахили попыталась прорваться, но копья обрушились ей на голову одно за другим, словно молоты на наковальню.

Она начала вопить, как заживо ощипанная сипуха[8].

На шум прибежал оэрис. Оставив Тамару, стражники замерли.

— Что нужно этой женщине? — вскричал оэрис. — За что вы ее так?

— Я хочу видеть фараона! — крикнула Тамара, подползая на коленях к оэрису.

— Никак невозможно, — усмехнулся тот, — даже если бы ты была не нищенкой, а самым почитаемым царедворцем.

— Я знаю, где Таосер, — тихо, но отчетливо выговорила старуха.

Услышав эти слова, оэрис схватил Тамару за руку, прошел первый пилон и протащил ее через колонный зал во второй двор, в котором за двумя колоннами с капителями в виде лотосов виднелся гранитный жертвенник. Там, позвав Тимофта, он передал ему Тамару.

Тимофт проводил служанку на галерею, где восседал хмурый и молчаливый фараон.

— Говори, только держись подальше от его жезла, — посоветовал старухе Тимофт.

Разглядев в полумраке фараона, Тамара упала лицом вниз рядом с так и не убранными мертвыми телами и тут же, приподнявшись, уверенным голосом произнесла:

– О царь! Не казни меня, я принесла тебе добрую весть.

– Говори, не бойся, – ответил фараон, чья ярость уже улеглась.

– Я знаю, где Таосер, которую твои посланцы ищут по всему свету.

При имени Таосер фараон вскочил и сделал несколько шагов к стоявшей на коленях Тамаре.

– Если ты говоришь правду, то возьмешь из моих гранитных подвалов столько золота и драгоценных безделушек, сколько сможешь поднять.

– Она будет твоей, не сомневайся, – засмеявшись, проскрипела старуха.

Что заставило Тамару выдать пристанище дочери жреца? Служанка Рахили стремилась воспрепятствовать отвратительному, по ее мнению, союзу. Еврейку переполняла ненависть к народу Египта – ненависть слепая, яростная, безрассудная, почти животная, и ничего она не желала так сильно, как разбить сердце Таосер. Попав в руки фараона, соперница Рахили уже не ускользнет: толстые стены дворца сумеют удержать свою добычу.

– Где она? – спросил фараон. – Я хочу немедленно видеть ее.

– Великий, я провожу тебя. Я знаю все закоулки грязных трущоб, куда побрезгует ступить самый презренный из твоих рабов. Таосер там, в глинобитной лачуге, столь же неприметной, как хижины по соседству, среди груд кирпичей, которые делают для тебя евреи.

– Хорошо, я верю тебе. Тимофт, прикажи подать колесницу.

Тимофт исчез.

Вскоре послышался грохот катившихся по плитам двора колес и цокот копыт.

Фараон спустился вместе с Тамарой.

Он впрыгнул в колесницу, взял вожжи и приказал медлившей старухе:

– Ну, быстрей, поднимайся! – Щелкнул языком, и лошади рванули. Стук колес разбудил эхо, и оно глухо раскатилось в глубинах просторных залов, словно дальний гром в ночной тишине.

Старая карга, вцепившаяся костлявыми пальцами в борт колесницы, и великан-фараон, похожий на бога, являли собою дикое зрелище, которое, к счастью, не видел никто, кроме сиявших в темном небе звезд. Старуха напоминала чудовище, уносящее грешную душу в ад. Страсти сводят тех, кому иначе никогда не суждено было бы встретиться.

– Сюда? – спросил фараон служанку на перекрестке.

– Да. – Тамара указала рукой нужное направление.

Лошади, подстегиваемые кнутом, устремились вперед, и колесница с металлическим лязгом запрыгала по камням.

В это время Таосер спала рядом с Рахилью, и диковинный сон тревожил ее.

Ей снилось, что она попала в храм невиданных размеров. Мощные колонны необыкновенной высоты поддерживали голубой потолок, как небо, усыпанный звездами[9], бесчисленные линии иероглифов поднимались и опускались по стенам меж символических фресок и картин, пестревших яркими красками. Все боги Египта собрались в этом общем святилище, но не в виде скульптур из меди, базальта или порфира, а как живые существа. В первом ряду сидели боги верхнего неба: Кнеф[10], Буто[11], Птах[12], Пан-Мендес[13], Хатхор, Ра, Исида; затем двенадцать небесных божеств: шесть богов — Пи-Зевс[14], Ремфа, Эртози[15], Пи-Гермес[16], Имутхес[17] и шесть богинь: Луна, Эфир, Огонь, Воздух, Вода и Земля[18]. Позади них бурлила неразличимая и неясная толпа — триста шестьдесят пять деканов, или демонов каждого дня[19], и наземные божества: второй Осирис, Ароэрис, Тифон, вторая Исида, Нефтида, Анубис с головой собаки, Тот, Бусирис[20], Бубастис[21], великий Серапис[22]. Дальше во мраке вырисовывались силуэты идолов в облике животных: быки, крокодилы, ибисы, носороги. В центре храма в открытом гробу лежал верховный жрец Петамуноф, иронично взиравший на это странное и чудовищное сборище. Завидев дочь, он приказал ей: «Обратись к ним, спроси, боги ли они?»

И Таосер задала каждому этот вопрос, и все отвечали: «Мы только числа, законы, силы, знаки, флюиды и мысли Бога, но никто из нас не есть истинный Бог».

Тут на пороге храма появился Поэри. Он взял Таосер за руку и повел ее к светилу столь яркому, что и солнце рядом с ним показалось бы черным, а в его центре сиял треугольник с непонятными письменами[23].

Тем временем колесница фараона летела невзирая на препятствия, и в узких проулках оси чиркали по стенам домов.

— Придержи лошадей, — посоветовала Тамара фараону. — В этой глуши и в такой тишине грохот колес может разбудить беглянку, и она опять ускользнет от тебя.

Фараон нашел ее слова справедливыми и, несмотря на свое нетерпение, укротил стремительный ход упряжки.

— Здесь, — указала Тамара. — Я оставила дверь открытой. Ступай, а я присмотрю за лошадьми.

Царь спустился вниз и, наклонив голову, проник в хижину.

Лампа еще горела и тусклым светом освещала двух спавших девушек.

Могучими руками фараон поднял Таосер и направился к двери лачуги.

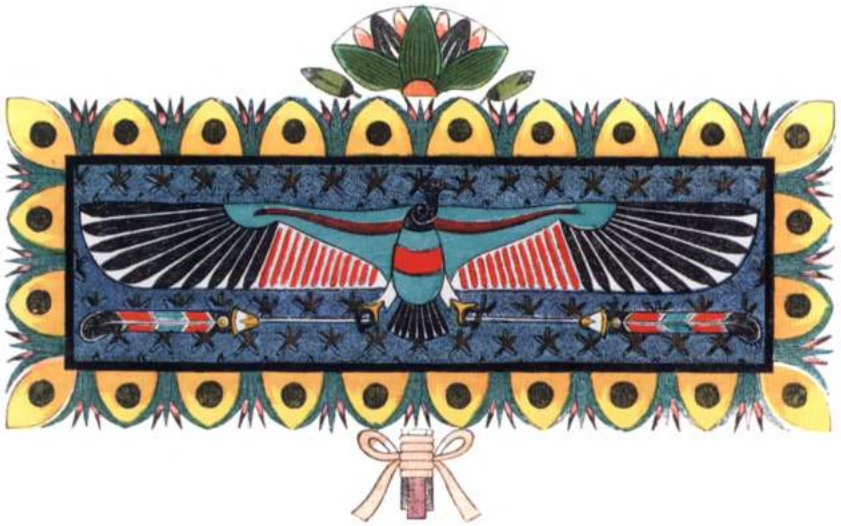


Дочь Петамунофа очнулась и увидела рядом пылающий лик фараона. Она подумала сначала, что это жуткое продолжение ее сна, но ночная свежесть ударила ей в лицо и вернула к действительности. Обезумев от страха, она хотела закричать, позвать на помощь, но из груди вырвался лишь слабый стон. Да и кто защитил бы ее от фараона?

Одним прыжком царь вскочил в колесницу, прицепил вожжи к поясу и, прижимая к сердцу полумертвую от ужаса Таосер, во весь опор пустил своих скакунов к Северному дворцу.

Тамара ящерицей скользнула в хижину, скорчилась на привычном месте и устремила нежный, почти материнский, взгляд на свою дорогую Рахиль, которая так и не проснулась.







Глава XIII

Быстрая езда и свежий встречный ветер вскоре вернули Таосер к жизни. Фараон с такою силой прижимал девушку к груди, что ее сердце с трудом билось, а в стесненную грудь врезались твердые бусинки царского ожерелья. Лошади, которых фараон понукал, нависая над колесницей, неслись словно фурии, колеса бешено вращались, медные ступицы гремели, разогретые оси дымили. Растерянная Таосер смутно, будто сквозь сон, различала пролетавшие справа и слева неясные очертания хижин, деревьев, дворцов, храмов, пилонов, обелисков, колоссов, казавшихся ночью сказочными чудовищами. О чем думала она во время этой бешеной скачки? Мыслей у нее было не больше, чем у голубки, что трепещет в когтях сокола, уносящего добычу в свое гнездо; немой ужас охватил ее, заледенил кровь, лишил сил. Руки и ноги безжизненно поникли, волю сковало так же, как тело, и, если б фараон вдруг выпустил ее, она рухнула бы на дно колесницы, точно сноп. Дважды Таосер ощутила на своей щеке жаркое дыхание и прикосновение огненных губ, но она даже не попыталась отвернуться — страх притупил стыдливость.

Когда колесница сильно подскочила, наткнувшись на камень, чувство самосохранения заставило девушку судорожно вцепиться в плечо похитителя и прижаться к его груди; затем силы вновь оставили ее, и она повисла, будто пушинка, на железных руках фараона.

Упряжка въехала на аллею сфинксов, в конце которой вздымался гигантский пилон, увенчанный карнизом, на котором символический шар расправлял свои широкие крылья. Тьма уже начала рассеиваться, и дочь жреца узнала царский дворец. Тут ее охватило отчаяние. Она забилась, пытаясь высвободиться из железных объятий, уперлась хрупкими руками в твердую грудь фараона, опрокидываясь за борт колесницы. Бесполезные усилия, бессмысленная борьба! Похититель с улыбкой медленно и уверенно снова прижал ее к сердцу, словно хотел припечатать к нему. Таосер закричала, но поцелуй заглушил ее крик.

Тем временем лошади достигли пилона, галопом пересекли его, радуясь скорому отдыху, и колесница вкатилась в огромный двор.

Прибежали слуги и подхватили лошадей под уздцы, побелевшие от пены.

Таосер испуганно огляделась. Высокие кирпичные стены образовывали широкое огороженное пространство: на востоке его высился дворец, а на западе между двумя обширными прудами для священных крокодилов, — храм. Первые лучи солнца, уже показавшиеся над Аравийским хребтом, окрасили в розовый цвет верхушки строений, остальная часть которых еще купалась в синеватом сумраке. Никакой надежды на бегство. Дворец, даже если в нем и не было ничего зловещего, воплощал неотвратимую мощь, непреклонную волю, безграничную твердость. Только вселенский катаклизм мог бы пробить брешь в толстых стенах из твердого песчаника. Чтобы низвергнуть эти пилоны, состоявшие из цельных горных обломков, вся планета должна была содрогнуться. Даже огонь только лизнул бы своим языком эти нерушимые глыбы.

Несчастная Таосер не имела в своем арсенале столь разрушительных средств, и фараон легко, точно с ребенком на руках, спрыгнул вместе с нею на землю.

По-прежнему прижимая к груди дочь Петамунофа, царь вошел в пропилеи дворца, образованные четырьмя высокими колоннами с капителями в виде пальмовых листьев. Проникнув за дверь, он осторожно поставил свою добычу на пол и сказал покачнувшейся Таосер:

— Не бойся! Я царствую над миром, а ты царствуешь надо мной.

То были первые слова, с которыми он обратился к девушке.

Если бы любовь подчинялась разуму, Таосер, конечно, выбрала бы не Поэри, а фараона. Царь обладал сверхчеловеческой красотой: его крупные правильные черты казались безупречным творением скульптора. Привычка повелевать придала его глазам проникновенность и блеск, отли-

чающие богов и царей от простых смертных. Губы, одно слово которых меняло лик земли и судьбу народов, были пурпурно-красными, как свежая кровь на острие меча, и, когда грозный фараон улыбался, они придавали его лицу жуткое очарование, перед которым никто не мог устоять. Высокая, хорошо сложенная и величественная фигура отличалась восхитительным, скульптурным благородством линий. Когда царь являлся, всемогущий и лучезарный, в сиянии золота, эмалей и драгоценных камней, в голубой дымке амширов, казалось, он не принадлежит к тем бренным существам, что поколение за поколением облетают, словно листья, и, покрытые смолой, исчезают в беспросветных глубинах сиринг.

Разве мог сравниться с этим полубогом жалкий Поэри? И тем не менее Таосер любила его, а не фараона. Мудрецы уже давно отказались от попыток постичь сердце женщины. Они изучили астрономию, астрологию, арифметику, построили гороскоп вселенной[1] и вычислили положение планет в момент сотворения мира. Они уверены, что Луна тогда находилась под знаком Рака, Солнце — в созвездии Льва, Меркурий — в Деве, Венера — в Весах, Марс — в Скорпионе, Юпитер — в Стрельце, а Сатурн — в Козероге. Они вычертили на папирусе и высекли на граните карту небесного океана, который течет с востока на запад, пересчитали звезды, усеявшие голубую мантию богини Нейт[2], узнали, как в высшей и низшей полусферах движется Солнце на двенадцати дневных и двенадцати ночных ладьях[3], ведомых божеством с головой сокола и Небвой — покровительницей лодок[4]. Они также ведают, что во второй половине месяца Тоби[5] Орион влияет на левое ухо, а Сириус — на сердце[6], но им совершенно невдомек, почему женщина предпочитает одного мужчину другому, отверженного еврея — светозарному фараону.

Царь, не выпуская руку Таосер, миновал несколько залов и в роскошно убранной комнате сел в кресло, по форме напоминавшее трон.

На синем потолке сияли золотые звезды. К столбам, подпиравшим карниз, прислонились спиной статуи царей с пшентами на головах, с ногами, заключенными в камень, и руками, скрещенными на груди; их глаза, подведенные черными линиями, блестели, будто живые, и, казалось, строго следили за всем происходящим.

Между столбами горели на подставках светильники, а освещенные ими картины на стенах являли нечто вроде этнографического парада. На них были изображены со всеми своими одеяниями и характерными чертами народы четырех частей света.

Возглавлял парад, ведомый Хором, пастухом народов, человек совершенный — египтянин, ремеч. У него было кроткое выражение лица, орлиный нос, косички и медно-красная кожа, подчеркнутая белой набедренной повязкой. За ним следовал чернокожий негр, или нехси, с толстыми губами, выступающими скулами и курчавыми волосами. Затем — смугло-жел-

тый азиат, или наму, с орлиным носом, густой черной бородой, заостренной книзу, в пестрой юбке с бахромой из кисточек. И последним шел самый дикий из всех — европеец, или тимху, отличавшийся от остальных белой кожей, голубыми глазами, рыжей шевелюрой, бородой и татуировками на руках и ногах[7]. Сей дикарь был одет в невыделанную бычью шкуру, наброшенную на плечи. Сцены войны и торжеств заполняли другие картины, смысл которых поясняли иероглифические надписи.

Посреди комнаты на столе, который поддерживали на плечах пленники со связанными за спиной локтями, изваянные столь искусно, что казались живыми в своих страданиях, высился огромный букет цветов, и их сладкое благоухание наполняло воздух.

Все в этой великолепной комнате, обрамленной галереей предков, говорило о фараоне и во славу фараона. Народы мира шли позади Египта и признавали его превосходство, а Египтом повелевал царь. Но этот блеск не ослепил дочь Петамунофа. Она вспоминала усадьбу Поэри и нищую лачугу из грязи и соломы в еврейском квартале, где осталась спящая Рахиль — счастливая и единственная супруга молодого иудея.

Фараон держал стоявшую перед ним Таосер за кончики пальцев и не мигая смотрел на нее соколиным взором. На девушке было только покрывало, заменившее тунику, которая промокла во время переправы через Нил, но от этого ее красота нисколько не теряла; полуобнаженная, девушка поддерживала свободной рукой грубую ткань, сползавшую с гладких золотистых плеч. Когда она наряжалась как обычно, оставалось только сожалеть, что часть ее тела закрыта ожерельями, браслетами и золотыми поясами с самоцветами; теперь же, лишенная всех украшений, она вызывала еще большее восхищение.

Много красивых женщин побывало в гинекее фараона, но ни одна не могла сравниться с Таосер. В глазах царя пылал столь яркий огонь, что девушка потупила взор, не в силах вынести их блеска.

В глубине души Таосер гордилась тем, что пробудила любовь фараона, — ибо какой женщине, будь она самим совершенством, чуждо тщеславие? И все-таки она предпочла бы последовать в пустыню за юным евреем. Царь ослеплял Таосер своим сиянием, ее колени дрожали от страха. Фараон заметил ее волнение и усадил у своих ног на красную подушку, украшенную вышивкой и кисточками.

— О Таосер, — он поцеловал ее волосы, — возлюбленная моя Таосер! Когда я заметил тебя с высоты триумфальных носилок, проплывавших над толпой, неведомое чувство проникло мне в душу. Я, чьи желания исполняют прежде, чем они успевают возникнуть, вдруг понял, что мне чего-то недостает, что я — это еще не все. Я всегда был всемогущим, но одиноким, в гигантских дворцах меня окружали лишь улыбающиеся тени.



Они называли себя женщинами, однако волновали меня не больше, чем фигуры на фресках. До моих ушей доносился смутный стон и плач народов, но, как свидетельствуют барельефы пилонов, я вытирал сандалии об их головы, таскал за волосы и при этом не слышал биения сердца в своей холодной твердокаменной груди. Я полагал, что нет на земле создания, которое может меня тронуть. Тщетно из своих походов в другие страны я приводил девушек и женщин, славящихся красотой в своих краях. Я бросал их, как цветы, единожды вдохнув аромат. Ни одна не вызывала желания увидеть ее вновь. Я смотрел на них без удовольствия и быстро забывал. Твея, Тайя, Аменса, Онт-Реше — я терпел их только потому, что ленился искать других, которые назавтра сделаются мне столь же безразличны. Женщины в моих объятиях всегда были подобны бесплотным призракам, тонким надушенным оболочкам, существам другой породы, с которыми моя душа сочеталась не лучше, чем лев с газелью или птица с рыбой. Я думал: раз уж я поставлен богами над смертными, то не могу делить с ними ни боль, ни радость. Невыразимая тоска, подобная той, что, без сомнения, испытывает запеленутая мумия, ожидающая в гробу на дне подземелья, когда ее душа совершит круг перевоплощений, охватывала меня на троне, где я часто застывал, положив руки на колени, точно гранитный колосс, и размышлял о невозможном, бесконечном и вечном. Много раз я собирался приподнять покрывало Исиды[8]. «Пусть, — говорил я себе, — богиня поразит меня молнией и я бездыханным паду к ее ногам. Но вдруг ее таинственное лицо и есть то, о котором я мечтаю, вдруг именно оно вдохнет в меня любовь. Раз земля отказывает мне в счастье, я поднимусь на небо...» Но, увидев тебя, я испытал странное, новое ощущение. Я почувствовал: вот душа, без которой мне не прожить, вот моя судьба, мимо которой я не властен пройти, вот та, что подарит мне счастье. Я был царем, почти богом... Таосер, ты сделала меня человеком!

Никогда еще, наверно, не произносил фараон такого длинного монолога. Чтобы объявить свою волю, ему достаточно было одного слова, жеста или кивка: тысячи внимательных глаз жадно следили за ним, исполнение следовало за мыслью, как гром следует за молнией. Таосер казалось, что он отрекся от своего гранитного величия — он изъяснялся, словно простой смертный.

Необычайное замешательство овладело Таосер. Ей льстила столь великая честь — быть любимой наместником Амон-Ра, повелителем народов, страшным, солнцеподобным, могущественным существом, на которое она едва осмеливалась поднять глаза, но она не питала к нему теплых чувств, а о том, чтобы принадлежать ему, думала с отвращением. Не могла она отдать свое сердце, которое осталось с Поэри и Рахилью, тому, кто похитил ее тело, но фараон ждал, и вместо ответа она спросила:

— Как получилось, о царь, что из всех девушек Египта твой взгляд остановился на мне? Ведь многие превосходят меня и красотой, и умом, и прочими достоинствами. Почему вместо белого, голубого или розового лотоса с пленительным ароматом ты выбрал неприметный стебелек травы?

— Я не знаю. Но поверь: для меня во всем мире существуешь ты одна, и даже царских дочерей я заставлю прислуживать тебе.

— А если я не люблю тебя? — тихо спросила Таосер.

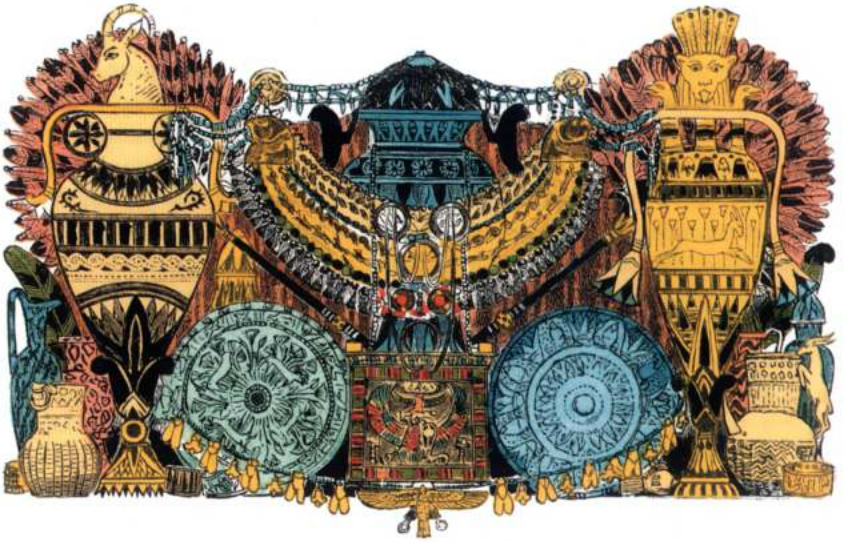
— Не важно, главное, что я люблю. Лучшие женщины вселенной лежали у моего порога, плача и рыдая, царапая себе щеки, терзая грудь и вырывая волосы. Они умирали, вымаливая один любящий взгляд. Но чужая страсть никогда не заставляла трепетать медное сердце в моей мраморной груди. Сопротивляйся, ненавидь меня — от этого ты будешь мне только милее. В первый раз моя воля встретит препятствие, но я сумею его преодолеть.

— А если я люблю другого? — продолжила Таосер, осмелев.

Фараон нахмурил брови и так сильно прикусил верхнюю губу, что на ней остались белые отметины. Он больно сжал пальцы девушки, но затем успокоился и медленно проговорил проникновенным голосом:

— Когда ты поживешь в моем роскошном дворце, окруженная моей любовью, ты забудешь все, как тот, кто вкусил непентес. Прошлое покажется сном, а прежние чувства испарятся, будто фимиам на углях амширов. Женщина, любимая царем, не помышляет о других мужчинах. Ступай, привыкай к царскому великолепию, черпай мои сокровища — пусть потекут реки золота и драгоценностей, приказывай, казни и милуй, возвышай и низвергай, будь моей возлюбленной, моей женой, моей царицей. Я дарю тебе Египет со всеми его жрецами, армиями, земледельцами, неисчислимыми народами, дворцами, храмами и усадьбами. Сомни его, как шелк, — я положу к твоим ногам другие царства, еще более обширные, прекрасные и богатые. А коли не хватит тебе земли, я сброшу с трона богов и покорю далекие планеты. Ты — моя любовь. Таосер — дочери Петамунофа — больше нет.







Глава XIV

Рахиль проснулась и удивилась, не обнаружив рядом Таосер. Решив, что египтянка уже встала, она осмотрела комнату. Тамара скрючилась в углу; положив голову на скрещенные на коленях руки, она спала на этом костлявом изголовье или, вернее, притворялась, что спит, – сквозь седые пряди ее длинных спутанных косм проглядывали хищные совиные глаза, горевшие хитрым и злобным самодовольством.

– Тамара, – позвала Рахиль, – где Таосер?

Старуха, сделав вид, что внезапно пробудилась от голоса госпожи, медленно расправила свои паучьи лапы, потерла темно-коричневые веки сухими, как у мумии, пальцами и с хорошо разыгранным изумлением спросила:

– А разве ее нет?

– Нет, – подтвердила Рахиль, – и если бы я не видела рядом смятую постель и ее платье, тут, на крючке, я бы решила, что странные события этой ночи мне только приснились.

Хотя Тамара прекрасно знала, куда и как исчезла Таосер, она принялась искать ее в комнате, словно египтянка могла где-нибудь спрятаться.

Затем старуха открыла дверь хижины, встав на пороге, внимательно осмотрела окрестности, и, повернувшись к хозяйке, отрицательно покачала головой.

— Странно, — задумчиво произнесла Рахиль.

— Госпожа, — ласково обратилась служанка к красавице еврейке, — ты ведь знаешь, мне не понравилась эта иноверка.

— Тебе весь свет не нравится, — улыбнулась Рахиль.

— Кроме тебя, госпожа... — Старуха поднесла к губам руку молодой женщины.

— О! Я знаю, ты мне преданна.

— У меня никогда не было детей, но иногда мне кажется, что ты моя дочь.

— Добрая моя Тамара! — растрогалась Рахиль.

— Разве я была неправа, когда сочла подозрительным ее появление здесь? Она исчезла, и теперь все ясно. Она назвалась Таосер, дочерью Петамунофа, но то был не кто иной, как демон, принявший женское обличье, чтобы испытать и соблазнить детей Израиля. Ты видела, как она встревожилась, когда Поэри проповедовал против их идолов из камня, дерева и металла? И с каким трудом она произнесла: «Я попытаюсь понять твоего Бога»? Слова жгли ей губы, будто горячие уголья.

— Ее слезы, падавшие мне на грудь, были настоящими слезами земной женщины, — возразила Рахиль.

— Крокодилы тоже плачут, когда им надо, а гиены — смеются, заманивая свою жертву, — упорствовала Тамара. — Злые духи, которые бродят в ночи среди камней и развалин, очень хитры и прекрасно справляются с любой ролью.

— Так, по-твоему, бедняжка Таосер — всего-навсего призрак? Исчадие ада?

— А кто же еще! — хитрила служанка. — Возможно ли, чтобы дочь верховного жреца Петамунофа увлеклась Поэри настолько, что предпочла его фараону, который якобы в нее влюблен?

Рахиль считала это более чем возможным — ведь Поэри и для нее был дороже всех на свете.

— Если, — не унималась старая карга, — она в самом деле любила его, а не притворялась, почему же тогда исчезла, сразу как только он с твоего согласия предложил ей стать его второй женой? Дьявол обратился в бегство, иначе ему пришлось бы отказаться от ложных богов и поклоняться Иегове.

— Так или иначе, — вздохнула Рахиль, — у этого дьявола был очень милый голос и нежные глаза.

В глубине души Рахиль не сильно огорчилась из-за исчезновения Таосер. Теперь она снова безраздельно владела сердцем, половину которого

великодушно уступила, и при этом могла гордиться тем, что выказала готовность пойти на такую жертву.

Сославшись на то, что ей пора на базар, служанка вышла из лачуги и направилась ко дворцу фараона: алчность не давала ей забыть царские посулы. Она вооружилась большим полотняным мешком, чтобы наполнить его золотом.

Когда Тамара появилась у дворцовых ворот, стражники узнали ее и не стали бить, как в первый раз, а оэрис тут же позволил войти. Тимофт проводил ее к фараону.

Когда тот увидел грязную старуху, которая ползла к его трону, будто полураздавленное насекомое, он вспомнил о своем обещании и приказал, чтобы еврейке открыли гранитные подвалы и разрешили взять столько золота, сколько она сможет унести.

Тимофт, пользовавшийся полным доверием фараона и знавший секреты всех замков, распахнул каменную дверь.

Несметные груды золота заискрились под упавшим на них солнечным светом, но блеск желтых, загоревшихся диким огнем глаз старухи затмевал блеск металла. Она сперва застыла в ошеломлении, а потом наскоро засучила рукава залатанной туники, оголив сухие руки с выступавшими, точно веревки, жилами, с бесчисленными складками и морщинами, растопырила крючковатые, будто когти грифона, пальцы и с яростной, звериной жадностью ринулась к горе сиклей[1].

Старуха до плеч погрузила руки в кучу золота, перемешивая, перекатывая, перевертывая и подкидывая слитки. Ее губы дрожали, ноздри раздувались, а спина нервно передергивалась. Опьяненная, обезумевшая, Тамара судорожно тряслась и хихикала, горстями кидая золото в мешок и приговаривая: «Еще! Еще! Еще!» Тимофт забавлялся этим зрелищем, не вмешиваясь. Он не представлял, как это изможденное страшилище сдвинет с места столь неподъемный груз, однако старуха наполнила мешок до краев, перевязала веревкой его горловину и, к великому удивлению египтянина, взвалила на спину. Алчность придала этому ветхому скелету невиданную силу: все мускулы, все жилы рук, шеи и плеч вздулись, угрожая порваться, но удержали массу металла, способную придавить самого могучего грузчика племени нехси. Наклонив голову, как это делает бык, когда лемех плуга упирается в камень, еврейка, спотыкаясь, качаясь и задевая стены, выбиралась из дворца почти на четвереньках, так как часто упиралась в землю руками, чтобы непосильная ноша не раздавила ее. Наконец она вышла за ворота, и теперь золото принадлежало ей по праву.

Изнуренная, с разбитой спиной, задыхаясь, обливаясь по́том, не чувствуя ни рук, ни ног, она рухнула у ворот дворца на столь вожделенный мешок, который показался ей мягче и удобнее любой перины.

Через некоторое время она увидела двух евреев, возвращавшихся с пустыми носилками из дворца, после того как доставили туда какой-то груз. Пообещав хорошо заплатить, она уговорила их взвалить мешок на носилки и следовать за ней.

Тамара провела их по улицам Фив к холмам, застроенным грязными хижинами, и в одной из них они выгрузили мешок. Тамара, недовольно хмурясь, нехотя рассталась с толикой золота.

Тем временем Таосер водворили в роскошные царские покои, такие же прекрасные, как у самого фараона. Изящные колонны с капителями в виде цветов лотоса подпирали усыпанный звездами потолок, обрамленный карнизом с голубыми пальмовыми листьями на золотистом лаковом покрытии. Нежно-лиловые панно с зелеными стеблями и бутонами симметрично располагались на стенах, плетеные коврики изысканной работы покрывали плиты пола. Лежанки, инкрустированные металлическими пластинками и эмалями, обитые тканью с красными кругами на черном фоне, кресла с ножками в виде львиных лап и перинами, перекинутыми через спинку, скамеечки на подпорках в форме переплетенных лебединых шей, с пурпурными кожаными сиденьями, набитыми пухом чертополоха, широкие двухместные кресла, столы из ценных пород дерева на ножках-статуэтках, изображавших пленников-азиатов, — вот что составляло убранство покоев.

На роскошных точеных подставках стояли большие золотые вазы и кратеры[2] работы еще более ценной, чем материал, из которого они были изготовлены. У одной заостренной книзу вазы вместо ножки была пара лошадиных голов в бахромчатых накидках, а ручки выглядели как два стебля лотоса, изящно ниспадающие на розетки; горные козлы словно приподнимали крышку своими торчащими вверх ушами и рогами, а по бокам вазы бегали среди зарослей папируса испуганные газели.

Другой вазе, не менее интересной, крышкой служила чудовищная, увенчанная пальмовыми листьями голова Тифона. Слева и справа от его жуткой физиономии извивались две гадюки, а саму вазу украшали листья и зубчатые полоски.

Самый примечательный из кратеров, поражавших своими размерами, ценностью и законченностью орнамента, подпирали две фигурки в митрах и туниках с широкой каймой: одной рукой они держались за ручку кратера, а другой — за его подставку.

Кратер попроще, но, возможно, благороднее по форме, изящно расширялся к краям, на которые возложили свои лапы словно желавшие напиться шакалы, их гибкие и стройные тела образовывали ручки сосуда.

Металлические зеркала, обрамленные безобразными мордами, словно для контраста с отражающейся в них красотой, резные сундуки из кедра и сикомора, ларцы из покрытой глазурью глины, чаши из алебастра, оникса и стекла, шкатулки с благовониями — все свидетельствовало о величайшем внимании фараона к жилищу Таосер.

Богатства, которое вмещала эта комната, иному царству хватило бы, чтобы заплатить дань.

Сидя в кресле из слоновой кости, Таосер рассматривала ткани и драгоценности, которые ей показывали обнаженные девушки, вынимая или вываливая их из сундуков.

Таосер только что вышла из купальни, и ароматные масла, которыми ее растерли, размягчили ее и без того нежную и тонкую кожу. Ее плоть стала прозрачной, словно агат: казалось, свет пронизывает ее насквозь. Девушка была божественно прекрасна, и, остановив на полированном металле зеркала взгляд своих подкрашенных сурьмой глаз, она не сдержалась и улыбнулась собственному отражению.

Широкая газовая туника обволакивала ее изящное тело, не скрывая его красоты, а все ее украшение составляли лишь бусы из ляпис-лазуревых сердечек, перемеженных крестиками[3] и золотыми бусинками.

На пороге покоев появился фараон. Золотая кобра стягивала его густые волосы, каласирис с клином собранных впереди складок прикрывал тело от пояса до колен, а на мощной груди блестело ожерелье.

Завидев царя, Таосер хотела было встать с кресла и упасть на колени, но фараон подошел к ней, обнял и усадил обратно.

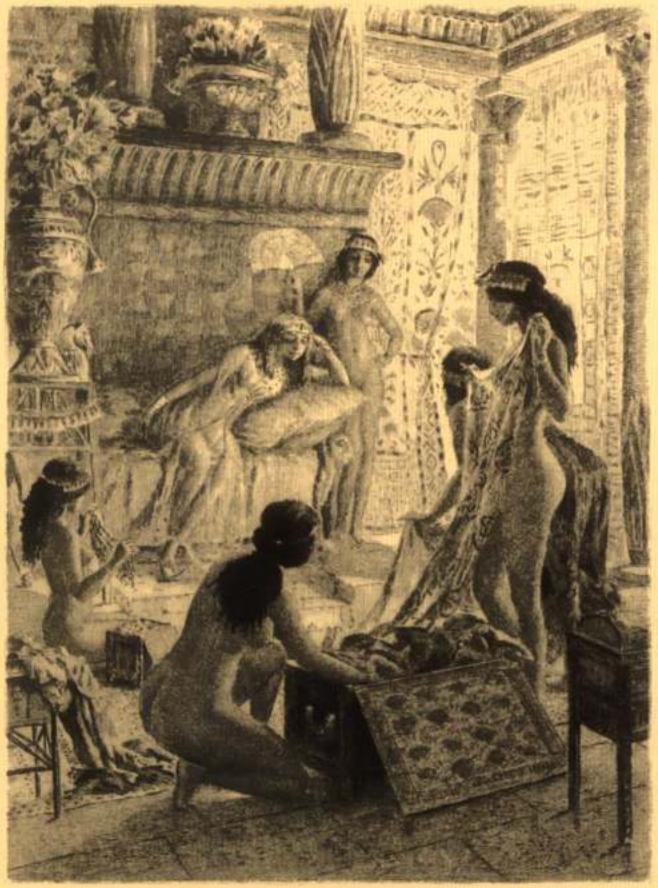
— Не унижайся, Таосер, — ласково обратился он к девушке. — Я хочу говорить с тобой, как с равной. Мне надоело быть одному на всем белом свете. Хоть я и всемогущ и ты в моей полной власти, я подожду, пока ты полюбишь меня просто как мужчину. Изгони всякий страх из своей души. Будь женщиной со всеми ее желаниями, чувствами и прихотями. Я в жизни не испытывал ничего подобного... И когда твое сердце потянется наконец ко мне, дай мне знать, подарив лотос из твоих волос.

Царь пытался ей помешать, но Таосер припала к ногам фараона и уронила слезу на его босые ступни

«Почему мое сердце принадлежит Поэри?» — подумала она, возвратившись в свое кресло из слоновой кости.

Приложив одну руку к земле, а другую — к голове, в комнату робко вошел Тимофт.

— Великий царь, — сказал он, — с тобой хочет поговорить некто очень странный и таинственный. Его огромная борода спускается до пояса, го-



лый череп окружен светящимся нимбом, а глаза горят как огонь. Неведомая сила идет впереди него, отбрасывая часовых и открывая двери. Волей-неволей все подчиняются ему, вот и я осмелился побеспокоить тебя в час досуга — да покарает меня смерть за дерзость.

— Как зовут его? — нахмурился царь.

— Моше, — отвечал Тимофт.







Глава XV

Чтобы принять Моше, царь надел нагрудные латы, взял жезл, прошел в другой зал и сел на трон с подлокотниками в виде львиных лап, приняв самую неприступную и бесстрастную позу.

Моше явился в сопровождении еще одного еврея, Аарона[1]. Каким бы царственным ни казался фараон на золотом троне в окружении оэрисов и опахалоносцев в этом высоком зале с огромными колоннами, на фоне стен, запечатлевших его подвиги и деяния предков, Моше выглядел не менее внушительно: глубокая старость придавала ему царское величие. Хотя ему пошел девятый десяток, он пребывал в самом расцвете сил, и ничто в его облике не говорило о дряхлости и закате. Морщины на лбу и щеках, похожие на борозды, оставленные резцом на граните, не напоминали о преклонных летах, а вызывали глубочайшее почтение. Смуглая сморщенная шея с сухими, но сильными мускулами вырастала из могучих плеч, сеть крепких вен вилась по рукам, не тронутым старческой дрожью. В этом теле жила душа нечеловеческой силы, а лицо сияло странным светом — в нем будто отражалось некое невидимое солнце.

Не кланяясь и не падая ниц, как того требовал обычай, он приблизился к трону и произнес:

— Так сказал Всевышний, Бог Израиля:[2] «Отпусти народ мой на торжественное богослужение в пустыню».

Фараон возразил:

— Кто такой всевышний? Почему я должен слушаться его и отпустить сынов Израиля? Я вашего бога не знаю и народ твой не отпущу.

Ничуть не оробев, великий старец четко, ибо врожденное его косноязычие вдруг исчезло, повторил:

— Бог иудеев явился нам. И мы хотим удалиться на три дневных перехода в пустыню, чтобы там принести жертвы Всевышнему, нашему Богу, из страха, что он поразит нас язвою или мечом.

Аарон кивнул, подтверждая слова Моше.

— Зачем вы отвлекаете народ от работы? — гневно спросил фараон. — Ступайте, займитесь делом. Ваше счастье, что у меня сегодня милостивое расположение духа, не то я приказал бы высечь вас розгами, обрезать уши и нос и живьем бросить крокодилам. Слушайте и внемлите: нет бога, кроме Амон-Ра — высшего и изначального, несущего в себе одновременно и мужское, и женское начало, собственного отца и мать, чьим мужем он является. От него происходят все остальные боги, связующие небо с землей, — они всего лишь воплощения этих двух первоначал. Это ведомо посвященным во все его формы и проявления мудрецам и жрецам, в течение веков постигавшим тайны в коллегиях и храмах. И не ссылайтесь на некоего бога, выдуманного вами, чтобы взбунтовать иудеев и помешать исполнять порученную им работу. Ведаю: под предлогом жертвоприношения вы хотите бежать. Исчезните же с глаз моих и продолжайте месить глину для царских зданий и храмов, для моих пирамид, дворцов и стен. Ступайте прочь! Я все сказал.

Моше, увидев, что ничем не может тронуть сердце фараона и что если будет настаивать, то только разъярит его, тихо удалился вместе с удрученным Аароном.

— Я подчинился воле Всевышнего, — сказал Моше своему спутнику, когда они вышли за ворота, — но фараон оказался бесчувственным: я будто обращался к гранитной статуе, из тех, что восседают на тронах у ворот дворца, или к одному из идолов с головой собаки, обезьяны или ястреба, которых жрецы в глубине своих святилищ окуривают фимиамом. Что мы скажем народу, когда он спросит нас, чего мы добились?

Опасаясь, что под воздействием проповедей Моше у иудеев возникнет надежда сбросить ярмо, фараон заставил их работать еще больше и велел не давать им соломы[3]. Дети Израиля разбрелись по всему Египту в



поисках жнива[4], проклиная лихоимцев, а заодно и Моше, так как считали, что по его вине умножились их невзгоды.

Однажды Моше и Аарон снова пришли во дворец и еще раз потребовали от царя отпустить иудеев в пустыню.

— Чем вы докажете, — молвил в ответ фараон, — что вы в самом деле посланы всевышним, а не являетесь, как я полагаю, подлыми самозванцами?

Аарон бросил свой посох на землю, и тот начал крутиться, извиваться, шевелить головой и хвостом, затем покрылся кожей, вытянулся и угрожающе зашипел — посох превратился в змею! Она зашуршала по плитам своими кольцами, раздула капюшон, высунула раздвоенный язык и, вращая красными глазами, казалось, искала, кого бы ужалить.

Стоявшие вокруг трона оэрисы и царедворцы, увидев это чудо, застыли в неподвижности и онемели от ужаса. Самые храбрые наполовину вынули мечи из ножен.

Но фараон нисколько не смутился. Он презрительно ухмыльнулся и сказал:

— Вот что вы умеете. Много шума из ничего. Пусть приведут моих мудрецов, чародеев и иероглифитов[5].

И привели грозных, таинственных старцев с бритыми головами, в туфлях из тростника, в длинных льняных платьях, с тростями, покрытыми вырезанными на них иероглифами. Годы бдений, учения и испытаний иссушили их до желтизны, словно мумий; утомление от непрекращающегося восхождения по лестнице посвящений читалось на лицах, и лишь глаза оставались живыми.

Они выстроились в ряд перед троном фараона, не обращая ни малейшего внимания на извивавшуюся и шипевшую змею.

— Можете ли вы, — спросил царь, — как Аарон, превратить ваши посохи в гадов земных?

— О царь! — изрек старейший. — И ради этой детской забавы ты приказал нам покинуть глубины сокровенных покоев, где при свете ламп под усыпанными звездами потолками мы размышляем над папирусами, не поддающимися разгадке, стоим на коленях перед стелами с иероглифами, исполненными непостижимого смысла, и вырываем тайны у природы, складывая множества чисел, протягивая дрожащие руки к покрову великой Исиды? Позволь нам удалиться, ибо жизнь коротка и мудрецу едва хватает времени, чтобы расшифровать хотя бы одно слово. Разреши нам вернуться к работе. Первый же уличный фокусник или псилл[6], играющий на флейте, доставит тебе подобное удовольствие.

— Эннана[7], делай, что велено, — обратился фараон к старшему из чародеев и иероглифитов.

Старый Эннана повернулся к коллегии неподвижных мудрецов, уже погрузившихся в пучину размышлений:

– Бросьте посохи на землю и тихо произнесите заклинания.

Все посохи одновременно с сухим стуком упали на плиты, а мудрецы распрямили спины: в этот момент они стали похожи на статуи из храмов, прислонившиеся к столбам. Они были совершенно уверены в своем могуществе и даже не взглянули себе под ноги, дабы убедиться, что чудо свершилось.

Началось нечто невиданное и страшное: посохи изогнулись, будто зеленые ветви дерева, брошенные в огонь; их концы или сплющились, превращаясь в головы, или заострились, как хвосты; одни остались гладкими, другие покрылись чешуей – в зависимости от того, какой змеей они становились. Все они извивались, ползали, шипели, кидались друг на друга и безобразно переплетались. Здесь были гадюки с отметиной железного наконечника копья на плоском лбу; рогатые гадюки с грозными шипами; зеленоватые и липкие гидры; аспиды с подвижными клыками; желтые щитомордники, медяницы, или стеклянные змеи; черноватые гремучие змеи с тупыми носами, стучавшие трещотками на конце хвоста; амфисбены, или двуходки, перемещавшиеся вперед и назад; удавы, разевавшие широкие пасти, способные поглотить быка Аписа, и змеи с кругами вокруг глаз, как у сов. Каменный пол зала скрылся под шипящими гадами.

Таосер, сидевшая на троне рядом с фараоном, побледнела от испуга и, приподняв прекрасные босые ножки, подогнула их под себя.

– Ну, – обратился фараон к Моше, – ты видишь искусство моих иероглифитов. Оно равно твоему или даже превосходит его – их палки обратились в гадов так же, как и трость Аарона. Придумай какое-нибудь другое чудо, если хочешь меня убедить.

Моше вытянул руку, и змей Аарона бросился в бой. Борьба была непродолжительной. Вскоре змей поразил все двадцать четыре мерзкие твари, не важно, были они настоящими или всего-навсего мнимыми созданиями египетских мудрецов, а затем, как ни в чем не бывало, опять принял форму посоха.

Такой итог, казалось, удивил Эннану. Он склонил голову, задумался и пробормотал, словно спохватившись:

– Я найду слово и знак. Я неправильно истолковал четвертый иероглиф в пятом столбце, где начертано заклинание змей... О царь! Мы еще нужны тебе? – громко вопросил предводитель иероглифитов. – Мне некогда: я должен вернуться к манускриптам Гермеса Трисмегиста[8], которые содержат истинно великие тайны, а не подобные плутовские проделки.

Фараон подал старцу знак, что тот может удалиться, и молчаливая процессия возвратилась в глубины дворца.

Царь и Таосер вернулись в гинекей. Дочь жреца еще дрожала, потрясенная страшными чудесами. Она опустилась перед фараоном на колени и промолвила:

— О фараон! Ты не боишься прогневить своим сопротивлением неведомого Бога, ради которого дети Израиля хотят уйти в пустыню на три дня? Отпусти Моше и иудеев, пусть они совершают свои обряды, иначе Всевышний, как они его называют, нашлет кару на нашу землю и погубит нас.

— Что?! Тебя испугали жалкие фокусы со змеями?! — рассмеялся фараон. — Разве ты не видела, как мои мудрецы тоже превратили в змей свои посохи?

— Да, но змей Аарона сожрал их — это дурной знак.

— Подумаешь! Или я не образ солнца, не любимец богов? Не на моих ли сандалиях изображены побежденные народы? Я, если захочу, смету одним дыханием все это еврейское отродье, и посмотрим, чем им поможет их бог!

— Будь осторожней, фараон, — испугалась Таосер, помнившая слова Поэри о могуществе Иеговы, — не давай гордыне ожесточить твое сердце. Моше и Аарон внушают мне страх. Они не боятся твоего гнева — значит, чувствуют поддержку очень сильного Бога!

— Если их бог так могуществен, — успокаивал фараон Таосер, — то почему он бросил свой народ в рабстве, унижении и покорности, словно вьючных животных, на самых трудных работах? Забудем же глупые чудеса и не будем тревожиться. Лучше думай о моей любви к тебе и о том, что у меня больше власти, чем у вымышленного бога иудеев.

— Да, я знаю, ты — покоритель народов, повелитель многих стран, а люди перед тобой — всего-навсего песчинки, поднимаемые южным ветром.

— Однако ты не любишь меня, — улыбнулся фараон.

— Горный козел боится льва, голубка страшится ястреба, а солнце слепит глаза. Так и я вижу тебя только сквозь страх и ослепление. Слабый человек долго привыкает к царскому величию. Бог всегда будет внушать ужас простой смертной.

— Ты, Таосер, заставляешь меня жалеть, что я не первый встречный, не оэрис, не номарх[9], не жрец, не крестьянин или какое-нибудь еще ничтожество. Да, мне неведомо, как превратить царя в человека, зато я могу сделать из женщины царицу — повязать твой прелестный лобик золотой змеей. Царица не будет бояться царя.

— Даже когда я сижу рядом с тобой на троне, душой я остаюсь на коленях у твоих ног и взираю на тебя снизу вверх. Но ты настолько добр,

несмотря на божественную красоту, безграничную власть и ослепительный блеск, что, быть может, когда-нибудь мое сердце осмелеет и отважится соединиться с твоим.

Так беседовали фараон и Таосер. Царская возлюбленная не забыла Поэри и стремилась выиграть время, услаждая чужую страсть надеждой. Она не могла выскользнуть из дворца и разыскать юного еврея. Впрочем, Поэри скорее принимал, чем разделял ее любовь, а Рахиль, при всем своем благородстве, была опасной соперницей. К тому же нежность фараона трогала сердце дочери жреца. Она хотела бы полюбить царя и, возможно, была уже не так далека от этого, как полагала.





Глава XVI

Через несколько дней фараон ехал в сопровождении свиты вдоль берега Нила, стоя в своей колеснице — он хотел посмотреть, какой отметки достигло половодье. Вдруг прямо на дороге возникли, словно два призрака, Аарон и Моше. Фараон удержал коней, которые уже уронили пену на грудь высокого старца.

Моше медленным и торжественным голосом повторил свою просьбу.

— Докажи могущество твоего бога каким-нибудь чудом, — повелел царь, — и я услышу твою мольбу.

Повернувшись к Аарону, стоявшему в нескольких шагах от него, Моше сказал:

— Возьми посох, протяни руку над египетскими водами — реками, озерами и прудами. Пусть вода в них станет кровью. И пускай она превратится в кровь по всему Египту — во всех кувшинах и чашах.

Аарон взмахнул своим посохом и ударил им по воде.

Свита фараона застыла в тревожном ожидании. Царь, у которого в гранитной груди билось железное сердце, презрительно улыбался, пола-

гая, что его иероглифиты с их познаниями посрамят иноземных чудотворцев.

Как только посох иудея — тот самый, что превращался в змею, — коснулся Нила, вода взволновалась и закипела, а ее зеленоватая окраска на глазах стала преображаться. Откуда-то потекли красноватые струи, затем вся толща воды приняла темно-пурпурный оттенок, и Нил превратился в реку крови, катившую алые волны с розовой пеной у берегов. Река будто отражала небывалый пожар или горевшее от молний небо — но все вокруг было спокойно, Фивы не пылали, а над покрасневшей водой с пятнами белых брюшек погибших рыб простиралась незыблемая голубизна. Длинные чешуйчатые крокодилы выползали на берег, помогая себе кривыми лапами, тяжелые гиппопотамы, похожие на розовые гранитные глыбы, покрытые черной пеной, как проказой, ломились сквозь заросли тростника или вздымали над рекой огромные морды, не в силах дышать в кровавой воде.

Каналы, пруды и купальни приняли тот же цвет, а вода, наполнявшая чаши, стала красной, будто в кубках, в которые проливается жертвенная кровь.

Фараон нисколько не удивился и сказал иудеям с усмешкой:

— Твое чудо могло бы ужаснуть легковерную и невежественную чернь, но мне оно неинтересно. Пусть приведут Эннану и коллегию иероглифитов — они повторят этот фокус.

Пришли иероглифиты со своим предводителем во главе. Эннана взглянул на реку, вздымавшую кровавые валы, и понял, что от него требуется.

— Сделай все, как было, — попросил он спутника Моше, — и я повторю твое волшебство.

Аарон снова ударил реку, и воды тут же вернули свой естественный цвет.

Эннана кивнул в знак одобрения, словно беспристрастный ученый, отдающий должное искусству коллеги. Он счел сей опыт блестящим для того, кто, подобно ему, не грыз гранит премудрости в таинственных подземельях Лабиринта[1], куда мало кто мог попасть даже из посвященных — настолько трудно было пройти положенные для того испытания.

— Теперь, — произнес он, — мой черед.

Он простер над Нилом посох с вырезанными на нем иероглифами и невнятно прошептал несколько слов на столь древнем языке, что его не поняли бы даже во времена Менея — первого царя Египта:[2] то был гранитный слог языка сфинксов.

И тут же красная пелена распростерлась от одного берега к другому, и опять Нил забурлил кровавыми волнами до самого моря.

Двадцать четыре иероглифита поклонились царю, будто желая удалиться.

— Останьтесь, — приказал фараон.

Те снова застыли в невозмутимом молчании.

— Есть у вас другие доказательства, что вы не шарлатаны? Мои мудрецы, как видите, довольно точно воспроизводят ваши чудеса.

Нисколько не обескураженный насмешкой, Моше сказал:

— Через семь дней, если ты так и не отпустишь иудеев в пустыню для совершения обрядов, я вернусь и покажу тебе другое чудо.

Ровно через неделю Моше явился снова. Он передал своему помощнику Аарону слова Всевышнего:

— Протяни свой посох над реками, ручьями и прудами — пусть выйдут на землю египетскую все жабы и лягушки.

Как только Аарон взмахнул рукой, миллионы жаб и лягушек вылезли из рек, каналов, ручьев и болот. Они покрыли поля и дороги, поскакали по ступенькам храмов и дворцов, вторглись в самые отдаленные комнаты святилищ, и все новые и новые шеренги следовали одна за другой. Они заполнили дома, залезли в печи, сундуки и даже в квашни. Шагу нельзя было ступить, чтобы не раздавить при этом хоть одну гадину — словно на пружинах они прыгали прямо под ногами. Море игравших в чехарду тварей плескалось до самого горизонта. Так как им уже не хватало места, их густые ряды напирали и громоздились друг на друга. Бесчисленные зеленые спины образовали живые лужайки, на которых вместо цветов блестели желтые глаза. Испуганный и возмущенный скот — лошади, ослы, козы — пытался хоть где-нибудь найти спасение от этой напасти, но тщетно.

Фараон, который со скучающим и брезгливым видом созерцал эту наступавшую трясину с порога дворца, одну за другой разбивал жезлом жабьи головы и отпихивал сандалиями с загнутыми носами. Напрасный труд! Неизвестно откуда вместо погибших возникали новые колонны земноводных, еще более безобразных, с выступавшим на спине хребтом, с растопыренными перепончатыми лапами. Грязные твари изводили душу беспрерывным кишением и оглушительным кваканьем, раздували белые зобы и, будто наделенные разумом, нагло таращились на царя.

Копошащееся месиво все росло и росло. На коленях колоссов, карнизах пилонов, спинах сфинксов и криосфинксов, кровле храмов, плечах богов, вершинах обелисков — всюду хозяйничали гнусные создания с надутыми животами и кривыми лапками. Ибисы поначалу обрадовались нежданному пиршеству — они били гадов длинными клювами и пожирали их сотнями, но вскоре, напуганные жутким нашествием, взлетели, щелкая клювами, так высоко, как могли.



Аарон и Моше торжествовали. Срочно призванный Эннана, казалось, глубоко задумался. Он приставил палец к лысому лбу и прикрыл глаза — будто напряженно искал в глубинах памяти забытое заклинание.

Обеспокоенный фараон повернулся к нему:

— Что же, Эннана? Ты замечтался так, что потерял голову? Или это чудо не под силу твоей науке?

— Не в том дело, государь! Когда измеряешь бесконечность, взвешиваешь вечность и постигаешь непостижимое, случается, что в нужный момент память не находит сразу того вычурного слова, которое властвует над гадами, порождает их или уничтожает. Смотри внимательно! Сейчас вся эта нечисть исчезнет.

Старый иероглифит взмахнул посохом и что-то тихо прошептал.

В одно мгновение поля, площади, дороги, набережные, городские улицы, дворцы и дома избавились от квакающих захватчиков и приняли свой обычный вид.

Царь гордо улыбнулся, довольный могуществом своих магов.

— Мало побороть колдовство Аарона, — важно произнес Эннана. — Я его повторю.

Эннана махнул посохом в другую сторону и совсем тихо произнес противоположное заклинание.

И тут же лягушки и жабы нагрянули, прыгая и квакая, в еще большем количестве. Никто и глазом не успел моргнуть, как уже вся земля снова покрылась ими. И тут Аарон поднял свой посох, и египетский маг не сумел остановить вторжение, вызванное собственным волшебством. Египтянин твердил и твердил какие-то таинственные слова, но его чары утратили силу.

Коллегия посрамленных иероглифитов удалилась под насмешливое кваканье лягушачьего сброда. Фараон в гневе нахмурил брови, но твердо стоял на своем, отказываясь уступить просьбе Моше. Гордыня не позволяла ему покориться неведомому богу Израиля.

Однако он был не в силах избавиться от гнусных тварей, и ему пришлось пообещать Моше, что, если Аарон уберет лягушачье скопище, иудеи уйдут в пустыню.

Жабы вымерли или вернулись восвояси, но сердце фараона так и не смягчилось, и, несмотря на робкие предостережения Таосер, он не сдержал своего слова.

И тогда на Египет непрерывной чередой обрушились бедствия и напасти. Неистовая война развязалась между иероглифитами и двумя иудеями. Моше превратил все пылинки в Египте в мошек и песьих мух, Эннана сделал то же самое. Моше перед лицом фараона бросил две горсти са-

жи в небо, и вскоре моровая язва жгучим огнем облепила тела египтян, обходя иудеев.

— Повтори это чудо! — обратившись к главному иероглифиту, вскричал вне себя фараон, лицо которого побагровело, словно от жара большого горнила.

— Зачем? — с отчаянием вздохнул старец. — Во всем этом есть какая-то неведомая нам воля. Наши заклинания тщетны, они не могут противостоять ее загадочной силе. Смирись и дозволь нам удалиться в наши кельи: мы будем изучать нового Бога — Всевышнего, более могущественного, чем Амон-Ра, Осирис и Тифон. Наша древняя наука потерпела поражение. У загадки, охраняемой сфинксом, нет ответа, а Великая пирамида раскрывает лишь ничтожную часть своей извечной тайны[3].

Так как фараон все-таки отказывался отпустить евреев, весь домашний скот египтян пал от болезней. При этом иудеи не потеряли ни одной головы.

Затем поднялся южный ветер и дул целую ночь, а когда рассвело, все небо из конца в конец заволокла огромная рыжая туча. Солнце, лишенное лучей, казалось сквозь марево красным, как расплавленный металл в кузне.

Туча была необыкновенной: из нее доносился шелест и шум крыльев, и пролилась она на землю не обильным дождем, но обрушилась волнами розовой, рыжей и зеленой саранчи, более многочисленной, чем песчинки в Ливийской пустыне. Она налетала следующими друг за другом смерчами, будто солома, которую гонит буря. Саранча затмила небо и сделала воздух плотным и вязким, она засыпала рвы, овраги, ручьи и гасила своей массой костры, зажженные, чтобы ее истребить, — никакие препятствия не могли ее остановить. Рта нельзя было открыть, чтобы в него не влетело насекомое. Гнусные твари набивались в складки одежды, волосы, ноздри. Их густые колонны заставляли поворачивать обратно повозки, опрокидывали одиноких прохожих и вскоре покрывали их толстым слоем. Эта грандиозная армия, подпрыгивая и хлопая крыльями, широким фронтом продвигалась по Египту от порогов до дельты Нила, скашивая траву, превращая деревья в скелеты, пожирая растения до самых корней, оставляя после себя только голую землю, избитую как на току.

По просьбе фараона Моше отвратил эту напасть — страшной силы западный ветер унес саранчу в Чермное море[4], но упрямое царское сердце оставалось тверже, чем бронза, порфир или базальт, и никак не хотело сдаваться.

Неизвестная Египту стихия — град — низверглась с неба вместе с ослепительными молниями и оглушительным громом. Огромные, дробившие все живое градины, словно серпом, срезали нивы. Вслед за градом страш-

ная густая тьма, в которой светильники гасли, словно в наглухо замурованной сиринге, распростерлась тяжелыми тучами над землей Египта, всегда столь лучезарной, золотистой и яркой, привыкшей к лазурному небу и ночам, более прозрачным, чем день в иных краях. Охваченные ужасом люди, уже чувствуя себя заживо погребенными в одном большом склепе, на ощупь блуждали в потемках или, сидя вдоль пропилеев, испускали жалобные вопли и рвали на себе одежду.

И наконец, однажды в жуткую и горестную ночь призрак облетел весь Египет, входя в каждый дом, дверь которого не была отмечена кровью[5], и поразил у народа египетского всех первенцев мужского пола — от человека до скота, от сына фараона до сына самого презренного парасхита, но царь, несмотря на зловещие знамения, по-прежнему не хотел уступать.

Он стоял в глубине дворца, молчаливый и гневный, и смотрел на тело сына, покоящееся на погребальном ложе, не чувствуя слез, которыми Таосер орошала его руки.

Моше без помех прошел во дворец, так как при одном его виде слуги разбежались в разные стороны, и с невозмутимой торжественностью повторил свою просьбу.

— Идите! — изрек наконец фараон. — Жертвуйте своему богу что до́лжно.

Таосер бросилась царю на шею и сказала:

— Теперь я люблю тебя! Ты человек, а не каменный бог.







Глава XVII

Фараон не ответил Таосер; он неотрывно смотрел на труп своего первенца; его необузданная гордыня восставала, хоть он и проиграл. В глубине души он не верил ни в какого всевышнего, а бедствия, разразившиеся в Египте, приписывал искусному колдовству Моше и Аарона, превосходившему в силе магию иероглифитов. Необходимость пойти на уступку повергала в отчаяние его неистовую и свирепую душу, но, пожелай он и дальше удерживать иудеев, доведенный до отчаяния народ мог не выдержать: египтяне боялись погибели и сами прогнали бы чужеземцев — источник их бед. Из суеверного ужаса они старались держаться подальше от Моше и его спутника, и, когда те проходили мимо, даже смельчаки прятались, ожидая новых козней: «Вдруг посох Аарона опять превратится в змею и удавит меня своими кольцами?»

Забыла ли Таосер Поэри, обнимая фараона? Нисколько. Но она чувствовала, что в царской душе зреют планы кровавой мести. Таосер боялась, что юный еврей и нежная Рахиль станут жертвами общей бойни, резни, которая на этот раз обратит Нил в реку настоящей крови, и пыталась унять царский гнев ласками и нежными словами.

Тело наследника перевезли в Мемнонию, где ему предстояло подвергнуться процедуре бальзамирования, которая длится семьдесят дней[1]. Фараон с мрачным видом проводил гроб и произнес, томимый грустным предчувствием:

— О Таосер! Теперь у меня нет сына, и, если я умру, ты будешь царицей Египта.

— Почему ты говоришь о смерти? — удивилась дочь жреца. — Пройдут десятилетия, не оставив следа на твоем могучем теле, и целые поколения падут вокруг тебя, как листья вокруг дерева.

— Я, непобедимый, потерпел поражение, — отвечал фараон. — К чему все эти барельефы в храмах и дворцах, на которых я с бичом и жезлом проезжаю на боевой колеснице по трупам поверженных врагов, таскаю за волосы подвластные народы, если мне пришлось отступить перед колдовством иноземных чародеев? Отчего божества, которым я воздвиг на вечные времена столько величественных храмов, не защитили меня от неведомого бога племени, рожденного во мраке неволи? Вера во всемогущество фараона подорвана навсегда. Мои кудесники притихли и попрятались, народ ропщет, от меня осталась только тень — я пожелал, но не смог. Ты правильно сказала, Таосер: я опустился до уровня обыкновенного человека. Но ты любишь меня! И я попробую все забыть. Мы поженимся, как только закончатся погребальные церемонии.

Опасаясь, что фараон вновь отречется от данного обещания, евреи немедля собрались и вскоре тронулись в путь. Днем дорогу им указывал столп облачный, а ночью — огненный. Они углубились в песчаную пустыню между Нилом и Чермным морем, избегая населенных мест и людей, которые могли на них напасть.

Одно за другим израильские племена следовали мимо изготовленной жрецами медной статуи, обладавшей магической властью останавливать беглых рабов. Впервые за много веков она была бессильна: Всевышний лишил ее волшебных чар.

Огромная толпа, заполнив необозримое пространство, медленно продвигалась вместе со стадами и вьючными животными, наспех нагруженными неподъемной поклажей. Человеческий глаз не мог разглядеть ни головы, ни хвоста бесконечной вереницы, терявшейся за обоими горизонтами в пыльном тумане.

Если б кто-нибудь сел на дороге в ожидании конца этой процессии, он не один раз увидел бы восход и закат солнца — они шли и шли без конца.

Жертвоприношения Всевышнему были, конечно, только предлогом. Израильтяне навсегда покидали египетскую землю и уносили на плечах раскрашенный и позолоченный гроб с мумией Иосифа[2].

Фараон впал в великий гнев и решил настичь убегавших иудеев. Он приказал запрячь шестьсот боевых колесниц, собрал военачальников, затянул на талии широкий пояс из крокодиловой кожи, заполнил оба колчана на колеснице своей стрелами и дротиками, надел на левое запястье медный наручень, защищавший кожу от ударов тетивы, и пустился в погоню в сопровождении целого войска.

Свирепый и грозный, он беспощадно гнал лошадей, а позади него раздавался медный грохот шестисот колесниц. Пехотинцы ускоряли шаг, едва поспевая за стремительной конницей.

Фараону приходилось часто останавливаться, чтобы дождаться отстающих. И тогда он барабанил пальцами по борту колесницы, переступал с ноги на ногу и от нетерпения скрежетал зубами. Он всматривался в даль, пытаясь различить сквозь пыль, поднятую ветром, беглые иудейские племена, с яростью осознавая, что с каждой минутой те все больше отрываются от преследователей. Если бы оэрисы не удерживали его, он бросился бы вперед во весь опор и оказался один на один с целым народом.

Зеленая долина Нила сменилась холмистой равниной, изборожденной барханами, точно поверхность моря — волнами. Земля здесь выставляла напоказ свои кости, лишенные кожи и плоти. Зазубренные хребты образовывали причудливые формы — будто звери-исполины оставили на земле следы в те времена, когда она была еще прахом, когда мир только выходил из хаоса. Они искривляли пространство и прерывали тут и там крутыми изломами ровную линию горизонта, сливавшуюся в полосе рыжего марева с небом. Изредка попадались пальмы, распустившие пыльную листву около пересохшего родника, чашу которого измученные жаждой лошади обшаривали окровавленными ноздрями. Но фараон не ощущал огненного дождя, струившегося с выжженного добела неба. В нетерпенье он приказывал трубить подъем, и пехотинцы и всадники устремлялись дальше.

Останки быков и вьючных животных, над которыми спиралями кружили грифы, отмечали пройденный евреями путь; от их вида царь свирепел еще больше.

Приученная к быстрым маршам, поднятая по тревоге армия продвигалась намного быстрее, чем толпа беженцев — женщин, детей, стариков с поклажей и шатрами. Расстояние между египетским войском и беглецами быстро сокращалось.

Египтяне настигли евреев под Пи-Гахирофом на берегу Чермного моря. Иудейские племена разбили лагерь на побережье, и, увидев сверкавшую на солнце золотую колесницу фараона, которая стремительно приближалась к ним в сопровождении боевой конницы и пехотинцев, испусти-

ли жалобный многоголосый вопль, проклиная и царя, и Моше, увлекшего их в погибель.

Положение было безнадежным.

Впереди простиралось глубокое море, а сзади надвигалось войско.

Женщины катались по земле, раздирали одежды, рвали волосы и царапали лица и грудь. «Почему ты не оставил нас в Египте? Куда ты нас повел? Лучше рабство, чем смерть в пустыне! Нас даже не похоронят, как полагается, — ты не боишься этого?» — так возопила толпа, разгневанная на остававшегося невозмутимым Моше. Самые храбрые хватались за оружие, пытаясь выстроить оборону, но им мешали и страх, и суматоха, и боевые колесницы, — устремившись на обезумевшую толпу, они грозили учинить жесточайшее избиение.

Моше воззвал к Всевышнему и повел посохом в сторону моря. И случилось чудо, непосильное ни для одного иероглифита. Поднялся восточный ветер необычайной силы, и прорезал воды Чермного моря, будто лемех гигантского плуга, и раздвинул соленые горы, увенчанные гребнями пены. Под неудержимым натиском вихря, который смел бы, точно пылинки, все Великие пирамиды, воды расступились, оставив между двумя прозрачными валами широкую полосу суши, по которой можно было пройти, не замочив ног. Сквозь эти водяные стены, словно через толстое стекло, виднелись извивавшиеся морские чудовища, озадаченные проникшим в их темную бездну светом.

Человеческий поток устремился в чудотворное ущелье между стенами зеленой воды. Людской муравейник усеял миллионами черных точек мертвенно-бледное дно пучины, оставляя следы на илистой почве, которую раньше бороздило только брюхо Левиафана[3]. Тем временем страшный ветер, который мог бы повалить евреев, словно колосья, дул поверх их голов, удерживая своим давлением громаду ревущих волн. То было дыхание Всевышнего, разделившего море надвое!

Испуганные волшебством египтяне приостановились, но фараон, царственную отвагу которого ничто не могло поколебать, принялся стегать раздвоенным кнутом то поднимавшихся на дыбы, то припадавших к земле лошадей. Глаза его налились кровью, он ревел с пеной на губах, подобно разъяренному льву, от которого ускользает добыча! И он заставил коней ступить на столь странно открывшуюся дорогу.

Шестьсот колесниц последовали за ним. Отставшие израильтяне, и среди них Поэри, Рахиль и Тамара, увидев, что враг устремился за ними, уже простились с жизнью, но, когда египтяне достаточно разогнались, Моше взмахнул рукой. Колеса вдруг послетали с осей, произошло ужасное смешение лошадей и солдат, которые сталкивались и давили друг друга, и



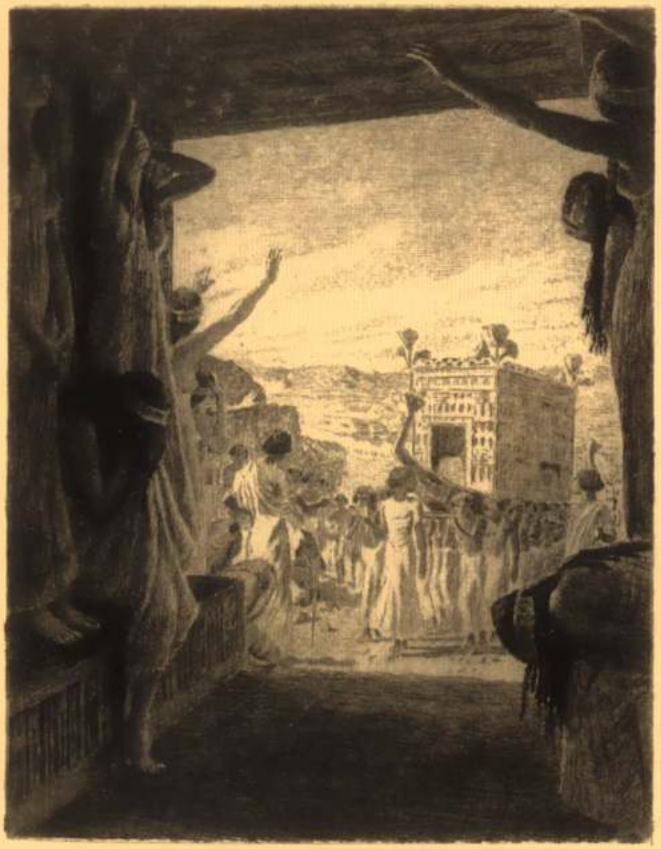
в тот же миг водяные стены обрушились, закружив в пенных водоворотах людей, животных и колесницы, как солому в омуте речном.

Только фараон в кузове колесницы остался на поверхности бурного потока. Обезумев от гнева и уязвленной гордыни, он стрелял из лука в евреев, добравшихся до берега. Израсходовав все до последней стрелы, он взял дротик и одной рукой, еще торчавшей над водой, метнул свой немощный снаряд в невидимого Бога, которого презирал даже из глубин бездны.

Огромный вал, накатившись два или три раза на берег моря, выбросил деревянные обломки – все, что осталось от армии и славы фараона.

На противоположном берегу Мириам, сестра Аарона, взяв в руки тимпан, ликовала и пела, и все жены Израилевы отбивали ритм на тимпанах, обтянутых шкурой дикого осла. И два миллиона голосов[4] подхватили гимн свободе!







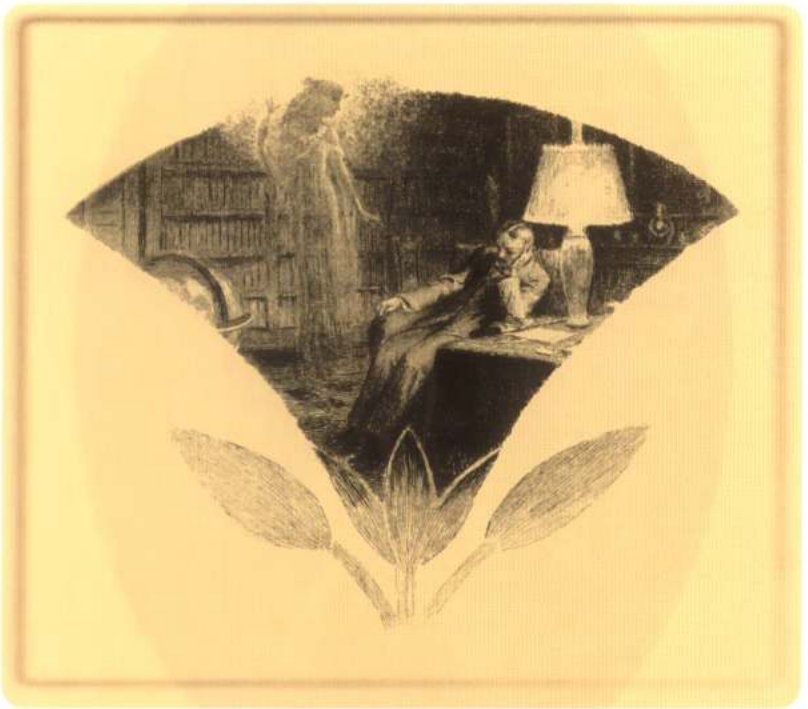


Глава XVIII

Таосер так и не дождалась фараона. Она правила Египтом, но недолго[1] — вскоре смерть унесла ее. Царицу поместили в великолепную гробницу[2], предназначенную для царя, тело которого так и не нашли. Какеву — иерограммат двойной палаты света и хранитель свитков — запечатлел на папирусе ее историю[3], начиная каждую главу с красного иероглифа, и спрятал рукопись под переплетением погребальных пелен.

О ком она больше тосковала — о Поэри или о фараоне? Граммат Какеву умолчал об этом, а доктор Румфиус, который расшифровал иероглифы египетского летописца, не взял на себя смелости однозначно ответить на сей щекотливый вопрос.

Что касается лорда Ивендэйла, то у него так и не возникло желания жениться, несмотря на то, что он был последним в роду. Юные мисс не понимали, в чем причина его холодности к прекрасному полу, но, говоря по совести, могло ли им прийти в голову, что лорд Ивендэйл влюблен в Таосер, дочь верховного жреца Петамунофа, умершую три тысячи пятьсот лет назад? Впрочем, англичане славятся и не такими причудами.





СПИРИТА

Фантастическая повесть





Глава I

Ги де Маливер[1] полулежал, вытянув ноги, в роскошном кресле у ярко пылавшего камина. Судя по всему, он приготовился скоротать вечер дома: даже самые большие охотники до бурных и утомительных светских развлечений изредка позволяют себе передохнуть. Ги оделся по-домашнему и в то же время со вкусом: на нем были черная бархатная куртка, обшитая шелковым сутажом[2] того же цвета, сорочка из фуляра[3], длинные панталоны из красной фланели и просторные марокканские туфли без задника, которыми поигрывали его нервные и изящные ступни. Сняв с себя все тесное и неудобное и облачившись в мягкую свободную одежду, Ги де Маливер подкрепился простой, но искусно приготовленной пищей, запил ее двумя-тремя бокалами бордо и теперь испытывал то физическое блаженство, которое проистекает из полной гармонии всех органов. Он был счастлив, хотя ничего особенного с ним не приключилось.

Лампа — похожий на луну, подернутую легким туманом, матовый шар в селадоновом рожке[4] с потрескавшейся глазурью — испускала ровный молочный свет. Она освещала книгу, которую Ги рассеянно держал в руке, — не что иное, как «Эванджелину» Лонгфелло[5].

Конечно, Ги нравилось творение великого поэта, рожденного еще молодой Америкой, но он пребывал в том ленивом состоянии души, когда нежелание думать сильнее даже самых возвышенных воззрений, изложенных самым прекрасным слогом. Он прочитал несколько строф, потом, не выпуская книги из рук, откинулся на мягкую спинку кресла, обитую гипюром, и, выкинув из головы все до единой мысли, с наслаждением расслабился. Теплый воздух комнаты ласково обволакивал его. Все вокруг дышало покоем, благополучием, тишиною, умиротворением. Лишь изредка шипели дрова в камине да тикали часы, чей маятник тихо отмерял ход времени.

Была зима. Свежевыпавший снег заглушал отдаленный стук колес экипажей, довольно редких в этом пустынном квартале, ибо Ги жил на самой малолюдной улочке Сен-Жерменского предместья[6]. Пробило десять, и наш лентяй поздравил себя с тем, что не подпирает дверной проем на балу в каком-нибудь посольстве и не мается в черном фраке и белом галстуке, взирая на тощие лопатки некой вдовой старухи в платье с огромным вырезом. Хотя в комнате было тепло, будто в оранжерее, по тому, как жарко пылал огонь, и по тишине, царившей на улице, чувствовалось, что за окном мороз. Великолепный ангорский кот, единственный товарищ Маливера в этот вечер farniente*, подошел так близко к камину, что едва не опалил свою белую шерстку, и только позолоченный экран мешал ему улечься прямо в золу.

Комната, в которой Ги де Маливер вкушал свои мирные радости, находилась между его кабинетом и студией. Эта просторная гостиная с высоким потолком располагалась на последнем этаже флигеля, который занимал Ги. С одной стороны к флигелю примыкал двор, с другой — сад с достойными королевских лесов вековыми деревьями, какие можно найти только в этом старом аристократическом предместье, ибо, чтобы вырастить дерево, нужны годы, а наши нувориши, как ни крути, не в силах придумать ничего другого для обеспечения тени своим новеньким особнякам, построенным в спешке, характерной для всех, кто опасается банкротства.

Стены комнаты были обиты коричневой кожей, а потолок украшали кессоны из неокрашенных еловых досок в обрамлении старых дубовых балок. Строгие тона стен служили прекрасным фоном для картин, эскизов и акварелей, развешанных в этой своего рода галерее, а также для собрания редкостей и оригинальных вещиц. Дубовые книжные шкафы, достаточно низкие, чтобы не загораживать картин, образовывали по всему

* безделья, праздного времяпрепровождения; букв.: ничегонеделания (*ит.*).

периметру комнаты некое подобие цоколя, который прерывался одной-единственной дверью. Книги, заполнявшие полки, поразили бы наблюдателя своей разнородностью: тут смешались библиотеки художника и ученого. Рядом с классической поэзией всех времен и народов: Гомером, Гесиодом, Вергилием, Данте, Ариосто, Ронсаром, Шекспиром, Милтоном, Гёте, Шиллером, лордом Байроном, Виктором Гюго, Сент-Бёвом, Альфредом де Мюссе и Эдгаром По — стояли «Символика» Крейцера[7], «Небесная механика» Лапласа[8], «Астрономия» Араго[9], «Физиология» Бурдаха[10], «Космос» Гумбольдта[11], труды Клода Бернара[12] и Бертло[13], а также другие творения высокой науки. Однако Ги де Маливер не был ученым. Его образование едва ли выходило за рамки того, чему его научили в колледже, но, после того как он достиг определенных познаний в поэзии, ему показалось стыдным пребывать в неведении относительно прекрасных открытий, прославивших нынешний век. Он постарался войти в курс дела, и с некоторых пор с ним можно было поговорить об астрономии, космогонии[14], электричестве, паре, фотографии, химии, микрографии[15] и самозарождении жизни[16]. Он разбирался во всем и иногда поражал собеседника неожиданным остроумным замечанием.

Таким был Ги де Маливер на двадцать девятом году своей жизни. Его лоб с небольшими залысинами, честное и открытое выражение лица производили приятное впечатление. Нос не отличался греческой правильностью, но выглядел вполне благородно, взгляд карих глаз казался уверенным, а полноватые губы свидетельствовали о доброте и дружелюбии. Золотисто-рыжие усы оттеняли верхнюю губу, а непослушные тонкие кудри теплого каштанового цвета не поддавались щипцам парикмахера. Короче, Маливер был, что называется, красивым малым и с самого своего появления в свете пользовался успехом, к которому ничуть не стремился. Матери, обремененные девицами на выданье, естественно, окружали его всяческими заботами, ведь у него имелись сорок тысяч франков земельной ренты и престарелый дядюшка-мультимиллионер, который отписал ему все свое состояние. Восхитительное положение! Но Ги до сих пор не женился. Выслушав очередную сонату, которую исполнила для него очередная девица, он ограничивался одобрительным кивком, после контрданса[17] вежливо провожал партнершу на место, а во время паузы между фигурами танца произносил нечто вроде: «Здесь очень жарко», или другую банальность, не дававшую даже крохотной надежды на брак. И дело не в том, что Ги де Маливеру не хватало духу, нет, он запросто произнес бы что-нибудь менее избитое, если бы не боялся запутаться в тонких, как паутина, сетях, растянутых вокруг великовозрастных прелестниц, лишенных сколько-нибудь значительного приданого.

Если в каком-либо доме ему оказывали особенно радушный прием, он переставал там бывать или уезжал в далекое путешествие, а когда возвращался, с удовлетворением замечал, что о нем совершенно забыли. Кое-кто подумает, что Ги вступал в мимолетные сомнительные связи с дамами полусвета и тем самым избегал необходимости жениться. Ничего подобного. Он не мог похвастать какими-то особенными для своих лет принципами, просто ему не нравились набеленные и причесанные под пуделей красотки в необъятных вычурных кринолинах[18]. Таковы уж были его вкусы. Как и все, он пережил несколько приятных приключений. Две-три не оцененные по достоинству женщины, жившие более или менее отдельно от своих мужей, признались, что нашли в нем свой идеал. Он отвечал: «Вы очень любезны», но, будучи человеком хорошо воспитанным, не осмеливался добавить, что они-то его идеалом не являются. А одна маленькая фигурантка[19] Комического театра, которой он подарил несколько луидоров и бархатную пелерину, сочла, что он предал ее, и даже попыталась удавиться из любви к нему. Однако, несмотря на эти галантные приключения, Ги де Маливер, будучи честен сам с собою, признавал, что, дожив до двадцати восьми лет — возраста, в котором человек просто молодой становится человеком довольно молодым, — он не ведал, что такое любовь. По крайней мере, ему не довелось испытать чувств, о которых рассказывают поэмы, драмы, романы или приятели в минуты откровения или бахвальства. Впрочем, Ги утешал себя тем, что страсть сопряжена с треволнениями, бедами и катастрофами, и потому терпеливо ждал того дня, когда волею случая появится «предмет», который наконец его устроит.

Известно, что свет распоряжается вами по своему усмотрению и сообразно своей фантазии. И общество, в котором преимущественно вращался Ги де Маливер, решило, что раз Ги часто наносит визиты недавно овдовевшей госпоже д'Эмберкур, значит, он в нее влюблен. Земли госпожи д'Эмберкур соседствовали с землями Ги, она имела шестьдесят тысяч франков дохода, и ей было всего двадцать два года. Соблюдая приличия, она какое-то время сильно горевала о господине д'Эмберкуре, довольно угрюмом старике, но теперь положение позволяло ей выбрать молодого и привлекательного мужа, равного ей по происхождению и состоянию. Итак, свет уже поженил их. Все надеялись, что в доме этой пары сложится приятная обстановка и он станет удобным местом для встреч и времяпрепровождения. Госпожа д'Эмберкур молчаливо соглашалась на этот брак и уже считала себя почти женой Ги, а он вовсе не торопился объясниться и даже подумывал о том, чтобы перестать ходить к прекрасной вдове, которую находил слегка назойливой.

В тот вечер Ги пригласили на чай к госпоже д'Эмберкур, но после ужина он разомлел и ему стало так хорошо дома, что он наотрез отказал-

ся одеваться и выезжать в восьмиградусный мороз, хотя бы даже и в шубе и с баком кипятка в карете. Предлогом послужило то, что у его коня еще не было зимних подков с шипами, а потому он рисковал поскользнуться и упасть на обледеневшей мостовой. Кроме того, Ги совсем не хотелось, чтобы жеребец, которого Кремьё[20], знаменитый торговец с Елисейских полей, продал ему за пять тысяч франков, два или три часа мерз на холодном ветру. Как видим, Ги не был страстно влюблен, и госпоже д'Эмберкур предстояло еще очень долго дожидаться церемонии, которая позволила бы ей сменить фамилию.

Приятное тепло, голубоватый и ароматный дым двух-трех гаванских сигар, постепенно заполнявших пеплом старинный китайский бронзовый кубок на подставке из орлиного дерева[21], который стоял рядом с лампой на круглом одноногом столике, окончательно разморили Маливера. Глаза его уже начали слипаться, как вдруг дверь комнаты тихонько отворилась и появился слуга с серебряным подносом, на котором лежал крошечный надушенный конвертик с хорошо знакомой печатью. Настроение Маливера сразу же испортилось, а запах мускуса, который источала бумага, показался ему тошнотворным. То была записка от госпожи д'Эмберкур: графиня напоминала, что он обещал прийти к ней на чай.

— Черт бы ее побрал, — без всякого почтения вскричал Маливер, — вместе с ее записочками, от которых начинается мигрень! Хорошенькое удовольствие — катить через весь город, чтобы выпить чашку чуть теплой водицы, в которой плавают несколько листиков, подкрашенных то ли берлинской лазурью, то ли ярью-медянкой[22], в то время как у меня — в лакированной коробке коромандель[23] лежит настоящий китайский чай. На ней даже сохранился штемпель таможни в Кяхте — последней российской заставе на границе с Китаем[24]. Нет, решено, никуда не поеду!

Последние остатки вежливости заставили Маливера передумать. Он велел камердинеру принести одежду, но едва увидел панталоны, жалобно повисшие на спинке кресла, сорочку, жесткую и белую, будто меловaнный картон, черный фрак с покачивающимися рукавами, блестящие лаковые ботинки, перчатки, словно только что вышедшие из недр прокатного стана, как им тут же овладело отчаяние, и он с силой вжался в спинку кресла.

— Всё, я остаюсь. Джек, приготовь постель!

Как мы уже говорили, Ги получил хорошее воспитание. Мало того, у него было доброе сердце. Испытывая легкие угрызения совести, он направился в любимую уютную спальню, но остановился на пороге и подумал, что из элементарной учтивости надо бы послать госпоже д'Эмберкур извинения, сославшись на мигрень, важное дело или еще какое-нибудь до-

садное обстоятельство, которое свалилось на его голову в самую последнюю минуту. Однако Маливер, который, хоть и не был профессиональным литератором, мог с легкостью сочинить путевые заметки или новеллу для «Обозрения Старого и Нового Света»[25], ненавидел писать письма, в особенности вежливые и ничего не значащие записки. Только женщины строчат их десятками, одну за другой, на уголке туалетного столика, пока какая-нибудь Клотильда или Роза колдует над их прической. Куда проще придумать сонет с редкими и трудными рифмами! В общем, в этом отношении он был абсолютно бесплоден и, случалось, отправлялся на другой конец города, лишь бы не мучиться над двумя строчками. От отвращения и отчаяния Ги де Маливер вновь начал склоняться к мысли поехать к госпоже д'Эмберкур. Он подошел к окну, отодвинул занавеску и сквозь запотевшее стекло увидел непроглядную темень. Густые снежные хлопья покрывали ее пятнами, словно спину цесарки. Ги тут же представил себе, как его конь Греймокин[26] стряхивает снежную шапку со своей блестящей попоны. Затем вообразил неприятнейший переход от кареты до вестибюля дома, сквозняк на лестнице, с которым не справляется калорифер, и в особенности госпожу д'Эмберкур, стоящую спиной к камину в парадном платье с глубоким декольте — точь-в-точь героиня Диккенса по прозвищу Бюст, чья белая грудь служила ее мужу-банкиру витриной для драгоценностей[27]. Он вспомнил великолепные белые зубы графини в оправе неизменной улыбки, идеальный изгиб бровей, словно нарисованных китайской тушью, хотя на самом деле они были даны ей самой природой, восхитительные глаза, правильный нос, который вполне мог удостоиться места в альбомах по основам рисунка[28], а также фигуру, превозносимую всеми модистками. И все эти прелести, которые свет предназначал ему, обручив против воли с молоденькой вдовой, внушили Ги такую глубокую тоску, что он направился прямиком к своему бюро, решив, — о, ужас! — что лучше написать десять строк, чем пить чай с этой очаровательной женщиной.

Чувствуя себя чуть ли не героем, Маливер положил перед собою листок бумаги верже[29] с вензелем из причудливо переплетенных *Г* и *М*, обмакнул в чернила тонкое стальное перо, вставленное в иглу дикобраза, и, отступив сверху как можно больше, чтобы сократить объем сочинения, решительно начертал: «Сударыня!» Тут он остановился и подпер голову левой ладонью, поскольку запас его красноречия неожиданно иссяк. Несколько минут он стоял, сжимая перо, а в голове его теснились мысли, совершенно не связанные с темой письма. В ожидании фразы, которая никак не шла на ум, его тело заскучало, а рука задрожала от нетерпения, словно желала выполнить свою задачу, не дожидаясь приказа. Пальцы вытягивались и снова сгибались, словно выводили буквы, и, наконец, Ги с удивле-

нием обнаружил, что, сам того не сознавая, набросал несколько строк приблизительно такого содержания:

> Вы хороши собою и окружены целым роем поклонников, поэтому Вас не оскорбит, если я скажу, что не люблю Вас. Подобное признание не делает чести вкусу того, кто на него отваживается... только и всего. К чему продолжать отношения, которые свяжут две так мало подходящие друг другу души и обрекут их на вечные страдания? Простите меня, я уезжаю. Вы легко забудете меня!

— Вот это да! — Еще раз перечитав написанное, Маливер стукнул кулаком по столу. — Я спятил или превратился в сомнамбулу? Что за странная записка! Совсем как литографии Гаварни[30], на подписях к которым мы видим и то, что говорят, и то, что думают их персонажи, ложь и правду. Только здесь все правда. Моя рука, которую я хотел склонить к маленькой учтивой лжи, не поддалась, и вопреки обыкновению письмо получилось искренним.

Ги внимательно вгляделся в записку, и ему показалось, что буквы выглядят не так, как всегда.

«Если бы мое эпистолярное наследие представляло хоть какой-то интерес, — подумал он, — то этот автограф вызвал бы большое сомнение у экспертов. Но как, черт возьми, такое возможно? Я не курил опиум, не глотал гашиша, а те два-три стакана бордо, что я выпил, не могли ударить мне в голову. Не так уж я слаб. И что же будет дальше, если правда против воли начнет стекать с моего пера? Слава богу, что, опасаясь наделать ошибок в столь поздний час, я перечитал это послание. Какие последствия могли бы повлечь эти невероятные строчки, и сколь возмущена и потрясена была бы госпожа д'Эмберкур! Впрочем, лучше бы я отправил письмо как есть: ну сошел бы за чудовище, за дикаря в татуировках, недостойного носить белый галстук, зато надоевшая мне связь разлетелась бы вдребезги, как стекло, и точка. Стекло не восстановишь, даже если склеить осколки бумагой. Будь я хоть капельку суеверен, то непременно увидел бы тут знак свыше, а не чрезмерную рассеянность».

Через несколько минут Ги скрепя сердце все-таки принял решение: «Поеду к госпоже д'Эмберкур, раз уж я не в состоянии переписать это письмо». Он оделся, дрожа от негодования, а когда подошел к дверям, вдруг услышал вздох, такой слабый, легкий и воздушный, что только глубокая ночная тишина позволила уловить его.

Вздох остановил Маливера на пороге комнаты, произведя на него то неприятное впечатление, какое производит все сверхъестественное даже

на самых смелых и отважных. В этой неясной, бессмысленной и жалобной ноте не было ничего страшного, и, однако, Ги был напуган сильнее, чем думал.

— Ба, да это мой кот мяукнул во сне, — успокоил себя Маливер, взял из рук камердинера шубу, завернулся в нее тщательно, как человек, который много путешествовал по России[31], и в самом дурном расположении духа спустился к поджидавшей его карете.

Глава II

Маливер плотно запахнул шубу, забился в угол кареты и поставил ноги на бак с кипятком. Невидящими глазами он смотрел на причудливую игру света и тени, которая разыгрывалась на слегка запотевшем стекле от проносившихся мимо фонарей и еще открытых лавочек, освещенных газом.

Вскоре карета переехала по мосту Согласия темную Сену, в которой смутно отражались уличные огни. Всю дорогу Маливер не мог отделаться от воспоминания о таинственном вздохе, который почудился ему на пороге спальни. Он перебирал все разумные объяснения из тех, что скептики находят для непонятных явлений. Наверное, говорил он себе, это сквозняк в камине или коридоре, или отголосок какого-нибудь шума с улицы, или заныла струна фортепиано, отозвавшись на стук колес, или, как он решил в самом начале, зевнул кот, спавший у огня. В общем, твердил здравый смысл, тут нет ничего странного. И однако, невзирая на убедительность этих предположений, Маливер не мог их принять. Некий сокровенный инстинкт внушал ему, что слабый вздох не связан ни с одной из причин, подсказанных здравым смыслом, он просто чувствовал, что стон издала чья-то душа, ибо в нем слышались и дыхание и боль. Так откуда же он взялся? Ги думал об этом с тревогой, которую испытывают даже самые стойкие натуры, оказавшиеся лицом к лицу с неизвестным. В комнате не было никого, кроме Джека, создания толстокожего, да и, вне всякого сомнения, столь мелодичный, гармоничный, нежный, легкий, словно шепот ветерка в листьях осины, звук могла издать только женщина. Отрицать сие было невозможно.

И еще одно обстоятельство беспокоило Маливера: письмо, которое, так сказать, написалось само собой, как если бы чья-то чужая воля водила его рукой. Рассеянность, которой он поначалу оправдывал происшедшее, вряд ли могла служить серьезным объяснением. Движения души, прежде чем излиться на бумагу, повинуются разуму, и потом, нельзя писать, думая о чем-то другом. Кто-то неведомый завладел им, пока его душа витала в

облаках, и действовал вместо него, ибо теперь он был абсолютно уверен, что не задремал даже на мгновение. Да, весь вечер он был рассеян, сонлив, умиротворен и безмятежен, но в тот роковой момент сна у него не было ни в одном глазу. Досадный выбор между визитом к госпоже д'Эмберкур и запиской с отказом от приглашения привел его в состояние нервного возбуждения. И потому загадочные строки, столь точно и правдиво передававшие тайные помыслы, в которых он сам еще не отваживался себе признаться, надлежит приписать некоему вмешательству, каковое надо признать сверхъестественным, до тех пор пока ему не найдется другого объяснения или названия.

Пока Ги де Маливер терзался этими вопросами, экипаж катил по почти опустевшим из-за мороза и снега улицам, хотя обычно в фешенебельных кварталах ночная жизнь замирает только под утро. Вскоре позади остались площадь Согласия, улица Риволи, Вандомская площадь, и, выехав на бульвар, карета свернула на улицу Шоссе-д'Антен, где жила госпожа д'Эмберкур.

Едва завидев двор, Ги был неприятно поражен: на песчаной площадке в два ряда стояли кареты, кучера кутались в меховые накидки, а скучающие лошади покусывали удила, роняя на заснеженную мостовую хлопья пены.

— И это называется скромный прием, чай у камина! По-другому у нее не бывает! Да тут весь Париж, а я без белого галстука![1] — ворчал Маливер. — Лег бы лучше спать, так вот нет, оделся, помчался на ночь глядя! Тоже мне Талейран, хитрая лиса: не прислушался к первому побуждению, а зря[2].

Медленно поднявшись по ступеням, Ги сбросил шубу и направился в гостиную. Лакей распахнул перед ним двери с особым заискивающим раболепием, словно перед человеком, который вскоре станет в доме хозяином и в чьем услужении он хотел бы остаться.

— Вот как! — прошептал Маливер, заметив эту подчеркнутую услужливость. — Даже лакеи распоряжаются моим будущим и по собственному почину женят на своей госпоже, а ведь нашу помолвку еще даже не оглашали!

Госпожа д'Эмберкур заметила Ги, который приближался к ней, низко опустив голову и сгорбив спину, — ибо такова нынешняя манера кланяться. Она вскрикнула от радости, но тут же попыталась изобразить на лице обиду. Однако ее губы привыкли к широкой улыбке, открывающей не только перламутровые зубы, но и розовые десны, и толком надуться не сумели. Краешком глаза заметив в зеркале, что выглядит не лучшим образом, графиня, которая была женщиной умной и понимала, что нельзя

слишком многого требовать от современных мужчин, решила разыграть пай-девочку.

— Как вы поздно, господин Ги! — Она протянула ему ладошку, которая на ощупь казалась деревянной, ибо была затянута в чересчур узкую перчатку. — Вы, конечно, задержались в вашем гадком клубе за сигарами и картами. Так вот вам наказание: вы пропустили выступление великого немецкого пианиста Крейслера[3], который сыграл нам хроматический галоп Листа[4], и не слышали очаровательной графини Сальварозы, исполнившей арию «Ива»[5] так, как не снилось самой Малибран![6]

В нескольких вежливых фразах Ги выразил сожаление, которого на самом деле почти не испытывал, по поводу пропущенного виртуозного галопа и арии в исполнении светской дамы. Посреди разряженных гостей он чувствовал смущение оттого, что вокруг шеи у него вместо двух дюймов положенного белого муслина было два дюйма черного шелка. Ему хотелось забиться в какой-нибудь менее освещенный уголок, где в относительном полумраке его невольная ошибка не бросалась бы в глаза. Однако едва он удалялся на несколько шагов, как госпожа д'Эмберкур тут же словом или взглядом подзывала его и задавала какой-нибудь вопрос, на который Ги старался ответить как можно короче. В итоге ему все-таки удалось добраться до двери, которая вела из большой гостиной в малую, представлявшую собой оранжерею со шпалерами, сплошь увитыми камелиями.

Бело-золотая гостиная госпожи д'Эмберкур была обита ярко-красным индийским шелком и обставлена дорогими креслами, очень мягкими и просторными. В позолоченной люстре с хрустальными подвесками в форме листьев горели свечи. Светильники, кубки и большие часы в духе Барбедьена[7] украшали беломраморный камин. Прекрасный, пушистый, как газон, ковер устилал пол. Длинные пышные шторы свисали с окон, а в центре великолепно обрамленного панно, с портрета кисти Винтерхальтера[8], еще старательнее, чем в жизни, улыбалась графиня.

Что сказать о гостиной, украшенной дорогой мебелью, которую может раздобыть всякий, кому толстый кошелек позволяет не бояться длинных счетов от оформителя и обойщика? Ее банальная роскошь не отставала от моды и при этом была совершенно безликой. Ни одна деталь не выдавала вкуса хозяйки, и если бы не присутствие госпожи д'Эмберкур, то можно было подумать, что находишься в гостиной банкира, адвоката или заезжего американца. Комнате не хватало души и неповторимости, поэтому Ги, художник по натуре, находил ее ужасающе мещанской и отталкивающей. Впрочем, для госпожи д'Эмберкур этот фон был весьма подходящим, поскольку ее красота также состояла исключительно из общепризнанных прелестей.

В середине комнаты возвышалась огромная китайская ваза с редким экзотическим цветком, который посадил садовник госпожи д'Эмберкур — а она даже не поинтересовалась, как он называется. Вазу окружал пуф, на котором восседали в поднимающихся до плеч пенистых волнах газа, тюля, кружев, атласа и бархата женщины, по большей части молодые и красивые. Их причудливые и экстравагантные наряды свидетельствовали о неисчерпаемой и дорогостоящей фантазии Уорта[9], а каштановые, русые, рыжие или же напудренные волосы своей пышностью даже у самых снисходительных недоброжелателей вызывали подозрение, что здесь, вопреки арии господина Планара, не обошлось *без искусства*, которое *приукрасило природу*[10]. И в этих волосах сверкали бриллианты, торчали перья, зеленели венки, усеянные каплями росы, распускались живые и сказочные цветы, блестели цепочки из цехинов, переплетались нитки жемчуга, светились стрелы, кинжалы, заколки с шариками, переливались украшения в виде крылышек скарабея, закручивались золотые ленточки, торчали красные бархатные банты, подрагивали драгоценные звездочки на кончиках спиралек — в общем, там было все, что только можно нагромоздить на голову моднице, не считая виноградных гроздьев, кистей смородины и других ярких ягод из тех, что Помона[11] одалживает Флоре, чтобы дополнить вечернюю прическу, если только в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году от Рождества Христова писателю дозволительно поминать сии мифологические имена.

Прислонившись к дверному косяку, Ги разглядывал атласные плечи под флером рисовой пудры, шеи с выбившимися колечками непослушных волос и белые груди, порой почти обнаженные из-за слишком глубоких декольте. Впрочем, женщины, уверенные в собственной неотразимости, легко мирятся с подобными мелочами. В самом деле, что может быть грациознее легкого движения, которым они возвращают на место сползающий рукав? Да и пальчик, кокетливо подправляющий корсаж, дает возможность принять красивую позу. Наш герой предавался этим наблюдениям и размышлениям, которые, в отличие от пустых разговоров, его действительно интересовали. По мнению Ги, только ради этого зрелища стоило бывать на званых вечерах и балах. Он рассеянно листал страницы живых альбомов с красавицами, этих одушевленных кипсеков[12], разбросанных по светским гостиным подобно стереоскопам[13], альбомам и журналам, которые кладут на столики для застенчивых и малообщительных гостей. Он мог безбоязненно предаваться сему приятному развлечению, так как благодаря слухам о его скорой женитьбе на госпоже д'Эмберкур ему не приходилось таиться от бдительных матерей, желающих пристроить своих дочек. От него ничего не ждали. Его пристроили, он уже не

представлял интереса, и хотя многие in petto* считали, что его выбор оставляет желать лучшего, вопрос был решен. Как жениху госпожи д'Эмберкур, ему было позволительно даже обменяться с молоденькой девушкой двумя-тремя фразами подряд.

В том же дверном проеме устроился еще один молодой человек, с которым Ги частенько сталкивался в клубе. Маливеру нравился его особый, скандинавский образ мыслей. Это был барон Ферое, швед, весьма склонный, как и его соотечественник Сведенборг[14], к мистицизму и интересовавшийся миром потусторонним чуть ли не больше, чем земным. Внешность его тоже отличалась своеобразием. Пшеничные, ниспадающие прямыми прядями волосы выглядели более светлыми, чем кожа, а золотистые усы такими белесыми, что их хотелось назвать серебряными. Выражение его серо-голубых глаз обычно не поддавалось определению, но иногда под вуалью белых ресниц они вспыхивали ярким пламенем и, казалось, видели гораздо дальше людей обыкновенных. Во всем остальном барон Ферое вел себя как совершенный джентльмен и не позволял себе ничего эксцентричного. Он держался всегда холодно, по-английски корректно и никогда не выставлял себя в обществе духовидцем. После чая у госпожи д'Эмберкур он собирался на бал в австрийское посольство и потому заранее оделся по-парадному: под черным фраком, из-под лацкана которого выглядывала планка иностранного ордена, на золотой цепочке сверкали кресты орденов Слона и Даннеброга[15], прусский орден, орден Александра Невского[16] и другие награды северных дворов, которые свидетельствовали о его заслугах на дипломатическом поприще.

Барон Ферое был поистине странным человеком, но эта странность не бросалась в глаза, ибо, как настоящий дипломат, он умел прятать ее под бесстрастной маской. Его часто видели в свете, на официальных приемах, в клубе, в Опере, но под маской светского человека скрывался таинственный незнакомец. Никто не мог назвать себя его близким другом или приятелем. В доме барона, где все было поставлено на широкую ногу, никто не проникал дальше первой гостиной; дверь, ведущая в глубь дома, оставалась закрытой для всех. Подобно туркам, он допускал посторонних только в одну-единственную комнату, в которой сам явно не жил. Отпустив гостя, он покидал гостиную. Чем он занимался? Никто не знал. Порою барон надолго исчезал, и те, кто замечал это, связывали отсутствие шведа с какой-нибудь секретной миссией или поездкой на родину, где проживала его семья. Однако случись кому-нибудь в поздний час пройти по пустынной улице, на которой располагался дом барона, он смог бы заметить свет в окне или самого хозяина, облокотившегося на перила бал-

* в душе (*ит.*).

кона и устремившего взгляд к звездам. Впрочем, ни у кого не возникало желания следить за бароном Ферое. Он отдавал свету ровно столько, сколько положено, и свет не требовал большего. Что до женщин, то исключительная вежливость барона не переходила определенных границ, даже когда ему предоставлялась возможность, ничем не рискуя, зайти немного дальше. Несмотря на холодность, он не был неприятен. Классическая чистота его черт напоминала греко-скандинавскую скульптуру Торвальдсена[17]. «Это ледяной Аполлон», — говорила о нем прелестная герцогиня де С***, которая, если верить злым языкам, пыталась сей лед растопить.

Ферое, как и Маливер, разглядывал чарующе-белоснежную спину, восхитительно округлившуюся, благодаря тому что ее обладательница слегка наклонилась. К тому же изредка по телу женщины пробегала дрожь из-за того, что трен[18] сине-зеленых листьев, спускавшийся с волос, слегка щекотал ее кожу.

— Прелестная особа! — сказал барон Ферое, проследив взгляд Ги. — Какая жалость, что у нее нет души! Того, кто ее полюбит, ждет судьба студента Натаниэля из «Песочного человека» Гофмана[19]. Он рискует пригласить на танец куклу — то-то веселенький вальсок для человека с сердцем.

— Не беспокойтесь, барон, — со смехом отвечал Ги де Маливер, — у меня нет ни малейшего желания влюбляться в эти прекрасные плечи, хотя сами по себе они достойны высочайших похвал. Откровенно говоря, в настоящий момент я ни к кому не испытываю даже намека на страсть.

— Как, даже к госпоже д'Эмберкур? Ведь говорят, вы женитесь на ней? — с иронией и недоверием возразил барон Ферое.

— На свете, — Маливеру кстати вспомнилась фраза Мольера, — есть такие люди, что самого турецкого султана женили б на республике венецианской[20]. Что до меня, то я очень надеюсь остаться холостяком.

— И правильно сделаете. — Барон внезапно сменил тон с дружеского на торжественно-мистический. — Никогда и ничем не связывайте себя на этой земле. Оставайтесь свободным для любви, которая может прийти к вам. Духи смотрят на вас, и, возможно, из-за ошибки, совершенной здесь, вам придется вечно каяться в мире ином.

Пока шведский барон произносил эту загадочную фразу, его стальные глаза странно вспыхнули, и Ги де Маливеру почудилось, будто его грудь пронзили два жгучих луча.

После необычайных событий этого вечера мистический совет барона не встретил в нем недоверия, которое возникло бы в его душе еще накануне. Он взглянул на шведа удивленными вопрошающими глазами, словно умоляя пояснить сказанное, но господин Ферое вынул часы и сказал:

— Я опаздываю в посольство.

Он крепко пожал Маливеру руку и с восхитительной ловкостью, доказывавшей привычку вращаться в свете, не помяв ни единого платья, не наступив на чей-либо шлейф и не задев ни одного волана, проложил себе дорогу к выходу.

— Ги, что же вы не идете пить чай? — Госпожа д'Эмберкур наконец отыскала своего мнимого обожателя, который с отрешенным видом стоял у двери в малую гостиную.

Пришлось ему последовать за хозяйкой дома к столу, на котором в серебряном кувшине, окруженном китайскими чашками, дымился горячий напиток.

Реальное пыталось отвоевать добычу у воображаемого.

Глава III

Странная фраза барона Ферое и его почти внезапное исчезновение взволновали Ги. Он думал о бароне всю дорогу, пока Греймокин крупной рысью вез его назад в Сен-Жерменское предместье. Ледяной ветер подгонял коня, и он радостно мчался в теплую конюшню с плетеной подстилкой. Впрочем, надо отдать ему должное: породистое создание работало в полную силу при любой погоде.

«Что, черт возьми, хотел сказать барон? Что за загадки, что за выспренний тон и повадки мистагога?[1] — думал Ги де Маливер, сбрасывая шубу на руки Джека. — Ведь этот джентльмен — представитель самой неромантичной культуры. Он прост, блестящ и остер, точно английская бритва. По сравнению с его манерами, изысканными и выверенными, полярный ветер покажется теплым. И вряд ли он вознамерился меня разыграть. Над Ги де Маливером не шутят, даже будучи в десять раз отважнее, чем этот швед с белыми ресницами, да и в чем соль подобной шутки? Нет, он говорил серьезно и сразу же исчез, как тот, кто не хочет продолжать разговор. Вздор! Забудем эти глупости! Завтра я увижу барона в клубе, и он наверняка все объяснит. Лягу и попробую уснуть, невзирая ни на каких духов».

Ги в самом деле лег, но сон не шел к нему, хотя он усердно, правда несколько машинально, читал самые снотворные журналы. Против воли он прислушивался к неуловимым звукам, которые еще раздавались в полной тишине. Тикал механизм часов, прежде чем пробить час или половину, потрескивали угольки в золе, поскрипывали деревянные половицы, капало масло в лампе, сквозняк, несмотря на валики, прорывался под дверь и с тихим свистом уносился в очаг, шурша, неожиданно падала на пол газета — нервы Ги были так напряжены, что от каждого звука он

вздрагивал, будто от выстрела. Он слышал даже, как пульсирует кровь в висках и бешено колотится сердце. Но среди всех этих глухих шумов он не смог различить ничего похожего на вздох.

Время от времени в надежде уснуть он закрывал глаза, но вскоре опять распахивал их и всматривался в углы комнаты с любопытством, смешанным с опаской. Ги и хотел что-нибудь увидеть, и в то же время боялся, что его желание исполнится. Порой его расширенные зрачки различали расплывчатую тень там, куда не падал свет от лампы, прикрытой зеленым абажуром, или занавески приобретали очертания женского платья и двигались, словно за ними кто-то прятался, но то была чистая иллюзия. Перед его утомленными глазами танцевали, дрожали, росли и уменьшались голубоватые искорки, светящиеся точки, пятна различных очертаний, мотыльки, волны и змейки, и больше ничего.

Ги возбудился сверх всякой меры. Ему так и не удалось что-либо услышать или увидеть, но он чувствовал чье-то невидимое присутствие и потому встал, накинул машлах[2] из верблюжьей шерсти, который привез из Каира, бросил два-три полешка на угли и уселся рядом с камином в большое кресло, более удобное для бессонницы, чем развороченная жаркая постель. Рядом с креслом валялся смятый лист бумаги, Ги подобрал его и стал рассматривать. Это было письмо, которое он написал госпоже д'Эмберкур в таинственном и необъяснимом порыве. Теперь ему казалось, будто чья-то нетерпеливая рука, делая копию с его записей, не смогла заставить себя точно следовать образцу и добавила к буквам оригинала черточки и штрихи от своего собственного почерка. И почерк этот был более изящным, более красивым, более женственным.

Заметив эти детали, Ги де Маливер вспомнил «Золотого жука» Эдгара По и то, как благодаря своей чудесной проницательности Уильям Легран разгадал тайный смысл шифрованной записки капитана Кидда и нашел пиратский клад с сокровищами. Ах, как ему хотелось обладать глубокой интуицией, которая позволяет делать смелые и безошибочные предположения, заполнять пробелы и связывать воедино порванные нити! Но и знаменитому Леграну, даже если бы ему на помощь пришел сам Огюст Дюпен из «Похищенного письма» и «Убийства на улице Морг»[3], не удалось бы разгадать, какая таинственная сила водила рукой Маливера.

Вскоре Ги забылся тем тяжелым, беспокойным сном, который приходит с рассветом на смену бессонной ночи. Он пробудился, когда Джек вошел в спальню, чтобы растопить камин и помочь хозяину умыться. Ги зяб и чувствовал себя не в своей тарелке. Он зевнул, потянулся, встряхнулся, обрызгался холодной водой и, взбодрившись, полностью очнулся. Утро с серыми глазами, как говорит Шекспир, спустилось не по склонам зеленых холмов[4], а по белым заснеженным крышам и, проскользнув в ком-

наты через раскрытые Джеком шторы и ставни, вернуло каждой вещи ее реальный вид и прогнало ночные видения прочь. Ничто так не помогает обрести уверенность в своих силах, как солнечный свет, даже если бледное зимнее солнце заглядывает к вам сквозь морозные узоры на стеклах.

Маливер воспрял духом и поразился тому возбуждению, которое охватило его ночью. «Не знал, что я такой нервный», — подумал он. Затем Ги вскрыл пачку свежих газет, пробежал глазами фельетоны, просмотрел раздел «Разное», снова взялся за недочитанную накануне «Эванджелину» и выкурил сигару. Дождавшись одиннадцати часов, он оделся и, решив немного размяться, направился пешком в кафе «Биньон»[5]. Утренний холод подморозил выпавший за ночь снег, и, шагая по саду Тюильри, Ги с удовольствием рассматривал статуи античных богов и большие каштаны в серебристом инее. Он завтракал не торопясь, как человек, желающий восстановить силы после утомительного вчерашнего дня, и охотно болтал со своими веселыми знакомцами, цветом парижского острословия и скептицизма, девизом которых была греческая максима: «Воздерживаюсь от суждения»[6]. Однако порой на их слишком живые речи он отвечал натянутой улыбкой. Душа его противилась парадоксам неверия и похвальбам циников. Слова барона Ферое: «Духи смотрят на вас» — то и дело всплывали в его голове, и Ги казалось, что за его спиной стоит невидимый наблюдатель. Распрощавшись с собеседниками, Маливер отправился на бульвар, по которому за один день проходит столько же умных людей, сколько за год по всему остальному земному шару. Однако сегодня из-за студеной погоды и раннего часа на бульваре было пустынно. Ги машинально свернул на улицу Шоссе-д'Антен и через несколько минут оказался перед домом госпожи д'Эмберкур. Он уже собирался позвонить, как услышал вздох, и в этом вздохе ему послышались произнесенные шепотом слова: «Не ходите туда». Он живо оглянулся, но никого не увидел.

«Вот оно что! — подумал Маливер. — Я, значит, с ума схожу? Теперь у меня галлюцинации среди бела дня? Послушаться или нет этого странного приказа?»

Оглянувшись, Ги сделал резкое движение и нечаянно нажал на кнопку звонка. Пружина сработала, звонок прозвенел. Привратник отворил дверь, и Маливер нерешительно застыл у порога. После сверхъестественного вмешательства желание навестить госпожу д'Эмберкур почти совсем пропало, но Ги не нашел в себе мужества развернуться и уйти. Госпожа д'Эмберкур приняла его в своей малой гостиной, обитой яркими голубыми обоями в цветочек. Их расцветка до того не нравилась Ги, что он несколько раз умолял хозяйку поменять их на что-нибудь менее отвратительное.

«Но ведь желтый — это цвет брюнеток», — отвечала ему графиня.

На ней была юбка из черной тафты и яркая жакетка, густо покрытая сутажом и вышивкой, гагатом и позументами, словно юбка какой-нибудь махи[7], идущей на праздник или бой быков. За этой светской женщиной водился один грешок: она заказывала себе некоторые из тех нелепых нарядов, что в журналах мод демонстрируют куклы с губками сердечком и розовыми щечками.

Против обыкновения госпожа д'Эмберкур была серьезна: облачко раздражения омрачало ее ясное чело, а уголки губ были слегка опущены. Только что она проводила одну из своих лучших подруг и, та, уходя, с деланным простодушием, свойственным женщинам в подобных ситуациях, поинтересовалась, на какое число назначена свадьба графини с Ги де Маливером. Госпожа д'Эмберкур покраснела и, запнувшись, ответила туманно, что, мол, ждать осталось недолго. Дело в том, что Ги, которого свет прочил ей в мужья, никогда не то что не просил ее руки, но даже ни разу не объяснился. Графиня относила это на счет его почтительной застенчивости, а также колебаний, которые каждый молодой человек испытывает перед тем, как расстаться с холостяцкой жизнью. При этом она твердо верила, что Маливер вот-вот решится, и уже до такой степени считала себя его женой, что продумала все перестановки, какие необходимо будет произвести в доме, когда у нее появится муж. «Здесь будет спальня Ги, здесь — кабинет, а здесь — курительная», — много раз говорила она, оглядывая свои апартаменты.

Хотя госпожа д'Эмберкур ему почти не нравилась, Ги нехотя признавал, что с общепринятой точки зрения она красива, обладает безупречной репутацией и приличным состоянием. Как все, чье сердце молчит, он безучастно привык к дому, в котором его принимали лучше, чем где бы то ни было. Стоило ему не показаться несколько дней, как настойчивая любезная записка вновь вынуждала его явиться на улицу Шоссе-д'Антен.

Впрочем, почему бы и не пойти? У госпожи д'Эмберкур собиралось избранное общество, порой он встречал там кое-кого из своих приятелей и тем самым избавлял себя от неудобств, связанных с поиском нужных людей в парижской неразберихе.

— У вас немного нездоровый вид, — заметил Ги. — Вы плохо спали этой ночью из-за бесенят зеленого чая?

— О нет! Я добавляю в него столько сливок, что он теряет всю свою силу. И потом, я же вроде Митридата — чай на меня не действует[8]. Дело не в этом, я просто раздражена.

— Мой визит пришелся некстати и нарушил ваши планы? Тогда я исчезаю, сделаем вид, будто я не застал вас дома и оставил свою визитную карточку у привратника.

— Вы нисколько меня не стесняете, я всегда вам рада, — ответила графиня. — Наверное, не стоит так говорить, но я считаю, что вы очень редко у меня бываете, хотя другим может казаться обратное.

— Разве вы не свободны, разве вас донимают строгие родители, надоедливый брат, вздорный дядя или тетка-компаньонка, которая сует нос во все ваши дела? Заботливая природа избавила вас от колючих зарослей из этих пренеприятных созданий, которые так часто встают стеной вокруг хорошеньких женщин, и любезно оставила за вами только их наследство. Вы можете принимать кого хотите, потому что ни от кого не зависите.

— И то правда, — вздохнула госпожа д'Эмберкур. — Но ведь можно не зависеть ни от кого конкретно и быть зависимой от всего света. Женщина никогда не чувствует себя по-настоящему свободной, даже если она вдова и на первый взгляд сама себе хозяйка. Ее окружает толпа бескорыстных соглядатаев, которые живо интересуются ее делами. Так вот, мой дорогой Ги, вы меня компрометируете.

— Я вас?! — воскликнул Ги с искренним удивлением, свидетельствующим о скромности, редкой для молодого человека двадцати восьми лет, который одевается у Ренара и заказывает брюки в Англии. — Почему именно я, а не д'Аверсак, не Бомон, не Яновски...[9] не Ферое, наконец, ведь они здесь тоже частые гости?!

— Даже не знаю, как сказать. Или вы опасны, сами того не сознавая, или свет считает, что вы обладаете силой, о которой не подозреваете. Никто ни разу не произносил имен этих господ, все находят совершенно естественным, что они навещают меня по четвергам, заглядывают между пятью и шестью часами после прогулки или заходят в мою ложу в Буффах[10] и в Опере. Но те же самые невинные поступки, похоже, приобретают особый смысл, когда речь идет о вас.

— Я обычный холостяк, никто никогда не судачил на мой счет. У меня нет ни синего фрака, как у Вертера[11], ни камзола с разрезами, как у Дон-Жуана. Я никогда не играл на гитаре под балконом, не показывался на бегах с дамочками в скандальных туалетах, не вел на вечеринках душещипательных бесед с хорошенькими женщинами для того лишь, чтобы блеснуть собственной чувствительностью и нежностью. Неужто я стоял у колонны и молча, с мрачным видом взирал, засунув руку за жилет, на бледную красавицу с длинными буклями, похожую на Китти Белл из книги Альфреда де Виньи?[12] Разве я ношу на пальцах колечки, сплетенные из волос, или вы видели у меня на груди мешочек с пармскими фиалками, подаренными *ею*? Поройтесь в моих самых секретных ящичках — вы не найдете там ни портрета какой-нибудь блондинки или брюнетки, ни надушенных писем, перевязанных шелковой ленточкой, ни расшитой ту-

фельки, ни маски с кружевной вуалью, ни одной безделушки, из которых влюбленные составляют свой тайный музей. Ну, скажите честно, похож я на волокиту?

— Вы очень скромны, — отвечала госпожа д'Эмберкур, — или строите из себя невинность ради собственной забавы. Но, к несчастью, все придерживаются другого мнения. Все дружно осуждают вас за внимание ко мне, хотя я, со своей стороны, не вижу в нем ничего дурного.

— Хорошо! — вскричал Маливер. — Я стану реже ходить к вам, раз в две недели или раз в месяц, а потом уеду. Куда? Я уже посетил Испанию, Италию, Германию, Россию. О! Я не был в Греции! Это преступление — не побывать в Афинах, не увидеть своими глазами Акрополь и Парфенон[13]. Можно добраться до Марселя или до Триеста, сесть там на австрийский пароход Ллойда[14], доплыть до Корфу, потом полюбоваться Итакой, которая, как и во времена Гомера, soli occidenti bene objacentem, то бишь лежит на самом западе[15]. Затем надо пройти в глубь залива Лепанто[16], пересечь перешеек[17] и посмотреть, что осталось от Коринфа, который не всякому суждено увидеть[18]. Там пересесть на другое судно, и через несколько часов вы уже в Пирее[19]. Все это мне Бомон рассказывал. До Афин он слыл отчаянным романтиком, а повидав Парфенон, и слышать не хочет о новом искусстве. Теперь он ярый поклонник классицизма. Утверждает, что после греков человечество вернулось в состояние варварства, а каждая из наших так называемых цивилизаций — всего лишь разновидность упадка.

Госпоже д'Эмберкур не польстили эти географические восторги. Уж слишком послушно стремился Маливер к тому, чтобы не компрометировать ее. Забота о ее репутации, грозившая бегством, не устраивала вдову.

— Полноте, кто же вас просит ехать в Грецию? — Она вспыхнула и добавила дрожащим голосом: — Разве нет более простого способа заставить умолкнуть недоброжелателей? Неужели надо бросать своих друзей и отправляться в страну, полную опасностей, если верить господину Эдмону Абу и его «Королю гор»?[20]

Испугавшись, что последняя фраза прозвучала слишком откровенно, графиня почувствовала, что покраснела еще сильнее. От участившегося дыхания засверкала и зашелестела гагатовая вышивка ее жакетки. Затем, взяв себя в руки, она вновь подняла на Маливера глаза, которые от волнения стали поистине прекрасными. Госпожа д'Эмберкур любила Ги, своего молчаливого поклонника, настолько, насколько способна любить женщина ее склада. Ей нравилась его несколько небрежная манера завязывать галстук. Следуя непостижимой женской логике, понять которую не удается даже самым утонченным философам, она пришла к заключению, что тот, кто завязывает галстук таким узлом, обладает всеми качествами

превосходного мужа. Вот только будущий муж продвигался к алтарю очень медленно и, похоже, совсем не торопился зажечь факел Гименея.

Ги прекрасно понял, что хотела сказать госпожа д'Эмберкур, но более чем когда-либо остерегался связать себя неосторожным словом. Поэтому он произнес только:

— Конечно, конечно, но путешествие положит конец пересудам, а когда я вернусь, мы посмотрим, что тут можно сделать.

Услышав уклончивый и холодный ответ, графиня передернулась от досады и закусила губу. Ги, крайне смущенный, хранил молчание. Напряжение нарастало, но тут в гостиную вошел слуга и доложил:

— Господин барон де Ферое!

Глава IV

Увидев шведского барона, Маливер не удержался и облегченно вздохнул. Никогда еще новый гость не являлся так кстати, и потому Ги посмотрел на господина Ферое глазами, полными глубокой признательности. Без его своевременного вмешательства наш герой оказался бы в весьма затруднительном положении: надо было дать госпоже д'Эмберкур четкий ответ, а он терпеть не мог формальные объяснения. Держать слово он любил больше, чем давать, и предпочитал ничем себя не связывать даже по мелочам. Взгляд, которым госпожа д'Эмберкур наградила барона Ферое, не отличался добродушием, и, если бы свет не учил скрывать чувства, в этом взгляде можно было бы прочесть и упрек, и досаду, и ярость. Из-за несвоевременного появления этого персонажа она упустила случай, который дорого ей достался, и другой такой, возможно, не скоро представится, так как, без всякого сомнения, Ги будет избегать ее, и избегать старательно. Хотя в определенные моменты Ги проявлял решимость и отвагу, он в некотором роде опасался всего, что определило бы его жизнь раз и навсегда. Благодаря уму он мог преуспеть на любом поприще, но так ни одного и не выбрал, потому что боялся по ошибке отклониться от своего предназначения. Никто не знал за ним привязанностей, за исключением той привычки, что приводила его к графине чаще, чем к кому бы то ни было, наводя всех на мысль об их скорой свадьбе. Всякого рода связь или обязательство внушали ему опасение. Можно было подумать, что, повинуясь инстинкту, он пытается сохранить свободу ради какой-то никому не ведомой цели.

После обмена первыми фразами — этими осторожными аккордами, которые служат прелюдией к разговору, — так пианист пробует клавиши прежде, чем приступить к теме, — барон Ферое путем одного из тех пере-

ходов, что в два счета ведут вас от падения Ниневии к успеху Гладиатора[1], завел речь, полную эстетических и трансцендентальных рассуждений об удивительных операх Вагнера — «Летучем голландце», «Лоэнгрине» и «Тристане и Изольде»[2]. Госпожа д'Эмберкур хорошо владела фортепиано, была одной из самых прилежных учениц Герца[3] и все ж ничего не смыслила в музыке, особенно в такой глубокой, таинственной и сложной, какую сочинял автор «Тангейзера» и которая подняла у нас настоящую бурю[4]. Время от времени графиня отвечала на восторженные фразы барона банальными возражениями, которыми встречают обычно всякую новую музыку (точно так, как теперь Вагнера, когда-то и Россини упрекали за недостаточную ритмичность, отсутствие мелодии, непонятность, злоупотребление медными духовыми инструментами, запутанную оркестровку, оглушающий шум и, наконец, за техническую невозможность постановки), не забывая при этом добавить несколько стежков к вышивке, которую достала из корзины, стоявшей рядом с ее креслом у камина.

— Эта тема слишком сложна для меня, — заявил Маливер. — В музыке я полный невежда, нахожу прекрасным то, что мне нравится, люблю Бетховена и даже Верди, пусть они и не в моде, хоть нынче надо, как во времена глюкистов и пиччинистов, быть за королеву или за короля[5]. Засим покидаю поле боя, ибо не могу пролить свет на сей волнующий предмет. Я способен лишь кивать, произнося «хм!», «хм!», как тот монах-францисканец, которого пригласили судить философский спор между Мольером и Шапелем[6].

С этими словами Ги де Маливер поднялся, намереваясь уйти. Госпожа д'Эмберкур, руку которой он на английский манер пожал, проводила его до двери взглядом, говорившим «Останьтесь» настолько ясно, насколько позволяла сдержанность светской дамы. В нем было столько грусти, что Маливер непременно растрогался бы, если бы заметил его, но Ги не мог оторваться от величественно-бесстрастной физиономии шведа, словно говорившей: «Не подвергайте себя снова опасности, от которой я вас избавил».

Выскочив на улицу, Ги с содроганием вспомнил о сверхъестественном предупреждении, которое прозвучало у дверей госпожи д'Эмберкур и которого он ослушался, и о бароне Ферое, чей визит так странно совпал с этим таинственным происшествием. Казалось, барон послан ему в помощь некими оккультными силами, и Ги почти ощущал их незримое присутствие. Не то чтобы Маливер был скептиком или Фомой неверующим, но и легковерием он тоже не отличался. Его никогда не интересовали ни сеансы магнетизеров, ни столоверчение, ни вызванные с того света духи. Он испытывал своего рода отвращение к экспериментам, подчиняющим чудо чьей-то власти, и даже отказался посмотреть на знаменитого Хьюма[7], которым одно время увлекался весь Париж. Еще вчера он был беззабот-

ным и довольным собой холостяком, радовался жизни, доверял собственным глазам, не обременяя себя мыслями о нашей планете и не задаваясь вопросом о том, увлекает она за собой в своем вращении вокруг Солнца целый сонм невидимых и неосязаемых существ или нет. Теперь он не мог заставить себя отмахнуться от этих мыслей, его жизнь изменилась: нечто новое, незваное стремилось вмешаться в его мирное существование, из которого он старательно изгнал все поводы для беспокойства. Пока ничего страшного не произошло — слабый, словно плач эоловой арфы[8], вздох, непрошеные фразы в машинально написанном письме, три слова, прозвучавшие над ухом, встреча с бароном, последователем Сведенборга, и его торжественный и загадочный вид — но было ясно: некий дух кружит возле него, quærens quem devoret*, как говорит с присущей ей вечной мудростью Библия.

Предаваясь подобным размышлениям, Ги дошел до начала Елисейских полей[9], хотя и не стремился попасть именно туда. Ноги сами понесли его в этом направлении, он лишь повиновался. Народу было мало. В наколенниках, с посиневшими носами и багровыми щеками редкие упрямцы из тех, что в любую погоду отправляются на тренировку и купаются в речных прорубях, верхом возвращались с прогулки по Булонскому лесу. Двое-трое из них приветственно помахали Ги рукой. И хотя Маливер шел пешком, он даже удостоился милой улыбки одной из сомнительных светских знаменитостей, которая ехала в открытой коляске, выставив напоказ роскошные меха, отвоеванные у России[10].

«Я единственный зритель, — подумал Маливер, — им нужны мои восторги. Летом Кора меня бы и не заметила. Но какого черта я здесь оказался? Обедать с Марко[11] или баронессой д'Анж[12] на террасе в "Мулен-Руже" холодно, и вообще у меня не то настроение. Впрочем, солнце уже садится за Триумфальной аркой, пора, как говорит Рабле, подумать о том, чтобы заморить червячка»[13].

В самом деле, сквозь громадную арку, обрамлявшую часть неба, виднелось странное нагромождение облаков, отороченных по краям пеной света. Вечерний ветер сообщал этим парящим массам легкую дрожь, словно оживляя их, и прохожий мог легко распознать в темных тучах, пронизанных лучами, отдельные фигуры или даже целые группы подобно тому, как на иллюстрациях Гюстава Доре, мысли, волнующие героев, находят отражение в небе, и Вечный жид видит у дороги распятого Христа, а Дон-Кихот — рыцарей, сражающихся с волшебниками[14]. Маливеру показалось, что он четко различает ангелов с огненными крылами, которые парят над сонмищем непонятных существ, суетящихся на слое черных об-

* ища, кого поглотить[15] (*лат.*).

лаков, похожем на залитый тенью острый мыс, прорезающий гладь фосфоресцирующего моря. Порой одна из нижних фигур отрывалась от толпы и поднималась к освещенным полям, пересекая солнечный диск. Там она какое-то время держалась рядом с ангелом, а затем растворялась в солнечном свете. Конечно, воображение не могло бесконечно удерживать этот изменчивый и нечеткий набросок. К тому же о любом облаке можно сказать, как Гамлет Полонию: «Это верблюд, если только не кит»[16], и в обоих случаях позволительно дать утвердительный ответ, даже не будучи глупым придворным.

Наступившая ночь погасила воздушную фантасмагорию. Вскоре уличные фонари проложили от площади Согласия до Триумфальной арки две огненные нити, которые производят чарующее впечатление и изумляют иностранцев, въезжающих в Париж вечером. Ги подозвал фиакр и велел отвезти его на улицу Шуазёль, где находился клуб[17], членом которого он состоял. В передней, бросив лакеям пальто, он пробежал глазами список записавшихся на ужин членов клуба и с удовлетворением увидел имя барона Ферое. Он поставил чуть ниже «Ги де Маливер», пересек бильярдную, где скучающий маркёр[18] ждал, не соизволит ли кто-нибудь из господ сыграть партию, прошел сквозь анфиладу просторных залов, обставленных с современным комфортом и согреваемых теплом мощных калориферов, которые, впрочем, ничуть не мешали толстым поленьям превращаться в угли на монументальных подставках больших каминов. Четверо или пятеро членов клуба отдыхали на диванах или, облокотившись на большой зеленый стол читального зала, рассеянно просматривали газеты и журналы, разложенные в порядке, который постоянно нарушался и восстанавливался. Двое-трое, пользуясь клубной бумагой, занимались любовной или деловой перепиской.

Приближался час ужина, гости беседовали, ожидая, пока метрдотель пригласит их к столу. Ги уже начал беспокоиться, что барон не придет, но не успели все собраться в столовой, как Ферое появился и разместился рядом с господином де Маливером. Стол был роскошно сервирован посудой из хрусталя, серебряными приборами и подогревателями. Блюда были весьма изысканными, и каждый запивал их по своей сиюминутной прихоти или привычке: пили бордо, шампанское, светлое английское пиво. Кто-то на британский манер просил принести бокал шерри или портвейна, и рослые лакеи в коротких брюках церемонно вносили их на гильошированных подносах[19] с эмблемой клуба. Каждый руководствовался собственной фантазией, не обращая внимания на соседа, потому что в клубе все чувствуют себя как дома.

Против обыкновения Ги не воздал еде должных почестей. Половина блюд осталась нетронутой, а бутылка шато-марго[20] опустошалась на удивление медленно.

— Да, вам не придется, — промолвил барон Ферое, — услышать упрек, подобный тому, что однажды Сведенборг услышал в свой адрес от белого ангела: «Ты слишком много ешь!»[21] Ваша умеренность достойна подражания, можно подумать, что путем голодания вы хотите достичь духовного озарения.

— Одним глотком больше, одним меньше, — ответил Ги, — не думаю, что это влияет на очищение души и делает более прозрачной завесу, отделяющую видимое от невидимого. Но как бы там ни было, аппетит у меня пропал. Вот уже второй день обстоятельства, которые вам, насколько мне кажется, небезызвестны, честно говоря, поражают и тревожат меня. Я к такому не привык. В нормальном состоянии я веду себя за столом совсем иначе, но сегодня я сам не свой. У вас есть какие-нибудь планы на этот вечер, барон? Если нет ничего срочного или приятного, то я позволил бы себе предложить вам после кофе покурить со мной на диване в малом музыкальном салоне. Там нас никто не побеспокоит, разве что кому-то из этих господ взбредет в голову помучить фортепиано, но это маловероятно. Никого из наших любителей музыки сегодня нет, все заняты генеральной репетицией новой оперы.

Барон Ферое самым любезным образом принял приглашение Маливера, сказав, что это лучшее времяпрепровождение, какое только можно придумать. Оба джентльмена устроились на диване и для начала закурили превосходные сигары «Вуэльта де Абахо»[22]. Они неторопливо выпускали ровные клубы дыма, и каждый думал о предстоящем непростом разговоре. Обменявшись несколькими замечаниями по поводу качества табака, они согласились, что лучше отдавать предпочтение рубашке[23] темно-, а не светло-коричневой, и шведский барон сам перешел к теме, лишившей Маливера покоя.

— Прежде всего, приношу свои извинения за то, что вчера у госпожи д'Эмберкур позволил себе дать вам странный совет. Вы не откровенничали со мной, и с моей стороны было дерзостью без дозволения проникнуть в ваши мысли. Мне не свойственно менять роль светского человека на роль духовидца, и я никогда бы так не поступил, если бы вы не заинтриговали меня. По признакам, знакомым только посвященным, я понял, что вам явился дух или по меньшей мере невидимый мир пытался вступить с вами в контакт.

Ги заверил, что барон ничуть его не шокировал, что в такой новой для него ситуации он, напротив, весьма рад повстречать человека, который столь сведущ в сверхъестественных материях и чья серьезность ему хорошо известна.

— Вы, должно быть, догадываетесь, — продолжал барон, слегка кивнув в знак благодарности, — что мне непросто говорить об этом, но вы,

наверное, уже достаточно повидали и не верите, что за границей наших чувств ничего нет, а потому я не боюсь, что, когда разговор пойдет о таинственных вещах, вы примете меня за ясновидца или визионера[24]. Мое положение ставит меня выше подозрений в шарлатанстве. Впрочем, стороннему глазу доступна лишь внешняя сторона моего существования. Я не спрашиваю, что с вами случилось, но вижу, что вы привлекли внимание тех, кто находится за пределами земной жизни.

— Да, — признался Ги, — что-то неуловимое витает вокруг меня, и я не думаю, что будет бестактностью по отношению к духам, с которыми вы на короткой ноге, если я расскажу в деталях то, что вы сами почувствовали благодаря вашей сверхчеловеческой интуиции.

И Ги поведал барону обо всех событиях вчерашнего вечера.

Шведский барон слушал с исключительным вниманием, покручивая кончик светлых усов и не выказывая ни малейших признаков удивления. Он немного помолчал, глубоко задумавшись, а затем, как бы завершив цепочку умозаключений, неожиданно сказал:

— Господин де Маливер, скажите, не умерла ли какая-нибудь девушка от любви к вам?

— Ни девушка, ни женщина, насколько мне известно, — ответил Маливер. — Мне даже в голову не приходило, что я способен внушить такое отчаяние. Моя любовь, если так вообще можно назвать рассеянный поцелуй двух прихотей[25], всегда была очень мирной и совсем не романтичной. Я легко влюблялся и легко расставался, а чтобы избежать бурных сцен, которых я боюсь больше всего на свете, всякий раз поворачивал дело так, что изменяли мне и бросали меня. Мое самолюбие охотно шло на такие жертвы ради моего же покоя. Поэтому я не думаю, что где-то меня оплакивают безутешные Ариадны — в моих парижских похождениях появление Бахуса всегда предшествовало уходу Тесея[26]. К тому же, признаюсь честно, пусть даже вы сочтете меня бесчувственным, я никогда не испытывал страсти сильной, исключительной, безумной, о которой так много говорят, хотя, наверное, на самом деле мало кто знает, что это такое. Никто не внушил мне желания связать себя неразрывными узами, никто не породил во мне мечты о двух жизнях, соединенных в одну, о лазурном, полном света и свежести рае, который, как утверждают, дарит любовь даже в шалаше или на чердаке.

— Это вовсе не означает, мой дорогой Ги, что вы не способны любить. Любовь бывает разной, и, несомненно, там, где решается наша судьба, вам было уготовано более высокое предназначение. Но еще не поздно — только наше согласие и наша воля дают духам возможность завладеть нами. Вы стоите на пороге бесконечного, бездонного, таинственного мира, полного иллюзий и мрака. Там сражаются силы добра и зла, и надо

уметь отличить одно от другого, там есть и чудеса, и ужасы, способные смутить человеческий разум. Никто не возвращается из этой бездны таким, как прежде, наши глаза не могут безнаказанно взирать на то, что предназначено только душам. Путешествия в мир иной вызывают страшную усталость и в то же время отчаянную тоску. Остановитесь на этой опасной грани, не переходите из одного мира в другой и не отвечайте на зов, который стремится увести вас за пределы видимого. Духовидцы чувствуют себя в безопасности внутри круга, который они чертят вокруг себя и который духи не могут преодолеть. Пусть реальность станет для вас таким кругом, не покидайте его пределы, не то ваша власть кончится. Как видите, я плохой служитель культа, ибо не стремлюсь обратить вас в свою веру.

— Иначе говоря, — спросил Маливер, — в этом невидимом мире, чье существование открывается лишь малому числу посвященных, мне грозят какие-то смертельно опасные приключения?

— Нет, — ответил барон Ферое, — с вами не случится ничего, что можно заметить простым глазом, но душа ваша может сильно пострадать и навсегда утратить покой.

— Так дух, что удостоил меня своим вниманием, опасен?

— Нет, это дух, полный сочувствия, доброжелательный и любящий. Я встречал его в горних сферах, но небо — это не только головокружительные высоты, но и бездонные пропасти. Вспомните историю пастуха, влюбленного в звезду[27].

— Но мне показалось, что у госпожи д'Эмберкур вы остерегали меня от земных связей.

— Да, — отвечал барон, — я должен был предупредить вас, чтобы вы были свободны, коль скоро захотите ответить вашему потустороннему гостю. Но вы пока еще ничего не сделали и по-прежнему принадлежите только себе самому. Может, лучше оставить все как есть и продолжать жить обычной жизнью?

— Например, жениться на госпоже д'Эмберкур? — иронически усмехнулся Ги.

— А почему бы и нет? Она молода, хороша собой, любит вас. Когда вы уходили, я прочитал в ее глазах неподдельную печаль. И к ней никогда не явятся никакие духи.

— Я хочу рискнуть. Благодарю за заботу, дорогой барон, но не пытайтесь соблазнить меня обыденностью. Я не так сильно привязан к жизни, как может показаться на первый взгляд. Если на этой земле я и устроился приятным и удобным образом, это еще не доказывает, что я лишен всякой чувствительности. В глубине души благополучие мне совершенно безразлично. Просто я счел более подобающим казаться веселым и беззабот-

ным, чем выставлять напоказ романтическую меланхолию дурного толка, но отсюда не следует, что мир, каков он есть, меня чарует и радует. Да, правда, в гостиных я не выступаю перед самодовольными дамами с речами в защиту любви и идеалов, но я сохранил свою душу гордой и чистой, свободной от вульгарного культа, в ожидании неведомого Бога[28].

В то время, как Маливер произносил свою речь с горячностью, которую светские люди себе не позволяют, глаза обычно бесстрастного барона Ферое зажглись от восхищения. Он был явно доволен тем, что Ги не поддается ни на какие уговоры и твердо стоит на желании узнать, что за дух вторгается в его жизнь.

— Раз вы так решили, мой дорогой Ги, возвращайтесь домой, я не сомневаюсь, что вас ждут новые видения. Я остаюсь, вчера я выиграл у д'Аверсака сто луидоров и должен дать ему возможность отыграться.

— Репетиция в опере, должно быть, закончилась, я слышу, как наши друзья идут сюда, самым фальшивым образом распевая понравившиеся мелодии.

— Поторопитесь. Эта какофония нарушит гармонию вашей души.

Ги пожал барону руку и сел в карету, которая поджидала его у ворот клуба.

Глава V

Ги де Маливер вернулся домой, полный решимости испытать судьбу. С виду он не был романтичной натурой, чистая и неодолимая стыдливость заставляла его прятать свои истинные чувства, и он не требовал от других больше, чем давал сам. Приятные, ни к чему не обязывающие отношения связывали его с обществом, но не лишали свободы: все эти связи можно было безболезненно порвать в любой момент. Однако душа его грезила о пока не найденном счастье.

Барон Ферое объяснил ему в клубе, что обитателя мира незримого можно вызвать только путем крайнего сосредоточения, и потому Маливер собрал все силы своей души и мысленно сказал, что хочет увидеть духа, который, как он чувствует, находится где-то рядом и который не должен противиться его призывам, потому что сам уже давал о себе знать.

Затем Маливер стал с напряженным вниманием смотреть и слушать. Он ждал, сидя в той же гостиной, что и в начале нашего повествования. Довольно долго он ничего не видел и не слышал, но ему почудилось, что все предметы в комнате — статуэтки, картины, старые резные шкафы, экзотические вещицы, оружие — изменились и выглядят не так, как всегда. Свет лампы и тени наделили их собственной, фантастической жизнью.

Нефритовый китайский божок, растянув рот до ушей, хохотал одновременно как ребенок и как старик, а погруженная в тень Венера Милосская, чью темную грудь рассекал яркий луч света, с отвращением раздувала ноздри и презрительно поджимала губы. Создавалось впечатление, что китайский божок и греческая богиня не одобряют действий Маливера. Наконец, глаза Ги, повинуясь внутреннему зову, обратились к венецианскому зеркалу, висевшему на стене, обитой кордовской кожей. Это было одно из тех зеркал прошлого века, которые можно увидеть на картинах Лонги, этого Ватто венецианского декаданса[1], нередко изображавшего утренний туалет дамы или сборы на бал. Такие зеркала до сих пор попадаются у некоторых старьевщиков в венецианском Гетто[2]. Зеркало было вставлено в раму, украшенную орнаментом из хрустальных ветвей и листьев, которые то казались гладкими и серебристыми, то переливались всеми цветами радуги. И в этом сверкающем обрамлении маленькое, как у всех венецианских зеркал, стекло казалось иссиня-черным, бесконечно глубоким и походило на отверстие, ведущее в мрачную пустоту[3].

Странно, но ни один из предметов, находившихся в комнате, в нем не отражался, как будто это было одно из тех театральных зеркал, которые декоратор закрашивает расплывчатыми, неопределенного цвета мазками, чтобы зрители не увидели в них себя.

Смутное предчувствие подсказало Маливеру, что именно зеркало послужит ему окном в потусторонний мир. Обычно он даже не смотрел в его сторону, а сейчас оно притягивало, не давая отвести глаз. Но, как пристально он ни вглядывался, ему не удавалось различить ничего, кроме черноты, которой хрустальная рама придавала еще большую глубину и таинственность. Наконец ему почудилось что-то молочно-белое, какой-то далекий и дрожащий свет, постепенно приближавшийся к нему. Маливер обернулся, желая посмотреть, что дает такое отражение, но ничего не увидел. Хотя он не был малодушным и не раз это доказывал, он почувствовал, как волосы его стали дыбом, а по телу пробежала дрожь, о которой говорит Иов[4]. На этот раз он по собственной воле и с ясным сознанием хотел преодолеть опасный порог. Он переступал черту, данную человеку природой. Его жизнь могла сойти со своей орбиты и начать вращаться вокруг совсем иного, неведомого центра. Пусть маловеры посмеиваются, но это был очень серьезный шаг, и Ги сознавал его значение; однако непреодолимая сила влекла его, и он упорно продолжал всматриваться в венецианское стекло. Что он увидит? Какое обличье примет дух, чтобы стать доступным человеческому восприятию? Будет ли оно прекрасным или страшным, внушит радость или ужас? Хотя свет в зеркале еще не принял четкой формы, Ги был уверен, что увидит дух женщины. Слишком ясно звучал в его сердце вздох, услышанный накануне. Откуда он донес-

ся: с земли, из недостижимых сфер или с далекой планеты, — этого Ги не знал. Но вопрос, заданный ему бароном Ферое, не оставлял сомнений, что ему явится душа, прошедшая земную жизнь, душа, которую нечто, о чем еще только предстоит узнать, призывает вернуться обратно.

Светлое пятно в зеркале начало приобретать очертания и расцвечиваться легкими, так сказать, нематериальными тонами, по сравнению с которыми самые свежие краски палитры показались бы землистыми. То была скорее идея цвета, чем сам цвет, пар, пронизанный светом и окрашенный в столь нежные оттенки, что человеческий язык не в состоянии их описать. В тревожном ожидании Ги глядел не отрываясь. Облачко становилось все более и более плотным, но не достигало грубой определенности реального, и наконец в зеркальной раме перед глазами Ги де Маливера возник, будто на картине, лик молодой женщины или, скорее, девушки такой красоты, что рядом с ней любая земная красавица выглядела бы бесцветным силуэтом.

Розоватая бледность покрывала этот лик, на котором едва просматривались свет и тени, — ему, чтобы обрести форму, не нужен был их контраст, ибо, в отличие от земных лиц, он не ведал озаряющего их света. Белокурые волосы, словно ореол, золотой дымкой обволакивали контуры лба. Из-под полуопущенных век на Ги с бесконечной нежностью взирали очи цвета ночной синевы, цвета тех участков неба, что в сумерках становятся лиловыми. Тонкий изящный нос казался безупречным; улыбка Джоконды, только более мягкая и менее ироничная, придавала губам чарующий изгиб; голова слегка клонилась к плечу, а гибкая шея терялась в серебристых полутонах, которые любому другому лицу могли бы послужить освещением.

Этот слабый набросок, который мы по необходимости сделали с помощью слов, призванных передавать реалии нашего мира, дает весьма смутное представление о том, что явилось Ги де Маливеру в венецианском зеркале. В самом ли деле он видел девичье лицо, или оно было плодом его воображения? Разглядел бы его кто-нибудь другой, не испытывающий, подобно Ги, крайнего возбуждения всех чувств? На этот вопрос трудно ответить, ибо, при всем *сходстве*, видение отнюдь *не походило* на то, что в нашем мире считается хорошенькой женской головкой. Черты были будто бы те же, но более чистые, преображенные, идеализированные. Некая нематериальная субстанция уплотнилась ровно настолько, чтобы стать зримой в земной атмосфере. Дух или душа, явившаяся Ги де Маливеру, несомненно, позаимствовала внешность у своей прежней тленной оболочки, но при этом осталась такой, какой была в среде более тонкой, эфирной, где могут существовать только призраки вещей, а не сами вещи. Видение привело Ги в несказанный восторг. Чувство страха, которое он

поначалу испытывал, полностью рассеялось, и он безоглядно отдался во власть необъяснимого. Ни с чем не споря, соглашаясь на все, он без колебаний счел сверхъестественное естественным. Ги подошел к зеркалу вплотную, надеясь разглядеть в подробностях восхитившие его черты, но картина осталась прежней, очень близкой и в то же время бесконечно далекой, как будто он смотрел на проекцию лица, находящегося на расстоянии, человеческим меркам не подвластном. Оригинал, если можно воспользоваться этим словом при подобных обстоятельствах, пребывал, очевидно, в каких-то удаленных, глубинных, загадочных, недостижимых краях, там, куда не осмеливается проникать даже самая смелая мысль. Ги тщетно пытался вспомнить, не видел ли он раньше это лицо — оно казалось ему одновременно и новым, и знакомым. Но если видел, то где? Явно не в этом подлунном земном мире.

Так вот в каком обличье захотела явиться ему *Спирита* — именно так, не зная, как зовут прекрасную незнакомку, Ги де Маливер решил временно, пока не подберет подобающее имя, окрестить свою гостью. Спустя несколько мгновений он заметил, что лик начал понемногу терять краски и растворяться в глубинах зеркала, потом стал похож на легкий пар от дыхания, а вскоре и вовсе исчез. На его месте показалась висевшая на противоположной стене позолоченная рама: зеркало вновь обрело свою способность отражать.

Окончательно уверившись, что видение не повторится, по крайней мере этой ночью и таким способом, Ги рухнул в кресло. Хотя часы только что пробили два раза и их серебряные стрелки советовали спать, ложиться не хотелось. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Пережитое потрясение, первые шаги за пределы реальности вызвали нервное перевозбуждение, которое гонит сон. И кроме того, он боялся, что, заснув, пропустит новое появление Спириты.

Вытянув ноги к решетке камина, в котором вдруг, безо всякого его вмешательства, разгорелся огонь, Ги размышлял о том, что случилось, о том, что всего лишь два дня назад он счел бы невозможным. Он вспоминал очаровательную головку, сравнивал ее с женскими образами, созданными магией мечты, воображением поэта или кистью художника, чтобы затем отбросить их как пустые тени. Ни природа, ни искусство не способны соединить в одно целое тысячу пленительных черт, тысячу чар, которые он находил в Спирите, по чьему образу и подобию он живо представил себе и других обитателей иного мира. Он спрашивал себя, какое чувство, какие таинственные и неведомые связи привлекли к нему из бесконечных далей этого ангела, эту сильфиду[5], эту душу или духа, сущности которого он еще не понимал и потому не знал, с чем соотнести. Ги не осмеливался польстить себе предположением, что внушил любовь сущест-

ву высшего порядка, ибо не страдал излишним самомнением, однако он не мог не признать, что и вздох Спириты, и искаженный смысл записки, и просьба, высказанная у дверей госпожи д'Эмберкур, и слова, внушенные шведскому барону, – все говорило о том, что она испытывает к нему, простому смертному, очень женское по своей природе чувство, которое в нашем мире назвали бы ревностью. В то же мгновение Маливер понял, что безумно, отчаянно и бесповоротно влюбился и в один миг стал рабом всепоглощающей страсти, которую не утолит даже вечность.

Отныне все женщины, которых он когда-либо знал, перестали для него существовать. С появлением Спириты он забыл о земной любви, как Ромео забыл Розалинду, увидев Джульетту[6]. Будь он Дон-Жуаном, все три тысячи милых имен сами собой оказались бы вычеркнуты из его списка[7]. Не без ужаса Ги ощутил, как его охватывает пламя, которое жадно поглощает мысль, волю, силы и оставляет в душе только любовь. Но было слишком поздно, он уже не принадлежал самому себе. Барон Ферое не ошибся: для смертного нет ничего более захватывающего, чем перейти границу жизни и блуждать среди теней без золотой ветви, подчиняющей духов[8].

Страшная мысль пронзила Маливера. Что, если Спирита не захочет больше показаться? Каким способом тогда заставить ее вернуться? И если такого способа не существует, как он вынесет солнечный мрак после того, как узрел истинный свет? Невыносимое горе навалилось на него, тяжелейшее уныние охватило душу; на мгновение, длившееся целую вечность, он почувствовал полную безысходность. Не было никаких оснований для подобного предположения, однако на глаза навернулись слезы. Они скапливались под ресницами и, как ни старался Ги сдержать их, стыдясь собственной слабости, в конце концов медленно заструились по щекам. Маливер плакал... и вдруг с изумлением, смешанным с восторгом, ощутил, как тончайшая вуаль, сплетенная из воздуха, сотканная из ветра, ласково прикоснулась к его лицу и стерла горькие капли. Даже трепещущее крылышко стрекозы не показалось бы ему таким нежным. То не был плод его воображения, потому что он трижды почувствовал ласковые прикосновения, а когда слезы высохли, Маливер заметил, как тает в тени, подобно облачку в небе, полупрозрачный белый сгусток.

После столь трепетного и сочувственного знака внимания Маливер уже не сомневался, что Спирита, которая, похоже, постоянно находилась где-то поблизости, еще отзовется на его призыв и с присущей высшим существам ясностью ума найдет простое средство общения. Спирита могла являться в этот мир, поскольку душам умерших разрешено вмешиваться в дела живущих, но ему, смертному, облаченному в тяжелую плоть, не дозволено было следовать за нею туда, где она обитала. Мы никого не удивим, если скажем, что мрачное отчаяние Маливера сменилось самой свет-

лой радостью. Можно лишь догадываться, какой силы должны быть чувства, вызванные духом, если даже простая смертная женщина способна десять раз на дню погрузить вас в бездну ада и вознести к вершинам блаженства, внушая вам желание то пустить себе пулю в лоб, то купить виллу на берегу озера Комо[9] и укрыть там навеки ваше счастье.

Если вы сочтете страсть, захватившую Ги, слишком неожиданной, вспомните, что любовь рождается иногда от одного взгляда, что дама в театральной ложе, которую вы увидели в лорнет, мало чем отличается от души, явившейся вам в зеркале, и что многие сильные чувства начинаются именно так. Впрочем, что касается Ги, то его любовь была не столь внезапной, как может показаться. Спирита уже давно витала вокруг ничего не подозревавшего Ги и готовила его к встрече с потусторонним: она внушала ему мысли, идущие дальше пустых видимостей, смутными напоминаниями о высших мирах вызывала в его душе тоску по идеалу и отвращала от пустых страстей, заставляя предчувствовать счастье, которое земля ему дать не могла. Это она разрывала все растянутые вокруг него сети, все начала сотканных тканей, она изобличала вероломство и глупость в той или иной мимолетной возлюбленной и до сей поры охраняла его от нерасторжимых уз. Она остановила его на краю непоправимого, ибо, хотя в жизни Ги и не произошло никакого значительного с человеческой точки зрения события, он приблизился к поворотной точке. Судьба его лежала на таинственных весах: именно это заставило Спириту выйти на свет и дать о себе знать. Она больше не могла управлять Ги одними лишь оккультными способами. Почему Маливер так волновал Спириту? Действовала ли она по собственному желанию или подчинялась приказу, исходившему из той лучезарной сферы, где, как говорил Данте, могут всё, что захотят?[10] На этот вопрос могла ответить только Спирита. И, будем надеяться, вскоре ей представится случай все объяснить.

Наконец Маливер лег и сразу же заснул. Его сон был легок, прозрачен и полон ослепительных чудес, более всего походивших на видения. Перед его закрытыми глазами распахнулись голубые просторы, через которые полосы света проложили серебряные и золотые долины, теряющиеся в безграничной дали. Затем эта картина улетучилась, и он увидел бездну и ослепительные, сверкающие потоки, подобные каскадам расплавленных звезд, падающих из вечности в бесконечность. Каскады тоже пропали, а на их месте раскинулось небо ослепительно яркого белого цвета — цвета риз, некогда облачивших Преображенного на горе Фавор[11]. На этом фоне, являвшем сияние в чистом виде, даже самые яркие звезды показались бы черными, и, однако, то там, то сям в нем взмывали мощные фонтаны искр: то было как бы кипение вечного становления. Время от времени в необъятном излучении, подобно птицам на фоне солнечного диска, проносились

духи, но их можно было различить не по тени, а по другому свету. Ги показалось, что в их рое он узнал Спириту, и он не ошибся, хотя она была всего лишь сверкающей точкой в беспредельном пространстве, маленьким пылающим шариком. В вызванном ею видении Спирита хотела показать себя в своей родной стихии. Душа Ги, освобожденная во сне от телесных уз, отдавалась этой картине, и в течение нескольких минут он мог видеть внутренним оком не сам потусторонний мир, который дозволено созерцать лишь душам полностью свободным, но лучик, проникший из-под двери в неизвестное. Так на темной улице под воротами освещенного дворца можно заметить полоску яркого света и по ней судить о пышности празднества. Не желая утомить слабый человеческий организм, Спирита рассеяла изумительные видения и погрузила Маливера в обычный сон. Попав в его темные объятия, Ги почувствовал, что погружается в непроницаемый мрак, словно ракушка в толщу черного мрамора. Затем все стерлось, даже это ощущение, и Ги два часа черпал силы в том небытии, из которого все живое выходит помолодевшим и посвежевшим.

Он проспал до десяти часов. Джек, поджидавший пробуждения хозяина, заметил, что Ги проснулся, распахнул настежь створку двери, которую держал полуоткрытой, вошел в комнату, раздвинул шторы и, приблизившись к постели Маливера, подал ему на серебряном подносе два только что принесенных письма. Одно было от госпожи д'Эмберкур, другое — от барона Ферое. Первым Ги распечатал письмо барона.

Глава VI

Записка барона Ферое состояла из одного вопроса: «Цезарь перешел Рубикон?»[1] Госпожа д'Эмберкур в своем гораздо менее лаконичном послании в нескольких витиеватых фразах вкрадчиво внушала, что не надо принимать сплетни близко к сердцу и что внезапное прекращение обычных визитов скомпрометирует ее еще сильнее, чем их умножение. В конце она напоминала о выступлении Аделины Патти[2] и намекала на то, что для Маливера забронировано место в Итальянском театре, в ложе номер двадцать два. Ги, конечно, восхищался молодой оперной дивой, но ему до смерти не хотелось встречаться с госпожой д'Эмберкур, и он решил, что под каким-нибудь предлогом откажется от приглашения и послушает певицу в другой раз.

Стоит только месту действия принять свой обычный вид, как человек тут же начинает подвергать сомнению из ряда вон выходящие события. Вот и Маливер, поглядев при свете дня в венецианское зеркало, обнаружил там лишь свою собственную физиономию и усомнился в том, что не-

сколько часов назад этот кусок отполированного стекла явил ему самый дивный образ из тех, что когда-либо доводилось видеть простому смертному. Умом он стремился приписать это небесное видение сну, наваждению, обманчивой горячке, но сердце отвергало доводы рассудка. Как ни трудно ему было признать существование сверхъестественного, он чувствовал, что все случившееся — правда и за привычной видимостью волнуется огромная, таинственная вселенная. Ничто не изменилось в его когда-то спокойном жилище, ни один посетитель не заметил бы ничего странного, но для Ги отныне каждая створка шкафа или буфета могла послужить дверью в бесконечность. И он вздрагивал от малейшего шума, принимая его за предупреждение.

Чтобы снять нервное напряжение, Ги решил отправиться на большую прогулку. Смутное чувство подсказывало ему, что Спирита будет приходить только по ночам. Впрочем, если она захочет, ее фантастическая вездесущность позволит ей найти его в любом месте. В этой интриге, если можно так назвать их туманные, хрупкие, воздушные и неосязаемые отношения, Маливеру отводилась пассивная роль. Его воображаемая возлюбленная могла в любой момент вторгнуться в его мир — он же не мог последовать за ней туда, где она обитала.

Накануне выпал снег. В Париже такое случается крайне редко, но белое покрывало не расползлось холодной и грязной кашей, еще более отвратительной, чем черная жижа старых мостовых или желтое месиво новых, засыпанных щебнем дорог. От крепкого морозца снег превратился в наст и скрипел под колесами экипажей, словно толченое стекло. Граймокин был отличным рысаком, а Маливер привез себе из Санкт-Петербурга сани и настоящую русскую упряжь. В умеренном парижском климате не часто предоставляется возможность покататься на санях, и каждый спортсмен[3] с восторгом пользуется ею. Ги по праву гордился своими санями: во всем городе ни у кого таких не было, да и на бегах по Неве они выглядели бы весьма достойно. Ему страстно захотелось проехаться и подышать целительным морозным воздухом. За суровую зиму, проведенную в России, он научился наслаждаться снегом и стужей. Ему нравилось мчаться по белому ковру с еле заметными следами от полозьев и на манер русских извозчиков править обеими руками. Ги приказал запрягать и в мгновенье ока добрался до площади Согласия и Елисейских полей. Колея, как на Невском проспекте, еще не образовалась, но снега выпало достаточно, чтобы полозья легко скользили по его гладкой поверхности. Никто не требует от парижской зимы совершенства зимы московской, но в этот день все поперечные аллеи Булонского леса, где было еще мало карет и всадников, покрыл такой ровный и белый снег, что возникло ощущение, будто ты на петербургских островах[4]. Ги де Маливер направился

к ельнику: темные, заснеженные лапы елей напоминали ему Россию. Он с головой закутался в меха, и поэтому встречный ледяной ветер казался ему теплым зефиром.

Люди устремились к берегу озера. Здесь скопилось столько же экипажей, сколько в самые теплые дни осени или весны, когда бега, в которых участвуют знаменитые лошади, привлекают на ипподром Лоншана[5] зрителей всех званий и сословий. В колясках на восьми рессорах под белыми медвежьими шкурами полулежали светские дамы, прижимавшие к своим атласным, подбитым мехом манто теплые соболиные муфты. На козлах с пышными басонами[6] величественно восседали кучера в лисьих палантинах на плечах. С не меньшим, чем их богатые хозяйки, презрением они поглядывали на дамочек, которые сами правили пони, запряженными в причудливые повозки. Все, кто имел такую возможность, подняли верх колясок или выехали в каретах, потому что в Париже уже при пяти-шести градусах мороза кататься в открытом экипаже многим кажется немыслимым. Посреди колесных экипажей, хозяева которых, похоже, не ожидали такого снега, попадались и сани, но сани Маливера были краше всех. Русские господа, которые прогуливались по парку и радовались зиме, словно северные олени, соблаговолили признать, что изгиб дуги действительно весьма изящен, а тонкие ремни упряжи прикреплены к ней по всем правилам.

Время приближалось к трем часам. Легкий туман заволакивал горизонт, и на его сером фоне выделялись изящные силуэты голых деревьев; их тонкие ветви напоминали кленовый листок, от которого остались одни прожилки. Солнечный диск, похожий на красную восковую печать, быстро погружался в дымку. Озеро заполнили конькобежцы. Три-четыре морозных дня, и лед стал достаточно прочным, чтобы выдержать целую толпу. Его расчистили, сгребли к берегам снег, так что образовалась черноватая полированная гладь, изрезанная коньками во всех направлениях, подобно зеркалам в ресторанах, на которых влюбленные парочки царапают алмазной гранью свои имена. На берегу стояло несколько предприимчивых горожан, которые давали коньки напрокат любителям из мещан, чьи падения служили комическими интермедиями на этом зимнем празднике, в этом балете из «Пророка»[7], поставленном на открытом воздухе. В центре катка демонстрировали свое мастерство опытные фигуристы, одетые в обтягивающие костюмы. Они носились как молнии; круто разворачивались, чудом избегая столкновений; резко останавливались, тормозя концом лезвия; выписывали кривые, спирали, восьмерки и буквы, вроде арабских наездников, которые пишут имя Аллаха на боку своего коня, чиркая кончиком сабли против шерсти. Некоторые господа катались, толкая перед собой сказочно нарядные санки, в которых сидели красивые дамы,

закутанные в меха, — они оборачивались и улыбались своим кавалерам, опьяненные скоростью и морозом. Другие поддерживали за кончики пальцев какую-нибудь юную модницу в русской или венгерской шапке, в отороченной песцом курточке с бранденбурами[8] и сутажом, яркой юбке, приподнятой и заколотой пряжками, и очаровательных лаковых ботах, перевязанных на манер римских сандалий ремнями от коньков. Третьи соревновались в беге: они сильно отталкивались и скользили на одной ноге, наклонившись вперед, подобно Гиппомену и Аталанте, что стоят под каштанами сада Тюильри[9]. Вероятно, и сегодня можно было бы выиграть забег с помощью золотых яблок, разбросав их перед нынешними Аталантами, одетыми Уортом, но среди них попадались такие наследницы, что ни на мгновение не задержались бы даже ради горсти бриллиантов. Это вечное движение причудливых роскошных костюмов, этот своего рода маскарад на льду являл изумительное, живое и полное изящества зрелище, достойное кисти Ватто, Ланкре и Барона[10]. Некоторые группы напоминали живописные десюдепорты[11] в старинных замках, посвященные временам года. Зиму на них представляют галантные господа, катающие на санках с лебедиными шеями маркиз в бархатных полумасках и с муфтами, которые они используют в качестве почтовых ящиков для любовных записок. По правде говоря, здесь, в Булонском лесу, разрумяненным от стужи лицам не хватало именно масок, впрочем, при необходимости их место могла занять вуалетка, украшенная бисером или гагатом.

Маливер остановил сани рядом с катком и стал наблюдать за увлекательным, красочным спектаклем, главные действующие лица которого были ему хорошо знакомы.

Его взгляд сразу выделил в толпе ничего не понимающих статистов группу избранных, а поскольку наш герой давно вращался в свете, он сразу определил, какие интрижки, флирт и любовь управляют ее движением. К счастью, благодаря большому стечению народа происходящее не выглядело слишком откровенно и вызывающе. Ги взирал на все безучастными глазами и не ощутил ни малейшего укола ревности, заметив, как одна очаровательная особа, которая когда-то оказывала ему знаки внимания, катается под руку с привлекательным молодым конькобежцем.

Вскоре он снова взялся за поводья Греймокина, который от нетерпения взбивал копытом снег, повернул в сторону Парижа и двинулся вдоль озера. На этом вечном Лоншане для экипажей пешеходы имеют удовольствие наблюдать, как десять или двенадцать раз в час мимо проезжает одна и та же желтая берлина[12] с величественной пожилой дамой или маленькая карета «вороний глаз», из окошка которой выглядывают гаванский бишон[13] и фифочка, причесанная под болонку. И, похоже, это развлечение зрителям никогда не надоедает.

Чтобы не сбить кого-нибудь на многолюдной аллее, Ги придерживал коня, не давая ему разогнаться, да к тому же ехать здесь на большой скорости было бы просто неприличным. Вскоре он увидел впереди хорошо знакомую карету, с которой предпочел бы не встречаться. Госпожа д'Эмберкур всегда боялась холода, Маливер и вообразить не мог, что она отважится выйти из дома в такую погоду. Последнее доказывало, что он совсем не знает женщин, ибо даже ураган не помешает им поехать в модное место, где они просто обязаны показаться. А в ту зиму самым модным было прокатиться по Булонскому лесу и сделать круг по льду озера; между тремя и четырьмя часами пополудни здесь собирался, говоря языком газетных хроник, весь Париж, то есть все сколько-нибудь именитые и знаменитые особы. Женщина с положением покроет себя позором, если ее инициалы не появятся в светской хронике на страницах вездесущей прессы. Госпожа д'Эмберкур была достаточно хороша собой, достаточно богата и пользовалась достаточным успехом, чтобы считать себя обязанной следовать общей моде, и потому, немного дрожа под мехами, которые она носила, как и все француженки, графиня регулярно совершала паломничество на озеро. Маливеру страшно захотелось пустить в галоп Греймокина, который только об этом и мечтал. Но госпожа д'Эмберкур уже заметила его, и ему ничего не оставалось, как приблизиться к ее карете.

Он рассеянно говорил с ней ни о чем. Чтобы уклониться от приглашения в Итальянский театр, сослался на званый ужин, который закончится очень поздно, и вдруг его чуть не задели чьи-то сани. Их тянул великолепный орловский рысак серо-стальной масти, с белой гривой и хвостом, в котором волосы сверкали, словно серебряные нити, а правил санями бородатый ямщик в зеленом суконном кафтане и бархатной шапке с каракулевым отворотом. Горделивый конь шел особенной рысью, покусывая удила, низко нагнув голову и почти касаясь ноздрями высоко подбрасываемых коленей. Изысканность саней, выправка русского кучера, красота лошади — все привлекло внимание Ги. Но что стало с ним, когда на сиденье он увидел женщину, которую поначалу принял за одну из русских княгинь, приезжающих на сезон-другой в Париж, чтобы ослепить его своим невиданным богатством, — если только Париж вообще можно чем-нибудь ослепить! Он узнал, или ему показалось, что узнал, черты, схожие с теми, что навсегда запечатлелись в его душе, черты, которыми он любовался, как Фауст Еленой, в своего рода волшебном зеркале![14] Он никоим образом не надеялся увидеть их среди бела дня в Булонском лесу и от неожиданности так вздрогнул, что Греймокин, почувствовав резкое движение, шарахнулся в сторону. Ги, коротко попросив прощения у госпожи д'Эмберкур за нетерпеливость своего коня, с которым он якобы никак не может справиться, пустился вдогонку за быстро удалявшимися санями.

Женщина в санях как будто удивилась тому, что ее преследуют, и обернулась, чтобы посмотреть, кто взял на себя такую смелость. Хотя он видел ее только в профиль, то есть в позе, давно забытой художниками, Ги разглядел сквозь черную сетку вуали полоску золотых кудрей, глаза цвета ночной синевы и идеально розовые щеки, о цвете которых может дать отдаленное представление только окрашенный вечерним солнцем снег на высочайших горных вершинах. В мочке ее уха поблескивала бирюза, а на шее, видневшейся между воротником шубы и полями шляпы, подрагивала непослушная прядка волос, легких, как дуновение ветерка, и тонких, как пушок младенца. Да, то было его ночное видение, только теперь оно было дневным и гораздо более реальным. Как Спирита оказалась здесь в таком прелестном и таком человеческом обличье? И видят ли ее другие? Хорошо, пусть Спирита — дух, но неужели и лошадь, и сани, и кучер — тоже всего лишь призраки? Времени на раздумья не было, Маливеру хотелось убедиться, что он не обманулся, что сходство не рассеется при ближайшем рассмотрении, поэтому он решил обогнать сани и разглядеть таинственную незнакомку. Он подстегнул коня, тот помчался стрелой, и через несколько минут белый пар из его ноздрей коснулся спинки преследуемых саней. Но как ни хорош был Греймокин, он не мог тягаться с русским рысаком, самым прекрасным представителем орловской породы, какого когда-либо видел Маливер. Ямщик в кафтане цокнул языком, и серая со стальным отливом лошадь в несколько стремительных шагов оторвалась от Греймокина на расстояние, которое вполне могло успокоить ее хозяйку, если, конечно, она была встревожена.

Похоже, дама не намеревалась лишать Маливера надежды: ее сани вдруг замедлили ход. Но когда они достигли еловой аллеи, которая в тот момент оказалась пустой, погоня возобновилась. Греймокину никак не удавалось нагнать орловского рысака. Он напрягал все силы, но лишь с трудом держал дистанцию. Снег летел из-под копыт рысака и разбивался о кожаный передок саней Маливера, а белесые клубы пара, вырывавшиеся из ноздрей благородных животных, окутывали их, будто настоящие облака. В конце аллеи дорогу перегородили кареты, проезжавшие по главной дороге, и сани на мгновение поравнялись. Ветер приподнял вуалетку мнимой русской, и Ги опять увидел ее лицо. На губах, изогнутых, как у Моны Лизы, блуждала небесная, лукавая улыбка. Синие глаза сияли, словно сапфиры, а бархатные щеки окрасились нежным румянцем. Спирита — а это, без сомнения, была она — опустила вуаль, возница подстегнул рысака, и тот рванул вперед с ужасающей скоростью. Ги вскрикнул от страха, увидев, что дорогу саням пересекла большая берлина, и, забыв, что Спирита, будучи существом нематериальным, застрахована от любых земных несчастий, вообразил, что столкновение неизбежно... но лошадь, кучер и са-

ни прошли сквозь карету, как сквозь туман, и вскоре Маливер потерял их из виду. Греймокин казался испуганным: он дрожал и покачивался на своих крепких ногах, будто недоумевая, куда все исчезло. Животные обладают глубокими и непознанными инстинктами; они видят то, что ускользает от человеческих глаз, и можно даже предположить, что многие из них чуют сверхъестественное. Однако скоро, присоединившись на берегу озера к цепочке обычных экипажей, Греймокин вполне успокоился.

На проспекте Императрицы[15] Ги встретил барона Ферое, который возвращался из парка на легких дрожках[16]. Барон попросил у Маливера огонька, чтобы раскурить сигару, а затем произнес полутаинственным-полунасмешливым тоном:

— Госпожа д'Эмберкур будет очень недовольна. Какую сцену она устроит вам нынче вечером в театре, если, конечно, вы опрометчиво явитесь туда! Не думаю, что эта гонка на санях пришлась ей по вкусу. И кстати, велите Джеку накинуть на Греймокина попону, иначе он, чего доброго, подхватит воспаление легких.

Глава VII

Ги уже ничему не удивлялся и не видел ничего странного в том, что сани прошли сквозь карету. Легкость, с которой фантастическая упряжка преодолевала препятствия, о которые разбился бы любой земной экипаж, лишь доказывала, что она вышла из заоблачных конюшен и что ее хозяйкой была Спирита. Решительно, Спирита ревновала или по меньшей мере хотела помешать встрече Маливера и госпожи д'Эмберкур. Момент был выбран очень удачно, но, свернув на площадь Звезды, Ги опять повстречался с графиней. Она снисходительно слушала по всей видимости любезные речи д'Аверсака, который ехал рядом с ее каретой, склонившись к холке своей лошади.

«Это реванш за сани, — подумал Маливер, — но такие игры не по мне. Д'Аверсак — мнимый остряк, точно так же, как госпожа д'Эмберкур — мнимая красавица. Они прекрасная пара, и я сужу их беспристрастно, поскольку дела земные меня больше не касаются. Они будут "друг дружке под стать" — кажется, так поется в какой-то песне»[1].

Вот такого результата добилась своим маневром госпожа д'Эмберкур. Заметив Ги, она высунулась из окошка кареты чуть больше, чем подобает, и, старательно улыбаясь, отвечала на комплименты д'Аверсака. Бедная женщина надеялась вернуть Маливера, раздразнив его самолюбие. Когда незнакомка в санях обернулась, графиня сразу же угадала в ней опасную соперницу. Ги, обычно спокойный и уравновешенный, так рванул вслед

за таинственными санями, что дама, которую никто и никогда в Булонском лесу не встречал, задела графиню за живое. Ее не обмануло торопливое извинение Маливера, и она не поверила, что Греймокин понес. Д'Аверсак же, с которым никогда столь ласково не обходились, весь светился от удовольствия, скромно поставив себе в заслугу то, что объяснялось всегонавсего женской обидой. В порыве великодушия он даже пожалел Маливера, слишком уверенного в чувствах госпожи д'Эмберкур. Нетрудно догадаться, сколь далекоидущие планы возникли в самонадеянной голове д'Аверсака благодаря видимой стороне этого маленького происшествия.

В тот день Ги обедал в городе, в доме, куда его давно пригласили. К счастью, гостей собралось много, и его озабоченности никто не заметил. Когда трапеза закончилась, он обменялся несколькими фразами с хозяйкой, засвидетельствовав тем самым свое присутствие, и незаметно перебрался во вторую гостиную, где пожал руку нескольким солидным господам, уединившимся, чтобы спокойно поговорить о вещах важных и деликатных. Затем он опять потихоньку переместился туда, где надеялся найти барона Ферое. Барон и в самом деле сидел за зеленым столом и играл в экарте[2] на пару с сияющим д'Аверсаком, который, надо отдать ему должное, попытался скрыть свое торжество, дабы никоим образом не оскорбить Маливера. Известная поговорка гласит: «Не везет в карты, повезет в любви». Д'Аверсак выигрывал, и, будь он хоть чуточку суеверен, удача внушила бы ему сомнения относительно обоснованности его надежд. Партия подошла к концу, и, поскольку шведский барон проиграл, он встал и, сославшись на усталость, любезно отказался от реванша, который столь же любезно предлагал ему соперник. Барон Ферое и Ги де Маливер вместе покинули особняк и сделали несколько кругов по бульвару неподалеку от клуба.

— Что подумают завсегдатаи гостиной под названием Булонский лес, — спросил Ги, — об этой женщине, ее санях, лошади, кучере, таких приметных и никому не известных?

— Видение предназначалось только вам, графине, на которую дух хотел произвести впечатление, и мне как посвященному, поскольку я вижу то, что недоступно всем остальным. Будьте уверены, если госпожа д'Эмберкур заговорит о русской княжне и ее великолепном рысаке, никто не поймет, о чем идет речь.

— Как вы думаете, барон, я скоро увижу Спириту?

— Будьте готовы к следующему визиту, — отвечал барон Ферое, — благодаря моим потусторонним связям я знаю, что вами заинтересованы всерьез.

— Когда это случится? Вечером, утром, у меня дома или в каком-нибудь неожиданном месте, как сегодня? — В возгласе Маливера слышалась

горячность нетерпеливого влюбленного и жгучее желание поскорее проникнуть в тайну.

— На этот вопрос я не могу дать точного ответа, — остановил его барон. — Духи пребывают в вечности и не ведают, точнее, уже не ведают времени. Самой Спирите все равно, увидит она вас сегодня вечером или через тысячу лет. Правда, духи, которые снисходят до общения с простыми смертными, учитывают быстротечность нашей жизни, несовершенство и хрупкость наших органов. Они понимают, что между одним их появлением и другим может пройти целая вечность и тленная оболочка человека сто раз успеет обратиться в прах. Поэтому Спирита не заставит вас долго ждать. Она пришла в наш мир и, похоже, полна решимости не покидать его, пока не добьется своего.

— Но чего она хочет? Для вас все открыто в потустороннем мире, вы должны знать, почему ее чистый дух влечет к существу, подчиненному законам земной жизни.

— Мой дорогой Ги, — отвечал барон Ферое, — я не имею права открывать секреты духов. Меня предупредили, что я должен предостеречь вас против всех земных соблазнов и не дать вам связать себя узами, которые лишат вашу душу свободы и обрекут ее на вечные сожаления. На этом моя миссия заканчивается.

Маливер и барон, за которыми по мостовой медленно следовали их экипажи, дошли до церкви Магдалины[3]. Ее обращенная к Королевской улице греческая колоннада, посеребренная бледным светом зимней луны, в сумерках стала похожа на Парфенон. Здесь приятели расстались и разъехались по домам.

Едва переступив порог своей квартиры, Маливер бросился в кресло и, облокотившись на стол, погрузился в мечты. Первая встреча со Спиритой вдохнула в него то неземное устремление, то окрыленное желание, что порождается лицезрением ангела, но ее появление на берегу озера в облике живой женщины разожгло в его душе пламя земной любви. Его захлестнули жгучие флюиды, он чувствовал, что пылает всепоглощающей страстью, которую не способно утолить даже вечное обладание. Вдруг на темном фоне турецкого ковра он увидел изящную кисть девичьей руки. Ни искусство, ни природа никогда не достигали такого совершенства формы: освещенная каким-то внутренним светом кисть была полупрозрачной, с удлиненными пальцами, с блестящими, как оникс, ноготками, сквозь ее нежную кожу просвечивали тоненькие лазурные вены, похожие на голубоватые прожилки молочно-белого опала. По ее нежно-розовому оттенку и неподражаемой грации Ги понял, что это рука Спириты. Узкое, исполненное благородства запястье терялось в пене туманных кружев.

Не было ни предплечья, ни тела, словно Спирита давала понять, что ее рука — это знак. Пока Ги смотрел на нее, уже ничему не удивляясь, белоснежные пальцы легли на бумагу, в беспорядке разбросанную на столе, и задвигались, как при письме. Казалось, они выводят строчку за строчкой, а когда они со скоростью актера, пишущего любовную записку в какой-нибудь комедии, достигли конца листа, Ги схватил его, в надежде увидеть буквы, знакомые или незнакомые. Но бумага была чиста. Ги растерянно смотрел на листок. Он поднес его к лампе, рассмотрел со всех сторон, поворачивая к свету то так, то этак, но не обнаружил ни одной черточки. Тем временем рука Спириты продолжала ту же воображаемую работу на другом листе, и все так же безрезультатно.

«Что значит эта игра? — озадаченно подумал Маливер. — Может, Спирита пишет симпатическими чернилами и надо поднести бумагу к огню, чтобы проступили буквы? Но таинственные пальцы не держат ни пера, ни даже тени пера. В чем же дело? Неужели я сам должен послужить секретарем духу, стать своим же собственным медиумом[4], если воспользоваться языком посвященных? Ведь, говорят, духи умеют вызывать видения и создавать в мозгу тех, кого они преследуют, устрашающие или великолепные картины, но при этом не в силах воздействовать на вещи материальные и не способны поднять даже соломинку».

Он вспомнил, как написал записку госпоже д'Эмберкур, и подумал, что Спирита с помощью каких-то нервных импульсов сможет мысленно продиктовать ему то, что хочет сказать. Оставалось только дать своей руке полную свободу и постараться заглушить собственные мысли, чтобы они не смешивались с мыслями духа. Глубоко вздохнув, Ги приказал замолчать своему перевозбужденному рассудку, отрешился от внешнего мира, приподнял фитиль в лампе, чтобы добавить огня, взял перо и чернила, положил руку на стол и с бьющимся от страха и надежды сердцем стал ждать.

Через несколько минут Ги охватило странное ощущение, ему показалось, что собственное «я» покинуло его, все воспоминания стерлись, словно сновидения после утреннего пробуждения, а мысли улетели вдаль, как птицы, теряющиеся в небесной выси. Хотя его тело хранило прежнюю позу, сам Ги из тела ушел, испарился, исчез. Другая душа или по меньшей мере другие мысли заменили его душу и мысли и начали управлять органами, застывшими в ожидании приказов нового хозяина. Пальцы Маливера вздрогнули и задвигались, выполняя не осознаваемые им движения, кончик пера побежал по бумаге, быстро нанося буквы слегка измененным под чужим воздействием почерком. Мы нашли этот листок с потусторонней исповедью среди бумаг Маливера, и нам позволили переписать его.

История, продиктованная Спиритой

Прежде всего, Вы должны узнать, что за таинственное создание вторглось в Вашу жизнь. Сколь ни велика Ваша проницательность, Вы не в силах распознать мою истинную природу, и потому, как в плохой трагедии, где герои произносят длинные монологи о себе самих, я тоже вынуждена объяснить все сама. Меня оправдывает лишь то, что никто другой этого не сделает. Ваше отважное сердце, сердце, которое без колебаний ответило на мой призыв ступить в таинственные и пугающие сферы, не нуждается в ободрении. И вряд ли существуют такие угрозы и опасности, которые помешали бы Вам продолжить путь в неведомое. В мире незримом, скрытом за миром видимым и реальным, есть свои ловушки и пропасти, но Вы в них не попадетесь. Там обитают духи лживые и порочные, ведь бывают ангелы черные и ангелы белые[5], власти непокорные и власти покорные, силы добрые и силы злые[6]. Вершина мистической лестницы озарена вечным светом, а ее подножие утопает во мраке[7]. Я надеюсь, что с моей помощью Вы достигнете ступеней света. Я ни ангел, ни демон, ни один из тех духов-вестников, что передают сквозь бесконечность божественную волю, подобно тому, как нервные токи сообщают волю человека его членам. Я просто душа, ожидающая Судного часа. Милость Небес позволяет мне надеяться, что приговор не будет суровым. Я жила на земле и могла бы сказать о себе словами печальной эпитафии с картины Пуссена: «Et in Arcadia ego»*[,8]. Не подумайте, судя по этой латинской цитате, что я дух образованной женщины. Там, где я пребываю, ведомо все, нам внятны все языки, на которых изъяснялся род человеческий до и после крушения Вавилона. Слова — всего лишь тени мыслей, а мы владеем мыслью как таковой, ее изначальной сущностью. Если бы там, где нет времени, существовал возраст, то на моей новой родине я была бы молода: не так много дней прошло с тех пор, как я, освобожденная смертью, покинула атмосферу, которой Вы дышите и куда меня возвращает желание, не угасшее после перехода в мир иной. Моя земная жизнь или, лучше сказать, мое последнее появление на вашей планете было кратким, но я успела испытать самое горькое чувство, какое только может выпасть на долю нежной души. Когда барон Ферое пытался понять, какова приро-

* «И я [жил] в Аркадии» (*лат.*).

да духа, чьи неясные проявления Вас тревожат, и спросил, не умирала ли от любви к Вам какая-нибудь женщина или девушка, он, сам того не подозревая, был очень близок к истине. И хотя Вы не могли припомнить ничего подобного, его предположение глубоко взволновало Вашу душу, и Вам не удалось скрыть сие волнение за шутливым и скептическим ответом.

Моя жизнь прошла рядом с Вашей, но Вы этого не заметили. Ваши глаза были обращены в другую сторону — я для Вас всегда оставалась в тени.

Первый раз я увидела Вас в приемной пансиона Птиц[9]. Вы навещали Вашу сестру; она, как и я, училась в этом пансионе, только в старшем классе. Мне тогда было лет тринадцать, самое большее — четырнадцать, а выглядела я еще моложе, потому что была очень хрупкой, маленькой и светленькой. Вы не обратили никакого внимания на девочку, на ребенка, который украдкой бросал на Вас взгляды, жуя принесенную матерью шоколадку с пралине от Марки[10]. Вам тогда было двадцать два или двадцать три года, и по детской наивности я находила Вас очень красивым. Меня тронуло и покорило то, с какой добротой и любовью Вы говорили с сестрой, мне захотелось, чтобы у меня тоже был такой брат. Мое воображение тогда не заходило дальше мечты о любящем брате. Потом мадемуазель де Маливер закончила пансион, ее забрали, и больше я Вас не видела, но образ Ваш не стерся из моей памяти. Он сохранился на чистом листе моей души, как легкий карандашный набросок, сделанный опытным мастером. Штрихи со временем становятся почти невидимыми, но еще очень долго их можно различить, и порой они — единственный след ушедшей души. Мысль, что взрослый мужчина мог меня заметить, была бы слишком смелой и потому не пришла мне в голову. Я ведь была еще в самом младшем классе, даже пансионерки относились ко мне с пренебрежением. Но я часто думала о Вас, и в целомудренных мечтах, которым предаются даже самые невинные создания, именно Вы всегда играли роль прекрасного принца, Вы спасали меня от страшных опасностей, вызволяли из подземелий и, обратив в бегство пиратов и разбойников, возвращали моему отцу королю. Да, королю, потому что такому герою, как Вы, полагалась по меньшей мере инфанта или принцесса, и я скромно присваивала себе этот титул. Иногда роман превращался в пастораль: Вы были пастухом, я пастушкой, и наши стада соединялись на самых зеленых и сочных лугах. Ни о чем

не подозревая, Вы заняли большое место в моей жизни, Вы властвовали в ней, как абсолютный монарх. Вам я посвящала мои школьные успехи, я трудилась изо всех сил, чтобы заслужить Ваше одобрение. Я говорила себе: «Он не знает, что я выиграла приз, но если бы знал, то был бы очень рад», и, от природы ленивая, я с удвоенной энергией принималась за работу. Не правда ли, странно, что детская душа тайно и по собственной воле отдается власти сеньора, который даже не представляет себе, что у него есть такой преданный вассал? И не странно ли, что первое впечатление так никогда и не потускнело? Ибо оно осталось на всю жизнь — увы! — очень короткую, и сохранилось после смерти. Я увидела Вас, и во мне дрогнуло что-то неопределимое и таинственное, а что именно, я поняла только, когда глаза мои закрылись и открылись уже навсегда. Мое нынешнее неосязаемое состояние чистого духа теперь позволяет мне говорить о вещах, которые утаила бы земная девушка, но незапятнанная белизна души не умеет краснеть: небесное целомудрие не порицает любовь.

Так прошло два года. Из девочки я превратилась в девушку, мои мечты, по-прежнему невинные, начали взрослеть вместе со мной. Они не всегда окрашивались в розовое и голубое и не всегда имели счастливый конец. Я часто ходила в сад, усаживалась на скамью подальше от подруг, игравших или о чем-то шептавшихся, и, как молитву, повторяла Ваше имя. Иногда я набиралась смелости и думала, что это имя могло бы стать моим, разумеется, после цепи случайностей и приключений, запутанных как в комедии плаща и шпаги, интригу которой я закручивала и раскручивала по собственной воле.

Моя семья по праву могла бы встать вровень с Вашей, мои родители обладали завидным состоянием и положением, а потому союз, заключенный в самом укромном уголке моего сердца, вовсе не казался несбыточным или безумным. Когда-нибудь мы вполне естественным образом могли бы повстречаться там, куда оба имели доступ. Но понравлюсь ли я Вам? Сочтете ли Вы меня красивой? На эти вопросы маленькое зеркальце пансионерки не отвечало «нет» — впрочем, теперь, после моего появления в Вашем венецианском зеркале и в Булонском лесу, Вы можете вынести собственное суждение. А вдруг Вы опять не обратите внимания на девушку, как когда-то не заметили ребенка в пансионе Птиц? Эта мысль повергала меня в глубокую безысходность, но юность никогда не отчаивается надолго, и вскоре я опять возвращалась

к розовым мечтам. Мне казалось невозможным, что Вы пройдете мимо своего счастья, своей добычи, души, что является точным слепком с Вашей души, или отвернетесь от той, что посвятила Вам себя с детства, — одним словом, от женщины, созданной именно для Вас. Тогда я не формулировала все столь четко, движения моего сердца еще не были мне так ясны, как теперь, когда все события моей жизни предстали передо мной в новом свете; мною владел неодолимый инстинкт, слепая вера, чувство, которому я противиться не могла. Несмотря на девственное неведение и невероятное простодушие, во мне зрела всепоглощающая страсть, о которой я никогда и никому не рассказывала. В пансионе у меня не было подруги, я жила только мыслями о Вас. Я ревниво оберегала свою тайну, не желая делиться ею ни с кем, и гнала прочь всякого, кто мог помешать мне думать о Вас. Меня называли «серьезной», а наставницы ставили всем в пример.

Как ни странно, я не торопила час расставания с пансионом, наслаждаясь последними неделями мечтаний: ведь после возвращения домой наступила бы пора действовать.

Пока я была заперта в стенах пансиона, я имела полное право тешить себя надеждами, не приближаясь ни на шаг к их осуществлению. Вылетев из клетки, я должна была направить мой полет прямо к цели и постараться долететь до своей звезды, тогда как нравы, обычаи, условности, бесконечные запреты и ограничения, которыми общество окружает девушку, не позволяют ей даже шагу ступить навстречу своему идеалу. Из целомудрия и чувства собственного достоинства она не может предлагать то, что не имеет цены. Ее глаза должны быть опущены, уста немы, грудь недвижима. Нельзя, чтобы румянец или бледность выдали ее при встрече с тайным возлюбленным, и часто он отворачивается, принимая сдержанность за высокомерие или безразличие. Сколько пар, созданных друг для друга, из-за одного неудачного слова, взгляда, улыбки разошлись в разные стороны, похоронив всякую надежду на возможный союз! Сколько безжалостно искалеченных жизней обязано своим несчастьем похожей причине, никем не замеченной и часто не ведомой самим жертвам! Я часто думала об этом, особенно перед тем, как покинуть пансион. Но все же решимость не покидала меня. И вот настал день, когда за мною приехала мать. Я довольно равнодушно попрощалась с пансионерками. В стенах, где я провела несколько лет жизни, у меня не оставалось ни подруг, ни воспоминаний. Мысль о Вас была моим единственным достоянием.

Глава VIII

С радостью и удовольствием переступила я порог комнаты или, скорее, маленьких апартаментов, которые мать приготовила к моему возвращению из пансиона Птиц. Они состояли из спальни, просторной гардеробной и гостиной с окнами в сад, который благодаря множеству соседних садов казался бескрайним. Невысокая стена, сплошь увитая плющом, служила его границей, но камня совсем было не видно, глазам представали лишь старые деревья, гигантские каштаны, и я воображала, что за окном моим простирается огромный парк. Только на заднем плане сквозь кроны деревьев кое-где проступали коньки крыш или причудливо изогнутые трубы, напоминавшие о том, что Париж где-то рядом. Редкое счастье, доступное лишь богатым, — посреди большого города иметь у себя за окнами открытое пространство, воздух, небо, солнце и зелень. И сколь тягостно ощущать, что у тебя под боком проходят другие жизни с их страстями, пороками и бедами! Такое близкое соседство не может не коробить тонкую душу, поэтому я с наслаждением любовалась моим оазисом свежести, тишины и уединения. Стоял август, еще зеленая листва приобрела тот теплый оттенок, в который она окрашивается к концу лета. Неподалеку от моих окон пышно цвела герань — она ослепляла меня своим пунцовым фейерверком. Клумбу с цветами окружал бархатный газон, настоящий ковер из английского райграса[1]. Его изумрудная зелень подчеркивала красные, точно пламя, соцветия. На аллее, усыпанной мелким песком с ровными полосками от граблей, совершенно спокойно, будто у себя дома, разгуливали птички. Я решила, что обязательно присоединюсь к ним, но так, чтобы их не спугнуть.

Моя спальня была обита белым кашемиром, разбитым на клетки шелковыми голубыми шнурами. Мебель и занавески были тоже бело-голубыми. В маленькой гостиной, отделанной в том же стиле, стояло великолепное фортепиано Эрара[2], и я тут же попробовала клавиши, чтобы услышать их мягкое звучание. Напротив пианино я увидела книжный шкаф из розового дерева, полный тех чистых книг целомудренных поэтов, которые можно безбоязненно читать всякой девушке. На нижних полках расположились ноты великих композиторов: Бах стоял рядом с Гайдном, Моцарт соседствовал с Бетховеном — как Рафаэль с Микеланджело, Мейербер[3] опирался на Вебера[4]. Моя мать собрала там все, что я любила, все, чем восхищалась. Изящная, полная цве-

тов жардиньерка в центре гостиной словно огромный букет наполняла ее нежным ароматом. Со мной обращались как с избалованным ребенком. Я была единственной дочерью, и вся родительская любовь доставалась мне.

Через два-три месяца, когда подойдут к концу дачная и курортная жизнь, путешествия, лечение на водах, охота, скачки, отдых в гостеприимных замках — в общем, все, что придумывает общество, чтобы занять себя на то время, которое приличным людям не подобает проводить в Париже, мне предстояло первый раз выйти в свет. В том году моих родителей удерживали в городе какие-то дела, и я была рада остаться с ними, а не тосковать в унылом замке в бретонской глуши, куда меня каждое лето отправляли на каникулы. Кроме того, я надеялась встретить Вас или услышать что-то от общих знакомых. Но до меня дошли сведения, что Вы уже давно уехали в Испанию и вернетесь не раньше, чем через несколько месяцев. Говорили даже, что Вы там попались в сети какой-то мантильи[5]. Меня это ничуть не обеспокоило: при всей моей скромности мне хватало самолюбия, чтобы надеяться на мои золотые локоны и на то, что они одолеют гагатовые андалусские косы. Я узнала также, что Вы пишете для журналов, что Вы латинизировали одно из своих имен и пользуется им как псевдонимом, известным только Вашим близким, и что под маской безупречного джентльмена скрывается незаурядный писатель. С вполне понятным любопытством я искала в подшивках журналов статьи, подписанные тем именем, за которым вы спрятались. Читать — значит общаться с писателем. Разве книга — не исповедь, предназначенная для лучшего друга, не разговор с отсутствующим слушателем? Нельзя воспринимать буквально то, что говорит автор: надо учитывать философские и литературные веяния, модные пристрастия, вынужденные умолчания, стиль искренний или нарочитый, восхищенные подражания — все, что может повлиять на форму произведения. Но тот, кто умеет читать между строк, разглядит за обманчивой видимостью истинную душу, поймет подлинные мысли, и постепенно тайна поэта, которую он не всегда хочет доверять толпе, перестает быть тайной, одна за другой завесы приоткрываются, и ребусы теряют свою загадочность. Чтобы составить себе представление о Вас, я внимательнейшим образом изучала Ваши путевые заметки, философские и критические статьи, рассказы и стихотворные пьесы, редкие, разбросанные во времени, но отмечавшие разные фазы развития Вашего мировоззрения. Понять автора субъективного проще, чем

объективного: первый передает свои чувства, излагает мысли и судит об обществе и его истории в зависимости от собственного идеала; второй представляет все как есть, он пишет образами, картинами, подводит мир к глазам читателя, очень точно рисует, одевает и раскрашивает своих персонажей, вкладывает в их уста слова, которые они должны говорить, но при этом свое мнение оставляет при себе. Таков и Ваш стиль. С первого взгляда Вас можно было бы обвинить в некоторой высокомерной отстраненности, в том, что Вы не видите большой разницы между ящерицей и человеком, между заревом заката и городского пожара; но, приглядевшись, по мимолетным вспышкам, которые Вы тут же гасите, по внезапным отступлениям, которые Вы тут же прерываете, можно угадать глубокую ранимость, сдерживаемую высоким целомудрием, которое не любит выставлять напоказ свои чувства.

Эти литературные суждения совпадали с инстинктивной оценкой моего сердца. Теперь, узнав все, я понимаю, насколько была права. Сентиментальность, слезливость, ханжеское целомудрие, напыщенность вселяли в Вас ужас — кривить душой Вы полагали худшим из преступлений. Именно отсюда следовала крайняя сдержанность в выражении нежных или страстных мыслей. Там, где надо было говорить о святом, Вы предпочитали молчание лжи или преувеличению, пусть даже рискуя в глазах глупцов сойти за человека бесчувственного, жесткого и даже жестокого. Я все поняла и ни на секунду не усомнилась в Вашей доброте и в благородстве Ваших помыслов — Ваше презрение ко всему вульгарному, пошлому, к порокам и разным моральным уродствам говорило само за себя. Благодаря чтению я узнала того, кого видела всего лишь раз, так хорошо, так близко, как если бы мы всю жизнь прожили рядом. Я проникла в самые укромные уголки Вашего сердца, узнала Ваши мотивы, цели, что Вам нравится, а что — нет, что Вас восхищает, а что отвращает, я воссоздала Ваш образ мыслей и по нему судила о характере. Иногда, прочитав что-нибудь, что являлось для меня откровением, я, потрясенная, вставала, садилась за фортепиано и сочиняла нечто вроде комментария к Вашим словам. Я наигрывала мелодию той же окраски и тех же чувств — она продолжала Вашу мысль в громких или печальных звуках. Мне нравилось, что другое искусство служит эхом Вашей идее. Не думайте, что эти связи были лишь плодом моего воображения, что никто другой не уловил бы их. Тогда я верила, что они есть на самом деле, а теперь, когда нахо-

жусь вблизи от вечного источника вдохновения и вижу, как яркими искрами оно нисходит на головы гениев, я это знаю твердо.

Пока я читала те Ваши произведения, которые смогла раздобыть, поскольку в нашем обществе возможности девушки так ограничены, что даже самую простую задачу решить крайне сложно, приближался сезон балов. Верхушки деревьев окрашивались в красновато-коричневые цвета поздней осени, листья один за другим слетали с веток и, несмотря на все старания садовника, укрывали газон и песчаную аллею. Порою я прогуливалась по саду, и какой-нибудь каштан, как мячик, срывался с дерева и падал мне прямо на голову или к ногам. Тогда я невольно вздрагивала и отвлекалась от грез. Нежные, теплолюбивые цветы и кусты перенесли в оранжерею. Обеспокоенные птицы, чуя приближение зимы, ссорились по вечерам в голых ветвях. И вот весь бомонд, вся знать, все богачи потянулись с разных уголков земли в Париж. На Елисейских полях снова появились роскошные кареты с гербами на дверцах. Они медленно подъезжали к Триумфальной арке, дабы насладиться последними лучами солнца. Итальянский театр разместил во всех газетах свои афиши, а также сообщил о предстоящей премьере. Я радовалась при мысли, что всеобщее возвращение заставит и Вас покинуть Испанию и что, устав от горных прогулок, Вы захотите побывать на балах, вечерах и собраниях, где я надеялась наконец Вас встретить.

Однажды я каталась с матерью в карете по Булонскому лесу. Вы быстро промчались мимо верхом на лошади, но я успела узнать Вас. Второй раз в жизни я видела Вас, и, как от удара током, вся кровь прилила к моему сердцу. Чтобы скрыть волнение, я сослалась на то, что замерзла, и прикрыла вуалеткой лицо, а затем молча забилась в угол кареты. Мать подняла стекло и сказала: «Прохладно, туман опускается, давай вернемся домой, если, конечно, ты не хочешь еще покататься». Я кивнула в знак согласия: ведь я уже видела все, что хотела, я поняла, что Вы в Париже.

Раз в неделю в Итальянском театре за нами оставляли ложу. Для меня было настоящим праздником услышать наконец певцов, которых все расхваливали, а я совсем еще не знала. Кроме того, в моем сердце теплилась надежда, о которой нет нужды говорить. Наступил наш день. Давали «Сомнамбулу»[6] с Патти[7] в главной партии. Мама приготовила мне простой, но очаровательный наряд, подходивший моим летам: чехол из белой тафты и тарлатановое платье[8] с голубыми бархатными бантами, украшен-

ными жемчугом. Мои волосы поддерживала обвитая жемчужной нитью бархатная лента, концы которой свисали на шею. Глядя на себя в зеркало, пока горничная вносила последние поправки в свое творение, я спрашивала себя: «Любит ли он голубое? Ведь в "Капризе" Альфреда де Мюссе госпожа Лери утверждает, что это дурацкий цвет»[9]. Однако я понимала, что голубая лента очень идет к моим светлым волосам, и я верю, что если бы вы заметили меня, то не остались бы равнодушны. Клотильда, моя горничная, взбивая складки моей юбки и затягивая корсаж, не удержалась и сказала: «Мадемуазель сегодня чудо как хороша».

Карета подвезла мою мать и меня к перистилю[10] (отец должен был присоединиться к нам позднее), и мы стали медленно подниматься по ступеням большой лестницы, застланным красным ковром. Окутанные благоуханием ветиверии[11] и пачулей[12], дамы в вечерних нарядах, еще скрытых под манто, шубами, бурнусами, шарфами и накидками, которые они сбрасывали на руки лакеев, преодолевали подъем, волоча за собой потоки муара, атласа и бархата. Они шествовали под руку со степенными мужчинами, чьи белые галстуки, черные фраки и орденские планки на отворотах говорили о том, что после спектакля они идут на официальный или дипломатический прием. За ними, улыбаясь и чуть отстав, следовали стройные и изящные, одетые и причесанные по самой последней моде молодые люди.

Конечно, для Вас тут нет ничего нового, и Вы написали бы эту картину лучше меня, но для юной пансионерки, которая первый раз вышла в свет, зрелище было внове. Жизнь всегда одинакова — это театральная пьеса, у которой сменяются лишь зрители, но тому, кто видит спектакль впервые, она очень интересна, как если бы кто-то написал ее специально для него и пригласил на премьеру. Душа моя ликовала, я чувствовала, что хорошо выгляжу, мужчины одобрительно лорнировали меня, а некоторые дамы, окинув беглым взглядом и не найдя недостатков ни во мне, ни в моем наряде, даже обернулись вослед.

Я предчувствовала, что увижу Вас этим вечером. Надежда оживляла мои черты и ярким румянцем окрашивала щеки. Мы устроились в ложе, и все бинокли обратились в мою сторону. Я была новенькой, а в Итальянском театре, похожем на большую гостиную, где все друг друга знают, такое не проходит незамеченным. Видя рядом со мной мою мать, зрители догадывались, кто я такая; по одобрительному шепоту и благосклонным улыбкам я поняла, что меня приняли. Всеобщее внимание немного

смущало меня, к тому же я впервые надела декольте и мои плечи дрожали под полупрозрачным газовым палантином. Увертюру почти не слушали, но наконец занавес поднялся, все повернулись к сцене, и мои мучения закончились. Разумеется, прекрасный, сверкающий позолотой зал, белые кариатиды, люстры и свечи, блеск драгоценностей, цветы восхитили и изумили меня, а музыка Беллини, исполненная первоклассными артистами, увлекла в волшебный мир. Но главным было другое. Пока мои уши слушали сладкие кантилены сицилийского маэстро, глаза украдкой обшаривали ложи, балкон и партер в надежде найти Вас. Вы пришли только в конце первого действия и, когда занавес опустился, обернулись к залу, со скучающим видом рассеянно оглядели ложи, ни разу не достав лорнет. Ваше загорелое после шестимесячного пребывания в Испании лицо было печальным, словно вы сожалели о стране, которую недавно покинули. Пока Вы смотрели в зал, сердце мое бешено колотилось, на один миг мне даже показалось, что Вы заметили меня, — но нет, я ошиблась. Потом Вы встали со своего места и вскоре появились в ложе напротив. Ее занимала красивая и очень нарядная дама, чьи черные волосы блестели, ровно атлас, а бледно-розовое платье почти сливалось с полуобнаженной грудью. Бриллианты сверкали на ее голове, ушах, шее и руках. На бархатном бортике рядом с биноклем лежал букет пармских фиалок и камелий. В глубине ложи в полутени восседал лысый тучный мужчина в летах, на отвороте его фрака виднелась планка какого-то экзотического ордена. Дама обращалась к Вам с явным удовольствием, Вы отвечали ей спокойно и бесстрастно, — казалось, Вам ничуть не льстит ее более чем дружеское расположение. Горечь, которую я испытала оттого, что Вы не заметили меня, была с лихвой возмещена радостью: я всем сердцем чуяла, что Вы не любите эту женщину в бриллиантах, женщину с дерзким взглядом и вызывающей улыбкой.

Спустя несколько минут, когда музыканты начали настраивать инструменты перед вторым действием, Вы попрощались с дамой в бриллиантах и мужчиной с орденом и вернулись на свое место. За весь спектакль Вы больше ни разу не посмотрели в мою сторону, а душа моя в нетерпении рвалась к Вам. Я поражалась, как можно не понимать, что юная девушка в белом платье с голубой отделкой очень хочет, чтобы ее заметил тот, кого выбрало ее сердце. Я так давно мечтала оказаться рядом с Вами! И вот желание мое осуществилось, а Вы даже не подозреваете о моем присутствии! Мне казалось, Вы должны ощутить волну любви, обер-

нуться, медленно обвести взглядом зал, чтобы найти неизвестный источник волнения, остановиться на моей ложе, прижать руку к груди и упасть от восторга. Герой романа поступил бы именно так, но вы не были героем романа.

Мой отец задержался на званом обеде и пришел только в середине второго акта. Он заметил Вас в партере и сказал: «Здесь Ги де Маливер, я и не знал, что он вернулся из Испании. По его милости мы в "Ревю" только и читали, что о боях быков, ведь Ги и сам немного варвар»[13]. Как приятно мне было услышать Ваше имя из уст отца! Моя семья знала Вас. Значит, сближение возможно, препятствий нет. Эта мысль немного утешила меня, несмотря на неудачу. Представление закончилось, больше ничего не случилось, если не считать того, что Патти устроили овацию, вызывали много раз и завалили цветами. Мы ждали у вестибюля, пока лакей не сообщит, что карета подана. Вы прошли мимо и достали сигару из манильского портсигара. Вам так хотелось курить, что Вы ничего вокруг себя не замечали, даже красавиц, выстроившихся, как напоказ, на нижних ступенях лестницы. Вы проскользнули сквозь скопление тканей, ничуть не заботясь о том, чтобы чего-нибудь не помять, и вскоре добрались до выхода, а Ваш друг шел следом по проложенному вами проходу.

Я возвратилась домой счастливая и раздосадованная одновременно, и, попробовав спеть несколько мелодий из «Сомнамбулы», чтобы как-то продлить ощущение этого вечера, легла спать, думая о Вас...

Глава IX

Порой по прошествии времени воспоминания вытесняют живой образ, ибо воображение подобно художнику, который, не имея перед глазами натуры, продолжает дописывать портрет: сглаживает шероховатости, меняет оттенки, затушевывает контуры и невольно приближает изображение к своему идеалу. Я не видела Вас более трех лет, однако в мое сердце врезалась каждая Ваша черточка. Вот только Вы изменились и сделались непохожи на себя прежнего больше, чем созданный мною портрет. Выражение Вашего лица стало решительнее, черты заострились, а южное солнце придало коже здоровый, теплый оттенок. Теперь в юноше угадывался будущий мужчина, в нем появилась та спокойная уверенность и сила, которая для женщин нередко важнее,

чем красота. Но подобно тому, как рядом с портретом человека взрослого мы храним его детскую миниатюру, я сберегла в глубине души мой первый набросок — легкий, но неизгладимый — того, кто оказал на меня огромное влияние. Мои мечты Вас ничуть не исказили, и после нашей встречи мне не пришлось лишать Вас ореола сказочного совершенства.

Я размышляла об этом, свернувшись клубочком в постели и не сводя глаз с отблесков ночника на голубых розах обоев. Уснула я только под утро, и сон мой был полон отрывочных грез и смутных мелодий.

Через несколько недель мы получили приглашение на большой бал, который давала герцогиня де С***. Для юной девушки первый бал — целое событие. Для меня же оно было тем более важным, что я надеялась там встретиться с Вами, ведь Вас считали близким другом герцогини. Бал — все равно что сражение, его можно выиграть, а можно и проиграть. Именно там девушка, вышедшая из тени гинекея[1], показывает себя во всем своем блеске. На краткий миг обычай под предлогом танцев предоставляет ей относительную свободу, бал для нее — это фойе Оперы, где домино снимают с себя маски. Кадриль и мазурка позволяют взять партнера за руку, а во время фигур контрданса можно сказать ему несколько слов, однако очень часто в маленьком блокноте, куда она вписывает имена тех, кто ее пригласил, нет одного-единственного, но самого желанного имени.

Надо было приготовить наряд. Бальное платье — настоящая поэма, но особенно трудно придумать платье для юной девушки. Оно должно быть простым, но дорогим, а одно исключает другое; легкое и, как поется в романсах, кипенно-белое платье было бы неуместным. После долгих колебаний я остановила свой выбор на платье с пышной юбкой из шитого серебром газа с мелкими букетиками незабудок. Их голубой цвет прекрасно сочетался с бирюзовым гарнитуром, который отец выбрал для меня у Жаниссе[2]. Заколки с цветочками из бирюзы, в точности повторяющими рисунок на платье, должны были украсить мою прическу. Я решила, что при таком оружии вполне могу показаться в обществе знаменитых красавиц, разодетых в великолепные наряды. Честное слово, для обыкновенной земной девушки я выглядела неплохо.

Герцогиня де С*** жила в одном из просторных особняков Сен-Жерменского предместья, построенных с размахом прошлого

века. В наши дни их удается заполнить с большим трудом, нужна целая толпа гостей и роскошное празднество, чтобы вдохнуть в них жизнь. Глядя на особняк с улицы, нельзя было догадаться о его истинных размерах. Высокая стена, зажатая между двумя домами, обрамляла монументальные въездные ворота. Аттик[3] украшала мраморная табличка с золотыми буквами: «Особняк де С***». Вот и все, что было доступно взглядам посторонних. Длинная аллея столетних по-зимнему голых лип, подстриженных по старинной французской моде в виде аркады, вела в просторный двор, в глубине которого возвышалось здание в стиле Людовика Четырнадцатого с высокими окнами, пилястрами и крышей Мансара[4], — дворец, напоминавший Версаль. Бело-розовый тиковый навес на резных деревянных опорах защищал ступени подъезда, застланные красным ковром. У меня было время, чтобы рассмотреть все эти детали при свете разноцветных фонариков, развешанных на пирамидальных подставках, потому что гости, несмотря на их избранность, стекались в таком количестве, что пришлось стать в очередь, как на приеме у короля. Наконец наша карета добралась до подъезда, мы сбросили шубы на руки нашему выездному лакею. Перед входом высился самый настоящий швейцарец, исполинского роста, который растворял и затворял стеклянные двери. В вестибюле в два ряда выстроились напудренные до белизны лакеи в парадных ливреях, все как на подбор рослые, неподвижные и торжественно-серьезные, — в общем, не слуги, а кариатиды. Казалось, они почитают за честь служить в таком доме. Вся лестница, на которой легко разместился бы современный палаццино[5], была заставлена огромными камелиями. На каждой площадке находилось большое зеркало, позволявшее женщинам по дороге наверх привести в порядок бальные платья, которые всегда немного мнутся в каретах даже под самыми легкими манто, а в ярком свете люстры, висевшей на золотом тросе, любая мелочь сразу же бросалась в глаза. На потолке в форме купола посреди лазури и облаков красовалась мифологическая аллегория в современном вкусе кисти одного из учеников Лебрена[6] или Миньяра[7].

В узких простенках между окнами висели строгие по стилю пейзажи в коричневатых тонах кисти Пуссена или по меньшей мере Гаспара Дюге[8]. Так сказал, вставив в глаз монокль, чтобы лучше их рассмотреть, один знаменитый художник, который вместе с нами поднимался наверх. Там, где чудесные кованые перила делали повороты, на консолях стояли мраморные скульп-

туры Лепотра[9] и Теодона[10]. Радостный свет канделябров, которые держали в руках мраморные изваяния, создавал атмосферу праздника уже на лестнице.

В передней у старинной дубовой двери, на которой висели гобелены с Королевской мануфактуры, вытканные по картонам Удри[11], стоял одетый в черное распорядитель с серебряной цепью на шее. Голосом более или менее зычным, в зависимости от значимости титула, он объявлял имена прибывавших гостей так, чтобы было слышно в первой гостиной.

Герцог, высокий и худощавый, вытянутый, словно породистая борзая, выглядел весьма благородно и, несмотря на преклонный возраст, сохранял былую стать. Даже на улице никто не усомнился бы в его знатности. Он приветствовал гостей в нескольких шагах от входа — кого любезным словом, кого рукопожатием, кого поклоном или кивком, а кого улыбкой, безошибочно угадывая, какой прием следует оказать каждому, причем делал это с таким безукоризненным тактом, что все оставались довольны и чувствовали себя особо обласканными. Он дружески и в то же время почтительно поздоровался с моей матерью. Меня он видел впервые и потому произнес в мою честь галантный и в то же время отеческий мадригал в старомодном стиле.

Герцогиня держалась ближе к камину. Нисколько не заботясь о производимом впечатлении, она сильно нарумянилась и надела парик. На ее худосочной, отважно декольтированной груди были выставлены старинные бриллианты. Казалось, некий дух пожирает эту женщину изнутри, под ее тяжелыми коричневатыми веками сверкал удивительный огонь. Герцогиня была одета в темно-гранатовое бархатное платье с пышными кружевами англетер[12] и бриллиантовым багетом[13] на корсаже. Разговаривая с теми, кто подходил выразить ей свое почтение, она время от времени рассеянно и в то же время величественно взмахивала большим веером, расписанным Ватто. Она обменялась несколькими фразами с моей матерью, которая представила меня. Я поклонилась, и герцогиня коснулась моего лба холодными губами со словами: «Ступайте, дитя, и не пропустите ни одного контрданса».

Когда эта церемония закончилась, мы прошли в соседнюю гостиную. На ее затянутых красным дамасским шелком стенах в великолепных старинных рамах выделялись фамильные портреты. Их выставили на всеобщее обозрение не из тщеславия, а потому что каждый из них был шедевром. Здесь висели работы Клуэ, Порбуса, Ван Дейка, Филиппа де Шампаня, Ларжильера[14],

и каждая из них могла бы стать гордостью хорошего музея. Мне нравилось, что на роскоши этого дома лежала печать времени. Картины, золото, дамасский шелк, парча не обветшали, но уже потускнели и не раздражали глаз кричащим блеском новизны. Чувствовалось, что богатство поселилось здесь очень давно, что так здесь было всегда.

Из этой гостиной гости попадали в огромную танцевальную залу, какие можно увидеть только во дворцах. Между окнами стояли бесчисленные жирандоли и канделябры, в которых горела, наверное, целая тысяча свечей. В их зареве лазурные потолочные росписи, где гирляндами переплетались нимфы и амуры, казалось, обволакивала розовая дымка. Помещение было столь просторным, что, несмотря на такое количество огней, духота в нем не чувствовалась и дышалось легко. Оркестр находился в глубине зала на подмостках, окруженных целым лесом экзотических растений. На бархатных банкетках, расположенных амфитеатром, разместились женщины, ослепляющие если не своей красотой, то великолепием нарядов. Хотя, надо признать, я сразу заметила и несколько очень хорошеньких девушек. Картина была чудная. Мы вошли как раз в перерыве между танцами. Усевшись рядом с матерью на краешек свободной банкетки, я с головой окунулась в новое для меня зрелище. Мужчины постарше уже не позволяли себе танцевать, зато молодые участники бала, проводив на место своих дам, прогуливались по центру залы и лорнировали направо и налево, устраивая своего рода смотр женщин, чтобы выбрать новую партнершу. Среди них попадались и атташе посольств, и секретари миссий, и ожидающие места младшие служащие Государственного совета, и еще безбородые будущие статс-секретари, и офицеры, едва понюхавшие пороху, и важные, точно дипломаты, члены Клуба мальчишек[15], и подрастающие наездники, жаждущие побед, и щеголи с тощими бакенбардами в виде рыбьих плавников, и знатные наследники, научившиеся раньше времени кичиться своим именем и состоянием. К этой юной компании примкнули несколько зрелых, с орденами на груди мужей, их лысины блестели в свете люстр, будто отполированная слоновая кость, или же прятались под слишком черным или слишком светлым париком. Они на ходу бросали несколько учтивых слов вдовам — ровесницам их юности, а затем, обернувшись, с равнодушным видом завзятых знатоков вооруженными пенсне глазами изучали выставку женщин. При первых же звуках оркестра они быстро, насколько позволяла подагра, отступили в тихие гостиные, где за

столами, освещенными подсвечниками в зеленых абажурах, играли в бульот[16] и экарте.

Как Вы догадываетесь, я не испытывала недостатка в кавалерах. Юный венгр в костюме магната, сплошь покрытом сутажом и вышивкой, изящно поклонившись, пригласил меня на мазурку. У него были правильные, романтически бледные черты лица, большие, немного диковатые черные глаза и острые, как стрелки, усики. Англичанин лет двадцати двух, похожий на лорда Байрона, только не хромой, атташе одного из северных дворов и еще несколько человек попросили записать их в мой блокнот. Хотя старый учитель танцев в пансионе льстил мне, называя одной из лучших своих учениц, и хвалил за грациозность, гибкость и чувство ритма, колени мои, признаться, дрожали. Я испытывала, как пишут в газетах, вполне понятное для дебютантки волнение. Как всем застенчивым людям, мне казалось, что все взоры обратились на меня одну. К счастью, венгр оказался отменным танцором. Вначале он поддержал меня, но очень скоро, опьяненная музыкой и движением, я воспряла душой, забыла о страхе и с восторгом отдалась вихрю танца; при этом я ни на секунду не забывала о главном и о цели, которая привела меня на бал. Кружась напротив дверей, я высматривала Вас в соседних гостиных и наконец увидела. Вы стояли в дверях и разговаривали с темнолицым длинноносым человеком. Большая черная борода, красная феска, военная форма низама[17] и орден Меджидие[18] — в общем, то был какой-то бей или паша. Когда во время танца я оказалась напротив, Вы все еще оживленно беседовали с этим по-восточному невозмутимым турком и не соизволили даже одним глазком взглянуть на мелькавшие перед вашим носом хорошенькие личики, разгоряченные мазуркой.

Надежда еще не покинула меня — в тот момент я была счастлива уже тем, что Вы пришли. Вечер еще только начинался, счастливый случай мог сблизить нас. Мой кавалер проводил меня на место, и снова мужчины закружили на ограниченной банкетками площадке. Вы с Вашим турком присоединились к их потоку, рассматривая женщин и их наряды так, как будто перед Вами были выставлены картины или статуи. Время от времени Вы делились своими замечаниями с пашой, который дружески и серьезно улыбался в бороду. За всем этим я наблюдала сквозь веер, который, честно сказать, опускала всякий раз, когда Вы подходили ближе. Сердце мое нещадно колотилось, меня бросило в жар, даже плечи мои стали пунцовыми. На этот раз Вы непременно

должны были заметить меня: только сверкающая полоса из газа, кружев и воланов отделяла Вас от банкеток. Но злосчастный случай распорядился по-своему: двое-трое друзей моей матери остановились перед нами с комплиментами, часть которых досталась и мне. Ширма из черных фраков, одинаковых и в дни праздников, и в дни траура, полностью загородила меня. Вам пришлось обойти эту группу, и я снова осталась незамеченной, несмотря на то, что слегка вытянула шею в надежде, что Вы все-таки разглядите меня. Но как Вам было догадаться, что склоненные спины прячут хорошенькую девушку, которая думает только о Вас, да и на бал пришла исключительно ради встречи с Вами?! Благодаря красной шапочке турка, служившей мне ориентиром в этом муравейнике, я не теряла Вас из виду и заметила, как Вы, пройдя через весь зал, покинули его. Вся моя радость угасла, глубокое отчаяние завладело мною. Похоже, насмешница-судьба дразнила меня и забавлялась, препятствуя нашему знакомству. Я станцевала обещанные танцы, а потом, ссылаясь на легкую усталость, отвечала отказом на любые приглашения. Бал утратил все свое очарование, наряды словно поблекли, свет потускнел. Отец, проиграв сотню луидоров одному старому генералу, пригласил нас пройтись по дому и посмотреть оранжерею, о которой ходили самые невероятные слухи. Она и вправду оказалась великолепна. Мы очутились в девственном лесу, среди мощных пальм, банановых, грейпфрутовых деревьев и других тропических растений в теплой, насыщенной экзотическими ароматами атмосфере. В глубине оранжереи беломраморная наяда медленно опорожняла свой кувшин в гигантскую морскую раковину, окруженную мхом и водными растениями. Там я увидела Вас во второй раз. Вы шли под руку с Вашей сестрой и не могли нас увидеть, так как мы следовали позади по узкой песчаной тропинке, которая петляла между кустами и цветами.

Мы сделали еще несколько кругов по гостиным, изрядно обезлюдевшим, так как танцующие, желая подкрепиться, направились к накрытым с изобилием и вкусом столам в галерее из эбенового дерева, украшенной золотом и полотнами Депорта[19], на которых цветы, фрукты и дичь переливались всеми красками, ставшими с годами только ярче. Все эти детали, несмотря на мою рассеянность, запечатлелись в памяти и не стерлись даже здесь, в мире, где жизнь кажется лишь сном. Они неотделимы от тех сильных чувств, что заставили меня вернуться на землю. С какой радостью ехала я на бал! И с какой печалью возвращалась

домой! Чтобы объяснить свою подавленность, я сказала, что у меня разыгралась мигрень. С горестным вздохом я сняла с себя бесполезный наряд, в котором так надеялась Вам понравиться, надела пеньюар и подумала: «Ну почему он не пригласил меня, как венгр, англичанин и прочие джентльмены, до которых мне нет никакого дела? Ведь это было так просто. Что может быть естественнее на балу? Почему все на меня смотрели, а тот, чье внимание необходимо мне, как воздух, так и не взглянул в мою сторону? Да, мне не на что надеяться». Я легла, и с моих ресниц скатились на подушку несколько слезинок...

На этом первый диктант Спириты оборвался. Масло в лампе уже давно иссякло, и она погасла, а Маливер, точно сомнамбула, не нуждающаяся во внешнем источнике света, писал не переставая. Он механически заполнял страницу за страницей, как вдруг импульс, управлявший его рукой, пропал, и к нему вернулось его собственное сознание, вытесненное Спиритой. Первые проблески зари просочились в комнату. Он раздвинул занавески и при бледном свете зимнего утра увидел на столе исписанные неровным и быстрым почерком листы — плод прошедшей ночи. Он не знал, о чем там говорится, хотя написал все своею рукой. Нет необходимости толковать о том, с каким жгучим любопытством, с каким глубоким волнением он прочитал наивные и чистые признания этой чудной, возлюбленной души, чьим палачом, сам того не ведая, он стал. Запоздалое признание в любви, излитое вздохами тени, повергло его в отчаяние и бессильную ярость. Как мог он быть таким бездумным и слепым, как мог, не заметив, пройти мимо своего счастья? В конце концов он смирился и, подняв глаза к венецианскому зеркалу, увидел улыбающийся лик Спириты.

Глава X

Да, странно это — узнать задним числом о счастье, которое было так близко, и понять, что никто, кроме вас, не виноват в том, что вы не заметили его и упустили. И как ни горьки сожаления, ошибку не исправить: мы хотим вернуть прошлое, представляем, как надо было поступить в том или ином случае, наделяем себя потрясающей прозорливостью, но жизнь не перевернешь, как песочные часы. Упавшая песчинка не поднимется вверх. Напрасно Ги де Маливер упрекал себя за то, что не разглядел дивное создание, которое никто не прятал в гаремах Константинополя, не скрывал за решетками итальянского или испанского монастыря, и

не охранял, как ревнивый опекун Розину[1]. Нет, его мечта была рядом, в его мире, он мог любоваться ею каждый день, между ними не было ни одного серьезного препятствия. Она любила его, он мог попросить ее руки и уже на земле насладиться высшим и редким блаженством от союза с душой, созданной для него. По тому, с какой силой он любил тень, он понимал, какую страсть внушила бы ему живая женщина. Но вскоре его мысли потекли по другому руслу. Он перестал винить себя за прошлое, упрекнув за бессмысленные переживания. Что он потерял? Разве Спирита, уйдя в мир иной, перестала его любить? Разве она не вырвалась из глубин бесконечности, не спустилась к нему в его земную обитель? Разве его чувства к неземной красавице, которую смерть превратила в идеал, не были более возвышенны, поэтичны, воздушны, близки к любви вечной и свободны от земных условностей? Разве даже самый совершенный земной союз не знает скуки, пресыщения, печали? Ослепленные любовью глаза по прошествии лет видят, как обожаемые прелести постепенно начинают увядать, как прекрасную душу обволакивает дряхлеющая плоть, и в изумлении ищут своего пропавшего кумира.

В этих раздумьях и в повседневных обязанностях, которые предъявляют свои требования даже самым восторженным мечтателям, Маливер провел весь день, пока не наступил долгожданный вечер. Когда он запер ся в своем кабинете и, как накануне, сел за стол, вновь явилась маленькая белая и хрупкая кисть в голубых прожилках и подала знак, чтобы он взялся за перо. Маливер послушался, и его пальцы задвигались сами собой, тогда как мозг молчал. Место его мыслей заняли мысли Спириты.

История, продиктованная Спиритой

...Мне не хотелось бы наскучить Вам, так сказать, задним числом подробной повестью обо всех моих разочарованиях. Правда, один раз мне показалось, что хитрая судьба, которая будто нарочно держала меня подальше от Ваших глаз, перестала насмехаться надо мною. Как-то нас позвали на субботний обед к господину де Л***. Меня это не радовало, но я узнала от барона Ферое, который изредка наведывался в наш дом, что Вы тоже приглашены на эту полусветскую-полулитературную вечеринку. Господин де Л*** — человек со вкусом, знаток литературы и живописи, обладатель изысканного собрания книг и картин — любил принимать художников и писателей. Вы тоже ходили к нему, как и многие другие нынешние и будущие знаменитости. Господин де Л*** хвастал, что умеет распознавать таланты, и не принадлежал к числу тех, кто уважает исключительно устоявшиеся авторитеты. И вот

я по-детски восторженно повторяла про себя: «Наконец-то этот беглец, этот неуловимый призрак попадется в мои сети: на сей раз он от меня не ускользнет, я окажусь за одним столом, может статься, бок о бок с ним, и в свете пятидесяти свечей, пусть он даже самый рассеянный мужчина на свете, он не сможет меня не заметить... если, конечно, между нами не поставят корзину с цветами или плато».

Дни, отделявшие меня от этой благословенной субботы, казались мне бесконечно длинными, почти как уроки в пансионе. Но наконец они миновали, и мы втроем — отец, мать и я — приехали к господину де Л*** почти за полчаса до начала трапезы. Гости разбрелись по гостиным, они собирались группами, переговаривались, прохаживались, разглядывали картины, листали журналы, делились театральными впечатлениями с женщинами, сидевшими на диване рядом с хозяйкой дома. Среди них было два-три знаменитых писателя, которых показал мне отец. На мой взгляд, их лица никак не соответствовали характеру их сочинений. Ждали только Вас, и господин де Л*** уже начал сетовать на Вашу непунктуальность, как вдруг высокий лакей внес серебряный поднос с карандашом, которым следовало расписаться и проставить время получения телеграммы из Шантийи[2]. В ней было всего нескольких слов в телеграфном стиле: «Опоздал на поезд. Не ждите. Сожалею».

То был жестокий удар. Всю неделю я лелеяла надежду на встречу с Вами, и вот она умерла в тот самый миг, когда должна была исполниться. С огромным трудом я скрывала охватившую меня печаль, румянец, которым волнение окрасило мои щеки, потускнел. К счастью, двери столовой распахнулись, и метрдотель возгласил: «Кушать подано!» Гости задвигались, и никто не обратил на меня внимания. Когда все расселись, справа от меня оказалось свободное место, оно было Вашим. Дабы развеять все мои сомнения, на украшенной тонкими разноцветными арабесками карточке, стоявшей рядом с пустыми бокалами, красивыми буквами было начертано Ваше имя. Судьба опять сыграла со мной злую шутку. Не случись этого опоздания, я могла бы провести весь вечер рядом с Вами, Вы касались бы моего платья, Ваша рука, может статься, дотронулась бы до моей, ведь Вам пришлось бы оказывать мне знаки внимания, которые этикет предписывает даже самым непредупредительным мужчинам. Сначала, как во всяком разговоре, мы обменялись бы несколькими общими фразами, потом лед был бы сломан, и Вы не замедлили бы угадать, что творит-

ся в моем сердце. Может, я Вам понравилась бы и, хотя Вы приехали из Испании, простили бы мне белизну кожи и бледное золото волос. Приди Вы на тот обед, и Ваша, и моя судьба, несомненно, изменили бы свое направление. Мы стали бы мужем и женой, я не ушла бы из жизни, и мой дух не тревожил бы Вас признаниями из могилы. Любовь, которой Вы прониклись к моей тени, позволяет мне, без ложной самонадеянности, верить, что Вы не остались бы равнодушны к моим земным прелестям. Но нет, нам была уготована другая участь. Пустое кресло, отделявшее меня от других гостей, показалось мне символом моего будущего: оно предвещало напрасное ожидание и одиночество в толпе. И это мрачное предзнаменование сбылось в полной мере. Слева от меня сидел, как я потом узнала, один академик. Он несколько раз пытался заговорить со мной, но я отвечала так односложно и так невпопад, что отвергнутый собеседник принял меня за дурочку, махнул рукой и обратился к другой своей соседке.

Такая тяжесть лежала у меня на сердце, что я едва прикоснулась к еде. Наконец обед закончился, все перешли в гостиную, там и тут завязались дружеские беседы. Рядом со мною расположилась группа гостей. Я услышала, как д'Аверсак произнес Ваше имя, и вся обратилась в слух. «Черт возьми, этот Маливер так увлекся своим пашой! С другой стороны, паша тоже без ума от Маливера, они неразлучны. Мухаммад, Мустафа, бог знает, как его зовут, хочет увезти его с собой в Египет. Он обещает предоставить в его распоряжение пароход, чтобы подняться к последним нильским порогам[3], но Ги настолько же варвар, насколько цивилизован его турок, и потому предпочитает путешествовать на нильской барке — она, дескать, кажется ему более колоритной. В общем, идея пришлась Маливеру по душе, он считает, что в Париже слишком холодно, и намерен провести в Каире всю зиму, чтобы продолжить там изыскания в области арабской архитектуры, которые он начал в Альгамбре. Но если он туда поедет, боюсь, мы никогда его уже не увидим. Как бы он не принял ислам, подобно Гасану, герою "Намуны"»[4].

«Маливер вполне на это способен, — добавил присоединившийся к группе молодой человек. — Он всегда недолюбливал западную цивилизацию».

«Ба! — подхватил другой. — Поносит местные одежды, десяток раз попарится в бане, купит у джеллабов[5] парочку невольниц, коих потом продаст с убытком, вскарабкается на пирамиды, сделает

зарисовки с курносого профиля сфинкса и вернется на асфальт Итальянского бульвара. Ведь, в конце концов, это единственное на земле место, где стоит жить».

Этот разговор поверг меня в смятение. Вы уезжаете! Надолго? Кто знает? Увидимся ли мы до Вашего отъезда, оставлю ли я след в Вашей памяти? После стольких неудач я уже не осмеливалась верить в такое счастье.

Вернувшись домой, я сначала успокоила мать — она заметила мою бледность и решила, что я больна, ибо не подозревала, что творится в моей душе, — а потом всерьез задумалась над своим положением. Почему обстоятельства столь упорно противятся нашей встрече? Может, таково веление судьбы и следует ему повиноваться? Может, Вы погубите меня и мне не надо попадаться Вам на глаза? Голос моего рассудка звучал одиноко, потому что сердце с ним не соглашалось: оно хотело пройти стезю до конца и испытать все превратности на пути к своей любви. Я чувствовала, что нерасторжимо связана с Вами, и эта хрупкая с виду связь была крепче железных цепей, хотя Вы о ней даже не догадывались. «Столь плачевна женская доля! — думала я. — Во имя чести женщина приговорена к ожиданию, бездействию, молчанию, она не имеет права выказать своих желаний. Она может принимать любовь, которую внушает, но никогда не должна проявлять своих чувств! Едва пробудилась моя душа, как ею всецело завладела одна, чистая, нераздельная и вечная страсть, а тот, кто вызвал ее, возможно, так и не узнает о ней! Как дать ему понять, что юная девушка, которую, он, конечно, полюбил бы, если бы догадывался о ее тайне, живет и дышит для него одного?»

Внезапно меня захватила мысль написать Вам одно из тех писем, что, как говорят, получают писатели. В них под покровом восхищения угадываются чувства другого рода; девушки предлагают встретиться в театре или на прогулке — там, где ни у кого не может возникнуть никаких подозрений. Женская деликатность не позволила мне прибегнуть к подобному средству, я боялась, что Вы сочтете меня синим чулком, который хочет, воспользовавшись вашей протекцией, опубликовать свой роман в «Обозрении Старого и Нового Света».

Д'Аверсак сказал правду. На следующей неделе Вы вместе с пашой уехали в Каир. Ваш отъезд, который отодвинул все мои надежды на неопределенный срок, поверг меня в тоску, которую я скрывала с большим трудом. Я утратила интерес к жизни. Мне

стало безразлично, как я выгляжу, выходя в свет, заботу о моих нарядах я поручала горничной. Зачем быть красивой, когда Вас нет! Однако я по-прежнему привлекала мужское внимание и была, точно Пенелопа, окружена толпой женихов[6]. Мало-помалу наша гостиная, в которой раньше бывали лишь степенные друзья моего отца, заполнилась молодыми людьми, не пропускавшими ни одной пятницы. В дверных проемах с меланхоличным видом стояли тщательно завитые щеголи, чьи галстучные узлы стоили им глубоких раздумий, и украдкой посылали мне страстные и чарующие взгляды. Другие искатели моей руки, исполняя быстрые фигуры контрданса, выразительно вздыхали, а я, нимало не растрогавшись, приписывала их вздохи тому, что они запыхались от танца. Самые смелые позволяли себе несколько нравоучительных и высокопарных фраз о блаженстве союза двух любящих сердец и заявляли, что созданы для законного брака. Как же все они были ухожены, совершенны, безупречны, деликатны! Их волосы пахли духами от Убигана[7], а фраки были пошиты самим Ренаром. Чего еще было желать требовательному и романтичному воображению? И все эти красивые молодые люди просто поражались тому, что не производят на меня никакого впечатления. Думаю, с досады некоторые из них заподозрили меня в излишней поэтичности. Другие всерьез решили жениться на мне. Несколько раз у родителей просили моей руки, но я всякий раз находила блестящие доводы для отказа. Моя семья не настаивала: я была еще так молода, что торопиться не стоило, ведь поспешное решение могло привести к раскаянию. Мать решила, что втайне я уже сделала свой выбор, и стала расспрашивать меня. Я готова была открыться ей, но непреодолимая стыдливость удержала меня. Моя безответная любовь, о которой Вы не знали, казалась мне тайной, не подлежащей разглашению без Вашего на то согласия. Она принадлежала мне лишь наполовину, другая половина была Вашей, и потому я хранила молчание. Да и как признаться даже самой снисходительной из матерей в любви, которую всякий мог счесть безумной, в любви, рожденной из детского впечатления в приемной пансиона и упрямо хранимой в глубине души, в любви, ничем не оправданной с житейской точки зрения? В моем выборе не было ничего порочного, ничего невозможного, и, если бы я заговорила, моя мать, несомненно, постаралась бы нас соединить с помощью уловок, в которых даже самые порядочные и добродетельные женщины знают толк; она нашла бы способ заставить Вас объяс-

ниться. Но этот способ шел вразрез с моими чистыми представлениями о порядочности. Вы должны были сами заметить меня и сами все понять. Только при таком условии я могла бы быть счастлива и простила бы себе то, что первая полюбила Вас. Мое девичье целомудрие нуждалось в таком утешении и таком оправдании. Не гордыня, не кокетство руководили мною, а исключительно чувство собственного достоинства.

Время шло, Вы вернулись из Египта, и все заговорили о Ваших ухаживаниях за госпожой д'Эмберкур, о том, что Вы якобы влюблены в нее. Сердце мое встревожилось, я захотела увидеть соперницу. Мне показали ее в ложе Итальянского театра. Я пыталась оценить графиню беспристрастно и нашла ее красивой, но лишенной очарования и утонченности и даже похожей на копию классической статуи, сделанную посредственным скульптором. Она соединяла в себе все, что составляет идеал глупцов. Меня поразило то, что Вам мог понравиться этот идол. Лицу госпожи д'Эмберкур, очень правильному на первый взгляд, недоставало индивидуальности, своеобразия, неповторимого шарма. Такой она показалась мне в тот вечер, такой она, очевидно, была всегда. Несмотря на разговоры, мне хватило самолюбия, чтобы не ревновать к этой женщине. Однако слухи становились все настойчивее. Поскольку плохие новости всегда достигают ушей тех, кого они интересуют, я знала обо всем, что происходит между Вами и госпожой д'Эмберкур. Один утверждал, что помолвка уже состоялась, другой даже называл точную дату Вашей свадьбы. Я не имела никакой возможности проверить правдивость этих слухов. Все считали этот брак делом решенным и удачным во всех отношениях, и мне не оставалось ничего другого как верить. Но мой внутренний голос твердил, что Вы не любите госпожу д'Эмберкур. Правда, многие браки заключаются без любви, а только ради того, чтобы обзавестись домом, упрочить свое положение в обществе, а также из потребности в покое, которую многие испытывают после бурной молодости. Глубокое отчаяние овладело мной. Жизнь кончилась, чистая мечта, которую я так долго лелеяла, умерла. Я не могла даже думать о Вас, потому что теперь Вы перед Богом и людьми принадлежали другой, и мое доселе невинное желание становилось греховным, хотя в моей страсти никогда не было ничего, что могло бы заставить краснеть моего ангела-хранителя. Однажды я встретила Вас в Булонском лесу. Вы ехали верхом рядом с коляской госпожи д'Эмберкур, но я забилась в

угол кареты, стараясь спрятаться от Вас, так же как раньше стремилась попасться Вам на глаза. Эта короткая встреча была последней.

Мне едва исполнилось семнадцать. Что станется со мной? Как закончить жизнь, разбитую в самом начале? Выбрать одну из партий, на которую мои мудрые родители дадут согласие? Именно так поступают многие девушки, силой обстоятельств разлученные со своим идеалом. Но верность Вам не позволяла мне пойти на такой компромисс. Я считала, что раз моя первая и единственная любовь принадлежит Вам, то в этом мире я могу стать только Вашей — всякий другой союз казался мне своего рода изменой. В моем сердце была лишь одна страница, Вы, сами того не желая, написали на ней свое имя, никто другой не имел права его перечеркнуть. Ваша женитьба не избавляла меня от верности. Вы были свободны, потому что ничего о моей любви не знали, а я была связана. Мысль о том, чтобы стать женой другого, внушала мне непреодолимый ужас, и, отказав нескольким женихам, я, понимая, как трудно жить старой девой, решила оставить мир и посвятить себя религии. Только Бог мог укрыть мою боль и, возможно, утешить меня.

Глава XI

Несмотря на родительские упреки и мольбы, которые меня расстроили, но не обескуражили, я поступила послушницей в монастырь Сестер Милосердия. Сколь ни твердо принятое решение, момент последнего расставания всегда ужасен. Решетка в конце длинного коридора обозначает границу между жизнью мирской и затворнической. До этого порога, непреодолимого для всякого непосвященного, семья может проводить деву, посвящающую себя Господу. Вслед за последними поцелуями на глазах у бесстрастных и хмурых монахинь дверь приоткрывается ровно настолько, чтобы послушница, которую как будто тянут во тьму, могла проскользнуть внутрь, после чего затворяется с металлическим лязгом, что глухим раскатом грома разносится в тишине здания. Даже звук захлопывающейся крышки гроба не отзывается в сердце такой скорбью и болью. Я почувствовала, как кровь отхлынула от моего лица и зловещий холод объял меня. Я сделала первый шаг за пределы земной жизни, отныне для меня закрытой. Там,

куда я проникла, страсти утихают, воспоминания стираются, молва не слышна. Там нет ничего, кроме Бога. Мысли о Нем достаточно, чтобы заполнить пугающую пустоту и царящее вокруг гробовое безмолвие. Я говорю теперь только потому, что мертва.

Моя тихая и последовательная набожность не достигала мистической экзальтации. Не глас свыше, а вполне земная причина заставила меня искать убежища под сенью монастыря. Я потерпела душевное крушение, разбившись о невидимый риф, моя скрытая ото всех драма увенчалась трагической развязкой. Поначалу я испытывала то, что в благочестивой жизни называется жаждой, стремлением, тягой к миру. Смутное отчаяние овладело мною, мирские воззрения делали последние попытки вырвать ускользающую добычу из ее добровольного заточения, но вскоре смятение мое улеглось. Привычка к молитвам и религиозным обрядам, регулярные службы и строгий устав, направленный на обуздание ума и тела, обратили к небесам мысли, которые еще слишком хорошо помнили землю. Ваш образ по-прежнему жил в моем сердце, но я научилась любить Вас только в Господе.

Монастырь Сестер Милосердия не похож на романтическую обитель, которая, как думают люди светские, дает приют любовным разочарованиям. Здесь нет ни стрельчатых арок, ни колонн, увитых плющом, ни лучей ночного светила, проникающих сквозь лепестки разбитой розетки и освещающих надпись на могиле, ни часовен с пестрыми витражами, фигурными столбами и ажурными замками сводов, как нельзя лучше подходящих для декораций или диорам. Религиозность, стремящаяся поддержать христианство своей живописной и поэтической стороной, не нашла бы здесь ни одной темы для описаний в духе Шатобриана[1]. Здание построено недавно, в нем не найдешь ни одного темного уголка, который дал бы приют легенде. Ничто не радует глаз: нет ни орнаментов, ни художественной фантазии, ни живописи, ни скульптуры, повсюду только строгие и прямые линии. Белый свет, похожий на тусклый зимний день, заливает длинные коридоры с симметричными дверями келий и наводит глянец на гладкие полы. Везде царствует мрачная суровость, не помышляющая о красоте и о том, чтобы придать мысли форму. Эта унылая архитектура хороша тем, что не отвлекает погруженные в веру души. Высоко под потолком сквозь окна с частыми железными решетками виднеются только кусочки серого или голубого неба. Ты чувствуешь себя как в крепости, возведенной для защиты от мирских козней. Для этого достаточно толстых стен. Красота была бы лишней.

Даже прихожан пускают только на одну половину монастырской часовни. Огромная от пола до свода решетка, закрытая тяжелым зеленым занавесом, словно опускные ворота в укрепленном замке, отделяет церковь от рядов, отведенных монахиням. Строгие резные кресла из дерева, отполированные временем, тянутся с двух сторон от решетки. В глубине, ближе к середине, стоят три кресла для настоятельницы и двух ее помощниц. Сюда на службу приходят сестры с закрытыми покрывалами лицами в длинных черных одеяниях с широкой белой полосой, напоминающей крест без перекладины, какой изображают на погребальном саване. Сидя на скамье для послушниц, я сквозь заграждение видела, как они кланяются настоятельнице и алтарю, опускаются на колени, простираются ниц, а затем рассаживаются по местам и начинают молиться. При подношении даров занавес частично приоткрывается и позволяет увидеть пастора, отправляющего мессу у алтаря, напротив хоров. Монашеское рвение передавалось и мне, а вместе с ним крепло мое решение порвать с миром, в который я еще могла вернуться. В атмосфере, пропитанной запахом ладана и всеобщим воодушевлением, в мареве свечей, отбрасывавших бледные лучи на лица молящихся, душа моя обретала крылья и устремлялась к небесам. Свод часовни наполнялся золотом и лазурью, мне казалось, я вижу, как в небесной дали с края светящегося облака ангелы с улыбкой взирают на меня и знаками зовут к себе, и я уже не замечала ни выкрашенных дешевой краской стен, ни уродливой люстры, ни жалких картин в черных деревянных рамах.

Приближалось время пострига. Все были со мною вежливы и предупредительны, все старались подбодрить и поддержать загадочно-ласковыми обещаниями несказанного блаженства, которые расточают в монастырях перед юными послушницами, готовыми принести себя в жертву и посвятить Господу всю оставшуюся жизнь. Я не нуждалась в этой поддержке, твердым шагом я шла к алтарю. Вынужденная, как я думала, отказаться от Вас, я не жалела в этом мире ни о чем, кроме нежной любви моих родителей, и моя решимость была непоколебима.

Испытательный срок подошел к концу, наступил торжественный день. Тихий монастырь оживился, возбуждение прорывалось сквозь общую сдержанность и строгие правила дисциплины. Монахини сновали взад и вперед по коридорам, порой забывая о неслышной поступи, рекомендованной уставом, так как постриг —

это большое событие. Новая овечка присоединяется к стаду, овчарня приходит в волнение. Мирское платье, которое в последний раз надевает послушница, вызывает общее любопытство, веселье и изумление. Все боязливо восхищаются атласом, кружевами, жемчугом и украшениями, коим назначено исполнять роль сатанинских соблазнов. В таком виде меня вывели на клирос. Настоятельница и ее помощницы заняли положенные места, монахини, склонив головы, уже молились, сидя на своих высоких стульях. Я произнесла слова обета, который навсегда отделял меня от людей, и, как того требовал обряд, оттолкнула в сторону бархатную подушечку, на которую время от времени преклоняла колени, а затем сорвала с себя ожерелье и браслеты в знак отказа от всяческих украшений, роскоши и тщеславия. Я отреклась от женского кокетства и сделала это безо всякого труда, ибо не имела права нравиться Вам и быть красивой для Вас.

Затем происходит самая мрачная и самая страшная сцена этой религиозной драмы: момент, когда новой сестре обрезают волосы, отныне ненужные и напоминающие о мирской суетности. Это похоже на подготовку приговоренного к смертной казни. Только здесь жертва невинна или по меньшей мере очищена покаянием. Хотя я искренне, от всего сердца, жертвовала всем, что связывало меня с людьми, мертвенная бледность покрыла мое лицо, когда стальные ножницы зазвенели в моих длинных волосах, которые поддерживала монахиня. Золотые локоны густыми клочьями слетали на плиты ризницы, куда меня проводили, и я не отрываясь смотрела, как они дождем падают с моей головы. Я была ошеломлена, тайный ужас объял мою душу. Я нервно вздрагивала от прикосновений холодного металла к шее, словно это были не ножницы, а топор. Зубы мои стучали, я силилась произнести молитву, но слова не шли с языка. Ледяная, предсмертная испарина покрыла мои виски. Взгляд затуманился, мне показалось, что лампа, зажженная у алтаря Богоматери, потускнела. Ноги мои подкосились, и, протянув руки вперед, как бы ища опоры в пустоте, я упала, успев только прошептать: «Умираю».

Мне дали понюхать соли, и когда я пришла в себя, то поразилась дневному свету — будто призрак, восставший из могилы. Сестры, привыкшие к подобным обморокам, услужливо и невозмутимо поддерживали меня.

«Успокойтесь, — сочувственно произнесла самая молодая из них. — Ваши мучения позади, обратитесь к Деве Марии, и все бу-

дет хорошо. Со мной было точно так же, когда я принимала обет. Это последний удар лукавого».

Две сестры облачили меня в черное платье ордена и повесили на грудь белую епитрахиль, затем мы вернулись на клирос, и на мою остриженную голову набросили покрывало — символический саван, который делал меня мертвой для всего мирского и видимой только для Бога. Согласно поверью, если попросить Божьей милости из-под складок савана, то она будет дарована. И когда покрывало спрятало меня от посторонних глаз, я обратилась к Господу с просьбой, чтобы он даровал мне возможность открыть Вам мою любовь после смерти, если, конечно, в таком желании нет греха. К моей внезапной и тайной радости мне показалось, что молитва услышана, и я почувствовала огромное облегчение, ибо только в этом состояла боль моей души — нож, вонзенный в сердце, который истязал меня денно и нощно, словно грубая власяница, спрятанная под одеждой. Я отказалась от Вас, но душа не желала смириться с тем, что ей придется вечно хранить свою тайну.

Рассказывать ли Вам о моем пребывании в монастыре? Там дни текут за днями, похожие друг на друга как капли воды. Для каждого часа есть своя молитва, свой обряд, свое послушание; жизнь размеренным шагом движется к вечности, и каждый счастлив тем, что приближается к заветной цели. И, однако, за покоем нередко таятся многие печали, многие слабости и тревоги. Мысли, несмотря на молитвы и медитации, теряются в мечтах. Душу охватывает тоска по миру. Ты сожалеешь о свободе, семье, природе; грезишь о широких просторах, залитых солнечным светом, о цветущих лугах, о лесистых холмах, о голубоватых дымках, поднимающихся вечером над полями, о дороге с экипажами и реке с лодками, о жизни, движении, веселом шуме, о бесконечном разнообразии и обновлении вещей. Хочется ходить, бегать, летать. Ты завидуешь птицам, у которых есть крылья, тебе тесно и душно, точно в гробнице, и ты мысленно преодолеваешь высокие монастырские стены и возвращаешься к любимым местам, к детству и юности, оживающим с волшебной ясностью и подробностями. Ты строишь бессмысленные планы, забывая о том, что неумолимая дверь закрыта навеки. Даже самые набожные души испытывают подобные искушения, их терзают воспоминания, миражи, которые гонит прочь рассудок, а они, несмотря на молитвы, снова и снова приходят в тишине и одиночестве кельи, зажатой четырьмя белыми стенами, единственным украшением которым служит

черное деревянное распятие. В горячке первых дней мысли о Вас как будто отступили, но затем возвращались все чаще и чаще и становились все более нежными. Сожаление об утраченном счастье болезненно сжимало сердце, и часто тихие слезы сами собою текли по моим бледным щекам. Иногда я плакала ночью, во сне, а утром моя жесткая подушка была мокрой от горькой влаги. Но порой меня посещали приятные сновидения: я видела себя у подъезда виллы, мы поднимались вместе с Вами, вернувшись с прогулки, по белой лестнице, покрытой голубоватым кружевом тени от высоких деревьев. Я была Вашей женой, и Вы бросали на меня ласковые, покровительственные взоры. Между нами уже не было никаких препятствий. Душа моя не принимала этой насмешливой лжи, от которой я защищалась, будто от греха. Я каялась в этих грезах на исповеди, я искупала их послушанием. Я молилась по ночам, борясь со сном, чтобы избавить себя от греховных видений, но они не оставляли меня.

Эта борьба подрывала силы, и вскоре здоровье мое пошатнулось. Я никогда не была болезненной, но и крепкой тоже не была. Суровая жизнь с постами, воздержаниями, умерщвлением плоти, утомительными ночными службами, гробовым холодом в церкви, долгая морозная зима, от которой почти не защищало тонкое одеяние, но, более всего, постоянная душевная борьба, переходы от возбуждения к подавленности, от сомнений к горячей вере, страх, что я предам в руки Небесного Супруга душу, полную земной привязанности, и подвергнусь небесному мщению, ибо Господь ревнив и не хочет ни с кем делить ваше сердце, возможно, также и ревность к госпоже д'Эмберкур — все это подействовало на мой организм самым разрушительным образом. Мое лицо приобрело восковой цвет, глаза из-за худобы стали еще больше и лихорадочно блестели между посиневших век, прожилки на висках превратились в темно-голубую сеточку, а губы лишились ярко-розовых красок — на них расцвели фиалки скорой смерти. Руки сделались хилыми, бледными и прозрачными, как у тени. В монастыре к смерти относятся иначе, чем в миру, ее ожидают с радостью: это освобождение души, распахнутая в небеса дверь, конец испытаниям и начало блаженства. Господь забирает первыми самых любимых, он сокращает их пребывание в юдоли скорби и слез. Молитвы, звучащие у ложа умирающей, полны надежды, соборование очищает ее от земной грязи, над ней уже сияет свет жизни иной. У всех сестер смерть вызывает зависть, а не страх.

Я безропотно ждала рокового часа, надеясь, что Бог не оставит меня своею милостью и простит мою единственную любовь, любовь целомудренную, чистую, невольную, любовь, от которой я пыталась избавиться, как только сочла ее грешной. Вскоре силы совсем покинули меня, и однажды, когда я молилась, распростершись ниц, я потеряла сознание и осталась лежать, как мертвая, уткнувшись лицом, спрятанным под покрывалом, в пол. Все с глубоким почтением отнеслись к моей неподвижности, приписав ее религиозному экстазу. Затем, увидев, что я не шевелюсь, две монахини склонились надо мною, потом поставили на ноги, будто неодушевленный предмет, и, подхватив под мышки, отвели или, скорее, оттащили в келью, которую я более не покидала. Долгие дни я лежала, одетая, на постели, перебирая исхудавшими пальцами четки, и гадала, исполнится ли после смерти мое желание. Я угасала на глазах, лекарства, которые мне приносили, уменьшали страдания, но не могли излечить. Впрочем, я не хотела выздоравливать, потому что давно уже лелеяла надежду, связанную с иной жизнью, и ее возможное исполнение наполняло меня своего рода загробным любопытством. Я покинула этот мир тихо и незаметно. Все связи между духом и телом были разорваны, только одна ниточка, в тысячу раз более тонкая, чем паутинки, парящие в воздухе в погожие дни осени, удерживала мою душу, уже готовую расправить крылья в потоке бесконечности. Перед моими потускневшими глазами свет то вспыхивал, то угасал, подобно робкому пламени затухающего ночника. Молитвы, которые сестры читали стоя на коленях у моей постели и к которым я мысленно пыталась присоединиться, доходили до моего сознания как неясное бормотание, смутный и отдаленный шум. Угасающие чувства уже не различали ничего земного, а мысль, покидающая тело, неуверенно витала в странных грезах где-то на границе между миром материальным и миром нематериальным, в то время как мои бледные, цвета слоновой кости, пальцы машинально собирали и разглаживали складки покрывала. Наконец началась агония. Меня уложили на пол, подсунув под голову мешок с золой, чтобы я умерла в этой смиренной позе, подобающей бедной служанке Господа, возвращающей свой прах праху. Мне не хватало воздуха, я задыхалась. Чувство страшной тревоги сдавливало грудь: природа восставала против уничтожения. Но вскоре тщетная борьба завершилась, и со слабым вздохом моя душа отлетела от уст.

Глава XII

Человеческие слова не способны передать ощущения души, которая вырвалась из телесного заточения и перешла из этой жизни в жизнь иную, из времени в вечность, из конечного в бесконечное. Мое неподвижное тело, уже облеченное матовой белизной, ливреей смерти, покоилось на смертном одре, а я была свободна, как бабочка от куколки, от пустой скорлупки, от бесформенной оболочки, которую она покидает, чтобы расправить свои молодые крылышки и подставить их неведомому, внезапно воссиявшему свету. На смену краткому мигу глубочайшей тьмы пришло ослепительное сияние, беспредельный простор, полное отсутствие всяких границ и препятствий — и несказанная радость охватила меня. Вспышка новых ощущений позволила мне проникнуть в тайны, непостижимые для земного разума и земных органов чувств. Избавившись от оков плоти, подчиняющейся закону тяготения, я с безудержным восторгом устремилась в бескрайний эфир. Расстояния стерлись, одного желания было достаточно, чтобы оказаться там, где захочешь. Быстрее света я описывала огромные круги в светлой лазури так, будто хотела объять необъятное, и встречала на своем пути рой душ и духов.

Бурлящий свет, блестящий, словно алмазная пыль, образовывал атмосферу; и я вскоре обнаружила, что каждая частица этой переливающейся всеми цветами радуги пыли была душой. В этой атмосфере вырисовывались течения, завихрения, волны, разводы, совсем как на том неосязаемом порошке, что распыляют на деке музыкального инструмента, чтобы изучить звуковые колебания, и это беспрерывное движение усиливало общий блеск и великолепие. Имеющиеся в распоряжении математика числа с миллионами нулей не могут дать даже приблизительного представления о бесконечном множестве душ, излучающих свет, что отличается от света материального, как день отличается от ночи.

Вместе с душами, уже прошедшими жизненные испытания от начала начал разных миров и до наших дней, витали души будущего, души девственные, которые ждали своей очереди, чтобы воплотиться для жизни на какой-нибудь планете какой-нибудь системы. Их было столько, что они могли бы в течение миллиардов лет населять все миры, созданные Господом, до тех пор, пока Ему не наскучат Его творения и Он не уничтожит их, дабы вернуть Себе первоначальную животворную силу. Эти души, непохо-

жие одна на другую по своей сущности и виду, как непохожи друг на друга миры, в которых они обитали, несмотря на их различие, все до единой напоминали о своем божественном эталоне и были созданы по образу своего Творца. Небесная искра служила им монадой[1]. Одни души были белыми, словно бриллианты, другие сверкали, подобно рубинам, изумрудам, сапфирам, топазам и аметистам. Чтобы Вы поняли меня, я использую знакомые Вам слова — названия драгоценностей, этих грязных камней, мутных кристаллов, черных как чернила; самые блестящие из них показались бы пятнами на фоне явившегося мне ярчайшего живого великолепия.

Изредка проносился старший ангел, доставлявший веление Господа куда-то в бесконечность; от взмахов его огромных крыльев по всем вселенным расходились длинные волны. Млечный Путь — поток пылающих светил — струился по небу. Я видела звезды, эти неукротимые и необъятные костры, и их истинную форму и размеры, о которых человеческое воображение не способно составить никакого представления. В промежутках между ними, в далекой головокружительной дали, просматривались новые и новые светила, и нигде не было видно конца, так что мне чудилось, будто я заключена в центр волшебной сферы, усеянной звездами. Белые, желтые, голубые, зеленые, красные — они светили так мощно и ярко, что наше солнце рядом с ними показалось бы черным, но глаза моей души без труда выносили их блеск. Я летала и кружила, вверх и вниз, преодолевая за один миг миллионы лье сквозь лучистые зори, переливающиеся радуги, золотые и серебряные ореолы, алмазные переливы, звездные дожди, сквозь великолепие, блаженство и восторг божественного света. Я слушала музыку сфер, эхо которой достигло ушей Пифагора;[2] таинственные числа — двигатели вселенной — управляли ее ритмом. Гармоничный гул, мощный, подобно раскатам грома, и нежный, словно пение флейты, сопровождал медленное вращение нашего мира вокруг его центрального светила, а я одним взглядом охватывала все планеты, от Меркурия до Нептуна, вместе с их вечными спутниками. Я мгновенно и интуитивно узнавала их небесные имена. Я понимала их структуру, суть, цель, в их чудесной жизни для меня не осталось ни одной тайны. Я читала с листа поэму Господа, написанную буквами светил. Жаль, что мне нельзя открыть Вам хоть несколько ее страниц! Но Вы пока живете в потемках, Ваши глаза ослепнут от их непостижимого сияния.

Несмотря на невыразимую красоту чудесного зрелища, я не забыла землю и бедную, покинутую мною жизнь. Моя любовь торжествовала над смертью, она последовала за мной в могилу и дальше, и — божественная услада, лучезарное блаженство! — я увидела, что Вы никого не любите, что Ваша душа свободна и может стать навеки моей. Теперь я уже точно знала то, что раньше только чувствовала. Мы были предназначены друг для друга. Наши души — это небесная чета; сливаясь воедино, она превращается в ангела, но, чтобы соединиться в вечности, две половинки высшего целого должны при жизни найти, разглядеть под телесной оболочкой одна другую, невзирая на испытания, препятствия и помехи. Я разгадала в Вас родственную душу и устремилась к ней, повинуясь безошибочному инстинкту. Ваше предощущение было смутным, но оно заставляло Вас остерегаться каких-либо связей и привязанностей. Вы чувствовали, что не нашли созданной для Вас души, и, пряча свое страстное сердце под личиной холодности, хранили себя для высокого идеала. Благодаря оказанной мне милости я получила возможность рассказать Вам о моей любви, которую Вы упустили, пока я была жива, и меня не покидала надежда, что я сумею внушить Вам желание последовать за мною туда, где я теперь обитаю. Я ни о чем не жалела. Разве можно сравнить самое большое человеческое счастье с блаженством двух душ, слившихся в вечном поцелуе божественной любви? До сих пор я ограничивалась тем, что мешала обществу увлечь Вас на свою орбиту и навсегда нас разлучить. Брак связывает души на земле и на небе, но Вы не любили госпожу д'Эмберкур. Как дух, я могла читать в Вашем сердце, и с этой стороны мне нечего было бояться. Однако Вы могли устать от того, что поиски идеала ни к чему не приводят, и от скуки, безразличия, отчаяния, из потребности положить всему конец пойти на этот жалкий союз.

Покинув светящиеся сферы, я спускалась к Земле. Я видела, как она вращается подо мною, покрытая облаками и туманами. Я находила Вас безо всякого труда, незримым свидетелем следовала за вами и иногда без Вашего ведома вмешивалась в Вашу жизнь. Своим присутствием, о котором Вы не подозревали, я отгоняла от вас мысли, желания, прихоти — все, что могло сбить Вас с пути. Мало-помалу я освобождала Вашу душу от земных пут. Чтобы уберечь Вас, я наполнила Ваш дом чарами, которые заставляли Вас привязаться к нему. Вы чувствовали, что Вас окру-

жает неосязаемая, немая ласка, и проникались необъяснимым блаженством: Вам казалось, хотя Вы не отдавали себе в том отчета, что Ваше счастье заключено в этих стенах. Мужчина, который после бурной ночи читает у жаркого камина стихи любимого поэта, пока его милая в глубоком алькове предается сладким сновидениям, испытывает внутреннее блаженство, и нет ничего, что заставило бы его покинуть дом. Он добровольно заточает себя, ибо здесь для него сосредоточен весь мир. Я должна была постепенно подготовить Вас к моему появлению и завязать наши тайные отношения: духу очень трудно общаться с непосвященным человеком. Глубокая пропасть разделяет мир земной и мир небесный. Я преодолела ее, но это еще не все — я должна была сделаться видимой для Ваших глаз, пока не способных прозреть духовное сквозь грубую материю.

Госпожа д'Эмберкур, одержимая идеей замужества, поманила Вас и своей настойчивостью нарушила Ваш покой. Заменив Ваши мысли своею волей, я заставила Вас написать этой даме ответ, в котором выразились Ваши сокровенные чувства. Вашему удивлению не было предела, в Вас проснулось ощущение чего-то сверхъестественного, и, поразмыслив как следует, Вы поняли, что некая потусторонняя сила вторглась в Вашу жизнь. Вздох, который я позволила себе, когда Вы, несмотря на предупреждение, решились выйти из дома, был слабым и смутным, точно звук эоловой арфы, но он встревожил Вас и тронул Вашу душу. Вы услышали мою боль. Я тогда не могла дать Вам знать о себе более явным образом, ибо Вы еще не были свободны от оков материи, и потому показалась барону Ферое, последователю Сведенборга, духовидцу, и попросила передать Вам загадочную фразу. Его слова предостерегли Вас от опасности, которой Вы подвергались, и внушили Вам желание откликнуться на зов любви и проникнуть в мир духов. Остальное Вы знаете. Что мне делать: уйти или остаться? И будет ли тень счастливее женщины?..

Тут импульс, заставлявший перо Маливера скользить по бумаге, иссяк, и мысли молодого человека, которые на время заслонила Спирита, вновь овладели его сознанием. Он прочитал написанное и твердо решил до самой смерти любить только эту невинную душу, которая столько страдала из-за него во время ее краткого пребывания на земле. «Но как же мы будем общаться? — думал он. — Может, Спирита увлечет меня туда, где она витает сама, и там будет кружить рядом со мной, видимая только для меня? Ответит ли она, если я заговорю с нею, и как я услышу ее?»

Ги не находил ответа на эти сложные вопросы, и потому, поразмыслив, отложил их и погрузился в долгие мечтания, от которых его оторвал Джек, сообщив о приходе барона Ферое.

Приятели обменялись рукопожатием, и швед с бледно-золотыми усами устроился в кресле.

— Ги, без церемоний прошу вас накормить меня завтраком. — Барон вытянул ноги к каминной решетке. — Я вышел ни свет ни заря, а когда проходил мимо вашего дома, почувствовал непреодолимое желание нанести вам визит, почти такой же ранний, как визит долгового пристава[3].

— Я вам рад, барон, ваша прихоть — просто счастье для меня. — Маливер позвонил Джеку и приказал приготовить завтрак для двоих.

— Можно подумать, Ги, что вы не ложились. — Барон заметил догоревшие свечи и разбросанные по столу листы бумаги. — Вы работали этой ночью. Как скоро мы прочтем ваше творение? Это роман или поэма?

— Скорее, поэма, но не я ее сочинил: я только держал перо, мною водило вдохновение свыше.

— Понимаю, — кивнул барон. — Аполлон диктовал, Гомер записывал: именно так рождаются на свет лучшие стихи.

— Эта поэма, если можно ее так назвать, не в стихах, и мифический бог не имеет к ней никакого отношения.

— Прошу прощения! Я забыл, что вы романтик и что ваше имя должно стоять в словаре Шомпре и в письмах к Эмилии после Аполлона и муз[4].

— Поскольку вы, мой дорогой барон, были для меня своего рода мистагогом и ввели в мир сверхъестественного, то нет причин скрывать, что листки, принятые вами за рукопись, продиктовал мне в течение нескольких последних ночей дух, который интересуется мною и который, похоже, знал вас на земле, потому что он упомянул ваше имя.

— Вам пришлось прибегнуть к письму, потому что между вами и посещающим вас духом еще не установилась прочная связь, — пояснил барон Ферое. — Но очень скоро надобность в таких медленных и грубых средствах общения отпадет. Ваши души научатся проникать одна в другую благодаря мысли и желаниям безо всяких внешних проявлений.

Джек доложил, что завтрак подан. Маливер, потрясенный своим странным приключением, загробной интрижкой, которой позавидовал бы сам Дон-Жуан, едва прикасался к еде. Барон Ферое ел умеренно, подобно Сведенборгу, ибо тот, кто хочет жить в согласии с духами, должен по возможности ограничивать свои физические потребности.

— У вас превосходный чай, — заметил барон. — Зеленые листочки с белыми кончиками, собранные после первых весенних дождей. Китайские мандарины пьют его без сахара, маленькими глоточками, из чашек, покрытых филигранью, дабы не обжечь пальцы. Это напиток мыслителей:

прежде всего он возбуждает интеллект. Такой чай, как ничто другое, легко одолевает человеческое тугодумие и располагает к видению того, что обыкновенный человек узреть не в состоянии. Раз уж вам предстоит отныне жить в сфере нематериальной, я настоятельно рекомендую этот напиток. Но вы не слушаете, мой дорогой Ги, и я понимаю вашу рассеянность. Новое положение наверняка удивляет вас.

— Да, признаюсь, я ошеломлен и все время думаю, не стал ли я жертвой какой-нибудь галлюцинации.

— Гоните прочь подобные мысли, иначе дух навсегда покинет вас. Не стремитесь найти объяснение необъяснимому, полностью подчинитесь силе, которая направляет вас, верьте ей беспрекословно. Малейшее сомнение приведет к разрыву, о котором вы будете вечно сожалеть. Души, не встретившиеся на земле, очень редко получают дозволение соединиться на небесах; воспользуйтесь им, докажите, что достойны такой счастливой участи.

— Верьте, я буду достоин и не заставлю Спириту страдать, хватит, она и так натерпелась из-за меня, пока жила на этом свете, хоть я ни в чем перед нею не виноват. Сейчас меня заботит только то, что в истории, которую она продиктовала, она не назвала своего земного имени.

— Хотите его знать? Так пойдите на кладбище Пер-Лашез, поднимитесь на холм, там рядом с часовней вы увидите надгробие из белого мрамора с большим крестом. Его перекладина украшена мраморным венком из роз с нежными лепестками — это творение известного скульптора. На медальоне внутри венка — коротенькая надпись. Вы узнаете то, что я не имею права вам открыть. Немая могила поговорит с вами вместо меня, хотя, на мой взгляд, это не более чем праздное любопытство. Что значит земное имя, когда речь идет о вечной любви? Но вы еще не совсем освободились от человеческих представлений, это понятно. Прошло еще слишком мало времени с тех пор, как вы ступили за тот круг, в котором замкнута обыденная жизнь.

Барон Ферое откланялся, а Маливер оделся, приказал запрягать и поехал к самым известным цветочникам, чтобы найти белые лилии. В разгар зимы ему с большим трудом удалось раздобыть то, что он хотел. Но в Париже, если ты платишь, нет ничего невозможного. Он нашел-таки букет лилий и с бьющимся сердцем и слезами на глазах поднялся на холм.

Еще не растаявшие снежные хлопья серебряными слезами блестели на потемневших ветках елей, тиса, кипарисов и плюща, белыми шапочками укрывали лепные надгробия, верхушки и перекладины крестов. Желтовато-серое, тяжелое, будто свинец, словом, самое подходящее для кладбища небо висело низко; резкий ветер со стоном проносился по закоулкам этого города из надгробий, созданных под стать усопшим по ничтожным

человеческим меркам. Маливер вскоре добрался до часовни и неподалеку от нее, за оградой, увитой ирландским плющом, увидел белую гробницу, которая казалась еще белее от тонкого слоя снега. Он нагнулся над решеткой и в центре венка из роз прочитал высеченные в мраморе слова: «Лавиния д'Офидени, сестра Филомена, почила восемнадцати лет от роду». Он вытянул руку, бросил цветы на надпись и застыл в задумчивом созерцании, полный тяжких угрызений: не он ли убил эту чистую голубку, так рано вернувшуюся на небо?

Пока он стоял, роняя теплые слезы на холодный снег, укрывший вторым саваном девичью могилу, в толстом слое сероватых облаков образовался разрыв. Как свет постепенно пробивается сквозь слои разворачиваемой газовой ткани, так солнечный диск становился все отчетливее, но он был бледный и белый, похожий скорее на луну, чем на дневное светило — настоящее солнце для мертвых! Наконец из просвета вырвался длинный луч, хорошо заметный на фоне облаков. Он упал на букет белых лилий и мраморный венок из роз, и они засверкали под снежной слюдой, как под зимней росой.

В этом дрожащем луче играли и переливались ледяные атомы, и Ги различил, как от могилы, словно легкий дымок от серебряной курильницы, поднялась стройная белая фигура. Она была облачена в парящие складки газового савана, похожего на платье, в которое художники одевают ангелов, и дружески махала ему рукой.

Туча наползла на солнце, видение рассеялось. Ги де Маливер покинул кладбище, повторяя про себя имя Лавинии д'Офидени, сел в карету и вернулся в Париж к живым людям, даже не подозревающим о том, что они мертвы, ибо лишены внутренней жизни.

Глава XIII

С этого дня жизнь Маливера распалась на две части — реальную и фантастическую. Со стороны все как будто осталось по-прежнему: он посещал клуб, выходил в свет, его видели в Булонском лесу и на Итальянском бульваре. Он не пропускал ни одного интересного спектакля, всегда был одет по моде, в прекрасной обуви и свежих перчатках. Глядя, как непринужденно он вращается в человеческом обществе, никто не заподозрил бы, что, выйдя из Оперы, он погружается в таинственные глубины невидимого мира. Хотя, если бы кто присмотрелся к нему внимательнее, то заметил бы, что он побледнел, похудел, стал более серьезным и одухотворенным. Выражение его глаз изменилось; когда он не участвовал в разговоре, в них читалось нечто вроде высокомерного блаженства. К счастью,

светское общество отличается наблюдательностью, только когда того требуют его интересы, а потому секрет Маливера оставался нераскрытым.

Вечером после посещения кладбища, открывшего ему земное имя Спириты, он, собрав воедино всю свою волю, призвал ее и услышал звуки гаммы, подобные каплям дождя, падающим в серебряный фонтан. В комнате никого не было, но чудеса уже не удивляли Маливера. Затем прозвучали несколько аккордов, словно кто-то хотел привлечь его внимание или пробудить любопытство в душе. Ги повернулся к фортепиано, и вскоре рядом с инструментом в светящейся дымке обозначился силуэт очаровательной молодой девушки. Сначала картина была прозрачной, сквозь ее контуры виднелись располагавшиеся за ней предметы — так сквозь чистую воду просматривается дно озера. Постепенно фигура уплотнилась настолько, что стала походить на живую, но при этом оставалась такой легкой, неосязаемой, воздушной, что напоминала скорее отражение в зеркале, чем человека из плоти и крови. Некоторые эскизы Прюдона[1], едва намеченные, с расплывчатыми и теряющимися контурами, омытые светотенью или сумеречным туманом, с белыми драпировками, будто сотканными из лунного света, могут дать отдаленное представление о чарующем видении, появившемся в комнате Маливера. Чуть розоватые пальцы бледными мотыльками порхали по клавишам из слоновой кости. Они едва касались их, но эти легкие прикосновения, от которых не помялось бы даже перышко, рождали музыку. Звуки возникали сами собой, как только светящиеся руки проплывали над клавишами. Длинное белое платье из муслина, более тонкого, чем самые тонкие индийские ткани, которые можно протянуть сквозь кольцо, пышными складками ниспадало с плеч девушки и заканчивалось у самых ног белоснежной кипенью оборок. Ее голова слегка, как если бы на пюпитре стояла раскрытая партитура, склонялась вперед, позволяя разглядеть длинную шею с золотыми завитками непослушных волос и полоску перламутрово-опаловой кожи, чья белизна сливалась с белизной платья. В дрожащих, словно наполненных дуновеньями, прядях сверкала усеянная звездочками лента, поддерживавшая высокий пучок. Маливер видел мочку уха и краешек щеки — такие свежие, бархатистые и розовые, что рядом с ними даже персик показался бы землистым. То была Лавиния, или Спирита, если называть ее именем, которое она до сих пор носила в этой истории. Она живо обернулась к Маливеру, желая удостовериться, что он готов слушать и можно начинать. Ее синие глаза, сиявшие ласковым светом и небесной нежностью, проникли в самое сердце Ги. Во взгляде ангела еще осталось что-то от взгляда юной девушки.

Отрывок, который она сыграла, принадлежал великому композитору, чей человеческий гений, казалось, предчувствовал бесконечность. Его

полная страсти музыка то говорила о сокровенных желаниях души, то напоминала о небесах и рае, из которых эта душа была изгнана. В ней слышались и вздохи несказанной печали, и горячая мольба, и глухое бормотание — последний бунт гордыни, низвергнутой во мрак. Спирита передавала все эти чувства с мастерством, заставлявшим забыть о Шопене, Листе, Тальберге[2] — обо всех пианистах-виртуозах. Ги казалось, что он слышит музыку впервые в жизни. Ему открылось новое искусство, тысячи неведомых мыслей зароились в его голове. Звуки вызывали в его душе глубокие, далекие отголоски давно минувших дней, ему чудилось, что он слышал их в своей первой, забытой жизни. Спирита не только передавала замысел автора, но и выражала идеал, о котором он мечтал и которого не сумел достичь, будучи простым смертным. Она дополняла гения, совершенствовала совершенство, прибавляла к абсолюту!

Ги поднялся и, точно сомнамбула, не осознающая своих действий, двинулся к пианино. Он облокотился на крышку инструмента, и его взгляд утонул в глазах Спириты.

Спирита в самом деле была великолепна. Она приподняла и немного откинула голову назад, так что все лицо ее, освещенное восторгом, оказалось на виду. Вдохновение и любовь зажгли неземной огонь в ее глазах, чья синева почти исчезла под полуопущенными веками. Сквозь приоткрытые створки губ сверкали жемчужно-белые зубы, а шея, омытая синеватыми бликами, выгибалась, как у символической голубки, и напоминала росписи на плафонах Гвида[3]. Она все меньше походила на женщину и все больше — на ангела, и свет, исходивший от нее, стал таким ярким, что Маливер невольно зажмурился.

Спирита уловила его движение и голосом мелодичным и нежным, словно музыка, прошептала:

— Мой бедный друг! Я забыла, что ты еще не вышел из своей земной темницы, что твои глаза могут вынести лишь слабый лучик истинного света. Когда-нибудь я покажусь тебе такой, какая я есть на самом деле, в тех сферах, куда ты последуешь за мною, а сейчас для того, чтобы ты увидел меня, достаточно и тени моей новой оболочки. Смотри и ничего не бойся.

Путем неуловимых перемен ее небесная красота стала чуть более земной. Спрятались крылья Психеи[4], на мгновение затрепетавшие у нее за спиной. Бесплотный облик несколько сгустился, молочное облачко заполнило его пленительные контуры и подчеркнуло их — так капелька масла, добавленная в воду, позволяет различить грани лежащего в ней кристалла. Сквозь Спириту проступала Лавиния. Образ девушки оставался по-прежнему слегка туманным и все же создавал иллюзию ее присутствия.

Она перестала играть и устремила взгляд на Маливера. Слабая улыбка блуждала по ее губам, улыбка небесно-ироничная и божественно-лукавая, сочувствующая и снисходительная, а в глазах мягко светилась самая нежная любовь, такая, какую дозволительно показать невинной земной девушке. И Маливер вдруг поверил, что рядом с ним Лавиния, которая так стремилась к нему, пока была жива, и к которой его не подпускал насмешливый рок. Потеряв голову, очарованный, трепещущий от любви, забыв, что перед ним всего лишь призрак, он приблизился к ней, чтобы взять ее руку, еще лежавшую на клавишах, и поднести к губам, но его пальцы сомкнулись так, как если бы прошли сквозь пар.

Хотя ей нечего было опасаться, Спирита отшатнулась, словно он нечаянно оскорбил ее, но вскоре ангельская улыбка вновь осветила ее лицо, и она поднесла к губам Ги, который уловил тонкий свежий аромат, свою прозрачную, сотканную из розоватого света руку.

— Я и забыла, — молвила она беззвучно, но так, что Ги сердцем слышал каждое слово, — что я уже не земная девушка, а душа, призрак, неосязаемый туман, лишенный всяких человеческих ощущений. Лавиния, наверное, отказала бы тебе, Спирита же дает свою руку, но не ради наслаждения, а в знак чистой любви и вечного союза.

И несколько мгновений она держала свою несуществующую руку под воображаемым поцелуем Ги.

Затем она снова заиграла и извлекла из фортепиано мелодию несравненной силы и нежности, в которой Ги узнал свое собственное и самое любимое стихотворение, переложенное с языка поэзии на язык музыки. В этом своем творении, пренебрегая земными радостями, в отчаянном порыве он устремлялся к высшим сферам, туда, где желание поэта должно наконец найти свое удовлетворение. Спирита, благодаря своей чудесной интуиции, передавала изнанку стихов, их второй смысл, все, что остается недосказанным даже в самой совершенной фразе, все тайное, сокровенное и глубинное, желания, в которых человек не признается даже самому себе, все невыразимое и неотразимое, искомое и не достижимое мыслью даже на пределе возможностей, все неопределенное, расплывчатое, туманное, не помещающееся в слишком тесных границах слов. Взмахивая крыльями, безудержно рвавшимися в лазурь, она открывала рай сбывшихся грез, исполнившихся надежд. Она стояла на светящемся пороге, в блеске, затмевающем все солнца, божественно прекрасная и в то же время по-человечески нежная, распахнув объятия душе, жаждущей идеала, — цель и награда, звездный венец и кубок с любовным напитком, Беатриче[5], восставшая из могилы. В одной из фраз, исполненной пьянящей, чистейшей страсти, она с божественными недомолвками и небесным целомудрием говорила о том, что в беззаботной вечности и сияющей бесконечности она

тоже утолит свои желания. Она обещала поэту такое счастье и такую любовь, каких не в силах вообразить даже человек, привычный к общению с духами.

В финале она встала. Ее руки только изображали движения пианиста, мелодии вырывались из инструмента зримыми, разноцветными вибрациями, распространяясь в воздухе лучистыми волнами, подобно радужным сполохам северного сияния. Лавиния исчезла, на ее месте вновь появилась Спирита, высокая и величественная, в ярком сияющем ореоле. Длинные крылья распахнулись за ее спиной, и ее унесло дуновением свыше. Маливер остался один. Легко вообразить его восторг. Но мало-помалу он успокоился, и на смену лихорадочному возбуждению пришла сладкая истома. Он испытывал то чувство удовлетворения, какое изредка испытывают поэты да еще, как говорят, философы: он блаженствовал, потому что его поняли во всех тонкостях и глубинах его гения. Как блестяще и ослепительно истолковала Спирита его стихи, смысл и значение которых ускользали даже от него, их автора! Как слилась ее душа с его душою! Как проникли ее мысли в его мысли!

На следующий день Ги захотелось поработать. Его вновь посетило давно угасшее вдохновение, мысли беспорядочно теснились в голове. Безграничные горизонты, бесконечные перспективы открылись глазам. Целый мир новых ощущений переполнял его грудь, и, чтобы выразить их, он требовал от языка невозможного. Устаревшие шаблоны, обветшалые формы не выдерживали и лопались, порой выплавляемая фраза фонтаном била через их края великолепными брызгами, похожими на звездопад. Никогда прежде он не поднимался до таких высот, и под тем, что он сочинил в тот день, подписались бы величайшие поэты.

Закончив строфу, он начал обдумывать следующую; рассеянно обвел глазами комнату и увидел Спириту. Она полулежала на диване, ее локоть утопал в подушке, а ладонь подпирала щеку. Кончиками тонких пальцев она поигрывала светлыми прядями волос, глядя на него задумчиво и нежно. Похоже, она уже давно была здесь, но не захотела выдать свое присутствие из боязни помешать. И когда Маливер встал, чтобы подойти к ней, она знаком попросила его не беспокоиться и слово за словом, стих за стихом повторила то, что сочинил Ги. В силу таинственной общности чувств она понимала, о чем думает ее возлюбленный, следовала за ним и даже опережала его, ибо не только видела, но и предвидела, и полностью прочитала незавершенное стихотворение, концовку которого он еще только искал.

Как нетрудно догадаться, стихотворение посвящалось Спирите. О чем еще мог писать Маливер? Влекомый любовью, он едва помнил о земле и парил в тех горних высях и дальних далях, что позволяют достичь крылья, выросшие за плечами человека.

— Прекрасно, — голос Спириты раздавался в груди Маливера, поскольку не достигал его ушей, как обычные звуки, — это прекрасно даже для духа. Гений поистине божествен, он порождает идеал, он видит высшую красоту и вечный свет. Куда только не взмывает он, когда его крылья — вера и любовь! Но спуститесь вниз, вернитесь туда, где ваши легкие могут дышать. Ваши нервы дрожат, точно натянутые струны, ваш лоб дымится, будто кадило, а глаза блестят странным лихорадочным блеском. Поберегите себя: от экстаза до безумия один шаг. Успокойтесь и, если вы меня любите, поживите еще на земле, я так хочу.

Маливер послушался ее, и, хотя люди казались ему лишь пустыми тенями, лишь призраками, с которыми его больше ничто не связывало, он попытался участвовать в их жизни: поинтересовался свежими новостями и слухами, улыбнулся в ответ на описание изумительного наряда мадемуазель *** на последнем балу и даже согласился сыграть в вист у старой герцогини де С***: ему было все равно, как убивать время.

Но, несмотря на все попытки Ги ухватиться за жизнь, властная сила влекла его за пределы земной сферы. Он ходил по земле, а его уносило ввысь. Непреодолимое желание поглотило его целиком. Ему уже не хватало явлений Спириты — когда она исчезала, его душа устремлялась за нею так, как будто пыталась вырваться из тела.

Безнадежность лишь подстегивала любовь, в которой еще пылали остатки земного пламени. Страсть пожирала его и приставала к телу, как туника, отравленная ядом Несса, к коже Геракла[6]. Он общался с духом, но избавиться от своей человеческой оболочки был не в силах.

Он не мог сжать в объятьях воздушный призрак Спириты, но этот призрак принимал обличье Лавинии, и этой прекрасной иллюзии было достаточно, чтобы потерять голову и забыть, что любимые черты, исполненные нежности глаза, чувственно улыбающиеся губы, в конце концов, лишь тень, отражение.

В любое время дня и ночи Ги видел перед собой возлюбленную душу, которая являлась ему то в виде чистого идеала в ослепительном великолепии Спириты, то в более земном, женственном образе Лавинии. Порой она витала над его головой в горнем полете ангела, порой являлась будто гостья и садилась в кресло, ложилась на диван, облокачивалась на стол. Казалось, она просматривает его бумаги на бюро, нюхает цветы в жардиньерке, листает книги, перебирает кольца в чаше из оникса на камине и предается всем тем забавам, которые позволяет себе юная девушка, случайно зашедшая в комнату своего суженого.

Спирите нравилось показываться Ги такой, какой была бы Лавиния в сходной ситуации, если бы судьба не помешала ее любви. После смерти она одну за другой прочитывала главы романа невинной пансионерки. С по-

мощью легкой, чуть окрашенной дымки она воспроизводила свои прошлые наряды, украшала волосы цветком или бантом былых времен. Тень переняла грацию, позы и жесты ее девичьего тела. Из кокетства, доказывавшего, что женщина еще не совсем умерла в ангеле, ей хотелось, чтобы Маливер любил ее не только посмертной любовью, как неземное создание, но и любовью земной, как ту девушку, какой она была при жизни, ту, что безуспешно искала встречи с ним в Опере, на балу, на приеме.

Иногда он, охваченный желанием и опьяненный любовью, позволял себе какую-нибудь бесполезную ласку, и если бы его губы не касались пустоты, он поверил бы, что он, Ги де Маливер, в самом деле женился на Лавинии д'Офидени — настолько четким, красочным и живым становилось видение. Созвучие их душ достигло совершенства: он слышал внутри себя ее молодой, звонкий, серебристый голос, она отвечала на его страстные порывы нежными целомудренными словами, и все было так, как если бы они по-настоящему говорили друг с другом.

То были поистине танталовы муки: руки любимой подносили к его пылающим губам чашу, полную студеной воды, а он не мог дотронуться даже до ее краев; ароматные гроздья цвета янтаря и рубина висели над самой его головой, но ему не дано было их вкусить[7].

Короткие промежутки времени, на которые Спирита оставляла его, повинуясь властному велению, исходящему оттуда, «где могут всё, что захотят»[8], стали ему невыносимы, он был готов разбить себе голову о стену, за которой она исчезала.

Однажды вечером Ги сказал себе:

— Раз Спирита не может обрести тело и войти в мою жизнь иначе, как призрак, значит, я должен сбросить с себя мою тесную бренную оболочку, эту плотную, тяжелую форму, которая мешает мне подняться с любимой туда, где обитают души.

Решение показалось ему мудрым. Он встал и подошел к висевшему на стене собранию экзотического оружия. Здесь были кастеты, томагавки, дротики, тесаки и одна стрела с перьями попугая и зазубренным кончиком из рыбьей кости, пропитанным соком кураре[9] — смертельным ядом, секрет которого известен лишь американским индейцам и от которого нет противоядия.

Он уже поднес стрелу к руке, как вдруг перед ним предстала Спирита. Испуганная, растерянная, умоляющая, она с безумной страстью обняла его своими призрачными руками, прижала к своему бесплотному сердцу, покрыла лицо неощутимыми поцелуями. Женщина забыла, что она всего лишь тень.

— Несчастный! — вскричала она. — Не делай этого, не убивай себя, чтобы соединиться со мною! Такая смерть навсегда разлучит нас, между нами

разверзнутся такие пропасти, что их не преодолеть и за миллионы лет. Возьми себя в руки, терпи, живи — самая долгая жизнь длится не дольше мгновения! Забудь о быстротечном времени, думай о вечности, уготованной нашей любви, и прости меня за то, что я была кокеткой. Женщина захотела отнять любовь у тени, Лавиния ревновала к Спирите и чуть не потеряла тебя безвозвратно.

Вновь приняв обличие ангела, она простерла руки над его головой, и он почувствовал, как его объяли небесный покой и безмятежность.

Глава XIV

Госпожа д'Эмберкур поразилась тому, сколь ничтожное воздействие возымели на Ги де Маливера ее заигрывания с господином д'Аверсаком, — это опрокидывало все ее представления о женской стратегии. Она верила, что укол ревности — лучшее средство для возбуждения угасающей любви, полагая само собой разумеющимся, что Маливер ее любит. Ей и в голову не приходило, что неженатый мужчина, который уже три года бывает у нее чуть ли не каждый четверг, преподносит букет в день спектакля в Итальянском театре и не клюет носом в глубине ложи, вовсе не увлечен ее прелестями. Разве она не молода, не красива, не богата, не одевается по последней моде? Разве не играет на фортепиано, как первый лауреат Консерватории? Не подает чай словно настоящая леди? Не умеет писать записки английским почерком с красивым наклоном, изящными изгибами и завитками? В чем можно упрекнуть ее экипажи от Биндера, ее отменных лошадей, купленных у самого Кремьё? Даже ее лакеи прекрасно смотрятся и гордятся своим местом! А обеды? Они снискали признание гурманов! Все это, на взгляд графини, составляло вполне приемлемый идеал.

Однако незнакомка в санях не давала ей покоя. Графиня снова и снова отправлялась кататься вокруг озера в надежде встретить ее и посмотреть, нет ли рядом Маливера. Дама больше не появлялась, ревновать госпоже д'Эмберкур было не к кому, да и никто эту красавицу не узнал и не заметил. Любил ли ее Ги или просто поддался любопытству, когда направил Греймокина вслед за рысаком? Эту загадку госпожа д'Эмберкур разгадать не могла и потому решила, что она сама виновата — напугала поклонника, дав ему понять, что он ее компрометирует. Теперь она жалела о словах, которые произнесла, пытаясь вытянуть из него признание, ибо Ги беспрекословно подчинился ее указаниям и с тех пор ни разу не переступил порог ее дома на улице Шоссе-д'Антен. Такое послушание обижало графиню, она предпочла бы, чтобы он проявил хоть чуточку строптивости.

Хотя подозрения госпожи д'Эмберкур опирались лишь на мимолетное видение в Булонском лесу, она чувствовала, что за чрезмерной заботой о ее репутации стоит другая женщина. Правда, в жизни Ги с виду ничего не изменилось, и Джек, которого осторожно расспросила горничная госпожи д'Эмберкур, уверял, что уже давненько не слышал шуршания шелка на потайной лестнице их дома, что хозяин редко выходит, встречается только с бароном Ферое, живет отшельником и по ночам подолгу пишет.

Д'Аверсак старательно ухаживал за госпожой д'Эмберкур, и она принимала его с молчаливой признательностью брошенной любовницы, которая, дабы увериться в собственных чарах, нуждается в новых поклонниках. Она не любила д'Аверсака, но была благодарна ему за то, что он высоко ценил все, чем Ги, казалось, пренебрегал, и во вторник на представлении «Травиаты»[1] все заметили, что место Маливера занял д'Аверсак. Он был в перчатках и белом галстуке, с камелией в петлице, завитой и напомаженный, словно записной волокита, еще не растерявший волос, и лучился самодовольством. Он уже давно лелеял надежду понравиться госпоже д'Эмберкур, но та отдавала явное предпочтение Маливеру, и д'Аверсак отодвинулся на третий или даже на четвертый план в толпе поклонников, что всегда вращаются вокруг красивых женщин в ожидании случая — разрыва или обиды, — а случай этот все никак не подворачивается.

Он оказывал ей мельчайшие знаки внимания: предлагал бинокль и программку, смеялся каждой шутке, склонялся с заговорщическим видом, чтобы ответить на вопрос, а когда госпожа д'Эмберкур соединяла кончики своих белых перчаток в знак одобрения какой-нибудь ноты, взятой дивой, начинал оглушительно хлопать, подняв руки над головой, — короче, он всячески подчеркивал свое вступление в должность галантного кавалера.

В некоторых ложах уже задавались вопросом: «Неужто свадьба Маливера и госпожи д'Эмберкур отменяется?» Всеобщее любопытство вызвало появление Ги после первого акта: он прошел по партеру, окинул взором зал, рассеянно взглянул на ложу графини. Д'Аверсак, заметив его, почувствовал себя не в своей тарелке. Однако даже самые проницательные лорнеты и бинокли не заметили на лице Ги ни малейшего признака раздражения. Ни один мускул не дрогнул, он не побледнел, не покраснел, не нахмурил брови, не состроил ужасную и разъяренную физиономию ревнивого любовника, увидевшего, как другой ухаживает за его красавицей, — нет, он был спокоен и безмятежен; его лицо светилось от тайного счастья, а на губах витала, как говорит поэт:

Таинственная улыбка
Внутренних страстей[2].

— Наверняка Ги полюбила какая-нибудь фея или принцесса, иначе он не ходил бы с таким торжествующим видом, — заключил один старый завсегдатай балкона, заслуженный донжуан. — Если госпоже д'Эмберкур он еще не безразличен, то она может надеть траур. Не видать ей свадьбы, как своих ушей, и никогда не носить имя госпожи де Маливер.

Во время антракта Ги заглянул в ложу графини, чтобы попрощаться, так как он отбывал в путешествие по Греции, где намеревался провести несколько месяцев. С д'Аверсаком он держался вежливо, вел себя естественно и непринужденно, не впадая в крайности. Он не был ни холоден, ни чересчур любезен, как свойственно людям, испытывающим досаду, и совершенно спокойно пожал руку госпожи д'Эмберкур, которой, вопреки всем ее усилиям, едва удавалось скрывать волнение за деланным равнодушием. Румянец, окрасивший ее щеки, когда Ги встал со своего кресла в партере и направился к ее ложе, сменился бледностью, к которой рисовая пудра не имела никакого отношения. Она надеялась увидеть смятение, ярость, порыв страсти, хоть какой-то признак ревности; она приготовилась даже к ссоре. Но его отнюдь не показное хладнокровие застало ее врасплох и выбило из седла. Она верила в любовь Маливера и только теперь поняла, что заблуждалась. Это открытие ранило ее сердце и самолюбие. Ги внушил ей чувство, силу которого она сама не сознавала, и бедняжка почувствовала себя несчастной и опустошенной. Игра потеряла смысл и потому сразу же опостылела. Маливер ушел, госпожа д'Эмберкур устало облокотилась на бортик ложи и погрузилась в молчание, едва замечая любезности, которые расточал д'Аверсак, раздосадованный ее холодностью. Он терзался, не понимая, почему оттепель вдруг сменилась заморозками, а розы внезапно покрылись инеем. «Может, я сказал или сделал какую-нибудь глупость? — думал неожиданно получивший отставку поклонник. — Или надо мною просто посмеялись? Отчего Ги вел себя с напускной учтивостью, а графиня казалась такой взволнованной? Может, она по-прежнему любит Маливера?» Но, как бы там ни было, д'Аверсак не забывал, что на него направлены сотни глаз, и продолжал играть свою роль. Он склонялся к графине и с таинственным задушевным видом шептал ей на ушко банальности.

Старый завсегдатай балкона, вооружившись биноклем, следил за маленькой драмой, которая весьма забавляла его. «Д'Аверсак делает хорошую мину при плохой игре, но для этой партии слабоват. Впрочем, он дурак, а дуракам часто везет с женщинами. Глупость легко находит общий язык с безрассудством, и Барбос приходит на смену Цезарю[3], особенно если Цезарь не хочет больше царствовать. Но кто же новая любовница Ги?» Таковы были размышления этого ветерана любовных баталий, одинаково сильного в теории и в практике. Он следил за Маливером, желая посмотреть, не подойдет ли тот к одной из прелестниц, которые блистали в ложах,

словно драгоценности в футлярах. «Может, это воздушная блондинка в бледно-зеленом платье с гирляндой из серебряных листочков и опаловыми украшениями? Ее щеки словно окрашены лунным сиянием, как щеки эльфа или русалки; она созерцает люстру с таким сентиментальным видом, будто это ночное светило. Или та брюнетка с волосами цвета ночи, с пурпурными губами, мраморным профилем и глазами, подобными черным алмазам? Сколько огня прячется за ее пылкой бледностью, сколько страсти скрывается в этой исполненной покоя статуе, которую можно было бы принять за дочь Венеры Милосской, если бы сей божественный шедевр снизошел до деторождения! Нет, не то — ни луна, ни солнце. Русская княжна, там у авансцены, с ее безумной роскошью, экзотической красотой и экстравагантной грацией могла бы иметь шанс. Ги любит все необычное, в своих путешествиях он приобрел варварский вкус. Нет, не она. Он поглядел на нее таким холодным взглядом, как если бы изучал малахитовую шкатулку. А почему бы не эта парижанка? В открытой ложе, одета со вкусом, утонченна, одухотворена, хороша собой, каждое ее движение подчиняется звукам невидимой флейты и поднимает пену кружев. Так и кажется, что она сошла с панно Геркуланума[4]. Бальзак посвятил бы страниц тридцать описанию такой женщины, и его произведение ничуть не пострадало бы от этого, ибо малютка того стоит. Но Ги недостаточно цивилизован, чтобы оценить шарм, который привлекал автора "Человеческой комедии" больше, чем красота. Что ж, сегодня, видно, придется отказаться от попыток проникнуть в эту тайну. — Старый волокита вздохнул и захлопнул футляр бинокля, похожего на артиллерийское орудие. — Здесь определенно нет дамы сердца Маливера».

На выходе, под колоннами, закутавшись в пальто, стоял д'Аверсак в самой изящной позе, какую только может принять джентльмен. Госпожа д'Эмберкур набросила на свой наряд атласную шубу, отделанную лебяжьим пухом. Упавший на плечи капюшон оставлял ее лицо открытым. Графиня была бледна и в этот вечер по-настоящему красива. Горе придало ее чертам, обычно слишком правильным и бесстрастным, выразительность и яркость, которых до сей поры им не хватало. Она совершенно забыла о своем кавалере, который чопорно и степенно держался в двух шагах от нее, не зная, то ли поскорее скрыться, то ли высказать все, что накипело на сердце.

— Что это сегодня творится с госпожою д'Эмберкур? — спрашивали друг друга молодые люди, собравшиеся в вестибюле, чтобы не пропустить дамский парад. — Можно сказать, она по-новому красива. Везет же д'Аверсаку!

— Это только кажется, что ему везет, — заметил молодой человек с тонкими, одухотворенными чертами, словно сошедший с портрет кисти Ван Дейка[5]. — Не он зажег огонь в графине д'Эмберкур, чье лицо обыкновенно

лишено всякого выражения и подобно восковой маске, снятой с Венеры Кановы[6]. Нет, искра прилетела из другого места, и Прометей этой Пандоры[7] не д'Аверсак. Дерево не может оживить мрамор.

– Как бы там ни было, – продолжал его собеседник, – Маливер слишком капризен, раз покидает графиню в такой момент. Она заслуживает большего, чем д'Аверсак. Не уверен, что Ги найдет кого-то получше. Он еще пожалеет о том, что пренебрег госпожой д'Эмберкур.

– И будет неправ, – продолжил портрет Ван Дейка. – Следите за ходом моих рассуждений. Госпожа д'Эмберкур сегодня выглядит прекрасно потому, что она взволнована. Однако если бы Маливер не бросил ее, она, с ее классически правильными чертами, осталась бы такой же бесчувственной и безликой, как всегда, и феномен, поразивший вас, не имел бы места. Следовательно, Маливер очень правильно поступит, если уедет в Грецию, о чем он вчера объявил в клубе. Dixi*.

Выездной лакей вызвал карету графини, положив конец этому разговору. И многие молодые люди почувствовали укол зависти, когда на их глазах вслед за госпожой д'Эмберкур в карету сел д'Аверсак. Лакей тут же захлопнул дверцу и в мгновенье ока занял свое место. Кони помчались. Д'Аверсак, оказавшись совсем близко к графине, утонул в волнах атласа и, вдыхая тонкий аромат духов, попытался воспользоваться моментом, дабы произнести несколько нежных слов. Ему следовало как можно скорее изобрести что-нибудь решительное и страстное, так как от площади Вантадур до улицы Шоссе-д'Антен буквально рукой подать[8], но импровизация не входила в число сильных сторон соперника Ги. К тому же, надо признать, госпожа д'Эмберкур его обескураживала: она забилась в угол кареты и молча покусывала уголок своего кружевного платочка.

Д'Аверсак мучительно старался закончить витиеватое признание в любви, как вдруг госпожа д'Эмберкур, которая совсем не слушала, погрузившись в собственные мысли, схватила его за руку и прерывистым голосом спросила:

– Вы знаете новую любовницу Маливера?

Столь неожиданный и неуместный вопрос глубоко задел д'Аверсака. Теперь даже он понял, что графиня ни секунды не думала о нем. Карточный домик его надежд рассыпался от этого дуновения страсти.

– Нет, не знаю, – пролепетал д'Аверсак, – но если бы и знал, сдержанность, деликатность... не позволят мне... Каждый мужчина в подобном случае понимает, в чем состоит его долг...

– Да-да, – кивнула графиня, – мужчины всегда выгораживают друг друга, даже когда соперничают между собой. Так я ничего не узнаю.

Она умолкла, немного овладела собой и продолжила:

---

* Я [все] сказал (*лат.*).

— Простите, мой дорогой господин д'Аверсак, это просто нервы... Я сама не понимаю, что говорю. Не сердитесь и приходите ко мне завтра. Я отдохну и успокоюсь.

Она протянула ему руку:

— Мы уже приехали. Скажите, куда вас отвезти.

Она быстро вышла из кареты и поднялась по лестнице, не пожелав принять помощь от д'Аверсака.

Как видим, молодые люди по своей наивности ошибались, предполагая, что нет ничего приятнее, чем проводить даму в ее экипаже от Итальянской оперы до улицы Шоссе-д'Антен. Смущенный и растерянный, д'Аверсак приказал отвезти себя в клуб на улице Шуазёль, где его ожидала коляска. Он сел за карты и проиграл сотню луидоров, что никак не улучшило его настроения. Вернувшись домой, он думал об одном: «И за что только женщины любят этого чертова Маливера?»

Госпожа д'Эмберкур предоставила себя заботам горничной и, после того как та раздела ее и приготовила ко сну, завернулась в пеньюар из белого кашемира и села за пюпитр, подперев голову рукой. Некоторое время она сидела, уставившись на лист бумаги, и крутила в пальцах перо. Графине очень хотелось написать Ги, но задача была ей не по силам. Беспорядочно блуждавшие в ее голове мысли улетучивались, едва она пыталась составить из них фразу. Она написала пять или шесть черновиков, испещренных помарками, грязных и неразборчивых, несмотря на красивый английский почерк, но так и осталась недовольна. В этих говорилось слишком много, в тех — слишком мало. Ни один не передавал ее чувств. Она их все порвала и бросила в огонь. Измучившись, графиня остановилась на следующем варианте:

> Не гневайтесь, мой дорогой Ги, на мое, клянусь Вам, невинное кокетство — я лишь хотела, чтобы Вы немного поревновали и вернулись ко мне. Вы прекрасно знаете, что я люблю Вас, хотя Вы меня почти не любите. Сердце мое заледенело от Вашей холодности и безразличия. Забудьте мои слова. Во мне говорила обида. Правда, что Вы уезжаете в Грецию? Неужели Вам до такой степени хочется убежать от той, которая только и думает, как бы Вам угодить? Останьтесь, Ваш отъезд причинит мне большую боль.

Графиня поставила подпись: «Сесиль д'Эмберкур», запечатала письмо своими слезами и хотела немедленно отправить его, но, когда поднялась, чтобы позвать кого-нибудь, на часах пробило два: было слишком поздно посылать слугу в отдаленный район Сен-Жерменского предместья,

где жил Ги. «Ладно, – решила графиня, – отправлю его завтра с утра, Ги получит его, когда проснется... Если только он уже не уехал».

Уставшая, расстроенная, она легла и закрыла глаза, но все было напрасно: она думала о даме в санях, повторяя про себя, что Ги любит эту незнакомку, и ревность пронзала ее сердце острым жалом. Наконец она забылась неглубоким, беспокойным сном, еще более мучительным, чем бессонница. Маленькая лампочка под потолком, заключенная в шар из голубого матового стекла, наполняла комнату бледным сиянием, похожим на свет луны. Она освещала мягким, таинственным светом голову графини, чьи распущенные волосы пышными черными локонами разметались по белой подушке, и ее свесившуюся с кровати руку.

Мало-помалу у изголовья постели сгустился легкий голубоватый туман, похожий на дымок ароматической лампы; этот туман приобрел четкие очертания и вскоре превратился в девушку небесной красоты со светящимся ореолом золотых волос. Спирита – а это была она – смотрела на спящую женщину с той печалью и жалостью, которую должны испытывать ангелы при виде человеческих страданий. Она неслышно склонилась над графиней, уронила на ее лоб две-три капли темной настойки из маленького пузырька, похожего на сосуд для благовоний, что находят в древних гробницах, и прошептала:

– Ты уже не опасна для моего любимого, ты не можешь разлучить наши души. Но ты страдаешь и мне жаль тебя, я принесла божественный непентес[9]. Забудь и живи счастливо, ты, что принесла мне смерть!

Спирита исчезла. Черты спящей разгладились, как будто кошмар сменился приятным сновидением. Легкая улыбка скользнула по ее губам. Она инстинктивно убрала свою замерзшую, побелевшую словно мрамор руку и завернулась в пуховое одеяло. Ее спокойный, целительный сон продлился до позднего утра, и первое, что она увидела, проснувшись, было ее послание, лежавшее на ночном столике.

– Прикажете отослать? – Войдя в комнату, чтобы раздвинуть шторы, Аглая сразу заметила, что взгляд хозяйки устремлен на письмо.

– Нет, нет! Брось его в огонь! – живо вскричала графиня, а про себя добавила: «И о чем я только думала? Надо же было такое написать! Да я с ума сошла!»

Глава XV

Пакетбот, совершавший переход из Марселя в Афины, дошел до мыса Малея, последнего зубчика листа шелковицы, на который похожа южная оконечность Греции и которому она обязана своим современным на-

званием Морея[1]. Позади остались облака, туманы и стужа; пароход двигался из тьмы в свет, из зимы в лето. Серое западное небо уступило место лазури неба восточного, темно-синее море лениво вздымалось от попутного ветерка. Пароход расправил на фок-мачте почерневшие от дыма паруса, похожие на те, что по ошибке поднял Тесей, возвращаясь с Крита, где он одолел Минотавра[2]. Февраль подходил к концу. В этом благословенном, солнечном климате уже чувствовалось приближение весны, которая совсем не торопится в наши края. Было так тепло, что бóльшая часть пассажиров, тут же забыв про морскую болезнь, высыпала на палубу, дабы полюбоваться берегом, видневшимся сквозь голубую вечернюю дымку. Над погруженной в сумерки прибрежной полосой возвышались горы; их гребни, покрытые снегом, еще освещались полосками солнечного света. То был Тайгет[3]. Глядя на него, находившиеся среди пассажиров филологи-бакалавры, которые еще не совсем позабыли латынь, довольно точно продекламировали известный стих Вергилия[4]. Французы крайне редко цитируют латинские стихи кстати, и, коль скоро такое случается, это означает, что они близки к вершине блаженства. Что касается чтения греческих стихов, то сия благодать снисходит только на немцев и англичан, если, конечно, они сподобились закончить университет в Иене или Оксфорде.

На дощатых скамьях и складных стульях, загромоздивших всю кормовую часть, сидели юные мисс, одетые в пальто с крупными пуговицами. Их маленькие шляпки были украшены синими фиалками, пышные рыжие волосы спрятаны под сеточки, а на груди висели дорожные сумочки на ремешках. Вооружившись мощными биноклями, сквозь которые можно разглядеть даже спутники Юпитера, они обозревали окутанный вечерним туманом берег. Самые смелые из них и к тому же способные держаться на ногах во время качки расхаживали по палубе тем спортивным шагом, которому обучают английских барышень гвардейцы, знающие толк в шагистике. Другие беседовали с безукоризненно одетыми и безупречно вежливыми джентльменами. Были здесь и французы — учащиеся Афинской школы[5], а также художники и архитекторы — лауреаты Римской премии[6], желавшие припасть к истокам истинной красоты. С горячностью, присущей молодости, у которой нет ничего, кроме надежды и небольшой стипендии в кармане, они шутили, громко смеялись, курили сигары и горячо спорили об искусстве. Они обсуждали, отрицали и превозносили великих мастеров прошлого и настоящего. Все для них было восхитительным или смешным, великолепным или пошлым, ибо молодые люди не ведают середины и всегда впадают в крайности. Им не дано сочетать Его Величество *Разум* с Ее Величеством *Умеренностью*: этот брак по расчету заключается лишь спустя многие годы.

К их оживленной группе примкнул завернутый в манто, подобно философу-стоику, молодой человек, который не был ни живописцем, ни скульптором, ни архитектором. Путешествующие художники обращались к нему как к арбитру, когда спор становился слишком жарким. То был Ги де Маливер. Его справедливые и тонкие суждения выдавали подлинного знатока, критика, заслуживающего этого звания, так что молодые люди, свысока относившиеся ко всем, кто не владеет кистью, резцом или циркулем и кого они за это презрительно именуют филистерами, слушали его с некоторым почтением и иногда с ним соглашались. Разговор исчерпал себя, ибо все имеет конец, даже спор об идеальном и реальном, и собеседники спустились в кают-компанию, чтобы смочить слегка пересохшие глотки грогом или иным горячительным напитком. Маливер остался на палубе один.

Уже совсем стемнело. В черном небе сверкали ослепительно яркие созвездия. Тот, кто не видел неба Греции, не в силах вообразить подобного блеска. Звезды отражались в воде, расчерчивая ее поверхность серебристыми дорожками, похожими на отражение фонарей, освещающих набережные. Лопасти пароходных колес взбивали пену, и брызги ее взлетали, будто тысячи алмазов, на мгновение вспыхивали голубыми искрами и сливались с морской водой. Черный корабль, казалось, плыл по волнам света. Это зрелище принадлежало к тем, что вызывают восхищение даже у самого тупого обывателя, и Маливер, не будучи таковым, наслаждался им от всей души. Ему и в голову не приходило уйти с палубы и спуститься туда, где всегда царит духота, особенно неприятная после свежего воздуха. Он продолжал прогуливаться вдоль бортов, обходя арабов, расположившихся в носовой части палубы на ковриках или тонких матрасах. Завидев его, они приказывали женщинам спрятать лица, а те, думая, что их никто не видит, приподнимали свои покрывала, чтобы насладиться ночной прохладой. Как вы уже поняли, Ги сдержал обещание, данное госпоже д'Эмберкур.

Он облокотился на леер и предался самым сладким грезам. Разумеется, с тех пор как любовь к Спирите освободила его от земных интересов, поездка в Грецию уже не вызывала у него прежнего энтузиазма. Маливер мечтал о другом путешествии, но уже не пытался ускорить свой переход в мир, где находился всеми своими помыслами. Теперь он осознавал последствия самоубийства и терпеливо ожидал часа, когда являвшийся ему ангел заберет его с собою. Уверенный в будущем счастье, он отдался настоящему и наслаждался великолепием ночи, глядя вокруг глазами поэта. Ги, как и лорд Байрон, любил море. Вечное беспокойство водной стихии, ее жалобный плач, не умолкающий даже в минуты затишья, внезапный бунт и бессмысленная ярость при встрече с незыблемыми препятствиями всегда

тревожили душу Маливера. Он усматривал в тщетном бурлении моря скрытую аналогию с напрасными усилиями человека. Особенно его очаровывали пространство и пустота, горизонт, всегда близкий и всегда уходящий, торжественное однообразие пейзажа и отсутствие всяких признаков цивилизации. Та же волна, что мягко приподнимала и опускала пароход, омывала бока «изогнутых» судов, о которых говорил Гомер[7], и на ней не оставалось никаких следов. И цвет соленой воды был ровно тот же, что в те времена, когда ее бороздила флотилия древних греков. Вода слишком горда, чтобы, подобно земле, хранить раны, нанесенные человеком. Она не имеет формы, но обширна и глубока, как сама бесконечность. И Маливер, стоя на носу парохода, чувствовал себя необычайно счастливым, свободным и независимым, а судно, разрезая волну, влекло его в неизвестность. Пенный вал, обрушившись на палубу, забрызгал его одежду, волосы пропитались солью, и ему казалось, что он идет по воде, и как всадник не отделяет себя от мчащейся под ним лошади, так и он присваивал себе скорость корабля, а мысль его далеко опережала волны.

Рядом с Маливером бесшумно, словно перышко или снежинка, опустилась Спирита. Ее рука легла на плечо молодого человека. Хотя Спирита была невидима, позволительно вообразить очаровательную пару, которую составили Маливер и его бестелесная подруга. Взошла луна, большая и яркая. В ее сиянии побледнели звезды, ночь превратилась в синий день, день в стеклянном гроте чарующего лазурного цвета. Серебристый луч обрисовал на носу корабля этих Амура и Психею[8], светившихся в бриллиантовых пузырьках пены подобно двум молодым божествам на носу античной галеры. Из-за линии горизонта вынырнула и медленно поплыла ввысь звезда, и на переливчатом, вечно движущемся море протянулась широкая дорожка из серебряных блесток — ее отражение. Время от времени дельфин — возможно, потомок того, что носил когда-то Ариона[9], — рассекал своей черной спиной эту блестящую полоску и тут же исчезал в темноте, а вдали загоралась мерцающая красная точка — сигнальный огонь другого судна. Изредка словно ниоткуда возникали и исчезали неровные фиолетовые контуры островков.

— Да, — говорила Спирита, — это, несомненно, одно из самых прекрасных, если не самое прекрасное, зрелище, доступное человеческому взгляду. Но разве можно его сравнить с чудесными далями, которые я покидаю ради вас и в которых когда-нибудь мы будем летать бок о бок, «как два голубя, влекомых одной волей»?[10] Это море кажется вам огромным, но оно лишь капля в чаше бесконечности, а бледное светило над ним — едва различимый серебряный шарик, что теряется в устрашающих пространствах последней песчинкой звездной пыли. О, как бы я восхищалась этой картиной вместе с вами тогда, когда еще жила на земле и носила

имя Лавинии! Но не думайте, что я безразлична к этой красоте, я воспринимаю ее через ваши чувства.

— Спирита, как же мне не терпится поскорее узнать другую жизнь, — отвечал Маливер. — Я жажду устремиться к ослепительным, великолепным мирам, не подвластным ни мысли, ни слову, к мирам, которые нам предстоит познать вместе и где ничто не разлучит нас!

— Да, вы увидите их, узнаете их великолепие и сладость, если будете любить меня, если останетесь верны, если никогда ваша мысль не обратится вниз, если все грязное и недостойное, что есть в человеке, опустится, точно ил в стоячей воде, на самое дно вашей души. Только при этом условии нам, навеки связанным друг с другом, будет дозволено вкусить упоение божественной любовью — любовью, не знающей ни спадов, ни ослабления, ни пресыщения, любовью, которая своим жаром растопит звезды, словно крупинки мирры в огне. Мы будем слиты воедино, оставаясь самими собою, как я в не-я, движение в покое, желание в исполнении, лед в пламени. Чтобы заслужить эту высочайшую милость, помните о Спирите небесной и не думайте о Лавинии, спящей под каменным венком из белых роз.

— Разве я не полюбил вас истово, — воскликнул Маливер, — со всею чистотой и пылом, на какие способна душа, которую еще не отпустил земной мир?

— Друг мой, — отвечала Спирита, — не отступайтесь, я верю в вас.

При этих словах ее сапфировые глаза засияли любовью, а восхитительные губы приоткрылись в сладкой целомудренной улыбке.

Беседа между человеком и призраком продолжалась, пока первые лучи зари не начали подкрашивать лиловый горизонт розовым светом. Луна постепенно бледнела, вскоре над темно-синей полосой моря показался краешек солнца, и день вспыхнул подобно гигантскому взрыву. Спирита — светлый ангел — не боялась солнца, и потому она ненадолго задержалась на палубе, омытой розовыми лучами и бликами, что золотыми мотыльками играли в ее волосах, развевавшихся под утренним бризом с островов. Ведь если она и предпочитала являться по ночам, то лишь потому, что обычная человеческая суета в эти часы замирала, Ги оставался один и можно было не опасаться, что случайные свидетели примут его за сумасшедшего, обнаружив, сколь странно он себя ведет.

Она заметила, что Маливер побледнел и замерз.

— Бедное создание из плоти и крови, не надо противиться природе! Становится прохладно, утренняя роса покрыла палубу и намочила снасти. Идите в каюту, надо поспать, — с мягкой укоризной промолвила Спирита и ласково, совсем как земная женщина, добавила: — Сон не разлучит нас. Я буду рядом и отведу тебя туда, куда наяву ты еще не можешь попасть.

В самом деле, Ги снились лазурные, лучистые, сверхъестественные сны, он парил вместе со Спиритой в раю, в элизиуме[11], в смешении света, зелени и идеальной архитектуры, о которых наши бедные языки с их ограниченностью, несовершенством и расплывчатостью не могут дать даже отдаленного представления.

Нет смысла детально описывать впечатления Маливера от его путешествия по Греции, ибо нам пришлось бы выйти за рамки повествования. К тому же Ги, поглощенный любовью и своим единственным, неотступным желанием, гораздо меньше, чем раньше, обращал внимание на открывавшиеся его глазам красоты. Он взирал на природу, а видел лишь далекий, туманный и роскошный фон для того, что занимало его целиком. Мир превратился в декорацию для Спириты, и самые восхитительные пейзажи казались ему недостойными этой роли.

Тем не менее на рассвете следующего дня он не смог удержаться от возгласа восхищения и изумления. Когда пароход вышел на рейд Пирея[12], Маливеру открылась чудесная, освещенная восходящим солнцем картина: Парнит и Гимет своими аметистовыми склонами образовывали своего рода кулисы величественной декорации, а в глубине сцены возвышались причудливо изрезанный Ликабет и Пентеликон[13]. В центре, на Акрополе, подобно золотому треножнику на мраморном алтаре, вздымался Парфенон, залитый утренним перламутром. Голубоватые тона далекого неба проглядывали между полуразрушенными колоннами, придавая благородной форме храма характер воздушный и совершенный. Маливер затрепетал от ощущения прекрасного и понял то, что до сих пор оставалось непостижимым. В этом мимолетном видении ему, романтику, открылось все греческое искусство, то есть идеальные пропорции целого, абсолютная чистота линий, несравненная пленительность цвета, состоящего из белизны, лазури и света.

Едва очутившись на берегу, он поручил багаж Джеку и забрался в один из тех фиакров, что, за отсутствием античных колесниц и к стыду современной цивилизации, перевозят путешественников из Пирея в Афины по белой от пыли дороге, вдоль которой время от времени попадаются белесые оливковые деревья. Разболтанная коляска, подозрительно дребезжавшая на ходу, быстро мчалась за двумя серыми в яблоках тощими лошадками с поднятыми наверх коротко остриженными гривами: можно сказать, то были остовы или глиняные макеты мраморных лошадей, что дыбятся на рельефах Парфенона. Нет никаких сомнений, что их предки служили моделями Фидию[14]. Их изо всей силы подстегивал юноша в костюме паликара[15], и, возможно, будь в его руках приличная упряжка, он в прежние времена взял бы приз на олимпийских бегах.

Пока остальные путешественники брали приступом гостиницу «Англетер», Ги подъехал к подножию священного холма, на котором род человеческий в цветущую пору юности, поэзии и любви собрал самые чистые и совершенные творения, как будто для того, чтобы порадовать ими богов. Почтительно ступая по вековой пыли, он поднялся по древней улице Треножников, загроможденной бесформенными лачугами, и наконец достиг лестницы, ведущей к Пропилеям[16], часть ступеней которой выломали, чтобы сделать из них надгробия. Он прошел через это странное кладбище мимо беспорядочного нагромождения плит и уцелевших цоколей, на одном из которых и поныне стоит маленький храм Ники Аптерос[17], а на другом когда-то высилась конная статуя работы Кимона[18] и покоилась Пинакотека[19] — хранилище шедевров Апеллеса, Зевскида, Тиманфа и Протогена[20].

С чувством религиозного восторга миновал он Пропилеи Мнесикла[21] — шедевр, служивший достойным прологом к великим творениям Иктина[22] и Фидия. Ему, варвару с Запада, было почти стыдно топтать своими сапогами эту священную землю.

Еще несколько шагов — и он очутился перед Парфеноном, храмом девы, святилищем Афины Паллады, самого чистого воплощения идеи политеизма.

Величественное здание на фоне безоблачного синего неба потрясало воображение своей невозмутимостью и очарованием. Божественная гармония царила в его линиях, которые, повинуясь внутреннему ритму, пели гимн красоте. И каждая линия незаметно устремлялась к неведомому идеалу, к таинственной точке, но без видимых усилий, без натуги, словно была уверена в том, что достигнет ее. Казалось, над храмом витает мысль — а фронтон, антаблементы и колонны жаждут до нее дотянуться, нарушая невидимыми изгибами все горизонтальное и перпендикулярное. Прекрасные дорические колонны, задрапированные складками каннелюр и немного отклоненные назад, напоминали целомудренных дев, истомленных смутными желаниями.

Золотистый теплый свет окутывал фасад: от поцелуев времени мрамор приобрел перламутровый оттенок, подобный стыдливому румянцу.

На ступенях храма, между двумя колоннами, за которыми открывается пронаос[23], посреди яркого греческого света, столь неблагоприятного для призраков и теней, на самом пороге этого светлого, совершенного, сияющего красотой Парфенона стояла Спирита. Длинное, подобное туникам канефор[24] белое платье с мелкими складками окутывало ее до самых пят. Венок из фиалок — тех самых, чью свежесть воспел Аристофан[25] в одной из своих парабаз[26], — окружал волны ее золотых волос. В этом наряде Спирита походила на деву Афину, сошедшую с фриза. Но ее лилово-

голубые глаза сияли нежным светом, который не увидишь в глазах беломраморных богинь. К ослепительной красоте формы она добавила красоту души.

Маливер приблизился к Спирите, и она протянула к нему руку. В голове его помутилось, он увидел Парфенон таким, каким тот был в пору своего расцвета. Рухнувшие колонны встали на свои места, а выломанные лордом Элгином[27] или разрушенные венецианскими пушками фигуры[28], эти боги в человеческом обличье, выстроились на фронтонах — чистые и невредимые. Сквозь распахнутые двери храма Маливер разглядел статую из золота и слоновой кости — творение Фидия, небесную деву, непорочную Афину Палладу, но он лишь бросил рассеянный взгляд на это чудо, и глаза его вновь обратились к Спирите.

Маливер пренебрег видением прошлого, и оно рассеялось, как дым.

— О! — прошептала Спирита. — Даже искусство забыто ради любви. Его душа все дальше и дальше от земли. Он сгорает, чахнет. Скоро, скоро, душа моя, твое желание исполнится!

Сердце юной девушки еще билось в груди ее тени, и вздох приподнял ее белый пеплос[29].

Глава XVI

Спустя несколько дней после посещения Парфенона Ги де Маливер решил проехаться по окрестностям Афин и осмотреть прекрасные горы, видневшиеся в окне гостиницы. Он нанял проводника и двух лошадей, а бесполезного Джека, который только помешал бы ему, оставил в городе. Джек принадлежал к тем слугам, которым угодить труднее, чем их хозяевам, и этот недостаток делался особенно заметным во время путешествий. Он становился ворчлив и привередлив, словно старая дева. Все ему не нравилось, все возмущало — номера, постели, еда, вино, отвратительное обслуживание, и он поминутно восклицал: «Ну и дикари!» Мало того, признавая за Маливером кое-какой писательский талант, Джек считал его совершенно беспомощным и слегка помешанным, особенно в последнее время, а потому вменил себе в обязанность следить за ним. Правда, Маливеру достаточно было нахмурить брови, чтобы поставить его на место, и ментор[1] с поразительной легкостью снова превращался в слугу.

Ги спрятал несколько золотых монет в кожаном поясе, который он носил под одеждой, положил пистолеты в седельную кобуру и уехал, не сказав, когда вернется, дабы ничем себя не связывать и при случае направиться куда глаза глядят — в поисках приключений и новых впечатлений. Он знал, что, если ему захочется задержаться на несколько дней и даже

недель, Джек, привыкший к его исчезновениям, не станет волноваться и будет жить припеваючи, как только научит повара гостиницы готовить бифштекс по-своему — хорошо прожаренным снаружи и розовым внутри — то есть по-английски.

Ги намеревался за пять-шесть дней осмотреть Парнас[2]. Но прошел месяц, а Маливер и его проводник все не возвращались. В гостинице не получили письма, в котором сообщалось бы об изменении их маршрута, деньги, которые Ги взял с собой, должны были закончиться, и неизвестность начала тревожить Джека.

«Хозяин не просит денег, — подумал Джек как-то утром, поедая наконец-то хорошо поджаренный бифштекс и запивая его довольно приятным, несмотря на смоляной привкус, белым вином из Санторина[3]. — Это странно, наверное, с ним что-то стряслось. Будь он еще в пути, он указал бы, куда переслать ему средства, потому что вся наша казна осталась у меня. Если только он не сломал себе шею или ноги в какой-нибудь пропасти! Вообще, какого черта он все время разъезжает по этим грязным странам с их ужасными дорогами, нелепыми обычаями, плохой кухней, когда мы могли бы жить в Париже, в уюте, со всеми удобствами, без клопов, комаров и прочих гнусных тварей, от которых одни волдыри! Летом — другое дело, само собой, можно поехать в Виль-д'Авре, в Ла-Сель-Сен-Клу[4], в Фонтенбло, — нет, только не в Фонтенбло, там слишком много художников![5] — хотя лично я больше всего уважаю Париж. Сказано ведь: деревни — крестьянам, а вояжи — коммивояжерам, такая у них судьба. Это уже не смешно — бросить меня в трактире, чтобы я позеленел от скуки в этом городе, где кроме развалин и взглянуть-то не на что. Боже! И что им неймется, этим господам, с их обломками, как будто новые добротные дома не в тысячу раз краше! Решительно, хозяин меня совсем не бережет. Да, я слуга, мой долг — служить, но у него нет никакого права заставлять меня киснуть в «Англетере»! Если с моим дорогим хозяином — а несмотря ни на что он хозяин добрый — случилась какая беда, то я не утешусь, пока не подберу места получше! Я бы охотно отправился на поиски господина Маливера, но куда идти? Кто знает, куда завела его фантазия? Может, в самые дикие и глухие места, в пропасти и болота? Господа ведь и их считают живописными и заносят приметы в свои блокноты, будто это самая что ни на есть достопримечательность! Ладно, даю ему еще три дня. Если не вернется, начну искать его, как потерявшуюся собаку, развешу на каждом углу объявления и пообещаю приличное вознаграждение тому, кто его найдет».

Будучи слугой современным и рассудительным, славный Джек свысока смотрел на верных слуг прошлого и посмеивался над собственной нешуточной встревоженностью. В глубине души он любил Маливера и был

к нему привязан. И хотя слуга знал, что хозяин внес его имя в завещание и назначил сумму, которая обеспечит ему скромный достаток, Джек не желал Ги смерти.

Хозяин гостиницы тоже забеспокоился, но не о Маливере, а о лошадях, которых тот взял напрокат. Он то и дело оплакивал горькую судьбу таких бесподобных, таких надежных, таких красивых и послушных лошадок, и Джек, потеряв терпение, в конце концов с нескрываемым презрением сказал ему:

— Ладно! Если ваши клячи околели, вам заплатят.

После такого заверения к бравому Диамантопулосу сразу же вернулась его обычная невозмутимость.

Каждый вечер жена проводника, красивая и статная матрона, которая могла бы занять место кариатиды, что была похищена у Пандросы[6] и заменена глиняной копией, приходила справиться, не вернулся ли ее муж Ставрос, один или с путешественником. Услышав в очередной раз отрицательный ответ, она садилась на камень неподалеку от гостиницы, снимала светлую накладную косу, которая, словно обруч, поддерживала ее черные волосы, затем трясла головой, подносила ногти к щекам, как будто хотела расцарапать их, испускала душераздирающие вздохи — в общем, театрально, в античном стиле, демонстрировала свое горе. На самом деле ей было все равно: Ставрос был плохим мужем и горьким пьяницей, в подпитии он нередко бил ее и денег домой приносил мало, хотя неплохо зарабатывал на иностранцах; просто приличия ради ей полагалось лить слезы и изображать отчаяние. Злые языки утверждали, что, пока муж пропадает неведомо где, «соломенная» вдовушка находит утешение в обществе красивого паликара с осиной талией, в фустанелле[7] колоколом, на которую пошло никак не меньше шестидесяти метров тонкой плиссированной ткани, и красной шапочке с кисточкой на шнурке до середины спины. И на сей раз молва не ошиблась.

Ее горе, настоящее или мнимое, выражалось в хриплых рыданиях, напоминавших вой Гекубы[8], эти звуки крайне досаждали неверующему, но слегка суеверному Джеку.

— Не нравится мне, — ворчал он, — эта женщина воет и воет, будто собака, чующая смерть.

И когда три дня, данные Маливеру, истекли, Джек заявил в полицию.

Полицейские предприняли активные поиски там, куда предположительно отправились Маливер и его проводник. Они обшарили все склоны и на одной из глухих тропинок нашли останки лежавшей на боку лошади без сбруи. Вороны расклевали ее труп уже почти наполовину. Пуля попала ей в плечо; судя по всему, животное свалилось сразу же вместе со всадником. Вся земля вокруг была вытоптана, как после драки, но прошло слиш-

ком много времени после предполагаемого нападения — вероятно, уже несколько недель. Полустертые дождем и ветром следы не давали возможности сделать однозначные выводы. В зарослях мастиковых деревьев по соседству с тропинкой сыщики нашли ветку, задетую пулей: ее сломанный конец повис и засох.

Неподалеку в поле разыскали пистолетную пулю. Похоже, жертва нападения пыталась защищаться. Чем закончилась схватка? Все говорило о том, что ее исход был роковым, поскольку Маливер и его проводник исчезли. Лошадь опознали. Это была одна из тех, что Диамантополус дал молодому французскому путешественнику. За неимением более точных данных следствие застопорилось. Никаких других следов преступников и их жертвы или жертв — так как, вероятно, пострадали двое — тоже не обнаружили. Путеводная нить оборвалась в самом начале.

Повсюду, куда только могло занести Маливера и Ставроса, разослали детальное описание их внешности. Но никто и нигде не видел ни того, ни другого. Их путешествие закончилось в горах. Возможно, разбойники затащили Маливера в одну из труднодоступных горных пещер, чтобы получить за него выкуп. Однако это предположение отпало почти сразу, потому что бандиты прислали бы кого-нибудь из своих в город и придумали, как передать Джеку письмо с условиями выкупа и с обычными для такого рода дел угрозами изувечить пленника в случае задержки денег или убить его в случае отказа. Ничего подобного не произошло. Никаких посланий с гор в Афинах не получали, разбойники не давали о себе знать.

Джека ничуть не прельщало возвращение во Францию, где его могли обвинить в убийстве хозяина, хотя он ни шагу не сделал из гостиницы «Англетер». Он не знал, куда податься, и еще пуще прежнего проклинал страсть к путешествиям, которая завела приличного человека в дикие края, где злодеи в карнавальных костюмах подстрелили его, будто зайца.

Спустя какое-то время после завершения поисков явился Ставрос, но, боже мой, в каком виде! Изможденный, худой, осунувшийся, напуганный до безумия, — точь-в-точь призрак, который вышел из могилы, не отряхнув с себя ее прах. У него отняли богатый яркий костюм, предмет его гордости, производивший неотразимое впечатление на падких до местного колорита иностранцев. Бедняга был в жутких лохмотьях, пропитанных дорожной пылью и грязью и прикрытых сальной овечьей шкурой. Никто не признал бы в нем любимого туристами гида. О его неожиданном возвращении доложили властям. Ставроса задержали, несмотря на то, что в Афинах он был известен своей честностью. Как-никак, но он ушел с путешественником, а вернулся один: обстоятельство, которое педантичные сыщики считают подозрительным. Очень скоро Ставросу удалось доказать свою невиновность. Профессиональному проводнику не имело никакого смысла

вредить путешественникам, за счет которых он зарабатывал себе на хлеб: чтобы обворовывать своих клиентов, ему незачем было их убивать. С какой стати он стал бы подкарауливать жертву где-то в горах, если она следовала за ним по собственной воле и при этом отдавала ему добрую часть своего золота? Но то, что он рассказал о гибели Маливера, звучало весьма странно и невероятно. По его словам, они спокойно ехали по той самой тропинке, где впоследствии и был найден труп лошади, как вдруг раздался сначала один выстрел, а чуть погодя — другой. Первая пуля опрокинула лошадь господина де Маливера, вторая попала во всадника, но он сумел выхватить пистолет из кобуры и выстрелил наугад.

Трое или четверо разбойников выскочили из кустов, чтобы ограбить Маливера. Двое других схватили его, Ставроса, стащили с седла и скрутили руки, хотя он даже не пытался оказать сопротивление.

До этого момента рассказ Ставроса ничем не отличался от обычных историй о грабежах на большой дороге, зато в его продолжение было трудно поверить, хотя проводник настаивал на своем даже под присягой. Он утверждал, что видел, как рядом с умирающим Маливером, чье лицо вовсе не исказилось от предсмертных мук, а, наоборот, лучилось небесной радостью, появилась ослепительно-белая, сказочно-прекрасная фигура, не иначе, как сама Панагия[9]. Она приложила к ране путешественника свою светящуюся руку, словно желала облегчить его страдания.

Злодеи, испугавшись видения, отбежали в сторону, и тогда прекрасная дама взяла душу умершего и вознеслась с нею на небо.

Никто и никогда не смог заставить Ставроса изменить свои показания. Он сообщил также, что тело Маливера грабители спрятали под камнями, на берегу одного из тех горных потоков, что летом пересыхают и покрываются зарослями олеандра. Что до него самого, то беднягу не стали убивать, а только раздели и завели далеко в горы, чтобы он не смог сразу донести об убийстве, и ему стоило огромных трудов выбраться оттуда живым.

Ставроса отпустили на свободу: будь он убийцей, с деньгами Маливера ему ничего не стоило бы уйти на острова или на азиатский берег. То, что он вернулся, доказывало его невиновность. Сестре де Маливера, госпоже де Марияк, отправили письмо с рассказом о гибели брата, записанным со слов Ставроса. Там даже упоминалось появление Спириты; оно трактовалось как галлюцинация проводника, чей рассудок слегка помутился вследствие испуга.

В тот час, когда на Парнасе разыгралась сцена убийства, барон Ферое, как обычно, сидел один в своих неприступных апартаментах и читал то странное и мистическое сочинение Сведенборга, которое называется «Браки в жизни иной»[10].

Вдруг он почувствовал особое волнение, как будто кто-то *предупреждал* его о своем появлении. Без всякого повода ему вспомнился Маливер. Всю комнату залил свет, стены ее стали прозрачными, она раскрылась, как гипетральный храм[11], и в безграничной дали он увидел — нет, не тот небосвод, на котором задерживается взгляд обычного человека, а просторы, доступные лишь взору духовидцев.

В самой сердцевине бурлящего светового потока, который, казалось, бил из глубины бесконечности, две ярчайшие точки, похожие на объятые пламенем алмазы, сверкали, дрожали и сближались, принимая облик Маливера и Спириты. Лучась от небесного счастья, они на лету ласково соприкасались кончиками крыльев, шутили и заигрывали друг с другом, подобно двум дивным божествам.

Скоро они сомкнулись в объятии и, словно две капли росы, что
стекают по лепестку лилии, превратились в одну жемчужину[12].
— Теперь их ждет вечное счастье; слившись воедино,
их души стали ангелом любви, — печально
вздохнул барон Ферое. — А я, как долго
мне еще ждать?



ПРИЛОЖЕНИЯ



Теофиль Готье (1870-е годы)

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящий перевод осуществлен по изд.: *Gautier T.* Romans, contes et nouvelles: In 2 vol. / P.: Gallimard, 2002. (Bibliothèque de la Pléiade).

При подготовке примечаний, помимо указ. изд., использовалось изд.: *Gautier T.* Contes et récits fantastiques / Théophile Gautier; préface et dossier critique d'Alain Buisine. P.: Librairie Générale Française, 1990, а также *Gautier T.* Le roman de la momie [Texte imprimé] / Théophile Gautier; préface, commentaire et notes par Marc Eigeldinger; notes et dossier par Annie Forgeau et Marie-France Azéma. P.: Librairie Générale Française, 1997.

В примечаниях используется сокращение: Blewitt 1853 – *Blewitt O.* A handbook for travellers in Southern Italy, being a guide for the continental portion of the Kingdom of the Two Sicilies, including the city of Naples and its suburbs, Pompeii, Herculaneum, Vesuveus, the islands of the Bay of Naples, and that portion of the Papal States, which lies between the contorni of Rome and the Neapolitan frontier. L.: Murry; P.: Galignani: Stassin and Xavier; Florence: Molini and Goodban, 1853.

•

ЖАН И ЖАНЕТТА

Написана в 1850 году, впервые опубл. в газете «La Presse» (9–26 июля 1850 г.; 12 фельетонов). Отдельным изданием опубл. в том же году в парижском издательстве «Baudry» под одной обложкой с анонимно напечатанной повестью Поля Лакруа (1806–1884) «Приключение библиофила», созданной в 1849 году.

В первом издании имелся подзаголовок «История в духе рококо» («Histoire rococo»), во всех последующих переизданиях подзаголовок отсутствовал.

На русском языке публикуется впервые.

В наст. изд. использованы иллюстрации художника Адольфа Лалоза (Adolphe Lalauze; 1838–1905).

Глава I

[1] *Шанрозе* (от фр. champ rosé) – букв.: розовое поле. Здесь и далее Готье дает некоторым персонажам повести говорящие имена.

[2] *Пудра «а-ля марешаль»* — белая пудра, предназначенная специально для волос. Изобретена женой маршала Франции герцога Антуана д'Омона — Катрин Скаррон де Вор (1629—1691), которая придала пудре аромат ириса, кориандра, гвоздики, аира и циперуса. Герцогиня д'Омон являлась также создательницей духов, получивших название «Букет а-ля марешаль» (ок. 1675) и выпускавшихся вплоть до 1892 г.

[3] *Аббат.* — Уже в XVI в. во Франции аббатами называли не только настоятелей монастырей, но и всех, кто окончил курс богословия и готовился к духовному званию. Многие аббаты были младшими отпрысками аристократических семей, не питавшими надежд на получение титула и наследства. Далее в повести Готье называет своего персонажа придворным аббатом. Это означает, что восторженный поклонник маркизы служит священником при королевской часовне в Версале (см. примеч. 1 к гл. XI) или в дворцовой церкви Пале-Рояля (см. примеч. 7 к гл. X «Фортунио»).

[4] *«Снежки»* — здесь: кондитерское изделие, шарики из взбитых в пену яичных белков с сахаром.

[5] *Дюшеска* (от фр. duchesse — спальное кресло) — глубокое кресло в форме гондолы, которое было в моде во Франции во второй пол. XVIII в.

[6] *Капуцин* (Cebus) — род небольших широконосых обезьян семейства цепкохвостых, обитающих в Центральной и Южной Америке. Использованное Готье слово «sapajou» (*фр.* — обезьянка-капуцин) в разговорной речи является также синонимом озорника, развратника, сумасброда.

[7] *Гасильник* — металлический колпачок для гашения свечей, ламп, фонарей.

[8] *Грации* — в древнеримской мифологии три богини—спутницы Венеры, олицетворяющие красоту, изящество и радость; то же, что хариты в древнегреческой мифологии.

[9] *Геба.* — См. примеч. 18 к гл. III «Царя Кандавла».

[10] *...сравните... с одной из римских богинь, у которых круглые, словно яблоки, щеки и груди, как у кормилиц.* — Одним из излюбленных женских персонажей античной мифологии в живописи рококо была богиня Венера. Ее образ неизменно использовался художниками XVIII в. при написании мифологических сцен (напр., Ф. Буше «Венера, просящая у Вулкана оружие для Энея», 1732; «Рождение Венеры», 1740; Ж.-О. Фрагонар «Венера и Купидон», 1752—1753; «Рождение Венеры», 1753—1755). В своих творениях художники рококо стремились придать чувственность образу Венеры, с особым мастерством изображая телесные прелести богини, которая воспринималась как квинтэссенция женственности и эротизма. Об этом свидетельствует, в частности, следующее рассуждение Н. Ле Камю де Мезьера, одного из выдающихся теоретиков искусства своего времени, о женских образах в живописи XVIII в.: «Эти формы <...> посвящены Венере. В самом деле, взглянем на прекрасную женщину. Очертания ее тела так мягки и округлы, мускулы едва заметны, во всем царит простая и естественная нежность, которую мы скорее чувствуем, чем можем определить» (*Le Camus de Mézières N.* Le Génie de l'Architecture ou l'Analogie de cet art avec nos sensations. P.: L'Auteur: Benoit Morin, 1780. P. 122). См. также примеч. 14.

[11] *...венка... непостоянна.* — В оригинале аббат использует в качестве определения пульса маркизы слово «capriciant» — искаженную форму французского прила-

гательного «capricant», в медицине означающего «неровный», «прерывистый» (применительно к пульсу). Речевая ошибка выдает в аббате собеседника, не обладающего глубокой образованностью и не отличающегося обширными познаниями. Французские комментаторы усматривают в приведенном пассаже также аллюзию на реплику Тома Диафуаруса в комедии Мольера (наст. имя Жан-Батист Поклен; 1622—1673) «Мнимый больной» (1673; д. II, явл. 9). Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: «Dico, что пульс господина Аргана — это пульс человека больного. <...> Непостоянный». Вариант перевода определения пульса у Готье «capriciant» с помощью прилагательного «непостоянная» был выбран вслед за автором перевода комедии Мольера на русский язык.

[12] *...о недугах, которые касаются Троншена или Бордьё...* — То есть о недугах, поражающих тело, а не душу. Теодор Троншен (1709—1781) — знаменитый швейцарский врач, с 1766 г. — личный врач герцогов Орлеанских, с 1778 г. — член Российской академии наук. Троншен был в дружеских отношениях со многими философами-просветителями, в частности, он написал несколько статей по медицине для «Энциклопедии» (см. примеч. 3 к гл. XXIII) Д. Дидро (1713—1784) и Ж.-Л. Д'Аламбера (1717—1783). Сторонник вакцинации, Троншен активно боролся с предрассудками традиционной медицины: пропагандировал проветривание помещений, где находятся больные, советовал соблюдать гигиену, заниматься физическими упражнениями, совершать длительные прогулки и т. д. Теофиль де Бордьё (1722—1776) — один из самых модных парижских врачей своего времени.

[13] *Гризетка.* — См. примеч. 2 к гл. X «Фортунио».

[14] *Восемнадцатый век не скучал ~ мопсами и философами.* — Готье перечисляет основные приметы культуры и быта светского общества в период правления Людовика XV (1710—1774, король Франции с 1715 г.). XVIII в. был не только временем становления и развития интеллектуально-культурного движения Просвещения с его пафосом гражданственности, но и эпохой, ощутившей ценность частной, интимной сферы человеческого бытия. Светский образ жизни в эту пору отличало стремление к удовольствиям, наслаждению, игре, а в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве главенствовал стиль рококо — легкий, изысканный, утонченный (см. примеч. 5 к гл. IV). Философами в 18-м столетии, которое благодаря деятельности Ж.-Ж. Руссо (1712—1778), Вольтера (1694—1778), Ш.-Л. де Монтескьё (1689—1755) и многих других вошло в историю еще и как век Просвещения, называли не только ученых-мыслителей, но также всех сторонников новых идей, желавших скорейших или постепенных преобразований, писавших стихи, прозу или статьи для «Энциклопедии» (см. примеч. 3 к гл. XXIII). Более того, мода на философский образ мысли превратила понятие «философ» в обозначение самых разных форм вольнодумства, в том числе — в сфере нравственности, предполагая неприятие ригоризма с его тяжеловесностью рассуждений и строгостью и, напротив, поощряя снисходительность к слабостям человеческой натуры.

[15] *Ливр.* — См. примеч. 41 к гл. I «Фортунио».

[16] *...в ратных доспехах Марса...* — Марс — один из древнейших италийских богов, входил в триаду богов, первоначально возглавлявших древнеримский пантеон, и являлся божеством плодородия и растительности (по другой версии — дикой природы), однако впоследствии стал почитаться исключительно как бог войны. В ан-

тичности изображался, как правило, в шлеме, с копьем и щитом в руках, однако начиная с эпохи Возрождения стали появляться изображения Марса в доспехах (напр., Джулио Романо «Марс изгоняет Адониса из павильона Венеры», 1526–1528; П. Бордоне «Венера, Флора, Марс и купидон, Аллегория», 1550-е; П.-П. Рубенс «Марс и Рея Сильвия», 1616–1617).

[17] *Уистити* — обыкновенная игрунка (Callithrix jacchus), вид маленьких обезьян из рода игрунков, обитающий в экваториальных дождевых лесах Бразилии к югу от Амазонки. Уистити в большом количестве ввозили в Европу в качестве домашних питомцев: они обладали замечательной способностью легко приспосабливаться к европейскому климату, а также отлично переносили неволю и быстро приручались.

[18] *Негодник.* — В оригинале использовано слово «gredin» (*фр.* — букв.: подлец, прохвост), которым в шутку называли выведенную в Европе породу карликового спаниеля с ушками, напоминающими крылья бабочки. Две разновидности данной породы, папийон (от *фр.* — бабочка) и фален (от *фр.* — бабочка-пяденица), в нач. XVII — нач. XIX в. были в большой моде у аристократов. Изображения этих собак можно найти, в частности, на картинах П.-П. Рубенса (1577–1640), А. Ван Дейка (1599–1641) и Ф. Гойи (1746–1828), карликовых спаниелей держали Мария-Антуанетта (1755–1793) и Ж.-А. Пуассон, маркиза де Помпадур (1721–1764).

[19] «*Погремушка*» (1753) — галантно-эротическое сочинение французского писателя Поля Баре (1728–1795), которое выдержало четыре издания до Французской революции 1789–1799 гг.

[20] ...«*Шумовка*», «*Утра Цитеры*»... — Имеются в виду романы «Шумовка, или Танзай и Неадарне: Японская история» (1734) и «Ночь и мгновение, или Утра Цитеры» (1755) французского новеллиста и романиста Клода-Проспера Жолио де Кребийона, более известного как Кребийон-сын (1707–1777). Романы пользовались такой популярностью в XVIII в., что, к примеру, «Шумовка» до Французской революции переиздавалась 25 раз.

[21] ...*речь феи Усыни, которую превратил в кротиху злой дух Нарцисс... где она перечисляет Танзаю и Неадарне достоинства... принца Баклана*? — Имеются в виду персонажи самого популярного романа Кребийона-сына «Шумовка, или Танзай и Неадарне» (см. примеч. 20). В оригинале романа фею Усыню заколдовал не злой дух Нарцисс, а фея Брадакела, желавшая уберечь Усыню от гнева влюбленного в нее Нарцисса (ч. II, кн. 3, гл. XXVI). Далее в тексте повести Готье следует несколько измененный и сокращенный отрывок из «Шумовки» (гл. XXIV).

[22] *Панегирик* — первоначально жанр торжественно-хвалебной речи в честь некоего лица или события, усиленно разрабатывавшийся античной риторикой. В XVI–XVIII вв. панегирик стал жанром придворной поэзии, однако позднее выродился как литературный жанр и утратил свое значение. В более широком смысле слова, к примеру, как в соответствующем пассаже Готье, панегириком называется всякое восхваление, независимо от жанра, в котором оно выражено.

[23] ...*совершенно неподражаемым жеманным тоном*... — Готье использует для определения манеры декламации аббата слово «superlicocantieux» (см. примеч. 9 к гл. IX «Милитоны»).

[24] *Тру-мадам* — старинная игра, в которой игроки по очереди с расстояния в несколько метров закатывали 13 (иногда меньше) железных шариков (или шайб) в

13 воротец, выстроенных аркадой. Воротца были неравноценны: попав в одни из них, игрок получал призовые очки, в другие — штрафные.

[25] *Игра в мяч* — старинная французская игра, в которой игроки делились на две команды, как правило, на мужскую и женскую. Площадка для игры не ограничивалась, судьи не было, счет не велся. Игроки одной команды должны были удерживать мяч как можно дольше, перебрасывая его друг другу любым способом, в то время как игроки другой команды старались отнять мяч у противников.

[26] *Шевалье* — французский титул; первоначально присваивался рыцарям, впоследствии часто использовался членами дворянских семей, не обладавшими никакими другими титулами (напр., младшими сыновьями), для обозначения своей принадлежности к дворянству.

[27] *...здаком Мидасе... но без ослиных ушей...* — Аллюзия на древнегреческий миф о фригийском царе Мидасе, который, выступая судьей на музыкальном состязании между Аполлоном и Паном, предпочел отдать победу последнему. По другой версии мифа, судьей в поединке стал Тмол, который присудил первенство Аполлону, Мидас же самовольно вмешался в спор и потребовал признать победителем Пана. За опрометчивое суждение Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами, которые царю приходилось прятать под фригийским колпаком. См. также примеч. 5—6 к гл. I «Царя Кандавла».

[28] *Амбра* — воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалота; используется как закрепитель аромата духов в парфюмерии или для окуривания помещений.

[29] *Поворотный мост* — в прошлом (вплоть до XVIII в.) деревянный мост через ров между оградой дворца Тюильри и площадью Людовика XV (современной площадью Согласия). При Людовике XV по предложению архитектора А.-Ж. Габриэля (1698—1782) ров был засыпан, мост убран, а образовавшаяся дорога от Тюильри к площади получила название «эспланады Поворотного моста».

[30] *Кур-ла-Рен* — парк и садовая аллея на правом берегу Сены, разбитые в 1616 г. по приказу Марии Медичи от сада Тюильри до того места, где позднее в XIX в. был построен мост Инвалидов. Аллея, заканчивавшаяся полукругом, который позволял экипажам разворачиваться, вскоре стала модным местом для прогулок.

Глава II

[1] *Мартен* — семья потомственных мастеров росписи лакированных изделий и краснодеревщиков, завоевавших известность в нач. XVIII в. благодаря изобретению технологии изготовления лаков (запатентована в 1730 г.), подобных японским и китайским.

[2] *...похожую на раковину Венеры.* — В античной традиции раковина считалась одним из атрибутов древнегреческой богини Афродиты, в Древнем Риме почитавшейся под именем Венеры. Согласно одной из версий мифа, богиня появилась на свет из морской раковины (именно этот вариант мифа о рождении богини запечатлен на полотне Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», 1484—1486). Вместе с тем раковина являлась также излюбленным декоративным элементом рококо.

[3] *Фигурантка.* — См. примеч. 1 к гл. VI «Невинных распутников».

[4] *«Галантная Индия»* (1735) — опера-балет Ж.-Ф. Рамо (см. примеч. 7 к гл. V) на либретто Л. Фюзелье (1672—1752), одно из самых известных и популярных творений композитора.

[5] *В Опере пели... менее крикливо... благодаря Жан-Жаку Руссо, гражданину Женевы...* — Великий писатель и мыслитель Жан-Жак Руссо был уроженцем Женевы, самостоятельного республиканского государства, вошедшего в швейцарскую конфедерацию лишь в 1815 г. Философ сам называл себя «гражданин Женевы» (в частности, подписывал так свои сочинения), и это обозначение вскоре стало общепринятым. В «Письме о французской музыке» (1753) Руссо подверг Ж.-Ф. Рамо критике за его музыкальные пристрастия, в частности, за вычурность его произведений, отличавшихся декоративностью и слабым мелодизмом. Вместе с тем Руссо отметил, что французский язык гораздо менее мелодичен, чем итальянский, поэтому французским оперным исполнителям приходится кричать, чтобы добиться выразительности. В этой связи писатель назвал пение французских оперных певцов постоянным лаем, невыносимым для непривычного слуха. Эти мысли Руссо развил позднее в романе «Юлия, или Новая Элоиза» (ч. I, письмо XLVIII; ч. II, письмо XXIII).

[6] *...французский вой...* — Это выражение (*ит.* urlo francese) использовалось в XVIII в. итальянскими певцами и педагогами вокала (среди них — А. Бернакки, П.-Ф. Този, Н. Порпора) для обозначения французской техники пения, отличной от итальянской техники бельканто. Большее, по сравнению с итальянской традицией, значение, которое французские исполнители придавали слову, драматическому действию, аффектам, воспринималось итальянскими исполнителями и учителями вокала как напыщенно-крикливая манера пения. В сер. XVIII в. это различие музыкальных вкусов привело к знаменитой «войне буффонов» и «антибуффонов»: часть французов (среди них — Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, М. Гримм) выступала в защиту итальянской музыки и пения (в духе итальянской оперы-буффа), другая часть (к которой принадлежал и Вольтер) отстаивала значение французской оперной и вокальной школы.

[7] *Альманзор* (искаж. араб. Аль-Мансур) — букв.: победоносец. Альманзором, к примеру, звали слугу из пьесы Мольера «Смешные жеманницы» (1659), а также персонаж одноименного стихотворения Генриха Гейне (1797—1856) из сборника «Книга песен» (1823—1824).

[8] *Жюстина* (от фр. juste) — букв.: верная, правильная, справедливая. Для читателя повести Готье имя служанки маркизы, впрочем, обладало и дополнительной литературной коннотацией — так звали главный женский персонаж романа маркиза де Сада (лит. имя Донасьена Альфонса Франсуа, графа де Сада; 1740—1814) «Жюстина, или Несчастья добродетели» (1791).

[9] *...только не на прекрасную Артемисию, вдову Мавсола.* — Имеется в виду Артемисия (ум. 350 до н. э.), вдова сатрапа Карии Мавсола (377—353 до н. э.), которая предавалась необычайной скорби о своем почившем муже, приходившемся ей одновременно братом. По свидетельствам античных историков, она подмешивала прах супруга в свое питье, чтобы приблизить собственную смерть, и, дабы увековечить память Мавсола, приказала воздвигнуть ему в Геликарнасе (современный Бодрум в Турции) грандиозную усыпальницу, названную по имени умершего

правителя Мавзолеем и считавшуюся в древности одним из семи чудес света (см., напр.: *Авл Геллий*. Аттические ночи. X. 18; *Страбон*. География. XIV. II, 16–17; *Плиний Старший*. Естественная история. XXXVI. IV. 30). В действительности строительство усыпальницы, предназначавшейся обоим супругам, было начато еще при жизни Мавсола и закончено после смерти его жены. Имя Артемисии, пережившей своего мужа всего лишь на три года, стало символом супружеской верности.

[10] *Ла Дезобри*. – Во французском языке использование формы определенного артикля женского рода «ла» («la») перед фамилией вместо вежливого обращения «мадам» свидетельствует о презрительном отношении говорящего к обладательнице имени и указывает на то, что последняя является дамой полусвета или прислугой.

[11] *Загородные домики* (ф р. petites maisons). – Восприятие интимной сферы жизни как ценности в сочетании с определенной вольностью нравов высшего общества второй пол. XVIII в. нашли отражение, среди прочего, в настоятельной необходимости обзаводиться укромным жилищем, где аристократы могли бы отдохнуть, в частности, от светских условностей. Так, Людовик XIV (1638–1717, король Франции с 1643 г.) приказал соорудить для встреч со своей фавориткой Ф.-А. де Рошешуар, маркизой де Монтеспан (1640–1707) дворец Фарфоровый Трианон (1670), а Людовик XV в 1762 г. начал строительство Малого Трианона для мадам де Помпадур, которая, однако, не дожила до его завершения в 1768 г., и дворец перешел к новой фаворитке, М.-Ж. Бекю, графине Дюбарри (1743–1793). После восшествия на престол Людовик XVI (1754–1793, король Франции в 1774–1792 гг.) передал дворец и прилегающий парк в качестве частной резиденции Марии-Антуанетте (1755–1793). Использованное Готье словосочетание «petite maison» стоит в одном лингвокультурном ряду с сочетаниями «petit-maitre» (*фр.* – светский щеголь, вертопрах; слово «петиметр» вошло также в русский язык) и «petit souper» (*фр.* – букв.: маленький ужин; обычно – интимный ужин для двоих или для тесной компании).

[12] *Азолан*. – Готье в данном случае, как и в некоторых других (см. т. II, с. 558 наст. изд.), называет своего персонажа именем, имеющим литературную родословную. Азоланом звали, в частности, егеря виконта де Вальмона, персонажа романа П.-А.-Ф. Шодерло де Лакло (1741–1803) «Опасные связи» (1782). Автор «Опасных связей», по-видимому, заимствовал это имя из небольшой стихотворной повести Вольтера «Азолан» (1764), на основе которой в 1774 г. в Парижской опере был поставлен героический балет «Азолан, или Неразумное обещание» (музыка Э.-Ж. Флока, либретто П.-Р. Лемонье). Впрочем, сюжет повести и балетного либретто, построенный на том, что мусульманин Азолан дает ангелу Габриэлю клятву не прикасаться к женщине, однако, став богатым имамом, влюбляется в девушку Амину и нарушает обещание, вследствие чего лишается имущества и должности, не имеет ничего общего с романом Шодерло де Лакло.

[13] *Сиделец*. – В оригинале использовано устаревшее французское слово «courteau», которому соответствует устаревшее русское слово «сиделец», обозначавшее лавочника, торговавшего в лавке, собственником коей являлось другое лицо, например, купец. Сиделец мог быть на жалованье, как в данном случае, или на отчете, т. е. получать часть прибыли от продаж.

[14] *Пре-Сен-Жерве* – северо-восточный пригород Парижа.

[15] *...платье с казакином...* — В оригинале использовано словосочетание «fourreau et casaquin», которое буквально переводится с французского как чехол с казакином. Во времена Готье слово «fourreau» означало нижнее платье, на которое непременно надевалось верхнее платье или накидка, к примеру, казакин, т. е. приталенный жакет с пышной баской и глубоким декольте.

[16] *Субретка.* — См. примеч. 8 к гл. III «Невинных распутников».

[17] *...обязана своими прелестями тайной поддержке хитроумных предметов туалета.* — Речь идет прежде всего о корсете, являвшемся непременным атрибутом женского платья. К XVIII в. корсет превратился в сложное сооружение из кожаных и металлических пластин, клиньев прочной ткани со вставками из китового уса и дерева. Корсет туго зашнуровывался, что позволяло сделать талию уже, а грудь выше и тем самым достичь модного в XVIII в. силуэта — «перевернутой рюмочки». Тонкая, стянутая корсетом талия, прямые плечи и бокалообразная юбка создавали необходимое впечатление. Кроме того, с 1720-х годов модницы стали носить фижмы (см. примеч. 11 к гл. IV) и туфли на высоком каблуке.

[18] *...мужчин, которых ни в грош не ставят их камердинеры.* — Аллюзия на старинное французское крылатое выражение «Il n'y a pas de héros pour son valet de chambre» (букв.: для камердинера нет героя), которое в той или иной формулировке приписывается разным авторам. Так, Ш. Аиссе (1693—1733), более известная как мадемуазель Аиссе, в письме от 13 августа 1728 г. называет автором изречения А.-М. Биго де Корнюэль (1605 или 1614—1694); между тем оно встречается уже у М. Монтеня (см.: Опыты. III. 2).

[19] *Фиакр.* — См. примеч. 2 к гл. II «Невинных распутников».

Глава III

[1] *Гимар* Мари-Мадлен (1743—1816) — прославленная французская артистка балета, сохранявшая за собой звание первой танцовщицы Парижской оперы на протяжении почти 30 лет. Танцевальную карьеру начала в 1758 г. в кордебалете театра «Комеди Франсез». В 1761 г. была приглашена в Парижскую оперу, где в 1762 г. исполнила первую ответственную партию Терпсихоры в балете К. де Бламона (1690—1760) «Греческие и римские праздники», а в 1764 г. с большим успехом выступила в партии Тени в опере-балете Ж.-Ф. Рамо «Кастор и Поллукс». Танец Гимар отличался драматической выразительностью, грацией, гармонией движений. Гимар обладала мимическим талантом; особенно ей удавались классические и полухарактерные партии. Ж.-Ж. Новер (1727—1810) высоко ценил артистизм, легкость и выразительность танца Гимар, в частности, балетмейстер доверил ей партию Креузы в своем балете «Медея и Ясон» (1763). Некрасивая и очень худая, покрытая оспинами, она получила прозвище «скелет грации». Гимар была одинаково известна непревзойденным талантом танцовщицы и своими многочисленными романами, из-за которых она получила репутацию куртизанки. Ее особняк на улице Шоссе-д'Антен, построенный архитектором К.-Н. Леду (1736—1806) и оформленный Ж.-О. Фрагонаром, считался одной из достопримечательностей Парижа. В нем находился театр на 500 мест и устраивались роскошные празднества.

[2] *Королевская академия музыки и танца.* — Королевская академия танца была образована в марте 1661 г. Ее появление предшествовало открытию в 1669 г. Коро-

левской академии музыки (см. примеч. 34 к гл. I «Фортунио»), в которую она была интегрирована в 1670 г.

[3] *...этой, как называл ее господин де Мармонтель, про́клятой красотки...* — Жан Франсуа Мармонтель (1723—1799) — французский литератор, автор сборника «Нравоучительные повести» (1761). Французские комментаторы Готье полагают, что писатель назвал М.-М. Гимар «про́клятой красоткой» в своих мемуарах, однако в тексте воспоминаний Мармонтеля отсутствуют как упоминание о Гимар, так и приведенное Готье выражение. В действительности прозвище танцовщицы встречается в стихотворном «Послании мадемуазель Гимар» (1768) Мармонтеля (см.: *Marmontel J.-F.* Œuvres completes: En 10 vol. P.: Verdière, 1819. T. 10. P. 487).

[4] *...принадлежавшим мягкой легкой кисти господина Фрагонара...* — Жан Оноре Фрагонар (1732—1806) — знаменитый французский живописец и гравер, один из наиболее выдающихся художников эпохи Людовика XVI, прославился виртуозно исполненными галантными и бытовыми сценами, в которых изящество рококо сочетается с верностью натуре, тонкостью световоздушных эффектов. Был другом М.-М. Гимар (см. примеч. 1), написал несколько портретов танцовщицы.

[5] *...рядового живописца Терпсихоры.* — Терпсихора — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, дочерей бога Зевса и титаниды Мельпомены, покровительница танцев. Называя Фрагонара рядовым живописцем музы, Готье, очевидно, имеет в виду дружеские отношения, связывавшие художника с М.-М. Гимар (см. примеч. 1), а также ряд портретов балерины кисти мастера.

[6] *...дары Цереры, Бахуса и Помоны...* — То есть зерно, виноград и фрукты. В древнеримской мифологии Церера считалась богиней злаков и урожая, Бахус — богом виноградарства и виноделия, а Помона — богиней садов и плодов. В русской литературе стало крылатым выражение «дары Помоны и Флоры», означающее обилие плодов и цветов. Ср., напр.: «А мост, а пышные дары | Помоны, Бахуса и Флоры!» (*Языков Н.М.* П.А. Осиповой (1827)); «<...> с балкона | Могу сойти в веселый сад, | Где вместе Флора и Помона | Цветы с плодами мне дарят, <...> Все хвалят Вакха и Помону | И с ними красную весну...» (*Пушкин А.С.* Послание к Юдину (1815)); «Торжественно расправила она свой кринолин, с чувством невообразимого достоинства укрепила на голове невозможную куафюру, представлявшую образцы всех даров Цереры, Помоны и Флоры, и, бросив на прочих дам презрительный взгляд, оперлась на руку Луганина так, как оперлась бы, вероятно, статуя Баварии или Сухарева башня» (*Колошин С.П.* Современный недоросль).

[7] *Амфитрита* — в древнегреческой мифологии одна из нереид, богиня моря, дочь Нерея и Дориды, супруга владыки морей Посейдона.

[8] *Медальон.* — См. примеч. 2 к гл. XVI «Фортунио».

[9] *...вино из Аи и Силлери.* — Имеются в виду лучшие сорта шампанских вин того времени Аи и Силлери, названные по месту произрастания виноградников — городку Аи и деревне Силлери в окрестностях Реймса. Шампанские вина считались в XVIII в. роскошью, доступной исключительно богатым и знатным людям.

[10] *Жермен* — династия французских придворных ювелиров, начало которой положил при Людовике XIV сын ювелира Франсуа Жермена (ум. 1676) Пьер Жермен (ок. 1645—1684), а продолжили сын последнего Тома (1673—1748) и внук Франсуа-Тома (1726—1791), развивавшие в ювелирном искусстве стиль рококо. В част-

ности, «божественную руку» Тома Жермена восхвалял Вольтер (послание XXVIII, 1778). Готье, очевидно, имел в виду Франсуа-Тома Жермена, особенно прославившегося серебряными изделиями.

[11] *Клодион* — прозвище Клода Мишеля (1738—1814), французского скульптора, чьи произведения по праву считаются квинтэссенцией стиля рококо. Прославился изумительно изящными и живописными по лепке статуэтками, изображавшими веселящихся сатиров, вакханок, амуров и нимф. Многие произведения Клодиона послужили моделями для севрского фарфора (см. примеч. 18 к гл. I «Фортунио»).

[12] *...историю нимфы Сиринги, за которой в зарослях тростника гнался великий бог Пан...* — Аллюзия на древнегреческий миф о нимфе-гомадриаде Сиринге (*греч.* — свирель), которую полюбил бог лесов, полей и стад Пан. Преследуемая похотливым божеством, Сиринга бросилась к реке Ладон и умолила своих сестер-наяд спасти ее. Наяды превратили Сирингу в тростник, который издавал жалобные звуки на ветру. Пан сделал из тростника свирель, носящую имя нимфы и ставшую излюбленным инструментом бога.

[13] *Эгипан* — персонаж древнегреческой мифологии, обычно отождествлявшийся с Паном (см. примеч. 12), иногда, впрочем, называвшийся сыном этого бога или сыном Зевса и одной из нимф. У Готье Эгипан, очевидно, превратился в низшее божество из свиты Пана наподобие сатира (см. примеч. 14).

[14] *Сатиры* — в древнегреческой мифологии демоны плодородия, составлявшие вместе с силенами свиту Диониса. По представлениям древних греков, они были покрыты шерстью, длинноволосы, бородаты, с копытами (козлиными или лошадиными), лошадиными хвостами, рожками или лошадиными ушами, однако считалось, что торс и голова у них человеческие. Сатиры изображались похотливыми существами, падкими на вино и часто преследовавшими нимф и менад.

[15] *Фавн* — в древнеримской мифологии бог полей, лесов, пастбищ и животных, считался лукавым духом, похищавшим детей, насылавшим болезни и кошмары и соблазнявшим женщин. Существовали представления как о множественности Фавна, так и об одном Фавне. Впоследствии был отождествлен с Паном (см. примеч. 12).

[16] *Откупщик* — частное лицо, взявшее на откуп сбор какого-либо налога и/или продажу определенных видов товаров (соли, вина и др.). По договору откупщики обязаны были отчислять в казну определенную сумму. Крупные откупщики не собирали налогов сами, а уступали это право нескольким мелким сборщикам, действовавшим на местах. Эта должность была введена в 1681 г. при министре Людовика XIV Ж.-Б. Кольбере (1619—1683) для пополнения государственной казны.

[17] *Антифраза* — риторическая фигура, основанная на ироническом употреблении слова в значении, прямо противоположном его смыслу; здесь: контраст.

[18] *Весталка* — в Древнем Риме жрица Весты, богини священного очага городской общины (также курии и дома), дававшая обет безбрачия и хранившая целомудрие. После обряда посвящения богине носила белые одежды.

[19] *Комедия.* — Имеется в виду театр французской комедии «Комеди Франсез», который называется также «Французским театром» и «Домом Мольера». Основан в Париже в 1680 г. по указу Людовика XIV, объединившему театр Мольера (ранее слившийся с театром «Маре») и театр «Бургундский отель». Обладая монополией

на исполнение литературной драмы и получая дотацию, позволявшую приглашать лучших актеров, «Комеди Франсез» в скором времени завоевал славу крупнейшего театра Франции.

Глава IV

[1] *Кандаль.* — У имени виконта тот же корень, что и в слове «candide» (*фр.* — чистосердечный, простодушный). В нем угадывается аллюзия на имя персонажа философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).

[2] *...за Мрачного Красавца... за... нового Амадиса Галльского!* — Мрачный Красавец — имя, которое взял себе рыцарь Амадис Галльский (см. примеч. 9 к гл. X «Фортунио»), после того как его отвергла принцесса Ориана и он, наложив на себя покаяние, удалился в горы. Это имя стало нарицательным для обозначения определенного типа мужчин — задумчивых печальных брюнетов, внешне бесстрастных и равнодушных к женщинам.

[3] *...похожи на прокурора, восседающего на лилиях.* — Готье использует выражение «siéger sur les lis» (*фр.* — букв.: сидеть/восседать на лилиях), употреблявшееся по отношению к членам Верховного суда, которые в действительности сидели в креслах, обитых тканью с изображением геральдических лилий.

[4] *Вальнуар* (от фр. val noir) — букв.: черная долина. Это имя ранее использовал в своей мелодраме «Госпожа де Вальнуар» (1814) Поль де Кок (1793—1871).

[5] *Рокайльный* — выдержанный в стиле рококо, возникшем в европейских пластических искусствах в первой пол. XVIII в. С нач. 18-го столетия в моду вошли обитые шелком и украшенные резьбой кресла и диваны с мягкими сиденьями и удобными спинками. В ранний период развития французского рококо предметам обстановки придавались прихотливо изогнутые формы (так наз. стиль регентства). Позднее в декоре мебели широко использовался изысканный резной орнамент, в котором сочетались завитки, рокайли, причудливые растительные мотивы, изображения птиц, фигурки крылатых младенцев-путти, женские головки, разорванные картуши и проч. См. также примеч. 14 к гл. I.

[6] *Пафос* — здесь: большой, длинный диван с прямоугольной спинкой, который был в моде в Европе XVIII в.

[7] *Вулкан* — в древнеримской мифологии бог разрушительного и очистительного пламени, отождествлявшийся с древнегреческим богом Гефестом. В отличие от большинства небожителей, Вулкан не обладал красотой, а также был вспыльчив и ревнив из-за ветрености своей супруги богини Венеры.

[8] *Епитимья* — в христианстве церковное наказание в виде строгого поста, длительных молитв, поклонов, отлучения от причастия и т. п., которое налагается духовным лицом на исповедующегося в зависимости от его грехов, возраста, положения и раскаяния.

[9] *...как гирканская тигрица...* — Выражение «гирканская тигрица» как иносказательное обозначение очень свирепого и жестокого создания заимствовано у Вергилия (см.: Энеида. IV. 367). Ср. в пер. С. Ошерова: «<...> В чащах Гирканских ты был тигрицей вскормлен свирепой!» Оно также используется, в частности, Шекспиром в трагедии «Макбет» (1606), трилогии «Генрих VI» (1590—1592) и в несколь-

ко измененном виде в трагедии «Гамлет» (1600–1601). Ср. в пер. М. Лозинского: «<...> Предстань мне русским всклоченным медведем, | Гирканским тигром, грозным носорогом <...>» (Макбет. Акт III, сц. 4); «Косматый Пирр с гирканским зверем схожий» (Гамлет. Акт II, сц. 2). Ср. также в пер. Е. Бируковой: «Но вы жесточе и бесчеловечней, | О, злее в десять раз гирканских тигров!» (Генрих VI. Ч. III. Акт I, сц. 4). О Гиркании см. примеч. 9 к гл. XII «Фортунио».

[10] *...строить водные каскады в саду... замка – это разоряет даже королей.* – Намек на строительство фонтанов и каскадов в Версале (см. примеч. 1 к гл. XI).

[11] *Фижмы* – широкий каркас из ивовых или стальных прутьев либо из пластин китового уса, вставлявшийся под юбку у бедер, а также юбка с таким каркасом. Были в моде в 20–80-е годы XVIII в. Фижмы помогали придворным дамам достичь модного в XVIII в. силуэта «перевернутой рюмочки».

[12] *Визави* – легкая закрытая двухместная коляска с расположенными друг напротив друга сиденьями.

[13] *Боннар* (от фр. bonard) – букв.: добряк, простак.

Глава V

[1] *Росинант* – ироническое название худой, изнуренной лошади. Произошло от имени, которое придумал для своей лошади, хромоногой тощей клячи, Дон-Кихот, соединив слова «rocín» (*исп.* – кляча) и «ante» (*исп.* – прежде, впереди). По мнению идальго, это благородное звучное имя должно было означать, что если прежде его лошадь была обыкновенной клячей, то отныне стала первой клячей в мире и впереди всех остальных (см.: *Сервантес М. де.* Дон-Кихот. Ч. I. Гл. 1).

[2] *...господин начальник полиции был более занят поиском скандальных историй для развлечения короля, своего повелителя...* – Начальник полиции – должность, учрежденная Людовиком XIV в 1667 г. В обязанности начальника полиции входил надзор за порядком и борьба с преступностью, руководство тайной полицией и судом, контроль за чистотой и благоустройством города, а также за книгоиздательской деятельностью. О своей работе начальник полиции докладывал лично королю, в данном случае Людовику XV, который помимо прочего всегда интересовался свежими происшествиями и просил рассказать ему что-либо забавное. См. также примеч. 13 к гл. XVIII.

[3] *Савояр* – уроженец Савойи, исторического региона на юго-востоке Франции. В XVI–XVII вв. территория Савойи несколько раз оккупировалась французскими войсками, однако герцоги Савойские неизменно восстанавливали независимость своего государства. В поисках работы савояры нередко перебирались в другие регионы Франции. Одетые в национальные костюмы, заменявшие им ливреи, савояры часто работали в Париже в качестве портье.

[4] *Одино* Никола-Медар (1732–1801) – французский актер и драматург. Дебютировал в 1764 г. в Итальянском театре на Итальянском бульваре, а в 1770 г. основал свой театр «Амбигю-Комик» на бульваре Сен-Мартен, где начал ставить мелодрамы.

[5] *Королевский Гран-дансёр* – один из первых театров комедии на бульваре Тампль в Париже. В 1770 г., после того как на одном из представлений госпожа

М.-Ж. Дюбарри (см. примеч. 1 к гл. XVII) расхохоталась, а Людовик XV улыбнулся, театр получил статус Королевского.

[6] *Бурре* — здесь: старинный французский народный танец, который в XVII в. превратился в придворный быстрый танец с характерным четным размером и четким ритмом. В первой пол. XVIII в. бурре стало одним из наиболее популярных европейских танцев.

[7] *...господин Рамо, непревзойденный сочинитель весьма замысловатых музыкальных композиций...* — Жан-Филипп Рамо (1683—1764) — крупнейший французский композитор и музыкальный теоретик XVIII в. Изначально приобрел известность как автор пьес для клавесина, затем как сочинитель музыки для комедий и, наконец, как оперный композитор. Рамо изменил стиль классицистической оперы, придал оперной музыке большую эмоциональность и выразительность, а также ввел в оперу симфоническую музыку и новые инструменты. Основным выразительным средством Рамо стала не мелодия, а насыщенное и экспрессивное употребление гармонии — в этом заключалась самобытность оперного стиля композитора. Его лучшими творениями считаются лирические трагедии «Ипполит и Арисия» (1733), «Кастор и Поллукс», «Дардан» (1739), а также опера-балет «Галантная Индия».

[8] *Амфион* — персонаж древнегреческой мифологии, сын Зевса и Антиопы, получивший от Гермеса лиру, при звуках которой камни сами укладывались в стены.

[9] *Мадригал* — здесь: любезность, комплимент. См. также примеч. 64 к гл. I «Фортунио».

[10] *Москательщик* — владелец москательной лавки, торгующий химическими товарами (красками, клеем, спиртом и т. п.), а также специями и ингредиентами для изготовления лекарств и косметики. Торговля лекарствами во Франции полностью отошла к аптекам лишь после 1777 г., когда цех аптекарей отделился от цеха торговцев пряностями.

[11] *Улица Сент-Авуа* — в настоящее время проезд Сент-Авуа, расположенный в 3-м округе Парижа.

[12] *Котильон* — бальный танец, возникший во Франции в XVIII в. и сходный по типу с контрдансом (см. примеч. 21 к гл. I «Невинных распутников»). Котильон объединял несколько самостоятельных танцев (вальс, мазурку, польку) и исполнялся всеми участниками в конце бала. Вел котильон лучший танцор, который объявлял очередность исполнения отдельных фигур и давал сигнал оркестру менять танцы.

[13] *...шестиаршинные фижмы.* — Ироническая гипербола: французский аршин равнялся 118,84 см.

[14] *...носику Роксоланы...* — То есть слегка вздернутому носику. Роксолана (наст. имя Анастасия Гавриловна Лисовская; ок. 1506—1558) — наложница, позже любимая жена султана Османской империи Сулеймана I Кануни (в европейской традиции Великолепного; 1495—1566). Ей посвятил свою 63-ю симфонию до мажор (1779—1781) австрийский композитор Йозеф Гайдн (1732—1809). Выражение «носик Роксоланы» в XIX в. было нарицательным.

[15] *...вишенки, из тех, что Жан-Жак Руссо бросал с верхушки дерева на грудь мадемуазель Галлей.* — Аллюзия на эпизод из произведения Ж.-Ж. Руссо «Исповедь» (1766—1769, опубл. 1782—1789; кн. IV). Ср. в пер. Д. Горбова и М.Н. Розанова: «Я влез

на дерево и кидал им пригоршни вишен, а они сквозь ветви бросали в меня косточками. Раз м-ль Галлей, протянув фартук и откинув голову, стала так удобно, а я прицелился так метко, что одна пригоршня попала прямо ей на грудь».

[16] *Митенки.* — См. примеч. 12 к гл. VI «Фортунио».

[17] *Арахна.* — См. примеч. 8 к гл. V «Царя Кандавла».

[18] *Поэт-мушкетер Дора...* — Клод-Жозеф Дора (1734—1780) — французский поэт, готовившийся стать адвокатом и некоторое время состоявший в рядах мушкетеров. Многочисленные стихотворения Дора отличались изяществом, легкостью, гедонистическим настроением и пользовались успехом, особенно у дам. Однако просветители подвергали Дора резкой критике за отсутствие в его поэзии философской глубины.

[19] *Эрнелинда* — персонаж лирической трагедии французского композитора Ф.-А. Даникана-Филидора (1726—1795) «Эрнелинда, норвежская принцесса» (1767).

Глава VI

[1] *...танцевала гавот, менуэт...* — Гавот — старинный французский народный танец умеренного темпа, первоначально хороводный. Менуэт — старинный грациозный французский танец, произошедший от медленного народного хороводного танца провинции Пуату. В XVII—XVIII вв. оба танца стали бальными и пользовались большой популярностью при дворе.

[2] *Марсель* Франсуа-Робер (169? — 1759) — известный танцовщик и педагог своего времени, в 1724 г. покинул сцену и в 1726 г. стал главным придворным хореографом.

[3] *...стойкий, как юный спартанец, которому раздирала внутренности лисица...* — Аллюзия на описанный Плутархом случай, который древнегреческий историк приводит в качестве примера суровости воспитания спартанцев (см.: Изречения известных спартанцев. 35). Ср. в пер. М.Н. Ботвинника: «Другой мальчик достиг возраста, когда согласно спартанскому обычаю свободные мальчики должны воровать всё что угодно, но только не попадаться; его товарищи украли живого лисенка и передали ему на сохранение. В это время те, кто потерял лисенка, явились его разыскивать. Мальчик спрятал лисенка под плащ, и рассерженный зверек начал грызть его бок, пока не добрался до внутренностей; мальчик, боясь, что его уличат, не подавал виду. Когда наконец преследователи ушли и его товарищи увидели, что произошло, они стали бранить мальчика, говоря, что лучше было показать лисенка, чем прятать, жертвуя ради этого жизнью. "Нет, — сказал мальчик, — лучше умереть, не поддавшись боли, чем, проявив слабость, обнаружить себя и ценой позора сохранить жизнь"».

[4] *...из марказита, или рейнского камня...* — Речь идет о лучистом колчедане, минерале класса сульфидов латунно-желтого цвета. Во Франции в XVIII—XIX вв. марказитом называли также ограненный пирит, использовавшийся для недорогих украшений.

[5] *...юного служителя Фемиды...* — То есть служителя закона. Фемида — в древнегреческой мифологии богиня правосудия, дочь Урана и Геи, титанида, вторая законная супруга Зевса, мать гор и мойр.

Глава VII

[1] *...образцовой горничной, которую господин де Мариво вывел в одной из своих комедий под именем Лизетты...* — Пьер Карле де Шамблен де Мариво (1688–1763) — французский драматург и прозаик. Женский персонаж с указанным именем встречается в нескольких комедиях Мариво (1688–1763), в частности, в пьесах «Двойное непостоянство» (1723), «Мать-наперсница» (1735) и др., но в данном случае, скорее всего, имеется в виду комедия писателя «Игра любви и случая» (1730), в которой горничной Лизетте по воле молодой хозяйки — дочери дворянина Сильвии — приходится играть роль самой Сильвии перед предполагаемым женихом.

[2] *Сюренское вино* — недорогое белое вино, издавна производящееся в окрестностях города Сюрена неподалеку от Парижа.

[3] *Кифера* (современная Китира) — греческий остров в Средиземном море, около южного побережья полуострова Пелопоннес, в античности один из центров культа древнегреческой богини Афродиты. От названия острова произошло одно из имен Афродиты — Киферея (вариант Цитера). В литературе Кифера стала синонимом острова любви и счастья, аллегорической родиной нежных чувств. Во французском языке существует устойчивое выражение «faire un voyage a Cythère» (букв.: отправиться на Киферу), означающее влюбиться, а также пойти на свидание.

[4] *Огзер* — город в Бургундии к юго-востоку от Парижа.

[5] *Драгет* — старинная плотная ткань из шерсти (утóк) и льна (основа).

[6] *...на улицах Говорящего колодца, Безголовой бабы, Вооруженного мужа и Маленького Мышонка...* — Перечисленные маленькие старинные улицы расположены в парижском районе Маре (см. примеч. 12 к гл. XVIII) или по соседству с ним, т. е. недалеко от дома, где в детстве жил Готье. Улица Говорящего колодца в настоящее время носит название Амийо, улица Безголовой бабы была переименована в улицу Реграттье, улица Вооруженного мужа — ныне часть улицы Архивов. Улица Маленького Мышонка сохранила свое название. Вероятно, Готье намеренно выбирал улицы с простонародными, незатейливыми названиями. Французские комментаторы, впрочем, полагают, что название последней улицы (rue du Petit-Musc) не имеет отношения к мышонку, хотя по своему звучанию и напоминает слово, обозначающее во французском языке мускусную мышь. Первоначально эта улица в переводе на русский язык называлась улицей Прячущихся девок (rue Pute-y-Musse).

Глава VIII

[1] *Менестрель* — здесь: музыкант. В романтической литературе XIX в. менестрелями называли всех средневековых поэтов-музыкантов, зарабатывавших себе на жизнь исполнением песен под собственный аккомпанемент.

[2] *Аврора... покинувшая ложе Тифона...* — См. примеч. 4 к гл. III «Царя Кандавла».

[3] *...послужили бы... сюжетом для кисти господина Ланкре, живописца изящных праздников.* — Никола Ланкре (1690–1743) — французский живописец, ученик К. Жилло (1673–1722) и Ж.-А. Ватто (1684–1721). Писал в стиле рококо галантные сцены, сельские прогулки и увеселения, пасторали и маскарады.

[4] *Баска* — оборка или волан, пришивавшиеся по линии пояса к лифу платья, жилета, камзола. Длина баски зависела от моды и иногда доходила до колен.

[5] *...в начале правления.* — Имеется в виду правление короля Людовика XV Возлюбленного (1710—1774), который был возведен на трон в 1715 г. в возрасте пяти лет и стал полноправным монархом в 1726 г.

[6] *Аркадский.* — См. примеч. 8 к гл. XV «Фортунио».

[7] *Улица Сен-Мартен* — улица, соединяющая улицу Риволи, на которой расположены сад Тюильри и Лувр, с бульваром Сен-Мартен, в настоящее время находится в 3-м округе Парижа.

[8] *Поднявшись... по потайной лестнице, обязательной детали... особняков восемнадцатого века...* — Потайные лестницы действительно были не редкостью для зданий того времени. По словам французского писателя Луи-Себастьяна Мерсье (1749—1814), автора книги «Картины Парижа» (1781—1788), в XVIII в. «<...> архитектура, в прошлом величественная и добропорядочная, подчинилась распущенности наших нравов и мыслей. Она всё предусмотрела и пошла навстречу потребностям разгула и разврата; потайные выходы и лестницы вполне соответствовали вкусам и романам эпохи» (гл. 635).

Глава IX

[1] *Феб.* — См. примеч. 3 к гл. XX «Фортунио».

[2] *...не заполучил бы, подобно Актеону, оленьих рогов и не попал бы на растерзание к собственным собакам, увидев формы совершеннее, чем у Дианы...* — Аллюзия на древнегреческий миф об Актеоне, сыне Аристея и Автонои. Страстный охотник, обученный этому искусству кентавром Хироном, Актеон был превращен Артемидой (у древних римлян почитавшейся под именем Дианы) в оленя за то, что увидел богиню нагой, когда она купалась с нимфами в ручье, после чего стал добычей своих собственных собак.

Глава X

[1] *Фаворитка.* — Имеется в виду М.-Ж. Дюбарри (см. примеч. 1 к гл. XVII), фаворитка Людовика XV.

[2] *Леду* Клод Никола (1736—1806) — французский архитектор, представитель классицизма, ученик Ж.-Ф. Блонделя (1705—1774) и Л.-Ф. Труара (1729—1794). В 1760-е и нач. 1770-х годов занимался проектированием для французской аристократии изящных особняков «в английском вкусе» — превосходных образчиков «стиля Людовика XVI»; в частности, ему принадлежат проекты павильона М.-Ж. Дюбарри (см. примеч. 1 к гл. XVII) в Лувесьенне (1770—1772) и дома балерины М.-М. Гимар (см. примеч. 1 к гл. III) близ Парижа (1770).

[3] *Леконт* Феликс (1737—1817) — французский скульптор, ученик Э.-М. Фальконе (1716—1791), с 1812 г. член Королевской Академии живописи и скульптуры.

[4] *Вакханалии* — в Древнем Риме празднества в честь Вакха, со II в. до н. э. приобретшие характер оргий. В переносном смысле — дикий разгул, оргия.

[5] *Ламур* Жан (1698—1771) — королевский кузнец, многие изделия которого (балконные решетки, перила и др.) сохранились до настоящего времени.

[6] *Этот непритязательный интерьер живописец Шарден... превозносимый господином Дидро, с удовольствием запечатлел бы на своем полотне...* — Жан Батист Симеон

Шарден (1699–1779) – французский живописец и график эпохи Просвещения, изображавший преимущественно бытовые сцены из жизни третьего сословия. Работы Шардена отличаются скромным набором предметов, строгостью и продуманностью композиции, мягкостью живописной фактуры, ощущением органичной связи вещей с бытом простого человека. Дени Дидро (1713–1784) – французский философ, писатель и просветитель, основатель знаменитой «Энциклопедии» (1751–1780), автор обзоров художественных выставок в Париже (напр., «Салоны», 1759–1781; «Эссе о живописи», 1765). О Шардене Дидро восторженно отзывается в большей части «Салонов» (см.: *Свидерская М.И.* Дидро о Шардене: к вопросу о творческом методе художника // Из истории классического искусства Запада: сборник статей по материалам конференции, приуроченной к 80-летию Е.И. Ротенберга. М.: Эпифания, 2003. С. 134–165).

[7] *Венсеннская керамика* – керамические изделия, изготовлявшиеся в 1740–1756 гг. на фарфоровой мануфактуре в Венсеннском замке близ Парижа. Венсеннская мануфактура выпускала прежде всего вазы, фигурки, горшочки, а также цветы из неглазурованного фарфора, укрепленные на проволочных стебельках или прикреплявшиеся непосредственно к вазам. См. также примеч. 18 к гл. I «Фортунио».

[8] *Севрская посуда.* – См. примеч. 18 к гл. I «Фортунио».

[9] *Бодуэн* Пьер-Антуан (1723–1769) – французский художник и декоратор, ученик и зять Ф. Буше (см. примеч. 11), прославился написанными гуашью миниатюрами с изображениями эротических и идиллических сцен.

[10] *Импост* – профилированная архитектурная деталь над столбом, лопаткой или капителью колонны, служащая опорой для пяты арки или свода. Украшается росписью, лепниной или рельефными изображениями.

[11] *Буше* Франсуа (1703–1770) – знаменитый французский живописец, гравер и рисовальщик, ярчайший представитель стиля рококо. Директор Королевской Академии живописи и скульптуры с 1765 г., придворный декоратор Людовика XV и любимый художник фаворитки короля мадам де Помпадур. Буше блестяще владел всеми видами декоративной живописи – от огромных панно до крошечных композиций для вееров – и, как никто другой, передал в своих картинах легкомыслие и блеск французской придворной жизни сер. XVIII в.

[12] *Набивной кретон* – плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с набивным геометрическим или мелким цветным орнаментом. В XIX в. широко использовалась для драпировок и обивки мебели.

[13] *Утрехтский бархат.* – См. примеч. 5 к гл. VII «Фортунио».

[14] *Зефир* – в древнегреческой мифологии один из сыновей титана Астрея и богини зари Эос, брат Борея и Нота, бог западного ветра. В ранних мифах Зефир изображался как губительный ветер, однако позднее начал представляться как нежный и мягкий. Поэтически-иносказательно – обозначение легкого теплого ветерка.

Глава XI

[1] *Версаль* – архитектурно-парковый ансамбль, расположенный к юго-западу от Парижа, в 1682–1789 гг. – главная резиденция королей Франции. Изначально Версаль был скромным охотничьим замком (1624, перестроен в 1631–1634 гг.)

Людовика XIII со рвом и решеткой, ограждавшей парадный двор, однако при Людовике XIV превратился в грандиозный величественный дворец с пышной отделкой парадных и жилых интерьеров и парком площадью свыше 6 тыс. га. Версаль стал своеобразным памятником эпохи «короля-Солнца», художественно-архитектурным выражением идеи абсолютизма. Ансамбль Версаля, по праву считающийся крупнейшим в Европе, отличается уникальной целостностью замысла и гармонией архитектурных форм и преобразованного ландшафта. С кон. XVII в. Версаль служил непревзойденным образцом парадных загородных резиденций европейских монархов и аристократии.

[2] *...старых развратников, чей нрав не изменился со времен купания Сусанны.* — См. примеч. 5 к гл. III «Двое на двое».

[3] *...на часах приходской церкви...* — На улице Сен-Мартен расположены две старинные церкви: церковь XVI в. Сен-Мерри (ближе к улице Риволи, т. е. к центру Парижа) и церковь XV в. Сен-Никола-де-Шан (на другом конце той же улицы), которая и является приходской.

[4] «*Кот на рыбалке*» (фр. Chat qui pêche). — В Париже и по сей день существуют улица с таким названием (в 5-м округе) и одноименный ресторанчик (в том же округе на улице Ла Ашетт).

[5] *...казалось, сам Амур... пытался завоевать Психею...* — См. примеч. 9 к Предисловию «Фортунио».

[6] *Адонис* — персонаж древнегреческой мифологии, прекрасный юноша, возлюбленный Персефоны и Афродиты, превращенный после своей смерти в цветок богиней любви; иносказательно — исключительно красивый молодой мужчина.

Глава XII

[1] *...кто, поймав удачу за хвост, выпускает ее на волю.* — В оригинале использовано выражение «lâcher le toupet de l'occasion lorsqu'il le tenait» (*фр.* — букв.: выпустить вихор удачи, когда уже схватил его). Готье перефразирует здесь устаревшее устойчивое сочетание «prendre/saisir l'occasion au/par le toupet» (букв.: хватать удачу за вихор), которое, согласно составителям словарей французского языка XVIII—XIX вв., восходило к иконографии Кайроса, древнегреческого божества счастливого случая (см., напр.: Dictionnaire de l'Académie française / Institut de France. 6 éd. P.: Firmin Didot Fréres, 1835. T. 2. P. 288; Dictionnaire des dictionnaires, ou vocabulaire universel et compet de la langue française / Publiè sous la direction d'un membre de l'Académie Française. Bruxelles: Société belge de librairie [et al.], 1839. T. 2. P. 559). В античности Кайрос изображался в виде безволосого юноши с единственной спадающей на лоб прядью волос, за которую, как считали древние, это божество необходимо было схватить, пока оно не исчезло. В русском языке прижилось другое выражение: «поймать/ухватить удачу за хвост».

[2] *Полибий* (ок. 200 — ок. 120 до н. э.) — древнегреческий историк, автор многотомного сочинения «История», охватывающего историю Греции, Македонии, Малой Азии, Рима и других стран с 220 по 146 г. до н. э. Готье, очевидно, путает его с Полиеном (II в.), древнегреческим ритором и историком, автором посвященной Марку Аврелию (121—180) книги «Военные хитрости», в которой описаны 900 так называемых стратагем, т. е. военных хитростей.

[3] *...давала от ворот поворот.* — Готье использует здесь фразеологизм «recevoir de Turc a Maure» (*фр.* — букв.: обращаться как турок с мавром), означающий «обращаться очень жестоко».

[4] *...дракона, стерегущего яблоки Гесперид.* — Гесперииды — в древнегреческой мифологии нимфы—хранительницы золотых яблок вечной молодости, полученных Герой в качестве свадебного подарка от Геи. Согласно мифу, яблоки в саду Гесперид сторожил вечно бодрствующий дракон Ладон.

[5] *«И где только... не таится добродетель?» — вспомнились... слова Мольера о честном нищем.* — См.: *Вольтер.* Жизнь Мольера. По утверждению Вольтера, Мольер произнес эту фразу, когда нищий, которому драматург подал луидор, догнал его и спросил, не по ошибке ли господин подал ему золотую монету.

[6] *Феникс* — здесь: персонаж древнегреческой мифологии, сын беотийского царя Аминтора. По одной версии мифа, овладел наложницей отца Фтией (или Клитией) по просьбе своей матери, желавшей из ревности отомстить супругу. По другой версии, наложница Аминтора сама пыталась соблазнить Феникса, но, не добившись успеха, ложно обвинила юношу перед отцом. Иносказательно — обозначение соблазнителя, обольстителя.

[7] *...наряды не портят красавиц, аксиома, которую... столетием позже попытался опровергнуть известный сочинитель комических опер.* — Имеется в виду Франсуа-Антуан-Эжен де Планар (1783—1853), автор многочисленных либретто комических опер (напр., «Шелковая лестница», 1808; «Мнимый крестьянин», 1811; «Завещание, или Любовные записки», 1819; «Эмма, или Неосторожное обещание», 1824; «Мария», 1825 и др.), смысл которых сводится к тому, что природа и красота не нуждаются в украшениях.

[8] *...«Гюон из Бордо»... «Четыре сына Эмона»...* — Имеются в виду французские эпические поэмы XIII и XII в., соответственно. Обе поэмы пользовались чрезвычайной популярностью, в частности, первая из них породила ряд литературных продолжений (напр., «Эсклармонда», XIII в.; «Кларисса и Флоран», XIII в., и др.), а вторая была переложена прозой в рыцарский роман, неоднократно переиздававшийся в XV—XVI вв.

Глава XIII

[1] *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — древнеримский оратор и государственный деятель, теоретик риторики, классик латинской художественной и философской прозы. Его имя стало нарицательным для обозначения блестящих ораторов и людей, обладающих красноречием.

[2] *...господина Аруэ де Вольтера...* — Вольтер — псевдоним Франсуа-Мари Аруэ («Voltaire» — анаграмма «Arouet le j(eune)», т. е. «Аруэ-младший»; 1694—1778), одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII в., поэта, прозаика, сатирика, историка и публициста, который в 1745 г. получил звание камергера Людовика XV, а также должность придворного историографа и поэта, а в 1746 г. был избран членом Французской Академии. Впервые псевдоним был использован мыслителем в посвящении к трагедии «Эдип» (опубл. 1719): в конце обращения к супруге регента Франции Франсуазе Марии, герцогине Орлеанской

(урожд. де Бурбон; 1677–1749), литератор подписался как Аруэ де Вольтер, самовольно присоединив к своему имени частицу «де».

[3] *Камеристка.* – Несмотря на то что Готье называет должность Жюстины при маркизе Шанрозе по-разному: «suivante» (*фр.* – прислужница), «femme de chambre» (*фр.* – горничная) и «camériste» (*фр.* – «камеристка), по сути, Жюстина исполняет обязанности именно камеристки (см. примеч. 1 к гл. III «Невинных распутников»).

[4] *Орел из Мо* – прозвище Жака Бениня Боссюэ (1627–1704), выдающегося французского богослова и проповедника, которого сравнивали с Цицероном и Демосфеном, автора многочисленных литературных и теологических трудов, «последнего Отца Церкви»; епископа города Мо с 1681 г. В 1670 г. Боссюэ был назначен Людовиком XIV в качестве наставника Великого дофина Людовика (1661–1711 гг.) и в этой должности руководил изданием «очищенной» от откровенных и двусмысленных сцен библиотеки классиков «Ad usum Delphini», предназначавшейся для воспитания наследника короля.

[5] *Лебедь из Камбре.* – Имеется в виду знаменитый французский писатель и религиозный мыслитель Франсуа де Салиньяк, маркиз де Ла Мот Фенелон (1651–1715), член Французской Академии с 1693 г., архиепископ Камбрэ с 1695 г. В 1689–1699 гг. состоял воспитателем при внуке Людовика XIV Людовике, герцоге Бургундском (1682–1712), для которого создал прозаический перевод «Одиссеи» (1694–1696) и написал среди прочего повесть «Похождения Аристоноя» (1699), «Диалоги мертвых» (опубл. 1712), прозаические «Басни» (опубл. 1718) и философско-утопический роман «Приключения Телемака, сына Улисса» (1693–1694, опубл. 1699). См. также примеч. 6 к гл. IX «Невинных распутников».

[6] *Но, как утверждают некоторые философы ~ не видят ничего достойного внимания.* – Готье иронически резюмирует здесь идеи, высказывавшиеся английским философом Джорджем Беркли (1684–1753) и французским мыслителем Никола Мальбраншем (1638–1715). Полемизируя с философскими взглядами сенсуалиста и эмпирика Д. Локка (1632–1704), а также других философов-просветителей, Беркли утверждал, что окружающие нас предметы «не имеют отличного от их воспринимаемости существования и не могут поэтому существовать ни в какой другой субстанции, кроме тех непротяженных, неделимых субстанций, или *духов*, которые действуют, мыслят и воспринимают вещи» и идеи. Между тем как «душа или дух есть активное существо, существование которого состоит не в том, что его воспринимают, а в том, что оно воспринимает идеи и мыслит» (Трактат о началах человеческого знания. § 91, 139. *Пер. Е.Ф. Дебольской*). Беркли нашел своеобразного единомышленника во Франции: Мальбранш полагал, что с помощью чувств человек познает не предметы окружающего мира, а состояние собственной души. Незадолго до своей смерти Беркли посетил Мальбранша в Париже, где имел возможность вести с французским мыслителем философские беседы.

[7] *Кружево малин* – тонкое коклюшное кружево, изначально производившееся в Малине (французское название города Мехелена), впоследствии также в Антверпене, Лире и Тюрнхауте, один из самых известных видов фламандских кружев. Эта разновидность кружева отличалась разнообразием форм и узоров, среди которых преобладали цветочные мотивы на тюлевом фоне с шестиугольными ячей-

ками. Кружево малин чаще всего использовалось для отделки ночных гарнитуров, манжет, жабо, летних платьев и головных уборов.

[8] *Бланманже* (фр. blanc-manger — букв.: белое кушанье) — желе из сливок и миндального молока со специями.

[9] *Гирканка.* — См. примеч. 9 к гл. IV.

Глава XIV

[1] *...Морфей... посыплет золотой пыльцой глаза ее прекрасной госпожи...* — См. примеч. 67 к гл. I «Фортунио».

[2] *Манон Леско* — центральный персонаж романа французского писателя Антуана-Франсуа Прево (1697—1763) «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731), пленительная девушка из простой семьи отличавшаяся ветреностью, непостоянством и страстью к удовольствиям и развлечениям.

[3] *...держать руку на жабо, подобно маркизу де Монкада.* — Франсиско де Монкада, маркиз де Айтона (1586—1635), испанский дипломат и историк, военачальник испанской армии во Фландрии, губернатор Испанских Нидерландов, автор «Военной кампании каталонцев и арагонцев против турок и греков» (1623). Сохранилось несколько его портретов кисти прославленного голландского живописца А. Ван Дейка, который запечатлел образ уверенного в себе немолодого человека, полного обаяния и жизнелюбия. В частности, в Лувре находится конный портрет (ок. 1630), на котором художник изобразил маркиза в доспехах, сжимающим в правой руке кнут, а в левой — поводья. Однако Готье, очевидно, имеет в виду другой выполненный Ван Дейком портрет (1633—1634), на котором маркиз, облаченный в парадный костюм с накрахмаленным воротником, опирается левой рукой на эфес шпаги, а правой держится за перевязь (в настоящее время полотно хранится в Музее истории искусств в Вене).

[4] *Меланхолия... в соответствии со своей этимологией...* — Слово «меланхолия» (от *др.-греч.* μελας и χολη) буквально переводится как «черная желчь». Древнегреческая, а впоследствии и средневековая медицина объясняла происхождение меланхолии отравлением организма черной желчью.

[5] *...господ Пургона и Флёрана.* — Имеются в виду персонажи комедии Мольера «Мнимый больной», лечащий врач Аргана и аптекарь, соответственно.

[6] *...во времена царствования Котильона Третьего...* — Французские комментаторы указывают, что Готье имеет в виду период с 1765 по 1774 г., когда официальной фавориткой Людовика XV была М.-Ж. Дюбарри (см. примеч. 1 к гл. XVII). В приведенном пассаже содержится аллюзия на знаменитое остроумное высказывание Фридриха II (1712—1786, король Пруссии с 1740 г.), предложившего условное деление правления Людовика XV на три периода: период Котильона I — когда фавориткой короля была Мария-Анна де Майи-Нель, герцогиня де Шатору (1717—1744), Котильона II — когда официальной фавориткой стала маркиза де Помпадур (см. примеч. 8) и Котильона III — когда последнюю сменила графиня Дюбарри. В этой иронической периодизации угадывается намек на строгую очередность фавориток короля, которые сменяли друг друга, как фигуры в котильоне (см. примеч. 12 к гл. V), а также на влияние, оказываемое всесильными дамами на внутреннюю политику государства при Людовике XV (см., напр.: *Saint-Edme.* Amours

et galanteries des rois de France: Mémoires historiques, sur les concubines, maîtresses et favorites de ces princes, depuis le commencement de la monarchie jusqu'au règne de Charles X. P.: Amable costes, 1830. T. 2. P. 379).

[7] *Доберваль* Жан (наст. фам. Берше; 1742–1806) – французский танцовщик и балетмейстер, дебютировавший в Парижском оперном театре в 1761 г., с 1770 г. – ведущий танцовщик, с 1773 по 1783 г. – балетмейстер Оперы. Самой известной его постановкой стал комический балет «Тщетная предосторожность», премьера которого состоялась в Бордо 1 июля 1789 г. Либретто к балету создал сам балетмейстер, использовавший в качестве музыкального сопровождения действа французские народные мелодии (позднее музыку к балету написали сразу несколько композиторов, в частности, Луи Герольд и Петер Гертель). Последующие постановки балета, сохранившегося в репертуаре балетных групп и по сей день, опирались на хореографию Доберваля.

[8] *Сохранились письма госпожи де Помпадур и госпожи де Попелиньер...* – Имеются в виду две великосветские дамы, прославившиеся в эпистолярном жанре: маркиза де Помпадур (урожд. Жанна-Антуанетта Пуассон; 1721–1764) – влиятельная фаворитка Людовика XV, покровительница литературы и живописи, а также Франсуаза Катрин Тереза де ла Попелиньер (урожд. Бутиньон де Э; 1714–1756) – супруга генерального откупщика Александра Ле Риш де ла Попелиньера (Пуплиньера; 1693–1762), держательница салона, покровительница искусств. Письма мадам де Помпадур публиковались неоднократно (впервые в 1772 г. в Лондоне в изд.: Letters de Madame la marquise de Pompadour, depuis 1753 jusqu'à 1762 inclusivement / Par F. Barbé-Marbois. L.: G. Owen et T. Cadell, 1772). Часть переписки мадам де ла Попелиньер также сохранилась и часто цитируется в различных изданиях (см., напр.: *Richelet P.* Les plus belles lettres françoises, sur toutes sortes de sujet, tirées des meilleurs auteurs, avec des notes: En 2 vol. La Haye: Meyndert Uytwerf: Louïs et Henri van Dole, 1699. T. 2. P. 410, 488; *Gaxotte P.* Lettres de Madam de la Poupelinière au duc de Richelieu // Revue de Paris. 1938. 15 juillet. № 14. P. 248–274). Оригиналы писем в настоящее время хранятся в музеях и частных коллекциях. Ироническое сравнение Готье писем маркизы де Помпадур и мадам де ла Попелиньер с письмами кухарок относится прежде всего к неразборчивому, неряшливому почерку обеих дам: они не владели в совершенстве каллиграфией, поскольку в духе эпохи писали самостоятельно (а не надиктовывали) только сугубо личные письма. Тем более что писатель, очевидно, был знаком, по крайней мере, с автографом одного из писем мадам де ла Попелиньер, опубликованным в изд.: Catalogue des lettres autographes provenant du cabinet de M.A. Martin. P.: R. Merlin, 1842. P. 25 (образцы почерка мадам де Помпадур и комментарии к нему см., напр.: *Martinati S.* A propos des lettres de madame de Pompadour. URL: http://www.madamedepompadour.com/_fra_pomp/galleria/lettere/step_mar.htm (дата обращения: 08.02.2012)).

[9] *Гаргульяд* – в балете полупируэт, т. е. полукруговой оборот тела на носке одной ноги.

[10] *...ригодонов, тамбуринов и луров.* – Имеются в виду французские народные танцы провансальского (первый и второй) и нормандского (последний) происхождения. В кон. XVII – нач. XVIII в. подобно многим старинным народным танцам ригодон, тамбурин и лур были введены французскими композиторами и балетмейстерами в балет и оперу.

Глава XV

[1] *Анна Бретонская* (1477–1514) – последняя правящая герцогиня Бретани с 1488 г., супруга Карла VIII (1470–1498, король Франции с 1483 г.) с 1491 г., затем с 1499 г. Людовика XII (1462–1515, король Франции с 1498 г.), королева Франции, прославившаяся как покровительница художников и поэтов. После ее смерти Бретань перешла к французской короне. Ко времени начала действия повести Готье Бретань отличалась экономической отсталостью.

[2] *Парламенты* – высшие судебно-административные учреждения, создававшиеся с XV в. во французских провинциях (по мере присоединения последних к королевскому домену) по образцу Парижского парламента, возникшего при Людовике IX (1214–1270, король Франции с 1226 г.) из королевской курии. Были упразднены в 1790 г. во время Французской революции.

[3] *...смотрит на Париж, как на гнусный Вавилон.* – Представление о Вавилоне, как о городе царящего разврата, раздоров и пороков, восходит к библейскому сказанию о Вавилонской башне (см.: Быт. 11: 1–9), а также к «Откровению Иоанна Богослова», где Вавилон назван матерью «блудницам и мерзостям земным» (Откр. 17: 1–2) и великой блудницей (см.: Откр. 18: 1).

[4] *Першерон* – порода крупных, сильных и энергичных лошадей-тяжеловозов преимущественно серой масти в яблоках, выведена на западе Франции, в области Перш (отчего и получила свое название).

[5] *Сильфы.* – См. примеч. 7 к гл. VI «Фортунио».

[6] *Плафон* – См. примеч. 20 к гл. XVI «Фортунио».

[7] *Десюдепорт.* – См. примеч. 18 к гл. XVI «Фортунио».

[8] *Пастораль* – условное обозначение литературных, музыкальных, театральных и живописных жанров, основанных на поэтизации мирной и простой сельской жизни. В новой европейской литературе пастораль пережила расцвет в XVI–XVII вв.; как и в античной буколике, в ней развращенным нравам города противопоставлялась нравственная чистота деревни, демонстрировался интерес к природе, к миру чувств и быту простых людей. Вместе с тем в пасторали XVI–XVII вв. усилился свойственный еще античной буколике условный элемент, подчеркнутая стилизация простоты и безыскусственности: герои пасторали, одетые в атлас и тафту пастухи и пастушки, переживали изысканные чувства и вели галантные диспуты на фоне изящно декорированной природы. Условность пасторали Нового времени сказалась также в традиционности масок чувствительного пастуха, жестокосердной пастушки, мудрого старца, дерзкого соперника и проч. Музыкальная пастораль зародилась под влиянием литературной и была представлена оперой, пантомимой и балетом, сюжет которых сводился к идеализированному изображению сельской жизни.

[9] *Дезульер* Антуанетта дю Лижье де ла Гард (ок. 1638–1694) – французская знатная дама и поэтесса, автор идиллических стихотворений, одно из которых носит название «Овечки» (1674). Ее стихи высоко ценились на протяжении XVIII в.

[10] *Филида* – традиционное для пасторалей имя пастушки.

[11] *Правда, встречавшиеся в этих сельских просторах ~ эти божьи твари не отличались.* – Аллюзия на пародийный роман Шарля Сореля (1602–1674) «Сумасбродный пастушок» (1627–1628), повествующий о том, как сын парижского купца Луи (в подражание пастухам называющий себя Лизисом), начитавшись романов, поку-

пает театральный костюм пастуха и стадо овец, мечтая стать «пасторальным» пастушком. Однако реальность оказывается весьма далека от идиллии, к которой стремился герой.

[12] *Реальность должна подражать искусству.* — Готье иронично перефразирует здесь принцип классицизма, гласивший, что искусство должно подражать природе. Однако вопреки звучному лозунгу природа в произведениях классицистов представала лишь в преображенном, облагороженном виде, лишенной всего того, что не соответствовало представлениям авторов о разумном ходе вещей, правилах приличий и хорошем тоне.

[13] *Вестрис* Гаэтано Аполлино Бальтазаре (1729—1808) — лучший солист французского балета своего времени, названный современниками «богом танца». В 1748 г. дебютировал в Парижском оперном театре, в 1770 г. получил звание балетмейстера Оперы, в 1770—1776 гг. стал главным педагогом Оперы. Отличался благородством исполнения в сочетании с виртуозной техникой, стремился драматизировать танцевальные сцены, придать танцу характер мимического действа.

[14] *Куранта* — старинный придворный танец итальянского происхождения, первоначально исполнявшийся в оживленном темпе, позднее, однако, утративший стремительность. К XVIII в. куранта превратилась в торжественный плавный танец-шествие со скользящими движениями. Как музыкальная пьеса входила в состав старинных инструментальных (танцевальных) сюит Ж.-Ф. Рамо, И.-С. Баха и др.

[15] *Тирсис* — традиционное для пасторалей имя пастуха, упоминаемое, к примеру, у Феокрита (идиллия I) и Вергилия (эклога VII).

Глава XVI

[1] *Кабачок «Белый кролик»* (фр. cabaret du Lapin blanc) — один из самых знаменитых кабачков того времени, находившийся на улице Фев в центре Парижа. Вошел в литературу благодаря Эжену Сю (1804—1857), сделавшему его излюбленным заведением персонажей романа «Парижские тайны» (1842—1843). Готье лишает кабачок традиционного таинственного зловещего флера, превращая в добропорядочное загородное заведение.

[2] *Темпейская долина.* — Темпе (современная Темби) — долина реки Пеней между горными массивами Олимп и Осса в Фессалии, узкое ущелье, представляющее собой редкое сочетание красот речной долины с дикостью и живописностью скалистых гор. Согласно древнегреческой мифологии, на берегу долины Аполлон преследовал нимфу Дафну, а Аристей — супругу Орфея Эвридику. В древности здесь находилось святилище Аполлона. В литературе Темпейская долина стала символом земного рая.

[3] *Дядюшка Алиборон* (фр. maître Aliboron) — во французском языке синоним глупца, невежи, простофили. Выражение предположительно произошло от искаженного имени средневекового персидского ученого Абу Рейхана Мухаммада ибн Ахмада аль-Бируни (973—1048) и первоначально относилось к малосведущим, недалеким медикам. По преданию, кличку Алиборон носил знаменитый Буриданов осел (которому был предложен трудный выбор между двумя одинаковыми охапками сена). Основываясь на этой легенде, Ж. де Лафонтен (1621—1695) назвал Алибороном осла из басни «Осел и Воры» (см.: Басни. Кн. I, басня XIII). В существующих русских переводах басни, принадлежащих Г-т (предположительно псев-

доним Н.П. Грот, урожд. Семеновой; 1825–1899) и А.П. Сумарокову (1717–1777), выражение «дядюшка Алиборон» опущено.

[4] *...бабочек, увивающихся вокруг... роз, в которые, если верить художникам, они влюблены.* – Розы и бабочки принадлежали к числу излюбленных предметов изображения во фламандской живописи XVII–XVIII вв. Однако, возможно, Готье имеет здесь в виду французского художника голландского происхождения Жана Франсуа (Яна Франса) Ван Даля (1764–1840), автора многочисленных натюрмортов с цветами, один из которых так и называется – «Розы и бабочки» (1802).

[5] *...поэты... населили горы, долы, леса, луга и водоемы... ореадами, дриадами, напеями, лимнадами, наядами, панами, эгипанами, сатирами и фавнами...* – Готье перечисляет низших божеств древнегреческой мифологии, олицетворявших живительные и плодоносные силы природы. Так, ореадами в античности называли нимф гор, дриадами – нимф–покровительниц деревьев, напеями – нимф долин, лимнадами – нимф озер, наядами – нимф рек, источников и стоячих вод. В древнегреческих мифах упоминаются также, в частности, альсеиды – нимфы лесов и лимониады – нимфы лугов. Эти низшие божества фигурируют не только в античной словесности, но и в европейской литературе начиная с эпохи Возрождения. См. также примеч. 12–15 к гл. III.

[6] *...ели лесную землянику...* – Поедание сочных плодов и ягод, в частности земляники, – традиционный символ греховной страсти и сластолюбия.

[7] *...подобно сильфам, о которых господин Кребийон-сын и господин граф де Габалис рассказывают самые невероятные вещи...* – Аллюзия на романы «Сильф» (1730) Кребийона-сына (см. примеч. 20 к гл. I) и «Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках» (1670) Никола Монфокона де Виллара (1635–1673).

[8] *Апеллес.* – См. примеч. 2 к гл. II «Царя Кандавла».

[9] *...указующей служителям божественной бутылки, что здесь находится храм или по меньшей мере часовня Бахуса.* – Аллюзия на роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (опубл. 1533–1564), персонажи которого, Пантагрюэль и Панург, вместе с друзьями отправляются в путешествие к оракулу Божественной Бутылки, чтобы узнать, следует ли Панургу жениться (Кн. III. Гл. XLVII – Кн. V).

[10] *...голуби... птички Венеры...* – Голуби, а также воробьи и зайцы считались атрибутами Венеры как богини плодородия. Голубей держали, в частности, в святилищах Афродиты в Пафосе (см. примеч. 4 к гл. XVII) и на Кифере (см. примеч. 3 к гл. VII).

Глава XVII

[1] *Дюбарри* Мари Жанна, графиня (урожд. Бекю; 1743–1793) – последняя по счету официальная фаворитка Людовика XV. Описываемая в повести прическа, изобретение которой Готье вменяет в заслугу графине, запечатлена, в частности, на портрете мадам Дюбарри (1769), принадлежащем кисти Ф.-Ю. Друэ (1727–1775).

[2] *Приам* – персонаж древнегреческой мифологии, последний царь Трои, сын Лаомедонта. Гомер изобразил его в «Илиаде» старцем, отцом пятидесяти сыновей и двенадцати дочерей, убитых или плененных греками при взятии Трои.

[3] *Лоншан.* – См. примеч. 42 к гл. I «Фортунио».

[4] *Пафос* – здесь: город на южном побережье острова Кипр, центр культа древнегреческой богини любви и красоты Афродиты. Под покровителем города Готье,

очевидно, подразумевает древнегреческого бога любви Эрота, изображавшегося в искусстве с античных времен в виде златокудрого крылатого мальчика с луком, колчаном и стрелами или с пылающим факелом.

[5] *Синекура* (от лат. sine cura — букв.: без заботы) — изначально в Средние века церковная должность, приносившая доход, но не связанная с выполнением каких-либо обязанностей или необходимостью находиться на месте службы. Слово «синекура» стало нарицательным для обозначения хорошо оплачиваемой должности, не требующей особого труда.

[6] *...софа... могла бы стать... убежищем для души Аманзея, любимого сказителя Шахабама, и одна предложила бы ему столько же приключений, сколько все диваны Агры.* — Аманзей — персонаж романа Кребийона-сына (см. примеч. 20 к гл. I) «Софа, нравоучительная сказка» (1742). В наказание за чрезмерное сладострастие в предыдущей жизни Брахма заключает душу Аманзея в софу, что позволяет ему стать свидетелем и в некотором смысле соучастником интимной жизни персонажей романа, о чем Аманзей впоследствии рассказывает своим слушателям, Шах-Бахаму (по ошибке названному Готье Шахабамом), и старшей Султанше, живописуя таким образом картину нравов и пороков того времени.

Глава XVIII

[1] *Евтерпа* — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница лирической поэзии. Изображалась, как правило, с флейтой, реже — авлосом в руках.

[2] *Колле* Шарль (1709—1783) — известный французский драматург и сочинитель песен. Названия его пьес говорят сами за себя: «Больной любовник» (1742), «Свадьба без кюре» (1746), «Тайные роды» (1753) и др.

[3] *...при господине де Ришельё...* — Имеется в виду Луи Франсуа Арман дю Плесси, герцог де Ришельё (1696—1788) — маршал Франции, внучатый племянник кардинала А.-Ж. дю Плесси Ришельё (1585—1642). Знаменит своими любовными похождениями и безнравственностью.

[4] *...господина Лёбеля, министра развлечений Его Величества...* — Мишель Лёбель — первый камердинер Людовика XV, устраивавший свидания короля и поставлявший ему любовниц.

[5] *Серый лакей.* — В оригинале «grison» (*фр.* — букв.: человек в сером), т. е. доверенный слуга, которому давали секретные поручения, например, следить за соперниками или возлюбленными. Как правило, подобного рода слуги носили не ливрею, а неприметное серое платье.

[6] *...член четырех факультетов...* — То есть весьма ученый человек. В Парижском университете с момента его основания в XII в. длительное время насчитывалось всего четыре факультета: теологии, канонического права, медицины и искусств.

[7] *Экю* (от фр. écu — щит) — старинная французская золотая (с нач. XIII в. до 1653 г.) или серебряная (в 1641—1793 гг.) монета с изображением геральдического щита, бывшая в обращении до 1834 г. В XVIII в. один экю равнялся шести ливрам. Таким образом Ла Гимар готова была назначить необычайно щедрое содержание тому, кто подарил бы ей возможность полюбить вновь.

[8] *...Ипполит, злое угрюмое создание, которое, подобно герою Расина, любит только лес и предпочитает обществу прекрасного пола оленей и ланей?* — Ипполит — персонаж

трагедии французского драматурга-классика Жана Расина (1639–1699) «Федра». Ироническое описание Ла Гимар больше подходит, скорее, главному герою античных трагедий (напр., «Федры» Софокла, «Ипполита» Еврипида, «Федры» Сенеки) — поклоннику богини охоты Артемиды, презиравшему и отвергавшему любовь, так как у Расина Ипполит влюблен в пленницу Тесея, царевну Арикию. См. также примеч. 3 к гл. IX «Фортунио».

[9] *Пале-Рояль.* — См. примеч. 7 к гл. X «Фортунио».

[10] *Тюильри.* — См. примеч. 5 к гл. X «Фортунио».

[11] *Марли* — дворец в окрестностях Парижа, к северу от Версаля, построенный в 1679–1686 гг. для Людовика XIV архитектором Ж. Ардуэн-Мансаром (см. примеч. 3 к гл. XXII). Марли предназначался королем для отдыха, уединения и общения с избранным кругом лиц. Приглашение в Марли было большой честью. Во время Французской революции дворец был почти полностью разрушен, а прилегающий парк удалось восстановить и открыть для прогулок только к 1936 г. Людовик XV, к эпохе правления которого приурочено время действия повести, не любил Марли и никогда в нем не бывал, в отличие от своего внука — Людовика XVI.

[12] *...у буржуа или у чиновников, на Сен-Луи или в Маре.* — Сен-Луи — маленький остров на Сене, в центре Парижа. После строительства мостов и застройки острова в XVII в. первыми его обитателями стали банкиры и крупные городские чиновники. Маре — район, расположенный в современном 3-м округе Парижа, в XVII в. считался одним из самых аристократических кварталов Парижа, в частности, здесь жили кардинал А.-Ж. дю Плесси Ришельё и П. Корнель. В XVIII в., когда знать отдала предпочтение другим районам, Маре был заселен чиновниками и мещанами, а в XIX в. здесь, в особенности на центральной площади (площадь Вогезов), обосновались писатели. В Маре жили, к примеру, В. Гюго, А. Доде, а также сам Готье в 1829–1834 гг. вместе с отцом-чиновником, матерью и двумя сестрами.

[13] *Сартин* Антуан де (1759–1774) — начальник полиции Парижа при Людовике XV, позднее министр юстиции и флота при Людовике XVI (см. также примеч. 2 к гл. V).

[14] *Скапен.* — См. примеч. 5 к гл. XVII «Фортунио».

[15] *Сбригани* — персонаж комедии-балета Мольера «Господин де Пурсоньяк» (1669), ловкий плут и интриган, способный обвести любого вокруг пальца.

[16] *Аргус.* — См. примеч. 11 к гл. III «Царя Кандавла».

[17] *...господ Кумполя и Стибрина...* — В оригинале «Clochebourde» (от *фр.* — голова, башка и чепуха, ерунда) и «Pincecroc» (от *фр.* — щипцы и крюк).

[18] *Вода королевы венгерской* — одни из самых первых духов, изготовленных в XIV в. французскими парфюмерами на спиртовой основе (спиртовой вытяжке розмарина) с добавлением ароматов лаванды, мяты, шалфея, цветов померанца, лимона и др. Создание духов чаще всего связывают с именем королевы Венгрии Елизаветы (1305–1380), третьей супруги Карла Роберта (1288–1342, король Венгрии с 1308 г.). Воде королевы венгерской приписывались самые разные лечебные свойства, к примеру, она считалась верным средством от обмороков.

[19] *Капли генерала Ламотта* (ла Мотта). — Имеются в виду бестужевские капли, или спирто-эфирный раствор хлорного железа (tinctura tonico-nervina Bestuscheffi), изобретенные в 1725 г. графом А.П. Бестужевым-Рюминым (1693–1768) совместно с химиком И.-К. Лембке. Последний втайне продал секрет капель французскому

бригадному генералу Антуану Дюрю де ла Мотту (ум. 1737), который по возвращении во Францию представил чудодейственный состав при дворе как собственное изобретение и был удостоен за него Людовиком XV чина генерал-майора и солидного пансиона. В европейской традиции за настойкой закрепилось название золотых капель, или золотого эликсира, генерала де ла Мотта. В XVIII в. эти капли ценились весьма дорого и считались как общеукрепляющим средством, так и панацеей от любви и любовных страданий (см., напр.: *Гюго В.* Отверженные. Кн. II, гл. IV).

Глава XIX

[1] *Как известно, этот божок стреляет ~ по меньшей мере холодность.* — Об этих стрелах упоминает, в частности, Овидий в истории об Аполлоне и Дафне (см.: Метаморфозы. I. 468—471).

[2] *Алкивиад.* — В данном случае имеется в виду герой повести «Алкивиад, или Я» из сборника Ж.-Ф. Мармонтеля «Нравоучительные повести» (см. примеч. 3 к гл. III). Прототипом персонажа Мармонтеля послужил афинский государственный деятель, оратор и полководец Алкивиад (ок. 450—404 г. до н. э.), чья жизнь неоднократно была описана античными историками (см., напр.: *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания. Алкивиад и Гай Марций Кориолан; *Фукидид.* История. V. 43—46, 52—56, 61, 76, 84; VI; VII. 18; VIII; *Ксенофонт.* Греческая история. I. 1—5; II. 1—3 и др.). Исторический Алкивиад отличался красотой, талантами и богатством, но также безграничным легкомыслием, тщеславием, своенравием и склонностью к развратной жизни, что не в последнюю очередь послужило причиной популярности этого образа в литературе и искусстве рококо и сентиментализма.

[3] *Амилькар* — персонаж романа Мадлены де Скюдери (1607—1701) «Клелия, или Римская история» (1654—1660), нежный галантный любовник. Созданный на материале истории Древнего Рима роман де Скюдери представляет собой, во-первых, замаскированное обозрение современной писательнице светской жизни (так наз. «роман с ключом»), а во-вторых, большей частью вымышленные или домысленные любовные истории реальных исторических лиц. Авторитетный теоретик классицизма Н. Буало (1636—1711) в трактате «Поэтическое искусство» (1674) предостерегал авторов трагедий, основанных на историческом материале, следовать примеру мадам де Скюдери.

[4] *Галаор.* — См. примеч. 10 к гл. X «Фортунио».

[5] *...произведений господ имярек, среди коих попадались и некоторые члены Французской Академии.* — Французская Академия — основанное в 1635 г. кардиналом А.-Ж. дю Плесси Ришельё научное учреждение, главной задачей которого было изучение французского языка и литературы, формирование языковой и литературной нормы, в частности, создание словаря французского языка и его грамматики. Звание академика являлось пожизненным, поэтому членов Французской Академии называют «бессмертными». Подсчитано, что из 500 членов Академии, состоявших в ней с 1635 по 1903 г., свой след в истории науки оставил всего 31.

[6] *...с улиц Мобюэ, Платр, Жоффруа-л'Анжевен и Бар-дю-Бек...* — Готье перечисляет улицы, находившиеся в районе Маре (см. примеч. 12 к гл. XVIII). Улица Мобюэ в настоящее время носит название улицы Симона ле Франка, а улица Бар-дю-Бек стала частью улицы Тампль.

[7] *Леандр* — классический комедийный тип героя-любовника, восходящий к персонажу древнегреческой легенды о юноше из Абидоса, который каждую ночь переплывал на свет маяка Геллеспонт, чтобы встретиться со своей возлюбленной — Геро, жрицей Афродиты из Сеста, пока однажды во время бури ветер не погасил огонь на маяке и юноша не утонул. Обнаружив тело любовника, Геро в отчаянии покончила с собой, бросившись в море. История Геро и Леандра — популярный сюжет в античной и новоевропейской поэзии, а также искусстве.

[8] *Жанно* — классический комедийный тип простоватого слуги.

[9] *...из спектаклей на ярмарке в Сен-Лоране...* — В XVI—XVIII вв. на ежегодной ярмарке, проходившей с 10 августа по 7 сентября в Париже рядом с церковью Сен-Лорана, давались представления на открытом воздухе. С 1706 г. под давлением театра «Комеди Франсез», стремившегося избавиться от конкурентов, уличным актерам запретили показывать спектакли с диалогами, поэтому уличные артисты стали играть спектакли с монологами и пантомимой, в которой достигли большой выразительности.

[10] *...от улицы Веррери до улицы Вьей-Одриет.* — Речь идет о двух улицах в районе Маре (см. примеч. 12 к гл. XVIII). Улица Вьей-Одриет в настоящее время называется просто улицей Одриет.

[11] *Бурлескная* — характерная для бурлеска, жанра пародийной поэзии и драматургии, в котором «высокие» материи трактуются «низким» стилем.

[12] *Кюльтюр-Сент-Катрин* — старинная улица в районе Маре (см. примеч. 12 к гл. XVIII), в настоящее время переименованная в улицу Севинье.

Глава XX

[1] *...подобно Юпитеру, который менял свой облик, чтобы развлечься с простыми смертными?* — В древнегреческой мифологии Зевс, с которым отождествлялся древнеримский бог Юпитер, часто изображался сластолюбцем и коварным соблазнителем. В частности, он неоднократно прибегал к превращениям, дабы скрыть измену от своей ревнивой супруги Геры (Юноны). Так, Данае Зевс, согласно мифу, явился в виде золотого дождя, Европу похитил в облике быка, а перед Ледой предстал в образе лебедя.

[2] *Гранд* — высший дворянский наследственный титул в Испании.

[3] *...радовалась, как горностай, чья белоснежная шубка осталась незапятнанной.* — Аллюзия на старинную бретонскую легенду, согласно которой однажды на охоте герцог Бретонский увидел в зарослях горностая. Спасаясь от преследовавших его охотничьих собак, зверек выбежал из леса на берег разлившейся реки, однако у самой кромки грязной илистой воды резко остановился, предпочитая грязи смерть. Оценив его мужество и пожалев несчастное животное, герцог протянул ему руку, и горностай охотно спрятался в одеждах правителя Бретани. «Лучше смерть, чем позор!» — молвил герцог. С тех пор, по легенде, этот девиз (*лат.* «Potius mori quam foedari»), а также изображение горностая стали украшать герб герцогов Бретонских.

[4] *...родиться без частицы...* — То есть без частицы «де» (*фр.* «de») перед фамилией, указывающей на дворянское происхождение носителя последней.

Глава XXI

[1] *Треба* — богослужебный обряд, совершаемый по просьбе одного или нескольких верующих (крестины, венчание, панихида и др.).

[2] *Херсонес Таврический* — полис, который был основан в 422—421 гг. до н. э. греками, переселившимися из Гераклеи Понтийской (мегарской колонии на южном побережье Черного моря). Существовал до сер. XV в.; Херсонесское городище в настоящее время находится на территории Гагаринского района Севастополя.

[3] *...населенного тупинамбами, алгонкинцами и гуронами!...* — От волнения или по невежеству аббат населяет Крымский полуостров племенами индейцев: тупинамбами, жившими в низовьях реки Амазонки, а также алгонкинцами и гуронами, занимавшими значительную часть территории современной Канады.

[4] *...недавно купил себе дворянскую грамоту...* — Строго говоря, купить можно было высокую государственную должность (напр., в государственном казначействе, где, видимо, и служит Бафонь), передававшуюся по наследству. После 20 лет службы (личной или после отца и/или деда) король жаловал занимающему должность наследственный дворянский титул.

[5] *...камзол, жилет и панталоны...* — Иными словами, Бафонь старался, как мог, одеться по моде: камзол и жилет в описываемую эпоху должны были доходить до колен, а панталоны закрывали колени и застегивались на пряжку.

[6] *Роеттье* — приобретшая известность с сер. XVII в. династия граверов, к которой относились, в частности, Жозеф Шарль Роеттье (1707—1784) — главный королевский гравер в 1727—1768 гг. и 1772—1774 гг. и Александр Людовик Роеттье де Монтало (1748—1808) — главный гравер-ювелир Монетного двора.

[7] *Пистоль* — испанская золотая монета, чеканившаяся в XVII—XVIII вв. и содержавшая 6,2 г чистого золота. Имела хождение во Франции и других странах Западной Европы, наряду с национальной валютой. Таким образом, Бафонь предложил швейцару щедрое вознаграждение.

[8] *...неподалеку от Пенмарка в заливе Одьерн...* — Пенмарк — мыс и одноименный населенный пункт на южной оконечности бухты Одьерн (юго-запад Бретани) на Атлантическом побережье Франции, отдаленные от Парижа приблизительно на 600 км.

[9] *...запряженном крупными английскими лошадьми, которых стало модно ввозить благодаря господину де Лораге...* — Имеется в виду Луи-Леон-Фелисите, герцог де Бранка, граф де Лораге (1733—1824) — французский аристократ, военный, человек широких интересов и знаменитый острослов. Его имя встречается в истории литературы, театра, горнодобывающей отрасли, производства фарфора, а также коннозаводства. За эпиграммы и брошюры против королевских эдиктов графа де Лораге несколько раз отправляли в ссылку. В нач. XVIII в. в Англии в результате скрещивания арабских жеребцов с английскими кобылами была выведена новая порода непревзойденных по резвости лошадей, получившая название английской чистокровной (English Pur-sang). Граф де Лораге не только завез ее во Францию, но также выступил в 1765 г. инициатором первых во Франции скачек, на которых соревновались английские и французские скакуны. С тех пор породу начали разводить и во Франции.

[10] *...вернувшемуся из Лондона, куда он отправился, чтобы научиться думать.* — Аллюзия на известный анекдот, опубликованный, в частности, в «Большом универ-

сальном словаре» Пьера Ларусса (1817–1875): «Людовик XV спросил графа де Лораге, вернувшегося из ссылки в Англии: – Что вы делали в Англии, господин де Лораге? – Сир, я учился думать. – У лошадей? – немедленно уточнил король и повернулся к графу спиной» (*Larousse P.* Brancas (Louis-Léon-Félicité de) // Larousse P. Grand dictionnaire universel du XIX[e] siècle: français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., etc. P.: Larousse, 1867. T. 2. P. 1198).

[11] *Самелье* – здесь: управляющий винным погребом, отвечающий за подбор и хранение вин, а также виночерпий.

[12] *Мондор.* – См. примеч. 5 к гл. IV «Невинных распутников».

[13] *...бросил... косой взгляд, подобно козлам, о которых пишет Вергилий...* – Аллюзия на замечание Дамета из «Буколиков» Вергилия (эклога III, ст. 8). Ср. в пер. С. Шервинского: «<...> козлы-то недаром косились <...>».

[14] *Версак* – имя одного из персонажей романа Кребийона-сына (см. примеч. 20 к гл. I) «Заблуждения сердца и ума» (1736).

Глава XXII

[1] *Машикули* – навесные, выступающие наружу бойницы, располагавшиеся в верхних частях крепостных стен и башен средневековых сооружений.

[2] *Барбакан* – фортификационное сооружение, защищавшее подступы к воротам замка или крепости, навесная башня или предвратное укрепление, вынесенное за периметр стен крепости и соединенное с ней узким, обнесенным стенами проходом.

[3] *Мансар.* – Это имя носили два выдающихся французских архитектора: 1) Франсуа Мансар (1598–1666) – ученик С. де Броса (1571–1626), один из основоположников французского классицизма. В своих работах сочетал пластическое богатство декора с ясностью и простотой объемно-пространственной композиции. Многие из построенных им зданий были увенчаны высокой кровлей, которая по имени архитектора получила название мансардной, хотя подобный тип крыши уже использовался ранее во Франции. Прекрасный пример такой кровли – дворец Мезон-Лаффит (1642–1650). Среди других работ следует упомянуть крыло герцога Орлеанского (1635–1638) в замке Блуа, где мастер в числе прочего создал знаменитую винтовую лестницу, Отель де Тулуз (1635–1640) и церковь Валь-де-Грас (1645–1646) в Париже, завершенную по проекту автора архитекторами Ж. Лемерьсе (1585–1654) и П. Ле Мюэтом (1591–1669); 2) Жюль Адруэн-Мансар (1646–1708) – придворный архитектор Людовика XV, член Академии архитектуры с 1675 г., внучатый племянник Ф. Мансара. В 1678–1689 гг. руководил работами в Версале: пристроил южные (1678–1681) и северные (1684–1689) крылья к королевскому дворцу, перестроил его парковый фасад и создал совместно с Ш. Лебреном (1619–1690) ряд интерьеров, в том числе величественную Зеркальную галерею (1678–1684), залы Мира и Войны; соорудил дворец Большой Трианон (1687), замок Кланьи (1676–1683).

[4] *Габриель* Жак Анж (1698–1782) – французский архитектор, один из основоположников классицизма, создатель дворца Малый Трианон (1762–1764) и Оперного зала (1763–1770) в Версале, а также площади Согласия в Париже (1753–1775). С 1742 г. – первый архитектор короля и президент Академии архитектуры.

[5] *Сервандони* Джованни Николо (1695—1766) — итальянский театральный художник и архитектор, работавший в Париже. Его творения относятся к барокко и раннему неоклассицизму.

[6] *...вдали от солнца Версаля...* — План Версаля (см. примеч. 1 к гл. XI), ставшего королевской резиденцией при Людовике XIV — короле-Солнце, в сечении напоминает изображение солнца: от расположенного в центре дворца во все стороны расходятся лучи-аллеи.

[7] *Шевалье де Сент-Юбер.* — На с. 13 наст. изд. Готье называет шевалье другим именем — де Вертей.

[8] *Форейтор.* — См. примеч. 1 к гл. IV «Фортунио».

[9] *Пикет* — карточная игра, известная во Франции под различными названиями начиная с XV в. Пикет рассчитан на двух игроков, хотя существуют варианты и для трех-четырех игроков. Для пикета используется колода из 32 карт.

[10] *Зеленый стол* — столик для игры в карты. Обычно обивался зеленым сукном, отчего и стал так называться.

[11] *Вист.* — См. примеч. 12 к гл. II «Невинных распутников».

Глава XXIII

[1] *Шарлемань* (фр. Charlemagne) — французская форма имени Карла Великого (742—814), короля франков с 768 г. из династии Каролингов, завоевавшего и объединившего почти все христианские земли Западной Европы. Коронованный в 800 г. как римский император папой Львом III (750—816), Карл Великий впоследствии был канонизирован в 1165 г. антипапой Пасхалием III (1100—1168) по настоянию Фридриха I Барбароссы (ок. 1125—1190, германский король с 1152 г., император Священной Римской империи с 1155 г.).

[2] *Святой Людовик* — Людовик IX (1214—1270), король Франции с 1226 г., самый известный правитель из династии Капетингов. В 1248—1250 гг. возглавил 7-й крестовый поход в Святую землю и умер во время 8-го похода в Тунисе. Снискал славу справедливого и мудрого правителя. Единственный король Франции, канонизированный Католической Церковью (1297 г.).

[3] *...на моей стороне будут господин де Вольтер, гражданин Женевы, Дидро и вся энциклопедическая клика...* — Имеются в виду энциклопедисты — авторы «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751—1780), основанной Д. Дидро и Ж.-Л. Д'Аламбером. Над составлением «Энциклопедии» трудились наиболее выдающиеся мыслители, ученые, писатели, инженеры эпохи Просвещения: Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, А.-Р.-Ж. Тюрго (1727—1781), Ж.-Л.-Л. Бюффон (1707—1788), Э.-Б. де Кондильяк (1715—1780), Ж.-Ф. Мармонтель, Г.-Т.-Ф. Рейналь (1713—1796) и др. Несмотря на значительные расхождения во взглядах и различия в имущественно-сословном положении, всех их объединяло стремление к социальным переменам, прежде всего к устранению сословного деления и более равномерному распределению собственности. Так, Вольтер в пьесах «Право сеньора» (1762) и «Нанина» (1749) изобразил помещиков либерального уклона, готовых жениться даже на крестьянке. В свою очередь, Дидро в драме «Отец семейства» (1758) отстаивал право сына выбирать себе жену по указанию сердца, а не отца. Руссо, автор трактатов «Рассуждение о происхождении и основах неравенства между людьми» (1755), «Об общественном договоре» (1762), был более радикален, разоблачая социальное

неравенство как порождение частной собственности, и, критикуя цивилизацию, доказывал, что общественное лицемерие, испорченность нравов, власть моды и этикета убивают человеческую личность, лишают человека естественных и чистых чувств.

[4] *Семь греческих мудрецов* — в древнегреческой интеллектуальной традиции обобщенное название семи мыслителей и государственных деятелей VII—VI вв. до н. э., житейская мудрость которых, выраженная в кратких афоризмах, или гномах, стала известна всей Элладе. Имена «семи мудрецов», так же как и атрибуция отдельных изречений, в различных источниках варьируется. Всего называют семнадцать имен в разных комбинациях, к примеру, согласно Платону, этими мудрецами были Клеобул из Линдоса (VI в. до н. э.), Периандр из Коринфа (ок. 660 — ок. 585 до н. э.), Питтак из Митилены (ок. 650 — ок. 570 до н. э.), Биант из Приены (VI в. до н. э.), Фалес из Милета (ок. 640/625 — ок. 547/545 до н. э), Хилон из Лакедемона (VI в. до н. э.) и Солон из Афин (ок. 640/635 — ок. 559 до н. э.) (см.: Протагор. 343а). Во всех источниках неизменно упоминаются Фалес, Биант из Приены, Питтак из Митилены и Солон Афинский. В каноне семи мудрецов, составленном в 4 в. до н. э. Деметрием Фалерским (ок. 350 — ок. 280 до н. э.), к ним добавлены Клеобул из Линда, Периандр из Коринфа и Хилон из Лакедемона.

[5] *...на большой лестнице в Оранжерее...* — Имеется в виду оранжерея, построенная в Версале в 1684—1686 гг. архитектором Ж. Адруэн-Мансаром (см. примеч. 3 к гл. XXII). Ее центральная галерея находится под так называемым Южным партером с бассейнами и газонами. Большие окна оранжереи выходят на Нижний партер, с двух сторон от которого расположены боковые галереи оранжереи, поверх коих идут две широкие лестницы, соединяющие оранжерею с Южным партером.

[6] *Вера угольщика* (фр. foi du charbonnier) — устойчивое французское выражение, связанное с легендой о набожном угольщике, которого не смог соблазнить бес. В переносном смысле означает искреннюю и крепкую веру в Бога простого человека (невежды), не требующую доказательств и разъяснений.

Глава XXIV

[1] *...маркиза, подобно многим высокородным дамам... завлекала молодых простолюдинов в свои маленькие Нельские башни...* — Аллюзия на пьесу Фредерика Гайарде (1808—1882) и А. Дюма-отца «Нельская башня» (1832), основанную на народной легенде о королеве Франции, которая заманивала в Нельскую башню молодых красивых мужчина и после проведенной вместе ночи приказывала убить их своим слугам, сбрасывавшим тела в мешках в Сену. Легенда связана со скандальной историей невесток Филиппа IV (1264—1314, король Франции с 1285 г.), известной также как «дело Нельской башни». В 1314 г. Маргарита Бургундская (1290—1315), супруга Людовика X (1289—1316, король Франции с 1314 г.), и Бланка Бургундская (1296—1326), супруга Карла IV (1294—1328, король Франции с 1322 г.), были обвинены в супружеской измене и приговорены к заточению в Шато-Гайар, а Жанна д'Артуа (1294—1329), супруга Филиппа V (1291—1322, король Франции с 1316 г.), обвинена в пособничестве им и заключена в замок Дурдан. Исторически Нельская башня первоначально была одной из угловых сторожевых башен, находившейся на левом берегу Сены, напротив башни Лувра, и входившей в систему крепостных

укреплений Парижа, которые были возведены в нач. XIII в. Филиппом II (1165–1223, король Франции с 1180 г.). К нач. XIII в. она превратилась в замок, который был выкуплен в 1308 г. Филиппом IV и пожалован королем старшему сыну, будущему Людовику X. Со смертью последнего замок отошел к Филиппу V, который в свою очередь подарил резиденцию своей супруге, оставившей здание по завещанию Коллеж де Бургонь. Сооружение было разрушено в 1665 г.

[2] *Госпожа Эгмонт.* – Имеется в виду Софи-Жанна-Арманда-Элизабет-Септимани де Виньеро дю Плесси-Ришельё, графиня д'Эгмонт (1740–1773), дочь герцога де Ришельё (см. примеч. 3 к гл. XVIII), известная своей любовью к приключениям. Незадолго до описываемых событий она под чужим именем соблазнила юношу-продавца, а когда тот узнал правду о ее положении, приказала поместить его в сумасшедший дом. Эта история описана, в частности, в романе Софи Ге (1776–1852) «Графиня д'Эгмонт» (1836), в одноименном романе (1855) Жюля Жанена (1804–1874), а также в воспоминаниях М.-Ж. Дюбарри, благодаря вмешательству которой молодой человек был переправлен в Мадрид и получил хорошее содержание.

[3] *К розе дивной устремясь ~ На уста маркизы...* – Заготовленное аббатом стихотворение пестрит поэтическими штампами, характерными для любовной лирики. В частности, красная роза (в античной мифологии – цветок Афродиты и Венеры) в поэзии традиционно символизирует любовь, а мотылек (или бабочка) – легкомыслие, непостоянство и изменчивость.

●

АВАТАРА

Впервые опубл. в газете «Le Moniteur universel» (февраль–март 1856 г.; 12 фельетонов). Первое отдельное изд. вышло в 1857 году. В основу французского издания (см. т. II, с. 553 наст. изд.), по которому выполнен настоящий перевод, положен текст, вошедший в изд.: *Gautier T.* Romans et contes. P.: Charpentier, 1863.

В русском переводе публикуется впервые.

Санскритское слово «аватара» (avatāra – букв.: нисхождение) в индуистской мифологии означает нисхождение на землю одного из богов (чаще всего – бога Вишну), его воплощение в смертное существо ради спасения мира, восстановления закона и добродетели (дхармы) или ради защиты своих приверженцев. Чаще всего слово avatāra подразумевает то существо, в которое воплотился бог (например, Рама и Кришна – это аватары Вишну). В современный французский язык это слово вошло в его новоиндийской форме, без конечного «а» (avatar) – и, помимо первоначального, собственно индийского, значения приобрело (с начала XIX века) еще и значение другое, более общее: *перемена, превращение, перевоплощение.* При этом подразумевается сам процесс превращения, а не его результат. Именно так слово avatar употребляет в своей повести Теофиль Готье. А то, что на санскрите называется avatāra, то есть превращенную форму бога, Готье обозначает словом incarnation (инкарнация, воплощение). Обмен телами, который описан в повести Готье, индийцы не назвали бы «аватарой».

Глава I

[1] *Октав.* — Выбор имени не случаен. Так звали героя романа Стендаля «Арманс, или Сцены из жизни парижского салона 1827 года» (1827), склонного к мизантропии молодого аристократа, который был подвержен перепадам настроения и покончил с собой, разуверившись в любимой девушке из-за низкой интриги недоброжелателей. Роман, видимо, произвел на Готье неизгладимое впечатление, позднее он присвоит фамилию де Маливер герою другого своего романа — «Спирита». В сюжетах всех трех романов прослеживаются определенные параллели.

[2] *...сквозь одну из невидимых дыр, которых, как утверждает Теренций, у человека немало.* — Имеется в виду стих из комедии Теренция (см. примеч. 7 к гл. XVII «Фортунио») «Евнух» (161 г. до н. э.): «...plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo» (акт I, сц. 1, 105). Ср. в пер. А.В. Артюшкова: «...кругом в дырах, повсюду протекаю я».

[3] *Путешествие в Неаполь... не принесло облегчения.* — Готье путешествовал по Италии с августа 1850 г. В Неаполь он прибыл 25 октября и был выслан из него полицией 4 ноября как писатель-социалист и по необоснованному подозрению в подрывной деятельности.

[4] *...солнце виделось ему черным, как на гравюре Альбрехта Дюрера: летучая мышь со словом «меланхолия» на крыльях взбивала сияющую лазурь...* — В этой фразе отразилось впечатление Готье от знаменитого стихотворения «El Desdichado» (1854) французского поэта Жерара де Нерваля (1808—1855) — близкого друга Готье, который покончил жизнь самоубийством 1 января 1855 г., т. е. в то время, когда Готье работал над «Аватарой». Дюрер (см. примеч. 2 к гл. V «Двое на двое») — автор гравюры «Меланхолия I», на которой изображено солнце с черными лучами и летучая мышь, несущая ленту с надписью «Меланхолия».

[5] *Набережная Мерджеллина* — район и набережная в Неаполе на берегу Тирренского моря.

[6] *Октав вернулся... в скромные апартаменты на улице Сен-Лазар...* — Улица Сен-Лазар расположена на правом берегу Сены (8-й округ Парижа), в XIX в. была застроена отелями и меблированными домами.

[7] *Буль.* — См. примеч. 6 к гл. I «Фортунио».

[8] *Султан* — здесь: пушистая метелка на длинной ручке для удаления пыли с картин, люстр и проч.

[9] *Смирна* — греческое название города Измир, турецкого порта на Эгейском море.

[10] *Наргиле.* — См. примеч. 1 к гл. VIII «Невинных распутников».

[11] *Джентльмен-райдер.* — См. примеч. 2 к гл. I «Невинных распутников».

[12] *Жокей-клуб* — аристократический клуб на манер английских. Открыт в Париже в 1834 г.

[13] *Сплин.* — Английское слово «сплин» (spleen — тоска), характеризующее меланхолию без явных причин, смутную тревожность и скуку, проникло во французский язык в 1763 г., когда Дени Дидро использовал его в характеристике англичан. Считается, что оно широко распространилось после появления в печати сборника стихотворений Бодлера «Цветы зла» (1857), первый раздел которого называется «Сплин и идеал».

[14] *Он не знался с мраморными девами...* — Мраморные девы — здесь: куртизанки. Аллюзия на драму Теодора Барьера и Ламберта Тибу «Мраморные девы», премьера которой прошла в Театре водевиля 17 мая 1853 г.

[15] *...Октав де Савиль являлся человеком весьма здравым и был не способен броситься в пропасть подобно Манфреду...* — Манфред — герой одноименной драматической поэмы Байрона (1817), один из первых «байронических» персонажей — горделивых одиночек, «романтический Фауст». Действие драмы разворачивается на горных вершинах Альп, куда удалился разочарованный жизнью Манфред. Тщетно прося у духов забвения, обреченный на вечное прозябание, Манфред пытается покончить с собой, бросившись вниз с вершины самой высокой горы этого массива — горы Юнгфрау, однако его спасает бродивший в тех местах охотник.

[16] *...разжечь печку по примеру Эскусса.* — Эскусс Виктор (1813—1832) — французский поэт и драматург. После провала пьесы, написанной им в соавторстве с Огюстом Лебра, оба молодых человека покончили жизнь самоубийством, отравившись угарным газом.

[17] *Бальтазар Шербонно.* — Имя этого персонажа имеет библейское звучание (Бальтазар — латинизированная форма ветхозаветного имени Валтасар (см.: Дан. 5: 1—31)), а фамилия — чисто французская и принадлежит знаменитому парижскому востоковеду Жаку-Огюсту Шербонно (1813—1882), автору многих трудов по арабской литературе.

[18] *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель, композитор, художник, автор четырехтомного сборника рассказов «Фантазии в манере Калло», романа «Эликсир дьявола» и сборника рассказов «Странные истории Гофмана». Готье увлекался Гофманом, он посвятил его сказкам одну из первых своих критических работ статью «Сказки Гофмана», опубликованную в газете «Chronique de Paris» от 14 августа 1836 г. Упоминая Гофмана в самом начале повести, Готье словно отдает ему должное, как автору, вдохновившему его на создание романа в «мистическом» жанре. Чуть ниже в этом же абзаце Готье сравнивает доктора со Щелкунчиком — уродливой куклой из сказки Гофмана «Щелкунчик, или Мышиный король».

[19] *Брахман.* — См. примеч. 23 к гл. XIII «Двое на двое».

[20] *Пандит* — здесь: знаток традиционной индийской (индусской) учености.

[21] *Инициация* (от лат. initio — начинать, посвящать, вводить в культовые таинства) — переход индивида из одного статуса в другой, в том числе и через приобщение к замкнутому кругу лиц (членов племени, жрецов, рыцарей, членов ордена и т. п.), а также обряд, оформляющий этот переход.

[22] *«Кодекс»* — рецептурный справочник, которым пользовались французские аптекари при изготовлении медикаментов начиная с XVI в. 21 жерминаля XI года (11 апреля 1803 г.) французское правительство приняло закон, обязавший медиков и фармацевтов составить Единый кодекс лекарств, которым должны руководствоваться аптекари всей страны. Первое издание Кодекса вышло в 1818 г. на латинском языке и содержало 923 статьи, второе издание — в 1837 г. уже на французском языке, третье, и последнее, — в 1866 г.

[23] *Магнетический контакт* (раппорт) — термин, введенный австрийским врачом, создателем теории «животного магнетизма» Ф. Месмером (1734—1815) для обозначения физического контакта, благодаря которому происходила передача «маг-

нетического флюида» от гипнотизера пациенту. В духе увлечения месмеризмом, охватившего Францию в первой половине XIX в., Готье демонстрирует в «Аватаре» презрение к официальной медицине и призывает на помощь «оккультных медиков» (*Darnton R.* Mesmerism and the End of the Enlightenment in France. Massachusets: Harvard Univ. Press, 1968. P. 152). Готье, как и Гюго, Бальзак, чрезвычайно интересовался идеями Месмера о «животном магнетизме», посещал сеансы гипноза. См. также примеч. 35 к гл. II «Милитоны».

[24] *Ипохондрия* — угнетенное состояние человека, болезненная мнительность, озабоченность своим физическим здоровьем.

[25] *Липемания* (от греч. «липе» — грусть, печаль и «мания» — страсть, влечение) — термин, введенный в 1838 г. французским психиатром Жаном Эскиролем (1772—1840) для обозначения частичного хронического бреда без лихорадки с аффектами печали, бессилия, подавленности, что совпадает с понятием депрессии.

[26] *...сила, которая может убить так же, как... разряд в лейденской банке...* — Лейденская банка — первый электрический конденсатор, сконструированный в 1745 г. немецким пастором Эвальдом Георгом фон Клейстом и независимо от него чуть позже, в 1746 г., в лаборатории Лейденского университета голландским ученым Питером ван Мушенбруком. Электрический заряд, получаемый в лейденской банке, довольно слаб и убить не может.

[27] «*Бесплодные усилия любви*» (1595—1596; опубл. 1598) — маньеристская комедия У. Шекспира, в сюжете которой чередуются сцены «высокой» любви и ее комического «низкого» аналога, а в речи персонажей используется витиеватый эвфуистический стиль.

[28] *...старая история... но, как писал Генрих Гейне... всегда разбивает сердце.* — Имеется в виду стихотворение без названия Г. Гейне (1797—1856) из цикла «Лирическое интермеццо» (1833—1823), которое начинается словами: «Красавицу юноша любит, | Но ей полюбился другой...», а заканчивается следующим четверостишием: «Старинная сказка! Но вечно | Останется новой она; | И лучше б на свет не родился | Тот, с кем она сбыться должна!» (*Пер. А. Плещеева*). На французский язык это стихотворение было частично переведено и опубликовано Нервалем в «La Revue de Deux Mondes» от 15 сентября 1848 г.

Глава II

[1] *Лунгарно* — набережная во Флоренции на левом берегу реки Арно.

[2] *Баптистерий.* — Имеется в виду баптистерий Сан-Джованни или Флорентийский баптистерий, одно из старейших зданий Флоренции, построенное в романском стиле; возводилось с 1059 по 1128 г.

[3] *...статуей Персея работы Бенвенуто под арками Ланци...* — Бенвенуто Челлини (1500—1571) — флорентийский скульптор, представитель маньеризма, автор статуи Персея, стоящей под арками Лоджии Ланци на площади Синьории.

[4] *...портретом Форнарины в Уффици...* — Форнарина (наст. имя — Маргарита Лути) — дочь римского булочника (*ит.* fornaro, fornaio, fornarino), возлюбленная Рафаэля в последнее десятилетие его жизни, изображенная на многих его полотнах. Картина кисти Рафаэля с названием «Форнарина» (1518—1519) хранится в Риме, в Национальном музее античного искусства. Во Флоренции в Палаццо Питти нахо-

дится другой ее портрет, который называется «Дама с вуалью», или «Донна Велата» (1514). Уффици — картинная галерея, открытая в 1737 г. в здании, построенном для органов центральной власти Великого герцогства Тосканского в 1550—1580 гг.

[5] *...Венерой работы Кановы во дворце Питти...* — Статуя Венеры Италийской работы Кановы находится в Палаццо Питти — одном из самых грандиозных флорентийских дворцов (архитектор Бартоломео Амманати; 1511—1592). См. также примеч. 29 к гл. I «Фортунио».

[6] *Кафе Донея* — кондитерская во Флоренции, открытая в 1827 г. Гаспаром Донеем — производителем шоколада и кондитерских изделий, поставщиком королевских дворов. Это кафе было центром светской жизни Флоренции.

[7] *Кашины* — парк протяженностью три километра на левом берегу реки Арно.

[8] *Булонский лес.* — См. примеч. 33 к гл. I «Фортунио».

[9] *Пергола* — оперный театр во Флоренции, возведенный в 1656 г. и впоследствии неоднократно перестраивавшийся. В 1657 г. в этом театре была поставлена первая в истории опера-буффа.

[10] *...потрясающее творение венских каретчиков, шедевр Лауренци...* — Вена являлась одним из ведущих европейских центров производства карет. Как в Москве и Санкт-Петербурге, в Вене работали мастера, приглашенные из Италии и других стран. Лауренци Людвиг (1788—1859) был главой австрийской компании по производству карет высокого качества.

[11] *...была запряжена а-ля д'Омон пара коней...* — См. примеч. 43 к гл. I «Фортунио».

[12] *Гайд-парк.* — См. примеч. 19 к гл. IX «Милитоны».

[13] *Сент-Джеймсский парк.* — Считается старейшим парком в Лондоне; окружен Сент-Джеймсским дворцом с севера, Букингемским — с запада и зданием Министерства иностранных дел — с востока. Как и одноименный дворец, назван в память о некогда находившейся на его территории богадельне Св. Якова.

[14] *Королева Виктория* (Александрина Виктория; 1819—1901) — королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии (1837—1901 гг.), императрица Индии (1876—1901 гг.), эпоха правления которой была названа в ее честь викторианской.

[15] *Огромная шаль... окутывала ее мягкими волнами, будто туника на скульптурах Фидия.* — Большинство работ Фидия (см. примеч. 6 к гл. XX «Фортунио») известны по описаниям и копиям, например, колоссальная статуя Афины Парфенос (ок. 438 г. до н. э), лучшая из копий которой (III в. н. э.) хранится в Национальном археологическом музее (Афины). Афина Фидия одета в длинную тунику, ниспадающую широкими, струящимися складками.

[16] *Паросский мрамор.* — См. примеч. 53 к гл. I «Царя Кандавла».

[17] *С первого взгляда внимание привлекал не рисунок... а... колорит — точно так воспринимаются... произведения венецианской школы.* — Венецианская школа — стиль живописи, сложившийся в эпоху Возрождения в Венеции. Его отличительной чертой являются любовь к свету и насыщенность красок. Готье был не только любителем, но и превосходным знатоком итальянской живописи Ренессанса. Вместе с А. Уссе и П. де Сен-Виктором он написал серию портретов художников под названием «Боги и полубоги живописи», которая открывалась очерком о Леонардо да

Винчи и включала эссе о других знаменитых итальянцах, принадлежавших в том числе и к венецианской школе, — о Тициане, Джорджоне и Веронезе (см.: *Gautier T., Houssay A., Saint-Victor P.* Les dieux et les demi-dieux de la peinture. P.: Morizot, 1864).

[18] *Как Ромео забыл Розалинду, встретив Джульетту...* — Ошибка Готье: Розалинда — героиня другой пьесы Шекспира «Как вам это понравится». Полюбив Джульетту, Ромео говорит священнику: «Нет, с Розалиной у меня конец, | Я имя позабыл ее, отец» (*Шекспир У.* Ромео и Джульетта. Акт II, сц. 3. *Пер. Б. Пастернака*).

[19] *...муж вот уже два года воевал на Кавказе.* — Имеется в виду Кавказская война 1817—1864 гг., в результате которой Кавказ был присоединен к Российской империи. См. также примеч. 11 к гл. III.

[20] *Графиня... сняла... виллу, в прошлом принадлежавшую семье Сальвиати...* — Вилла Сальвиати — исторический памятник в окрестностях Флоренции. Замок, построенный в начале 15-го столетия и окруженный парком, с 1445 г. стал собственностью знатного флорентинца Аллемано Сальвиати. Из этой семьи вышли несколько кардиналов и один художник. На этой же вилле жил Филиппо Сальвиати (1583—1614) — друг Галлилея и последователь Коперника.

[21] *Алебастр.* — См. примеч. 4 к гл. III «Фортунио».

[22] *...лицо покрывалось фосфоресцирующими бликами, светлым трепетом, о котором говорит Данте, когда живописует великолепие рая...* — «Рай» Данте целиком построен на образах, связанных с божественным светом, солнцем, лучами, пламенем, огнем, белизной, сиянием, блеском и т. п. «Лучезарность», «светоносность» характеризуют и образ Беатриче. Ср., напр., в пер. М. Лозинского: «Когда мой облик пред тобою блещет | И свет любви не по-земному льет, | Так что твой взор, не выдержав, трепещет, | Не удивляйся...» (*Данте.* Божественная комедия. Рай. V. 1—4); «Я взгляд возвел к той, чьи уста звучали | Так ласково <...> Одно могу сказать про то мгновенье: | Что я, взирая на нее, вкушал | От всех иных страстей освобожденье, | Пока на Беатриче упадал | Луч Вечной Радости и, в ней сияя, | Меня вторичным светом утолял» (Там же. XVIII. 7—18) — слова Беатриче и автора соответственно.

[23] *Дифирамб* — изначально жанр древнегреческой хоровой лирики, гимны, исполнявшиеся в честь бога Диониса. В новоевропейской литературе — лирический жанр, близкий к оде или гимну. В переносном смысле — преувеличенная, восторженная похвала.

[24] *Апострофа* — риторический прием, обращение к воображаемому лицу или неодушевленному предмету.

[25] *Петрарка* Франческо (1304—1374) — итальянский поэт, один из первых гуманистов, чьи сонеты, посвященные Лауре, идеализированной возлюбленной, во многом сформировали язык любовной лирики Возрождения.

[26] *...«Интермеццо» Генриха Гейне...* — См. примеч. 28 к гл. I.

[27] *Веленевая бумага.* — См. примеч. 1 к гл. XXI «Двое на двое».

[28] *Стратагема* — военная хитрость.

[29] *Вальмон* — персонаж романа Пьера Шодерло де Лакло (1741—1803) «Опасные связи» (1782), знатный господин, опытный обольститель и распутник.

[30] *Кафе де Пари.* — См. примеч. 6 к гл. XI «Фортунио».

[31] *...досадовал, что нет у меня под рукой, как у стендалевского Жюльена Сореля, пачки посланий, чтобы переписывать их по одному и каждый день отсылать графине.* — Аллюзия на роман Стендаля «Красное и черное» (1830), главный герой которого,

Жюльен Сорель, чтобы завоевать сердце Матильды де ла Моль, притворился, что любит другую, и воспользовался подаренными ему чужими любовными письмами (см.: *Стендаль.* Красное и черное. Ч. II, гл. XXIV–XXX).

[32] *Шандернагор.* — См. примеч. 1 к гл. V «Двое на двое».

[33] *Пария* — здесь: представительница одной из низших социальных групп (неприкасаемых) в Индии.

[34] *Апеннины* — горная система, проходящая почти через весь Апеннинский полуостров, на котором находится большая часть Италии. Располагаются восточнее Флоренции.

[35] *Баччо Бандинелли* (1493–1560) — флорентийский скульптор, представитель классицизма.

[36] *Аммананти* Бартоломео (1511–1592) — флорентийский скульптор и архитектор, ярко воплотивший в своем творчестве стиль маньеризм.

[37] *Санта-Мария-дель-Фьоре* — кафедральный собор Богоматери во Флоренции, построен Арнольдо ди Камбио (1245–1310) в готическом стиле. К завершению постройки в 1434 г. этот собор был самым большим в Европе. Его красный купол, являющийся символом Флоренции, состоит из восьми граней и по диаметру (42 м) не имеет равных в мире.

[38] *Палаццо Веккьо* (Старый дворец) — каменный дворец-крепость с башней высотой 94 м. Зодчий — А. ди Камбио (см. примеч. 37).

[39] *Хорасан* — историческая область, включавшая северо-восточную часть современного Ирана, юг современного Туркменистана и северную часть Афганистана. В XIV–XV вв. был важнейшим центром науки, искусств и ремесел.

[40] *...одежды, что струятся вокруг Ники, завязывающей сандалию.* — Барельеф, изображающий богиню победы Нику, находился на парапете храма Ники Аптерос (424 г. до н. э.) в Афинах на Акрополе. Хранится в музее Акрополя.

[41] *Шведские перчатки* — тонкие замшевые перчатки с удлиненными манжетами, модные в 50–60-х годах 19-го столетия.

[42] *...Прасковия захлопнула книгу — стихи Мицкевича...* — Мицкевич Адам (1798–1855) — один из величайших поэтов Польши, основатель польского романтизма. Готье подчеркивает славянское происхождение героини.

[43] *Ангел с алмазным щитом и сверкающим копьем...* — Со щитом и копьем изображаются архангел Михаил, архангел Рафаил и другие ангелы-воители, которые сражались с Сатаной (драконом). См.: Нав. 5: 13–14; Откр. 12: 7–9.

Глава III

[1] *Оттоманское посольство* — то есть посольство Османской империи, которая в период наибольшего расширения включала помимо Турции весь Балканский п-ов, значительные территории на севере Африки, Месопотамию и др. Империя распалась после Первой мировой войны.

[2] *Елисейский дворец.* — Находится на пересечении проспектов Фобур-Сент-Оноре и Мариньи, в одном квартале от Елисейских полей. Построен в 1718 г. по проекту архитектора Молле для графа д'Эвре и вскоре приобретен мадам де Помпадур; позже служил резиденцией Каролины Бонапарт и императрицы Жозефины. С 1873 г. — резиденция Президента Франции.

[3] *Сады, расположенные в конце проспекта Габриеля... тянулись... до особняков, парадные фасады которых выходили на улицу Фобур-Сент-Оноре.* — Обе эти улицы находятся в 8-м округе Парижа и тянутся параллельно Елисейским полям. От дома Октава на улице Сен-Лазар до дома Прасковии на проспекте Габриеля всего два километра.

[4] *Райграс* — травянистое растение, райграс пастбищный, или райграс английский. Используется для создания густых и устойчивых газонов.

[5] *...дозволено... проскользнуть... Титании из Вест-Энда под руку с Обероном...* — Титания и Оберон — королева фей и ее муж, наделенный властью Купидона, из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1595). Вест-Энд — см. примеч. 1 к гл. IV «Двое на двое».

[6] *Книга пэров и баронов* — британский реестр дворянских семейств. Первый том «Peerage of England, Scotland and Ireland» был опубликован Джоном Дебретом в 1802 г., второй — «Baronetage of England» — в 1808-м. К середине XIX в. эти два тома слились в один и издавались под разными названиями, например, в 1879 г. вышел «Debrett's Peerage, Baronetage, Knightage and Titles of Courtesy».

[7] *Ионический ордер* — один из трех (средний по визуальной тяжести, считавшийся «женским») ордеров греческой системы ордеров (см. примеч. 11 к гл. III «Милитоны»), сформировавшейся в сер. VI в. до н. э.

[8] *Аттик.* — См. примеч. 6 к гл. XVI «Фортунио».

[9] *...пристанище королевы фей...* — См. примеч. 5.

[10] *Барон* Анри (1816—1895) — французский живописец, мастер небольших жанровых композиций классического стиля.

[11] *...он... не сражался... с мистическим и неуловимым Шамилем...* — Шамиль (1797—1871) — крупнейший деятель ислама на Кавказе XIX в., видный мусульманский богослов и правовед, жесткий харизматичный политик с твердой и непреклонной волей, искусный военачальник, неустрашимый воин, прекрасный организатор, возглавлявший борьбу кавказских народов за независимость от российского колониализма (см. примеч. 20 к гл. II). Родился в аварском ауле Гимры (горный Дагестан); был избран третьим имамом (1834—1859 гг.) Дагестана и Чечни, т. е. религиозным и военно-политическим руководителем союза общин, на тот момент объявивших «священную войну» — газават (воплощение так называемого «малого джихада», или «джихада меча») российским завоевателям и принявшим их сторону кавказским мусульманам. Конечная цель борьбы восставших горцев состояла не только в освобождении «земли ислама», захваченной «неверными», но и в искоренении «порчи нравов», вызываемой адатом (доисламским многовековым местным укладом жизни, обычным правом) и влиянием колонизаторов, в законодательном установлении норм праведной жизни, регулируемых Законом Божьим мусульман — шариатом. В ходе Кавказской войны (1817—1864 гг.) усилиями Шамиля на землях Дагестана (точнее, ликвидированного Аварского ханства) и Чечни был создан Имамат — военно-теократическое государственное образование. Здесь, высоко в горах, на пространствах традиционного влияния христианской Грузии, ислам восторжествовал окончательно, заработали шариатские суды и был введен режим исламского правления. После многолетней борьбы с царскими войсками Шамиль принял условия почетного плена (разрешение свободного выезда в Мекку) и 27 августа 1859 г. отправился с домочадцами в столицу Российской империи, где был, к немалому удивлению имама, радушно принят. В его честь Александр II устроил во-

енный парад. Поселился Шамиль в Калуге. В августе 1866 г. в Калужском губернском дворянском собрании он вместе с сыновьями принес присягу на верноподданство России. Шамиль потом признавался, что сильно сожалел о своем участии в войне против русских. Спустя три года высочайшим указом имам был возведен в потомственное дворянство, а в 1870 г. отправился в хаджж (паломничество к святым местам ислама) на Аравийский полуостров. Скончался он в марте 1871 г. в Медине, куда прибыл, чтобы посетить Мечеть Пророка, на территории которой находится захоронение земного вестника ислама — Мухаммада. Упокоился Шамиль на знаменитом мединском кладбище угодников Божьих — аль-Бакы.

Фигура Шамиля, походы и набеги которого «были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений» (*Толстой Л.Н.* Хаджи-Мурат. Гл. XIII), обросла множеством легенд. Показательна характеристика, которую дал один из героев чеховской повести «Три года», Иван Початкин, другому ее персонажу — Алексею Лаптеву: «С вашей стороны <—> заслуга храбрости, так как женское сердце есть Шамиль» (гл. V).

[12] *Мюрид* (мурид) — добровольный последователь, ученик; неофит в период подготовки к вступлению в суфийское братство (общину приверженцев суфизма — мистического течения в исламе), когда человек находится на первой (низшей) ступени посвящения и духовного самосовершенствования; принимает на себя определенные обязательства перед наставником (муршидом, пиром, шейхом), состоя с ним в интимно-доверительных отношениях и беспрекословно повинуясь его воле. Считалось, что благодаря длительной духовной подвижнической практике тому удалось предельно приблизиться к Богу и теперь он был способен вести своего безгранично преданного последователя по пути такого приближения.

В основе движения Шамиля (см. примеч. 11) лежал фундаменталистский культ пророка ислама — Мухаммада (ок. 570—632), распространившийся в Дагестане еще в нач. XVIII в. Опираясь на идеологию «чистого единобожия», Шамиль использовал в своей борьбе все, что накопил к этому времени ислам — как мировосприятие и образ жизни — Дагестана и Чечни нач. XIX в., в том числе и организационную структуру суфийских братств, только мюридом назывался уже не послушник шейха, а воин, выполнявший приказ своего командира и на пути «войны за истинную веру» очищавшийся от грехов и обретавший спасение души ради вечного пребывания в раю. Мюридизм стал знаменем национально-освободительного движения на Кавказе и крупным идейно-политическим фактором, позволившим местным народам оказывать упорное и длительное сопротивление имперским войскам.

Лев Толстой, очевидец многих событий того времени, передал в повести «Побег» следующий диалог между конным офицером, заметившим, что «на мрачном фоне гор» замелькали яркие огни, сигнализировавшие о приближении отряда русских, и ехавшим рядом местным жителем-татарином:

— Разве в горах уже знают, что отряд идет? — спросил я.

— *Эй! как можно не знает! всегда знает: наша народ такой!*

— Так и Шамиль теперь собирается в поход? — сказал я.

— *Йок*, — отвечал он, качая головой в знак отрицания. — *Шамиль на похода ходить не будет: Шамиль наиб пошлет, а сам труба смотреть будет, наверху.*

— А далеко он живет?

— *Далеко нету. Вот, лева сторона, верста десять будет.*

— Почему же ты знаешь? — спросил я. — Разве ты был там?

— *Был: наша все в горах был.*

— И Шамиля видел?

— *Пих! Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид кругом. Шамиль середка будет!* — прибавил он с выражением подобострастного уважения (гл. VII).

(В примеч. к данному отрывку Л.Н. Толстой пишет: «*Йок* по-татарски значит нет. *Наибами* называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления. Слово *мюрид* имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем».)

[13] *...можно сказать словами одной старинной скандинавской песни: «Они убивают и погибают смеясь!»* — По-видимому, Готье имеет в виду какую-то из боевых песен скальдов либо «песенную Эдду» — т. е. «Старшую Эдду», где часто воспевались боевая выдержка и хладнокровие воинов. Однако точный источник цитаты установить не удалось.

[14] *Упоение... смог выразить только Томас Мур в своей «Любви ангелов»!* — См. примеч. 26 к гл. I «Фортунио».

[15] *...воссоединились половинки платоновского андрогина, искавшие друг друга после первоначального разъединения...* — Имеется в виду миф, изложенный в диалоге Платона (427—347 до н. э.) «Пир» (ок. 385 г. до н. э.). Согласно этому мифу, когда-то существовали мифические существа, перволюди — андрогины, которые соединяли в себе и мужское и женское начала. Страшные своей силой, они посягали даже на власть богов, за что Зевс разрубил их пополам и перемешал. С тех пор получившиеся половинки ищут друг друга, а когда находят, возникает эрос — любовь. Этот миф наложил глубокий отпечаток на художественную традицию Запада и, в частности, на романтическое толкование любви, которое очень точно изложено Готье в этом пассаже.

[16] *...летели... словно два голубя, влекомых, как прекрасно сказал Данте, одной волей.* — Имеются в виду строки из «Божественной комедии» Данте. Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «Как голуби на сладкий зов гнезда, | Поддержанные волею несущей, | Раскинув крылья, мчатся без труда...» (Ад. V. 82—84).

[17] *Политеизм* — многобожие, религия, основанная на вере во многих и разных богов. Готье имеет в виду прежде всего религию древних греков и римлян.

[18] *...петь гимн красоте строфами Пароса...* — То есть воспевать красоту богов в изваяниях из паросского мрамора (см. примеч. 53 к гл. I «Царя Кандавла»).

[19] *...ангелов-воителей, Михаила или Рафаила...* — См. примеч. 43 к гл. II.

[20] *Добрые феи... одарили его... а злая колдунья... пребывала в... хорошем настроении.* — Шутливая аллюзия на знаменитую сказку Шарля Перро (1628—1703) «Спящая красавица» (1697). В этой сказке несколько фей, приглашенных царской четой на день рождения долгожданной дочери, наделили ее замечательными свойствами — красотой, добротой, обаянием и проч., а одна старая фея-затворница, которую забыли пригласить, а затем не смогли подать ей столь же достойные столовые приборы, как остальным, от обиды посулила ей смерть, которую добрая фея смогла смягчить лишь частично, заменив смерть столетним сном.

Глава IV

[1] *...Феба... спускалась... к Эндимиону...* — См. примеч. 20 к гл. I «Фортунио» и примеч. 5 к гл. XX «Фортунио».

[2] *...есть... силы оккультные.* — Оккультизм — общее название учений, признающих существование скрытых связей, сил в человеке и природе, недоступных для рационального познания, но доступных «избранным», посвященным. Т. Готье, так же как Бальзак, Дюма, Гюго, Нодье, Ж. Санд, был чрезвычайно увлечен оккультными науками, мода на которые установилась в кон. XVIII — нач. XIX в. после «открытия» австрийским врачом Францем Антоном Месмером (1734—1815) так называемого «животного магнетизма» — способности животного тела намагничиваться и сообщать энергию другим телам. Месмер в 1784 г. обосновался в Париже и до начала революции 1789 г. имел там врачебную практику, что весьма способствовало влиянию его теорий на французский романтизм.

[3] *Эти секреты... высекли иероглифами на стенах пещер Эллоры.* — Имеется в виду величественный комплекс вырубленных в толще горы храмов (буддийских, джайнских и индуистских), украшенных замечательными скульптурами и горельефами (V—X вв.); находится в штате Махараштра на западе Индии, в 30 км от города Аурангабада. Следует заметить, что в храмах Эллоры нет и не могло быть иероглифических надписей, поскольку индийские языки используют слоговое письмо.

[4] *...на склонах горы Меру, откуда берет начало Ганг...* — Меру — в индуистской мифологии золотая гора, центр вселенной, ось мира, обитель высших богов. По индуистским представлениям, Меру находится где-то на севере, за Гималаями. Священная река Ганга (в индийских языках это имя — женского рода: «матушка-Ганга») стекает с небес сначала на Меру и лишь потом — на землю.

[5] *...у подножия белокаменной лестницы священного города Бенарес...* — Бенарес — распространенное в Европе название священного для индусов города Варáнаси, расположенного в среднем течении Ганги. Здесь, очевидно, имеются в виду так называемые «гхаты», широкие лестницы, спускающиеся с высокого берега к воде Ганги. См. также примеч. 3 к гл. XIV «Двое на двое».

[6] *«Ом».* — См. примеч. 24 к гл. XVII «Двое на двое».

[7] *...факиров, со следами от железных когтей Джаггернаута...* — Джаггернаут (у Готье: Jaggernat) — принятая в русском языке транскрипция английского слова juggernaut (произносится: джáгернóт), которое, в свою очередь, происходит от санскритского слова (теонима) Джаганнатха (Jagan-nātha — букв.: владыка мира). Джаганнатха — это одна из ипостасей Кришны. Его изображение стоит в храме Джаганнатха в городе Пури, в Ориссе (на востоке Индии). Во время ежегодных празднеств фигура Кришны-Джаганнатха провозится по городу на колеснице — при большом скоплении паломников. Бывали случаи, когда из-за давки люди гибли под колесами колесницы (возможно, некоторые паломники сознательно или в экстазе сами бросались под ее колеса). В европейских языках примерно с сер. XIX в. слово juggernaut стало метафорически обозначать жестокую и неодолимую силу, губительную для людей. Однако «железные когти Джаггернаута» — это уже плод фантазии Т. Готье. См.: *Рукавишникова Н.Ф.* Колесница Джаганнатха. М.: Наука, 1983.

[8] *...душа, сия бессмертная бабочка...* — Душа и бабочка по-гречески обозначаются одним и тем же словом — «психе». Бабочка, как невесомое и крылатое создание, часто служит символическим изображением души и указывает на ее воскресение (подобно тому, как сама бабочка появляется из куколки) и бессмертие. Изображение бабочки встречается на многих античных надгробиях. В христианской иконографии бабочка является символом воскресения души; младенец Христос может изображаться рядом с бабочкой или держать ее в руке. См. также примеч. 4 к гл. XIII «Спириты».

[9] *Экстаз* — здесь: состояние отрешенности, ясновидения, общения с потусторонними силами.

[10] *...замысел Прометея, поднявшегося на небо, чтобы похитить огонь...* — См. примеч. 9 к гл. XV «Двое на двое».

[11] *Эмпиризм* — философское учение, признающее чувственный опыт единственным источником знаний. Доктор употребляет этот термин в более узком смысле, как опыт, эксперимент.

[12] *Месмер* Фридрих Антон (1734—1815) — немецкий врач, разработавший терапевтическую систему, в основе которой лежит понятие о животном магнетизме (см. примеч. 35 к гл. II «Милитоны»). Сначала он вслед за Парацельсом (см. примеч. 16 к гл. VI) пытался лечить с помощью магнитов, затем перешел к опытам с электрическим током (см. примеч. 14 к гл. V). Его система стала предшественницей современной практики лечения гипнозом.

[13] *Делон* Шарль-Никола (1750—1786) — врач, ученик и последователь, а затем конкурент Месмера.

[14] *Максвелл* Уильям (вторая пол. XVII в.) — шотландский медик, врач английского короля Карла II, последователь Парацельса. В 1679 г. опубликовал книгу «О магнетической медицине», в которой упомянул о телесных лучах, способных воздействовать на расстоянии. Утверждал, что внушение является мощным оружием врачевателя.

[15] *Пюисегюр* Арман-Мари-Жак де Шастнэ, маркиз де (1752—1825) — последователь Месмера, открывший явление искусственного сомнамбулизма. Автор книги «Поиски, опыты и физиологические наблюдения над человеком в состоянии искусственного сомнамбулизма, вызванного магнетизацией» (1811).

[16] *Делёз* Жозеф Филипп Франсуа (1753—1835) — сторонник Месмера, автор «Критической истории животного магнетизма» (1813) и «Практической инструкции по животному магнетизму» (1819).

[17] *Каталепсия* — двигательное расстройство, застывание человека в принятой им или приданной ему позе.

[18] *Сомнамбулизм* — здесь: наиболее глубокая стадия гипноза, при которой можно вызвать у спящего не только снохождение, но и зрительные, слуховые и обонятельные галлюцинации.

[19] *...от озарений Кардано...* — Кардано Джероламо (Джироламо) (1501—1571) — итальянский математик и медик, астролог и оккультист, автор многих сочинений, в том числе автобиографии «О моей жизни» (1575). В этой книге он, в частности, рассказывает о вещих снах, которые не раз помогали ему в жизни, о шуме в ушах, который он ощущал всякий раз, когда его подстерегала какая-либо опасность, а так-

же о том, как он чудесным образом изучил латинский, греческий, французский и испанский языки.

[20] *Святой Фома Аквинский* (1225–1274) – великий итальянский философ и теолог, канонизированный в 1323 г. К концу жизни он во время молитвы стал иногда впадать в состояние экстаза, во время которого напрямую общался с Господом. Согласно свидетельству его секретаря отца Реджинальда Пипернского, во время мессы св. Николаю Христос открыл ему великую тайну, по сравнению с которой все написанное ученым показалось ничтожным, и 6 декабря 1273 г. Фома Аквинский прекратил работу над книгой «Сумма теологии», которая так и осталась незавершенной (см.: S. Thomae Aquinatis Vitae Fontes Praecipuae / Ed. A. Ferrua. Alba, 1968. P. 318 ff.).

[21] *Пифия* – в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах, восседавшая на треножнике над расщелиной скалы, откуда поднимались одурманивающие испарения, и под их воздействием произносившая неразборчивые слова, которые истолковывались жрецами как прорицания и переводились в стихотворную форму.

[22] *Эпопт* (греч. – созерцатель) – в греческих мистериях лицо, получившее высшую степень посвящения и допускавшееся к «созерцанию» драматических представлений, сюжетом которых служили события из жизни богов.

[23] *...я... проник в тайны Трофония и Эскулапа...* – То есть в тайны древнего искусства врачевания. Трофоний – в греческой мифологии беотийский герой, наделенный даром прорицания. Давал предсказания в Лейбадейской пещере, близ храма, куда желающие узнать судьбу допускались только после выполнения серии обрядов, направленных на очищение души и тела. Эскулап – в римской мифологии бог врачевания, аналог греческого Асклепия, сына Аполлона, научившегося своему искусству у кентавра Хирона. Узнав, что Асклепий пытался воскрешать мертвых, Зевс убил его ударом молнии.

[24] *...концентрация или экспансия души...* – здесь: усиление или распространение «животного магнетизма». По Месмеру, магнетические флюиды передаются посредством чувства, предполагают взаимодействие душ лечащего и пациента. См. также пояснение в практическом руководстве по магнетизму: «Наша душа является принципом свободных движений, она дает импульс нервным флюидам <...>» (*Deleuze J.F.R., Rostan L.* Instruction pratique sur magnétisme animal. P.: Société pour les publications littéraires, 1836. P. 300).

[25] *Я повторил одно за другим все чудеса Аполлония Тианского.* – Аполлоний Тианский (I в. н. э.) – философ-неопифагореец и проповедник. Основным источником сведений о его удивительных деяниях является романизированная биография Флавия Филострата (ок. 170 – ок. 250) «Жизнь Аполлония Тианского», где Аполлоний описан как провидец и чудотворец, объездивший все известные тогда страны от Испании до Индии.

[26] *Санскрит* (samskrta – букв.: сделанный, выделанный, обработанный) – один из классических языков индийской культуры, аналог латыни в Европе. Нормы грамматики санскрита были зафиксированы трактатом Панини «Аштадхьяи» («Восьмиглавие») предположительно в V в. до н. э.

[27] *Пракрит.* – Речь идет о пракритах, так называемых среднеиндийских языках, представлявших собой более позднюю, чем санскрит, стадию развития индоарийских языков (засвидетельствованы, по крайней мере, с III в. до н. э.). Т. Готье, види-

мо, ошибочно полагал, что был всего один пракрит. На самом деле их было несколько.

[28] *Муни.* — См. примеч. 22 к гл. XIII «Двое на двое».

[29] *...я усвоил всемогущественные... слоги Слова, которое было в начале.* — Аллюзия на начало Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1: 1–5).

[30] *Профан* — здесь: непосвященный.

[31] *...я прочел все, что отыскал, о... космогонических мистериях...* — Имеются в виду представления древних народов о происхождении мира и связанная с ними система обрядов.

[32] *...многорукие гибридные божества...* — В индуистской мифологии некоторые божества изображаются многорукими. Так, у Шивы — четыре руки, а у его супруги Кали (Деви) — восемь или даже десять. Слово «гибридный», очевидно, имеет в виду смешанную (человеческо-звериную) природу некоторых божественных персонажей: так, у Ганеши — голова слона, а одна из аватар Вишну — человеколев (Нарасинха).

[33] *...медитировал над диском Брахмы...* — Брахма — в индийской мифологии первый из трех верховных божеств, создатель вселенной. Диск (или чакра) — оружие наподобие бумеранга, обладающее сверхъестественной силой, — является атрибутом не Брахмы, а Вишну (см. примеч. 34). См. также примеч. 6 к гл. VI.

[34] *...медитировал... над лотосом Вишну...* — Вишну — в индийской мифологии второе верховное божество, хранитель вселенной. В конце каждого мирового цикла Вишну вбирает в себя вселенную и погружается в сон, а когда просыпается, из него вырастает лотос, а из лотоса — Брахма, который совершает акт творения мира. Этот лотос Вишну держит в одной из своих четырех рук. См. также примеч. 42.

[35] *...медитировал... над коброй Шивы, синего Бога.* — Шива — в индийской мифологии третье верховное божество, хозяин и разрушитель вселенной. Шива часто изображается с украшениями из змей; кроме того, согласно одному из мифов, враги Шивы наслали на него змея, но он надел его на шею, как ожерелье. После того, как Шива выпил яд, способный отравить и сжечь всю вселенную, его шея приобрела синий цвет. Полностью синекожим изображается Вишну.

[36] *Ганеша.* — См. примеч. 21 к гл. XVII «Двое на двое».

[37] *...я поделился своим замыслом со священником из храма Тирунамалая...* — Речь идет или о храме Тирумала (г. Тирупати), одном из самых богатых храмов в Южной Индии, разместившемся среди священных водопадов и прудов и являющемся центром паломничества, или о городе Тируваннамалай (неподалеку от Пондишери), в котором находится около сотни храмов и, в том числе, самый большой в Индии храм, посвященный Шиве.

[38] *Элефанта.* — См. примеч. 15 к гл. XII «Двое на двое».

[39] *Святого звали Брахма-Логум...* — Брахма-Логум (Brahma-Logum) — очевидно, искаженное санскритское слово «брахма-лока» (brahma-loka), т. е. «мир [бога] Брахмы», которое, впрочем, в санскрите не использовалось как антропоним. Форма Brahma-Logum засвидетельствована, например, в одном из словарей XIX в. (см.: Diccionario universal de mitologia o de la fábula. Barcelona, 1835).

[40] *Канопа* — ритуальный древнеегипетский сосуд для хранения внутренностей мумифицированных людей или животных. Крышки этих сосудов, как правило,

были украшены головой одного из четырех сыновей бога Хора (Гора). Соответственно это могла быть голова человека, бабуина, шакала и сокола.

[41] *...она* [душа] *покидает меня и возвращается светящейся пчелкой...* — Пчела, как насекомое, которое каждую весну просыпается, возвращаясь к жизни, в индуизме является символом бессмертия и реинкарнации человеческой души.

[42] *...Вишну, бог десяти воплощений, открыл мне магическое слово, которое ведет ее, душу, от Аватары к Аватаре...* — В мифах чаще всего говорится о десяти аватарах-воплощениях (см. т. II, с. 586 наст. изд.) Вишну, который совершает свои подвиги в виде рыбы, черепахи, вепря, человека-льва, карлика, Парашурамы («Рамы с топором»), Рамы, Кришны (или Баларамы) и Будды. Последняя, десятая, аватара — Калки, всадник на белом коне, ожидается в будущем (см. примеч. 7–10 и 12 к гл. V).

[43] *...все кости мои потряс тот самый трепет, что упоминает Иов.* — Речь идет о праведнике Иове, книга которого является частью Ветхого Завета. Готье имеет в виду следующую фразу: «Среди размышлений <...> объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои» (Иов. 4: 13).

Глава V

[1] *Магнетизер* — лекарь, использующий для лечения животный магнетизм (см. примеч. 35 к гл. II «Милитоны») и трансовое состояние больного. Прежде часто употреблялось в смысле гипнотизер.

[2] *Калиостро* Александр, граф де (наст. имя — Жозеф Бальзамо; 1743–1795) — путешественник, маг и шарлатан, чьи спиритические сеансы к 1785 г. стали чрезвычайно популярны во французском высшем обществе.

[3] *Улица Регар* — улица в 7-м округе Парижа, рядом с Люксембургским садом. Дом доктора Шербонно находится в 4 км от дома Октава и в 2,5 км от дома Прасковии и Олафа.

[4] *...путешественник, вернувшийся с истоков Голубого Нила в Центральной Африке, трясется от холода в Каире.* — Климат в Каире, который находится на севере Африки, у начала дельты Нила, жаркий и засушливый, но отличается большим перепадом между дневной и ночной температурой воздуха. Очевидно, Готье путает Голубой Нил с Белым Нилом. Первый является правым притоком Нила и берет начало в Восточной Африке на Эфиопском нагорье на высоте 1800 м. Исток второго находится в Центральной Африке, недалеко от экватора, на расстоянии более 6000 км от Каира.

[5] *Тхуг* (от англ. thug, в свою очередь восходящего к хинди thag — вор, обманщик, разбойник) — разбойник-душитель, член квазирелигиозной секты в Северной Индии, совершавшей свои преступления якобы во имя богини Кали (см. примеч. 6 к гл. XVII «Двое на двое»).

[6] *...девять аватар-превращений, уже свершенных Вишну...* — См. примеч. 7–10, а также примеч. 42 к гл. IV.

[7] *...в Парашураму, сражающегося с тысячеруким великаном Карташусириаргуненом...* — Парашурама (*санскр.* «Рама с топором» или «Рама с палашом») — аватара Вишну, герой-воин, одним из подвигом которого было одоление и убийство тысячерукого злодея-царя по имени Картавирья Арджуна. Карташусириаргунен (Cartasuciriargunen) — искаженная форма этого имени, встречающаяся у европейских авторов XVIII–XIX вв.

[8] *Рама* — одна из аватар Вишну; герой, избавивший богов и людей от тирании царя-демона Раваны.

[9] *...в Кришну — чудесного младенца, в котором фантазеры видят индийского Иисуса...* — Кришна (krsna — букв.: черный, темный) — божественный персонаж, который обычно (но далеко не всегда) считается аватарой (воплощением) Вишну. Младенцем Кришна чудесным образом спасся от гибели, несмотря на приказ его дяди, царя Кансы, убивать всех младенцев, рожденных сестрой Кансы, Деваки. В этом эпизоде (напоминающем избиение младенцев в Вифлееме по приказу царя Ирода) и в некоторых других эпизодах жизни Кришны, а также в его божественной функции спасителя некоторые исследователи усматривали сходство образа Кришны с образом Иисуса Христа. Народная этимология иногда сближает сами имена этих двух персонажей: Кришна (в некоторых вариантах произношения — Критсна, Кристна и т. п.) — Христос (в некоторых вариантах произношения — Криста, Крист).

[10] *Будда* — в некоторых индуистских текстах Будда включается в число аватар-воплощений Вишну. Вишну якобы воплотился в образе этого проповедника-святотатца, чтобы испытать своих приверженцев и «отсечь» нестойких. В качестве аватары Вишну Будда мог поклоняться и Шиве (Махадеве).

[11] *Махадева.* — См. примеч. 7 к гл. XIII «Двое на двое».

[12] *...Вишну, спящий в ожидании часа последнего воплощения в белого крылатого коня, который уронит свое копыто в мироздание, что приведет к концу света.* — Речь идет о будущей аватаре Вишну, когда он, в облике всадника на белом коне, истребит злодеев и положит конец очередному циклу бытия мира. Т. Готье ошибочно предполагает, что Вишну воплотится не во всадника, а в самого коня.

[13] *...Шербонно расположился... посреди санскритских книг, нацарапанных шилом на тонких деревянных табличках, которые соединялись между собою с помощью шнурка, продернутого сквозь специальные дырочки, и таким образом больше походили на жалюзи, чем на книги в понимании европейцев.* — Это фантазия Т. Готье. Подобных книг в Индии не существовало.

[14] *Месмеровский бак* — изобретенный Ф.-А. Месмером (см. примеч. 12 к гл. IV) деревянный сосуд с крышкой и восемью расположенными по ее окружности и торчащими наружу стержнями, который он использовал для одновременной магнетизации и лечения нескольких человек (такой бак можно увидеть в Лионском музее истории медицины).

[15] *Электрическая машина* — соединенные в ряд лейденские банки (см. примеч. 26 к гл. I). Электрическая машина создавала разряд, который мог убить птицу. Опыты с такими машинами были чрезвычайно популярны во второй пол. XVIII в., их демонстрировали во Франции, Англии, Германии, Италии и России, на площадях и при дворе. В газетах писали о чудесных исцелениях паралича благодаря ударам электрического тока.

[16] *Санньяси* (или санньясин) (на санскр.: основа — samnyāsin, им. падеж — samnyāsī) — странствующий монах, отрекшийся от мира материального в пользу мира духовного.

[17] *...на... рисунках князя Салтыкова... проиллюстрировавшего свою книгу о путешествии по Индии.* — Салтыков Алексей Дмитриевич (1806–1859), русский князь, последние годы жизни проживший в Париже. Путешественник и художник, прозванный за свое пристрастие к Индии и Англии «индейцем» и «англичанином». Опубликовал «Путешествия в Индию и Персию» (СПб., 1849 и P.: L. Curmer, 1851).

Третье издание этой книги, проиллюстрированное литографиями Рюддера и Марше с рисунков автора, вышло в 1858 г. в издательстве «Garnier frères». Возможно также, что Готье имеет в виду иллюстрации из альбома «Жители Индии, зарисованные с натуры князем Алексеем Салтыковым. Литографии Ж. Трейера» (P.: H. Gache, 1853).

[18] *Комю* — псевдоним Никола-Филиппа Ледрю (1731—1807), ученого-физика, придворного медика Людовика XVI и Марии-Антуанетты, который он взял себе в честь греческого бога пиршеств и веселья Кома (*лат.* Comus). Под этим псевдонимом Ледрю выступал во Франции, Англии и Германии, показывая занимательные физические опыты и фокусы. Незадолго до революции открыл собственный театр на бульваре Тампль. Под этим же псевдонимом выступал еще один фокусник-иллюзионист, чье имя и дата рождения остаются неизвестными. Он гастролировал во Франции и Англии, пока у него не появился конкурент, выступавший под тем же псевдонимом. Умер Комю II в бедности и безвестности в 1830 г.

[19] *Конт* Луи (1788—1859) — фокусник и чревовещатель, придворный медик Карла X и Людовика XVIII, основатель парижского Театра юных актеров (1827 г.).

[20] *Боско* Бартоломео (1793—1863) — итальянский фокусник-иллюзионист, «маг», гастролировавший по разным странам и неоднократно выступавший в Петербурге и Москве в 30—40-е годы XIX в. Похоронен в Дрездене, где жил последние годы, его могила является историческим памятником. В Турине действует Клуб магов имени Боско. Шулер Расплюев из комедии А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1855) рассказывал: «<...> был здесь в Москве профессор натуральной магии и египетских таинств господин Боско: из шляпы вино лил красное и белое, канареек в пистолеты заряжал; из кулака букеты жертвовал <...>» (д. 2, явл. 16).

[21] *...из его груди, пронзенной стрелами, как тело святого Себастьяна, не стекало ни одной капли крови...* — Святой Себастьян (ум. ок. 288 г.) — святой периода раннего христианства. По преданию, в него выпустили великое множество стрел, и они торчали так густо, что он походил на дикобраза. Этот сюжет являлся излюбленной темой итальянских художников Возрождения.

[22] *Пифия.* — См. примеч. 21 к гл. IV.

[23] *Сивилла* (сибилла) — в греческой мифологии пророчица, прорицательница, предрекавшая будущее (как правило, бедствия и несчастья) в состоянии экстаза; первоначально — имя собственное одной из провидицы, затем ставшее нарицательным обозначением других пророчиц.

[24] *...нужна всего одна секунда... поскольку электрический заряд преодолевает за то же время семьдесят тысяч лье...* — Доктор несколько преувеличивает (70 000 лье равны 311 080 км) скорость перемещения электрического разряда, которая составляет 300 000 км/с.

[25] *...Мефистофель показывал Фаусту образ Елены.* — Имеется в виду сцена из трагедии И.-В. Гёте «Фауст» (Ч. I. Кухня ведьмы), где Фауст видит в волшебном зеркале Елену — прекраснейшую из женщин, царицу Спарты, из-за которой разгорелась Троянская война.

Глава VI

[1] *Бабен* — представитель династии парижских костюмеров, выдававших маскарадные костюмы напрокат. Один из Бабенов (ум. ок. 1785) был придворным

костюмером Людовика XV и собрал огромную коллекцию самых разных костюмов. Он передал дело своей вдове. В 1809 г. ателье Бабена находилось на улице Св. Аполлины, 4, в 1811 г. — на бульваре Сен-Дени, 5, а в 1860-х годах — на улице Ришельё, 21. В этот период Бабен снова именовался придворным костюмером.

[2] *...Ромео, взбираясь на веронский балкон... знает, что... его ждет... Джульетта, а графиня Лабинская... стоит дочери Капулетти.* — Имеется в виду сцена (акт II, сц. 2) из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (1595), действие которой происходит в итальянском городе Верона, и ее главные герои — Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти.

[3] *...любовь сильна как смерть, утверждает Библия.* — См.: Песн. 8: 6.

[4] *...с далеких небес Индры, где апсары услаждают твой слух своими песнями...* — См. примеч. 1 и 2 к гл. XIII «Двое на двое».

[5] *Подобно ведьмам Макбета... заварим в нашем котле... яство...* — См.: *Шекспир У.* Макбет. Акт IV, сц. 1.

[6] *Брахма, дремавший десятки тысяч лет в золотом яйце...* — Брахма (см. примеч. 33 к гл. IV) рождается в яйце, плавающем в первобытных водах в виде золотого зародыша; проведя в яйце год (равный 360 000 человеческих лет), он силой мысли разделяет яйцо на две половинки: из одной образуется небо, из другой — земля, а между ними возникает воздушное пространство.

[7] *Примитивная монада.* — В учении немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1717) — один из трех видов монад, имеющих лишь смутные представления и являющихся основой «неодушевленных вещей». Монады — основополагающие элементы бытия, первейшие неделимые единицы, которые имеют источник активности. Свой труд «Монадология» Лейбниц написал на французском языке (опубл. 1720).

[8] *Шлока* (санскр. śloka) — стихотворная строфа.

[9] *Отдушник* — приспособление в печах, служащее для регулирования доступа нагретого воздуха в помещение.

[10] *...термометр... показывал уже сто двадцать градусов по Фаренгейту.* — То есть 66 градусов по Цельсию.

[11] *Он напоминал... свирепого мексиканского идола Вицлипуцли, о котором говорит Генрих Гейне в одной из своих баллад...* — Вицлипуцли — искаженное имя верховного бога ацтеков Уицилопочтли и название стихотворения Г. Гейне из сборника «Романсеро» (1851). Перевод «Романсеро» на французский был опубликован Нервалем в 1855 г.

[12] *...аватара свершилась.* — О слове «аватара» см. с. 586 наст. изд.

[13] *Черный ангел* — ангел смерти. См. также примеч. 5 к гл. VII «Спириты».

[14] *Гиппократ* (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) — греческий врач, основатель научной медицины.

[15] *Гален* (129–199) — греческий врач, с 169 г. — главный медик при дворе римского императора, последний крупный представитель античной научной медицины.

[16] *Парацельс* (Филипп Ауреол Теофаст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493–1541) — немецкий алхимик, философ и врач. Критически пересмотрел ряд положений древней медицины, пытался объяснить болезни с точки зрения химических процессов, а также излечивать больных с помощью магнитов. В то же время верил в магию и влияние духов.

[17] *Ван Гельмонт* Ян-Баптист (1579—1644) — голландский химик и врач, ученик Парацельса.

[18] *Берхааве* Герман (1668—1738) — голландский врач и химик, профессор Лейденского университета, в течение десяти лет возглавлявший три (из пяти) кафедры медицинского факультета, на котором при нем училось две тысячи студентов со всей Европы.

[19] *Троншен.* — См. примеч. 12 к гл. I «Жана и Жанетты».

[20] *Ханеман* Кристиан Фредерик Сэмюэль (1755—1843) — саксонский врач, основатель гомеопатии, успешно практиковал в области психиатрии, последние годы жизни работал в Париже.

[21] *Разори* Джованни (1766—1837) — знаменитый итальянский врач, профессор, затем ректор Павийского университета, внес большой вклад в развитие медицины и в критику традиционной медицины, за которую был прозван «якобинцем».

[22] *...доктор... начал танцевать, как горы в Шир ха-ширим царя Соломона.* — Весьма приблизительная аллюзия на строки из «Песни Песней», посвященные возлюбленному девушки, который «скачет по горам, прыгает по холмам» (Песн. II: 8). Шир ха-ширим (*др.-евр.*) — «Песнь Песней» (см. примеч. 15 к гл. II «Царя Кандавла»).

[23] *Флюид* — психический, магнетический ток, излучаемый человеком.

[24] *Растревоженная Психея билась беспокойными крыльями...* — В древнегреческой мифологии Психея — олицетворение души и дыхания; изображалась в виде бабочки или девушки с крыльями. В Средние века и эпоху Возрождения под воздействием истории об Амуре и Психее, придуманной Апулеем (см. примеч. 9 к Предисловию «Фортунио»), Психея изображалась без крыльев, зато в XIX в. художники снова стали изображать ее крылатой (напр., Адольф Вильям Бугро «Похищение Психеи», 1860).

[25] *Гетман* — историческое название командующего армией в Речи Посполитой, Украине, Молдавском княжестве и др.

[26] *Господарь* — титул правителей Молдавского княжества и Валахии в XIV—XIX вв., неофициальный титул великих князей литовских.

[27] *Ласкар* — индийский моряк, нанятый для работы на европейском судне; также lascar — шельмец, парень, тип (*фр. разг.*).

[28] *Ландскнехт* — карточная игра из разряда банковских игр со специальной колодой, старинная немецкая игра, завезенная во Францию при Людовике XIII.

[29] *Баккара* — карточная игра, появившаяся во Франции в XV в. Играется на 3—6 колодах из 52 карт. Играют один банкомет и один-два понтера. Остальные участники делают ставки на понтеров.

[30] *Гайдук.* — См. примеч. 3 к гл. V «Невинных распутников».

[31] *Брогам.* — См. примеч. 16 к гл. III «Невинных распутников».

[32] *...потомок альманзоров и азоланов...* — См. примеч. 7 и 12 к гл. II «Жана и Жанетты».

[33] *...кучер крикнул громоподобным голосом...* — В оригинале стоит французское выражение «голосом Стентора», означающее очень громкий, зычный голос. Стентор (*греч.* силач) — один из участников осады Трои, глашатай, погибший в ходе вокального состязания с Меркурием — вестником богов-олимпийцев. Выражение возникло из следующего эпизода «Илиады»: «Там, пред аргивцами став, возопила

великая Гера | В образе Стентора, мощного, медноголосого мужа, | Так вопиющего, как пятьдесят совокупно другие» (*Гомер.* Илиада. V. 784—786. *Пер. Н.И. Гнедича*).

[34] *Букентавр* (или Буцентавр, Бучинторо; от ит. Bucintoro) — традиционное название галеры, на которой в Средние века каждый год венецианский дож «обручался с морем». Отличалась необыкновенной роскошью убранства и отделки.

[35] ...[фонарь] *освещал авторскую копию одной из... скульптур Кановы — «Амур, целующий Психею»*. — Одна из авторских копий скульптурной группы «Амур, целующий Психею» (1787) находится в Эрмитаже. О Психее см. примеч. 9 к Предисловию «Фортунио». О Канове см. примеч. 29 к гл. I «Фортунио».

[36] *...четыре пейзажа кисти Париса Бордоне, Бонифацио, Пальмы Старшего и Паоло Веронезе...* — Бордоне Парис (1500—1571), Бонифацио де Питати, по прозвищу Веронезе или Венециано (1487—1553), Джакопо Негретти, по прозвищу Пальма Старший или Пальма Веккьо (1480—1528) и Паоло Веронезе (см. примеч. 25 к гл. I «Фортунио») — итальянские художники венецианской школы (см. примеч. 17 к гл. II).

Глава VII

[1] *Сарабанда.* — См. примеч. 4 к гл. VII «Двое на двое».

[2] *...пылающие очи циклопов.* — В греческой мифологии циклопы (киклопы, т. е. «круглоглазые») — мощные и дикие великаны с одним глазом посредине лба, сыновья Урана и Геи. Принадлежат к древнейшему поколению богов, связаны со стихийными силами природы.

[3] *Улица Ришельё* — одна из центральных улиц Парижа.

[4] *...раздавил их тисками своих... пальцев, мясистых и узловатых, как у... мастера заплечных дел.* — Заплечных дел мастер — устаревшее название палача, пытавшего и казнившего преступников.

[5] *Смарра.* — См. примеч. 3 к гл. VII «Двое на двое».

[6] *Ичоглан* (тур.) — раб, служивший пажом султана или визиря, чему специально обучали в придворной школе.

[7] *Менехм* — персонаж комедии Плавта (см. примеч. 6 к гл. XVII «Фортунио») «Два Менехма» («Близнецы»).

[8] *Среди северных народов увидеть своего двойника, даже во сне, всегда было плохой приметой...* — На самом деле народные верования о двойниках как вестниках беды или смерти распространены не только у северных народов, а повсеместно, это универсальный архетипический мотив (см.: *Мелетинский Е.М.* О литературных архетипах // Чтения по истории и теории культуры. Вып. 3. М.: Изд-во РГГУ, 1994. С. 39, 51).

[9] *Петер Шлемиль* — герой повести «Удивительная история Петера Шлемиля» (1814) немецкого писателя Адальберта фон Шамиссо (1781—1838), который продал свою тень дьяволу.

[10] «*Приключения накануне Нового года*» — новелла Гофмана (см. примеч. 18 к гл. I), состоящая из четырех рассказов, один из которых называется «История о пропавшем отражении». Ее герой подарил собственное отражение на память своей возлюбленной, которая оказалась прислужницей дьявола.

[11] *Ла Мот Фуке* Фридрих де (1777—1843) — немецкий писатель. Готье ошибочно называет его автором «Удивительной истории Петера Шлемиля» (см. примеч. 9).

[12] *Вруколак* — греческое название одного из видов летучих мышей или вампиров.

[13] *Эмпуза* — в греческой мифологии чудовище из окружения богини мрака Гекаты, принимающее обличье или прекрасной девы, или страшного призрака, чтобы увлечь путника и выпить его кровь.

[14] *Ротшильд.* — См. примеч. 39 к гл. I «Фортунио».

[15] *Орден Святого Андрея первой степени.* — Имеется в виду орден Святого Апостола Андрея Первозванного 1-й степени — высший орден Российской империи, учрежденный Петром I в 1698 г. Им награждались за особые отличия перед отечеством, за воинскую храбрость и геройские добродетели представители высшего дворянства, в том числе военные чином не ниже генерала. Всего до 1917 г. этим орденом было награждено около тысячи человек, не считая членов царской фамилии.

[16] *...шутка... которая вскоре разъяснится самым естественным образом, как страшные тайны в романах Анны Радклиф.* — Анна Радклиф (1764—1823) — английская писательница, признанный мастер готических романов, исполненных зловещих фигур (духов, призраков, демонических злодеев), загадочных предзнаменований и тайн, которые к концу повествования, как правило, получают вполне рационалистическое объяснение.

Глава VIII

[1] *...уменьшенная копия Дианы из Габий работы Барбедьена...* — Имеется в виду копия статуи Артемиды греческого скульптора Праксителя (390—330 до н. э.), найденной в 1792 г. в городе Габии, неподалеку от Рима, и хранящейся в Лувре. Барбедьен Фердинанд (1810—1892) — французский скульптор, применивший для воспроизведения античных скульптур принцип математической редукции, изобретенный математиком Ахиллом Кола (1795—1859), и изготовлявший уменьшенные бронзовые копии статуй из европейских музеев.

[2] *Фландрен* — братья-художники: Огюст (1804—1843), Ипполит (1809—1864) и Поль (1811—1902). Самым плодовитым и модным был Ипполит Фландрен. Готье неоднократно рецензировал его работы.

[3] *Вольтеровское кресло.* — См. примеч. 12 к гл. XX «Фортунио».

[4] *Ахим фон Арним* — псевдоним Карла Ахима Фридриха Людвига фон Арнима (1781—1831), немецкого писателя, автора фантастических рассказов. Его «Странные сказки» в переводе сына Готье и с предисловием Теофиля Готье, которое он написал почти тогда же, когда и «Аватару», вышли в Париже в 1856 г.

[5] *Клеменс Брентано* (1778—1842) — немецкий писатель-романтик, поэт и драматург, автор сказок и новелл.

[6] *...келья Карла Пятого в монастыре Святого Юста.* — Карл V (1500—1558) — в 1519—1556 гг. император Священной Римской империи — за два года до смерти отрекся от престола и удалился в монастырь Святого Юста (Эстремадура, Испания). Весьма вероятно, что Готье хорошо знал картину Карла Шорна (1800—1850) — немецкого художника, учившегося в Париже, — «Карл V в монастыре Святого Юста», которая находится в Версале.

[7] *Сотерн* — сладкое бордоское вино, отличающееся золотистым цветом и насыщенным ароматом. Употребляется в качестве десерта.

[8] *Несс.* — См. примеч. 3 к гл. XXIII «Фортунио».

[9] *...он и сам запутался бы, будучи одновременно Клитандром и Жоржем Данденом!* — Имеются в виду персонажи комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668), соответственно, любовник и обманутый муж.

[10] *...«Оставь надежду навсегда».* — Эти слова, согласно Данте (Божественная комедия. Ад. III. 9. *Пер. А.С. Пушкина*), начертаны над входом в ад. Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «Входящие, оставьте упованья!»; в пер. Б.К. Зайцева: «Оставьте всякую надежду вы, входящие!».

[11] *Химера* — здесь: фантазия, несбыточная мечта. См. также примеч. 11 к гл. I «Фортунио».

[12] *...алмазные копи Голконды и Биджапура...* — Имеются в виду султанаты на юге Индии, существовавшие в XV–XVI вв. (Голконда) и в XVI–XVII вв. (Биджапур) и прославившиеся, среди прочего, добычей и обработкой алмазов.

[13] *Пасси* — в XIX в. пригород Парижа, сейчас проспект на западе Парижа.

[14] *Доктор Б***.* — Подразумевается известный французский врач-психиатр Эмиль-Антуан Бланш (1820–1893), державший в Пасси клинику для душевнобольных, в которой в 1853–1854 гг. лечился Жерар де Нерваль (см. примеч. 4 к гл. I). Эта клиника славилась своим гуманным отношением к пациентам.

Глава IX

[1] *Кнехт* Эмиль Фредерик (1808–1889) — известный резчик по дереву.

[2] *Льенар* Мишель-Жозеф-Наполеон (1810–1870) — мастер-орнаменталист.

[3] *Алебастр-оникс* (или мрамор-оникс) — название самой красивой, восточной разновидности алебастра (см. примеч. 4 к гл. III «Фортунио»), напоминающей мрамор.

[4] *Богемский хрусталь.* — См. примеч. 25 к гл. XVI «Фортунио».

[5] *Кофр* — специальный сундук с несколькими отделениями.

[6] *Арабеска.* — См. примеч. 10 к гл. I «Фортунио».

[7] *...все красоты зала Послов в Альгамбре...* — Имеется в виду тронный зал, находящийся в одной из башен дворца Альгамбра (см. примеч. 8 к гл. XI «Милитоны»). На куполе из кедра, украшенном звездами (более 8000 деталей), изображены семь небес ислама. Вся поверхность стен над цоколем из цветных глазурованных изразцов покрыта резными арабесками с надписями, восхваляющими Аллаха.

[8] *Пери.* — См. примеч. 14 к гл. XXIV «Фортунио».

[9] *Мадемуазель де Фово* Фелиси (1799–1886) — одна из первых французских женщин-скульпторов.

[10] *Бурнус* — здесь: просторное домашнее платье с рукавами и без застежки, разновидность халата.

[11] *Венера-Афродита.* — См. примеч. 10 к гл. XX «Фортунио» и примеч. 2 к гл. II «Жана и Жанетты».

[12] *Тициан.* — См. примеч. 16 к гл. I «Фортунио».

[13] *Паоло Веронезе.* — См. примеч. 25 к гл. I «Фортунио».

[14] *Рембрандт.* — См. примеч. 1 к гл. V «Милитоны».

[15] *Топаз* — прозрачный драгоценный камень, бесцветный, желтый, синий или коричневый. Здесь имеется в виду желтый топаз.

[16] *...больше, чем волосы Вероники, заслуживала стать новым созвездием, затмевающим старые звезды!* — Волосы Вероники — созвездие Северного полушария. Согласно легенде, Вероника (Береника), жена царя Египта Птолемея III (246—221 гг. до н. э.), дала обет пожертвовать свои восхитительные волосы Афродите, если ее муж вернется с поля боя. Царь остался жив, волосы его жены отнесли в храм, но вскоре они исчезли. Царь собирался казнить стражу, однако придворный астроном объявил, что довольная Афродита поместила волосы на небо для всеобщего восхищения.

[17] *Канитель* — тонкая металлическая (обычно золотая или серебряная) нить для вышивания.

[18] *Тхуг.* — См. примеч. 5 к гл. V.

[19] *Вебер* Карл Мария Фридрих фон (1786—1826) — немецкий композитор-романтик, автор многих произведений для фортепиано.

[20] *Полигимния* — в греческой мифологии муза серьезной поэзии (гимнов). Изображалась в задумчивой позе со свитком в руках. В Лувре есть статуя Полигимнии, которая всегда восхищала Готье. Он писал: «<...> кажется, что видишь современную женщину, которая одевается и кутается в кашемировую шаль».

[21] *Козетка* — двухместный диванчик.

[22] *...она показалась ему белым ангелом Сведенборга...* — Имеется в виду одно из видений Эмануэля Сведенборга (1688—1772) — шведского ученого-естествоиспытателя, теолога и духовидца, создавшего учение о потусторонней жизни и поведении духов. В книге «О землях, которые в нашем солнечном мире именуются планетами, и землях звездного неба, об их обитателях на основании того, что мы слышали и видели» (1738) описывал видение жителей «пятой земли»: при пробуждении они замечали у изголовья белого ангела, что убеждало их в божественном происхождении видений (см.: *Swedenborg E.* Des terres, dans notre monde solaire, qui sont nommées planètes, et des terres dans le ciel astral / Trad. par J.P. Moët. P.: Treuttel et Würtz, 1824. P. 108). Сведенборг оказал большое влияние на романтиков. См. также примеч. 21 к гл. IV «Спириты».

[23] *Богемская кожа* — то же, что венгерская кожа, то есть кожа, выделанная с помощью алюминиевых квасцов и обработанная жиром по старинной венгерской технологии, ныне утраченной.

[24] *...над спальней... подсмеивались, называя декорацией пятого акта...* — Аллюзия на вторую сцену пятого акта трагедии Шекспира «Отелло» (1604), происходящую в спальне Дездемоны.

[25] *Камердинер* — слуга при господине, выполняющий те же обязанности, что и камеристка при госпоже (см. примеч. 1 к гл. III «Невинных распутников»).

Глава X

[1] *Филипп Руссо* (1816—1887) — французский художник-анималист и мастер натюрмортов.

[2] *Жаден* Луи-Годфруа (1805—1882) — французский художник, автор натюрмортов, пейзажей и гравюр, изображавших сцены охоты.

[3] *...блюда из... майолики или арабской глины...* — Речь идет о разновидности керамики, изделиях из цветной обожженной глины, покрытых непрозрачной эмалью. Роспись разноцветными красками наносится поверх сырой эмали белого цвета

перед обжигом. Техника майолики получила название от острова Мальорка, которым долгое время владели арабы.

[4] *Бернар Палисси* (ок. 1510–1590) – французский естествоиспытатель, скульптор и керамист. Изготавливал декоративные керамические изделия с рельефными изображениями животных и растений, покрытые цветными глазурями.

[5] *Леонар де Лимож* (Леонар Лимозен; 1619–1664) – французский мастер. Изготавливал декоративные изделия из меди с росписью непрозрачной эмалью. Эта техника получила название лиможской эмали.

[6] *Берругете* Алонсо (1488–1561) – испанский скульптор эпохи Возрождения.

[7] *Корнехо Дуке.* – Имеется в виду Педро Дуке-и-Корнехо (1677–1757), испанский живописец и скульптор эпохи барокко, представитель севильской школы.

[8] *Вербрюгген* Хендрик Франс (1654–1724) – фламандский скульптор, архитектор и книжный иллюстратор. Большинство его работ связано с оформлением церковных интерьеров. Наиболее известна кафедра в кафедральном соборе Брюсселя.

[9] *Зеленые Своды* – название дрезденского собрания ювелирных изделий, началу которому было положено в XVI в. Первый музей декоративно-прикладного искусства в Европе.

[10] *...шедевры Вагнера, Дюпоншеля, Рудольфи, Фромен-Мёриса...* – Имеются в виду изделия выдающихся французских ювелиров: Шарля Вагнера (1799–1842), Эдмона Дюпоншеля (1795–1868), Фредерика Жюля Рудольфи (1808–1872) и Франсуа-Дезире Фромен-Мёриса (1802–1855). Их работы до сих пор хранятся в музеях и частных коллекциях.

[11] *Фёшер* Жан-Жак (1807–1852) – французский чеканщик и скульптор, автор центральной группы на площади Согласия в Париже.

[12] *Вехте* Антуан (1799–1868) – французский ювелир, златокузнец и гравер, создатель коллекционного оружия и предметов роскоши.

[13] *Помпеи.* – См. примеч. 9 к гл. XVI «Фортунио».

[14] *Венецианское стекло.* – См. примеч. 8 к гл. I «Фортунио».

[15] *...саксонских и севрских сервизах.* – Саксонские (мейсенские) сервизы – изделия первого в Европе фарфорового завода, основанного в 1710 г. в г. Мейсене (Германия). О севрских сервизах см. примеч. 18 к гл. I «Фортунио».

[16] *Брекчия.* – См. примеч. 5 к гл. XVI «Фортунио».

[17] *...язык, с помощью которого Мицкевич почти сравнялся с Байроном.* – Мицкевич (см. примеч. 42 к гл. II) и Байрон – два великих поэта-романтика, два современника, в творчестве, мировоззрении и жизни которых прослеживается немало параллелей.

[18] *Хиджра* (а р а б. – выселение, эмиграция) – переселение Мухаммада и его сторонников (ок. 70 человек) из Мекки – города, в котором он родился, в Медину (букв.: город Пророка; в то время назывался Ясрибом) – оазис, куда Мухаммада пригласили местные постоянно конфликтовавшие друг с другом жители (часть которых уже приняла ислам), дабы он стал им вождем и третейским судьей. Испытывая постоянные притеснения со стороны земляков, мекканцев-идолопоклонников (в том числе и от некоторых влиятельных сородичей), недовольных его проповедью единобожия, Мухаммад с готовностью принял предложение, тем более что узнал о готовящемся заговоре с целью его умерщвления. Избежав многих угроз своей жизни, сопровождавших поездку, Пророк прибыл в Медину в сентябре 622 г.

Хиджра сыграла решающую роль в формировании и распространении ислама: разрыв родственных связей (прекращение отношений с миром язычества) вы-

вел мусульманскую общину из узких рамок одного племени, создал условия для ее превращения в государство. При втором халифе, Умаре I (ок. 585–644), хиджра была принята за начало исламского летосчисления (с точки зрения мусульман – новой исторической эры), при этом в качестве точки отсчета новой временной шкалы была избрана дата отбытия Мухаммада из Мекки – первый день начавшегося в тот момент лунного месяца мухаррама, что соответствует 16 июля 622 г. В основе летосчисления по хиджре лежит лунный календарь (из 12 месяцев по 29 и 30 дней) с длиной года 354 дня.

[19] *...разве не один из ваших поэтов сказал о меланхолии:* «*После праздности это наименьшее из зол*»? – *А. де Мюссе.* О чем мечтают девушки. Акт II, сц. 1.

Глава XI

[1] *Петит-Мезон* – парижский дом для умалишенных, находившийся на улице с таким же названием, которая теперь называется улица Севр. Выражение «петит-мезон» (*фр.* – маленький домик) стало синонимом сумасшедшего дома.

[2] *...стояли... селадоновые чаши...* – Селадон – общее название японской, китайской и корейской керамики с глазурью, цвет которой включает в себя весь спектр зеленого, а также различные оттенки серого и синего тонов. Назван так по цвету светло-зеленой накидки, которую носил Селадон (см. примеч. 3 к гл. XXII «Фортунио»). В настоящее время крупное производство селадонов сохранилось только в Бангкоке. В Китае, Японии и Южной Корее производят копии лучших старинных изделий.

[3] *...готическим, округлым или английским шрифтом...* – В каждой европейской стране были свои традиции письма. Готический шрифт (готическое письмо) – особый способ написания латинских букв, сложившийся в германских странах в эпоху Средневековья. Округлый шрифт (рондо) – разновидность написания букв ширококонечным пером, получившая распространение в конце XIX в. Английский шрифт (английское письмо) – форма каллиграфии, получившая распространение с XVII в. На ее основе во второй пол. XIX в. сложилось русское каллиграфическое письмо.

[4] *Проспект Пото* – аллея, пересекающая Булонский лес с северо-востока на юго-запад.

[5] *...красоты природы, застигнутой в утреннем дезабилье...* – То есть в домашнем платье, не готовой к приему гостей.

[6] *...вы... останетесь непонятым, подобно бальзаковскому Шаберу, который хотел доказать, что он не умер.* – Имеется в виду Гиацинт Шабер – персонаж повести французского писателя Оноре де Бальзака (1799–1850) «Полковник Шабер» (1832). Шабера сочли погибшим в бою и похоронили, а он чудом выбрался из братской могилы и восемь лет добивался, чтобы его признали живым. Затем, отчаявшись, он надел маску безумца и закончил свои дни в сумасшедшем доме.

Глава XII

[1] *Метемпсихоза – не новое учение...* – Метемпсихоза (метемпсихоз) – один из поздних греческих терминов для обозначения переселения душ. Впервые встречается у Диодора Сицилийского (I в. до н. э.).

[2] *...никто не может, подобно Пифагору, вспомнить, что он участвовал в обороне Трои.* — Пифагор (вторая пол. VI в. — нач. V в. до н. э.) утверждал, что «помнит» все свои прежние воплощения. Согласно легенде, Пифагор первый заявил, что «душа совершает круг неизбежности, чередою облекаясь то в одну, то в другую жизнь» (*Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Кн. VIII. *Пер. М.Л. Гаспарова*). О себе Пифагор говорил, что в первой жизни был сыном бога Гермеса, который предложил ему на выбор любой дар, кроме бессмертия. И Пифагор попросил оставить ему память обо всех своих жизнях. Во второй жизни он был воином Эвфорбом Панфоидом и под Троей был повержен самим Менелаем (см.: *Гомер.* Илиада. XIV. 806 и далее).

[3] *...«болезнь благовидная».* — Болезнь, которую врач указывает в свидетельстве о смерти, для того чтобы не омрачить память о покойном в том случае, если истинная причина смерти может каким-то образом опорочить его имя.

[4] *...в... венце из звезд, подобно Беатриче...* — См.: *Данте.* Божественная комедия. Рай. XXXI. 71—72. См. также примеч. 5 к гл. XIII «Спириты».

[5] *...Дурга... казалось, трясет своей гирляндой из черепов.* — Дурга — одна из грозных ипостасей супруги Шивы Парвати (см. примеч. 10 к гл. XIII «Двое на двое»), богиня-воительница, защитница богов и мирового порядка от демонов. Гирлянда из черепов является атрибутом Шивы (см. также примеч. 35 к гл. IV), Дурга же изображается с оружием и атрибутами различных богов, которые она держит в своих десяти руках.

[6] *Библиотека Мазарини* — филиал (историческая библиотека) Национальной библиотеки, старейшей и крупнейшей библиотеки Франции, который находится на улице Мазарини.

[7] *«Законы Ману».* — См. примеч. 29 к гл. XIII «Двое на двое».

[8] *Новалис* — псевдоним Фридриха фон Харденберга (1772—1801), немецкого поэта и философа, представителя йенской школы романтизма.

[9] *...история Генриха фон Офтердингена!* — Речь идет о неоконченном романе Новалиса (см. примеч. 8) «Генрих фон Офтердинген» (1801), герой которого видит во сне голубой цветок, символ романтического томления по недостижимому идеалу.

[10] *...Венера Скьявоне...* — Скьявоне Андреа (наст. имя — Андреа Мелдолла; 1522—1563) — итальянский художник, представитель венецианской школы (см. примеч. 17 к гл. II), автор нескольких картин, изображающих Венеру: «Венера и Купидон», «Венера и Анхиз», «Венера и Адонис».

•

ДЖЕТТАТУРА

Готье дал обещание издателю газеты «La Presse» Эмилю Жирардену написать историю о «сглазе» еще в 1853 году. Повесть впервые опубл. в газете «Le Moniteur universel» (25 июня — 23 июля 1856 г.; 15 фельетонов) под заглавием «Поль д'Аспремон, повесть» («Paul d'Aspremont, conte»). Отдельным изданием впервые опубл.

в июне 1857 года в Париже под окончательным названием «Jettatura» издательством «Michel Lévy» в серии «Collection Hetzel».

Первый перевод на русский язык, выполненный Е. Морозовой, увидел свет под заглавием «Jettatura» в сборнике французской готической прозы XVIII века «Инферналиана» (М.: Ладомир, 1999. С. 430—497).

В наст. изд. этот перевод печатается в новой редакции.

Вынесенное в название произведения слово «джеттатура» (от *ит.* iettatura, от *неаполит. диал.* gettatura, образованного от гл. gettare от *лат.* jactare) означает «сглаз», «порча», «дурной глаз». С ним и сопряженной с ним темой сглаза связано несколько произведений французской литературы, предшествовавших повести Готье. О вере в «джеттатуру» писали, в частности, Стендаль в книге «Рим, Неаполь, Флоренция» (1817), П. Мериме в сборнике «Гюзла» (1827), Ж.-М. Бриссе в романе «Дурной глаз» (1833), Роже де Бовуар в новелле «Глазливый» («Jettator», 1835). Кроме того, в 1841 г. в театре Пале-Рояль была поставлена одноактная комедия Ф. Дюмануара, М. Марк-Мишеля и Э. Гонсалеса «Глазливый» («Le Jettator»). Несмотря на то что в XIX в. само слово произносилось на итальянском языке, из которого оно, собственно, и вошло в другие европейские языки, как «еттату́ра», в русской традиции закрепился французский вариант слова «джеттатура» (от *фр.* jettatura). Именно в такой форме оно фигурирует в произведениях А.И. Куприна («Клоун», 1897; «Дочь великого Барнума», 1926), А. Грина («Словоохотливый домовой», 1923) и других писателей кон. XIX—XX века.

В наст. изд. использованы иллюстрации художника Франсуа Курбуэна (François Courboin; 1865—1926).

Глава I

[1] *Прочида* — остров вулканического происхождения, один из трех главных островов Неаполитанского залива, наряду с Капри и Искья; относится к Флегрейскому архипелагу. На острове расположен одноименный город.

[2] *Бристольский картон* — дорогостоящий тонкий картон с гладкой поверхностью, который изготовляется путем склеивания листов бумаги высшего качества и используется, в частности, для рисунков акварелью.

[3] *Шведские перчатки.* — См. примеч. 41 к гл. II «Аватары».

[4] *...не уронили бы чести самого лорда Эллиота.* — Имеется в виду Джильберт Эллиот, граф Минто (1782—1859), сын лорда Джильберта Эллиота, графа Минто (1751—1814), английский политический деятель, виг. С 1806 г. член палаты общин, в 1814 г. занял место отца в палате лордов, где выступал за эмансипацию католиков и парламентскую реформу. С 1832 по 1834 г. — посол в Пруссии, с 1835 по 1841 г. — первый лорд адмиралтейства в правительственном кабинете лорда У. Лэма, виконта Мельбурна (1779—1848, премьер-министр Великобритании в 1834 г., 1835—1841 гг.), с 1846 по 1852 г. — лорд-хранитель малой печати в кабинете лорда Д. Рассела (1792—1878, премьер-министр Великобритании в 1846—1852 гг., 1865—1866 гг.), с 1832 г. — член Тайного совета.

[5] *Риджент-стрит.* — См. примеч. 2 к гл. IX «Милитоны».

[6] *...ножовщики из Шеффилда...* — Английский город Шеффилд, расположенный к северу от Лондона на реке Шиф в графстве Южный Йоркшир, издавна славил-

ся своими изделиями из стали, в особенности из литой и нержавеющей стали. Нож, сделанный в Шеффилде, упоминается, в частности, у Д. Чосера (ок. 1343–1400) в «Кентерберийских рассказах» («Рассказ мажордома»).

[7] *Кипсек.* — См. примеч. 27 к гл. I «Милитоны».

[8] *Пальто-сак* — верхняя мужская одежда свободного покроя с большими карманами, вошедшая в моду в 40-е годы XIX в., была особенно популярна среди представителей свободных профессий.

[9] *Леер* — здесь: натянутый трос, используемый для ограждения бортов, люков и т. п. на судне.

[10] *Позиллипо* — мыс на северном берегу Неаполитанского залива, на юго-западной окраине Неаполя. На живописных скалистых склонах мыса расположено множество вилл, окруженных садами.

[11] *Везувий* — действующий вулкан, расположенный на берегу Неаполитанского залива к юго-востоку от Неаполя. Извержение Везувия в 79 г. уничтожило древние города Помпеи, Геркуланум и Стабии (см. примеч. 6 к гл. VI, а также примеч. 9 к гл. XVI «Фортунио»).

[12] *Крепость Святого Эльма* — звездообразная в плане крепость с шестью валами на холме Св. Эльма — центральном и, наряду с Вомеро, одном из самых высоких холмов Неаполя. Возведена в 1329–1343 гг. по распоряжению Роберта Мудрого (1277–1343, король Неаполя и граф Прованса с 1309 г.), перестраивалась Педро Альваресом де Толедо (1485–1553, испанский вице-король Неаполя с 1532 г.) в 1537–1546 гг. В прошлом — главное фортификационное сооружение Неаполитанского королевства.

[13] *Монастырь Святого Мартина* — бывший картезианский монастырь, с 1866 г. — художественно-исторический музей, расположенный вблизи крепости Св. Эльма на холме Вомеро (см. примеч. 12). Возведен в 1325–1368 гг. в честь св. Мартина Турского (316 или 335–397), впоследствии неоднократно перестаивался. В современном облике архитектурного комплекса преобладают черты неаполитанского барокко.

[14] *Крепость Кастель дель Ово* — средневековый замок-крепость на Мегариде — туфовом полуострове (ранее острове) Неаполитанского залива, соединенном с берегом узкой насыпью. Сооружена в XII в. Рожером II (ок. 1095–1154, король Сицилии с 1130 г.) на том же месте, где находилась вилла Луция Лициния Лукулла (ок. 117–57/56 до н. э.), а позднее — основанный в кон. V в. базилианский монастырь. Внешний вид, близкий к современному облику, замок приобрел в результате перестройки в кон. XV в. Он ограничивал и защищал акваторию Неаполя с северо-запада. Свое название (*ит.* Castel dell'Ovo — букв.: замок яйца, яичный замок) замок получил за необычную форму, по другой версии — из-за волшебного яйца, которое, по легенде, спрятал под ним Вергилий, — считается, что до тех пор, пока яйцо не найдено и не разбито, будет стоять и Неаполь.

[15] *Кьятамоне* — улица в Неаполе, пролегающая вдоль берега Неаполитанского залива и расположенная на холме Пиццофальконе (см. примеч. 16).

[16] *Пиццофальконе* (и т. Соколиный пик) — район в центре Неаполя на берегу Неаполитанского залива к юго-западу от Палаццо Реале (см. примеч. 18). Расположен на одноименном холме, ранее носившем название Экиа.

[17] *Санта-Лючия* — набережная в Неаполе, с которой открывается великолепный вид на Везувий.

[18] *Палаццо Реале* — главная резиденция правителей Королевства Обеих Сицилий из династии Бурбонов, построенная в Неаполе в 1838—1858 гг. архитектором Г. Дженовезе (1795—1875) вокруг Ларго-ди-Палаццо (современная Пьяцца-дель-Плебищито) на месте сгоревшего при пожаре 1837 г. дворца. Последний был сооружен в первой пол. XVII в. по проекту Д. Фонганы (1543—1607) в качестве резиденции Филиппа III (1578—1621, король Испании, Португалии и Алгарве с 1598 г.) и позднее перестраивался, в частности, в сер. XVIII в. под руководством Л. Ванвителли (1700—1773). После объединения Италии в 1861 г. Палаццо Реале служило неаполитанской резиденцией для членов королевской семьи. В настоящее время в его здании находятся Музей исторических апартаментов Королевского дворца, Национальная библиотека со знаменитыми папирусами из Геркуланума и древними рукописями, а также пристроенный в 1768 г. архитектором Фердинандо Фугой (1699—1782) Придворный театр.

[19] *Палаццо Нуово.* — Имеется в виду Кастель Нуово, или замок Маскио Анджоино, сооруженный в 1279—1282 гг. на берегу Неаполитанского залива Карлом I Анжуйским (1227—1285, король Сицилии в 1266—1282 гг., с 1282 г. — король Неаполя) в связи с переносом столицы из Палермо и полностью перестроенный в сер. XV в. Массивная цитадель с цилиндрическими башнями служила резиденцией неаполитанских королей в кон. XIII—XV в., а в XVI в. превратилась в резиденцию королевских наместников — вице-королей.

[20] *Арсенал.* — Имеется в виду артиллерийский арсенал, сооруженный при Фердинанде I (1751—1825, король Обеих Сицилий с 1815 г., король Неаполя в 1759—1806 гг. под именем Фердинанда IV, король Сицилии в 1806—1815 гг. под именем Фердинанда III) ок. 1792 г. рядом с Кастель Нуово (см. примеч. 19).

[21] *Френолог* — последователь австрийского ученого Ф.-И. Галля (1758—1828), основателя френологии — теории о связи формы черепа человека с его умственными способностями и морально-психологическими качествами. Френология была очень популярна в первой пол. XIX в., однако развитие нейрофизиологии доказало несостоятельность теории Ф.-И. Галля.

[22] *Жокей-клуб.* — См. примеч. 12 к гл. I «Аватары».

[23] *Редингот.* — См. примеч. 19 к гл. II «Невинных распутников».

[24] *Гарсоны* — общее название посыльных и коридорных в гостиницах, а также официантов в ресторанах.

[25] *...напоминали изумленного Телемака, сына Улисса, в ту минуту, когда Минерва в облике мудрого Ментора сбросила его с высокой скалы в море, дабы спасти от... нимфы Евхарисы.* — См. примеч. 6 к гл. IX «Невинных распутников».

[26] *Грум.* — См. примеч. 1 к гл. VII «Фортунио».

[27] *Эскот* — всемирно известный ипподром, расположенный в одноименном городе графства Беркшир в Великобритании. Первые скачки в Эскоте состоялись в 1711 г.

[28] *Шантийи* — городок к северу от Парижа. В Шантийи находится знаменитый ипподром, первые скачки на котором прошли в 1834 г.

[29] *...играя мускулами, могучими, как у Геркулеса, чья статуя восхищает посетителей Штудий...* — Имеется в виду найденная в сер. XVI в. в Риме при раскопках терм Каракаллы мраморная статуя Геркулеса Фарнезского — римская копия нач. III в. с несохранившегося древнегреческого оригинала IV в. до н. э. работы Лисип-

па или его учеников. Штудии – Музей, или Дворец, Штудий (Museo/Palazzo degli Studi) – ныне Национальный археологический музей Неаполя. Своим прежним названием музей обязан тому обстоятельству, что с нач. XVII в. вплоть до 1777 г. здание, в котором он в настоящее время находится, принадлежало Неаполитанскому университету и именовалось Дворцом Королевского университета – Palazzo dei Regi Studi. В кон. XVIII в. сооружение было перестроено и расширено архитекторами Ф. Фугой и П. Скьянтарелли (1746–1805). К числу экспонатов музея принадлежит также статуя Геркулеса Фарнезского.

[30] *Адамс* Джек – английский профессиональный боксер, прославившийся своим поединком с профессиональным боксером Оуэном Свифтом в 1838 г. в Париже. В 30-х годах XIX в. основал в Париже боксерскую школу, в которой, в частности, учился Шарль Лекур (см. примеч. 14 к гл. IV «Милитоны»).

[31] *Том Крибб* (1781–1848) – английский спортсмен, чемпион Англии (1809–1810 гг.) и мира (1811–1822 гг.) по боксу без перчаток.

[32] *Верже* – сорт бумаги высокого качества с напоминающим водяные знаки узором в виде сетки.

[33] *...написано наклонным почерком с угловатыми толстыми черточками и плавными тонкими линиями, который... отличает... манеру письма юных англичанок из хороших семей.* – См. примеч. 2 к гл. XXVI «Фортунио».

Глава II

[1] *Росинант.* – См. примеч. 1 к гл. V «Жана и Жанетты».

[2] *Корриколо* – неаполитанская повозка, использовавшаяся в качестве общественного транспорта, коляска с небольшим низким кузовом, на боках которого, как правило, обозначался пункт назначения: Байя, Портичи, Помпеи и т. д. Кузов корриколо устанавливался на своего рода носилки, которые сильно выступали назад, образуя открытую платформу позади кузова. Подвеска отсутствовала или ее заменяли кожаные стропы. Деревянную ось моста и колёса, как правило, красили в ярко-красный или зеленый цвет, а кузов расписывали цветами. Жесткое сиденье корриколо было рассчитано на 2–3 человек, но число пассажиров порой достигало 12–15 человек, большинство из которых стояли по бокам от кузова и на задней платформе. Коляской правил кучер, который стоял на задней платформе, держа вожжи, тянувшиеся между сидящими в кузове пассажирами, или сидел на левой оглобле, свесив ноги. Корриколо запрягалось одной или двумя лошадьми, из которых правая была пристяжной: неаполитанские лошади, несмотря на небольшой размер и приземистость, отличаются энергичностью и резвостью. См. также авторские пояснения об этом виде повозок в путевых заметках А. Дюма-отца «Корриколо» (1843; «Введение», также гл. «Лошади-призраки»).

[3] *Сорренто* – итальянский город на одноименном полуострове к юго-востоку от Неаполя.

[4] *...проехали Кьяйю и Маринеллу...* – Имеются ввиду набережные в Неаполе.

[5] *Коммодор* – командующий эскадрой в британском флоте. Как правило, коммодоры назначались из числа старших капитанов, которые после окончания военной кампании снова становились старшими капитанами; подчинялись контр-адмиралам и адмиралам.

[6] *Мальвазия* — известный сорт ликерного вина из одноименного винограда, изготовлявшийся на острове Мадейра, а также в Италии (в окрестностях Палермо, на острове Липари), Греции (на острове Крит) и ряде других стран. Изначально мальвазия была сортом греческого вина, вырабатывавшимся возле Монемвасии на побережье Лаконии, а позднее и на всем полуострове Пелопоннес, на Кипре, Крите, Самосе и других греческих островах Эгейского моря. В XV в. лоза мальвазии была завезена на остров Мадейра, где стала широко культивироваться и положила начало новому сорту вина — сладкой мадере.

[7] *Сераль.* — См. примеч. 3 к гл. XVII «Фортунио».

[8] *...гуашам Льюиса, изображающим гаремы Каира.* — Джон Фредерик Льюис (1804—1876) — английский художник-ориенталист. В 1841—1850 гг. жил и работал в Каире, где среди прочего создал множество ярких рисунков акварелью, на которых запечатлены разнообразные сцены из гаремной жизни. Значительная часть акварелей послужила эскизами к полотнам художника после его возвращения в Англию в 1851 г.

[9] *...свидетельствовало в пользу правдивости романтических женских портретов Маклайза, чьи полотна на Всемирной выставке казались очаровательными фантазиями.* — Дэниел Маклайз (Маклиз; 1806—1870) — ирландский художник, портретист и иллюстратор, предшественник прерафаэлитов. На его портретных полотнах («Леди Сайкс», 1837; «Присцилла Гордон в роли Ариэля», 1838—1839; «Розалинда и Селия», 1845, и др.), а также иллюстрациях к легендам, сказкам и поэтическим сочинениям («Спящая красавица», 1842; «Сцена из "Ундины"», 1843; «Магдалина после молитвы», 1868, и др.), стилистически близких творчеству членов Братства прерафаэлитов, яркими красками запечатлены проникнутые лиризмом идеально-прекрасные женские образы, окруженные ореолом таинственности и оттого напоминающие пленительные фантазии. Под Всемирной выставкой Готье подразумевает 2-ю Всемирную выставку трудов промышленности, сельского хозяйства и изящных искусств, которая проходила на Елисейских полях в Париже с 15 мая по 15 ноября 1855 г. под патронажем Наполеона Жозефа Шарля Поля Бонапарта (1822—1891) и была призвана превзойти по размаху свою лондонскую предшественницу 1851 г. На выставке 1855 г. Маклайз представил не портреты, а многофигурные картины, в частности, «Рождество в замке барона» (1838) и «Ордалию прикосновением» (1847), которые отличались от «холодной» викторианской академической живописи яркостью красок, красотой деталей и эмоциональностью образов. В обзоре выставки 1855 г. Готье, положительно отзываясь о картинах английских художников за «смешение невероятных красок, гамму ускользающих оттенков, призрачность отсветов», особо выделил Маклайза, прежде всего — его «Ордалию прикосновением», назвав сюжет картины «превосходным финалом трагедии или мелодрамы» (*Gautier T.* Les Beaux-Arts en Europe: En 3 vol. P.: Lévy-frères, 1856. T. I: 1855. P. 13).

[10] *Гренадин* — здесь: шелковая ткань, сотканная из плотных нитей особой крутки.

[11] *Пальметта.*— См. примеч. 14 к гл. XII «Двое на двое».

[12] *...в духе сатирических гравюр Хогарта.* — Уильям Хогарт (1697—1764) — английский художник и теоретик искусства. Славу Хогарту принесли сатирические картины и гравюры на меди, обличавшие пороки английской действительности того времени (см. примеч. 5 к гл. I «Двое на двое»). Его творчество высоко ценил, к примеру, английский писатель Г. Филдинг (1707—1754), который неоднократно

упоминал имя художника в своих произведениях, в частности, в романах «История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса» (1742) и «История Тома Джонса, найденыша» (1749).

[13] *Вигоневая ткань* — дорогая тонкая ткань из шерсти викуньи (Vicugna vicugna), обитающего в высокогорье Анд парнокопытного животного рода лам.

[14] *...напоминал англичанина из комических водевилей Гофмана или Левассора.* — Франсуа-Бенуа Гофман (1760—1828) — французский критик, поэт и драматург, автор полутора десятков либретто комических опер. Сравнивая коммодора с образом англичанина из водевилей Гофмана, Готье, очевидно, имеет в виду трехактную комическую оперу писателя «Разбойник» (1795, музыка К. Крейцера), действие которой происходит в горах Шотландии в период диктатуры Кромвеля (1599—1658, лорд-протектор Англии с 1653 г.), точнее — главного персонажа этой пьесы, английского джентльмена, укрывшегося со своей женой под видом простых крестьян в горной деревушке. Пьер Левассор (1808—1870) — французский актер-комик, блестящий пародист. Особую популярность ему принесли шаржи на англичан. Готье допускает неточность: Левассор не писал собственных пьес, как, к примеру, Гофман.

[15] *...поддерживать, согласно методу капрала Трима, «первичную влагу».* — Капрал Трим — персонаж романа Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759—1767). Придерживался мнения, что для сохранения боевого духа и здоровья необходимо поддерживать в организме не первичную влагу, которой, в отличие от ученых и докторов, капрал считал сточную воду, а первичную теплоту, т. е. жженку и можжевеловку, с помощью ежевечерних возлияний (кн. V, гл. XL).

[16] *Шербет.* — В Европе шербетом нередко называли изготовленные из фруктов сладкие прохладительные напитки, вроде тех, что в России известны как компот. См. также примеч. 25 к гл. XXIV «Фортунио».

Глава III

[1] «*Лючия*». — Имеется в виду трагическая опера Г. Доницетти (1797—1848) «Лючия ди Ламмермур», премьера которой состоялась в 1835 г. на сцене театра Сан-Карло в Неаполе (в Париже опера впервые была поставлена в 1839 г. в театре «Ренессанс»). Итальянское либретто для оперы написал по мотивам романа В. Скотта (1771—1832) «Ламмермурская невеста» (1819) С. Каммарано (1801—1852). Действие оперы происходит в кон. XVI в. в шотландском замке Равенсвуд. Возможно, лаццарони в повести Готье напевали арию Раймонда Бидебенда «Какая жертва во благо твоих родных» («Al ben de'tuoi qual vittima»; ч. II, акт I, сц. 3), мелодия которой по своему звучанию близка к народной песне.

[2] *Карлино* — старинная итальянская монета, впервые выпущенная Карлом I Анжуйским в Неаполе в кон. XIII в. Вплоть до XIX в. в Сардинии, Пьемонте и Неаполе это название сохраняли разные серебряные и золотые монеты различного достоинства.

[3] *...цветок из венка Офелии, упавшего в ручей...* — См.: *Шекспир У.* Гамлет. Акт 4, сц. 7. Ср. в пер. М. Лозинского: «Она старалась по ветвям развесить | Свои венки; коварный сук сломался, | И травы и она сама упали | В рыдающий поток».

[4] ...«*Я так люблю тебя*»... — Строка из припева (*ит.* «Ti voglio ben'assai») неаполитанской песни на слова поэта-любителя Р. Сакко (1787—1872), впервые исполненной 7 сентября 1839 г. на одном из главных праздников Неаполя — Пьедигротта. Этот праздник ежегодно отмечается с 1528 г. и неизменно сопровождается процессиями в честь Мадонны и пением народных песен, а с 1839 г. стал также временем проведения конкурса неаполитанской песни. Создание мелодии песни часто приписывают композитору Г. Доницетти, однако, вероятнее, она была написана Ф. Кампанеллой. Песня имела оглушительный успех на празднике 1839 г. и в скором времени разлетелась по всей Италии. Она считается первой настоящей неаполитанской песней Нового времени.

[5] *Стипль-чез.* — См. примеч. 3 к гл. X «Фортунио».

[6] *Райграс.* — См. примеч. 4 к гл. III «Аватары».

[7] *Сэр Эдвард Лэндсир.* — Имеется в виду сэр Эдвин-Генри Лэндсир (1802—1873) — знаменитый английский художник-анималист и скульптор, создатель статуй львов (1866) у подножия колонны Нельсона на Трафальгарской площади в Лондоне. На своих картинах он превосходно изображал лошадей, собак, овец и других животных, удивительно верно передавая не только их внешность, но и характер, свойственный каждой из пород, нравы, привычки и движения. Готье называет художника Эдвардом, вероятно, по ошибке.

[8] ...«*Ах, не надо принуждать*». — Имеется в виду романс (*ит.* «Deh, non voler costringere») из оперы Г. Доницетти «Анна Болейн» (1830; акт I, сц. 3), действие которой разворачивается в Англии в Виндзоре и Лондоне в 1536 г. Романс исполняет музыкант из свиты Анны Болейн, Сметон, пробуждая своей песней в королеве забытое чувство первой любви.

[9] «*Angelus*». — Имеется в виду католическая молитва «Ангел Господень» (*лат.* «Angelus Domini»), названная по ее начальным словам. Произносится три раза в день: утром, в полдень и вечером. «Ангел Господень» состоит из трех прочтений молитвы «Ave Maria» (*лат.* — Радуйся, Мария), каждое из которых предваряется стихами, повествующими об основных моментах тайны воплощения Бога, и завершающей молитвы, обращенной к Богу Отцу. Время этой молитвы зачастую возвещается особым колокольным звоном, имеющим то же название.

[10] *Кастелламмаре* (Кастелламмаре-ди-Стабия) — живописно расположенный городок на берегу Неаполитанского залива к юго-востоку от Неаполя, рядом с античными Стабиями — поселением, разрушенным вместе с Помпеями и Геркуланумом в 79 г. извержением Везувия (см. примеч. 6 к гл. VI).

Глава IV

[1] ...*кусок спекшейся глины с отпечатком... торса молодой женщины, которую извержение застало в загородном доме Аррия Диомеда...* — Имеется в виду сохранившийся в окаменевшем вулканическом пепле точный отпечаток верхней части тела молодой женщины, который находится в Национальном археологическом музее Неаполя. Найден при раскопках так называемой виллы Диомеда в кон. XVIII в. (см. примеч. 3 к гл. XIII). Этот экспонат был описан Готье несколькими годами ранее в фантастической новелле «Аррия Марцелла» (1852), один из персонажей

которой, Октавиан, влюбляется в юную помпеянку, от коей сохранился лишь отпечаток в застывшей лаве.

[2] *...статую Геркулеса Фарнезского... Флору и древнюю Минерву, двух Бальбов и... скульптуру Аристида...* — Имеются в виду: a) найденные в сер. XVI в. в руинах терм Каракаллы в Риме монументальные статуи Геркулеса Фарнезского (см. примеч. 29 к гл. I) и Флоры Фарнезской (римская копия греческой статуи IV в. до н. э.); b) колоссальная статуя Минервы Фарнезской из Веллетри (римская копия классического греческого оригинала, созданного Пиросом, скульптором школы Фидия, ок. V в. до н. э.), названная Готье древней Минервой; c) обнаруженные в базилике Геркуланума в XVIII в., когда начался активный период раскопок древнего города, конные статуи проконсула Марка Нония Бальба и его сына, I в.; d) открытая в Геркуланме, в саду виллы папирусов, статуя афинского политика и оратора Эсхина (IV в. до н. э.), предположительно 322—307 гг. до н. э., которая ранее считалась изображением афинского государственного деятеля Аристида (ок. 540 — ок. 467 до н. э.). Возможно, однако, что под древней Минервой писатель подразумевает другую скульптуру, которая долго считалась изваянием архаики, в настоящее же время признана искусной копией II в. до н. э. с оригинала V в. до н. э., а именно статую Афины, найденную в 1752 г. в Геркуланме, в перистиле Виллы папирусов, и относящуюся к типу Промахос (Предводительницы в битвах). В приведенном пассаже Готье перечисляет основные экспонаты из собрания античной скульптуры в Национальном археологическом музее Неаполя, упоминавшиеся в гидах по Южной Италии того времени, в частности, в популярном путеводителе О. Блевитта (см.: Blewitt 1853: 157—158, 161, 164—165, 174—175; см. также примеч. 4 к гл. XIV).

[3] *Альтавилла.* — Фамилия Альтавилла была весьма распространена в Неаполе в XIX в. Возможно, Готье дал своему персонажу, графу, эту фамилию, имея в виду Паскуале Альтавиллу (1806—1872), неаполитанского актера и драматурга, автора фарсов и комедий, знаменитого исполнителя роли Пульчинеллы. Готье довелось присутствовать на его представлениях во время поездки в Неаполь в 1850 г.

[4] *Гордиджани* Луиджи (1806—1860) — итальянский композитор, автор нескольких опер, а также многочисленных романсов и песен, вобравших в себя народные итальянские напевы.

[5] *Остерия* — общее название небольших, как правило семейных, ресторанов в Италии, а также трактиров и кабачков.

[6] *Фалерн* (фалернское вино) — одно из древнейших прославленных белых вин, производившееся в Фалернской области в Кампании и относившееся в античности к лучшим сортам вин. Его превозносил в своих одах, в частности, Гораций (см., напр.: Оды. I. XX. 10—12; I. XXVII. 9—10; II. III. 7—8). Фалернское вино также упоминается в надписи, которая была обнаружена на стене так называемой таверны Эдоны в Помпеях: «Эдона говорит: | Выпивка стоит здесь асс. За два асса ты лучшего выпьешь, | А за четыре уже будешь фалернское пить» (цит. по: *Петровский Ф.А.* Латинские эпиграфические стихотворения. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. С. 139—140).

[7] *Лакрима-кристи* (ит. слеза Христова) — дорогое белое марочное вино, изготовленное из винограда, выращенного на склонах Везувия.

[8] *Пульчинелла* — персонаж-маска неаполитанской импровизированной комедии дель арте, переживший последнюю и продолживший существовать в неаполитанском народном театре в XIX—XX вв. Домом Пульчинеллы в народе назывался театр Сан-Карлино (см. примеч. 1 к гл. VIII). Наряду с Тартальей, Скарамуччей и Ковьело входит в квартет южных (неаполитанских) масок, вместе с Арлекином являлся самым популярным персонажем комедии дель арте.

[9] *...рога... венчали голову божественного быка, похитившего Европу.* — Аллюзия на древнегреческий миф о Зевсе, который обратился в белого быка с жемчужными рогами, чтобы похитить Европу, дочь финикийского царя Агенора.

Глава V

[1] *Трирема* — в Древнем Риме название боевого гребного корабля с тремя рядами весел, расположенными друг над другом в шахматном порядке. Вдоль борта трирем обычно вешались щиты для защиты гребцов.

[2] *...стены... покрылись блестящими жирными потеками, столь дорогими сердцам художников-караваджистов.* — Имеются в виду последователи итальянского художника Микеланджело да Караваджо (наст. фам. да Меризи; 1573—1610), основателя натуралистической школы живописи. Наиболее оригинальное и самостоятельное преломление наследие Караваджо получило в творчестве О. Борджанни (ок. 1578—1638), О. Джентилески (1563—1638), К. Сарачени (ок. 1580—1620), Дж. Б. Караччоло (ок. 1570—1637). Для художников-караваджистов характерен интерес к непосредственному воспроизведению натуры, драматизация изображения с помощью контрастов света и тени, стремление передать ощущение осязаемой материальности предметов, крупные планы, монументализация жанровых мотивов (сцен с гадалками, музицирующими персонажами и т. д.) и, напротив, бытовая трактовка религиозных и мифологических сюжетов, а также преобладание в палитре темных, коричневых тонов.

[3] *Спаньолетто* (ит. Spagnoletto — шпингалет) — прозвище, данное итальянцами испанскому художнику и граверу Хосе де Рибере (1591—1652), последователю Микеланджело да Караваджо (см. примеч. 2). Моделями для персонажей многих картин Риберы, в частности античных философов и святых, а также героев жанровых сцен, служили представители социальных низов (напр., «Демокрит», 1630; «Св. Иероним», 1626; «Св. Мария Египетская», 1651; «Хромоножка», 1642).

[4] *Сальватор Роза* (1615—1673) — итальянский живописец, гравер и поэт, ученик и последователь Х. де Риберы (см. примеч. 3). Особую знаменитость снискал благодаря изображениям сцен из быта пастухов, солдат и разбойников.

[5] *Вителлий* Авл (15—69 н. э.) — древнеримский император с 17 апреля по 20 декабря 69 г., отличавшийся, в частности, безудержным чревоугодием.

[6] *Фарнезский бык* — знаменитый экспонат из Национального археологического музея Неаполя (см. примеч. 29 к гл. I), монументальная скульптурная группа из мрамора, которая изображает казнь фиванской царицы Дирки, привязываемой к рогам огромного разъяренного быка Амфионом и Зетом. Римская копия II в. с греческого оригинала, созданного братьями-скульпторами Аполлонием и Тавриском из Тралл во II—I вв. до н. э.; была найдена в 1546 г. в руинах терм Каракаллы.

[7] *...послужил бы достойной бородой для бравого сапера...* — В XIX в. рядовой солдат-сапер изображался в искусстве (преимущественно в графике и живописи) с большой бородой, трубкой в зубах и каске (напр., Н.-Т. Шарле «Французский сапер в парадной форме», 1817; Ш. Обри «Борода сапера», 1830). Позднее на основе этого образа французский художник-любитель Мари-Луи-Жорж Коломб (псевд. Кристоф; 1856—1945) создал комикс о сапере Камамбере, печатавшийся в журнале «Le Petit Français illustré» с 4 января 1890 г. по 12 сентября 1896 г.

[8] *Качкавал* — сорт сыра из овечьего молока.

[9] *...в галерее маршала Сульта...* — Никола-Жан Сульт (1769—1851) — маршал Франции с 1804 г., герцог Далматский с 1807 г., участник наполеоновских войн (1799—1814 гг., 1815 г.); в 1808—1812 гг. командовал французскими войсками в Испании, откуда вывез множество произведений искусства. Открыл частную галерею, картины из которой были впоследствии распроданы его наследниками.

[10] *...полотно Мурильо, на котором изображены херувимы, хозяйничающие на кухне?* — Имеется в виду картина испанского художника Бартоломе Эстебана Мурильо (1618—1682) «Чудо святого Диего», приобретенная в 1852 г. Лувром. В правой части полотна представлены ангелы и херувимы, готовящие еду, поэтому картина часто называется также «Кухня ангелов».

[11] *«Асприно»* — сорт белого шипучего вина, изготовлявшегося в Аверсе близ Неаполя.

[12] *Святой Януарий* (ум. ок. 305) — священномученик, покровитель Неаполя. Культ св. Януария стал играть чрезвычайно важную роль в жизни неаполитанцев с кон. XV в. В частности, наиболее значимые события истории Неаполя так или иначе связывались в народном сознании с заступничеством святого покровителя.

[13] *...пошел такой ливень, что собаки могли напиться стоя, просто задрав морды к небу.* — Готье вложил в уста Тимберио почти дословную цитату из десятой сатиры («Смехотворный ужин») французского поэта Матюрена Ренье (1573—1613). Ср. у Ренье: «А с крыш потоки сточных вод такие полились, | Что ими псы, задравши морды, вволю напились».

[14] *...вошел в театр Пульчинеллы, где... актер...* — Лучшим исполнителем роли Пульчинеллы (см. примеч. 8 к гл. IV) в Неаполе того времени считался актер Антонио Петито (1822—1876), который дебютировал в театре Сан-Карлино (см. примеч. 1 к гл. VIII) в 1841 г. Петито обладал бурным темпераментом, изобретательностью, непосредственностью, он пел, танцевал и блестяще исполнял лацци (см. примеч. 15).

[15] *Лацци* — короткие сценки буффонного характера, трюки, импровизированные шутки, важная составная часть итальянской комедии дель арте. Лацци в яркой комической форме комментировали или пародировали основное действие пьесы.

Глава VI

[1] *Рамсгит.* — См. примеч. 7 к гл. II «Двое на двое».

[2] *...знаю латынь, но вы все-таки говорите так, будто я ее не знаю.* — Неточная цитата из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (пост. 1670, опубл. 1671; д. II, явл. VI). Ср. в пер. Н. Любимова:

Учитель философии

<...> вы, уж верно, знаете латынь.

Г-н Журден

Да, но вы все-таки говорите так, как будто я ее не знаю.

[3] *...как и Стендаль, уверен в победе двухпалатной системы...* — Стендаль (наст. имя Анри Мари Бейль; 1783—1842) расточает похвалы в адрес двухпалатной парламентской системы на протяжении всей книги «Рим, Неаполь и Флоренция» (1817).

[4] *Это поверье восходит к глубокой древности. На него есть намек в Библии.* — Слова «порча», «сглаз», «дурной глаз» и проч. в Священном Писании не употребляются. Однако в Библии есть указания на древний обычай носить серьги, кольца и другие блестящие украшения в качестве оберегов от злых духов и дурного глаза (см., напр.: Быт. 35: 4; Исх. 27: 2; 32: 2; 35: 22 и т. д.). Ветхий Завет строжайшим образом запрещал использование подобного рода магических средств, но, очевидно, безуспешно, так как талисманы стали прятать под одежду (см., напр.: 2 Макк. 12: 40).

[5] *О нем убедительно пишет Вергилий...* — Вергилий употребляет глагол «fascino» (*лат.* — сглазить) единственный раз — в «Буколиках» (эклога III, ст. 103). См. в пер. С. Шервинского: «Этих, уж верно, любовь не сушила — а кожа да кости! | Видно, глазом дурным ягнят моих кто-то испортил». Вместо заинтересовавшего Алисию слова поэт чаще использует глагол «посео» (*лат.* — вредить, портить); ср., напр.: «Если же станет хвалить меня чересчур, водрузите | Из валерьяны венок, чтоб речами поэта не сглазил» (*Вергилий.* Буколики. VII. 27—28. *Пер. А. Шерина*).

[6] *Стабии* — древнеиталийский город на берегу Неаполитанского залива, в 15 км от Везувия. Первоначально Стабии были поселением осков, однако впоследствии стали укрепленным городом Римской республики, который был разрушен при извержении Везувия в 79 г. вместе с Помпеями и Геркуланумом (см. примеч. 9 к гл. XVI «Фортунио»). Обнаружены в 1749 г. Р.-Дж. Алькубьерре (1702—1780) и частично им раскопаны в 1749—1780 гг.

[7] *Каменная рука, высеченная на замковом камне арки Ворот Правосудия в Альгамбре...* — Имеется в виду изображение открытой ладони, высеченное на замковом камне большой подковообразной арки, которая перемыкает Ворота Правосудия — ворота квадратной башни с барбаканом, построенной Юсуфом I (1318—1354, эмир Гранады с 1333 г.) и служившей главным входом в Альгамбру (см. примеч. 8 к гл. XI «Милитоны»). В исламе существует представление о защитной роли хамсы (амулета в форме ладони), которую называют «рукой Фатимы» (по имени дочери пророка Мухаммада). Об этом, например, упоминает барон Ш. Давилье (1823—1883) в своей книге, написанной по следам его совместного путешествия со знаменитым художником Г. Доре (1832—1883):

> <...> у нее множество таинственных значений: это эмблема Провидения, посылающего людям благодеяния; это также рука правосудия, а ее пять пальцев символизируют пять главных заповедей: верить в Бога и его пророков, мо-

литься, подавать милостыню, поститься во время Рамадана и совершать паломничество в Мекку и Медину. Но, кроме того, кисть руки — талисман, способный защитить от порчи и сглаза, ее носят как амулет, и это настолько распространенный обычай у гранадских мавров, что император Карл Пятый, не пренебрегавший ни малейшей возможностью преследовать морисков, специальным указом, опубликованным через тридцать лет после завоевания Гранады, запретил использование маленьких кистей из золота, серебра или кожи, которые обычно носили на груди женщины и дети (*Davillier Ch.* L'Espagne. P.: Hachette, 1874. P. 153).

[8] *...Сократ, принесший петуха в жертву Асклепию...* — По обычаю древних греков, каждый выздоровевший больной должен был принести петуха в жертву богу врачевания Асклепию. Согласно Платону, приняв по приговору афинского суда яд, Сократ попросил своего ученика Критона принести петуха в жертву Асклепию в знак благодарности философа за смерть, несущую исцеление и освобождение его души от житейских невзгод (см.: *Платон.* Федон. 118).

[9] *Абруцци* — область в Италии, в центральной части Апеннинского полуострова у Адриатического моря, в XIX в. — самая северная часть Королевства Обеих Сицилий, глухая и патриархальная провинция.

Глава VII

[1] *Домино.* — См. примеч. 5 к гл. II «Невинных распутников».

[2] *«...ангела, воспетого Томасом Муром!»* — См. примеч. 26 к гл. I «Фортунио».

[3] *Немесида.* — См. примеч. 3 к гл. V «Царя Кандавла».

[4] *...словно Дон-Жуан лорда Байрона... увидел... Гайдэ... гречанка, созданная воображением поэта.* — См. примеч. 13 к гл. I «Милитоны».

[5] *...«Мимика древних в неаполитанской жестикуляции».* — Имеется в виду трактат (*ит.* «Mimica degli antichi investigata nel gestire napolitano»), написанный Андреа де Йорио (1769—1851) — каноником кафедрального собора в Неаполе, по легенде, также в свою очередь считавшимся знаменитым джеттаторе. Будучи археологом и знатоком античности, де Йорио обратил внимание на то, что многие жесты его современников-неаполитанцев отличаются от жестов иностранцев, однако совпадают с изображенными на античных мозаиках, фресках, скульптурах и вазах. Заинтересовавшись этим сходством, он опубликовал в 1832 г. книгу «Мимика древних в неаполитанской жестикуляции», в которой доказывал, что жители Неаполя «унаследовали» множество жестов от древних греков и римлян. Трактат де Йорио считается в настоящее время первым этнографическим исследованием жестов, в нем, в частности, описаны различные способы защиты от дурного глаза.

[6] *...образы, похожие на бесформенных призраков в непроглядной тьме офортов Гойи...* — По всей вероятности, Готье имеет в виду серию офортов Ф. Гойи «Бедствия войны» (1808—1820), в которой преобладают мрачные тона, резкие линии, даны изображения мертвецов и т. п. (напр., л. 1, 69, 79, 80). См. также примеч. 67 к гл. I «Милитоны».

[7] *Смарра.* — См. примеч. 3 к гл. VII «Двое на двое».

Глава VIII

[1] *Театр Сан-Карлино* — старейший неаполитанский театр, ставящий комедии дель арте и оперные спектакли. В нем и поныне даются комедии на неаполитанском языке. См. также примеч. 8 к гл. IV.

[2] *...трактат о джеттатуре синьора Николы Валлетты.* — Никола Валлетта (1738—1814) — правовед, автор трудов по римскому праву, написал также трактат «Разглагольствования о сглазе, именуемом в просторечии джеттатурой» (Неаполь, 1787; переизд. 1814 и 1818). Будучи сторонником Просвещения, интеллектуалом, проникнутым вольтеровским скептицизмом по отношению к предрассудкам и суевериям, автор избрал ироничный тон, описывая предмет своего исследования (об этом подробнее см.: *Benvenuto S., Pozzoli M.* Une superstition des Lumières à Naples: le Jettatore // La pensée de midi. 2008. № 1 (23): Tanger, ville frontière. P. 163—174).

[3] *...«Секретов Альберта Великого»...* — Имеются в виду «Удивительные секреты Альберта Великого» — сборник оккультных наставлений, приписываемых одному из Учителей Церкви, немецкому теологу и наставнику Фомы Аквинского Альберту Великому, или Альберту фон Больштедту (1193 или 1206/1207—1280). Сборник был издан после смерти Альберта Великого и впоследствии признан апокрифичным.

[4] *«Эттейла»* («Эттейла, или Способ развлечь себя колодой карт», 1770) — сочинение парижского цирюльника и оккультиста Жан-Батиста Альетта (1738—1791), которое посвящено методике гадания при помощи обычной колоды игральных карт, дополненной одной нетрадиционной картой Спрашивающего под названием «Эттейла» (представляющим собой анаграмму фамилии автора книги).

[5] *«Толкователь сновидений»* («Онейрокритика») — название известного сочинения древнегреческого писателя Артемидора Далдианского (II в.), впоследствии неоднократно использовавшееся составителями более поздних сонников.

[6] *...Медузу, разглядывающую свое... отображение в блестящем медном щите.* — Аллюзия на древнегреческий миф о Медузе Горгоне, сраженной Персеем. Дабы не обратиться в камень от губительного взгляда Медузы, Персей отрубил ей голову, глядя не на саму Горгону, а на ее отражение в щите, подаренном герою Афиной. См. также примеч. 3 к гл. VII «Фортунио».

[7] *Королевский театр.* — См. примеч. 20 к гл. IX «Милитоны».

[8] *...дон Лимон и донна Панграция?* — Имеются в виду персонажи неаполитанской народной комедии.

[9] *Из лебяжьего гнезда, что покачивается на волнах и именуется Англией...* — См. примеч. 5 к гл. IV «Двое на двое».

Глава IX

[1] *Слова, слова, слова, как сказал Шекспир.* — См.: *Шекспир У.* Гамлет. Акт. II, сц. 2.

[2] *Олмэк.* — См. примеч. 15 к гл. IX «Милитоны».

[3] *Канарское* — вино с Канарских островов, главным образом мальвазия (см. примеч. 6 к гл. II), считалось одним из лучших в мире.

[4] *Ундина.* — См. примеч. 4 к гл. VI «Фортунио».

[5] *...вешу на целых семь фунтов больше...* — Английский фунт равен 0,454 кг, т. е. мисс Алисия Уорд прибавила в весе более трех килограмм.

[6] *...«чего не следовало бы говорить, то поется»...* — *Бомарше П.* Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность. Д. I, явл. 2. *Пер. Н. Любимова.*

[7] *Дуэттино* — небольшая пьеса для двух исполнителей, как правило, с инструментальным сопровождением.

[8] *Чимароза* Доменико (1749–1801) — знаменитый итальянский композитор, клавесинист, скрипач и певец.

[9] *Метастазио* Пьетро (наст. имя Трапасси; 1698–1782) — итальянский поэт и драматург-либреттист.

[10] *...спит так же крепко, как семеро отроков в пещере.* — Аллюзия на раннехристианскую легенду о семи мучениках, заживо замурованных в пещере. Согласно легенде, ок. 250 г. семеро отроков, спасаясь от преследования христиан, укрылись в пещере в Эфесе. Обнаружив их убежище, Деций (201–251, римский император с 249 г.) приказал завалить камнями вход в пещеру, где спали отроки, чтобы обречь их на мучительную смерть от голода. Однако по воле Божьей отроки не умерли, а заснули чудесным сном и проснулись спустя несколько столетий во времена правления христианского императора, чудо же их пробуждения способствовало укреплению веры христиан в воскресение плоти. На Западе легенда известна с VI в., в частности, она упоминалась в книге «О славе мучеников» Григория Турского (538/539–593/594), но особую популярность приобрела во времена крестовых походов, к примеру, она изложена в «Золотой легенде» (ок. 1260) Иакова Ворогинского (ок. 1228/1230–1298).

Глава X

[1] *...во всех трех королевствах...* — То есть в Англии, Шотландии и Ирландии: 1 января 1801 г. при слиянии Королевства Ирландии с Королевством Великобритании (образовавшимся в результате объединения Королевства Шотландия и Королевства Англия согласно Акту об унии 1707 г.) было создано Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии.

[2] *Терра ди Лаворо* — прежнее название итальянской провинции Казерта.

[3] *...дяденька... обращение шута к королю Лиру...* — См.: *Шекспир У.* Король Лир. Акт I, сц. 4–5; акт II, сц. 4; акт III, сц. 2, 4, 6.

[4] *Клянусь Иисусом, моим покровителем, остановившим солнце!* — Библейская аллюзия. Согласно Ветхому Завету, Иисус Навин, ставший предводителем израильского народа после смерти Моисея, во время сражения с пятью царями Аморейскими остановил солнце, чтобы разбить врага (см.: Ис. Нав. 10: 12–14). По-английски имя преемника Моисея произносится как Джошуа, поэтому сэр Джошуа Уорд называет этого библейского персонажа своим покровителем.

[5] *Каббалистический.* — См. примеч. 5 к гл. X «Двое на двое».

Глава XI

[1] *Старуха Моб* — персонаж поэмы в прозе французского писателя и историка Эдгара Кине (1803–1875) «Агасфер» (1833), олицетворяющая смерть старуха, ко-

торая поучает другой персонаж поэмы, юную Рахиль, что «настоящая жизнь отличается от девичьих фантазий» (Ч. III: День третий. Сц. II).

[2] *Термы* — в Древнем Риме общественные бани, которые одновременно являлись местом для занятий гимнастикой, игр в мяч, бесед и увеселений. При раскопках Помпей были обнаружены здания четырех терм: Стабиевых терм, построенных в III в. до н. э., терм Форума, сооруженных Луцием Цезием в I в. до н. э., недостроенных Центральных терм, заложенных в 62 г., а также Пригородных терм, возведенных ок. I в. до н. э. за Морскими воротами. Однако ко времени написания повести археологам удалось найти лишь термы Форума, самые маленькие и изящные термы города, украшенные фресками (раскопаны в 1824 г.), и Стабиевые термы — самые большие и лучше всего сохранившиеся термы Помпей (раскопаны в 1854–1859 гг.). Судя по описанию пути Поля д'Аспремона до роковых терм (см. т. II, с. 264–265 наст. изд.) и по упоминаемой вскользь дате открытия сооружения (см. т. II, с. 268 наст. изд.), граф Альтавилла назначил место поединка в термах Форума.

[3] *...биться на ножах...* — Поединки на ножах были распространены в странах Средиземноморья вплоть до нач. XX в., когда правительства Испании и Италии ограничили разрешенную длину ножей одиннадцатью сантиметрами.

Глава XII

[1] *Колридж* Сэмюэл Тейлор (1772–1834) — английский поэт-романтик, философ, литературный критик.

[2] *Шелли* Перси Биш (1792–1822) — поэт-романтик, один из величайших английских писателей XIX в.

[3] *Теннисон* Альфред (1809–1892) — английский поэт, выразивший чаяния викторианской эпохи.

[4] *Лонгфелло* Генри Уодсуорт (1807–1882). — выдающийся американский писатель, поэт-романтик, филолог. См. также примеч. 5 к гл. I «Спириты».

[5] *Разве Скъявоне не изобразил... Венеру, покусывающую лепестки роз*? — См. примеч. 10 к гл. XII «Аватары».

[6] *Флёрдоранж* (фр. fleur d'orange — цветок апельсина) — белые цветы померанцевого дерева, а также подобные им искусственные цветы. Символизируют чистоту и невинность и являются принадлежностью подвенечного наряда невесты во многих странах.

[7] *...затвориться в монастыре траппистов, навеки спрятать лицо под монашеским капюшоном и, лежа в своем гробу, ожидать смерти.* — Орден траппистов (официальное название орден цистерцианцев строгого устава) — католический монашеский орден, выделившийся из монашеского ордена цистерцианцев. Основан в 1663 г. А.-Ж. ле Бутилье де Рансе (1626–1700) — аббатом французского цистерцианского монастыря Нотр-Дам де ла Трапп. Монахи ордена придерживались жесткого и строгого соблюдения устава св. Бенедикта, посвятив себя совместной молитве и затворничеству. Так, по уставу траппистам предписывалось одеваться в рясу с капюшоном, подпоясанную веревкой, и деревянные башмаки, посвящать несколько минут вечером сооружению для себя могилы и спать в гробу на соломе.

Глава XIII

[1] *Термополий* – древнеримская харчевня или бар, где подавали горячую еду и вино с пряностями. Чаще всего представлял собой маленькое помещение, выходившее на улицу прилавком.

[2] *Триклиний* – в древнеримской архитектуре помещение для трапезы. Триклинием называли также обеденные ложа, установленные с трех сторон в форме подковы вокруг обеденного стола.

[3] *Вилла Диомеда* – руины построенного в первой пол. I в. н. э. загородного дома, которые были обнаружены при раскопках Помпей в 1771–1774 гг. Франческо Ла Вегой (ум. 1815); условно названы по имени Марка Аррия Диомеда, чья могила была найдена напротив входа в виллу одновременно с ее руинами. Вилла Диомеда расположена к северо-западу от городской черты Помпей, у дороги Гробниц. Здесь и далее, а также на с. 264–265 наст. изд. Готье перечисляет основные достопримечательности Помпей, извлеченные из-под толщи вулканического пепла к сер. XIX в. и неизменно указывавшиеся в путеводителях того времени по погибшему городу. В частности, подробная информация о находках, сделанных археологами при раскопках Помпей, содержится в справочнике О. Блевитта (см.: Blewitt 1853: 325–326, 331–332, 343–349, 355–360; см. также примеч. 4 к гл. XIV).

[4] *Гробница Мамии* – гробница, находящаяся за Геркуланскими воротами Помпей, на восточной стороне улицы Гробниц (между так наз. виллой Диомеда и виллой Цицерона), сооружение в виде экседры, построенное по замыслу покоящейся там помпеянки по имени Мамия. Найдена при раскопках Помпей в 1763 г. На гробнице сохранилась надпись: «[Это] место погребения даровано Мамии, дочери Публия Мамия, публичной жрице, постановлением декурионов».

[5] *Каннелюры.* – См. примеч. 37 к гл. II «Царя Кандавла».

[6] *...бани... в конце улицы Консулов, на углу улицы Фортуны...* – Готье допускает неточность: термы Форума находятся на пересечении улицы Форума и улицы Терм, перпендикулярной улице Консулов. Часть зданий терм выходит также в переулок Терм, перпендикулярный улице Терм.

[7] *Архитрав.* – См. примеч. 39 к гл. II «Царя Кандавла».

[8] *...бледнее освещенного луной лица преступника, которого волею Прюдона преследуют мстительные эринии.* – Имеется в виду аллегорическая картина французского художника Пьер-Поля Прюдона (1758–1823) «Правосудие и Божественное Возмездие, преследующие Преступление» (1808), хранящаяся в Лувре.

Глава XIV

[1] *Чичероне* (ит.) – гид, проводник, дающий пояснения туристам при осмотре достопримечательностей.

[2] *...находящиеся в странном соседстве арену для боев, театр трагедии и музыкальный театр...* – Имеются в виду a) амфитеатр (ок. 80 до н. э.) – древнейшее из ныне известных римских сооружений подобного рода с открытой ареной для гладиаторских боев; b) Большой театр (кон. III–II вв. до н. э., перестраивался в I в. до н. э.), сообщавшийся с упоминаемыми далее в повести Готье гладиаторскими казармами; c) расположенный в непосредственной близости с ним Одеон, или ма-

лый крытый театр (ок. 80–75 до н. э.), где давались комедии или музыкальные представления.

[3] *Пантеон.* – Храма, посвященного всем древнеримским богам, в Помпеях не существовало. Вероятно, под Пантеоном Готье подразумевает Храм ларов, духов-хранителей города, построенный предположительно после 62 г. и примыкающий к Марцеллуму – крытому продовольственному рынку древнего города. Возможно также, что Готье называет Пантеоном сам Марцеллум вслед за О. Блевиттом, составителем справочника-путеводителя по Южной Италии (см.: Blewitt 1853: 350; см. также примеч. 4).

[4] *...следили по своему Марри...* – Имеется в виду путеводитель Октавиана Блевитта «Справочник для путешественников по Южной Италии», вышедший в 1853 г. в издательстве Джона Марри (см.: Blewitt 1853) – лондонском издательстве, основанном в 1768 г. и с 1836 по 1901 г. публиковавшем гиды и путеводители, которые пользовались огромной популярностью. В 1855 г. путеводитель был переиздан с существенными изменениями без указания имени Блевитта в изд.: A handbook for travellers in Southern Italy, being a guide for the continental portion of the Kongdom of Two Sicilies. 2nd ed., entirely revised and corrected to the present time. L. [et al.]: Murray, 1855.

[5] *Коронер* – в Великобритании, США и ряде других стран специальный судья, в обязанности которого входит выяснение причины смерти, произошедшей при необычных или подозрительных обстоятельствах. При установлении факта насильственной смерти коронер передает дело в суд.

[6] *...высокий и нескладный малый, застенчивый, как лэрд Дамбидайкс из «Эдинбургской темницы».* – Лэрд Дамбидайкс – персонаж исторического романа В. Скотта (1771–1826) «Эдинбургская темница» (1818). Портрет кузена в повести Готье напоминает, скорее, описание не самого лэрда Дамбидайкса – скупого и жестокого шотландского помещика, а его молчаливого и нерешительного сына Джока (см.: *Скотт В.* Эдинбургская темница. Гл. VIII–IX).

[7] *Манцинелла* (Hippomane mancenilla) – тропическое растение семейства молочайных, невысокое дерево, произрастающее в Южной Америке и на Карибских островах. Известна ядовитым млечным соком, содержащимся во всех ее частях, включая плоды. Считалось, что даже испарения манцинеллы смертельно ядовиты.

[8] *...«Хьюберт, Хьюберт, пощади мои бедные глаза!»...* – Аллюзия на реплику Артура, герцога Бретонского, из трагедии Шекспира «Король Иоанн» (1598; акт IV, сц. I). Обращаясь к Хьюберту де Бургу, Артур умоляет не выжигать ему глаза вопреки приказу короля. Ср. в пер. Н. Рыковой: «Не затыкай мне рта, не надо, Хьюберт. | А то уж лучше вырви мне язык, | Но пощади глаза <...>».

[9] *...разыгрываются сотни разнообразных актов невеселой человеческой комедии?* – Аллюзия на басню Жана де Лафонтена «Дровосек и Меркурий» (см.: Басни. V. I. 27). Ср. в пер. А. Зарина: «В театре у меня то грустный, то смешной | За актом акт идет на смену | Разнообразной чередой». В приведенном пассаже содержится также аллюзия на название грандиозного цикла романов «Человеческая комедия» (1829–1848), принадлежащего Оноре де Бальзаку (1799–1850) и охватывающего жизнь всех слоев французского общества первой пол. XIX в. Название, данное Бальзаком своему циклу, перекликается с названием «Божественной комедии» (1307–1321) Данте (1265–1321) и одновременно противопоставляется ему.

[10] *...уподобилась птице, задыхающейся под стеклянным колоколом, откуда выкачивают воздух...* — Имеется в виду опыт, впервые описанный английским физиком, химиком и богословом Робертом Бойлем (1627—1691) в работе «Новые физико-механические опыты относительно упругости воздуха и ее действий, поставленные преимущественно с помощью новой пневматической машины» (1660; опыт 41). В ходе эксперимента Бойль поместил жаворонка под колокол усовершенствованного физиком воздушного (вакуумного) насоса, изобретенного в 1650 г. Отто фон Герике (1602—1686), и выкачал из колокола воздух, чтобы изучить реакцию птицы на лишение воздуха. С помощью этого опыта Бойль стремился доказать значение воздуха для жизни всех существ. С кон. XVIII в., когда воздушный насос стал достаточно распространенным научным аппаратом, подобный опыт часто повторялся во время выступлений странствующими лекторами.

[11] *...напоминала Пречистую Деву кисти Схореля...* — Имеются в виду два алтаря с изображением «Успения Богородицы», один из которых находится в Кёльнском соборе, а другой — в Старой Пинакотеке в Мюнхене. Ранее алтари приписывались кисти голландского живописца Яна ван Схореля (1495—1562). В настоящее время автором обоих творений считается другой голландец — Иос ван Клеве (наст. фам. ван дер Беке; ок. 1485—1540/1541).

[12] *Тяжелой поступью мраморного гостя... пересек сад...* — Аллюзия на оперу В.-А. Моцарта (1756—1791) «Дон-Жуан, или Наказанный распутник» (1787, либретто Л. да Понте). В одной из заключительных сцен оперы (д. I, картина 5) Лепорелло изображает тяжелые шаги статуи Командора, явившейся в окруженный парком замок Дон-Жуана, чтобы покарать ветреника и сластолюбца.

[13] *Гроб из черного дерева с серебряными застежками и ручками, обитый изнутри стеганым атласом... какой мисс Кларисса Гарлоу... расписывала в деталях «господину столяру»...* — Аллюзия на эпистолярный роман английского писателя С. Ричардсона (1689—1761) «Кларисса, или История молодой леди, заключающая в себе важнейшие вопросы частной жизни и показывающая, в особенности, бедствия, которые могут явиться следствием неправильного поведения как родителей, так и детей в отношении к браку» (1-е изд. 1747—1748; 2-е изд. 1749; 3-е изм. изд. 1751). Один из персонажей романа Джон Белфорд подробно описывает в своем письме сэру Роберту Ловеласу обтянутый черной тканью и обитый изнутри белым атласом гроб с металлическими накладками, который, предвидя собственную смерть, заказала для себя мисс Кларисса Гарлоу (3-е изд., т. 8, письмо LXXXII). Сцена, в которой Кларисса обсуждала бы устройство гроба с «господином столяром», в произведении Ричардсона отсутствует.

•

РОМАН О МУМИИ

Впервые опубл. в «Le Moniteur universel» (11 марта — 6 мая 1857 г.; 16 фельетонов) и уже в следующем году отдельной книгой. Во второй половине XIX века роман выходил отдельными изданиями и в сборниках по меньшей мере три раза.

На русском языке роман публиковался в переводе А.П. Воротникова под названием «Роман мумии» (СПб., 1911; СПб.: Алетейя: АО «Комплект», 1993).

В наст. изд. использованы иллюстрации художника Жоржа Рошгросса (Georges Rocheggrosse; 1859–1938).

Египетский поход Наполеона 1798–1799 годов, неудачный в военном отношении, открыл Европе удивительную цивилизацию, в которой она сразу «почувствовала» колыбель античной культуры, своей уже признанной «праматери». Вслед за учеными и художниками, весьма предусмотрительно взятыми великим корсиканцем для описания страны (он был хорошо осведомлен, что она того достойна!), в долину Нила хлынули путешественники, писатели и искатели приключений самых разных мастей. Диалог Запада и Востока зазвучал с новой силой, отозвавшись романтической бирюзовой волной ориентализма в европейской живописи и литературе. А Франция не случайно стала «родиной» египтологии, точнее ее основателя – Жан-Франсуа Шампольона.

Жгучий интерес к Египту захватил душу Т. Готье, когда на Салоне 1834 года он увидел картину Проспера Марильи (1811–1847) «Площадь Эзбекие в Каире». В истории Франции эта площадь осталась как место убийства молодым арабом генерала Жан-Батиста Клебера, одного из лучших полководцев Наполеона. Картина Марильи буквально заворожила писателя, он долго не мог от нее отойти, приходил любоваться ею снова и снова и из-за нее «заболел Востоком», в чем неоднократно признавался. После трагической безвременной кончины художника его семья подарила Готье этюд «Площади Эзбекие». Когда в 1869 году писатель приедет в Египет, он насладится созерцанием бурлящей на ней жизни с веранды знаменитого отеля «Шепард» в полной мере: сломав левую руку еще на пароходе, он несколько дней будет лишен возможности путешествовать. К сожалению, неизвестно, где сейчас находится эта картина; гравюры с нее есть в Национальной библиотеке и Лувре. А в Эрмитаж из коллекции князя К.А. Горчакова (1841–1926), сына знаменитого министра иностранных дел и государственного канцлера А.М. Горчакова, в 1923 году попала не менее волшебная картина Марильи «Улица Эзбекие в Каире» – магически притягательный вид восточного города – яркий, солнечный, пышноцветный, но не бутафорский, а живой и настоящий. Здесь, в садах Эзбекие, где прятался убийца Клебера, «начинался» Египетский музей – сюда свозили найденные древности, раздариваемые пашой Мухаммадом Али (1805–1849) европейцам. П. Марилья провел в Египте почти два года и так полюбил эту страну, что в письме сестре назвал себя «египтянином». Готье восхищался описаниями Египта, которые оставил Марилья, полагая, что тот мог обрести известность и как писатель.

С восторгом Готье, сам сначала мечтавший стать художником, писал и об Адриене Доза, который был один из первых, кто воспел Египет на своих полотнах («Он не боялся ни усталости, ни опасностей <...> больше всего он любил памятники, храмы, дворцы, крепости, городские ворота и развалины, хранящие великолепные и живописные отблески прошлого» (*Дюма А., Доза А.* Путешествие в Египет. М., 1988. С. 275)) – кстати, полевые заметки о путешествии 1830 года. Доза в блистательной обработке Александра Дюма, больше 25 раз переизданные во Франции, были переведены на русский язык. Картины и рисунки Д. Вивана Денона, Л. Делаборда, Л.-Ф. Кассаса, П.-Ж. Редуте и многих других питали фантазию

писателя. Живописность «Романа о мумии» породила пылкую ответную любовь к нему художников — роман неоднократно иллюстрировался (одна из самых интересных работ — Ж. Барбье (1882—1932), представившего гармоничное сочетание египетского стиля с модерном; увидеть многие, в том числе неопубликованные, иллюстрации к роману Готье можно в каталоге выставки, посвященной египетским царицам: Queens of Egypt: from Hetepheres to Cleopatra. Monaco: Grimaldi Forum, 2008. P. 207—227.

Однако редкостная живописность романа была не только плодом литературного таланта Готье: он тщательно изучил доступные ему научные материалы, записки путешественников, изображения древнеегипетских памятников и сами «антики» в залах Лувра. Кроме восхитившей его книги Эрнеста Фейдо, он штудировал труды основоположника египтологии — Жан-Франсуа Шампольона, делая зарисовки в рукописи романа. Его источниками были работы и других «отцов» новой науки: И. Розеллини, Дж. Уилкинсона, К.-Р. Лепсиуса, Дж. Бельцони (см. примеч. 1 к Посвящению, примеч. 7—11 к Прологу). Но египтологи остались довольно холодны по отношению к роману, за исключением дружившего с Готье Э. Присса д'Авенна и А. Морэ (см. примеч. 1 к Посвящению). В литературе высказывалось мнение, что Готье вдохновили на роман изображения саркофага и мумии, сделанные Приссом д'Авенном. Известный французский ученый Александр Морэ (1868—1938) писал об «уверенной руке <...> Готье, отбирающего все существенные археологические детали, необходимые для создания описания, ясность которого вызывает полное удовлетворение любого профессионального египтолога» (цит. по: *Bruwier M.-C.* Qween Tawosret and the *Romance of the mummy* // Qweens of Egypt. P. 218.

Материалом для Готье служили также фотографии Максима дю Кампа (или Дюкана; 1822—1894), путешествовавшего по Востоку (и Египту) с Флобером в 1849—1851 годах и издавшему уже в 1852 году 125 изображений, причем высокого качества. Свою следующую работу «Нил (Египет и Нубия)» он посвятил своему другу Готье, чью биографию издал в 1890-м. Несомненно, о Египте Готье говорил и с Флобером, для которого он был просто «Тео» (путешествие Флобера даст не только путевые заметки и роман «Саламбо» — «восточная» тема интересовала его с юности, он собирался сочинить роман «Анубис» и повесть «Семь сыновей дервиша»; именно в Египте его осенит идея назвать одну из своих главных героинь Эммой Бовари).

Красивая история любви, изложенная Готье, удивительно «прозвучала» в русской культуре. По этому роману начинающий балетмейстер М. Петипа (это была его первая значительная постановка!) и Ж.-А. Сен-Жорж написали либретто для балета Ц. Пуни «Дочь фараона», и 18 января 1862 года в Большом (Каменном) театре Санкт-Петербурга родился шедевр, недавно восстановленный и сейчас украшающий репертуар Большого театра в Москве.

Неизбежна для начала XIX века и другая линия романа, связанная с библейской книгой Исхода. Востоковедение как научное направление родилось из критики Библии, путешествия на Восток своей главной целью имели паломничество в Святую землю, куда в широком смысле слова входил и Египет — и как место Исхода, и как страна, приютившая Деву Марию с младенцем, и как родина монаше-

ства. Уже первые европейские путешественники убедились, что на Синае можно попробовать манну небесную, увидеть выделяющие эфирные испарения «горящие» кустарники, а местные бедуины знают, что там есть источники, обнаруживаемые ударом палки. Теофиль Готье, получивший образование в парижском лицее Карла Великого, обладал необходимыми познаниями для развития библейской линии. Его сокурсником и другом был неординарный Жерар де Нерваль (это он прогуливался по Монмартру с живым омаром на поводке), один из самых эрудированных писателей первой половины XIX века, в 1851 году издавший не менее занимательное и блещущее тонким юмором «Путешествие на Восток» (как и в случае с романом Готье, отдельные главы книги впервые увидели свет в журнальных публикациях; издана на русском языке в 1986 г.).

В древнеегипетских источниках нет подходящих данных для подтверждения истории Исхода, что и логично — великой империи не было дела до каких-то полукочевых племен (древнееврейское царство образовалось позднее, в XI в. до н. э.). В 1896 году основателем научной археологии в Египте, В.-М.-Ф. Питри, в поминальном храме Мернептаха в Фивах будет найдена так называемая «стела Израиля», датируемая пятым годом правления фараона (ок. 1208 г. до н. э.). Сейчас она хранится в Египетском музее в Каире. Эта огромная, высотой 3,18 м, гранитная стела с надписью Аменхотепа III на лицевой стороне, на оборотной содержит пространный поэтический текст, прославляющий победу Мернептаха над ливийцами и «народами моря». В конце его, в списке местностей и городов Сирии-Палестины, подчиненных Мернептахом, имеется первое в египетских текстах упоминание названия народа «Израиль» (кон. XIII в. до н. э.).

К счастью, увиденный собственными глазами в 1869 году в связи с открытием Суэцкого канала реальный Египет не разочаровал Готье и его перо не вывело полных горькой иронии строк, кои ему довелось получить от Жерара де Нерваля в 1843 году (как раз сразу по возвращении последнего с Востока): «Ты все еще веришь в ибиса, в алый лотос, желтый Нил, изумрудные пальмы, опунцию, корабль пустыни... Увы, ибис — это дикая птица, лотос — обыкновенная луковица; Нил — это грязная вода с мутно-рыжим оттенком; пальма имеет вид потрепанной метлы, опунция — просто-напросто кактус; корабль пустыни встречается разве что в состоянии облезлого верблюда; альмеи — это переодетые мужчины, а что касается настоящих женщин, то глаза бы на них не глядели!» (цит. по: *Иванов Н.А.* Послесловие // Нерваль Ж. де. Путешествие на Восток. М.: Наука, 1986. С. 434—435). Впрочем, и де Нерваль отнюдь не был столь разочарован, в чем легко убедиться, отправившись вслед...

И пусть вас настигнут чувства, испытанные Флобером при закате великого Ра над западным берегом Фив, когда горы стали темно-индиговыми, в расселинах долин легли синие тени, небо раскраснелось, а Нил был подобен расплавленной стали: «В эти минуты, глядя под звуки музыки на изгибавшиеся под ветром три волны за кормой, я почувствовал, как из каких-то сокровенных глубин поднимается во мне ощущение радости и торжества, раскрываясь навстречу этой картине...» (*Флобер Г.* Путешествие на Восток. Путевые заметки. М.: Изд. фирма «Вост. лит», 1995. С. 90). В Египте остались еще места, где почти ничего не изменилось с тех незапамятных времен, когда им правили цари-боги.

О.В. Тимашевич

Посвящение

[1] *Эрнест Фейдо* (1821–1873) – французский писатель и ученый, племянник и литературный ученик Густава Флобера, автор «Истории древних погребальных обрядов и захоронений» (1856), первый том которой посвящен Древнему Египту. Готье опубликовал в газете «Le Moniteur universel», сотрудником которой являлся с 1855 по 1871 г., восторженную статью о книге Фейдо, после чего писатели познакомились и подружились. Оба полагали, что наука – не синоним скуки, однако использовали лишь достоверные факты, «наполняя историю цветом»; им претила история как сухое перечисление событий, при котором забывают о человеке. Совпали и их эстетические пристрастия: египетская Хатхор представлялась обоим столь же прекрасной, как Венера Милосская. Оба были уверены, что египетское искусство оказало значительное влияние на греческое (при том, что многие ученые тогда находили первое примитивным и грубым). Фейдо готовил для Готье материалы для будущего «Романа о мумии», показывал собственные рисунки, сделанные в Египте, и снабдил его необходимой литературой. Важно, что его книга была иллюстрирована рисунками Присса д'Авенна (1807–1879), одного из самых загадочных пионеров египтологии. Поработав в Египте при Мухаммаде Али, охотно приглашавшего европейских специалистов, в качестве инженера и преподавателя военных училищ с 1827 по 1836 г., он затем на протяжении 8 лет копировал древнеегипетские памятники. Второй раз он путешествовал по долине Нила с 1858 по 1860 г., причем взял с собой только что изданный «Роман о мумии» и попросил сопровождавшего его дальнего родственника, голландского художника В. де Ф. Тестаса (1834–1896), проиллюстрировать его (к сожалению, эти иллюстрации не публиковались и с 1985 г. хранятся в Лейденском музее). На некоторых из них стоят пометки «Фивы 1860» – следовательно, Тестас сделал их в Египте, используя в качестве жилища и мастерской одну из гробниц. Редкая наблюдательность Присса д'Авенна (например, он первым заметил блоки эпохи «фараона-еретика» Эхнатона в пилоне Хоремхеба в Карнаке) сохранила для науки изображения, исчезнувшие за прошедшие два столетия. Кроме того, он ассоциируется с двумя источниками особой значимости. Из Карнакского храма Присс д'Авенн вывез рельефы эпохи XVIII династии с царским списком, включающим 62 имени от Менеса до Тутмоса III (хранятся в Лувре). Его имя носит папирус с текстом знаменитого Поучения Птахотепа, шедевра дидактической литературы (в настоящее время хранится в Национальной библиотеке Франции). Материалом для Готье служили также дневники и письма путешественников, в частности Проспера Марильи, Дж. Хоскинса (1802–1063).

Готье тщательно изучал древнеегипетскую коллекцию Лувра, разбогатевшую благодаря стараниям О. Мариета (см. примеч. 116 к Прологу); в 1852 г. она пополнилась коллекцией Клот-бея (наст. имя Антуан Клот; 1793–1868), врача, организовавшего санитарную службу в египетской армии, медицинскую помощь населению, центр обучения врачей и получившего титул бея за борьбу с эпидемией холеры. Его большая коллекция древнеегипетских памятников попала также в Марсельский и Британский музеи; а его книга «Египет в его прежнем и нынешнем состоянии» в 1842 г. была переведена на русский язык. Имя Клот-бея носит одна из улиц Каира, ведущая к площади Эзбекие.

[2] *Гипогей* (греч. — подземный) — прорубленные в скалах или вырытые под землей многокамерные помещения для захоронений; подобные сооружения характерны для некрополей Александрии. Вслед за Ж.-Ф. Шампольоном термин «гипогей» использовался для обозначения скальных (в том числе царских) гробниц Древнего Египта и в русской литературе XIX в., например, в книге А.С. Норова «Путешествие по Египту и Нубии» (СПб., 1840. Часть I—II), героя войны 1812 г., а позднее, в 1853—1858 гг., министра народного просвещения. В современной науке этот термин практически не используется.

[3] *...приоткрыл для меня тайны Исиды...* — Исида (*егип.* — трон, место) — одна из главных богинь Египта, олицетворение престола, мать Хора, земным воплощением которого был царь, верная супруга Осириса; в античную эпоху стала самым популярным египетским божеством вне долины Нила (Апулей пишет, что ее — «единую владычицу» — чтит «под разными именами вся вселенная» (Метаморфозы. XI. 5. Пер. *М.А. Кузмина*); ей приписываются разнообразные функции: в частности, в Александрии она считалась также покровительницей мореплавания). «Тайны Исиды» соответствуют ее египетскому эпитету «великая магией» и могут быть связаны с мистериями в ее честь, справлявшимися и в Риме эпохи Империи (см. трактат «Об Исиде и Осирисе» посвященного в них Плутарха). Но скорее всего Готье имел в виду несколько иное. Согласно философскому фрагменту «Ученики в Саисе» немецкого поэта-мистика Новалиса, оказавшего значительное влияние на романтическое направление в литературе, под «покровом» Исиды скрыты все тайны мироздания. Изображалась богиня обычно в облике женщины, иногда на голове ее знак — «трон» или коровьи рога с солнечным диском между ними, убор, заимствованный у отождествляемой с ней Хатхор. Образ Исиды с младенцем Хором на коленях оказал влияние на сложение иконографии Богоматери. См. также примеч. 3 к гл. VIII, примеч. 3 к гл. X; примеч. 2 к гл. IV «Царя Кандавла».

Пролог

[1] *Бибан-эль-Молок* (араб. — Врата царей) — часть фиванского некрополя на западном берегу древних Фив (совр. г. Луксор), пустынное ущелье, в скалах которого были высечены 62 гробницы царей Нового царства (1580—1065 гг. до н. э.), почему оно чаще называется Долиной царей.

[2] *Фиванский горшок* — горшок из пористой глины, особая форма которого сохраняла воду прохладной даже на жаре, производное от названия города Фивы. Фивы, «Южный град», современный Луксор, стали столицей объединенного после Первого переходного периода Египта при царях XI династии в XXI в. до н. э. Как центр освобождения страны при XVII династии от захвативших ее гиксосов (Второй переходный период), город расцветает в эпоху последующего Нового царства (1580—1085 гг. до н. э.). Главным богом Фив (и потому всего Египта) был Амон, в честь которого на протяжении двух тысячелетий строились огромные храмовые комплексы Карнак и Луксор; а на западном берегу располагались богатые некрополи царей (Долины царей и цариц) и знати.

[3] *Осирис* — бог умирающих и воскресающих сил природы в древнеегипетском пантеоне, царь, а затем и судья загробного мира. Согласно центральному египетскому мифу, изложенному в цельном виде только в трактате Плутарха «Об Иси-

де и Осирисе» (и, конечно, хорошо известному Т. Готье — поэтому он вслед за Плутархом называет Сетха Тифоном), бог был коварно убит его братом Сетхом и воскрешен верной женой Исидой, родившей от него сына — Хора. Каждый оправданный на суде мертвых покойный мечтал воскреснуть подобно Осирису.

[4] *Диосполис Магна* — Град Божий Великий — древнегреческое и древнеримское название египетских Фив как религиозной (в честь бога Амона, отождествляемого с Зевсом) и административной столицы Египта. См. также примеч. 2.

[5] *Искатели сокровищ всегда опережали нас.* — Большинство египетских гробниц было ограблено еще в древности. Известно, что пирамиды Древнего царства (ок. 2800—2350 гг. до н. э.) были вскрыты уже в Первый переходный период (ок. 2250—2050 гг. до н. э.). Много интересных документов о проверках состояния царских и частных гробниц, расследованиях и судах над грабителями фиванских некрополей дошло на папирусах конца Нового царства (правление Рамсесов IX и XI, кон. XII — нач. XI в. до н. э.) и опубликовано на русском языке (см.: *Лурье И.М.* Очерки древнеегипетского права XVI—X веков до н. э. Памятники и исследования. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1960).

[6] *Гробницу, которую не успели разорить ни кочевники, ни персы Камбиза, ни греки, ни римляне, ни арабы...* — Кочевники из Восточного Средиземноморья (гиксосы) властвовали в Египте примерно с 1730 по 1580 г. до н. э. Персидские армии под предводительством царя Камбиза II завоевали Египет в 525 г. до н. э. (см. также примеч. 143). Персидское господство с небольшим перерывом (404—342 гг. до н. э.) продолжалось до 332 г. до н. э., когда Египет завоевали войска Александра Македонского. В 31 г. до н. э., после поражения Антония и Клеопатры, власть в Египте более чем на шесть столетий перешла к римлянам. В 641 г. Египет был покорен арабами, и с тех пор его история неразрывно связана с арабским миром.

[7] *Шампольон* Жан-Франсуа (1790—1832) — блестящий французский лингвист и историк, дешифровавший древнеегипетские иероглифы. 27 сентября 1822 г. он выступил в Королевской академии надписей и изящной словесности с изложением своего открытия, о котором, как было тогда принято, сообщил в письме к непременному секретарю академии г-ну Дасье. С 1826 г. являлся хранителем египетской коллекции Лувра; в 1831 г. в Коллеж де Франс ему была предоставлена кафедра. В 1828—1829 гг. Шампольон вместе с Ипполито Розеллини предпринял экспедицию в долину Нила, результатом которой стали, в частности, «Письма из Египта и Нубии, написанные в 1828 и 1829 гг.» (1833) и «Памятники Египта и Нубии» (в 4-х т., 1835—1847). Эти работы, изданные старшим братом ученого, Жак-Жозефом, после ранней кончины младшего, внимательно изучал Т. Готье, вдохновляясь описаниями древностей, срисовывая некоторые изображения (они сохранились в рукописи романа) и заимствуя некоторые детали (например, имя главной героини).

[8] *Розеллини* Ипполито (1800—1843) — первый итальянский египтолог; вместе с Шампольоном участвовал в Египетской экспедиции (1828—1829 гг.), в результате издал на итальянском языке многотомные «Памятники Египта и Нубии» (1832—1843) с прекрасными цветными иллюстрациями.

[9] *Уилкинсон* Джон Гарднер (1797—1875) — английский ученый, путешественник, египтолог; иногда его называют основателем британской египтологической школы. В результате неоднократных и продолжительных (в целом не менее 15 лет) странствований по долине Нила он описал многие памятники (например, ему при-

надлежат первые планы Ахетатона и Фив, используемая и сейчас нумерация гробниц Долины царей, первые копии росписей гробниц Бени-Хасана, локализация Лабиринта в Хаваре). Самый знаменитый его труд — три объемных тома «Нравов и обычаев Древнего Египта» (1837–1841) — охватывает не только повседневную жизнь и быт египтян, но и многие другие сферы их культуры, являясь, по сути, первой полноценной работой на эту тему.

[10] *Лепсиус* Карл Рихард (1810–1884) — немецкий египтолог, работа которого завершила дешифровку Ж.-Ф. Шампольона (см. примеч. 7); создатель хронологии египетской истории. Благодаря помощи близкого к прусскому двору А. фон Гумбольдта, возглавил в 1842–1845 гг. прекрасно подготовленную прусскую экспедицию в Египет, где совершил множество археологических открытий. Результатом стал 12-томный труд «Памятники из Египта и Эфиопии» (1849–1913), содержавший около 900 египетских надписей с комментариями, планами, картами, рисунками. Для Лепсиуса в 1846 г. была создана кафедра египтологии в Берлинском университете, первая в Германии, поэтому он может считаться одним из основателей знаменитой берлинской школы, занимавшей ведущее место в мировой науке на рубеже XIX–XX вв. Кроме того, он много сделал для Египетского музея в Берлине (из Египта было привезено около 15 000 памятников). См. также примеч. 13.

[11] *Бельцони* Джованни Баттиста (1778–1823) — итальянский путешественник и исследователь Египта. Среди его открытий — погребальная камера пирамиды Хефрена в Гизе, три царские гробницы в Фиванском некрополе (в том числе Сети I, росписи которой он скопировал для выставок в Лондоне и Париже в 1821 г. и откуда вывез великолепный алебастровый саркофаг для музея Дж. Соуна; с западного берега Фив он привез также часть колоссальной статуи Рамсеса II для Британского музея), вход в скальный храм в Абу-Симбеле, античный город Береника на побережье Красного моря; также он посетил и описал оазисы Ливийской пустыни. Хотя его нельзя назвать ни высокообразованным автором, ни египтологом, вклад Бельцони в историю науки несомненен, а его книга «Описание деяний и последних открытий в пирамидах, храмах, гробницах и при раскопках в Египте и Нубии» (1820) пользовалась популярностью и переиздавалась в Европе.

[12] *Ивендэйл* (Evendale) — имя героя знаменитого романа Вальтера Скотта «Пуритане» (1816), которое в переводе на русский язык было передано как Эвендел (см.: *Скотт В.* Пуритане. *Пер. А.С. Бобовича*). Кроме того, 6 сентября 1853 г. Готье опубликовал в «La Presse» рецензию на комическую оперу Скриба и Сен-Жоржа на музыку Алеви «Набоб», действие которой происходит в Индии и главный герой которой — скучающий миллионер — носит имя лорда Ивендэйла.

[13] *Румфиус.* — Готье выбрал для своего героя латинизированное имя немецкого ботаника Румфа (см. примеч. 5 к гл. IV «Фортунио»). Некоторые исследователи видят в фигуре Румфиуса злую карикатуру на великого немецкого египтолога Карла Рихарда Лепсиуса (см. примеч. 10), хотя материалы прусской экспедиции 1842–1845 гг. не дают такого повода — она была финансирована Фридрихом-Вильгельмом IV и Лепсиус не сопровождал в ней никакого богатого мецената. По возрасту и внешне — даже в преклонные годы Лепсиус благородно красив — он совсем не соответствует Румфиусу. Возможно, Готье видел датированный 29 сентября 1844 г. карикатурный рисунок Фр. Георги, изображающий прусскую экспедицию в Асуане: на переднем плане чрезвычайно сутулый, в очках и поэтому

производящий впечатление пожилого человека Лепсиус едет на осле, которого погоняет негритенок, а рядом другой член экспедиции гарцует на муле, коего можно было бы принять за арабского скакуна, если бы не слишком длинные уши. Полевые дневники Лепсиуса поразительны: очевидна одаренность и образованность тридцатилетнего ученого, точность и аккуратность его пера (хранятся в архиве Берлинско-Бранденбургской академии наук (ранее — Прусская академия наук)). Первые тома его «Памятников» успели увидеть свет до выхода книги Готье и очевидно превосходили качеством французские описания, что вызывало определенную ревность: французы любили пошутить, что для пользования немецкими томами необходимы два солдата и ефрейтор (оригинальное издание вышло в огромном формате, так что шутка справедлива). В XVII–XVIII вв. немецкие ученые часто латинизировали свои фамилии, добавляя окончание «ус», так как писали свои труды на латыни (отсюда фамилии «Лепсиус», Румфиус), но Лепсиус публиковал свои работы уже на немецком.

[14] *Феллах* (а р а б.) — букв.: земледелец, крестьянин.

[15] *Фелука.* — Ср. в оригинале: cange — слово, обозначающее легкую парусную лодку (длиной 16–20 м), используемую на Ниле.

[16] *...пересекли реку... и направились к безводным холмам...* — Имеется в виду Ливийское нагорье — невысокое пустынное плато, возвышающееся на западном берегу Нила.

[17] *Лорд Ивендэйл был... из... безупречных... мужчин, которыми цивилизованное общество обязано... британскому воспитанию...* — По описанию в этом и следующем абзаце лорд Ивендэйл — типичный денди. См также примеч. 2 к гл. XV «Фортунио».

[18] *Книга пэров и баронов.* — См. примеч. 6 к гл. III «Аватары».

[19] *...лицо лорда походило на восковую копию с Мелеагра или Антиноя...*— Этими сравнениями подчеркивается классическая красота лорда Ивендэйла. Мелеагр — в греческой мифологии сын калидонского царя, один из аргонавтов, сразивший калидонского вепря. Существует множество мраморных статуй и барельефов с его изображением, являющихся копиями с греческой статуи IV в. до н. э. и представляющих Мелеагра красивым и томным юношей. Калидонская охота и сюжет с Мелеагром и его возлюбленной Аталантой вдохновляли Рубенса и Пуссена. Антиной — любимец императора Адриана, утонувший в Ниле в 130 г. В память о нем был основан город Антинополь, изваяны статуи (голова Антиноя хранится и в коллекции Государственного Эрмитажа) и отчеканены монеты (Антиной изображается прекрасным юношей, часто с атрибутами Диониса, который в Египте отождествлялся с Осирисом (см. примеч. 3 к Прологу), возможно, в надежде на его воскресение (Адриан был весьма увлечен культурой Египта, как показывают памятники его виллы в Тиволи). См. также примеч. 60 к гл. I «Фортунио».

[20] *Яхт-клуб.* — Скорее всего, Готье имеет в виду самый аристократический и самый старый из яхт-клубов — основанный в 1815 г. и располагающийся на острове Уайт: «Royal Yacht Squadron».

[21] *...на... легком судне под названием «Пак»...* — Пак — дух-проказник, персонаж комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». У Шекспира Пак наделен необычайной скоростью перемещения.

[22] *...на александрийском рейде...*— Александрия — египетский порт на Средиземном море, основанный в 332 г. до н. э. Александром Македонским, столица страны при династии Птолемеев (323—30 гг. до н. э.), быстро ставшая важным торговым и культурным центром древнего мира (знаменита, в частности, библиотекой и маяком). В XIX в. при Мухаммаде Али Александрия была соединена каналом с Нилом, что превратило город в крупнейший порт Египта.

[23] *...доктора Румфиуса — ученого, врача, натуралиста и фотографа.* — Здесь, возможно, тоже есть намек на Лепсиуса, изучавшего технику гравюры на меди и литографию, что очень пригодилось при публикации материалов прусской экспедиции (см. примеч. 10, 13). В 1839 г. французский театральный художник Луи-Жак Манде Дагерр (1787—1851) разработал первый практически пригодный способ фотографирования — дагерротипию. Дагерротипы можно было воспроизводить только повторным фотографированием. Дагерротипию очень скоро взяли на вооружение путешественники: Максим Дюкан, сопровождавший Г. Флобера в 1849 г., опубликовал в 1852 г. альбом фотографий «Египет, Нубия, Палестина и Сирия», а в 1854 г., после очередного путешествия — альбом «Нил», посвященный Теофилю Готье. Слово «фотография» (*греч.* — светопись) придумал английский астроном Джон Фредерик Уильям Гершель (1792—1871), который впервые употребил его в докладе «Заметки об искусстве фотографии, или Применение световых лучей в целях получения изображений», представленном Королевскому обществу 14 марта 1839 г.

[24] *Кембриджский университет* — один из самых старых (основан в 1209 г.) и самых престижных английских университетов. Расположен в г. Кембридже, в 80 км от Лондона.

[25] *Рамсгит.* — См. примеч. 7 к гл. II «Двое на двое».

[26] *Вест-Энд.* — См. примеч. 1 к гл. IV «Двое на двое».

[27] *...панамская шляпа с газовой вуалью.* — Имеется в виду дорогая шляпа (которая называется также просто «панамой») ручной работы из мягкого волокна, производимого главным образом в Эквадоре, с сеткой для защиты от укусов насекомых. Получила свое название из-за того, что завозилась в другие страны через город Панаму.

[28] *Ибис* — один из видов ибисов, распространенный в Северной Африке, а именно священный ибис (Threckiornis aethiopicus). У этой птицы голова, клюв, длинная, изогнутая шея и голенастые ноги — черные, а оперенье белое (концы крыльев — черные). Клюв длинный, изогнутый, серпообразный. В Древнем Египте ибис был священной птицей бога мудрости Тота и считался его земным воплощением. Тот изображался в виде ибиса, человека с головой ибиса или павиана. См. также примеч. 101.

[29] *Иероглифы* — священные, высеченные на камне письмена. Рисуночные по происхождению и форме, знаки египетской письменности могут обозначать целые понятия (смысловые знаки — идеограммы) или сочетания звуков речи (фонограммы). Древнеегипетская иероглифика, используемая для записи священных текстов, возникла на рубеже 4—3-го тыс. до н. э. Последняя иероглифическая надпись на острове Филэ датируется 394 г.; египетские иероглифы «молчали» до открытия Ж.-Ф. Шампольона, дешифровавшего их в 1822 г. См. также примеч. 69.

[30] *Картуш* (фр.) — рамка в форме овала, внутрь которой вписывались два из пяти царских имени: данное при рождении и тронное. Рамка, что хорошо видно на ранних памятниках, изображает веревочную петлю — оберег имени царя. Картуши сыграли важную роль в дешифровке иероглифов — французский востоковед Жозеф де Гинь верно предположил, что внутрь них заключали имена царей (так, сначала Шампольон прочел имена Птолемея и Клеопатры в надписях на Розеттском камне и лондонском обелиске, а потом — Рамсеса и Тутмоса в привезенных ему копиях надписи из храма в Абу-Симбеле).

[31] *...бог... сошел с надгробных фресок...* — В действительности с техникой фрески (т. е. росписи по сырой штукатурке) египтяне не были знакомы, она была изобретена в Италии в XIII в. Изображения, которые будут подробно описаны ниже, представляют собой росписи по сухой штукатурке или высеченные в известняке и раскрашенные яркими красками рельефы (фигуры и иероглифы).

[32] *...бог с головой ибиса... переселился в тело ученого.* — Представление о том, что после смерти душа человека на протяжении трех тысяч лет воплощается в разных животных и птицах и только затем — снова в человеке, Геродот приписывает древним египтянам, полагая, что от них оно было заимствовано греками (см.: *Геродот.* История. II. 123). Бог с головой ибиса — покровитель писцов Тот (см. примеч. 28).

[33] *Это был грек, который занимался раскопками захоронений, торговал своими находками...* — Грек — торговец, англичанин — лорд, немец — ученый — весьма распространенные и типичные литературные персонажи. Французская энциклопедия Ларусса 1928 г. в статье, посвященной грекам, утверждала: «Греки выказывают большие способности к торговле и спокойно переселяются в чужие края». В Египте XIX в. разгорелась настоящая «антикварная лихорадка», причем очень активно проявили себя греки: Дж. Анастаси, Дж. Антониадис и особенно Дж. д'Атанаси (Иоанн Афанасиу; 1798–1854), известный всем путешествовавшим по долине Нила под именем Янни и часто упоминаемый в дневниках и заметках европейцев с 1817 по 1835 г. Сначала на протяжении десяти лет он копал в Фивах для английского генерального консула Г. Солта, потом работал на себя и другого британского консула, жил на западном берегу в деревне Курна, расположенной прямо над гробницами знати. Все это очень похоже на героя Т. Готье, Аргиропулоса. Правда, автор поселяет его прямо в гробнице, что тоже случалось еще с коптскими отшельниками в римское время и с бедняками во все прочие эпохи (известно также, что, изучая Гизу, в скальной гробнице жил один из основателей научной археологии в Египте, В.-М. Флиндерс Питри (1853–1942). Исследователи, специально занимавшиеся этим вопросом, видят прототип оборотистого грека в Георге Триантафиллосе, по прозвищу Уарди (ум. 1852), который делил дом в Курне с д'Атанаси (известно точное место их жилища — над гробницей № 52) и в отсутствие последнего занимался его сделками. Он жил в Луксоре, по крайней мере, с 1824 г. и тоже упоминается многими путешественниками. Поселение Курна и сейчас существует, несмотря на попытки правительства перенести его в другое место. Население — потомственные «черные археологи» — цепко держатся за свой традиционный бизнес и по-прежнему занимаются продажей поделок «под древность». Часто выходцы из Курны работают бригадирами в археологических экспедициях. Самое знаменитое открытие, связанное с жителями поселка, — находка братьями Абд эль-Расулами в 1871 г. тайника с мумиями великих фараонов в Дейр эль-Бахри (в тече-

ние 10 лет они потихоньку торговали находками, пока Служба древностей не раскрыла их тайну). Сейчас мумии хранятся в специальном зале Египетского музея в Каире.

[34] *Феска* — головной убор, заимствованный египтянами у турок, которые с 1517 по 1798 г. (захват страны французскими войсками Наполеона) властвовали в Египте.

[35] *Сутаж.* — См. примеч. 19 к гл. II «Милитоны».

[36] *Кнемиды.* — См. примеч. 27 к гл. I «Царя Кандавла».

[37] *...не удовольствуется... статуэтками, покрытыми... глазурью...* — Египтяне уже в 5-м тыс. до н. э. вырезали бусины из стеатита и покрывали их тонкой стеклянной глазурью, чаще всего бирюзового цвета. Столь же рано они научились производить изделия из так называемого «египетского фаянса» — глазурованной кварцевой фритты (вероятно, первый в мире материал, синтезированный человеком). В погребениях часто находят глазурованные амулеты (в том числе скарабеев) и статуэтки-ушебти, которые должны были работать за покойного на том свете.

[38] *Скарабей* — жук, считавшийся священным в Древнем Египте как олицетворение бога восходящего солнца Хепри. Навозный шарик, катимый скарабеем, ассоциировался у египтян с солнцем, а появление из заложенных в шарик личинок молодых особей являлось символом самозарождения, что было подобно ежедневному возрождению светила. Скарабеи из камня (чаще всего из стеатита, иногда — из драгоценного, напр., аметиста) и глазурованного фаянса служили печатями и одновременно амулетами (иероглифы вырезали на плоском брюшке жука). Мумиям на грудь клали большого «сердечного» скарабея, на котором писали молитву к сердцу, прося его не свидетельствовать против покойного на суде Осириса (см. примеч. 3). Подобные сувениры — копии древних статуэток и скарабеев, порой высокого качества — и сейчас можно купить в Египте, особенно в Луксоре.

[39] *Аргиропулос* — производное от *греч.* «аргир» — серебро, деньги и «пулос» — распространенное окончание греческих фамилий, означающее «сын».

[40] *Сиринга* — См. примеч. 19 к гл. XIII «Двое на двое».

[41] *...в портах Леванта...* — Этим термином обозначали цепочку средиземноморских торговых портов, через которые проходил путь из Европы на Восток, и в том числе египетские порты Александрию, Каир, Розетту и Дамьетту.

[42] *...прибегать к услугам драгоманов-полиглотов...* — Первоначально так назывались переводчики, обслуживавшие дипломатические переговоры султанов с представителями западных держав, затем этим термином стали называть всех переводчиков с восточных языков. Торговцы в Египте и сейчас демонстрируют фантастические способности к иностранным языкам — многие из них могут изъясняться на основных европейских языках и уже научились нескольким русским фразам.

[43] *Курбаши* (перс.) — плетка.

[44] *Бакшиш* (перс.) — вознаграждение. И сейчас это слово «царствует» в египетском диалекте арабского языка.

[45] *Сфинкс* — в Древнем Египте мифическое существо с телом льва и головой человека. Известны многочисленные изображения сфинксов (статуи, рельефы, рисунки) с начала Древнего царства. В большинстве случаев — это изображения царя, почему древнегреческое слово женского рода «сфинкс» в египтологии ис-

пользуется в мужском роде. Самый известный — великий Сфинкс в Гизе (IV династия). В эпоху Нового царства сфинксов не столь огромных, но в большом количестве, устанавливали по обеим сторонам дорог процессий, ведущих в храмы («аллеи сфинксов»). Для Фив характерны криосфинксы бога Амона — с головой барана и телом льва. Пара чудесных гранитных сфинксов Аменхотепа III была куплена Россией и с 1832 г. украшает набережную Невы у Академии художеств в Санкт-Петербурге.

[46] *Наос* (греч. — храм, жилище божества) — центральная часть храма со статуей божества, ковчег, божница в виде архаического святилища с двустворчатой дверью для культового изображения; как правило, изготовлялся из дерева или песчаника и устанавливался в храме.

[47] *Фараон.* — Термин восходит к древнеегипетскому выражению «пер-аа» — «великий дом», которое с древнейших времен означало царский дворец с его обитателями, т. е. царский двор. С XVIII династии, примерно с XVI в. до н. э., термин стал применяться по отношению к самому царю и позднее стал титулом правителя. Точно так же мы говорим «Кремль», подразумевая президента, или «Белый дом», подразумевая правительство.

[48] *Колхиты* (точнее хоахиты) — греческое название древнеегипетских жрецов, отправлявших заупокойный культ.

[49] *Парасхиты* (греч.) — древнеегипетские бальзамировщики, осуществлявшие собственно бальзамирование трупов и внутренностей, а также пеленание мумий.

[50] *Тарисхевты* (греч.) — древнеегипетские бальзамировщики, вскрывавшие трупы кремниевыми ножами и извлекавшие внутренности умерших.

[51] *Мемнония* — район некрополей на западном берегу Фив; в настоящее время название используется редко (обычно просто: «западный берег»). Название происходит от расположенного здесь Мемнониума, как называли в начале XIX в. поминальный храм Рамсеса II (сейчас — Рамессеум). Именно отсюда Дж. Бельцони вывез верхнюю часть колосса Рамсеса II, прозванную «молодым Мемноном» и украшающую сейчас Британский музей. Древние греки считали колоссы, стоящие перед пилонами поминального храма Аменхотепа III, изображениями убитого под Троей героя Мемнона. Статуи высотой 18 м, изображающие царя на троне, поражали путешественников не только размерами. Дело в том, что северная из них издавала на рассвете печальные звуки — как будто герой жаловался своей матери, богине зари Эос, на свою горькую судьбу. Причина странных звуков заключалась в трещинах, где конденсировалась ночью влага, начинавшая испаряться от быстрого нагрева камня солнечными лучами; когда по приказу римского императора Септимия Севера в 199 г. статую отреставрировали, «пение» прекратилось.

[52] *Капитул* — коллегия священников (каноников), состоящих при епископе или кафедральном соборе в Католической или Англиканской церкви. Здесь: совещание, совет.

[53] *Гинея.* — См. примеч. 2 к гл. I «Двое на двое».

[54] *...может, она скрывает золотые слитки, бриллиантовые и жемчужные ожерелья, серьги с карбункулами, печатки с сапфиром, древние статуэтки из драгоценных металлов, монеты! ~ никто ничего подобного в египетских захоронениях не находит.* — Аргиропулос, определяясь с «ценой вопроса», явно проверяет степень осведомленности путешественников, но доктор Румфиус с блеском проходит испытание:

действительно, ничего подобного в египетских захоронениях никогда не находили, за исключением статуэток из драгоценных металлов, но в сер. XIX в. такие находки еще не были известны. В 1859 г. О. Мариет найдет в одном из фиванских некрополей, Дра Абу эль-Нега, погребение царицы начала XVIII династии Яххотеп с драгоценным церемониальным оружием, наградным ожерельем (как полагают, своеобразный орден за дипломатические заслуги в деле освобождения страны от гиксосов), а также моделями лодок с гребцами из золота и серебра. В 1894 г. другому французскому археологу, Ж. де Моргану, археологическая судьба «пошлет» при раскопках в Дахшуре изящные золотые украшения царевен эпохи Среднего царства. В начале XX в. счастье улыбнется англичанам. В 1905 г. Дж. Квибелл обнаружил в Долине царей почти не тронутое грабителями захоронение родителей супруги Аменхотепа III, царицы Тэйе. Эту прекрасную находку затмило открытие Г. Картером гробницы фараона Тутанхамона в 1922 г., признаваемое и сейчас непревзойденным достижением египетской археологии. Памятники скромной по размерам и оформлению царской усыпальницы занимают четверть экспозиции большого Египетского музея в Каире. Однако все эти сокровищницы не содержали ни золотых слитков, ни бриллиантов, ни жемчуга, ни монет.

[55] *...если... хоть одна песчинка сдвинута с места ломом изыскателя.* — Металлические ломы использовались археологами в качестве рычагов для вскрытия саркофагов или поднятия тяжелых камней.

[56] *...с пирроновским сомнением...* — Выражение происходит от имени древнегреческого философа Пиррона из Элиды (ок. 360—270 гг. до н. э.), основателя школы скептицизма, отрицавшего возможность достоверного познания мира и требовавшего все подвергать сомнению.

[57] *Индиго* — краситель темно-синего цвета, известный с глубокой древности. См. примеч. 4 к гл. XVI «Двое на двое».

[58] *«Лгут критяне».* — В последние века до н. э. критяне пиратствовали, отчего пользовались в Средиземноморье дурной славой наряду с каппадокийцами, киликийцами и карийцами. Известен также силлогизм Эпименида: «Все критяне — лжецы. Эпименид — критянин, следовательно, Эпименид — лжец». Выражение встречается у апостола Павла (см.: Тит. 1: 12).

[59] *Воздушная перспектива* — в изобразительных искусствах метод передачи удаленности предметов на основе зрительного опыта, путем смягчения очертаний, ослабления детальности изображений, уменьшения яркости цвета и других изменений, вызванных воздействием расстояния и воздушной среды на предметы. Методы воздушной перспективы сложились в средневековой китайской пейзажной живописи, в Европе описаны и обоснованы в XVI в. Леонардо да Винчи, нашли последовательное выражение в голландском пейзаже 17-го столетия и, наконец, в живописи импрессионистов.

[60] *...солнечное божество с головой овна...* — изображение Атума, бога вечернего солнца (Ра считался дневным, а Хепри — утренним); согласно наиболее известной гелиопольской космогонии, Атум — демиург, возникший сам собой из хаоса (Нуна) и породивший первую пару богов (бога воздуха Шу и богиню влаги Тефнут, от союза которых произошли бог земли Геб и богиня неба Нут).

[61] *Нефтида* — согласно гелиопольской космогонии, считалась дочерью Геба и Нут, а следовательно, сестрой Осириса, Сетха (и его женой) и Исиды. Вместе с Иси-

дой Нефтида защищала, оплакивала и оживляла покойного, как некогда Осириса. Важна ее роль в качестве одной из четырех богинь—охранительниц саркофагов и каноп (сосудов для отдельно бальзамируемых внутренностей). Нефтида изображалась антропоморфно с иероглифом, обозначающим ее имя (букв.: Хозяйка усадьбы) — на голове, чаще всего в паре с Исидой. См. примеч. 113.

[62] *...в виде коровьих голов с кривыми, полумесяцем, рогами.* — Так изображалась богиня Хатхор (см. примеч. 16 к гл. I).

[63] *...накрыли сороку-воровку прямо в гнезде...* — Считается, что сорока тащит все, что ворует, в свое гнездо. Выражение означает то же, что «взять вора с поличным». Ученый выразился несколько фамильярно, поскольку на радостях забыл о приличиях.

[64] *Менефта Сети.* — Имя царя сейчас читают несколько иначе: Менмаатра Сети (или Сети I) — второй фараон XIX династии, правивший около 1290—1279 гг. до н. э.; его уже опустошенная ворами гробница была найдена Дж. Бельцони в Долине царей в 1817 г. Такое же жестокое разочарование ожидало итальянца в погребальной камере Хефрена, куда он с великими трудами проник первым из европейцев. Впрочем, красивый алебастровый саркофаг Сети Бельцони благополучно вывез из Египта, и теперь он украшает Музей Соуна в Лондоне.

[66] *...фигура бога с головой ястреба. Увенчанное пшентом божество держало крылатый шар.* — Речь идет о боге солнца Ра или его ипостаси Ра-Хорахти. Ра изображался в виде человека с головой сокола (а не ястреба, как ошибочно пишет Готье), увенчанной солнечным шаром с уреем (Готье также называет его мистическим или символическим шаром; солнечный шар, в литературе чаще обозначаемый термином «диск», сам по себе является образом Ра). Культ Ра стал общеегипетским в эпоху Древнего царства: с середины правления IV династии все цари в официальной титулатуре именовались «сыновьями Ра». Пшент (*древнеегип.* сэхэмти — Две Могучие, богини, олицетворяющие царские венцы) — двойная корона египетских фараонов, состоящая из белой короны Верхнего Египта и красной короны Нижнего Египта, объединенных около 3100 г. до н. э. В такой короне могли изображать также богов Хора и Атума. См. также примеч. 100.

[66] *...зажгли факелы...* — На рисунке, изображающем, как Дж. Бельцони входит в погребальный покой Хефрена, он показан держащим в руке именно факел. Шампольон, изучая подземные гробницы, использовал не факелы, а свечи и масляные лампы, так как в разреженном воздухе подземелий из-за дыма было бы невозможно дышать.

[67] *...цепочка... фигур, таких ярких и свежих красок, будто кисть художника расписала их только вчера...* — Сухой египетский климат обеспечивает удивительную сохранность памятников. К сожалению, люди не всегда внимательны к ним. В настоящее время в открытых для посещения гробницах Долины царей краски блекнут и могут быть утрачены из-за нескончаемого потока туристов (даже если они не касаются стен, их дыхание увлажняет воздух). Кроме того, опасность для памятников представляет подъем уровня грунтовых вод, связанный с хозяйственной деятельностью человека.

[68] *...сверху вниз... были нанесены иероглифы...* — В египетском письме знаки могут располагаться как столбцами, в направлении сверху вниз, так и строчками справа налево и слева направо.

[69] *Свободные от иератических знаков места...* — Иератическое письмо, иератика (*греч.* — жреческий) — обозначение одного из видов древнеегипетского письма (скоропись). Возникло наряду с иероглифическим письмом в кон. 4-го тыс. до н. э. как курсив, в дальнейшем они развивались параллельно, влияя друг на друга, причем некоторые иератические знаки изменились столь сильно, что утратили сходство с исходными иероглифами. Иероглифическое письмо использовалось прежде всего для монументальных, вырезанных на камне надписей религиозного содержания. Для записи хозяйственных, литературных и научных текстов, писем и документов использовалась скоропись — иератика, причем писали черными и красными чернилами на папирусе, коже, фрагментах керамики, плоских камнях (остракa). В 1-м тыс. до н. э. этим письмом стали записывать и религиозные тексты (отсюда греческое название этого вида письма). С VII в. до н. э. иератика постепенно вытесняется развившимся на ее основе демотическим письмом. В данном контексте Готье называет иероглифические знаки иератическими в значении «жреческие», т. е. «священные».

[70] *...изображения шакала, лежащего на животе, с вытянутыми лапами и поднятыми ушами...* — Так изображался Анубис, хранитель некрополей, покровитель и судья умерших, божество мумификации. Центр культа Анубиса — город Кинополь в XVII номе Верхнего Египта, однако почитали его по всей долине Нила. Его имя встречается во всех текстах, связанных с заупокойным культом. Согласно изображениям в Книге Мертвых, в маске Анубиса жрец совершал над мумией важные для вечной жизни ритуалы. Греки отождествляли его как проводника мертвых с Гермесом; образ Анубиса повлиял на иконографию христианского св. Христофора Псеглавца (в музее ростовского Кремля экспонируется примечательная русская икона первой половины XVII в. с этим образом).

[71] *...коленопреклоненной фигуры, увенчанной митрой ~ от двери, над которой две женщины... рукой поддерживали картуши...* — Митра — здесь: высокий головной убор, похожий на митру епископов. Как головной убор, так и поза изображенного указывают, что это Осирис; а две упомянутые женщины — это богини Исида и Нефтида (см. примеч. 61).

[72] *Фриз.* — См. примеч. 1 к гл. XVIII «Фортунио».

[73] *Символический змей* — кобра (см. также примеч. 100). В настенных композициях гробниц змеи изображаются часто, так как они должны были отпугивать все враждебные силы. Готье ошибочно называет этого змея гадюкой, впрочем, их египтяне тоже изображали (есть даже такой иероглиф: «рогатая гадюка»).

[74] *...футов на пятнадцать...* — То есть приблизительно на четыре с половиной метра (1 фут = 30,5 см).

[75] *Канджар* — узкий, слегка изогнутый албанский нож с крупной крестообразной рукояткой.

[76] *Ном* (г р е ч. — область, страна) — принятое в египтологии обозначение административной единицы, на которые примерно с III династии делился Египет. Обычно выделяют 22 верхнеегипетских и 20 нижнеегипетских номов, причем в каждом номе почиталось свое божество. Во главе нома стоял назначаемый царем чиновник — номарх.

[77] *Психостасия* (г р е ч.) — букв.: взвешивание души, хотя на изображениях суда мертвых египтяне показывали взвешивание сердца умершего как вместилища его

деяний. На одну чашу весов помещали сердце умершего, на другую — страусовое перо, символизирующее богиню истины и справедливости Маат. Если сердце перевешивало, то покойного пожирало чудовище с головой крокодила, лапами льва и бегемота (см. примеч. 1 к гл. VII) — и это была «вторая», окончательная, смерть. Праведного ожидали райские поля Осириса. См. также примеч. 3, 155—156 к Прологу и примеч. 2 к гл. VII.

[78] *Посох.* — Имеется в виду атрибут Осириса или фараона — скипетр, загибающийся сверху крючком (по происхождению посох пастуха); вторым непременным царским атрибутом, также пастушеским по генезису, является бич.

[79] *Аменти* (египт.) — букв.: Запад. Согласно верованиям древних египтян, на Западе, где заходит солнце, находится мир мертвых. Большинство некрополей также располагается на западном берегу Нила.

[80] *...в египетском искусстве часто представляют тело анфас, а голову — в профиль.* — Готье подчеркивает особенность египетского рисунка, который в одной фигуре объединял изображения анфас (глаза, точнее один глаз, туловище) и в профиль (голова, руки, ноги), чтобы добиться наиболее полного представления человеческого тела на плоской поверхности. Эта особенность связана с иероглифическим письмом (изображение и иероглифика в этой культуре неразделимы — одно «перетекает» в другое): все надо было изображать на плоскости максимально понятно, в наиболее характеризующей изображаемый предмет позиции, именно поэтому, например, глаз изображается анфас, а все лицо — в профиль.

[81] *Бари* — погребальная ритуальная ладья или носилки в виде ладьи, на которых в святая святых стояла статуя божества и на которых ее выносили жрецы в ходе священных праздничных ритуалов. Термин «бари» в современной египтологии почти не используется.

[82] *Апис* — священный бык у древних египтян, одно из главных и любимых божеств. Согласно Манефону, Апис почитался со времени правления II династии как бог плодородия, чей ритуальный бег оплодотворяет поля; его культ связан с царской властью. Быка, считавшегося воплощением Аписа, содержали в особом стойле и использовали в религиозных церемониях, а также в качестве оракула. После смерти его тело бальзамировали и торжественно хоронили в огромном гранитном саркофаге в катакомбах Серапеума, где О. Мариетом в 1851 г. было обнаружено 64 захоронения (см. примеч. 87). Изображения Аписа, несущего мумию на спине, сохранились на саркофагах.

[83] *Английский люк.* — Люки на английских кораблях были снабжены рамой с тонкими стальными краями, которые обеспечивали высокую степень их герметичности.

[84] *...для знакомства по всем правилам этикета... не хватает третьего лица...* — Согласно правилам строгого этикета, двум хорошо воспитанным людям для знакомства требуется быть представленным третьим лицом, а именно человеком, уже знакомым с ними обоими.

[85] *Погребальные статуэтки* (египт. ушебти) — небольшие фигурки, похожие на мумии, которые должны были работать за умершего в его загробной жизни. Многие фигурки были снабжены каким-либо инструментом. Если в эпоху Среднего царства считалось достаточно одной ушебти, то в эпоху Нового в специальных ларцах могла храниться 401 фигурка: по одной на каждый день и еще 36 надзира-

телей за остальными; в гробнице Сети I обнаружили семь сотен ушебти. Чаще всего их делали из египетского фаянса, а также из дерева, глины, воска, камня.

[86] *...пройдем в самую прекрасную и значительную залу, которую египтяне называли Золотой.* — Золотой залой египтяне называли помещение, где находился саркофаг и где царь как солнечное божество с сияющей золотом плотью ожидает своего возрождения.

[87] *Что же вырвало возглас ~ отпечаток человеческой ступни...* — Французский археолог Огюст Мариет (1821—1881) в 1851 г. нашел Серапеум (погребения священных быков-Аписов) в Саккаре и опубликовал в газетах статью об этом открытии, где, в частности, поведал о том, как он закричал, увидев на песке отпечаток человеческой ступни. О подобной находке при раскопках в Вади Аллаки рассказывал участник единственной советской археологической экспедиции 1961—1963 гг. в Египет Н.Я. Мерперт.

[88] *...покоится пропитанное смолой тело...* — Имеется в виду смола растительного происхождения, в частности, ливанского кедра, которая использовалась для бальзамирования трупов.

[89] *Прах Александра, быть может, служит затычкой пивной бочки, по словам Гамлета...* — См.: *Шекпир У.* Гамлет. Акт V, сц. 1. Ср. в пер. М. Лозинского: «На какую низменную потребу можем мы пойти, Горацио! Почему бы воображению не проследить благородный прах Александра, пока оно не найдет его затыкающим бочечную дыру?»

[90] *...как говорил Шекспир, колесо времени повернуло вспять...* — Существует множество переводов как на русский, так и на французский язык фразы из трагедии Шекспира «Гамлет»: «The time is out of joint...» (акт I, сц. 5). С данным у Готье текстом («La roue du temps était sortie de son ornière...») и контекстом согласуются следующие: «Порвалась дней связующая нить» (*пер. Б. Пастернака*) и «Порвалась цепь времен» *(пер. К. Р.)*.

[91] *Линкольншир* — графство на северо-востоке Англии.

[92] *Гайд-парк.* — См. примеч. 19 к гл. IX «Милитоны».

[93] *Пикадилли* — площадь и улица в Лондоне, район проживания знати.

[94] *Моисей* — согласно Библии, еврейский пророк, учитель и вождь, выведший свой народ из египетского плена и основавший Израиль (см.: Исх и Числ).

[95] *...царствует фараон...* — Фараон Готье не назван по имени так же, как фараон в Ветхом Завете.

[96] *...на нем нет головного убора с рифлеными лопастями...* — Готье таким образом описывает убор фараона — «платок» из, вероятно, сильно накрахмаленной льняной материи, обернутый вокруг головы таким образом, что уши оставались открытыми. Два конца платка спускались вниз на плечи царя, а третий свисал сзади, закрывая шею (как у Великого Сфинкса в Гизе или на маске Тутанхамона). Лопасти — см. примеч. 2 к гл. VII «Фортунио».

[97] *Велариум* (лат.) — тент, который защищал римлян от солнца в театрах и амфитеатрах.

[98] *Пальметта.* — См. примеч. 14 к гл. XII «Двое на двое».

[99] *...символический шар...* — образ бога солнца, всегда главного в египетском пантеоне; изображался обычно как шар (на плоскости рельефа — диск) с крыльями и двумя свисающими с него кобрами (уреями — см. примеч. 100).

[100] *Урей* — богиня Уаджет, изображение кобры в угрожающей боевой позе с раскрытым капюшоном, символ власти фараона. Обычно помещался спереди на короне или диадеме царей и цариц, а также некоторых богов. Змея должна была отпугивать и поражать враждебные царю силы.

[101] *Бабуин.* — Имеется в виду павиан бабуин или павиан собачьеголовый (Papio cynocephalus), священное животное бога Тота наряду с ибисом. См. также примеч. 28.

[102] *Катафалк* — помост, на который помещали гроб с мумией по время похорон. Этот помост ставили на повозку, запряженную быками.

[103] *Другие персонажи подносили загробным духам... бутоны лотосов...* — Лотос — египетский символ возрождения: с восходом солнца бутоны поднимаются из воды и раскрываются, а вечером опять уходят под воду. Согласно мифологии, на поднявшемся из водного хаоса лотосе появляется солнечное божество (Ра, Хор). Богини часто изображаются с лотосом в руках. Образ лотоса — один из самых частотных в древнеегипетском искусстве: узоры на стенах и бытовых предметах, глазурованные чаши в форме цветка, колонны в виде связок лотосов. Живые цветы украшали храмы, дома и их обитателей, а также мертвых (гирлянда на мумии Тутанхамона).

[104] *...кувшины с напитками.* — Египетские кувшины имели разнообразные формы и могли быть снабжены носиком, двумя ручками и крышкой; в коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина есть красивые расписные амфоры из долины Нила.

[105] *...египетского искусства, стесненного жреческим уставом...* — Египетский рисунок действительно подчинялся строгим правилам, соответствующим культуре с иероглифической письменностью. Фигура человека разворачивалась на плоскости рельефа таким образом, чтобы мы видели наиболее характерные его черты. См. также примеч. 80.

[106] *Саркофаг* — в египтологии каменный гроб, в который помещали один (или несколько — один в другой, как у Тутанхамона: накрытый великолепной золотой маской, он покоился в трех антропоидных гробах, кварцитовом саркофаге и еще сверху в трех прямоугольных деревянных ящиках-футлярах, покрытых листовым золотом).

[107] *Монолит.* — Готье подчеркивает, что саркофаг был вырезан из цельного куска базальта, что действительно встречается, особенно в ранние и поздние эпохи.

[108] *Инталия* — то же, что впалый рельеф, т. е. резной камень (часто драгоценный или полудрагоценный) с углубленным в нем изображением; противоположность камеи, имеющей выпуклое изображение.

[109] *...египтяне не знали железа...* — До 1-го тыс. до н. э. египтяне не изготовляли оружия и орудий из железа (железный кинжал из гробницы Тутанхамона — импортный); если говорить о металлах, то в 3-м тыс. до н. э. они пользовались в основном медными орудиями, во 2-м тыс. до н. э. — бронзовыми, и только примерно с VIII–VII вв. до н. э. железо становится обычным в обиходе. Однако каменные орудия оставались в ходу; египтяне издавна научились обрабатывать твердые породы камня, как показывают диоритовые вазы из царских погребений первых династий.

[110] *Порфир.* — См. примеч. 3 к гл. XIII «Фортунио».

[111] *Стиль* (стило) — в античной культуре бронзовый стержень, заостренным концом которого писали на покрытых воском дощечках; противоположным плоским концом ненужный текст стирали.

[112] *Восточный алебастр* — кальцит (кристаллическая форма карбоната кальция) белого или желтовато-белого цвета, часто имеющий пластинчатое строение и полупрозрачный в тонких срезах. Использовался для отделки внутренних помещений, особенно святилищ (например, алебастровый пол в припирамидном храме Хефрена в Гизе), а также для изготовления саркофагов (именно таков саркофаг Сети I, вывезенный Бельцони), каноп, статуй, ларцев, столов для жертвоприношений и особенно часто сосудов (прекрасная коллекция алебастровых предметов выставлена среди сокровищ Тутанхамона в Каирском музее).

[113] *...изваяния человеческой головы Амсета, павианьей — Хапи, шакальей — Сумаутфа и ястребиной — Кебсбнифа* (точнее Имсети, Хапи, Дуамутеф и Кебехсенуф). — Божества четырех сторон света, считавшиеся сыновьями бога Хора, охранители каноп — сосудов с забальзамированными внутренностями покойного. Изображались антропоморфно с головами человека (Имсети, охранял печень), бабуина (Хапи, «отвечал» за легкие), шакала (Дуамутеф — за желудок) и сокола (Кебехсенуф — за кишки). Сыновей Хора и саркофаг, в свою очередь, защищали Исида, Нефтида, Нейт и Селкет (прекрасные золотые статуэтки богинь стоят по сторонам ларца для каноп Тутанхамона).

[114] *Наос* — здесь: надстройка с плоской крышей или навес на палубе древнеегипетских ладей. См. также примеч. 46.

[115] *...глаза Осириса, удлиненные сурьмой.* — Такие «защищающие» от всех напастей глаза на носу лодки и сейчас можно увидеть не только в Египте, но и в других странах Средиземноморья, например, в Греции. Подводка глаз широко использовалась в древнеегипетской косметике для защиты глаз от пыли как у мужчин, так и у женщин; на изображениях богов и людей всегда показаны именно подведенные глаза. В качестве подводки египтяне использовали малахит (зеленая медная руда) и свинцовый блеск (темно-серая свинцовая руда), постепенно вытеснивший более древний материал.

[116] *Британский музей* — музей в Лондоне, основанный в 1753 г. Располагает обширным собранием произведений искусства цивилизаций древнего мира. До создания в Египте французом О. Мариетом (1821—1881) Службы древностей и музея, первого национального музея на Востоке (1858—1863 гг.), археологические находки чаще всего продавались в Европу, и так начали формироваться отделы древневосточного искусства. Основой Лувра стали ассирийские памятники, найденные П.-Э. Ботта в древнем Дур-Шарукине (раскопки 1843 г.), Британского музея — находки Г.-О. Лэйярда в Ниневии (1847 г.). Ядром отдела египетских памятников Британского музея стала в 1753 г. коллекция знаменитого собирателя и большого оригинала, врача по профессии, сэра Ханса Слоуна, насчитывавшая 250 предметов — статуэток, ушебти, бронзовых и глиняных изделий, скарабеев. Эта коллекция увеличивалась за счет покупок и даров других собирателей. Еще древнее история Берлинского Египетского музея — она началась в 1698 г. покупкой Фридрихом III собрания Дж.-П. Беллори. Несмотря на принципиальность Мариета, Лувр во второй пол. XIX в. обогатился 7000 египетских памятников. Однако заслуги его перед Египтом неоспоримы, его удостоили титула паши и похоронили рядом с

созданным им музеем (на могиле — подлинный каменный саркофаг и статуя ученого). См. также примеч. 87.

[117] *Это женщина! — воскликнул он, определив пол мумии по... отсутствию бородки Осириса.* — Гробы этого периода имели антропоморфную форму (запеленутой мумии), при этом атрибут божества (прежде всего Осириса) — бородка — был уже не только исключительно у царей. В этой связи примечательно, что женщина-фараон Хатшепсут изображалась иногда с привязанной бородкой именно в силу своего статуса царя (тесемки, которыми бородку крепили, хорошо видны на щеках скульптурного портрета).

[118] *Сен-Дени* — базилика в аббатстве Сен-Дени, располагавшаяся во времена Готье в северном пригороде Парижа (ныне это часть Парижа). До Французской революции служила усыпальницей французских королей, членов их семей и особо отличившихся военачальников. Во время революции останки погребенных были уничтожены.

[119] *Некрополь цариц* — так называемая Долина цариц (*араб.* Бибан эль-Харим — Врата жен), место захоронения царских жен и их детей эпохи XIX и XX династий (некоторые царицы XVIII династии похоронены в Долине царей). Усыпальницы цариц действительно меньше, чем у их супругов, но, по общему мнению, самые красивые росписи были исполнены для Нефертари, жены Рамсеса II. В Древнем Египте женщины занимали в обществе более почетное положение, чем, например, даже гречанки в Афинах эпохи расцвета демократии. Для царицы Хатшепсут планировалась гробница в Долине цариц, но, когда она стала царем, пришлось устраивать ее погребение в Долине царей. Прототип героини Готье, царица Таусерт (ее имя в форме «Таосер» писатель упомянет чуть ниже), тоже была погребена в Долине царей в соответствии со своим статусом владыки Обеих земель, о чем писатель знал из работы Ж.-Ф. Шампольона. Длина гробницы Таусерт, вырубленной в скальной породе, тоже царская — 110 м (женские значительно короче); а вот ее план представляет нечто среднее между мужским и женским типом. Первый колонный зал был декорирован, еще когда Таусерт была только супругой царя. Дальше характер росписей меняется, но судить о трансформации образа царицы в царя очень сложно, ибо гробница была узурпирована первым царем следующей, XX династии Сетнахтом, приказавшим уничтожить изображения предшественницы.

[120] *...ни единая форма не выступала у этого Гермеса, заключенного в... кокон...* — Готье намекает на греческие статуи бога Гермеса, так называемые «гермы», первоначально представлявшие собой столб с бородатой головой наверху.

[121] *...губы, приоткрывшиеся в... улыбке сфинкса...* — Здесь слово «сфинкс» употребляется не в прямом, а в метафорическом смысле, так как имеется в виду чудовище из греческих мифов Сфинкс (Сфинга) с невозмутимым и таинственным лицом, грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Египетских сфинксов (см. примеч. 45) и древнегреческую Сфинкс иногда путают (хотя египетские, за редким исключением, мужского рода). Так, на аллегорической картине Гюстава Доре «Загадка» (1871), сюжет которой основан на греческом мифе о Сфинксе и Эдипе, изображен сфинкс египетский.

[122] *Погребальный флакон* — конический предмет, встречающийся на гробах. Считается, что это сосуд для ароматических масел, которыми душились волосы или парики.

[123] *Фре* (или Пре) — устаревшая транскрипция имени бога Ра.

[124] *...таинственный тау.* — Имеется в виду иероглиф «анх», означающий «жизнь» и внешне похожий на крест с петлей, а не черточкой наверху. Очень часто его держат в руках божества именно за эту петлю, почему он становится похож на греческую букву τ («тау») (на самом деле знак «анх» отличается от «тау» именно петлей). Некоторые коптские церкви сейчас увенчаны этим символом вместо креста.

[125] *Стиль рисунков, смелость штриха... указывали... на их... принадлежность к периоду расцвета египетского искусства.* — Ж.-Ф. Шампольон и многие современные египтологи считают, что египетское искусство достигло своих вершин в эпоху XVIII династии, то есть за 1500 лет до н. э.

[126] *Когда лорд и ученый... насмотрелись на первый гроб, из ящика вынули его крышку...* — О серии гробов, вставляемых один в другой, см. примеч. 106. Через десять лет после написания «Романа о мумии», на Всемирной выставке 1867 г. («среди всех механизмов современной цивилизации») Готье своими глазами наблюдал процесс «распеленания» мумии. Примечательно, что это была именно женская мумия примерно той же эпохи. Писателя поразила масса заполнивших помещение «бесконечных» пелен (мумия как бы «исполняла пируэты в руках разворачивающего»); он отметил золотые амулеты, оказавшиеся между ними (священный сокол на груди), и «неожиданную и трогательно изящную деталь» — под мышками женщины находились два крупных цветка... Ни один из присутствовавших не смог их определить, но Готье заворожили эти цветы — «мертвые три тысячи лет, такие хрупкие и такие теперь вечные». «От мертвого лица исходил светлый блеск», и писателю показалось, что она с пренебрежением смотрит на вертящихся вокруг людей. Тонкие, шелковые, мягкие волосы в локонах имели золотисто-каштановый оттенок — вероятно, от бальзамирующих веществ (см.: The works of Théophile Gautier. Vol. 5. P 299—307. URL: www.gutenberg.org./files27724/27724=h/27724=h.htm (дата обращения: 17.04.2010)).

[127] *Стек* — тонкая палочка с ременной петлей на конце, применяемая как хлыст в верховой езде; являлась неотъемлемым атрибутом денди.

[128] *...гроб развалился надвое....* — Имеется в виду внутренний гроб (т. е. мумия Таосер лежала в трех гробах — см. примеч. 106) или, скорее, картонаж (изготовлялся из склеенных вместе слоев льняного холста, покрытого гипсом и раскрашенного). Картонаж нельзя было раскрыть, не сломав.

[129] *Кедровая живица* — смола, выделяющаяся при надрезе кедра. Используется для получения ароматических веществ, канифоли и скипидара.

[130] *Сандаловый порошок* — порошок из древесины сандала — вечнозеленого дерева с ароматной древесиной. В Египет завозился из Индии.

[131] *Мирра* — ароматическая смола, получаемая из тропических деревьев семейства бурзеровых, произрастающих, в частности, в Южной Аравии и Сомали; возможно, поэтому эту территорию египтяне называли «Страна бога» (благоухание — одна из характеристик божества) и снаряжали туда экспедиции.

[132] *Коричник* — род деревьев и кустарников семейства лавровых, включающий коричное дерево, из коры которого получают корицу, и камфорное дерево, а из листьев — натуральную камфору. Сходная гамма запахов фиксируется в заметках людей, изучавших мумии, правда, возможно, пряности использовались не для соб-

ственно бальзамирования, а с целью отдушки уже после бальзамирования. О применении этих веществ сообщают Геродот и Диодор, рассказывая о мумиях. Сам Готье пишет о деликатных запахах бальзамов, уподобивших помещение, где разворачивали мумию, аптеке (см. примеч. 126).

[133] *...древние бальзамировщики применили все свое искусство, дабы уберечь драгоценные останки.* — Геродот описывает три способа бальзамирования, зависевшие от платы, которую предлагали родственники умершего (см.: История. II. 86–87). Запах благовоний, распространившийся после вскрытия саркофага Таосер, является неоспоримым свидетельством высочайшего качества бальзамирования. Следует подчеркнуть, что в эпоху сразу после Нового царства (XXI–XXII династии) искусство мумификации достигает расцвета.

[134] *...бисер, которым вышивают испанские юбки...* — В национальном испанском костюме юбки покрыты сплошной вышивкой, в том числе канителью и бисером. Запеленутые мумии накрывали сетками из бисера, правда, «в моду» такое украшение входит позднее Нового царства — в VII–VI вв. до н. э.

[135] *...статуэтки четырех богов Аменти...* — В данном случае это изображение четырех сыновей Хора, «отвечающих» за стороны света. См. примеч. 113.

[136] *Лазуритовый.* — Лазурит — то же, что ляпис-лазурь, непрозрачный камень синего цвета. Особенно ценился на Древнем Востоке яркий лазурит Бадахшанского месторождения (северо-восток современного Афганистана). См. примеч. 59 к гл. I «Царя Кандавла». Готье точно описал расположение амулетов на сетке VII–VI вв. до н. э.

[137] *Сердоликовый.* — Сердолик — полупрозрачный полудрагоценный камень красного или красновато-коричневого цвета; в Египте встречался в Восточной пустыне и использовался для изготовления украшений и амулетов с глубокой древности. Сочетание золота, сердолика и лазурита (или бирюзы) в ювелирных изделиях любимо на Востоке и сейчас.

[138] *Каустическая сода* — едкий натр, получаемый при электролизе раствора поваренной соли. Использовался как консервант. Египтяне использовали соду естественного происхождения, добывавшуюся прежде всего в Вади-Натрун (в 60 км к северо-западу от Каира), откуда происходит и название «натр» (*древнеегип.* нечери).

[139] *Обелиск* — высокий, суживающийся кверху четырехгранный каменный столб, главной частью которого была верхушка — пирамидион. Возможно, форма обелиска в начале Древнего царства произошла из камня бен-бен, стилизованной передачи первохолма, стоя на котором бог сотворил мир. Достигавшие в высоту более 30 м, обелиски со Среднего царства обычно высекались из монолитного камня (обелиск Сенусерта I в Гелиополе из розового гранита) и, как правило, ставились парами перед пилонами храмов. Они считались символами бога солнца. Обелиски вывозили из Египта уже ассирийцы в VII в. до н. э., но особенно активно в античную эпоху на рубеже эр: в Риме их 13, в том числе самый высокий из стоящих — Латеранский, 32 м; в XIX в. обелиски попали в Париж (луксорский — на площадь Согласия), александрийские — в Лондон (набережная Темзы) и Нью-Йорк (перед Метрополитен-музеем).

[140] *Мемфис.* — Согласно египетской традиции, город основан Менесом на рубеже IV–III тыс. до н. э. на стыке Верхнего и Нижнего Египта (одно из его названий — «Весы Обеих земель»). Мемфис стал столицей Древнего царства, блистательной

эпохи пирамид, и сохранил столичный статус, несмотря на величие Фив вплоть до основания Александрии. Чуть севернее Мемфиса находится самый крупный город Африки — Каир.

[141] *Крейцер* Фридрих (1771—1858) — немецкий историк и филолог, профессор Гейдельбергского университета. Его перу принадлежат переводы античных мифов, сочинения в области древнегреческой истории и культуры и, в частности, книга «Символика и мифология античных народов» (1810—1812).

[142] *...Шампольон дал нам египетский алфавит...* — Египетская иероглифическая письменность не является алфавитной. Готье, знавший этот факт, имеет в виду, что Шампольон дал ключ к чтению иероглифов.

[143] *Камбиз* (II) — персидский царь из династии Ахеменидов (530—522 гг. до н. э.), завоевавший Египет в 525 г. до н. э. Согласно Геродоту, отличался жестокостью и деспотизмом; в приступе гнева якобы зарезал священного быка Аписа, что не подтверждается египетскими источниками (погребения Аписов с датами их смерти на стелах найдены О. Мариетом в Саккаре). См. также примеч. 6.

[144] *Пальмовое вино* — перебродивший сок финиковой пальмы. Эту деталь Готье заимствовал у Геродота и Диодора (см.: *Геродот.* История. II. 86; *Диодор.* Историческая библиотека. I. 7). Такое вино согласно Уилкинсону (см. примеч. 9) делали еще в XIX в., и по вкусу оно напоминало очень легкое виноградное.

[145] *Она* [лента]*... была такой тонкой... что могла бы выдержать сравнение с батистом и муслином наших дней.* — Речь, судя по всему, идет о виссоне (см. примеч. 61 к гл. I «Царя Кандавла»).

[146] *Венера Медицейская* (I в. н. э.) — римская копия в натуральную величину утраченной греческой статуи. Венера изображена в момент выхода из воды, правой ладонью она как бы испуганно прикрывает левую грудь, а левой — низ живота. Особенностью статуи является то, что в качестве дополнительной опоры ей служит фигура небольшого дельфина. См. также примеч. 30 к гл. I «Фортунио».

[147] *Татбеб.* — Готье не совсем правильно списал слово «табтеб», произведенное Шампольоном от египетского слова, обозначающего сплетенные из тростника сандалии с загнутыми носками.

[148] *Флорентийская бронза* — бронза, из которой делались статуи в период расцвета искусства во Флоренции. Статуи из такой бронзы изготовлял, например, скульптор Донателло в XV в.

[149] *Джорджоне* (1477—1510) — итальянский художник, основатель стиля Высокого Возрождения, ярчайший представитель венецианской школы (см. примеч. 17 к гл. II «Аватары»).

[150] *Тициан.* — См. примеч. 16 к гл. I «Фортунио».

[151] *Канопа.* — Название «канопа» ошибочно дано сосудам для бальзамируемых отдельно внутренностей антикварами Нового времени из-за сходства с изображениями бога Канопа в виде сосуда с нильской водой, крышка которого представляет голову бога (поздняя ипостась бога Осириса в г. Канопе близ Александрии). См. примеч. 113. См. также примеч. 40 к гл. IV «Аватары».

[152] *Лоб ее был гладким и невысоким, что... соответствовало канонам античной красоты.* — По мнению Готье и Фейдо, египетская Хатхор не уступает красотой Венере, хотя в некоторых специальных работах искусство долины Нила называлось

«варварским» и противопоставлялось возвышаемому античному. Тема сходства этих канонов и их различий в XVIII и XIX вв. являлась предметом жарких научных дискуссий.

[153] *Ему казалось, живи он три тысячи пятьсот лет назад, непременно влюбился бы в эту незнакомку...* — Мотив «ретроспективной» любви, т. е. любви к давно умершей женщине, которая славилась своей красотой, часто встречается в творчестве Готье. См., например, новеллы «Мертвая возлюбленная», «Ножка мумии», «Золотое руно», «Кофейник», «Аррия Марцелла» и др. Тема «мертвой царевны» вообще популярна в романтической литературе.

[154] *Папирус* — бумага, сделанная из волокна, получаемого из сердцевины стеблей папируса — многолетнего растения семейства осоковых, растущего в Африке по берегам рек и озер. Египтяне научились изготовлять папирус очень рано — в гробницах царей первых династий найдены древнейшие образцы (нач. 3-го тыс. до н. э.). До VIII в., когда на смену папирусу пришла изобретенная китайцами во II—I вв. до н. э. бумага, его импортировали в Европу из Египта. Из стеблей папируса египтяне изготовляли также лодки, канаты, веревки, корзины, циновки, накидки, сандалии и др.

[155] *Книга мертвых* — древнеегипетский религиозно-магический сборник, содержащий заклинания, гимны и молитвы на папирусных свитках, которые, по верованиям египтян, обеспечивали покойному преодоление всех опасностей в его странствиях после смерти, оправдание на суде Осириса, блаженство в царстве мертвых и воскрешение (древнеегипетское название этого самого распространенного с XVI в. до н. э. по I в. н. э. текста — «Книга выхода в день», что подразумевало возможность увидеть мир живых. Чаще всего эти свитки находят рядом с мумией в гробу, почему арабы и назвали их «Книга мертвого человека», что подхватили антиквары и египтологи).

[156] *...символическое изображение похорон и погребальной процессии, которое служит фронтисписом Книге мертвых.* — Фронтиспис — иллюстрация в книге, помещаемая до титульного листа: портрет автора или лица, о котором идет рассказ, либо рисунок, отражающий содержание книги. Важная черта Книги мертвых — сопровождающие тексты изображения (египтологи их называют «виньетками») — первые в истории книжные иллюстрации. Самая знаменитая — безусловно, сцена суда Осириса с взвешиванием сердца покойного (см. примеч. 77).

[157] *Иероглиммат* (греч.) — писец. Письмом в Египте владели немногие (примерно 2% населения); это было необходимым условием карьеры чиновника, и труд писцов уважался и ценился очень высоко.

Глава I

[1] *Пилон* (греч. — великие входные врата). — В египтологии данное слово обозначает монументальные, фланкированные двумя башнями врата в храм. Проход посередине пилона закрывался огромными деревянными двустворчатыми вратами, часто с металлической обшивкой. Внутри башен — ведущие на крышу лестницы; снаружи они часто декорированы сценами поражения врагов. Перед пилонами устанавливали мачты с флагами, обелиски и колоссальные статуи царей.

[2] *Антаблемент.* — См. примеч. 7 к гл. III «Царя Кандавла».

[3] *Сикомор* — тутовая смоковница, ослиный инжир (Ficus sycomorus) — крупное дерево из рода фикус семейства тутовых, имеющее твердую древесину (а потому широко использовавшееся для разных изделий) и дающее съедобные плоды. Именно эта смоковница упоминается в Библии, а в Древнем Египте она почиталась как дерево богини Хатхор. По сей день произрастает в Восточной Африке.

[4] *Рабы-нехси.* — Древние египтяне делили человечество на четыре расы: красную (ремеч) — египтяне, или люди; черную (нехси) — негры; желтую (аму) — азиаты; белую (техену, тимху) — ливийцы. См. также примеч. 9 к гл. V.

[5] *Сурдинка* — приспособление для приглушения или изменения тембра звука, используемое в музыкальных инструментах.

[6] *...в ней слышалась также светлая тоска...* — Готье использует термин «светлая тоска», «романтизируя» Древний Египет. Точно так же в новелле «Ночь, дарованная Клеопатрой» (1838) он описывает тоскующую царицу.

[7] *...карниз с сильно вогнутой серединой и выдающимися вперед краями...* — Речь идет о типичном для древнеегипетской архитектуры профиле карниза, называемом в архитектуре «выкружкой».

[8] *...египтяне... обедали, так сказать, на улице.* — Деталь, заимствованная у Геродота, который не всегда достоверен. Например, он писал о египтянах: «Естественные отправления они совершают в домах, а едят на улице <...>» (*Геродот.* История. II. 35. *Пер. Г.А. Стратановского*). Следует иметь в виду, что Геродот, действительно образованный и наблюдательный, путешествовал по долине Нила в V в. до н. э. и не знал древнеегипетского языка, история же цивилизации пирамид начинается на два с половиной тысячелетия раньше — в кон. 4-го тыс. до н. э.

[9] *Сиенский гранит* — гранит розового цвета, добывавшийся в карьерах в районе современного города Асуана.

[10] *Персея* (Mimusops Schimperi) — род вечнозеленых деревьев и кустарников, к которому относятся персея американская (авокадо) и персея мексиканская с листьями, пахнущими анисом. Как утверждает Шампольон, персея для египтян — это небесное дерево жизни, под которым сидит Амон-Ра. Феофраст пишет о нем как о египетском дереве, в изобилии произрастающем в Фиванской области; в гробницах найдены изделия из Персеи, например, подголовники (см.: *Лукас А.* Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. М., 1958. С. 665).

[11] *...гранатовые деревья, сикоморы, тамариксы, обвойники, мимозы, акации.* — Перечень деревьев и декоративных кустарников, произраставших в Древнем Египте и создававших благодаря своим цветам и листьям картину экзотики и местного колорита. Обвойник египетский (кустарник семейства ластовневых — Periploca) цветет душистыми белыми цветами. См. также примеч. 3, 10.

[12] *...ложе в форме быка...* — Готье дает описание одной из форм парадных кроватей, представленных на изображениях в древнеегипетских гробницах. Встречаются также кровати и кресла с ножками в виде лап льва или быка. Через 70 лет в гробнице Тутанхамона были найдены три такие кровати.

[13] *Подголовник.* — Первоначально тело в гроб помещалось на бок, причем голова покоилась на подголовнике: такие погребения известны уже от эпохи пирамид. Также найдены деревянные или каменные подголовники и их изображения и многочисленные амулеты. Весьма маловероятно, что они использовались в быту.

[14] *...шпатель... в форме плывущей... девушки... стремящейся удержать свою плошку над водой.* — Египетская ложечка для косметики в виде плывущей девушки, держащей на вытянутых руках ибиса (ок. XIV в. до н. э.), подобная той, что описывает Готье, имеется в коллекции Лувра (одно из свидетельств изучения Готье памятников), а в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина хранится самый красивый косметический «шпатель» — вырезанная из слоновой кости плывущая девушка держит перед собой в руках розовый цветок лотоса, являющийся емкостью для косметического средства.

[15] *...образец египетской красоты.* — Моделями для портрета девушки послужили изображение царицы Нефертари, жены Рамсеса II, на рельефе в храме Абу Симбел (приведенное в книге Шампольона), а также настенная роспись из гробницы Хеви (некрополь вельмож, Фивы, XVIII династия).

[16] *Хатхор* — древнеегипетская богиня неба (ее имя означает «Подворье Хора», т. е. обитель бога неба и солнца), судьбы, любви, красоты и веселья, поэтому греки ассоциировали ее с Афродитой. Хатхор считалась также покровительницей танцев и пирушек. Она почиталась в образе коровы или женщины с головой и рогами коровы. На капителях колонн в храме царицы Хатшепсут в Дейр эль-Бахри изображена круглолицая Хатхор с коровьими ушами: смотрящая на четыре стороны света, она надежно защищала Египет. Также ее защита распространялась на египтян, находившихся за пределами долины: поэтому в центре Синая ей — покровительнице добычи медной руды и бирюзы — был построен удивительно большой для этих пустынных мест храм (Серабит эль-Хадим). Готье использует ее имя как символ красоты, не уступающий общепризнанной красоте античных памятников.

[17] *Цесарка* — птица отряда курообразных, все семь видов которой обитают в Африке.

[18] *Калазирис* (г р е ч.) — прямое узкое платье на бретелях, типичное для костюма древних египтянок. См. примеч. 48 к гл. I «Царя Кандавла».

[19] *Возле Таосер ~ сидела аффистка.* — Нижеследующая сцена основывается на рисунках, скопированных с красивой росписи в гробнице вельможи Рехмира (Фивы, XVIII династия) и приведенных в книге Фейдо (см. примеч. 1 к Посвящению).

[20] *Мандора* — струнный щипковый инструмент, разновидность лютни.

[21] *Тимпан.* — См. примеч. 26 к гл. XXIV «Фортунио».

[22] *...поэты и музыканты знают всё ~ что не всегда постигает разум и о чем бессвязно бормочет язык.* — Типично романтические идеи, идущие вразрез с классицистическими принципами, сформулированными французским поэтом Никола Буало (1636—1711): «Что ясно понято, то четко прозвучит» (см.: *Буало Н.* Поэтическое искусство. I. 153. *Пер. С. Нестеровой и Г. Пиларова*).

[23] *Танцовщицы ~ плавно разводили руки, как Исида и Нефтида крылья...* — Исида и Нефтида часто изображаются стоящими или коленопреклоненными с поднятыми руками-крыльями, дабы защитить Осириса (например, на углах кварцитового саркофага Тутанхамона). Танцы в Египте могли быть и очень динамичными, с акробатическими элементами, как показывают росписи в гробницах вельмож. Музыка, пение и танцы не только услаждали пирующих — они играли очень важную роль в культе богов и царей, а также в заупокойном культе.

Глава II

..танцовщицы... тихо удалились одна за другой, подобно фигурам на фресках. – С техникой фрески, то есть росписи по сырой штукатурке, египтяне знакомы не были (см. примеч. 31 к Прологу), они расписывали стены по сухой штукатурке. Но эта неточность не умаляет красоты сопоставления притихших девушек с молчанием нарисованных фигур.

[2] *Петамуноф* – имя, заимствованное из книги Фейдо (см. примеч. 1 к Посвящению), где приведен план и разрез гробницы верховного жреца Петамунофа в Фивах.

[3] *Хапи-Му* – букв.: вода разлива (*древнеегип.*).

[4] *...месяц Хатхор или Хойяк...* – Египтяне делили год на три части (сезона, времени года) по четыре месяца в каждом. Готье смешал два разнородных названия: в честь богини Хатхор египтяне называли третий месяц года, а Хойяк – коптское название следующего за ним четвертого месяца (последнего месяца «зимы»).

[5] *Гематит* (кровавик, красный железняк) – поделочный камень темно-красного цвета.

[6] *...от Фил до Гелиополиса.* – То есть от севера до юга Египта. Филы (Филе, Филэ) – остров на Ниле, выше по течению от Фив, расположенный неподалеку от современного Асуана. Гелиополис, Гелиополь – греческое название (букв.: город (бога) Солнца) древнеегипетского города Он, находившегося чуть севернее современного Каира (территория Каирского аэропорта).

[7] *Эфиопия.* – Так греки называли территории южнее Египта, в том числе и Нубию.

[8] *Оэрис* – неологизм, придуманный Шампольоном, который прибавил греческое окончание к египетскому слову «оур» («ур»), означающему «большой человек», «сановник», «вождь». В современной египтологии этот термин не используется.

[9] *...негры с Верхнего Нила... бронзовые эфиопы...* – Готье различает эфиопов, т. е. нубийцев, и народы с более темным цветом кожи, жившие южнее Нубии.

[10] *Азиаты* – то есть выходцы с Ближнего Востока.

[11] *Пеласги* – согласно античным преданиям, догреческое население юга Балкан, островов Эгейского моря и западного побережья Малой Азии. Сцена с народами, приносящими дары или дань Египту, которую описывает Готье, изображена в гробнице одного египетского сановника. Правда, на ней представлены не пеласги, а критяне.

[12] *...переправить с одного берега на другой более миллиона душ...* – По разным оценкам, все население Египта в эпоху Нового царства (вторая пол. 2-го тыс. до н. э.) составляло от 2,9 до 4,5 млн человек.

[13] *Живое серебро.* – См. примеч. 63 к гл. I «Фортунио».

[14] *...весла с головами Хатхор...* – Каждое весло было украшено изображением человеческой головы с коровьими рогами и ушами, т. е. богини Хатхор (см. примеч. 62 к Прологу и примеч. 16 к гл. I).

[15] *Амон-Ра.* – Начиная с эпохи Среднего царства (ок. XX в. до н. э.), когда Фивы стали столицей, все большее значение в Египте приобретает культ Амона. Отождествляемый с великими общеегипетскими богами Монту, Мином и особен-

но Ра (в форме Амон-Ра), он выдвигается на главное место в пантеоне («царь богов»), а после освобождения страны от гиксосов, осуществленного фиванскими князьями, жречество Амона начинает соперничать в могуществе с фараонами. Видимо, в этом была одна из причин реформы Эхнатона — он как будто предвидел, что история блестящего Нового царства завершится распадом централизованного царства и образованием в Фиванской области теократического государства, коим от имени бога будут править жрецы.

[16] *Ароэрис* — устаревшая передача греческой формы имени египетского бога Хора-старшего, Хорура, покровителя царской власти.

[17] *Попиратель народов.* — Чтобы перевести на французский язык египетскую формулу, согласно которой «царь попирает чужеземные страны», Готье придумал неологизм от устаревшего французского глагола conculquer — топтать ногами, попирать. Шампольон для тех же целей прибегал к латинскому глаголу castigo (обуздывать, подавлять, карать). Это же слово Готье использовал в новелле «Ночь, дарованная Клеопатрой» (гл. V).

[18] *Дум-пальма* — род растений семейства пальм, включающий около 30 видов. Наиболее известна пальма Hyphaene thebaica, растущая в Верхнем Египте. В высоту эти пальмы достигают 15 м, листья веерные, соцветия метельчатые длиной до 1,2 м, древесина плотная. Ее изображение встречается в египетских гробницах Нового царства.

[19] *Дворец Рамсеса Мериамуна* — поминальный храм Рамсеса II в Фивах на западном берегу Нила. Готье, как и многие его современники, принимает впечатляющие руины храмов за развалины дворцов, бывших значительно скромнее. Например, на территории поминального храма Рамсеса III, в Мединет-Абу (тоже западные Фивы), сохранились остатки царского дворца.

[20] *Аменофиум* — место, где находился поминальный храм Аменхотепа III в Фивах на западном берегу Нила. В настоящее время это название не используется.

[21] *...два... колосса — две гранитных глыбы в форме человека.* — Речь идет о так называемых «колоссах Мемнона», стоящих перед Аменофиумом (см. примеч. 20, а также примеч. 51 к Прологу), т. е. о гигантских (высота каждой 17,9 м) статуях фараона, которые, впрочем, сделаны не из гранита, а из кварцита.

[22] *Рамессеум* — поминальный храм Рамсеса II (1279–1213 гг. до н. э.), стоящий на западном берегу Нила в Фивах. Храм знаменит колоссальными статуями царя, в частности, семнадцатиметровой статуей Рамсеса, от которой уцелели некоторые фрагменты, а верхняя часть вывезена Дж. Бельцони в Лондон.

[23] *Дворец Менефты* — поминальный храм Сети I на западном берегу Нила, в Фивах. См. также примеч. 64 к Прологу.

[24] *Северный дворец.* — Имеется в виду колоссальный храм Амона, Карнакский, на правом берегу Нила, на территории современного города Луксор.

[25] *Криосфинкс* — статуя, имеющая тело лежащего льва и голову барана (священное животное бога Амона). Аллея, фланкированная криосфинксами, ведет к главному входу храма Амона в Карнаке.

[26] *...два обелиска.* — В настоящее время перед Луксорским храмом находится только один из этих двух обелисков (их возраст оценивается в 3600 лет), так как второй был подарен Мухаммадом Али в 1819 г. Франции и теперь украшает парижскую площадь Согласия. См. также примеч. 139 к Прологу.

[27] *Амон (*Амун — букв.: сокровенный, незримый (е г и п.)) — один из главных богов древнеегипетского пантеона, центром культа которого были столичные Фивы. Считался «царем богов». Изображался в виде человека (иногда с головой барана), в короне с солнечным диском, двумя рогами барана и двумя высокими перьями. См. также примеч. 15.

[28] *Хонсу* — бог Луны, а также времени и его исчисления, сын Амона (см. примеч. 27) и богини-матери Мут (фиванская триада). Изображался в виде юноши с серпом и диском луны на голове; позднее иногда, возможно из-за отождествления с Хором-младенцем, как ребенок с пальцем у рта и «локоном молодости» (который египетские мальчики носили до совершеннолетия сбоку головы). Его храм, расположенный в Карнаке рядом с храмом Амона, удивительно хорошо сохранился до наших дней.

[29] *Оф* — устаревшая форма имени Опет; к западу от храма Хонсу находится храмик греко-римского периода, посвященный богине Опет, ипостаси Таурет, покровительницы детства и материнства (отождествлялась также с Хатхор).

[30] *Локоть* — старинная мера длины. Малый египетский локоть равнялся 44,4 см, царский — 53,3. Здесь имеется в виду малый локоть, поскольку высота луксорского обелиска около 26 м.

[31] *...служили началом... аллеи из двух тысяч криосфинксов...* — В настоящее время вдоль аллеи, соединяющей колоссальный комплекс Карнакского храма с Нилом, стоят в два ряда двадцать криосфинксов. Такие же статуи стоят в первом дворе, куда они были перемещены в 1-м тыс. во время расширения храма в сторону реки.

[32] *...от Северного дворца к Южному.* — О Северном дворце см. примеч. 24. Южный дворец — Луксорский храм, расположенный в 3 км к югу от Карнакского.

Глава III

[1] *...Таосер... не слышала шороха эмалей и жемчугов...* — В древнем Египте жемчуг в ювелирных изделиях не использовался.

[2] *...песок... блестел... как эмаль на статуэтках Осириса.* — Имеются в виду бесчисленные глазурованные статуэтки (ушебти), изображающие завернутого в саван покойника со скрещенными на груди руками. См. примеч. 85 к Прологу.

[3] *Систр* — древнеегипетский музыкальный инструмент типа трещотки, издававший звенящие звуки и тесно связанный с культом Хатхор (ее голова часто украшает ручку систра).

[4] *...фараона, увековеченного в колоссах... в шестьдесят локтей...* — То есть высотой примерно в 30 м. См. примеч. 21 и 30 к гл. II.

[5] *Много ли это для царя, державшего за волосы сто... народов и бичевавшего их с высоты своего трона...* — Так традиционно с Раннего царства изображался египетский фараон: одной рукой он держит пленников за волосы («сто» народов в смысле множество), а другой заносит над ними боевой топор или меч.

[6] *Гинекей.* — См. примеч. 25 к гл. II «Царя Кандавла». Семья в Египте была моногамная; понятие «женская половина дворца» в эпоху Нового царства было, но назвать ее гаремом нельзя, так как до самых поздних эпох не было евнухов, типичной фигуры этого учреждения.

[7] *Ибекс* — нубийский горный козел.

[8] *Амшир* — жезл с маленькой емкостью (часто — чашечка в ладони) на конце, разновидность курильницы. В емкости горели угли, на которые бросали фимиам. Этот термин Готье заимствовал у Шампольона (см. примеч. 7 к Прологу).

[9] *Полубог.* — Понятие полубога (то есть сына бога и смертной женщины) является греческим. В Египте фараон считался богом.

[10] *...отвращение... и наскучившие победы... застыли на лице фараона, неумолимо равнодушного и невозмутимого, как гранит.* — Таким изображается фараон в египетской традиции, и это изображение близко к описанию английского аристократа, данному в Прологе: невозмутимость для древности, Средневековья, а также для элиты Нового времени является непременным атрибутом власти.

[11] *...ручной лев... возлежал рядом с ним на носилках...*— Ручной лев по кличке Убийца противников часто изображается рядом с Рамсесом II (рельефы с изображениями Кадешской битвы в Карнакском храме и Абу-Симбеле).

[12] *Умбон* — выступ в центре щита у римлян, предназначенный для отражения ударов копьем и служивший дополнительным оружием в рукопашном бою.

[13] *...воин с вожжами, прикрепленными к поясу, чтобы руки оставались свободными во время боя.* — Безусловно, это требовало высокой степени подготовки колесничьего войска. Рядом с царем мог находиться человек, совмещавший функции возницы и телохранителя.

[14] *...глаз Осириса.* — Глаз играет колоссальную роль в религиозной символике Древнего Египта; имя бога Осириса пишется с иероглифом «глаз»; Хор, сын Осириса, воскрешает отца, дав ему свой глаз. См. примеч. 115 к Прологу и примеч. 2 к гл. VII).

[15] *Кривой меч* — кривой обоюдоострый меч, который у египтян назывался хепеш.

[16] *...следовали войска союзников, которых можно было узнать по варварской форме шлемов, то напоминавших усеченную митру, то увенчанных полумесяцем, насаженным на навершие.* — Такие шлемы изображены в батальных сценах, относящихся к XIX и XX династиям, и, в частности, на стенах большого колонного зала скального храма Абу-Симбел. Их носили шарданы, племена которых были среди «народов моря», побежденных сыном Рамсесом II, Мернептахом. Их потомки служили в личной охране фараона.

[17] *...медведей, пойманных, как говорили, в Лунных горах.* — Судя по египетским изображениям, медведи водились где-то в Сирии.

Глава IV

[1] *Пропилеи.* — Готье использует этот термин как синоним слова «пилон», тогда как в греческой архитектуре этим словом назывались крытые врата (пропилон), развившиеся в монументальное сооружение, первоначально оформляющее вход в святилище, на агору или в крепость.

[2] *Обе башни намного превосходили пилон по высоте, их выступающий зубчатый карниз...* — Вероятно, Готье описывает поминальный храм Рамсеса III на западном берегу Нила, Мединет-Абу, похожий на крепость из-за мощных входных башен. Внутри огромного храмового комплекса был и царский дворец.

[3] *Евнух.* — В Египте, в отличие от Ассирии или Китая, не было практики кастрации мужчин, охраняющих жен и дочерей царской семьи (по крайней мере, до эпохи Птолемеев).

[4] *Хетты* — народности, говорившие на индоевропейских языках и населявшие Малую Азию в нач. 2-го тыс. до н. э. Хеттское царство существовало с XVIII до XIII в. до н. э.; в XIV в. до н. э. хетты столкнулись с Египтом в борьбе за Восточное Средиземноморье, закончившейся Кадешским мирным договором (ок. 1280 г. до н. э.; сохранился на глиняной табличке из Богазкейского архива, находящейся в Археологическом музее Стамбула, и в иероглифическом варианте на стенах Карнакского храма и Рамессеума).

[5] *Тифон* — в греческой мифологии — сын Геи (Земли) и Тартара (подземного мира). Изображался как уродливый монстр с сотней драконьих голов. Греки отождествляли Тифона с братом Осириса Сетхом — египетским богом пустыни, оазисов и чужих стран, богом бури и непогоды. Египтяне изображали Сетха в виде мифического (возможно, вымершего в древности) животного или в виде человека с головой такого животного. Сетх коварно убил Осириса и воцарился вместо него, но за отца отомстил его сын, Хор, ставший царем Египта. Здесь и далее, говоря о Тифоне, Готье имеет в виду Сетха.

[6] *Волюта.* — См. примеч. 34 к гл. II «Царя Кандавла».

[7] *Архитрав.* — См. примеч. 39 к гл. II «Царя Кандавла».

[8] *На карнизе египетского стиля...* — См. примеч. 7 к гл. I.

[9] *Софит* — обращенная книзу поверхность потолочной балки, арки и других архитектурных деталей, часто имеющая декоративную отделку.

[10] *...фараон... играл в шахматы со своей женой...* — Речь идет о настольной игре сенет, которую очень любили в Египте; внешне она напоминает шахматы: разграфленная доска и фигурки. Сцена, похожая на ту, что рисует Готье, есть в поминальном храме Рамсеса III (Мединет-Абу), где фараон изображен за игрой с юной девушкой.

[11] *...на барабане капители, виднелись выкрашенные в их природные тона бутоны и чаши лотоса, собранные в букеты.* — Древнеегипетские капители могли быть довольно разнообразны в соответствии с колоннами: например, колонны в виде связанных стеблей папируса завершались капителями в виде нераспустившихся метелок или уже раскрытых, известны колонны в виде связок цветов лотоса, имитирующие пальмы и составные капители (сочетание растительных мотивов и головы Хатхор или изображения бога Беса).

[12] *Треножник* — столик на трех высоких ножках.

[13] *В глубине залы возвышался царский трон ~ украшали сиденье трона с боков.* — Изображение описанного Готье трона есть в поминальном храме Рамсеса III (Мединет-Абу) и воспроизведено Шампольоном (см. примеч. 7 к Прологу).

[14] *Бессмертник.* — Речь идет о бессмертнике итальянском (Helichrysum italicum) — полукустарнике семейства астровые, цветущем ярко-желтыми мелкими цветами с сильным терпким ароматом.

[15] *Непентес.* — См. примеч. 11 к гл. V «Царя Кандавла».

[16] *Зеленое вино* — вино кисловатого вкуса, которое делается из недозрелого винограда.

[17] *Мареотис* — озеро и местность на северо-западе Дельты, близ Александрии. Согласно Афинею, там много виноградников и вино — приятное, душистое и не ударяющее в голову (см.: *Лукас А.* Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. М., 1958. С. 63).

[18] *Жете* — высокий танцевальный прыжок с выбрасыванием вытянутых ног вперед и назад или в стороны.

[19] *...в наглазниках, чтобы ничего не видеть, как Тмея, богиня правосудия...* — Так Шампольон, а вслед за ним и Готье, прочитал имя египетской богини истины, мирового порядка и справедливости Маат. Однако, в отличие от Фемиды, Маат никогда не изображалась с завязанными глазами. Ее символом было страусовое перо (см. примеч. 77 к Прологу). Заметим, что в руках у Фемиды — весы, а маленькая фигурка Маат может увенчивать изображение весов на суде Осириса, гарантируя их точность.

[20] *Цест* — латная рукавица, использовавшаяся римлянами.

[21] *Жалую тебе... нагрудник из ляпис-лазури и сердолика, а также золотой обруч, весом с гирю из... базальта.* — В ходе раскопок было найдено большое количество древнеегипетских гирь из камня и бронзы, часто имеющих форму животных. Царской наградой в период Нового царства могло быть и золотое ожерелье.

Глава V

[1] *Поэри* — имя, которое по-египетски означает «Большой», «Великий», «Старший», «Знатный».

[2] *Акротерий* — вообще архитектурное украшение в углах фронтона в виде пальметт, грифонов, человеческих фигур и т. д. Готье употребляет это слово в несколько ином смысле — как защитное сооружение.

[3] *...мачты со знаменами перед царским дворцом...* — Такие мачты с узкими знаменами ставились в Египте не перед дворцами, а перед пилонами, входом в храмы.

[4] *...изображенный на фоне сердца крест в четырехугольнике, усеченном... так, чтобы осталось место для сулящего благополучие знака, смысл которого известен каждому*: «*Обитель добра*». — Под четырехугольником имеется в виду египетский иероглиф, похожий на растянутую в стороны букву «п» и обозначающий «дом», в который вписан знак жизни «нефер». Вместе эта надпись означает «дом красоты» или «дом добра».

[5] *Нежно-зеленый.* — Готье использует изобретенное им самим слово «vert-prasin» (от *фр.* vert — зеленый и *греч.* prasin — светло-зеленый).

[6] *Кассия.* — В XIX в. кассией называли коричник китайский (Cinnamomum aromaticum) — вечнозеленое дерево из семейства лавровые с красивыми сине-зелеными листьями и метельчатыми соцветиями.

[7] *Эритрейский залив* — греческое и латинское название Красного моря.

[8] *...египтяне, питавшие истинную страсть к разведению кустарников и цветов, требовали у побежденных народов новые сорта в качестве дани.* — Судя, например, по изображениям на рельефах из храма Хатшепсут в Дейр эль-Бахри (западные Фивы), египтяне привозили экзотические растения с корнями в долину Нила (в данном случае из района современного Сомали): они были высажены перед храмом, ибо царица обещала Амону «устроить Пунт в Египте».

[9] *Ремеч* — человек, египтянин (см. также примеч. 4 к гл. I). Транскрипция иероглифов и толкование Шампольона в принципе остались прежними.

[10] *...вплоть до гробницы, над которой... трудились тысячи рабочих*! — Как только очередной фараон приходил к власти, занятые на строительстве в Долине царей рабочие выбирали место для будущей гробницы и приступали к ее созданию. С нач. XX в. на западном берегу недалеко от Долины царей разные европейские экспедиции раскапывали поселок работников царского некрополя, Дейр эль-Медину. Очень интересны оказались гробницы самих художников, маленькие, но прекрасно расписанные. Важно это открытие и потому, что в Египте в силу ряда причин археологи по-прежнему предпочитают раскапывать некрополи, а не поселения, что отражается на специфике наших источников. Кроме того, уровень грамотности жителей этого поселка превышал среднеегипетские показатели, по крайней мере, в 10 раз. Именно на богатых материалах Дейр эль-Медины построены труды Е.С. Богословского о древнеегипетских мастерах. Количество мастеров, работавших над созданием гробницы, составляло не более 120 человек (речь идет о квалифицированных ремесленниках).

[11] *Гиперборейская сторона.* — Здесь: северные края, подверженные воздействию холодного ветра Борея. Гипербореи — согласно древнегреческим легендам народ, счастливо живущий на Крайнем Севере.

Глава VI

[1] *...гость, посланный богами, — священный гость.* — Такое отношение к гостям было свойственно многим древним народам.

[2] *...от неведомых истоков Нила...* — Исток Нила, находящийся в Бурунди, был открыт в 1863 г. Египтяне полагали, что в районе Первого порога (г. Асуан) в пещере сидит бог Хапи и льет из двух сосудов (в Египте многое двоится — начиная с двух частей страны) воду разлива.

[3] *...плоды... бросали... дрессированные обезьяны...* — Египтяне пытались приручить и одомашнить многих диких животных, в частности журавлей, антилоп и гиен. Из росписей гробниц известны изображения павианов, собирающих фиги; их приводят и Фейдо, и Шампольон. См. также примеч. 5 к гл. VII.

Глава VII

[1] *Клянусь Омсом, адским псом! Я ее разыщу... даже если будет надо дойти до западной страны...* — То есть дойти до потустороннего мира. Омс, точнее Амамат, — чудовище с головой крокодила, которое сидит рядом с весами во время суда Осириса над мертвыми и пожирает грешников, если сердца их отягощены дурными делами. Некоторые ученые предполагают, что образ Амамат, которого Готье называет «адским псом», повлиял на создание образа Цербера. См. также примеч. 77 к Прологу.

[2] *...вырежет сердце, как парасхит...* — Египтяне сердце умершего не вырезали, а оставляли в теле, так как оно считалось вместилищем деяний человека (в отличие от внутренностей, которые действительно вынимались через небольшой разрез на животе во время мумификации). После необходимых процедур этот разрез зашивался или «заклеивался» воском и сверху помещался амулет «глаз-уджат» (Око Хора), «гарантирующий» целостность тела, так как в переводе «уджат» и означает — «целый»). См. также примеч. 77 к Прологу.

[3] *Божественный Фре... своими лучами с пальцами на концах, не может высветить ее здесь...* — Сохранились изображения бога солнца Атона (а не Фре, т. е. Ра, как пишет Готье) в виде солнечного диска с расходящимися вниз лучами, на концах которых находятся человеческие кисти рук. Как известно, обычно египетские боги имели вид людей и/или животных, столь же специфичные изображения характерны для царствования Аменхотепа IV (ок. 1351—1334 гг. до н. э.), проведшего уникальную для древности религиозную реформу. Из многочисленных божеств долины Нила Аменхотеп IV (в пер. «Амон доволен») чтил исключительно Атона, в честь которого изменил свое имя на Эхнатон («Угодный Атону») и назвал новую специально построенную роскошную столицу (Ахетатон — «Горизонт Атона»).

[4] *После жертвенных возлияний и приношений... он расположился во внутреннем дворе...* — Древние египтяне отправляли культ в храме перед статуей бога, которому фараон или от его имени верховный жрец преподносили еду, напитки, «вещи прекрасные, чистые», а также цветы и благовония.

[5] *Взгромоздившись на спинку кресла, ручная обезьянка грызла финики...* — Изображения домашних обезьян, кошек, собак, даже гусей часто встречаются в росписях древнеегипетских гробниц. Обезьянок, например, рисовали сидящими под стулом хозяина: иногда они показаны занятыми лакомством или разбрасывающими от скуки остатки трапезы. Художники не упускали возможности внести в изображения живость и юмор. Цари разделяли привязанности своих подданных: в Каирском музее хранится известняковый саркофаг кота царевича Тутмоса (XV в. до н. э.).

[6] *Шу* — бог воздуха, разделивший, согласно трактату Плутарха «Об Исиде и Осирисе» (гл. 15), постоянно ссорившихся Геба (небо) и Нут (землю).

[7] *Куш* — древняя Нубия, области к югу от Первого порога Нила, которые египтяне начали присоединять к своим владениям в нач. 3-го тыс. до н. э. Название Нубия происходит от *егип.* «неб» — золото; там были золотые прииски.

[8] *Шето.* — Устаревший термин, обозначавший Хеттское царство, находившееся в Малой Азии. В XIII в. до н. э. хетты воевали с египтянами за регион Восточного Средиземноморья.

[9] *...клянусь именами четырех священных гусей: Амсета, Хапи, Сумаутфа и Кебсбнифа, что разлетаются во все четыре стороны...* — Имеется в виду царский ритуал, описанный Шампольоном: чтобы возвестить о всемирной власти фараона, в небо выпускали четырех гусей, отождествляемых с четырьмя сыновьями Хора, божествами, охраняющими внутренности покойного (см. примеч. 113 к Прологу).

Глава VIII

[1] *Демотические знаки.* — Здесь Готье допускает неточность: демотика возникает позднее, в VIII в. до н. э. (действие романа происходит в XIII—XII вв. до н. э.); его герой должен писать иератикой на новоегипетском языке. Демотика — поздняя скорописная разновидность древнеегипетского письма, представлявшая собой упрощенную форму иератического письма; в нем из-за влияния алфавитных систем сильнее выражен фонетический принцип (см. примеч. 69 к Прологу). Последние демотические тексты относятся к V в. н. э. Термин заимствован у Геродота, который назвал демотической (т. е. народной) распространенную в 1-м тыс. до н. э. письменность (см.: *Геродот.* История. II. 36).

[2] *...более богатый урожай не вызревал под... солнцем...* — В древности египетские земли давали очень богатый урожай, поэтому долина Нила служила житницей в античном мире.

[3] *...четверка... животных с длинными расходившимися, как у Исиды, рогами...* — Исида, подобно Хатхор, изображалась в короне из двух коровьих рогов с солнечным диском между ними. Подобное заимствование атрибутов характерно уже для эпохи Нового царства, а в поздних храмах определить, какое божество изображено на рельефе, можно, только прочитав его имя (чтобы подчеркнуть его всемогущество, его отождествляют со многими великими богами, обозначая это их коронами и другими символами).

[4] *...хлеб... падал, отделяясь от... шелухи.* — Сюжеты с веянием зерна очень часто встречаются на стенах египетских гробниц.

[5] *...он принадлежит к варварскому племени Израиля.* — С точки зрения египтян, древние евреи, становление государства которых относится к 1030 г. до н. э., когда Саул стал царем (т. е. на две тысячи лет позднее, чем объединились Верхний и Нижний Египет), были варварами. Израиль — имя, данное Богом Иакову и всем его потомкам.

Глава IX

[1] *...упражнялась... в... купальне...* — Э. Фейдо в своей книге (см. примеч. 1 к Посвящению) предположил, что египтянки купались в водоемах, вырытых во дворах домов. В описании дворца Таосер (гл. I) упоминается такая купальня. Действительно, в богатых усадьбах устраивались пруды, в которых купались, как рассказывается, например, в древнеегипетской сказке о царе Хуфу и чародеях.

[2] *Мут* — богиня-мать, жена Амона. Во время праздничных религиозных шествий египетские жрецы несли на руках священные ладьи со статуями Амона и Мут.

[3] *Саман* — необожженный (сырцовый) кирпич, формовался из смеси глины, песка и рубленой соломы с водой и высушивался на солнце. Такой кирпич являлся самым распространенным строительным материалом. Согласно Библии, изготовление самана в Древнем Египте было повинностью евреев (см.: Исх. 1: 11—14).

[4] *Мраморная шпаклевка* — покрытие из смеси гашеной извести и мраморной пыли. Древнеегипетская штукатурка бывает глиняная или гипсовая, а мрамор использовался для изготовления ваз и статуй.

[5] *Ее очи походили на глаза горлицы... губы — на две пурпурные ленты... Волосы, подобные... гроздьям зрелого винограда, обрамляли гранатовые щеки...* — Готье описывает красавицу еврейку в духе Песни Песней (см. примеч. 15 к гл. II «Царя Кандавла»). К сожалению, только во второй пол. XX в. стала известна прекрасная древнеегипетская любовная лирика, в русских переводах прославленная именами А. Ахматовой и В. Потаповой.

Глава X

[1] *...он обходил... зал и плутал в гранитном лесу из ста шестидесяти двух... столбов.* — Готье описывает большой колонный зал (гипостиль) храма Амон-Ра в Кар-

наке, в котором, правда, не 162, а 134 колонны. В египетской архитектуре использовались не только колонны, но и столпы.

[2] *Тимофт... видел себя... с распоротым и выпотрошенным чревом, готовым к погружению в рассол...* — После того как из тела умершего вынимали внутренности, его не погружали в рассол, а засыпали сухой содой.

[3] *...как Исида искала своего мужа Осириса, разрубленного Тифоном...* — По одной из версий мифа, переданной Плутархом в трактате «Об Исиде и Осирисе» (гл. 13–21), Сетх (Тифон) хитростью заставил своего брата Осириса лечь в саркофаг, затем закрыл его там и пустил по Нилу. Жена Осириса Исида нашла саркофаг и перевезла в Египет, но Сетх улучил момент, разрубил тело Осириса на четырнадцать частей и разбросал по всей стране. Исида, «великая магией», разыскала и собрала все части, а затем оживила мужа. См. также примеч. 3 к Посвящению.

[4] *Священные пруды* (озера). — При каждом храме имелся водоем для ритуальных омовений жрецов. На территории Карнакского храма пруд очень велик; полагают, его использовали и в религиозных мистериях.

[5] *...похожей... на статую Осириса...* — Аллюзия на статуи в царских поминальных храмах, которые изображали покойных фараонов в полный рост, с руками, сложенными на груди, с жезлом и плетью, т. е. в позе, напоминающей традиционное изображение Осириса (такие статуи есть во многих фиванских храмах Нового царства: например, в храме Хатшепсут в Дейр эль-Бахри, в Рамессеуме).

[6] *...жезл ударил как молния.* — Согласно античным представлениям молния состояла из снарядов, столь же материальных, как наконечники стрел.

[7] «*...перевернуть весь Египет от порогов до дельты*».— На Ниле насчитывается шесть порогов, пронумерованных с точки зрения европейских путешественников, т. е. с севера на юг. Таким образом, первый порог, через который в древности проходила южная граница Египта, — самый дальний порог от истоков Нила и ближайший к Средиземному морю. Затрудняя путь по реке на юг (известно, что уже в эпоху Древнего царства египтяне пробивали каналы в обход порогов для прохождения барок со строительным камнем, которого требовало сооружение пирамид — надпись вельможи Уны), пороги «смягчали» напор воды при разливе.

Глава XI

[1] *...в речном тростнике пищали крокодилы, подражая плачу брошенного младенца.* — Можно предположить, что в этой фразе содержится намек на библейскую историю о младенце Моисее (см. примеч. 4), найденном на Ниле дочерью фараона (см.: Исх. 2: 5–6). В старинном коптском квартале Каира и сейчас показывают место, где это произошло («колодец Моисея»).

[2] *...рабы нашего племени...* — Согласно Библии, еврейский народ состоял из двенадцати племен (колен), потомков двенадцати детей Иакова (Израиля) — сына Исаака и внука Авраама.

[3] *...фараон заставляет делать кирпичи, не давая даже соломы?* — Согласно Ветхому Завету, фараон велел прекратить выдачу евреям соломы для изготовления кирпичей и заставить их самих собирать ее, оставив при этом прежнюю норму выработки самана (см.: Исх. 5: 6–13). Правда, в Библии все это произошло несколько позже, а именно после первой встречи фараона с Моисеем.

[4] *Моше* (иврит) — в русской традиции — Моисей. Согласно народной этимологии, «вытащенный (из воды)» (египетской царевной); по научной этимологии, вероятно, от египетского «дитя», что подтверждается коптским словом с тем же значением.

[5] *...возвратилась в сопровождении статного... старца ~ по обеим сторонам его лба, словно два огромных протуберанца, торчали пряди волос, напоминавшие то ли рога, то ли лучи ~ он был похож на пророка или бога.* — Именно в таком виде традиционно изображался Моисей (см., напр., его статую работы Микеланджело). Правда, лучи-протуберанцы вокруг головы появились у Моисея позднее, во время бегства евреев из Египта, после того, как ему явился Господь (см.: Исх. 34: 29–35).

Глава XII

[1] *Иаков... имел двух жен ~ Лия... жила счастливо подле него.* — Рахиль излагает известную библейскую историю (см.: Быт. 29: 1–28).

[2] *...ты принадлежишь к самой высокой... касте священников.* — В эпоху пирамид все сановники несли жреческие функции по очереди, т. е. все они были жрецами. Когда Геродот путешествовал по Египту, жрецы уже составляли привилегированную категорию египетского населения, но кастой, то есть замкнутой группой, они не являлись.

[3] *Иегова* — одно из именований библейского бога Яхве (табуирование имени Господа характерно для религии Восточного Средиземноморья; полагают, что имя «Иегова» возникло в результате добавления гласных имени «Адонай» («Господин») к согласным имени «Яхве», что было сделано для правильного чтения тайного имени бога).

[4] *...«Не поклоняйся никаким кумирам и никаким изображениям их из камня, дерева или металла».* — Поэри своими словами излагает вторую заповедь, данную Господом еврейскому народу в Синайской пустыне (см.: Исх. 20: 4–5). В описываемые Готье времена, сер. 2-го тыс. до н. э., монотеизм еще не стал отличием религиозных представлений древних евреев; огромную роль в его становлении сыграет движение пророков, датируемое VII–V вв. до н. э. Сходные с монотеизмом идеи продвигал своей царской властью Эхнатон в XIV в. до н. э., но нет никаких исторических оснований как-то связывать бога Атона с древнееврейскими верованиями.

[5] *...любовалась психостасиями...* — Здесь имеется в виду изображения психостасии, суда Осириса над мертвыми (см. примеч. 77 к Прологу).

[6] *...задумчиво разглядывала фрески, запечалевшие образы западного царства.* — Маловероятно, что Таосер могла видеть росписи в подземных царских захоронениях, так как после погребения они закрывались раз и навсегда. Но как дочь высокопоставленного жреца она, наверно, могла участвовать в важных религиозных церемониях и видеть священные помещения храмов, куда простой люд не допускался.

[7] *...она миновала жуткие... места, где ночью заправляли шайки воров...* — Готье переносит в древнюю эпоху романтическую тему из романов XIX в. (см., напр., «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго). Впрочем, позднее, в конце эпохи Нового царства и в Третий переходный период (XII–X вв. до н. э.), целые шайки «специализировались» на ограблении царских усыпальниц, что заставило жрецов при XXI династии тайно перезахоронить уже ограбленные мумии великих фараонов

Нового царства в двух тайниках на западном берегу Фив, где их уже обнаружили археологи.

[8] *Сипуха* — маленькая сова, отличающаяся пронзительным и зловещим криком.

[9] *...колонны... поддерживали голубой потолок, как небо, усыпанный звездами...* — Египетский храм являл собой вселенную в миниатюре: пол представлял землю, колонны — деревья, растущие между землей и небом, а потолок — небо.

[10] *Кнеф* (устаревшее для Хнум) — бог плодородия, изображавшийся в виде барана или человека с головой барана; демиург, вылепивший на гончарном круге богов, людей и их двойников («ка»). Властелин человеческих судеб, он помогал женщинам при родах. Центр культа — остров Элефантина, но Хнум почитался во всем Египте и Нубии.

[11] *Буто* (Уто). — Так греки иногда называли египетскую богиню Уаджет, царский урей, богиню-кобру. Центром ее культа был древний город Буто (*егип.* Пер-Уаджет — букв.: Дом Уаджет; совр. Телль эль-Фараин), идентифицированный с Пе и Депом, полумифической столицей додинастического Египта. См. также примеч. 100 к Прологу.

[12] *Птах* — бог-демиург, центром культа которого была великая столица — Мемфис. Согласно так называемому «Мемфисскому теологическому трактату», Птах сотворил мир словом, задуманном в его сердце и сказанном его языком.

[13] *Пан-Мендес* — греческое именование отождествляемого с Паном бога-барана (вероятно, Геродот спутал его с козлом), почитавшегося в городе Мендесе (древний Пер-Банебджедет), столице 16-го нижнеегипетского нома.

[14] *Пи-Зевс* — Амон-Ра.

[15] *...Ремфа, Эртози...* — Идентификации не поддаются.

[16] *Пи-Гермес* — бог мудрости Тот. См. примеч. 28 к Прологу.

[17] *Имутхес* (Имхотеп) — архитектор (XXVIII в. до н. э.), построивший в Саккаре великолепный погребальный комплекс фараона Джосера с первой пирамидой (ступенчатой). Почитавшийся как великий мудрец, архитектор и врач, Имхотеп был обожествлен: от VII—VI вв. до н. э. сохранилось много бронзовых статуэток, изображающих его погруженным в чтение папируса.

[18] *...шесть богинь: Луна, Эфир, Огонь, Воздух, Вода и Земля.* — Перечисленных богинь в египетском пантеоне не было. Правда, можно вспомнить Хонсу — бога луны, Атума — бога заходящего солнца, Нут — богиню неба и Шу — бога воздуха.

[19] *...триста шестьдесят пять деканов, или демонов каждого дня.* — Деканами египтяне называли 36 созвездий, которые сменяли друг друга на горизонте закатного неба (каждое главенствовало на протяжении 10 дней). Название «деканы» им дали греческие астрологи, а египтяне поначалу называли их просто звездами; выделены они были не позднее сер. 2-го тыс. до н. э. для исчисления времени в течение ночи. К началу новой эры деканы стали восприниматься как боги времени и судьбы и каждый из них получил свое имя. «Демонов каждого дня» у египтян не было, но в Позднее время был «Календарь счастливых и несчастливых дат», в соответствии с мифическими событиями, которые отметили их в начальные времена, когда Египтом правили боги.

[20] *Бусирис* — греческое название города Джеду в дельте Нила, где был центр культа Осириса (считалось, что там Исида нашла позвоночник супруга — см. примеч. 3 к гл. X).

[21] *Бубастис* — греческое название города в Нижнем Египте, который был центром поклонения богине-кошке Баст (Бастет), первоначально богине лекарственных мазей, затем радости и женской веселости.

[22] *Серапис* — бог, культ которого был введен по приказу египетского царя Птолемея I (305–283 гг. до н. э.). Его имя, составленное из имен богов Осириса и Аписа, было как бы египетским, а иконография и атрибуты — греческими. Почитался он как универсальное божество, покровитель династии Лагидов и новой столицы — Александрии, где и пользовался наибольшей популярностью.

[23] *...в его центре сиял треугольник с непонятными письменами.* — Возможно, имеется в виду символ Бога Яхве (треугольник) и четыре буквы древнееврейского языка, обозначающие его имя (в латинской транскрипции — YHWH).

Глава XIII

[1] *...гороскоп вселенной...* — Египтяне астрологией в современном смысле этого слова не занимались; вера в гороскопы благодаря чужеземным влияниям распространилась примерно в сер. 1-го тыс. до н. э.

[2] *Нейт.* — Готье, очевидно, путает Нейт, древнюю богиню войны и охоты, владычицу города Саиса, с Нут — богиней неба, матерью звезд и главных божеств: Ра, Осириса, Сета, Исиды и Нефтиды. Согласно мифу, Нут ежедневно проглатывает своих детей, а утром рождает их снова (смена дня и ночи). Как многие египетские божества, Нут связана с культом мертвых: ее изображение, как бы распростертое над мумией, нередко помещалось на внутренней стороне крышки саркофага. В 1-м тыс. до н. э. богини часто контаминируются, поэтому Нейт, ставшая в связи со столичным статусом Саиса при XXVI династии главной богиней Египта, вполне могла быть представлена как Нут, что и отразилось в трудах первых египтологов, больше ориентировавшихся на поздние источники.

[3] *...движется Солнце на двенадцати дневных и двенадцати ночных ладьях...* — Египтяне считали, что бог солнца движется в ладье днем (двенадцать часов) с востока на запад и ночью — с запада на восток. Изображение путешествующего ночью солнца (отождествляемого с умершим фараоном), путь которому преграждает воплощение хаоса змей Апопи, является излюбленной темой в росписи царских захоронений (так называемая Книга Амдуат — «О том, что в ином мире»). Победа над Апопи, одерживаемая богом солнца и его сторонниками каждую ночь, открывала путь к воскресению светила — восходу.

[4] *...ведомых божеством с головой сокола и Небвой — покровительницей лодок.* — Имеются в виду два божества, сопровождающие бога солнца в его ладье: Хор с головой сокола, управляющий рулем, и Хатхор, одним из эпитетов которой является «Владычица ладьи», что по-египетски звучит приблизительно как «Небет-уат».

[5] *Тоби* (точнее Тиби) — древнеегипетское название пятого месяца года, первого месяца сезона всходов, следовавшего за месяцем Хойяк. См. примеч. 4 к гл. II.

[6] *...Орион влияет на левое ухо, а Сириус — на сердце...* — Источником данного утверждения для Готье послужили «Письма из Египта и Нубии» Ж.-Ф. Шампольона, где, в частности, говорится о представленных на потолках некоторых царских поминальных храмов и гробниц картах звездного неба. См. также примеч. 9 к гл. XII.

[7] *Возглавлял парад, ведомый Хором ~ на руках и ногах.* — Готье описывает сцену из росписи гробницы Сети I (см. примеч. 64 к Прологу), на которой изображен Хор, смотрящий на человечество, представленное четырьмя народами, населявшими, как думали египтяне, Землю: египтянами, нубийцами, азиатами и ливийцами (тимху), которых Готье вслед за Шампольоном принимает за европейцев. В этом нет ошибки — как и египтяне, ливийцы принадлежат к южным европеоидам.

[8] *...приподнять покрывало Исиды.* — См. примеч. 3 к Посвящению (о Новалисе) См. примеч. 2 к гл. IV «Царя Кандавла».

Глава XIV

[1] *Сикль* — весовая и денежная единица Вавилона, равная 8,4 г серебра, принятая за эталон в древней Персии (VI—V вв. до н. э.), а затем в Иудее. Но в сокровищнице фараона эпохи Нового царства было гораздо более распространенное в долине Нила золото, измеряемое в египетских мерах (например, кольцах).

[2] *Кратер* — у греков сосуд из металла или керамики с широким горлом, используемый для смешивания жидкостей, прежде всего вина с водой (именно так они употребляли вино и, желая неразбавленного, говорили «налей по-скифски»). Египтяне не разбавляли вино и производили его уже при первых династиях; кроме того, значительное количество вина уже тогда импортировали с территории Восточного Средиземноморья, как свидетельствуют находки сосудов и остатки в них самого вина из гробниц царей в Абидосе, хотя «национальным» напитком можно назвать пиво. Изображения критских сосудов, попавших в Египет в качестве дипломатических даров, известны в росписях гробниц эпохи Нового царства. См. примеч. 54 к гл. I «Фортунио».

[3] *...бусы из... сердечек, перемеженных крестиками...* — Под «крестиками» Готье имеет в виду «анх» — крест с кольцеобразным навершием, петлей, иероглиф, означающий жизнь. Анхи часто именуют египетским крестом, в связи с тем что в течение долгого времени после принятия египтянами христианства изображение анха часто появлялось на месте христианского креста.

Глава XV

[1] *Аарон* — сын Амрама и Иохаведы из колена Левия, старший брат Моисея. По приказанию Господа становится толмачом своему косноязычному брату Моисею, а также исполнителем всех его указаний. Здесь и далее Готье опирается на ветхозаветную историю о казнях египетских и бегстве евреев из Египта (см.: Исх: 4—15).

[2] *Израиль.* — См. примеч. 5 к гл. VIII.

[3] *...фараон... велел не давать им соломы.* — Ср.: «<...> не давайте впредь народу соломы для делания кирпича» (Исх. 5: 7).

[4] *Жниво* — здесь: солома, оставшаяся на корню после жатвы.

[5] *Иероглифит* — неологизм, придуманный Готье для обозначения магов фараона, посвященных в тайные науки.

[6] *Псилл.* — Псиллы, согласно Страбону, племена, населявшие земли к западу от Египта (древняя Ливия). Псиллы считались лучшими укротителями змей, так как родоначальником племени был герой, превратившийся из змея в человека (см.: *Страбон.* География. XIII. 14).

[7] *Эннана* (точнее Инени) — иерограммат, главный писец, один из членов коллегии девяти иерограмматов, о котором упоминает выдающийся французский египтолог, истинный продолжатель дела Шампольона, хотя он не был его учеником, Эммануэль де Руже (1811—1872). Готье изучил его труд: «Комментарий к одной египетской рукописи, написанной иератическим письмом» (1852). Руже первым перевел «Сказку о двух братьях» на папирусе д'Орбиней XIX династии (хранится в Британском музее), переписанную писцом Инени с не дошедшей до нас рукописи, что открыло начало изучению древнеегипетской литературы (по воле судьбы это было первое литературное произведение, известное в Европе; до него находили лишь разного рода документы и погребальные надписи). Эта сказка начинается с истории о попытке соблазнения юноши замужней женщиной, очень похожей на библейскую историю Иосифа, соблазняемого женой Потифара.

[8] *Гермес Трисмегист* (греч. — Гермес Трижды Величайший). — Гермес, отождествленный с древнеегипетским богом письма и мудрости Тотом, считался носителем откровения (логос), покровителем греко-египетских мистериальных таинств в герметизме. Ему приписываются герметические книги II—III вв. (в том числе средневековыми алхимиками «Изумрудная скрижаль»), в коих он через своих сыновей (с многозначительными именами: Тот, Асклепий и Амон) сообщает людям божественное откровение. По мнению В.С. Соловьева, это учение представляет своеобразное сочетание трех элементов: египетского многобожия, иудейско-христианского монотеизма и греческого философского идеализма. Готье опять переносит в эпоху Нового царства реалии значительно более позднего времени.

[9] *Номарх* — правитель нома (см. примеч. 76 к Прологу).

Глава XVI

[1] *Лабиринт* — название, которое Геродот (см.: История. II. 148) дал величественным (70 000 м^2) развалинам поминального храма фараона Аменемхета III (XVIII в. до н. э.) в Хаваре (Фаюмский оазис). Храм отличался сложной планировкой многочисленных святилищ со статуями богов всех номов; до нашего времени практически не сохранился, так как в последующие времена использовался в качестве каменоломни.

[2] *...его не поняли бы даже во времена Менея — первого царя Египта...* — Меней (точнее Менес, Мина; рубеж IV—III тыс. до н. э.) — первый летописный царь объединенного Египта, который, по преданию, объединил Верхний и Нижний Египет в одно царство и основал его великую столицу — Мемфис.

[3] *...Великая пирамида раскрывает лишь ничтожную часть своей... тайны.* — Имеется в виду самая высокая и самая знаменитая египетская пирамида — пирамида Хуфу (в грецизированной форме — Хеопса) в Гизе, построенная примерно в XXVII в. до н. э. Это удивительное сооружение всегда притягивало воображение людей, ей и сейчас приписывают различные функции — хранилища всех тайн Вселенной, оракула всемирной истории, хитрой сокровищницы, генератора космической энергии, созданной инопланетным разумом, и т. д., хотя стоящая рядом с ней пирамида Хафра (*греч.* Хефрена) чуть моложе и всего на 10 м ниже. У египтологов нет серьезных оснований сомневаться в том, что это действительно была гробница Хуфу, название которой («Горизонт Хуфу») сохранилось на потолке в так на-

зываемых разгрузочных помещениях, случайно обнаруженных над погребальной камерой царя.

[4] *Чермное море.* — Так в Библии именуется Красное море.

[5] *...дверь которого не была отмечена кровью...* — Бог через Моисея повелел всем еврейским семьям заколоть ягненка и смазать его кровью перекладины и косяки своих дверей, чтобы беда миновала их (см.: Исх. 12: 21–23).

Глава XVII

[1] *Тело наследника перевезли в Мемнонию, где ему предстояло подвергнуться процедуре бальзамирования, которая длится семьдесят дней.* — Информация о продолжительности бальзамирования заимствована у Геродота (см.: История. II. 86–90). Из древнеегипетских источников известно, что тело находилось у бальзамировщиков минимум сорок дней.

[2] *Иосиф* — в Ветхом Завете любимый сын Иакова и Рахили, проданный завидовавшими ему братьями в рабство. Пережив немало злоключений, стал верховным сановником Египта, любимцем фараона и использовал свое положение для помощи своему народу. После его смерти новый фараон начал снова притеснять евреев (см.: Быт. 37–50).

[3] *Левиафан.* — См. примеч. 13 к гл. IV повести «Двое на двое».

[4] *...два миллиона голосов...* — Число евреев, вышедших из Египта, приводится в Ветхом Завете: «<...> до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей; и множество разноплеменных людей вышли с ними <...>» (Исх. 12: 37), т. е. действительно приблизительно два миллиона человек — число, с исторической точки зрения, неправдоподобное.

Глава XVIII

[1] *...Таосер ~ правила Египтом... недолго...* — О Таосер (точнее, в соответствии с современной транскрипцией, Таусерт) впервые упоминает Шампольон, который во время своего пребывания в Долине царей прочел ее имя в гробнице и с удивлением определил, что это была усыпальница женщины-фараона (см.: *Шампольон Ж-Ф.* Письма из Египта и Нубии. Бибан-эль-Мулук, 26 мая 1829 г.). Таусерт была последней женщиной-фараоном, если не считать эллинистическую правительницу Клеопатру VII, завершившую династию Птолемеев (доказанными можно считать правления Нефрусебек в конце XII династии и Хатшепсут из XVIII; очень возможно, что были и другие правительницы: Хетепнейт и Меритнейт из I династии, регентшей была мать Пепи II из VI династии; похоже, недолго царствовала дочь Эхнатона и вдова Тутанхамона Анхесенпаамон). Таусерт, вдова Сети II, оказалась последней царицей XIX династии, которая начала путь к самостоятельному правлению традиционно для «владычицы обеих земель» — регентшей при десяти- или даже четырнадцатилетнем Саптахе, который был сыном фараона от второстепенной жены (как Тутмос III не был сыном Хатшепсут, что не помешало ей сначала стать регентшей). Когда же на 6-м году правления Саптах умер (по другим данным, он умер уже через год), Таусерт взошла на престол. Доказательством последнего является составленная для нее царская титулатура, учитывающая пол монарха («дочь Ра», «любимая Амоном», «избранная Мут»). Царицу изображают

в статуях с царскими регалиями и в голубом военном шлеме фараонов (храм в Амаде), как будто она исполняет его воинские функции. Годы ее правления начинают считать со смерти ее супруга, опуская период регентства. Не исключено, что к власти ей помог прийти чужеземец Баи, который в эту смутную эпоху стал «великим казначеем». Два граффити засвидетельствовали красноречивый эпитет Баи: «тот, кто устраивает царя на месте его отца». На 3-м году правления Таусерт он обнаглел до того, что начал строить себе гробницу в Долине царей! Некоторые ученые полагают, что Баи — тот самый сириец, который узурпировал власть после XIX династии, но был свергнут, а престол пришлось «очищать». Стоит заметить, что еще при жизни супруга Таусерт, на 2-м году его правления, объявляется некий Аменмес, провозглашающий себя фараоном. До нас дошли ювелирные украшения царицы (еще до ее воцарения — на них имена ее и супруга), найденные в скромной шахтовой гробнице Долины царей (возможно, послужившей усыпальницей дочери царицы или даже ей самой), статуя из Гелиополиса (увы, статуи царицы уничтожались; так, похоже, статуэтка из Мюнхена изображала ее с Саптахом на коленях, но надежно идентифицируется только он), неоконченный поминальный храм к югу от Рамессеума и гробница (см. примеч. 2). Правила царица Египтом семь лет и почему-то вошла в царские списки Манефона как фараон (может, причина в том, что лишь полтора года из этих семи она была на троне одна, а более пяти лет — в качестве регентши при Саптахе). Похоже, завершилась XIX династия гражданской войной.

[2] *Царицу поместили в великолепную гробницу...* — Размеры гробницы Таусерт соответствуют царским (ее длина — 110 м), но, по мнению Х. Альтенмюллера, ее план является архитектурным компромиссом между типами усыпальниц, предназначенных для фараонов и цариц (см.: *Altenmüller H.* A biography in stone // Qweens of Egypt. P. 207–217). Первый колонный зал гробницы был декорирован, еще когда она была только «великой супругой» Сети II. Последующие росписи, как полагает другой современный египтолог, Ф. Абиц, являются сокращенным вариантом росписей гробницы сына Рамсеса II, Мернептаха (см.: *Abitz F.* König und Gott. Die Götterszenen in den ägyptischen Königsgräbern von Thutmosis IV. bis Ramses III. Wiesbaden: Verl. Otto Harrassowitz, 1984. (Ägyptologische Abhandlungen)). Любопытно, что в этой гробнице у всех мужских божеств, кроме Хора, эпитеты — в женском роде («Ра-Хорахти, владычица неба», «Тот, владычица божественных слов», «Птах, владычица Маат») — царица отождествляется с ними. К сожалению, трудно, а то и невозможно, восстановить этапы трансформации царицы в фараона по иконографии: гробница была узурпирована первым царем XX династии Сетхнахтом или его сыном Рамсесом III и изображения Таусерт были уничтожены (благо, не очень последовательно и аккуратно). Саркофаг царицы был использован для погребения сына Рамсеса III, а обнаружен был в незаконченной части гробницы Баи. Некоторые ученые предполагают, что остатки женской мумии, найденные в покрове Сетнахта в гробнице 35 Долины царей, принадлежат Таусерт.

[2] *Какеву — иерограммат двойной палаты света и хранитель свитков — запечатлел на папирусе ее историю...* — Какеву, точнее Кагабу, — писец сокровищницы фараона, «для души» которого Инени переписал «Сказку о двух братьях» и о котором упоминает в своей работе Э. де Руже. «Двойная палата света» (термин, употребленный де Руже) — сокровищница Верхнего и Нижнего Египта. См. также примеч. 7 к гл. XV.

•

СПИРИТА

Фантастическая повесть

О замысле написать повесть под названием «Спирит» («Spirit») Т. Готье стал говорить друзьям с конца 1861 года, а в 1863 году он начал работу над произведением, но прервал ее и вернулся к рукописи только в 1865 году во время пребывания в Женеве у Карлотты Гризи, любовная связь с которой не только подвигла писателя на посвящение повести этой женщине (см. об этом: *Spoelberch de Lovenjoul Ch.* Histoire des œuvres de Théophile Gautier: En 2 vol. P.: Charpentier, 1887. T. 2. P. 311–312), но и на окончательный выбор женского рода персонажа – призрака Спириты.

Впервые опубл. в журнале «Le Moniteur universel» (17 ноября – 6 декабря 1865 г.; 18 фельетонов). Отдельное изд.: *Gautier Th.* Spirite. P.: Charpentier, 1866. Многократные дальнейшие переиздания в значительной мере объяснялись успехом повести у любителей мистики и спиритуализма. В частности, глава французских спиритов Аллан Кардек (1804–1869) посвятил этому произведению Готье две статьи, помещенные в его журнале «Спиритическое обозрение» (см.: Revue spirite.1865. Décembre; 1866. Mars).

В Новом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1913), а также в Краткой литературной энциклопедии (1929–1932) в статьях о Готье утверждается, что на русский язык переводился роман Готье «Спирит». Никаких сведений об этом переводе и его издании найти не удалось.

Глава I

[1] *Маливер.* – См. примеч. 1 к гл. I «Аватары».

[2] *Сутаж.* – См. примеч. 19 к гл. II «Милитоны».

[3] *Фуляр* – легкая мягкая шелковая ткань, гладкая или с набивным рисунком. Получила распространение с XVIII в. Из фуляра делали носовые и шейные платки, а в XIX в. начали шить также сорочки и платья, изготовлять абажуры и занавески.

[4] *...шар в селадоновом рожке...* – Селадон – см. примеч. 2 к гл. XI «Аватары».

[5] *...Ги... держал в руке... «Эванджелину» Лонгфелло.* – «Эванджелина» (1847) – эпическая поэма американского поэта Генри Вордсворта Лонгфелло (1807–1822). 4 сентября 1864 г., т. е. в то время, когда Готье работал над повестью, американская актриса Элен Кей-Блант читала эту поэму со сцены парижского театра.

[6] *Сен-Жерменское предместье.* – См. примеч. 1 к гл. V «Фортунио».

[7] *...«Символика» Крейцера...* – «Символика» (1810–1812) – десятитомное сочинение немецкого философа-позитивиста Георга Фридриха Крейцера (1771–1858), в 1825–1851 гг. изданное в Париже и считавшееся первой попыткой научного изучения мифов и символов.

[8] *...«Небесная механика» Лапласа...* – «Небесная механика» (1798–1825) – фундаментальный труд по астрономии французского физика Пьер-Симона Лапласа (1749–1827).

[9] ...*«Астрономия» Араго...* — «Общедоступная астрономия» — изложение публичных лекций Д.-Ф.-Ж. Араго (см. примеч. 10 к гл. IV «Невинных распутников»), прочитанных им с 1812 по 1845 г.

[10] ...*«Физиология» Бурдаха...* — «Физиология как опытная наука» (1826—1842) — шеститомный труд немецкого анатома и нейрофизиолога Карла Фридриха Бурдаха (1776—1847), посвященный общему учению о живой природе.

[11] ...*«Космос» Гумбольдта...* — «Космос» (1845—1858) — научно-популярный свод знаний в области естествознания первой пол. XIX в., написанный немецким ученым, естествоиспытателем и путешественником Александром фон Гумбольдтом (1769—1859).

[12] *Клод Бернар* (1813—1878) — французский медик, автор «Введения в экспериментальную медицину» (1865).

[13] *Бертло* Марселен (1827—1907) — французский физикохимик, автор ряда научных открытий, а также книг «Происхождение алхимии» (1885) и «Революция в химии. Лавуазье» (1890).

[14] *Космогония* — область науки, изучающая происхождение и развитие космических тел и их систем. В XVIII—XIX вв. занималась в основном вопросами происхождения Солнечной системы. В XIX в. много споров велось вокруг книги Лапласа «Изложение системы мира» (1796), поскольку новые научные факты опровергали ее.

[15] *Микрография.* — Имеется в виду клеточная теория, начало которой положила книга английского физика Роберта Гука (1635—1703) «Микрография» (1665), в которой он ввел термин «клетка». В XIX в. в этой области биологии было сделано много важных открытий.

[16] *Самозарождение жизни.* — Теория самопроизвольного возникновения живой субстанции из неживого вещества, бытовавшая в различных вариантах с древних времен до XVII в., когда появились первые ее опровержения (опыты тосканского врача Франческо Реди (1626—1698). В XIX в. Луи Пастер (1822—1895) опроверг существовавшее представление о том, что при определенных условиях микроорганизмы могут зарождаться самопроизвольно из неживой материи (1860 г.). К этому вопросу он вернулся в 1863 г. в результате своих опытов над анаэробными инфузориями и сформулировал принцип: «Все живое из живого». Эти исследования Пастера волновали образованных людей тем, что имели и философское значение, поскольку теория «самозарождения» была аргументом в пользу материализма и опровергала божественное участие в сотворении мира.

[17] *Контрданс.* — См. примеч. 21 к гл. I «Невинных распутников».

[18] *Кринолин* — широкая нижняя юбка из волосяной ткани или юбка с вшитыми в нее обручами из стали или китового уса, которые придавали платью колоколообразную форму. Вошел в моду в 40-х годах и вышел из моды к нач. 70-х годов XIX в. См. также примеч. 11 к гл. IV «Жана и Жанетты».

[19] *Фигурантка.* — См. примеч. 1 к гл. VI «Невинных распутников».

[20] *Кремьё.* — Имя этого торговца лошадьми фигурирует в парижском справочнике за 1860 г. так же, как и все остальные имена поставщиков и названия общественных заведений, упоминаемых в этой повести.

[21] *Орлиное дерево* (Aquilaria agallocha) — дерево с древесиной черного цвета, произрастающее в Юго-Восточной Азии.

[22] *...несколько листиков, подкрашенных то ли берлинской лазурью, то ли ярью-медянкой...* — Имеются в виду масляные краски синего и зеленого цвета, применяемые как в живописи, так и в строительстве.

[23] *Коромандель* — старинная китайская техника лакировки, резьбы и росписи, позволяющая имитировать самые разные материалы: от дерева до самоцветов.

[24] *...штемпель таможни в Кяхте — последней российской заставе на границе с Китаем.* — Город Кяхта находится на границе России и Монголии, которая во времена написания повести входила в состав Китая.

[25] «*Обозрение Старого и Нового Света*» («La Revue des Deux Mondes») — литературно-познавательный журнал, основанный в 1829 г. и существующий поныне. В нем печатали свои рассказы Ф. Купер, Р. Киплинг, Ш. Бодлер, Жорж Санд и многие другие писатели.

[26] *Греймокин* (от англ. graymalkin — букв.: серая метелка или серый кот/серая кошка). — Это имя произносит ведьма в самом начале трагедии У. Шекспира «Макбет» (акт I, сц. 1). В пер. М. Лозинского — «Царапка», в пер. С.М. Соловьева — «Мурлыка», ибо это имя принадлежит коту — земному обличью демона.

[27] *...точь-в-точь героиня Диккенса по прозвищу Бюст, чья белая грудь служила ее мужу-банкиру витриной для драгоценностей.* — Аллюзия на роман Чарльза Диккенса (1812—1870) «Крошка Доррит» (1857) и его героиню — миссис Мердл по прозвищу Бюст.

[28] *...нос, который вполне мог удостоиться места в альбомах по основам рисунка...* — Альбомы по основам рисунка с натуры (десять тетрадей) издавались с 1773 г. Авторы — художник П.-Т. Ле Клерк (1740—1796) и гравер Ж.-Ф. Жанине (1752—1814).

[29] *Бумага верже* — бумага высокого сорта, которая вырабатывалась из чистой целлюлозы и использовалась преимущественно для малотиражных или подарочных изданий.

[30] *Гаварни.* — Имеется в виду Сюльпис Гийом Шевалье, по прозвищу Гаварни (1804—1866), автор многочисленных рисунков, иллюстрирующих парижскую светскую жизнь.

[31] *...как человек, который много путешествовал по России...* — Ко времени написания «Спириты» Готье уже дважды побывал в России (см. т. I, с. 691—692, «Основные даты жизни и творчества... Теофиля Готье», годы 1858—1859 и 1861).

Глава II

[1] *Да тут весь Париж, а я без белого галстука!* — В XIX в. на бал, званый обед или вечер полагалось надевать белый галстук, фрак или смокинг. Галстуки черного цвета были принадлежностью траурной или форменной одежды.

[2] *Тоже мне Талейран, хитрая лиса: не прислушался к первому побуждению, а зря.* — Талейрану (см. примеч. 62 к гл. I «Фортунио») приписывается афоризм: «Остерегайтесь первых побуждений: они всегда самые благородные». Согласно некоторым источникам, автор этих слов — французский дипломат, граф Казимир де Монтрон (1768—1843) (см.: *Gronow R.H.* Recollections and anecdotes: being a second series of reminiscences of te camp, the court, and the clubs. L., 1863, P. 88; *Roger A.* Le musée de la conversation: répertoire de citations françaises, dictons modernes, curiosités littéraires, historiques et anecdotiques, avec une indication précise des sources. P., 1902. Vol. 2. P. 597).

[3] *Крейслер* — имя полусумасшедшего капельмейстера из цикла очерков «Крейслериана» (1810—1815) и романа «Житейские воззрения кота Мура» (1820—1822) немецкого писателя Гофмана (см. примеч. 18 к гл. I «Аватары»). Возможно, Готье дал пианисту такое имя под влиянием знаменитой фантазии для фортепиано Шумана «Крейслериана» (1838).

[4] *...хроматический галоп Листа...* — «Большой хроматический галоп» (1837) — пьеса Листа, которую он часто исполнял в течение всей своей карьеры пианиста.

[5] *...не слышали очаровательной графини... исполнившей арию «Ива»...* — Имеется в виду ария Дездемоны из оперы Россини «Отелло» (акт III, сц. IV).

[6] *Малибран* — сценический псевдоним сопрано Марии де ла Фелисидад Гарсии (1808—1836), которая блистала в операх Россини.

[7] *Барбедьен.* — См. примеч. 1 к гл. VIII «Аватары».

[8] *Винтерхальтер* Франц-Ксавье (1805—1873) — художник-портретист, работавший как при французском королевском дворе (1824—1830 гг.), так и при дворе императора Наполеона III (1852—1870 гг.). Его искусство было поверхностным и блестящим, вполне соответствующим вульгарным вкусам с виду роскошной эпохи Второй империи, которые Готье, как писатель и критик, подвергал резкому осуждению.

[9] *Уорт* Чарлз Фредерик (1825—1895) — английский модельер, сделавший карьеру в Париже, основатель первого в истории салона, в котором сочетались ателье, магазин и своеобразный театр моды. Именно ему принадлежала идея демонстрации новых моделей одежды привлекательными девушками. Его салон открылся в Париже на Рю-де-ла-Пэ осенью 1858 г., а к 1870 г. он получал уже 40 тыс. франков чистой прибыли в год.

[10] *...вопреки арии господина Планара, не обошлось без искусства, которое приукрасило природу.* — См. примеч. 7 к гл. XII «Жана и Жанетты».

[11] *Помона.* — См. примеч. 6 к гл. III «Жана и Жанетты».

[12] *Кипсек.* — См. примеч. 27 к гл. I «Милитоны».

[13] *Стереоскоп* — оптический бинокулярный прибор для просмотра изображений. Изобретен в 1837 г. На Всемирной выставке в Лондоне (1851 г.) был выставлен стереоскоп для дагерротипных снимков, а к 1860 г. практически в каждой гостиной имелся стереоскоп и набор пластинок с видами самых разных уголков земного шара.

[14] *Сведенборг.* — См. примеч. 22 к гл. IX «Аватары».

[15] *...сверкали кресты орденов Слона и Даннеброга...* — Имеются в виду датские ордена, первый из которых был учрежден в 1693 г.; вручался лицам королевской крови, датским и иностранным, а также тридцати рыцарям. Крест этого ордена изображен на попоне эмалированного и украшенного драгоценными камнями слоника. Кавалерами датского Ордена Слона могут стать только кавалеры ордена Даннеброга, учрежденного в том же году для принцев крови и пятидесяти рыцарей из числа высших придворных сановников. С 1808 г. орден был расширен и открыт для лиц, имеющих заслуги, независимо от их социального статуса.

[16] *Орден Александра Невского* — награда Российской империи, которая вручалась в 1725—1917 гг. за военные и гражданские заслуги.

[17] *Классическая чистота его черт напоминала греко-скандинавскую скульптуру Торвальдсена.* — Бертель Торвальдсен (1768—1844) — датский скульптор-неоклассик,

создатель произведений, проникнутых духом возвышенной и благородно-сдержанной героики. Первым из датских художников завоевал европейскую известность.

[18] *Трен* — здесь: декоративный элемент в архитектуре, имитирующий спускающуюся ветвь или стебель с листьями.

[19] *...судьба студента Натаниэля из «Песочного человека» Гофмана.* — В этой новелле Гофмана (см. примеч. 18 к гл. I «Аватары») студент влюбляется в механическую куклу Олимпию, которую сначала принимает за настоящую девушку.

[20] *...есть такие люди, что самого турецкого султана женили б на республике венецианской.* — Слегка измененная реплика Фрозины из пьесы Мольера «Скупой» (д. II, явл. 6). Ср. в пер. В.С. Лихачева: «Кажется, приди мне только в голову — турецкого султана женила б на республике венецианской».

Глава III

[1] *Мистагог* — в Древней Греции жрец, руководивший мистериями и готовивший неофитов к обряду посвящения.

[2] *Машлах* (тур.). — Это слово Готье заимствовал из книги Ж. де Нерваля «Путешествие на Восток». Нерваль пишет, что «это длинный плащ из верблюжьей шерсти, в который можно закутаться с головы до пят» (Т. I. Гл. 1: Маска и покрывало. *Пер. М.Е. Таймановой*).

[3] *...вспомнил «Золотого жука» Эдгара По и то, как... Легран разгадал... смысл... записки ~ даже если бы ему на помощь пришел сам Огюст Дюпен из «Похищенного письма» и «Убийства на улице Морг»...* — Имеются в виду рассказы американского писателя Эдгара Аллана По (1809—1849) и их главные герои — обедневшие аристократы Уильям Легран и Огюст Дюпен. Первые переводы этих рассказов появились во Франции в 1845—1847 гг. Упомянутые детективы были первыми в сборнике переводов Шарля Бодлера, опубликованном в 1856 г.

[4] *Утро с серыми глазами, как говорит Шекспир, спустилось не по склонам зеленых холмов...* — Возможно, контаминация нескольких шекспировских цитат. Во французских переводах Шекспира (см., напр., пер. П. Летурнёра 1836 г.) слова «le matin aux yeux gris» соответствуют реплике монаха Лоренцо: «The grey-eyed morn smiles on the frowing night» (*Шекспир У.* Ромео и Джульетта. Акт. II, сц. 3) в английском тексте пьесы. В русских переводах наиболее близок шекспировскому вариант Т.Л. Щепкиной-Куперник: «Рассвет уж улыбнулся сероокий». Ср.: также цитату из «Ромео и Джульетты» (акт III, сц. 5, 9—10) в пер. Б. Пастернака: «В горах родился день | И тянется на цыпочках к вершинам» и в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: «<...> радостное утро | На цыпочки встает на горных кручах». Ср. другое место из той же трагедии в пер. Д.Л. Михаловского: «Вон тот серый свет — не утра луч» (акт III, сц. 5, 19). Ср. также фрагмент из «Гамлета» в пер. Б. Пастернака: «...утро в розовом плаще | Росу пригорков топчет на востоке» (акт I, сц. 1, 166—167).

[5] *Кафе «Биньон»* — модное кафе на бульваре Итальянцев. От Сен-Жерменского предместья до бульвара Итальянцев около трех километров.

[6] *...греческая максима: «Воздерживаюсь от суждения».* — *Секст Эмпирик.* Три книги Пирроновых положений. I. 23. *Пер. Н.В. Брюлловой-Шаскольской.* Одна из максим классического скептицизма. См. также примеч. 56 к Прологу «Романа о мумии».

[7] *Маха.* — См. примеч. 22 к гл. II «Милитоны».

[8] *...я же вроде Митридата — чай на меня не действует.* — Согласно легенде, понтийский царь Митридат VI Евпатор (132—63 до н. э.) с юности принимал в малых дозах яды, чтобы стать неуязвимым для возможных отравителей.

[9] *Почему именно я, а не д'Аверсак, не Бомон, не Яновски...* — В ряд вымышленных имен затесался псевдоним Луи-Александра Бома (1827—1909), автора либретто ко многим операм и опереттам, приятеля Готье.

[10] *Буффы.* — См. примеч. 5 к гл. I «Фортунио».

[11] *У меня нет... синего фрака, как у Вертера...* — Вертер (см. примеч. 5 к гл. III «Невинных распутников») носил синий фрак, желтые панталоны и жилет. Этот наряд был в большой моде у его многочисленных подражателей.

[12] *...бледную красавицу с длинными буклями, похожую на Китти Белл из книги Альфреда де Виньи?* — Китти Белл — героиня романа «Стелло» (1832), юная англичанка с нежным, бледным и вытянутым лицом, а также с прекрасными волосами, длинными буклями спускавшимися на грудь (см.: *А. де Виньи.* Стелло, или Голубые бесы. Гл. XIV). См. также примеч. 13 к гл. XVI «Фортунио».

[13] *Это преступление — не побывать в Афинах, не увидеть своими глазами Акрополь и Парфенон.* — Парфенон — главный и наиболее известный храм Афинского акрополя, посвященный Афине Парфенос (т. е. Деве), богине—покровительнице города. Строительство началось в 447 г. до н. э., освящение храма состоялось в 438 г. до н. э., однако отделка (главным образом скульптурные работы) продолжалась до 432 до н. э.

[14] *...сесть... на австрийский пароход Ллойда...* — Имеется в виду один из пароходов, принадлежащих к Регистру Ллойда — добровольной ассоциации судовладельцев, судостроительных фирм, изготовителей судовых механизмов и страховых компаний, основанной в Великобритании в 1760 г.

[15] *...потом полюбоваться Итакой, которая, как и во времена Гомера, soli occidenti bene objacentem, то бишь лежит на самом западе.* — Маливер цитирует Гомера на латыни (первый перевод «Одиссеи» на латынь был сделан римским поэтом Ливием Андроником в 284—204 гг. до н. э.). Гомер действительно считал остров Итаку самым западным из Ионических островов. Ср.: «...много | Там и других островов, недалеких один от другого: | Зам, и Дулихий, и лесом богатый Закинф; и на самом | Западе плоско лежит окруженная морем Итака» (*Гомер.* Одиссея. IX. 24—26. *Пер. В.И. Жуковского*). На самом деле Итака лежит к востоку от упоминаемого Гомером о-ва Зам (ныне — Кефалиния).

[16] *Залив Лепанто* — устаревшее название Коринфского залива, разделяющего материковую Грецию и полуостров Пелопоннес.

[17] *...пересечь перешеек...* — Имеется в виду Коринфский перешеек, соединяющий Балканский полуостров и полуостров Пелопоннес. Канала, открытого в 1893 г., еще не было, и потому путешественники преодолевали перешеек по суше, чтобы выйти в залив Сароникос и оттуда снова морем добраться до Афин.

[18] *...что осталось от Коринфа, который не всякому суждено увидеть.* — Старая латинская поговорка: «Non omnibus licet adire Corinthum» («Не всякому дано причалить к Коринфу») здесь имеет автобиографический подтекст. В 1852 г., возвращаясь из Константинополя именно по тому маршруту, который описан в этом абзаце, Готье не смог попасть в Коринф, хотя такое намерение у него было.

[19] *Пирей* — главный внешнеторговый порт Афин.

[20] *Неужели надо... отправляться в страну, полную опасностей, если верить... Эдмону Абу и его «Королю гор»?* — Роман «Король гор» (1856) французского публициста и беллетриста Эдмона Абу (1828—1885) описывает опереточную Грецию с разбойниками и сыщиками. Готье встретился с Э. Абу в Афинах в 1852 г., и Эдмон стал гидом для него и Эрнесты Гризи.

Глава IV

[1] *...путем одного из тех переходов, что в два счета ведут вас от падения Ниневии к успеху Гладиатора...* — Судя по контексту, Готье имеет в виду некую мелодраму или диораму «Падение Ниневии». Ниневия — столица Новоассирийского царства, которая в 612 г. до н. э. была разрушена войском вавилонян и мидян. В 40-е годы XIX в. на месте древнего города начались археологические раскопки. «Гладиаторы. История Рима и Иудеи» (1863) — книга шотландского писателя Джорджа Джона Уайт-Мелвилла (1821—1878). В 1864 г. вышла во французском переводе; Готье написал предисловие к этому изданию. См. также примеч. 2 к гл. IX «Двое на двое».

[2] *...завел речь... об удивительных операх Вагнера — «Летучем голландце», «Лоэнгрине» и «Тристане и Изольде».* — «Летучий голландец» (1843), «Лоэнгрин» (1848), «Тристан и Изольда» (1859) — новаторские оперы немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883), в защиту которых выступал Готье. См. также примеч. 4.

[3] *Герц* Анри (1806—1888) — французский пианист и композитор, профессор Консерватории, долгие годы был модным педагогом.

[4] *...ничего не смыслила в музыке... какую сочинял автор «Тангейзера» и которая подняла у нас настоящую бурю.* — Премьера оперы Вагнера «Тангейзер» (1845) состоялась в Париже 13 марта 1861 г. Опера была освистана разбушевавшимися членами «Жокей-клуба»; началась бурная антивагнеровская кампания.

[5] *...нынче надо, как во времена глюкистов и пиччинистов, быть за королеву или за короля.* — Речь идет о яростной дискуссии между поклонниками Кристофа фон Глюка (1714—1787), немецкого композитора, которому покровительствовала королева Мария-Антуанетта, и почитателями итальянского композитора Никола Пиччини (1728—1800), работавшего в парижской Опере.

[6] *Шапель* (наст. имя Клод-Эмануэль Люилье; 1626—1686) — поэт и философ-эпикуреец, друг Буало и Мольера, известный своим вольномыслием в религиозных вопросах.

[7] *Хьюм* Дэниел Данглас (1833—1886) — шотландский медиум, прославившийся своими способностями к ясновидению и левитации и пользовавшийся успехом у аристократов Франции и России, включая европейских монархов и членов их семей. Возможно, Готье находился под влиянием А. Дюма, который в своих «Путевых впечатлениях. В России» (1859—1862) посвятил Хьюму целую главу под названием «Спирит» (см.: *Дюма А.* Путевые впечатления. В России: В 3 т. М.: Ладомир, 1993. Т. 1. С. 87—118).

[8] *Эолова арфа* — музыкальный инструмент со струнами из жил одинаковой длины, но разной толщины, натянутыми над ящиком-резонатором. Инструмент устанавливали на открытом воздухе, где ветер колеблет струны, а возникающий звук усиливается резонаторным ящиком. Известное в течение многих веков, это

устройство с его бесплотным и таинственным звучанием приобрело в Европе наибольшую популярность в период с 1760 по 1850 г.

[9] *...дошел до начала Елисейских полей...* — Это означает, что герой прошел от улицы Шоссе-д'Антен, где живет госпожа д'Эмберкур, около двух с половиной километров.

[10] *...он даже удостоился... улыбки одной из сомнительных светских знаменитостей, которая ехала в открытой коляске, выставив напоказ роскошные меха, отвоеванные у России.* — Шутливый намек на богатых российских содержателей, одним из которых в свое время был и литовский князь Леон Радзивилл (1808—1884), покровитель Карлотты Гризи и отец ее единственной дочери Леонтины.

[11] *Марко* — персонаж музыкальной драмы «Мраморные девы». См. примеч. 14 к гл. I «Аватары».

[12] *Баронесса д'Анж* — персонаж комедии Дюма-сына (1824—1895) «Полусвет» (1855).

[13] «*...как говорит Рабле... заморить червячка*». — См.: *Рабле Ф.* Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. I. Гл. 23. *Пер. Н.М. Любимова.*

[14] *...на иллюстрациях Гюстава Доре... Вечный жид видит у дороги распятого Христа, а Дон-Кихот — рыцарей, сражающихся с волшебниками.* — Речь идет об иллюстрациях, сделанных выдающимся французским гравером и живописцем Гюставом Доре (1832—1883) к «Легенде о Вечном жиде» (1856) поэта-социалиста Пьера Дюпона (1821—1870). Мода на эту легенду возникла после выхода романа Эжена Сю «Вечный жид». Иллюстрации к «Дон-Кихоту» были написаны художником в 1863 г. Гравюра, о которой говорит Готье, относится к ч. I, гл. II романа Сервантеса.

[15] *...ища, кого поглотить...* — 1 Петр. 5: 8. Готье использует библейскую цитату безотносительно к дьяволу, о котором говорит святой Петр, обозначая состояние, которое теологи называют «наваждением».

[16] *...можно сказать, как Гамлет Полонию: «Это верблюд, если только не кит»...* — Имеется в виду сцена, в которой услужливый Полоний, не раздумывая, соглашается с прямо противоположными утверждениями принца. Ср. в пер. М. Лозинского:

Гамлет

Вы видите вон то облако, почти что вроде верблюда?

Полоний

Ей-богу, оно действительно похоже на верблюда.

Гамлет

По-моему, оно похоже на ласточку.

Полоний

У него спина как у ласточки.

Гамлет

Или как у кита?

Полоний

Совсем как у кита.

(*Шекспир У.* Гамлет. Акт III, сц. 2.)

[17] *...на улицу Шуазёль, где находился клуб...* — Этот клуб назывался «Кружок искусств».

[18] *Маркёр* — лицо, прислуживающее при игре на бильярде, ведущее счет, а также выступающее в качестве партнера, если в таковом возникает нужда.

[19] *...вносили... на гильошированных подносах...* — Гильошировка — узорная резьба по металлу, часто покрытая прозрачной эмалью.

[20] *Шато-марго* — одно из лучших и самых дорогих красных вин, производимых в южной части Медока.

[21] *...вам не придется... услышать упрек, подобный тому, что... Сведенборг услышал... от белого ангела: «Ты слишком много ешь!»* — Речь идет о знаменитом лондонском видении 1745 г., после которого Сведенборг (см. примеч. 22 к гл. IX «Аватары») окончательно поверил в свое предназначение духовидца. С того дня Сведенборг питался только хлебом, пил кофе и воду. Об этом видении говорит персонаж «мистического» романа О. де Бальзака «Серафита» (1833–1835) пастор Беккер:

> Вот как сам Сведенборг рассказывает об этом: однажды вечером, в Лондоне, когда он уже отобедал с большим аппетитом, густой туман распространился по его комнате. Когда туман рассеялся, в углу комнаты возникло нечто, принявшее очертания человека, голос его был ужасен: «*Не ешь столько!*» И Сведенборг установил себе строжайшую диету (*Бальзак О. де.* Серафита. Гл. III. *Пер. Л.О. Гуревича*).

[22] «*Вуэльта де Абахо*» (правильно: «Вуэльта Абахо») — сорт кубинских сигар, производимых на востоке Кубы, получивших свое название от местности, где выращивается табак. Они ценились меньше, чем сигары с запада Кубы — «Вуэльта Арриба», но у Готье было свое мнение на этот счет. О том, как он курил эти сигары на морозе, см. его «Путешествие в Россию» (гл. XII).

[23] *Рубашка* — наружный лист табака у сигары.

[24] *Визионер* — здесь: человек, подверженный галлюцинациям, видениям; духовидец.

[25] *...любовь... рассеянный поцелуй двух прихотей...* — Вариация на тему знаменитой максимы Себастьен-Рока Никола де Шамфора (1741–1794): «Любовь в том виде, какой она приняла в нашем обществе, — это всего лишь игра двух прихотей и соприкасание двух эпидерм» (см.: *Шамфор С.-Р.-Н.* Максимы и мысли. Гл. VI. *Пер. Ю.Б. Корнеева и Э.Л. Линецкой*).

[26] *...не думаю, что... меня оплакивают безутешные Ариадны — в моих... похождениях появление Бахуса всегда предшествовало уходу Тесея.* — Другими словами: Маливер никогда не был инициатором разрыва. Ариадна — в греческой мифологии супруга Тесея, которую он бросил. Позднее Ариадна стала супругой Диониса (Бахуса).

[27] *Вспомните историю пастуха, влюбленного в звезду.* — В шумеро-вавилонском эпосе есть миф о пастухе Дамузи, возлюбленном богини-звезды Иштар, которая предала его, и он оказался в преисподней. Вариацией этого мифа является древнегреческий миф о пастухе Адонисе и Афродите, согласно которому Адонис за любовь к Афродите был убит, а затем превращен в цветок.

[28] *...неведомого Бога.* — Деян. 17: 23. Эти слова апостола Павла стали расхожими в литературе XIX в. Их можно встретить и в «Шагреневой коже» (1831) Бальзака, как тост («Diis ignotis» — «Неведомым богам»), произнесенный в пьяной компании

героев (гл. I), и у Жерара де Нерваля, который опубликовал статью под названием «Неведомые боги» (1845).

Глава V

[1] *...одно из тех зеркал прошлого века, которые можно увидеть на картинах Лонги, этого Ватто венецианского декаданса...* — Пьетро Лонги (наст. имя Пьетро Фалька; 1702–1785) –художник и гравер, мастер жанровых композиций, представитель венецианской школы живописи, пережившей расцвет в XV–XVI вв. и близившейся к своему закату в кон. 18-го столетия (отсюда определение Готье — «декаданс»). Среди бытовых сценок, которые были излюбленным сюжетом Лонги, в частности, известно полотно «Дама за туалетом» (ок. 1760), где как раз изображена венецианка перед зеркалом. Сравнение венецианского художника с представителем французского рококо Антуаном Ватто (см. примеч. 19 к гл. XVI «Фортунио») обусловлено тем, что последний прославился в жанре так называемых «галантных празднеств» — многофигурных композиций в буколическом духе с явным налетом театральности.

[2] *Гетто* — здесь: старинный еврейский квартал в Венеции.

[3] *...как у всех венецианских зеркал, стекло... походило на отверстие, ведущее в мрачную пустоту.* — См. примеч. 15 к гл. I «Фортунио».

[4] *...дрожь, о которой говорит Иов.* — См. примеч. 43 к гл. IV «Аватары».

[5] *Сильфида.* — См. примеч. 7 к гл. VI «Фортунио».

[6] *...как Ромео забыл Розалинду, увидев Джульетту...* — См. примеч. 18 к гл. II «Аватары».

[7] *Будь он Дон-Жуаном, все три тысячи милых имен... оказались бы вычеркнуты из его списка.* — Список обольщенных Дон-Жуаном красавиц составил его слуга Лепорелло в опере Моцарта «Дон-Жуан». Правда, согласно этому источнику, их общее количество более трех тысяч. Ср.: «Их в Италии шестьсот было сорок, | А в Германии двести и тридцать, | сотня француженок, турчанок девяносто, ну, а испанок — | а испанок, так тысяча три» (*Моцарт В.-А.* Дон-Жуан, или Наказанный развратник / Либретто Лоренцо да Понте. Д. I, карт. 2. URL: http://libretto-oper.ru/mozart/don-giovanni (дата обращения: 16.01.2012)).

[8] *...без золотой ветви, подчиняющей духов.* — Имеется в виду золотая ветвь, защищавшая Энея во время его странствия в ад. См.: *Вергилий.* Энеида. VI. 136–148.

[9] *Озеро Комо* — горное озеро на севере Италии, в 40 км к северу от Милана. На берегах этого озера имели виллы Вергилий и Плиний Младший.

[10] *...подчинялась приказу, исходившему из той лучезарной сферы, где, как говорил Данте, могут всё, что захотят?* — См.: *Данте.* Божественная комедия. Ад. III. 95–96. *Пер. Б.К. Зайцева.* Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «<...> там, где исполнить властны то, что хотят».

[11] *...ослепительно яркого белого цвета — цвета риз, некогда облачивших Преображенного на горе Фавор.* — Имеется в виду Преображение Иисуса. См., напр.: Мф. 17: 1–8.

Глава VI

[1] ...«*Цезарь перешел Рубикон*?» — Крылатое выражение «перейти Рубикон» означает «принять бесповоротное решение, решение, которое круто изменит судьбу».

Возникло в 49 г. до н. э., когда римский полководец Гай Юлий Цезарь (100—44 до н. э.), возвращаясь из завоеванной им Галлии, дошел до границы собственно Италии – реки Рубикон и, вместо того чтобы распустить армию, вступил вместе с нею на территорию Рима (см., напр.: *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания. Цезарь. 32; *Светоний.* Жизнь двенадцати цезарей. Кн. I: Божественный Юлий. 82). Тем самым он нарушил закон и отрезал себе пути к отступлению. Это привело к гражданской войне, в результате которой Цезарь пришел к власти в Риме.

[2] *Аделина Патти* (1843—1919) — итальянская певица, сопрано, завоевавшая известность в Нью-Йорке и Лондоне, а в 1862 г. покорившая Париж.

[3] *Спортсмен.* — См. примеч. 19 к гл. XVII «Двое на двое».

[4] *...возникло ощущение, будто ты на петербургских островах.* — Об островах Санкт-Петербурга Готье пишет в «Путешествии в Россию» (гл. VIII).

[5] *Лоншан.* — См. примеч. 42 к гл. I «Фортунио».

[6] *Басон.* — См. примеч. 26 к гл. XI «Милитоны».

[7] *На берегу стояло несколько... горожан, которые давали коньки напрокат любителям из мещан, чьи падения служили... интермедиями... в этом балете из «Пророка»...* — Имеется в виду опера-балет немецкого композитора Джакомо Мейербера (см. примеч. 25 к гл. I «Невинных распутников»), премьера которой прошла в Париже в апреле 1849 г. В третьем действии этого балета есть сцена катания на коньках по льду озера.

[8] *Бранденбуры* — выкладки из шнура в форме петель и завитков на передней части одежды в венгерском стиле.

[9] *...скользили... наклонившись вперед, подобно Гиппомену и Аталанте, что стоят под каштанами сада Тюильри.* — Мраморные статуи бегущих Гиппомена и Аталанты стояли в саду Тюильри с 1798 г., куда они были перевезены после разрушения дворца в Марли (см. примеч. 11 к гл. XVIII «Жана и Жанетты»), по 1940 г. В настоящее время хранятся в Лувре. Согласно греческому мифу, Аталанта, знаменитая охотница и бегунья, отказывалась выйти замуж, пока претендент не догонит ее. Гиппомен обманул ее с помощью Афродиты, которая дала ему золотые яблоки. Он разбросал яблоки по земле, Аталанта не удержалась и стала собирать их, и Гиппомену удалось настичь ее.

[10] *...вечное движение причудливых роскошных костюмов, этот своего рода маскарад на льду являл... зрелище, достойное кисти Ватто, Ланкре и Барона.* — Первые два художника, представители французского рококо, часто использовали в своих картинах театральные сюжеты (в частности, комедии дель арте), а также разрабатывали жанр «галантных празднеств». В сер. 19-го столетия эти художники вновь вошли в моду. См. также примеч. 1 к гл. V; примеч. 19 к гл. XVI «Фортунио»; примеч. 3 к гл. VIII «Жана и Жанетты». О Бароне — см. примеч. 10 к гл. III «Аватары».

[11] *Десюдепорт.* — См. примеч. 18 к гл. XVI «Фортунио».

[12] *Берлина.* — См. примеч. 7 к гл. I «Двое на двое».

[13] *Гаванский бишон* — порода декоративных, похожих на болонку, миниатюрных собак, известная с XVII в. Названа гаванской из-за табачного окраса.

[14] *...любовался, как Фауст Еленой, в... волшебном зеркале!* — См. примеч. 25 к гл. V «Аватары».

[15] *Проспект Императрицы.* — Вел от юго-восточной оконечности Булонского леса к площади Звезды. Ныне — проспект Фоша.

[16] *Дрожки* — русская коляска, которой посвящены несколько страниц в книге Готье «Путешествие в Россию» (гл. II).

Глава VII

[1] «*...Они будут "друг дружке под стать" — кажется, так поется в какой-то песне*». — Имеется в виду популярный дуэт из шестой сцены комической оперы «Узник, или Сходство» (1798) на слова Александра Дюваля (1767—1842) и музыку Доминика Делла-Мария (1769—1800). Эта опера имела большой успех, и, хотя в XIX в. уже не ставилась, упомянутый дуэт благодаря легкой, запоминающейся музыке был на слуху.

[2] *Экарте* — старинная азартная игра в карты для двух и более игроков.

[3] *...дошли до церкви Магдалины.* — Церковь Святой Марии Магдалины построена в стиле классицизма. Освящена в 1842 г. Фасад ее обращен к Королевской улице, ведущей к площади Согласия.

[4] *Медиум* — человек, который, по мнению приверженцев спиритуализма, служит посредником, связующим звеном между миром людей и миром духов благодаря своей способности слышать или видеть духов, а также, в частности, писать под их диктовку.

Готье, подобно своим современникам, не мог не увлечься спиритуализмом и магнетизмом, вошедшими в моду в первой пол. XIX в. Вместе с Гюго он посетил несколько сеансов гипноза, даже задумал роман под названием «Магнетизм». Пришедший из США в конце 1840-х годов спиритизм был увлечением Дельфины де Жирарден, подруги Готье, проводившей сеансы «общения с душами умерших» с 1853 г., хотя сам писатель относился к этим сеансам скептически. Обращаясь к изображению спиритических явлений, Готье больше вдохновлялся литературным опытом — чтением новеллы Бальзака «Серафита», поэмы Лонгфелло «Эванджелина», рассказов Э. По, где фигурировали призраки умерших женщин.

[5] *...ангелы черные и ангелы белые...* — Черные ангелы — ангелы падшие, ангелы тьмы, служители Сатаны, некогда отпавшие от Бога и противостоящие подлинным ангелам. Эпитет «белый» (ангел), очевидно, обусловлен, помимо символических коннотаций данного цвета, иконографической традицией изображать ангелов с белоснежными крыльями и в белых одеждах. Возможно, имеются в виду ангелы-хранители, чья миссия не только оберегать человека при жизни, но и возвести его душу к Богу.

[6] *...власти непокорные и власти покорные, силы добрые и силы злые.* — Готье в общем виде отсылает к христианской традиции, согласно которой власти и силы — два из девяти ангельских чинов второй ступени или сферы (всего их три). Главным источником церковного учения о небесной иерархии послужили «Ареопагитики» (появились в 495—525 гг.), приписываемые Дионисию Ареопагиту (I в. н. э.).

[7] *Вершина мистической лестницы озарена вечным светом, а ее подножие утопает во мраке.* — В самом широком смысле лестница — универсальный мифопоэтический образ связи верха и низа (мира богов, мира людей и мира умерших). В христианстве символическим выражением связи между Богом и людьми служит про-

стертая с небес на землю «лестница Иакова», по которой сходят и восходят ангелы (см.: Быт. 28: 12–13).

[8] *...сказать... словами... эпитафии с картины Пуссена*: «*Et in Arcadia ego*». — Существуют две картины Никола Пуссена (1594–1665) с таким названием. Первый вариант написан художником в 1629–1630 гг., второй — ок. 1650 г. Другое их название — «Аркадские пастухи». Ср. данную эпитафию в пер. К. Батюшкова (1753–1817): «И я, как вы, жила в Аркадии счастливой» (стихотворение «Надпись на гробе пастушки», 1810).

[9] *Пансион Птиц.* — Располагался в Париже на углу Севрской улицы и бульвара Инвалидов. В этот пансион благородных девиц, которым руководили монахини, принимались девочки из аристократических семей.

[10] *...шоколадку с пралине от Марки.* — Речь идет о династии парижских кондитеров, известных с XVIII в., чей магазин в 1863 г. находился в Пале-Рояле по соседству с Французским театром.

Глава VIII

[1] *Райграс.* — См. примеч. 4 к гл. III «Аватары».

[2] *Эрар.* — См. примеч. 10 к гл. II «Невинных распутников».

[3] *Мейербер.* — См. примеч. 25 к гл. I «Невинных распутников».

[4] *Вебер* Карл Мариа фон (1786–1826) — немецкий пианист и композитор, основоположник немецкой романтической оперы.

[5] *...Вы там попались в сети какой-то мантильи.* — То есть угодили в любовную ловушку какой-то испанки. Мантилья — см. примеч. 28 гл. I «Милитоны».

[6] «*Сомнамбула*» — опера Беллини (см. примеч. 6 к гл. I «Милитоны»), премьера которой в Париже состоялась в 1862 г.

[7] *Патти.* — См. примеч. 2 к гл. VI.

[8] *...тарлатановое платье...* — См. примеч. 4 к гл. VI «Невинных распутников».

[9] «*...в "Капризе" Альфреда де Мюссе госпожа Лери утверждает, что это дурацкий цвет*». — Цитата из третьей сцены одноактной комедии Альфреда де Мюссе «Каприз» (1837). Ср. в оригинале: «C'est une couleur bête».

[10] *Перистиль.* — См. примеч. 4 к гл. XI «Милитоны».

[11] *Ветиверия* — род многолетних травянистых растений семейства мятликовых, произрастающая в Юго-Восточной Азии. Из корней ветиверии получают эфирное масло. Считается, что ее запах придает силы и уверенность в себе.

[12] *Пачули* — полукустарник рода погостемон семейства губоцветных. Произрастает в тропиках. Используется для получения эфирного масла. Считается, что запах пачулей усиливает любовное влечение.

[13] «*...он вернулся из Испании. По его милости мы в "Ревю" только и читали, что о боях быков, ведь Ги и сам немного варвар*». — В действительности «La Revue des Deux Mondes» (см. примеч. 25 к гл. I) печатала репортажи самого Готье о корриде до и после его возвращения из Испании в 1840 г.

Глава IX

[1] *Гинекей.* — См. примеч. 25 к гл. II «Царя Кандавла».

[2] *Жаниссе* Александр-Фредерик (1795–1835) — модный парижский ювелир, имя которого было внесено в списки лучших мастеров своего дела в справочниках

по Парижу. Это имя упоминает Бальзак в своих эссе о Париже (см.: *Balzac H. de.* A Paris! P.: Éditions Complexe, 1993. P. 49).

[3] *Аттик.* — См. примеч. 6 к гл. XVI «Фортунио».

[4] *...здание... с... крышей Мансара...* — Франсуа Мансар (см. примеч. 3 к гл. XXII «Жана и Жанетты») при строительстве одного из дворцов придумал использовать чердачные помещения под комнаты, для чего сделал крышу более высокой и снабдил ее особыми окнами. Это помещение получило название от фамилии архитектора — «мансарда».

[5] *Палаццино* — маленький палаццо, т. е. маленький дворец.

[6] *Лебрен* Шарль (1619—1690) — придворный живописец и декоратор, один из создателей стиля Людовика XIV, ученик Никола Пуссена.

[7] *Миньяр* Пьер (1612—1695) — французский живописец и декоратор, автор многих портретов членов королевской семьи, а также росписей Новой галереи Версаля.

[8] *Гаспар Дюге* (1615—1675) — французский художник, ученик Никола Пуссена.

[9] *Лепотр* Пьер (1659—1744) — французский скульптор. Ему принадлежит, в частности, статуя Аталанты (см. примеч. 9 к гл. VI).

[10] *Теодон* Жан-Батист (1645—1713) — французский скульптор эпохи барокко, его скульптуры украшают Версальский парк.

[11] *...висели гобелены с Королевской мануфактуры, вытканные по картонам Удри...* — Имеются в виду тканые полотна, выполненные по эскизам французского художника Жан-Батиста Удри (1686—1755), занимавшего с 1736 г. должность управляющего Королевской гобеленной мануфактуры. Картон — написанный и раскрашенный на полотне в размере будущего гобелена или шпалеры рисунок, который затем копируется ткачом.

[12] *Кружева англетер.* — См. примеч. 3 к гл. II «Фортунио».

[13] *Багет* — здесь: украшение в виде удлиненной золотой или серебряной планочки с расположенными на ней цепочкой драгоценными камнями.

[14] *...работы Клуэ, Порбуса, Ван Дейка, Филиппа де Шампаня, Ларжильера...* — Имеются в виду Жан Клуэ (1480—1541) или его сын Франсуа Клуэ (ок. 1510—1572), Франц Порбус Старший (1545—1581) или Младший (1569—1622), Антонис Ван Дейк (см. примеч. 18 к гл. I «Жана и Жанетты»), Филипп де Шампань (1602—1674) и Никола Ларжильер (1656—1746) — художники, в разные эпохи писавшие портреты знатных особ.

[15] *Клуб мальчишек* (Moutard club; *фр.* moutard — мальчишка, сосунок, молокосос, пацан) — весьма закрытый светский клуб, образованный в 1852 г. в доме на улице Пелетье, а через два года обосновавшийся на Королевской улице, носил название «Новый клуб» или «Клуб мальчишек». Члены этого клуба изображены на картине французского художника Д. Тиссо «Кружок Королевской улицы» (1868). Позднее был поглощен Жокей-клубом (см. примеч 12 к гл. I «Аватары»).

[16] *Бульот.* — См. примеч. 19 к гл. III «Невинных распутников».

[17] *...военная форма низама...* — Низам — регулярное воинское подразделение из кадровых военных, созданное в Турции в ходе военной реформы 1830-х годов, проведенной султаном Махмудом II. Он же ввел новую форму для военных, созданную по европейским образцам.

[18] *Орден Меджидие* — орден, учрежденный в Османской империи в 1852 г. Имел пять степеней, вручался турецким и иностранным дипломатам и военным.

[19] *Депорт* Александр Франсуа (1661–1743) – французский художник, мастер натюрмортов.

Глава X

[1] *...не охранял, как ревнивый опекун Розину.* – Опекун по имени Бартоло и благородная девица Розина, на которой он сам хочет жениться и потому отгоняет всех других женихов, – герои комедии Бомарше (1732–1799) «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» (1773).

[2] *Шантийи.* – См. примеч. 28 к гл. I «Джеттатуры».

[3] *...подняться к последним нильским порогам...* – См. примеч. 7 к гл. X «Романа о мумии».

[4] «*...Как бы он не принял ислам, подобно Гасану, герою "Намуны"*». – «Намуна» (1832) – ироническая поэма Альфреда де Мюссе, один из героев которой, Гасан, будучи французом по рождению, отказался и от семьи, и от родины, и от христианской религии.

[5] *Джеллаб* – торговец невольниками. См.: *Нерваль Ж. де.* Путешествие на Восток (Каирские женщины. II: «Невольницы». Окель джеллабов).

[6] *...я... была, точно Пенелопа, окружена толпой женихов.* – Пенелопа, жена пропавшего на долгие годы царя Итаки Одиссея, храня верность мужу, отвергала всех искателей ее руки (см.: *Гомер.* Одиссея. XIII. 375–381 и далее).

[7] *Их волосы пахли духами от Убигана...* – Жан-Франсуа Убиган (1752–1807), парфюмер родом из Грасса, открыл свой первый магазин в 1775 г. на улице Форур-Сент-Оноре. Со временем Убиган стал поставщиком многих королевских дворов Европы. Дом существует поныне и до сих пор является семейным делом. Поставляет свою продукцию во все европейские страны. Центральный офис находится в Монако.

Глава XI

[1] *Религиозность... не нашла бы здесь ни одной темы для описаний в духе Шатобриана.* – Имеется в виду обитель, описанная французским писателем-романтиком Франсуа Рене де Шатобрианом (1768–1848) в повести «Рене» (1802).

Глава XII

[1] *Монада.* – См. примеч. 7 к гл. VI «Аватары».

[2] *Я слушала музыку сфер, эхо которой достигло ушей Пифагора...* – Пифагор утверждал, что все движение во вселенной подчинено музыкальной гармонии и движение каждого небесного тела в космическом пространстве рождает звук. Но услышать его может только тот, кто специально разовьет свой слух для этой цели. По распространенному среди пифагорейцев преданию, сам Пифагор слышал, как плывут планеты по своим орбитам.

[3] *Долговой пристав.* – См. примеч. 15 к гл. X «Милитоны».

[4] *...ваше имя должно стоять в словаре Шомпре и в письмах к Эмилии после Аполлона и муз.* – Имеются в виду «Краткий мифологический словарь» (1727) Пьера Шомпре (1698–1760), который многократно переиздавался в XVIII и первой

пол. XIX в., и «Письма к Эмилии о мифологии» (1786–1798) Шарль-Альбера Демустье (1760–1801) – популярное издание, по которому учились французские школьники.

Глава XIII

[1] *Прюдон* Пьер-Поль (1758–1823) – французский художник-классицист, испытавший влияние романтизма, один из лучших портретистов своего времени. Также прославился своими полотнами на мифологические и аллегорические сюжеты.

[2] *Тальберг* Сигизмунд (1812–1871) – австрийский пианист-виртуоз и композитор, современник и соперник Листа, завоевавший в 1835 г. признание парижской публики, а в 1839 г. – российской.

[3] *Гвид.* – См. примеч. 37 к гл. I «Фортунио».

[4] *...крылья Психеи...* – См. примеч. 24 к гл. VI «Аватары».

[5] *Беатриче* – возлюбленная и «муза» Данте, воспетая им в «Новой жизни» и в «Божественной комедии».

[6] *Страсть... приставала к телу, как туника, отравленная ядом Несса, к коже Геракла.* – См. примеч. 3 к гл. XXIII «Фортунио».

[7] *То были... танталовы муки: руки любимой подносили к его... губам чашу, полную... воды, а он не мог дотронуться даже до ее краев... гроздья... висели над самой его головой, но ему не дано было их вкусить.* – Выражение «танталовы муки» восходит к древнегреческому мифу о Тантале – фригийском царе, осужденном богами на вечный голод и жажду. В царстве мертвых Тантал стоит по горло в воде, которая отступает, едва он пытается наклониться; с окружающих его деревьев свисают спелые плоды, но стоит ему потянуться к деревьям – и их ветви тотчас вздымаются на недосягаемую высоту.

[8] *...повинуясь... велению, исходящему оттуда, «где могут всё, что захотят»...* – См. примеч. 10 к гл. V.

[9] *Кураре* – яд, используемый южноамериканскими индейцами в охоте на мелких животных и птиц. Добывается из растения стрихнос ядоносный (Strychnos toxifera).

Глава XIV

[1] «*Травиата*» (1853) – опера Джузеппе Верди (1813–1901), премьера которой состоялась в парижском театре Итальянской оперы в 1856 г.

[2] *...Таинственная улыбка | Внутренних страстей.* – Цитата (с перестановкой строк) из стихотворения Виктора Гюго «Любить всегда! Любить опять!» (см.: *Гюго В.* Созерцания. II. 22).

[3] *...Барбос приходит на смену Цезарю...* – То есть посредственность приходит на смену выдающейся личности. Аллюзия на басню Лафонтена «Воспитание», где речь идет о двух породистых братьях-кобелях, один из которых (Цезарь) охотился и производил на свет только породистых щенков, а другой (Барбос) – вертелся на кухне, путался со всеми подряд и «населил своим плебейским родом | ...всю страну» (*Лафонтен.* Басни. VIII. 166. *Пер. О.Н. Чюминой*).

[4] *Геркуланум.* – См. примеч. 9 к гл. XVI «Фортунио».

[5] *...молодой человек... словно сошедший с портрета кисти Ван Дейка.* — Имеется в виду автопортрет Ван Дейка (20-е годы XVII в.), хранящийся в Государственном Эрмитаже.

[6] *...лицо... подобно восковой маске, снятой с Венеры Кановы.* — См. примеч. 5 к гл. II «Аватары».

[7] *...Прометей этой Пандоры...* — Здесь Готье вспоминает не классическую версию мифа о Пандоре, а неоконченный рассказ Жерара де Нерваля «Пандора» (1854). В этом рассказе Пандора предстает соблазнительницей, испытывающей свои чары на Прометее.

[8] *...от площади Вантадур до улицы Шоссе-д'Антен буквально рукой подать...* — Итальянская опера с 1841 до 1878 г. располагалась в зале Вантадур на улице Делейрака (2-й округ Парижа). От него до дома госпожи д'Эмберкур около 800 м.

[9] *Непентес.* — См. примеч. 11 к гл. V «Царя Кандавла».

Глава XV

[1] *...дошел до мыса Малея, последнего зубчика листа шелковицы, на который похожа южная оконечность Греции и которому она обязана своим современным названием Морея.* — Речь идет о юго-восточной оконечности полуострова Пелопоннес, который на протяжении многих веков назывался также Мореей. Долгое время существовала версия, которая объясняла происхождение названия Морея от названия семейства тутовых (Moraceae), к которому принадлежит шелковица.

[2] *...почерневшие от дыма паруса, похожие на те, что по ошибке поднял Тесей, возвращаясь с Крита, где он одолел Минотавра.* — См. примеч. 10 к гл. II «Двое на двое» и примеч. 3 к гл. XV «Фортунио».

[3] *Тайгет* — горный хребет Пелопоннеса, простирающийся до мыса Малея.

[4] *...продекламировали известный стих Вергилия.* — Имеются в виду строки: «Лишь бы и впредь любить мне поля, где льются потоки, | Да и прожить бы всю жизнь по-сельски, не зная о славе, | Там, где Сперхий, Тайгет, где лакедемонские девы | Вакха славят! О, кто б перенес меня к свежим долинам | Гема и приосенил ветвей пространною тенью!» (*Вергилий.* Георгики. II. 485—489. *Пер. С.В. Шервинского*).

[5] *Афинская школа.* — Французская школа в Афинах была создана в 1846 г. Существует и поныне. Задачей школы является изучение античной истории и искусств.

[6] *Римская премия* — премия Французской академии изящных искусств, которая с 1666 по 1971 г. направляла выигравших ее художников, скульпторов, граверов, архитекторов и музыкантов в Рим, для того чтобы они могли совершенствовать свое мастерство. В 1845 г. Академия разрешила некоторым лауреатам совершить поездку из Рима в Афины для знакомства с античным искусством.

[7] *...волна... омывала бока «изогнутых» судов, о которых говорил Гомер...* — См.: *Гомер.* Одиссея. II. 17.

[8] *Серебристый луч обрисовал на носу корабля этих Амура и Психею...* — См. примеч. 9 к Предисловию «Фортунио».

[9] *...дельфин — возможно, потомок того, что носил когда-то Ариона...* — Арион — легендарный греческий поэт и музыкант (VII—VI вв. до н. э.). Согласно преданию,

во время путешествия на корабле моряки задумали ограбить и убить Ариона, он попросил разрешения спеть в последний раз и, спев, бросился в море, но зачарованный его пением дельфин вынес его на берег.

[10] *...«как два голубя, влекомых одной волей»?* — См. примеч. 16 к гл. III «Аватары».

[11] *Элизиум* — то же, что Елисейские поля и острова Блаженных. См. примеч. 5 к гл. II и примеч. 5 к гл. V «Царя Кандавла».

[12] *Пирей.* — См. примеч 19 к гл. III.

[13] *...Парнит и Гимет... образовывали своего рода кулисы... а в глубине сцены возвышались... Ликабет и Пентеликон.* — Перечисляются горные вершины в окрестностях Афин.

[14] *Фидий.* — См. примеч. 6 к гл. XX «Фортунио».

[15] *...в костюме паликара...* — То есть в албанском костюме. Паликары — наемники греческого и албанского происхождения, состоявшие на службе при какомнибудь турецком паше или другом важном сановнике в качестве стражи и телохранителей. Во время войны за независимость от османского ига 1821—1829 гг. воевали на стороне Греции.

[16] *Пропилеи* — сквозной мраморный портик с колоннадой; главный вход в Акрополь. См. также примеч. 19 и 21.

[17] *...храм Ники Аптерос...* (букв.: Бескрылой Победы) — небольшой храм ионического ордера, расположенный справа от Пропилей на выступе укрепленной скалы. Построен в 443—420 гг. до н. э. архитектором Калликратом и посвящен Афине-Нике (Афине-Победительнице).

[18] *...когда-то высилась конная статуя работы Кимона...* — Кимон (ок. 510—450 до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец, одержавший множество побед в греко-персидских войнах. О конной статуе Кимона сведений найти не удалось, однако известно о трех гермах (каменных квадратных столбах, увенчанных скульптурной головой), поставленных в честь трех побед Кимона — при Евримедонте, на Кипре и во Фракии.

[19] *Пинакотека* — картинная галерея, примыкавшая слева к Пропилеям.

[20] *...хранилище шедевров Апеллеса, Зевскида, Тиманфа и Протогена.* — Апеллес (см. примеч. 2 к гл. II «Царя Кандавла»), Зевскид (V—IV вв. до н. э.), Тиманф (V—IV вв. до н. э.), Протоген (V—IV вв. до н. э.) — греческие художники, имена которых стали известны благодаря историкам, упомянувшим их в своих трудах.

[21] *Мнесикл* — греческий скульптор, автор Пропилеев (см. примеч. 16), построенных в 437—432 гг. до н. э.

[22] *Иктин* — греческий архитектор V в. до н. э., автор Парфенона (см. примеч. 13 к гл. III).

[23] *Пронаос* — полуоткрытая часть античного храма между входным портиком и наосом (залом, центральной частью храма). Спереди пронаос ограждался двумя колоннами, с боков — выступами.

[24] *Канефора* — органично вписанное в архитектуру здания скульптурное изображение женской фигуры, играющее конструктивную роль колонны.

[25] *Венок из фиалок... чью свежесть воспел Аристофан...* — Аллюзия на комедию греческого поэта и комедиографа Аристофана (445—386) «Всадники» (см., напр., стих 1310). Греки надевали венки из фиалок во время праздников.

[26] *Парабаза* (греч. — выступление вперед) — одна из основных частей древнегреческой комедии, следующая за агоном (состязанием) после ухода со сцены актеров. Ее название произошло от движения хора по направлению к зрителям, которое он совершал, прежде чем сбросить с себя гиматии (плащи) и исполнить свою партию. Впоследствии парабазой стали называть всю дальнейшую песнь хора.

[27] *Лорд Элгин* (Элджин) — Брюс Томас, седьмой граф Элгин (1766—1841), британский посол при дворе Османской империи, в 1801—1811 гг. вывез из Греции 12 фигур с фронтона Парфенона и огромное количество других исторических ценностей, которые хранятся ныне в Британском музее.

[28] *...разрушенные венецианскими пушками фигуры...* — В 1687 г., когда во время войны Священной лиги с Оттоманской Портой венецианские корабли обстреляли порт Пирей, одно из ядер попало в Парфенон, где турки разместили пороховой склад. В результате взрыва вся центральная часть Парфенона была разрушена.

[29] *Пеплос.* — См. примеч. 15 к гл. III «Царя Кандавла».

Глава XVI

[1] *Ментор* — персонаж древнегреческой мифологии, друг Одиссея, воспитатель его сына Телемаха. Отправляясь в Трою, Одиссей поручил Ментору заботы о своем доме и хозяйстве. У Гомера наружность Ментора часто принимает Афина Паллада, покровительствовавшая Одиссею. В литературе XVII—XVIII вв. («Телемак» Фенелона, «Тилемахида» Тредиаковского) получил развитие образ Ментора как строгого учителя, наставника юношества, отчего имя Ментор стало нарицательным.

[2] *Парнас* — горный массив в центральной Греции, на склоне которого находятся древние Дельфы с храмом Аполлона. От Афин до Парнаса 180 км.

[3] *...запивая его... белым вином из Санторина.* — Санторин — архипелаг из четырех островов в Эгейском море, один из которых носит то же название. Славится своими винами.

[4] *...можно поехать в Виль-д'Авре, Ла-Сель-Сен-Клу...* — Перечисляются живописные городки, находящиеся неподалеку от Версаля. Близость к Версалю и красоты природы сделали их местом, привлекательным для прогулок знати.

[5] *...только не в Фонтенбло, там слишком много художников!* — Фонтенбло — городок в 60 км от Парижа с дворцом (1528—1530), в котором находилась загородная резиденция французских королей. В XIX в. неподалеку от Фонтенбло, в местечке Барбизон, обосновались французские художники, мастера реалистического пейзажа, которые увековечили окрестности на своих картинах.

[6] *...занять место кариатиды, что была похищена у Пандросы...* — Святилище богини росы Пандросы примыкало к западной стороне храма Эрехтейона на Акрополе, а знаменитый портик кариатид, вывезенных лордом Элгином (см. примеч. 27 к гл. XV), находился у южной стены этого храма.

[7] *Фустанелла* — широкая юбка, часть греческого народного мужского костюма.

[8] *...вой Гекубы...* — Гекуба — вдова царя Приама и мать Гектора. Еврипид в трагедии «Гекуба» (424 до н. э.) пишет, что она «воет, как псица», а после смерти превратится в «собаку огнеокую» (*Еврипид.* Гекуба. 1267. *Пер. И. Анненского*).

[9] *Панагия* (греч. — Всесвятая). — Так греки называют Пресвятую Богородицу.

[10] *...сочинение Сведенборга, которое называется «Браки в жизни иной».* — «Браки небесные» — так называется глава из книги Сведенборга (см. примеч. 22 к гл. IX «Аватары») «Супружеская любовь».

[11] *Гипетральный храм* — тип древнегреческих храмов, имевших посередине кровли главного помещения сквозное световое отверстие (гипетрон, гипетр), а также название различных архитектурных сооружений античности со световым отверстием посередине.

[12] *Скоро они сомкнулись в объятии и, словно две капли росы, что стекают по лепестку лилии, превратились в одну жемчужину.* — После выхода в свет «Спириты» Готье заказал в типографии экземпляр с посвящением Карлотте Гризи — женщине, которую он любил до конца своих дней. В феврале 1866 г. он приехал в Женеву и подарил ей эту книгу, а в конце марта писал из Франции: «Ах, Карлотта, Карлотта! Хотя сочинительство — моя профессия, я не нахожу слов, чтобы выразить Вам свою любовь. Я люблю Вас душой, разумом, телом, я Ваш до последней капли крови, до мозга костей, Вам принадлежит мое прошлое, настоящее и будущее в этом мире и в мире ином. И даже если другого мира нет, моя любовь создаст небо, чтобы на веки вечные мы были вместе и слились в одну сияющую жемчужину, как Маливер и Спирита» (*Gautier T.* Correspondance général. Genève. Vol. 9. P. 196).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Ил. на с. 5. Теофиль Готье (1850 г.). Худож. Леон Ризенер (1808–1878). Пастель. 1850. Дом-музей Бальзака (Париж).

Ил. на с. 552. Теофиль Готье (1870-е годы). Гравюра. Худож. Альфонс Ламотт (1844–1914?). Национальная библиотека Франции (Париж).

Содержание

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Том II

ЖАН И ЖАНЕТТА. *Пер. Е.В. Трынкиной* 7
АВАТАРА. *Пер. Е.В. Трынкиной* 111
ДЖЕТТАТУРА. *Пер. Е.В. Морозовой* 185
РОМАН О МУМИИ. *Пер. Е.В. Трынкиной* 281
СПИРИТА. *Пер. Е.В. Трынкиной* 443

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечания. *Сост. Е.В. Трынкина, Н.Т. Пахсарьян, О.В. Тимашевич, С.Д. Серебряный, Е.В. Безмен, М.Б. Смирнова* 553
Список иллюстраций 693

Готье Теофиль

Романическая проза: В 2 т. / Теофиль Готье; пер. с фр.; изд. подгот. Н.Т. Пахсарьян, Е.В. Трынкина. – М.: Ладомир: Наука, 2012. Т. 2: Жан и Жанетта. Аватара. Джеттатура. Роман о мумии. Спирита. – 696 с., ил. (Литературные памятники)

ISBN 978-5-86218-504-1
ISBN 978-5-86218-499-0 (т. II)

Ярчайшая фигура в истории литературы XIX в., неизменный участник чуть ли не всех заметных, иногда скандальных, событий в жизни литературной Франции той поры и вместе с тем поэт и писатель, стоящий особняком ото всех «течений» и «направлений» своей эпохи, Теофиль Готье (1811–1872) представлен в настоящем томе пятью большими повестями. Созданные в 1850–1860-е годы, когда отгремели «битвы за романтизм» и широкое распространение получила эстетическая программа «искусства для искусства», у истоков которой исследователи ставят Т. Готье, эти повести отражают талант зрелого мастера, уже отточившего свое прихотливое перо не только в аналогичном жанре («Фортунио», «Царь Кандавл», «Милитона»), но и в романе («Мадемуазель де Мопен»), в драме («Слеза дьявола»), в историко-литературном очерке («Гротески»), в путевых заметках («Путешествие в Испанию»), в поэзии («Комедия смерти»).

Сюжетную основу всех, на первый взгляд столь несхожих, историй, рассказанных в этой книге, составляет неразрешимый конфликт между действительностью и идеалом, миром материальным и миром, не подлежащим рациональному осмыслению, проявляющим себя через загадочные, роковые и будоражащие воображение знаки. Истоки этого иррационального плана бытия – самые разнообразные: мистическое учение индийских йогов, теория «животного магнетизма», созданная в XVIII в. немецким врачом и астрологом Месмером («Аватара»), народные поверья («Джеттатура»), спиритизм и духовидчество Сведенборга («Спирита»), тайны древнеегипетских гробниц («Роман о мумии»). Именно с таким непостижимым и загадочным миром сталкивается герой каждой из повестей: то ему является призрак некогда влюбленной в него девушки, после смерти оказавшейся в сонме ангелов, то при помощи чудо-врача он меняется телом с мужем польской графини, к которой пылает безответной, иссушающей его страстью, то навсегда отдает свое сердце мумии прекрасной, но, увы, умершей тысячелетия назад египетской царицы. Даже в «Жане и Жанетте», наименее мистическом произведении, влюбленные могут «встретиться» и по-настоящему узнать друг друга, лишь переодевшись в платье простолюдинов и преодолев таким образом границы обыденного для них мира великосветских салонов.

Большинство повестей публикуется в русском переводе впервые. «Роман о мумии», ранее известный по русскоязычной версии начала XX в., предлагается читателю в новом переводе, адекватно передающем изощренный стиль письма Т. Готье и состояние научного знания об истории и быте Древнего Египта в Европе 19-го столетия, которую охватила настоящая «археологическая лихорадка».

Том включает подробный научный аппарат, в создании которого приняли участие не только исследователи творчества писателя, но и специалисты в области индологии и египтологии, а в оформлении были использованы редчайшие гравюры и литографии, выходившие в составе старинных библиофильских раритетов и доныне не известные взыскательной отечественной аудитории.

Научное издание

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

В двух томах

Том II

Жан и Жанетта
Аватара
Джеттатура
Роман о мумии
Спирита

Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии «Литературные памятники»

Редакторы
Е.В. Безмен, М.Б. Смирнова

Корректор
О.Г. Наренкова

Разработка оригинал-макета, верстка и препресс
В.Г. Курочкин

Издание выпущено при содействии
Эрика Александровича Роберта

ИД № 02944 от 03.10.2000 г. Подписано в печать 21.06.2012 г.
Формат $70\times90^{1}/_{16}$. Бумага мелованная. Печать офсетная.
Гарнитура «Баскервиль». Печ. л. 48,0. Тираж 2000 экз. Зак. № 1672

Научно-издательский центр «Ладомир»
124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а
Тел. склада: 8-499-729-96-70. E-mail: ladomirbook@gmail.com

Отпечатано с оригинал-макета
ОАО «Типография «Новости»
105005, Россия, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46

ISBN 978-5-86218-499-0

ТЕОФИЛЬ
ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

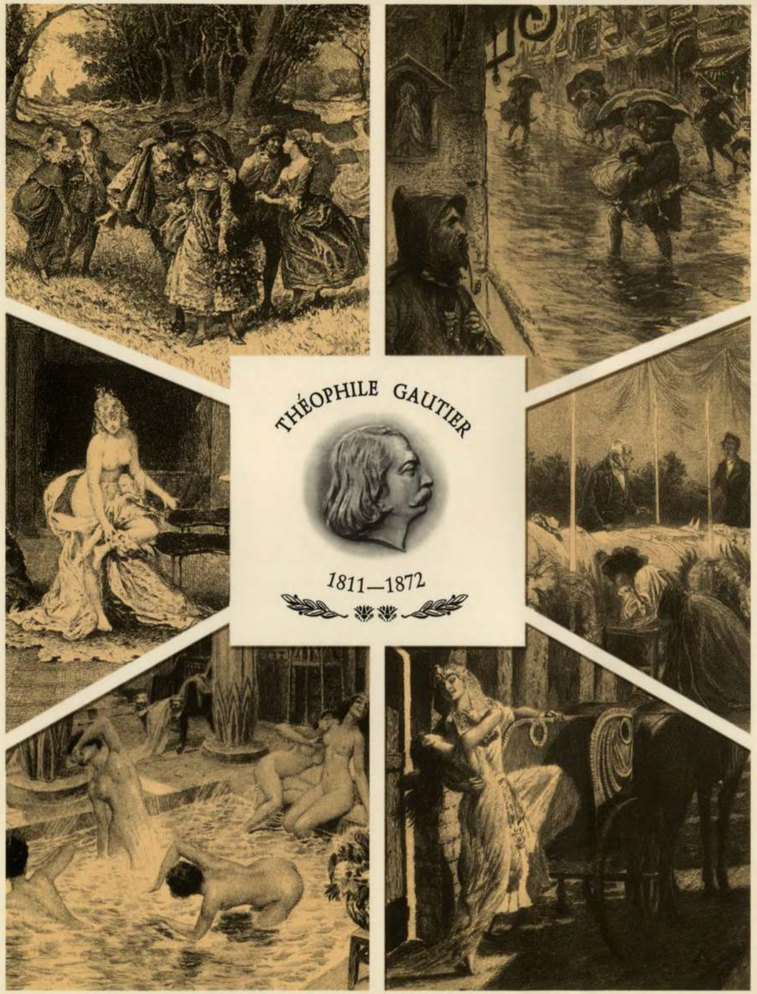
Жан и Жанетта
(1850)

Аватара
(1856)

Джеттатура
(1856)

Роман о мумии
(1857)

Спирита
(1865)



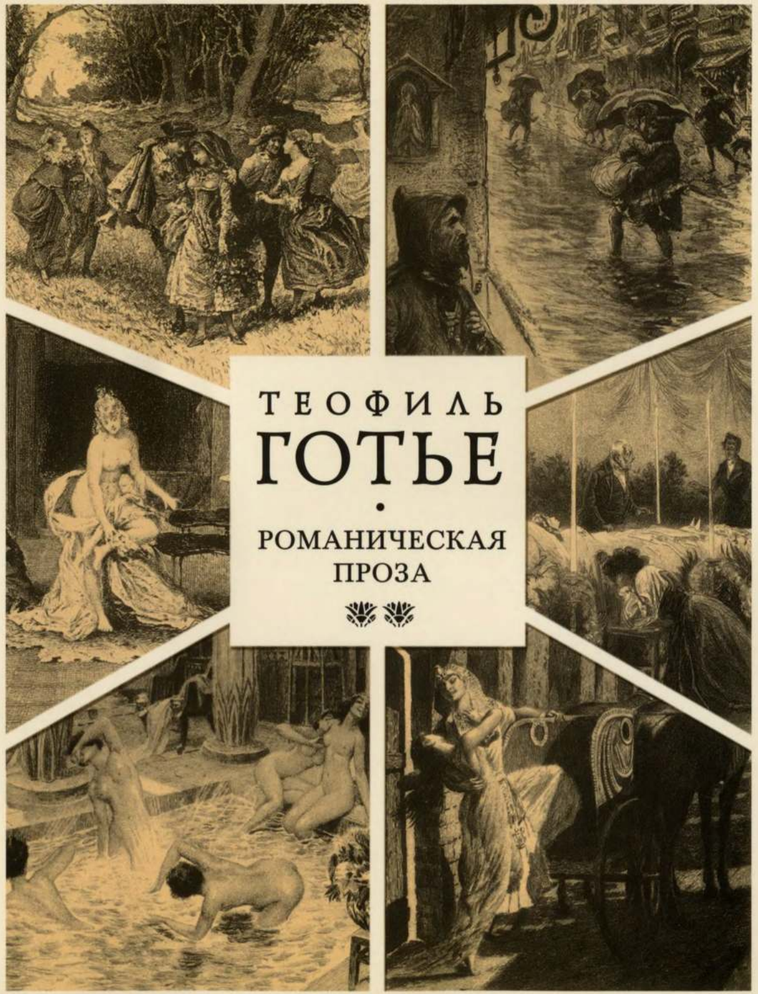
THÉOPHILE GAUTIER

1811—1872

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

ЛП

ладомир



ТЕОФИЛЬ
ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ТЕОФИЛЬ
ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Жан и Жанетта
(1850)

Аватара
(1856)

Джеттатура
(1856)

Роман о мумии
(1857)

Спирита
(1865)

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

ТЕОФИЛЬ
ГОТЬЕ
•
РОМАНИЧЕСКАЯ
ПРОЗА